ДЖОН ГОЛСУОРСИ

САГА О ФОРСАЙТАХ



Джон Голсуорси

САГА О ФОРСАЙТАХ

Ташкент «Укитувчи» 1988

84 Анг.
Г-60
19

Джон Голсуорси

САГА О ФОРСАЙТАХ

В ПЕТЛЕ
ПРОБУЖДЕНИЕ
СДАЕТСЯ ВНАЕМ

Перевод с английского

Ташкент «Укитувчи» 1988

Джон Голсуорси

САГА О ФОРСАЙТАХ

Ташкент «Укитувчи» 1988

В ПЕТЛЕ



И ПЕРЕХОДЯТ ДВА СТАРИННЫХ РОДА
ИЗ СТАРОЙ РАСПРИ В НОВУЮ ВРАЖДУ.

ШЕКСПИР
«РОМЕО-И ДЖУЛЬЕТТА»



И переходят два старинных рода
Из старой распри в новую вражду.

Шекспир,
Ромео и Джульетта

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

У ТИМОТИ

Инстинкт собственности не есть нечто неподвижное. В смене процветания и распрей, холода и пыла он следовал законам эволюции даже в семье Форсайтов, которые считали его установившимся раз навсегда. Он так же неразрывно связан с окружающей средой, как сорт картофеля с почвой.

Историк, который займется Англией восьмидесятых и девяностых годов, в свое время опишет этот быстрый переход от самодовольного и сдержанного провинциализма к еще более самодовольному, но значительно менее сдержанному империализму,— развитие собственнического инстинкта у эволюционирующей нации. И тому же закону, по-видимому, подчинялось и семейство Форсайтов. Они эволюционировали не только внешне, но и внутренне.

Когда в 1895 году Сьюзен Хэймен, замужняя сестра Форсайтов, последовала за своим супругом в неслыханно раннем возрасте, всего семидесяти четырех лет, и была подвергнута кремации, это, как ни странно, произвело весьма слабое впечатление на шестерых оставшихся в живых старых Форсайтов. Равнодушие это объяснялось тремя причинами. Первая — чуть ли не тайные похороны старого Джолиона в Робин-Хилле в 1892 году, первого из Форсайтов, изменившего фамильному склепу в Хайгете. Эти похороны, последовавшие через год после вполне благопристойных похорон Суизина, вызвали немало толков на Форсайтской Бирже — в доме Тимоти Форсайта в Лондоне на Бэйсуотер-род, являвшемся, как и прежде, средоточием и источником семейных сплетен. Мнения разделились между причитаниями тети Джули и откровенным заявлением Фрэнси, что отлично сделали, положив конец этой теснотище в Хайгете. Впрочем, дядя Джолион в последние годы своей жизни, после странной и печальной истории с женихом своей внучки Джун, молодым Босини, и женой своего племянника Сомса — Ирэн, весьма явно нарушал семейные традиции; и эта его манера неизменно поступать по-своему начала казаться всем своего рода чудачеством. Философская жилка в нем всегда пробивалась сквозь толщу форсайтизма, и в силу этого истинные Форсайты были до некоторой степени подготовлены к его погребению на стороне. Но в общем во всей этой истории было что-

то странное, и когда завещание старого Джолиона стало «ходячей монетой» на Форсайтской бирже, все племя заволновалось. Из своего капитала, представлявшего 143 304 фунта при неоплаченных счетах на сумму 35 фунтов 7 шиллингов 4 пенса, он оставил 15 000 фунтов —«кому бы вы думали, дорогая? *Ирэн!*»— сбежавшей жене своего племянника Сомса, Ирэн, женщине, можно сказать, опозорившей семью и, что самое удивительное, не состоявшей с ним в кровном родстве! Не капитал, конечно, а только проценты, и в пожизненное пользование! Но все-таки; и вот тогда-то права старого Джолиона на звание истинного Форсайта рухнули раз и навсегда. И это была первая причина, почему погребение Сьюзен Хэймен в Уокинге не произвело особенно сильного впечатления.

Вторая причина была уже гораздо более настоятельная и заслуживающая внимания. Сьюзен Хэймен, кроме дома на Кэмден-Хилл, владела еще поместьем в соседнем графстве (доставшемся ей после смерти Хэймена), где мальчики Хэймены совершенствовались в искусстве верховой езды и стрельбы, что, конечно, было очень мило и вызывало всеобщее одобрение; и самый факт, что она являлась собственницей земельных угодий, до некоторой степени оправдывал то, что прах ее был развеян по ветру, хотя каким образом ей взбрела мысль о кремации, этого они никак не могли себе представить. Традиционные приглашения, однако, были разосланы, и Сомс присутствовал на похоронах вместе с молодым Николасом, и завещание всеми было признано вполне удовлетворительным, поскольку это было возможно в данном случае, так как она была только пожизненной владелицей своего состояния и все оно в равных долях беспрепятственно переходило к детям.

Третья причина, почему похороны Сьюзен не произвели особенно сильного впечатления, отличалась, безусловно, наиболее наступательным характером, и ее весьма смело резюмировала бледная, тощая Юфимия: «Я полагаю, что люди имеют право распоряжаться собственным телом даже и после смерти». Подобное заявление дочери Николаса, либерала старой школы и большого деспота, было крайне удивительно: оно явно показывало, сколько воды утекло со времени смерти тети Энн в восемьдесят шестом году, когда право собственности Сомса на тело его жены начало вызывать кое-какие сомнения, что и привело впоследствии к такой катастрофе. Конечно, Юфимия говорила как ребенок, у нее не было никакого опыта, ибо, хотя ей перевалило далеко за тридцать, она все еще носила фамилию Форсайт. Но, даже принимая все это во внимание, ее замечание, несомненно, свидетельствовало о расширении понятия свободы, о децентрализации и о стремлении применить основной принцип собственности прежде всего к самим себе. Когда Николас услышал от тети Эстер о замечании своей дочери, он пришел в негодование: «Ах, эти жены и дочери! Нет пределов их теперешней свободе!» Он, конечно, до сих пор не мог вполне примириться с законом о собственности замужних женщин, который ему доставил бы много неприятностей, не женись он, к счастью, до того, как этот закон вошел в силу. Но поистине трудно было не замечать возмущения молодых Форсайтов тем, что ими кто-то распоряжается, и, подобно стремлению

колоний к самоуправлению, этому парадоксальному предвестию империализма, возмущение это неуклонно прогрессировало. Все они теперь составились семьями, за исключением Джорджа, неизменного приверженца ипподрома и «Айсиум-Клуба», Фрэнси, преуспевавшей на музыкальном поприще в студии на Кингс-род в Челси и по-прежнему появлявшейся на балах со своими поклонниками, Юфимии, живущей с родными и вечно жалующейся на Николаса, и «двух Дромио»— Джайлса и Джесса Хэйменов. Третье поколение было не так уж многочисленно: у молодого Джолиона было трое, у Уинифрид Дарти четверо, у молодого Николаса как-никак шестеро, у молодого Роджера один, у Мэриен Туитимен один, у Сент-Джона Хэймена двое. Но остальные из шестнадцати сочетавшихся браком: Сомс, Рэчел, Сисили — дети Джемса; Юстас и Томас — Роджера; Эрнест, Арчибальд, Флоренс — дети Николаса; Огастос и Эннабел Спендер — дети Хэйменов — жили из года в год, не воспроизводя рода.

От десяти старых Форсайтов произошел двадцать один молодой Форсайт, но у двадцати одного молодого Форсайта было пока только семнадцать потомков, и сколько-нибудь значительное увеличение этого числа уже казалось маловероятным. Любитель статистики, вероятно, отметил бы, что прирост форсайтского потомства изменялся в соответствии с размерами процентов, которые им приносил их капитал. Дед их, «Гордый Доссет» Форсайт, в начале девятнадцатого столетия получал десять процентов и имел, соответственно, десять детей. Эти десять, за исключением четырех, не вступивших в брак, и Джули, супруг которой, Септимус Смолл, не замедлил скончаться, получали в среднем от четырех до пяти процентов и в соответствии с этим и плодились. Двадцать один Форсайт, которых они произвели на свет, теперь едва получали три процента с консолей, переданных им отцами по дарственной во избежание высокого налога на наследство, и у шестерых из них, у которых были дети, родилось семнадцать человек, то есть как раз два и пять шестых на каждого родителя.

Были еще и другие причины этой столь слабой рождаемости. Неуверенность в своей способности зарабатывать деньги, естественная, когда достаток обеспечен, вместе с сознанием, что отцы еще не собираются умирать, делала их осторожными. Когда есть дети, а доход не особенно велик, требования вкуса и комфорта должны неминуемо снизиться: что достаточно для двоих, недостаточно для четверых и так далее; лучше подождать и посмотреть, как поступит отец. Кроме того, приятно жить в свое удовольствие, без помех. В сущности, им гораздо больше нравилось не иметь детей, а распоряжаться самими собой по собственному усмотрению в соответствии со все растущей тенденцией «fin de siècle»[1], как тогда говорили. Таким образом они избегали всякого риска и приобретали возможность завести автомобиль. Действительно, у Юстаса уже был автомобиль, правда, он на нем здорово расшибся и выбил себе глазной зуб, так что, пожалуй, лучше подождать, пока они не станут немножко безопаснее. А пока что — довольно детей! Даже

[1] Конца века *(фр.)*.

то странное, и когда завещание старого Джолиона стало «ходячей монетой» на Форсайтской Бирже, все племя заволновалось. Из своего капитала, представлявшего 145 304 фунта при неоплаченных счетах на сумму 35 фунтов 7 шиллингов 4 пенса, он оставил 15 000 фунтов —«кому бы вы думали, дорогая?— *Ирэн!*»— сбежавшей жене своего племянника Сомса, Ирэн, женщине, можно сказать, опозорившей семью и, что самое удивительное, не состоявшей с ним в кровном родстве! Не капитал, конечно, а только проценты, и в пожизненное пользование! Но все-таки; и вот тогда-то права старого Джолиона на звание истинного Форсайта рухнули раз и навсегда. И это была первая причина, почему погребение Сьюзен Хэймен в Уокинге не произвело особенно сильного впечатления.

Вторая причина была уже гораздо более настоятельная и заслуживающая внимания. Сьюзен Хэймен, кроме дома на Кэмден-Хилл, владела еще поместьем в соседнем графстве (доставшемся ей после смерти Хэймена), где мальчики Хэймены совершенствовались в искусстве верховой езды и стрельбы, что, конечно, было очень мило и вызывало всеобщее одобрение; и самый факт, что она являлась собственницей земельных угодий, до некоторой степени оправдывал то, что прах ее был развеян по ветру, хотя каким образом ей взбрела мысль о кремации, этого они никак не могли себе представить. Традиционные приглашения, однако, были разосланы, и Сомс присутствовал на похоронах вместе с молодым Николасом, и завещание всеми было признано вполне удовлетворительным, поскольку это было возможно в данном случае, так как она была только пожизненной владелицей своего состояния и все оно в равных долях беспрепятственно переходило к детям.

Третья причина, почему похороны Сьюзен не произвели особенно сильного впечатления, отличалась, безусловно, наиболее наступательным характером, и ее весьма смело резюмировала бледная, тощая Юфимия: «Я полагаю, что люди имеют право распоряжаться собственным телом даже и после смерти». Подобное заявление дочери Николаса, либерала старой школы и большого деспота, было крайне удивительно: оно явно показывало, сколько воды утекло со времени смерти тети Энн в восемьдесят шестом году, когда право собственности Сомса на тело его жены начало вызывать кое-какие сомнения, что и привело впоследствии к такой катастрофе. Конечно, Юфимия говорила как ребенок, у нее не было никакого опыта, ибо, хотя ей перевалило далеко за тридцать, она все еще носила фамилию Форсайт. Но, даже принимая все это во внимание, ее замечание, несомненно, свидетельствовало о расширении понятия свободы, о децентрализации и о стремлении применить основной принцип собственности прежде всего к самим себе. Когда Николас услышал от тети Эстер о замечании своей дочери, он пришел в негодование: «Ах, эти жены и дочери! Нет пределов их теперешней свободе!» Он, конечно, до сих пор не мог вполне примириться с законом о собственности замужних женщин, который ему доставил бы много неприятностей, не женись он, к счастью, до того, как этот закон вошел в силу. Но поистине трудно было не замечать возмущения молодых Форсайтов тем, что ими кто-то распоряжается, и, подобно стремлению

колоний к самоуправлению, этому парадоксальному предвестию империализма, возмущение это неуклонно прогрессировало. Все они теперь обзавелись семьями, за исключением Джорджа, неизменного приверженца ипподрома и «Айсиум-Клуба», Фрэнси, преуспевавшей на музыкальном поприще в студии на Кингс-род в Челси и по-прежнему появлявшейся на балах со своими поклонниками, Юфимии, живущей с родными и вечно жалующейся на Николаса, и «двух Дромио»— Джайлса и Джесса Хэйменов. Третье поколение было не так уж многочисленно: у молодого Джолиона было трое, у Уинифрид Дарти четверо, у молодого Николаса как-никак шестеро, у молодого Роджера один, у Мэриен Туитимен один, у Сент-Джона Хэймена двое. Но остальные из шестнадцати сочетавшихся браком: Сомс, Рэчел, Сисили — дети Джемса; Юстас и Томас — Роджера; Эрнест, Арчибальд, Флоренс — дети Николаса; Огастос и Эннабел Спендер — дети Хэйменов — жили из года в год, не воспроизводя рода.

От десяти старых Форсайтов произошел двадцать один молодой Форсайт, но у двадцати одного молодого Форсайта было пока только семнадцать потомков, и сколько-нибудь значительное увеличение этого числа уже казалось маловероятным. Любитель статистики, вероятно, отметил бы, что прирост форсайтского потомства изменялся в соответствии с размерами процентов, которые им приносил их капитал. Дед их, «Гордый Доссет» Форсайт, в начале девятнадцатого столетия получал десять процентов и имел, соответственно, десять детей. Эти десять, за исключением четырех, не вступивших в брак, и Джули, супруг которой, Септимус Смолл, не замедлил скончаться, получали в среднем от четырех до пяти процентов и в соответствии с этим и плодились. Двадцать один Форсайт, которых они произвели на свет, теперь едва получали три процента с консолей, переданных им отцами по дарственной во избежание высокого налога на наследство, и у шестерых из них, у которых были дети, родилось семнадцать человек, то есть как раз два и пять шестых на каждого родителя.

Были еще и другие причины этой столь слабой рождаемости. Неуверенность в своей способности зарабатывать деньги, естественная, когда достаток обеспечен, вместе с сознанием, что отцы еще не собираются умирать, делала их осторожными. Когда есть дети, а доход не особенно велик, требования вкуса и комфорта должны неминуемо снизиться: что достаточно для двоих, недостаточно для четверых и так далее; лучше подождать и посмотреть, как поступит отец. Кроме того, приятно жить в свое удовольствие, без помех. В сущности, им гораздо больше нравилось не иметь детей, а распоряжаться самими собой по собственному усмотрению в соответствии со все растущей тенденцией «fin de siècle»[1], как тогда говорили. Таким образом они избегали всякого риска и приобретали возможность завести автомобиль. Действительно, у Юстаса уже был автомобиль, правда, он на нем здорово расшибся и выбил себе глазной зуб, так что, пожалуй, лучше подождать, пока они не станут немножко безопаснее. А пока что — довольно детей! Даже

[1] Конца века *(фр.)*.

молодой Николас забастовал и за три года к своим шестерым не прибавил ни одного.

Тем не менее упадок корпоративного чувства у Форсайтов, вернее, их разобщенность, симптомы которой были налицо, не помешали им собраться, когда в 1899 году умер Роджер Форсайт. Лето простояло прекрасное; после поездок за границу или на курорты все они уже вернулись в Лондон, как вдруг Роджер, со свойственной ему оригинальностью, весьма неожиданно скончался у себя дома на Принсез-Гарденс. У Тимоти грустно шушукались, что бедняга Роджер всегда был несколько эксцентричен в еде,— кто, как не он, предпочитал немецкую баранину всякой другой?

Как бы там ни было, его похороны в Хайгете прошли вполне благопристойно, и, возвращаясь с них, Сомс Форсайт почти машинально направился к дяде Тимоти на Бэйсуотер-род. «Старушкам»— тете Джули и тете Эстер — будет интересно послушать про похороны. Джемс, его отец, в восемьдесят восемь лет не в состоянии был присутствовать на столь утомительной церемонии, а Тимоти, конечно, не поехал, так что из братьев присутствовал только Николас. Но все-таки народу собралось достаточно, и тетям Джули и Эстер приятно будет узнать об этом. К этому доброму желанию примешивалось непреодолимое стремление извлечь что-нибудь полезное и для себя из всего, что ни делаешь,— наиболее характерная черта всех Форсайтов, как, впрочем, и всех здравомыслящих людей каждой нации. Привычку являться со всякими семейными делами к Тимоти на Бэйсуотер-род Сомс перенял от отца, имевшего обыкновение, по крайней мере, раз в неделю навещать своих сестер у Тимоти и изменившего этому правилу, только когда ему стукнуло восемьдесят шесть лет и он утратил силы настолько, что не выезжал один без Эмили. А бывать там с Эмили не имело никакого смысла: ну можно ли толком поговорить в присутствии собственной жены? Как, бывало, Джемс, Сомс теперь почти каждое воскресенье находил время зайти к ним и посидеть в маленькой гостиной, где благодаря его авторитетному вкусу произошли кое-какие перемены: появился фарфор, правда, не вполне отвечающий его собственным высоким требованиям, а на рождестве он подарил им две картины сомнительных барбизонцев. Сам он чрезвычайно выгодно разделался со своими барбизонцами и вот уже несколько лет как перешел к братьям Мэрис, Израэльсу, Мауве и надеялся разделаться с ними еще более выгодно. В его загородном доме на берегу реки близ Мейплдерхема, где он теперь жил, у него была галерея, в которой картины были искусно развешаны и прекрасно освещены; редко кто из лондонских продавцов не побывал в этой галерее. Она служила также приманкой для гостей, которых его сестры Уинифрид и Рэчел привозили к нему время от времени по воскресеньям. И хотя он был весьма неразговорчивым гидом, его спокойный, сдержанный детерминизм обычно производил впечатление на гостей, которые знали, что его репутация коллекционера основана не на пустой эстетической прихоти, а на способности угадывать рыночную будущность картины. Когда он приходил к Тимоти, у него почти всегда был наготове рассказ о победе, которую он одержал над тем или иным скупщиком, и он очень любил

в «Шелтере» близ Мейплдерхема. На Форсайтской Бирже и среди его загородных знакомых распространится слух, что он во время путешествия познакомился с очаровательной молодой француженкой и женился на ней. Женитьба на француженке — в этом есть известный cachet[1], это может показаться романтичным. Это его не страшило. Вот только его проклятое положение неразведенного мужа и неизвестность, согласится ли Аннет выйти за него,— этого вопроса он не решался касаться до тех пор, пока не будет в состоянии предложить ей вполне определенное и даже блестящее будущее.

Сидя в гостиной у своих теток, он рассеянно, краем уха слушал обычные вопросы: как здоровье его дорогого батюшки? Он, разумеется, не выходит из дому, ведь теперь уже становится свежо? Сомс должен непременно передать ему, что от этой боли в боку Эстер очень помог отвар остролистника: припарки через каждые три часа, потом укутаться в красную фланель. И, может быть, ему понравится — они приготовили для него совсем маленькую баночку их лучшего варенья из чернослива — оно в этом году на редкость удалось и действует замечательно. Ах, да, насчет Дарти, слышал ли Сомс, что у милочки Уинифрид большие неприятности с Монтегью? Тимоти полагает, что кто-нибудь должен вмешаться в это и заступиться за нее. Говорят — но пусть Сомс не считает это за совершенно достоверное,— что он подарил драгоценности Уинифрид какой-то ужасной танцовщице. Какой пример для юного Вэла, да еще как раз теперь, когда мальчик поступает в университет! И Сомс ничего не слышал об этом! Ах, ну, он непременно должен навестить сестру и узнать, в чем дело. А как он думает, эти буры действительно будут воевать? Тимоти ужасно беспокоится. Консоли стоят так высоко, и у него столько денег вложено в них. Как Сомс думает, они непременно должны упасть, если будет война? Сомс кивнул. Но ведь это, конечно, очень скоро кончится. Для Тимоти было бы ужасно, если бы это затянулось. И милому батюшке Сомса это было бы очень тяжело в его возрасте. К счастью, дорогой Роджер избавлен от этого ужасного испытания. И тетя Джули смахнула носовым платочком большую слезу, пытавшуюся взобраться на неизменную припухлость на ее левой, теперь уж совершенно дряблой щеке: она вспомнила милого Роджера, какой он был выдумщик и как он любил тыкать ее булавками, когда они были совсем маленькие. Тут тетя Эстер, инстинктивно избегавшая всего неприятного, быстро переменила разговор: а как Сомс думает, мистера Чемберлена скоро сделают премьер-министром? Он бы мигом все это уладил. И она так была бы рада, если бы этого старого Крюгера сослали на остров Святой Елены. Она так хорошо помнит, как пришло известие о смерти Наполеона и как дедушка был доволен. Разумеется, они с Джули —«мы тогда бегали в панталончиках, мой милый»— не много в этом смыслили.

Сомс взял протянутую ему чашку чаю и быстро выпил ее, закусив тремя миндальными бисквитиками, которыми славился дом Тимоти. Его бледная презрительная улыбка выступила отчетливее. Нет, правда же,

---

[1] Печать изысканности *(фр.)*.

его родственники остались безнадежными провинциалами, хоть и владеют чуть не целым Лондоном. Подумать только, старый Николас попрежнему еще фритредер и член этой допотопной твердыни либерализма — клуба «Смена», хотя, само собой разумеется, почти все члены этого клуба теперь консерваторы, иначе он и сам бы не мог в него вступить, а Тимоти, говорят, все еще надевает ночной колпак. Тетя Джули опять заговорила. Милый Сомс так хорошо выглядит, ни чуточки не постарел с тех пор, как умерла дорогая тетя Энн; как они все тогда собрались вместе: дорогой Джолион, дорогой Суизин и дорогой Роджер. Она остановилась и смахнула слезу, которая на этот раз всползла на припухлость правой щеки. Слышал ли он... слышал он что-нибудь об Ирэн? Тетя Эстер красноречиво передернула плечами. Право же, Джули всегда что-нибудь скажет! Улыбка сбежала с лица Сомса, и он поставил чашку на стол. Ну вот, они сами коснулись того, о чем он думал заговорить, но, как ему ни хотелось открыться, он не в состоянии был воспользоваться предложенной ему возможностью.

Тетя Джули поспешно продолжала:

— Говорят, милый Джолион оставил ей эти пятнадцать тысяч сначала в полную собственность, но потом он, разумеется, решил, что это неудобно, и переписал в пожизненное пользование.

Слышал ли это Сомс? Сомс кивнул.

— Твой кузен Джолион теперь вдовец. Он ведь ее попечитель, ты, конечно, знаешь об этом?

Сомс покачал головой. Он знал, но не хотел, чтобы они думали, что это его интересует. Он не виделся с молодым Джолионом со дня смерти Босини.

— Он, должно быть, теперь уже совсем пожилой,— задумчиво продолжала тетя Джули.— Позвольте-ка, он родился, когда твой дорогой дядюшка жил на Маунт-стрит, задолго до того, как они поселились на Стэнхоп-гейт — в декабре сорок седьмого года, как раз перед этой ужасной революцией. Да, ему уж за пятьдесят! Подумать только! Такой хорошенький мальчик, мы все так гордились им, он ведь первый был.

Тетя Джули вздохнула, и прядь ее — правда, не совсем ее — волос выбилась из прически и повисла, так что тетя Эстер даже вздрогнула. Сомс встал; он сделал удивительное открытие. Старая рана, нанесенная его гордости, его самоуважению, не зажила. Он шел сюда, думая, что сможет заговорить об этом; он даже хотел поговорить о своем затруднительном положении, и — вот! Он бежит от этих напоминаний тети Джули, прославившейся тем, что она всегда говорит некстати.

О, разве Сомс уже уходит? Сомс улыбнулся чуть-чуть мстительно и сказал:

— Да. До свидания. Кланяйтесь дяде Тимоти.

И, приложившись холодным поцелуем к обоим лбам с бесчисленными морщинками, которые, казалось, льнули и липли к его губам, словно томясь желанием быть разглаженными его поцелуем, он вышел, провожаемый ласковыми взглядами. Дорогой Сомс, как это мило, что он зашел сегодня, когда они чувствуют себя не совсем...

С щемящим чувством раскаяния Сомс спустился по лестнице, где

всегда стоял приятный запах камфары, портвейна и дома, в котором запрещены сквозняки. Бедные старушки — он не хотел их обидеть! На улице он тотчас же позабыл о них, снова охваченный воспоминаниями об Аннет и мыслью о проклятых путах, связывающих его. Почему он тогда же не покончил с этим, не добился развода, когда этот несчастный Босини попал под колеса,— ведь у него было сколько угодно улик! Свернув, он направился к своей сестре Уинифрид Дарти на Грин-стрит, Мэйфэр.

II

СВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК УХОДИТ СО СЦЕНЫ

То, что светский человек, столь подверженный превратностям судьбы, как Монтегью Дарти, все еще жил в доме, в котором он прожил, по крайней мере, двадцать лет, было бы много более удивительно, если бы арендная плата, налоги и ремонт этого дома не оплачивались его тестем. Этим простым и в некотором роде коммерческим способом Джемс Форсайт обеспечил своей дочери и внукам известную устойчивость существования. В конце концов, есть нечто действительно неоценимое в надежной крыше над головой такого стремительного спортсмена, как Дарти. Вплоть до событий, разыгравшихся за эти последние дни, он целый год вел себя неестественно мирно. Секрет был в том, что он приобрел на половинных началах кобылу Джорджа Форсайта, который, к ужасу Роджера, ныне успокоившегося в могиле, неуклонно продолжал играть на скачках. Запонка, дочь Страдальца и Огненной Сорочки и внучка Подвязки, была гнедая кобыла трех лет от роду, которая по ряду причин еще ни разу не обнаружила своей истинной формы. Когда Дарти почувствовал себя полообладателем этого подающего высокие надежды животного, весь его идеализм, скрытый где-то глубоко в нем, как и во всяком другом человеке, ожил и в течение долгих месяцев помогал ему держаться с пламенной стойкостью. Когда у человека появляется надежда на что-то хорошее, ради чего стоит жить, удивительно, до чего он может стать трезвым, а то, что было у Дарти, было безусловно хорошо: три к одному на осеннем гандикапе, при котировке двадцать пять к одному. Допотопный рай был просто убожеством по сравнению с этим — все надежды Дарти держались на Запонке от Огненной Сорочки. И не одни надежды — куда больше зависело от этого отпрыска Подвязки! В сорок пять лет, в этом беспокойном возрасте, опасном для Форсайтов — и хотя, может быть, менее отличающемся от какого-либо другого возраста для Дарти, но все же опасном и для них,— Монтегью избрал объектом своих неугомонных прихотей некую танцовщицу. Это было серьезное увлечение; но без денег, и при этом без порядочного количества денег, любовь их грозила остаться не менее эфемерной, чем ее балетные юбочки, а у Дарти никогда не было денег; он влачил жалкое существование на то, что ему удавалось выпросить или занять у Уинифрид, женщины с характером, которая терпела его, потому что он был отцом ее детей и из чувства еще не совсем угасшего восхищения перед этими ныне исчезающими чарами с Уордер-стрит, пленившими ее

в юности. Она и всякий, кто способен был дать ему взаймы, да еще его проигрыши в карты и на скачках (удивительно, как некоторые люди умеют извлекать выгоду из своих проигрышей) были единственным источником его доходов; Джемс стал слишком стар и раздражителен, чтобы к нему можно было подъехать, а Сомс был чудовищно неприступен. Можно сказать без всякого преувеличения, что Дарти в продолжение нескольких месяцев жил одной надеждой. Он никогда не любил деньги ради денег и презирал Форсайтов с их увлечением инвестициями, хотя и старался извлечь из них пользу, елико возможно. Он ценил в деньгах то, что на них можно купить,— ощущения.

— Истинный спортсмен не интересуется деньгами,— обычно говорил он, занимая двадцать пять фунтов, когда не было смысла пытаться занять пятьсот. Было что-то восхитительное в Монтегью Дарти. Он был, как говорил Джордж Форсайт, истинный «одуванчик».

Утро того дня, в который должны были состояться скачки, взошло ясное, светлое,— утро последнего сентябрьского дня; Дарти, накануне приехавший в Ньюмаркет, облачился в безупречный клетчатый костюм и поднялся на пригорок взглянуть, как его половину кобылы показывают на легком галопе. Если она придет — три тысячи чистоганом у него в кармане, скромная награда за терпение и трезвость всех этих месяцев надежд, пока ее готовили к состязанию. Но поставить больше он был не в состоянии. Может, ему переуступить свою ставку, а разницу поставить в восьми к одному, как она котируется сегодня? Только одна эта мысль и занимала его, пока он стоял на пригорке, и жаворонки пели над ним, и холмы, поросшие травой, благоухали, а хорошенькая кобылка, вскидывая голову, прохаживалась внизу, лоснящаяся, как атлас. В конце концов, если он проиграет, платить будет не он, а если переуступит и поставит в восьми к одному, выигрыш его сократится до полутора тысяч — сумма едва ли достаточная, чтобы приобрести танцовщицу. Но еще сильнее подзадоривал его присущий всем Дарти азарт игрока. И, повернувшись к Джорджу, он сказал:

— Лошадка классная. Она возьмет, можно ручаться. Ставлю в лоб, на первое место.

Джордж, который поставил и в том и в другом заезде и еще в нескольких других и рассчитывал выиграть, как бы ни повернулось дело, усмехнулся с высоты своего внушительного роста и сказал только: «Хо! Хо! Пошел, голубчик!»— потому что после тяжелой школы, которую он прошел на деньги вечно сокрушавшегося Роджера, его форсайтская натура теперь помогала ему входить в роль собственника.

Бывают в жизни людей минуты разочарования, которые чувствительный повествователь не решится описывать. Достаточно сказать, что дело провалилось. Запонка не пришла. Надежды Дарти рухнули.

В промежуток времени между этими событиями и днем, когда Сомс направился на Грин-стрит, чего только не произошло!

Когда человек с характером Монтегью Дарти занимается в течение нескольких месяцев самообузданием с благочестивыми целями и не получает награды, он не умирает, проклиная бога, а проклинает бога и остается жить на горе своему семейству.

Уинифрид, отважная, хотя и несколько слишком светская женщина, терпеливо выдерживавшая неприятельский натиск своего супруга ровно двадцать один год, никогда не могла себе представить, что он дойдет до того, до чего он дошел. Подобно многим женам, она считала, что уже испытала самое худшее; но она еще не знала его сорокапятилетним, когда он, как и другие мужчины в эти годы, почувствовал: «Теперь или никогда». Заглянув второго октября в свою шкатулку с драгоценностями, она пришла в ужас, обнаружив исчезновение венца и гордости своей женской славы — жемчугов, которые Монтегью подарил ей в восемьдесят шестом году, когда родился Бенедикт, и за которые Джемс весной восемьдесят седьмого года принужден был заплатить во избежание скандала. Она сейчас же заявила об этом своему супругу. Он пренебрежительно фыркнул: «Найдутся!» И только после того, как она резко сказала: «Отлично, Монти, в таком случае я сама пойду в Скотленд-Ярд»,— он согласился заняться этим делом. Увы, случается иногда, что серьезное и стойкое намерение осуществить великое дело неожиданно нарушается выпивкой. Когда Дарти ночью вернулся домой, море ему было по колено и утаить что-либо он был совершенно не в состоянии. В обычных условиях Уинифрид просто заперлась бы на ключ, предоставив ему проспаться, но мучительное беспокойство о судьбе жемчугов заставило ее дождаться его. Вынув из кармана маленький револьвер и опершись на обеденный стол, он тут же заявил ей, что ему совершенно наплевать, ж-живет она или н-не живет, покуда она не скандалит; но что сам он устал — от жизни. Уинифрид, стоя по другую сторону стола, ответила:

— Перестань паясничать, Монти. Ты был в Скотленд-Ярде?

Приставив к груди револьвер, Дарти несколько раз нажал гашетку. Револьвер оказался незаряженным. С проклятием бросив его на пол, он пробормотал:

— Р-ради детей!— и упал в кресло.

Уинифрид подобрала револьвер и дала Дарти содовой воды. Напиток оказал на него магическое действие. Жизнь его з-загублена. Уинифрид его н-никогда не п-понимала. Если он не имеет права взять ж-жемчуг, который он ей с-сам подарил, то кто же имеет? Он у той девочки, у испанки. Если Уинифрид в-возражает, он ей перережет горло. А что тут такого? (Так, должно быть, возникло это знаменитое выражение, ибо темны источники даже самых классических изречений.)

Уинифрид, которая прошла суровую школу искусства владеть собой, посмотрела на него и сказала:

— Девочка? Испанка? Ты хочешь сказать, эта девка, которую мы видели в «Пандемониуме»? Ну что же, значит, ты — вор и мерзавец.

Это была последняя капля, переполнившая болезненно-отягченное сознание; вскочив с кресла, Дарти схватил жену за руку и, вспомнив подвиги своего детства, начал выворачивать ей пальцы. Уинифрид выдержала мучительную боль со слезами на глазах, но не проронив ни звука. Улучив минуту, когда он ослабел, она выдернула руку; потом, встав снова по ту сторону стола, сказала сквозь зубы:

— Ты, Монти, предел всему. (Несомненно, это выражение употреблялось впервые — так-то под влиянием обстоятельств формируется язык.)

Оставив Дарти, у которого на темных усах выступила пена, Уинифрид поднялась к себе, заперлась на ключ, подержала руку в горячей воде, потом легла и всю ночь, не смыкая глаз, думала о своих жемчугах, украшающих шею другой, и о том внимании, которым был, по-видимому, награжден за это ее супруг.

Светский человек проснулся с чувством, что он погиб для света, смутно вспоминая, что его, кажется, назвали «пределом». Он с полчаса просидел в том самом кресле, где он проспал ночь,— это были, вероятно, самые несчастные полчаса в его жизни, потому что даже для Дарти конец представляет собой нечто трагическое, а он понимал, что дошел до конца. Никогда больше не будет он спать у себя в столовой и просыпаться с рассветом, пробивающимся сквозь занавеси, купленные Уинифрид у Никкенса и Джарвейса на деньги Джемса. Никогда больше не будет он, приняв горячую ванну, есть крепко наперченные почки за этим столом палисандрового дерева. Он достал из кармана фрака бумажник. Там было четыреста фунтов в пяти- и десятифунтовых бумажках — остаток суммы за проданную им накануне Джорджу Форсайту половину кобылы, к которой тот, изрядно выиграв в нескольких заездах, не проникся, подобно Дарти, внезапным отвращением. Послезавтра балетная труппа отправляется в Буэнос-Айрес, и он с ними. За жемчуг с ним не расплатились; все еще кормили закуской.

Он тихонько поднялся наверх. Не осмеливаясь принять ванну и побриться (к тому же вода, конечно, холодная) он переоделся и бесшумно уложил все, что мог. Жалко было оставлять столько сверкающих лаком ботинок, но чем-нибудь всегда приходится жертвовать. Неся в каждой руке по чемодану, он вышел на площадку лестницы. В доме было совсем тихо, в доме, где у него родилось четверо детей. Странное это было ощущение — стоять у дверей спальни жены, в которую он когда-то был влюблен, если и не любил, и которая назвала его «пределом». Он ожесточил себя, повторив ее фразу, и на цыпочках пошел дальше; но пройти мимо следующей двери было тяжело. Это была спальня его дочерей. Мод в школе, но Имоджин сейчас лежит там, и осовевшие глаза Дарти увлажнились. Из всех четверых она больше всех была похожа на него своими темными волосами и томными черными глазами. Только еще распускается, прелестная крошка! Он опустил на пол оба чемодана. Это почти формальное отречение от своих отцовских прав было для него очень мучительно. Утренний свет падал на лицо, искаженное истинным волнением. Не какое-либо ложное чувство раскаяния обуревало его, но естественное отцовское чувство и грустное сознание «никогда больше». Он провел языком по губам, и полная нерешительность парализовала на мгновение его ноги в клетчатых брюках. Тяжело, так тяжело, когда человек вынужден покинуть свой родной дом!

— Проклятье!— пробормотал он.— Я никогда не думал, что до этого дойдет.

245965

Уинифрид, отважная, хотя и несколько слишком сл
терпеливо выдерживавшая неприятельский натиск сво
двадцать один год, никогда не могла себе представить,
того, до чего он дошел. Подобно многим женам, она
испытала самое худшее; но она еще не знала его с
когда он, как и другие мужчины в эти годы, почувств
никогда». Заглянув второго октября в свою шкатулку
ми, она пришла в ужас, обнаружив исчезновение венца
женской славы — жемчугов, которые Монтегью подар
сят шестом году, когда родился Бенедикт, и за котор
восемьдесят седьмого года принужден был заплати
скандала. Она сейчас же заявила об этом своему супр
жительно фыркнул: «Найдутся!» И только после тог
сказала: «Отлично, Монти, в таком случае я сама по
Ярд»,— он согласился заняться этим делом. Увы, слу
серьезное и стойкое намерение осуществить великое
нарушается выпивкой. Когда Дарти ночью вернулся
было по колено и утаить что-либо он был совершенн
В обычных условиях Уинифрид просто заперлась бы н
вив ему проспаться, но мучительное беспокойство о су
ставило ее дождаться его. Вынув из кармана мал
и опершись на обеденный стол, он тут же заявил ей, чт
наплевать, ж-живет она или н-не живет, покуда она не
сам он устал — от жизни. Уинифрид, стоя по другую
ветила:

— Перестань паясничать, Монти. Ты был в Скот

Приставив к груди револьвер, Дарти несколько ра
Револьвер оказался незаряженным. С проклятием бро
пробормотал:

— Р-ради детей!— и упал в кресло.

Уинифрид подобрала револьвер и дала Дарти содов
оказал на него магическое действие. Жизнь его з-загу
его н-никогда не п-понимала. Если он не имеет права
который он ей с-сам подарил, то кто же имеет? Он у
панки. Если Уинифрид в-возражает, он ей перережет
такого? (Так, должно быть, возникло это знаменито
темны источники даже самых классических изречени

Уинифрид, которая прошла суровую школу искусс
посмотрела на него и сказала:

— Девочка? Испанка? Ты хочешь сказать, эта д
видели в «Пандемониуме»? Ну что же, значит, ты —

Это была последняя капля, переполнившая болез
сознание; вскочив с кресла, Дарти схватил жену за рук
двиги своего детства, начал выворачивать ей пальцы.
жала мучительную боль со слезами на глазах, но не п
Улучив минуту, когда он ослабел, она выдернула руку;
ва по ту сторону стола, сказала сквозь зубы:

— Ты, Монти, предел всему. (Несомненно, это выражение употреблялось впервые — так-то под влиянием обстоятельств формируется язык.)

Оставив Дарти, у которого на темных усах выступила пена, Уинифрид поднялась к себе, заперлась на ключ, подержала руку в горячей воде, потом легла и всю ночь, не смыкая глаз, думала о своих жемчугах, украшающих шею другой, и о том внимании, которым был, по-видимому, награжден за это ее супруг.

Светский человек проснулся с чувством, что он погиб для света, смутно вспоминая, что его, кажется, назвали «пределом». Он с полчаса просидел в том самом кресле, где он проспал ночь,— это были, вероятно, самые несчастные полчаса в его жизни, потому что даже для Дарти конец представляет собой нечто трагическое, а он понимал, что дошел до конца. Никогда больше не будет он спать у себя в столовой и просыпаться с рассветом, пробивающимся сквозь занавеси, купленные Уинифрид у Никкенса и Джарвейса на деньги Джемса. Никогда больше не будет он, приняв горячую ванну, есть крепко наперченные почки за этим столом палисандрового дерева. Он достал из кармана фрака бумажник. Там было четыреста фунтов в пяти- и десятифунтовых бумажках — остаток суммы за проданную им накануне Джорджу Форсайту половину кобылы, к которой тот, изрядно выиграв в нескольких заездах, не проникся, подобно Дарти, внезапным отвращением. Послезавтра балетная труппа отправляется в Буэнос-Айрес, и он с ними. За жемчуг с ним не расплатились; все еще кормили закуской.

Он тихонько поднялся наверх. Не осмеливаясь принять ванну и побриться (к тому же вода, конечно, холодная) он переоделся и бесшумно уложил все, что мог. Жалко было оставлять столько сверкающих лаком ботинок, но чем-нибудь всегда приходится жертвовать. Неся в каждой руке по чемодану, он вышел на площадку лестницы. В доме было совсем тихо, в доме, где у него родилось четверо детей. Странное это было ощущение — стоять у дверей спальни жены, в которую он когда-то был влюблен, если и не любил, и которая назвала его «пределом». Он ожесточил себя, повторив ее фразу, и на цыпочках пошел дальше; но пройти мимо следующей двери было тяжело. Это была спальня его дочерей. Мод в школе, но Имоджин сейчас лежит там, и осовевшие глаза Дарти увлажнились. Из всех четверых она больше всех была похожа на него своими темными волосами и томными черными глазами. Только еще распускается, прелестная крошка! Он опустил на пол оба чемодана. Это почти формальное отречение от своих отцовских прав было для него очень мучительно. Утренний свет падал на лицо, искаженное истинным волнением. Не какое-либо ложное чувство раскаяния обуревало его, но естественное отцовское чувство и грустное сознание «никогда больше». Он провел языком по губам, и полная нерешительность парализовала на мгновение его ноги в клетчатых брюках. Тяжело, так тяжело, когда человек вынужден покинуть свой родной дом!

— Проклятье!— пробормотал он.— Я никогда не думал, что до этого дойдет.

Харьковская ... 245965

Уинифрид, отважная, хотя и несколько слишком светская женщина, терпеливо выдерживавшая неприятельский натиск своего супруга ровно двадцать один год, никогда не могла себе представить, что он дойдет до того, до чего он дошел. Подобно многим женам, она считала, что уже испытала самое худшее; но она еще не знала его сорокапятилетним, когда он, как и другие мужчины в эти годы, почувствовал: «Теперь или никогда». Заглянув второго октября в свою шкатулку с драгоценностями, она пришла в ужас, обнаружив исчезновение венца и гордости своей женской славы — жемчугов, которые Монтегью подарил ей в восемьдесят шестом году, когда родился Бенедикт, и за которые Джемс весной восемьдесят седьмого года принужден был заплатить во избежание скандала. Она сейчас же заявила об этом своему супругу. Он пренебрежительно фыркнул: «Найдутся!» И только после того, как она резко сказала: «Отлично, Монти, в таком случае я сама пойду в Скотленд-Ярд»,— он согласился заняться этим делом. Увы, случается иногда, что серьезное и стойкое намерение осуществить великое дело неожиданно нарушается выпивкой. Когда Дарти ночью вернулся домой, море ему было по колено и утаить что-либо он был совершенно не в состоянии. В обычных условиях Уинифрид просто заперлась бы на ключ, предоставив ему проспаться, но мучительное беспокойство о судьбе жемчугов заставило ее дождаться его. Вынув из кармана маленький револьвер и опершись на обеденный стол, он тут же заявил ей, что ему совершенно наплевать, ж-живет она или н-не живет, покуда она не скандалит; но что сам он устал — от жизни. Уинифрид, стоя по другую сторону стола, ответила:

— Перестань паясничать, Монти. Ты был в Скотленд-Ярде?

Приставив к груди револьвер, Дарти несколько раз нажал гашетку. Револьвер оказался незаряженным. С проклятием бросив его на пол, он пробормотал:

— Р-ради детей!— и упал в кресло.

Уинифрид подобрала револьвер и дала Дарти содовой воды. Напиток оказал на него магическое действие. Жизнь его з-загублена. Уинифрид его н-никогда не п-понимала. Если он не имеет права взять ж-жемчуг, который он ей с-сам подарил, то кто же имеет? Он у той девочки, у испанки. Если Уинифрид в-возражает, он ей перережет горло. А что тут такого? (Так, должно быть, возникло это знаменитое выражение, ибо темны источники даже самых классических изречений.)

Уинифрид, которая прошла суровую школу искусства владеть собой, посмотрела на него и сказала:

— Девочка? Испанка? Ты хочешь сказать, эта девка, которую мы видели в «Пандемониуме»? Ну что же, значит, ты — вор и мерзавец.

Это была последняя капля, переполнившая болезненно-отягченное сознание; вскочив с кресла, Дарти схватил жену за руку и, вспомнив подвиги своего детства, начал выворачивать ей пальцы. Уинифрид выдержала мучительную боль со слезами на глазах, но не проронив ни звука. Улучив минуту, когда он ослабел, она выдернула руку; потом, встав снова по ту сторону стола, сказала сквозь зубы:

По шуму наверху он понял, что прислуга встает; и, схватив оба чемодана, на цыпочках стал спускаться по лестнице. Щеки его были влажны от слез, и это несколько утешало его, словно подтверждая искренность его жертвы. Он задержался немного внизу, чтобы уложить все свои сигары, кое-какие бумаги, шапокляк, серебряный портсигар, путеводитель Рэффа. Потом, налив стакан виски с содовой водой и закурив папироску, он остановился в нерешительности перед фотографией в серебряной рамке, изображавшей обеих его дочерей. Фотография принадлежала Уинифрид.

«Ничего,— подумал он,— она может их снять еще раз, а я не могу!»— и сунул ее в чемодан. Потом, надев шляпу, пальто и прихватив еще два пальто, свою лучшую бамбуковую трость и зонтик, он отпер входную дверь. Бесшумно закрыв ее за собой, он вышел на улицу, нагруженный, как никогда в жизни, и свернул за угол подождать, пока покажется ранний утренний кеб.

Так на сорок пятом году жизни Монтегью Дарти покинул дом, который он называл своим.

Когда Уинифрид сошла вниз и обнаружила, что его нет, первым ее чувством была глухая злоба, что вот он улизнул от ее упреков, которые она в эти долгие бессонные часы тщательно припасала для него. Конечно, он уехал в Ньюмаркет или в Брайтон и, наверно, с этой женщиной. Какая гадость! Вынужденная сдерживаться перед Имоджин и прислугой и чувствуя, что нервы ее отца не выдержат этой истории, она не утерпела и днем отправилась к Тимоти, чтобы под великим секретом рассказать теткам Джули и Эстер о пропаже жемчуга. Только на следующее утро она заметила исчезновение фотографии. Что это могло значить? Тщательное обследование остатков имущества ее супруга убедило ее в том, что он уехал без намерения вернуться. Когда это убеждение окончательно окрепло, она, стоя посреди спальни среди выдвинутых со всех сторон ящиков, попыталась уяснить себе, что она собственно чувствует. Это было очень нелегко! Хотя Монти и был «пределом», он все же был ее собственностью, и она при всем желании не могла не чувствовать себя обедневшей. Остаться вдовой и в то же время не совсем вдовой в сорок два года, с четырьмя детьми! Сделаться предметом сплетен, соболезнований! Кинулся в объятия испанской девки! Воспоминания, чувства, которые она считала давно угасшими, ожили в ней, мучительные, цепкие, злые. Машинально задвинула она один ящик за другим, прошла к себе в спальню, легла на кровать и зарылась лицом в подушку. Она не плакала. Что пользы плакать? Когда она встала, чтобы сойти вниз к завтраку, она почувствовала, что утешить ее могло бы только одно: присутствие Вэла. Вэл, ее старший сын, который через месяц должен был поступить в Оксфорд на средства Джемса, сейчас находился в Литлхэмтоне, где преодолевал последние барьеры со своим репетитором, галопом готовясь к экзаменам, как говорил он, заимствуя выражение у отца. Она распорядилась, чтобы ему дали телеграмму.

— Мне надо заняться его костюмами,— сказала она Имоджин.— Я не могу отправить его в Оксфорд одетым кое-как. Там на это очень обращают внимание.

— У Вэла масса костюмов,— ответила Имоджин.

— Я знаю, но их нужно пересмотреть, привести в порядок. Я надеюсь, что он приедет.

— Можешь быть уверена, мама, пулей примчится. Но только он, вероятно, провалится на экзамене.

— Тут уж я ничего не могу поделать,— сказала Уинифрид.— Мне нужно, чтобы он был здесь.

Кинув на мать невинно-проницательный взгляд, Имоджин промолчала. Конечно, тут замешан отец. В шесть часов Вэл действительно «примчался пулей».

Представьте себе помесь Форсайта с повесой — это и будет юный Публиус Валериус Дарти. Из юноши с таким именем вряд ли могло получиться что-нибудь иное. Когда он родился, Уинифрид, пылая возвышенными чувствами и жаждой оригинальности, решила, что назовет своих детей так, как еще никто не называл. (Какое счастье,— думала она теперь, что она не назвала Имоджин Фисбой.) Но имя Вэла было изобретением Джорджа Форсайта, который всегда слыл остряком. Случилось так, что Дарти, спустя несколько дней после рождения своего сына и наследника, обедал с Джорджем и рассказал ему о высоких замыслах Уинифрид.

— Назовите его Катон,— сказал Джордж,— это будет здорово пикантно.

Он как раз в этот день выиграл десятку на лошадь, которая так называлась.

— Катон!— повторил Дарти. (Они были слегка навеселе, как принято было говорить даже и в то время.) — Это не христианское имя.

— Эй!— крикнул Джордж лакею в коротких штанах и чулках.— Принесите-ка из библиотеки Британскую энциклопедию на букву К.

Лакей принес.

— Вот оно!— сказал Джордж, тыкая сигарой.— Катон Публиус Валериус, чистокровный, сын Лидии и Вергилия. Вот как раз то, что вам нужно. Публиус Валериус вполне христианское имя.

Дарти, вернувшись домой, сообщил об этом Уинифрид. Она пришла в восторг. Это было так шикарно. И младенца окрестили Публиус Валериус, хотя впоследствии выяснилось, что этот Катон был не самый знаменитый. Однако в 1890 году, когда маленькому Публиусу было около десяти лет, слово «шикарно» вышло из моды, и на смену ему пришло благоразумие: Уинифрид начали одолевать сомнения. Эти сомнения превратились в уверенность, когда сам маленький Публиус вернулся из школы после первого полугодия, горько жалуясь, что ему жить не дают, называя его Пубби. Уинифрид, женщина решительная, немедленно поместила его в другую школу и переименовала Вэлом, так что Публиус исчезло даже из инициалов.

В девятнадцать лет это был стройный веснушчатый юноша с большим ртом, светлыми глазами с длинными темными ресницами, с обаятельной улыбкой, с весьма обширными знаниями того, чего ему не следовало знать, и полным неведением того, что знать полагалось. Редко кто из мальчиков был так близок к исключению из школы — милый

бездельник. Поцеловав мать и ущипнув Имоджин, он побежал наверх, прыгая через три ступеньки; затем, уже переодевшись к обеду, спустился вниз, прыгая через четыре. Ему ужасно досадно, но его репетитор, который тоже приехал в Лондон, пригласил его обедать в «Оксфорд-и-Кембридж-Клуб»; отказаться неудобно, старик обидится. Уинифрид, огорченная и в то же время польщенная, отпустила его. Ей хотелось, чтобы он остался дома, но ей было приятно, что наставник так любит его. Уходя, он подмигнул Имоджин.

— Да, мама,— сказал он,— я видел у кухарки куликовые яйца, оставьте мне парочку к вечеру, я с удовольствием поужинаю. Да, кстати, у тебя нет денег? Мне пришлось занять пятерку у старика Снобби.

Уинифрид, глядя на него с любовной проницательностью, ответила:

— Но, дорогой мой, нельзя же так сорить деньгами, и, во всяком случае, ты не должен платить сегодня вечером: ты же его гость. («Какой он очаровательный и стройный в этой белой жилетке, и эти густые темные ресницы!»)

— Но мы, может быть, пойдем в театр, мама, и я думаю, что мне придется заплатить за билеты, у него насчет монеты слабо.

Уинифрид, протянув ему пятифунтовую бумажку, сказала:

— Ну хорошо, может быть, действительно, лучше отдать ему, но в таком случае ты не должен платить за билеты.

Он сунул бумажку в карман.

— Если бы мне и пришлось, я не смог бы. До свидания, мам.

Он вышел, высоко задрав голову в лихо сдвинутой набок шляпе, жадно вдыхая воздух Пикадилли, как молодой пес, выпущенный на волю. Чудно повезло! После этой грязной скучной дыры очутиться здесь!

Он встретился со своим наставником, правда, не в «Оксфорд-и-Кембридж-Клубе», а в «Клубе Козла». Наставник оказался всего на год старше его — красивый юноша: прекрасные карие глаза, гладко причесанные темные волосы, маленький рот, овальное лицо, томный, безукоризненный, хладнокровный до последней степени, один из тех молодых людей, которые без труда приобретают моральное влияние на своих сверстников. Он чуть не вылетел из школы за год до Вэла, провел последний год в Оксфорде и в глазах Вэла был окружен ореолом. Его звали Крум, и не было человека, который бы умел тратить деньги быстрее. Казалось, это было его единственной целью в жизни, что совершенно ослепляло юного Вэла, однако Форсайт в нем смотрел на это по-своему, удивляясь время от времени, где же, собственно, то, за что они платили деньги.

Они мирно пообедали, стильно и со вкусом, выпили каждый по бутылке вина и, выйдя из клуба, попыхивая сигарами, отправились в «Либерти» в кресла первого ряда. Звуки веселых куплетов, зрелище очаровательных ножек затуманивались и пропадали для Вэла за неотвязными мыслями о том, что ему никогда не сравняться с Крумом в его спокойном дендизме. Мечты о недостижимом идеале смущали его душу, а когда это происходит, всегда бывает как-то не по себе. Конечно, у него слишком большой рот, не безукоризненный покрой жилета, брюки не обшиты тесьмой, а на его перчатках цвета лаванды нет черных простро-

ченных стрелок. Кроме того, он слишком много смеется; Крум никогда не смеется, он только улыбается, так что его прямые темные брови слегка приподнимаются, образуя треугольник над опущенными веками. Нет, ему никогда не сравняться с Крумом! А все-таки это замечательно веселый спектакль, и Цинтия Дарк прямо великолепна! В антрактах Крум посвящал его в подробности частной жизни Цинтии, и Вэл сделал мучительное открытие, что Крум, если захочет, может пройти за кулисы. Ему так хотелось сказать: «Послушай, возьми меня с собой»,— но он не смел из-за своих несовершенств, и от этого последние два акта чувствовал себя просто несчастным. Когда они выходили, Крум сказал:

— Еще полчаса до закрытия театров, поедем в «Пандемониум».

Они взяли кабриолет, чтобы проехать сто ярдов, и места по семь шиллингов шесть пенсов, хотя намеревались стоять, и прошли в зал. Вот в таких именно мелочах, в этом полном пренебрежении к деньгам, проявлялась эта столь восхитительная утонченность Крума. Балет подходил к концу и шел в последний раз, поэтому в зале была невыразимая давка. Мужчины и женщины в три ряда столпились у барьера. Вихрь и блеск на сцене, полумрак, смешанный запах табака и женских духов, вся эта увлекательная прелесть толчеи, свойственная увеселительным местам, разогнали идеалистические грезы Вэла. Он восхищенно заглянул в лицо какой-то молодой женщине, обнаружил, что она не так уж молода, и быстро отвел глаза. Бедная Цинтия Дарк! Рука молодой женщины нечаянно задела его руку; на него пахнуло запахом мускуса и резеды. Опустив ресницы, Вэл украдкой покосился на нее. Может быть, она все-таки молодая. Она наступила ему на ногу и попросила извинения. Он сказал:

— Пожалуйста. Не правда ли, какой чудный балет?

— О, он мне уже надоел, а вам неужели нет?

Юный Вэл улыбнулся своей открытой очаровательной улыбкой. Дальше он не пошел — все это было для него еще мало убедительно. Форсайт в нем требовал большей определенности. А на сцене вихрем кружился балет, точно в калейдоскопе, белый, ярко-розовый, изумрудно-зеленый, фиолетовый, и вдруг все сразу застыло неподвижной сверкающей пирамидой. Взрыв аплодисментов — все кончилось. Коричневый занавес закрыл сцену. Тесный полукруг мужчин и женщин у барьера разорвался, рука молодой женщины прижалась к руке Вэла. Чуть-чуть поодаль вокруг какого-то господина с розовой гвоздичкой в петлице царило необычайное оживление. Вэл снова украдкой покосился на молодую женщину, глядевшую в ту сторону. Трое мужчин, взявшись за руки, нетвердой походкой вышли из круга. У того, который шел посередине, были темные усы, розовая гвоздичка в петлице и белый жилет; он слегка пошатывался на ходу. Голос Крума, ровный и спокойный, произнес:

— Взгляни-ка на этого пшюта, здорово он навинтился!

Вэл обернулся; «пшют», высвободив руку, показывал пальцем прямо на них. Голос Крума, как всегда ровный, сказал:

— Он, по-видимому, знает тебя!

«Пшют» крикнул:

— Хэлло, полюбуйтесь-ка, друзья! Этот юный шалопай — мой сын!

Вэл увидел: это был его отец. Он готов был провалиться сквозь малиновый ковер. Не из-за того, что они встретились с ним в таком месте, не из-за того даже, что отец «навинтился», а из-за этого слова «пшют», которое в эту минуту, словно откровение, показалось ему неопровержимой истиной. Да, отец его действительно имел вид пшюта — красивое смуглое лицо, эта розовая гвоздичка в петлице и развязная, самоуверенная походка! Не говоря ни слова, Вэл нырнул за спину молодой женщины и бросился вон из зала. Он услышал позади себя оклик: «Вэл!»— быстро сбежал по покрытой толстым ковром лестнице мимо капельдинеров — и прямо в сквер.

Стыдиться родного отца — это, пожалуй, самое тяжелое, что может пережить юноша. Бежавшему без оглядки Вэлу казалось, что карьера его кончилась, не успев начаться. Ну как же он после этого будет жить в Оксфорде среди этих молодых людей, среди этих блестящих приятелей Крума, которые теперь все узнают, что его отец пшют? И внезапно он возненавидел Крума. А кто такой этот Крум, скажите, пожалуйста? Если бы в эту минуту Крум очутился около него, он, несомненно, сшиб бы его с тротуара. Родной отец, его родной отец! Рыдание сдавило ему горло, и он глубже засунул руки в карманы пальто. К черту Крума! Его охватило безрассудное желание побежать назад, разыскать отца и пройтись с ним под руку перед Крумом. Но он тотчас подавил это желание и зашагал дальше от Пикадилли. Молодая женщина преградила ему дорогу.

— Ты, цыпка, кажется, сердишься на что-то?

Он отскочил от нее, увернулся и сразу остыл. Если Крум посмеет только заикнуться об этом, он его так вздует, что отобьет у него охоту болтать. Он прошел шагов сто, успокоившись на этой мысли, но потом его снова охватило полное отчаяние. Это совсем не так просто! Он вспомнил, как в школе, когда чьи-нибудь родители не подходили под установленную мерку, как это всегда клеймило мальчика. Это то, чего никогда с себя не смоешь. Почему его мать вышла замуж за отца, если он пшют? Это так несправедливо, прямо-таки бесчестно: дать ему в отцы пшюта. Но самое худшее во всем этом было то, что, когда Крум произнес это слово, он почувствовал, что и сам уже давно безотчетно сознавал, что отец его не настоящий джентльмен. Это самое ужасное, что он когда-либо испытал за всю свою жизнь, ужаснее всего, что кому-либо случалось переживать. Удрученный как никогда, он дошел до Гринстрит и открыл дверь похищенным когда-то ключом. В столовой на столе были аппетитно приготовлены куликовые яйца, нарезанный ломтиками хлеб и масло, а на дне графина немножко виски — как раз столько, как думала Уинифрид, чтобы он мог почувствовать себя мужчиной. Ему стало тошно, когда он увидел все это, и он поднялся наверх.

Уинифрид услышала его шаги и подумала: «Милый мальчик уже вернулся. Слава богу! Если он пойдет по стопам отца, я просто не знаю, что я буду делать. Но нет, этого не будет, он весь в меня. Дорогой мой Вэл!»

III

СОМС СОБИРАЕТСЯ ЧТО-ТО ПРЕДПРИНЯТЬ

Когда Сомс вошел в маленькую гостиную своей сестры, отделанную в стиле Людовика XV, с крошечным балкончиком, всегда украшенным летом цветущей геранью, а теперь заставленным горшками с lilium auratum, его поразила неподвижность человеческого бытия. Все здесь выглядело совершенно так же, как в первый его визит к молодоженам Дарти двадцать один год назад. Он сам выбирал обстановку для этой комнаты и сделал это так основательно, что никакие приобретения в дальнейшем не могли изменить ее атмосферу. Да, он хорошо устроил свою сестру, и это для нее было очень существенно. В самом деле, для Уинифрид было очень важно, что после стольких лет жизни с Дарти она еще сохранила хорошую обстановку. С самого начала Сомс угадал истинную натуру Дарти под этой напускной добропорядочностью savoir faire[1] и привлекательной внешностью, которые так пленили Уинифрид, ее мать и даже Джемса, что те совершили роковую ошибку — позволили этому молодцу жениться на их дочери, хотя он не принес в дом решительно ничего.

Уинифрид, которую Сомс заметил уже после обстановки, сидела за своим бюро-буль с письмом в руке. Она встала и пошла ему навстречу. Высокая, с него ростом, с выдающимися скулами, прекрасно одетая, но что-то в ее лице встревожило Сомса. Она скомкала письмо в руке, потом, по-видимому, передумав, протянула его Сомсу. Он был не только ее братом, но и поверенным в делах. На листе почтовой бумаги «Айсиум-Клуба» Сомс прочел следующее:

«Вам больше не удастся оскорблять меня в моем собственном. Завтра я покидаю Англию. Карта бита. Мне надоело терпеть Ваши оскорбления. Вы сами меня довели. Ни один уважающий себя человек не сможет этого вынести. Я больше ничем не буду Вас беспокоить. Прощайте. Я взял фотографию девочек. Скажите им, что я их целую. Мне совершенно безразлично, что будут говорить Ваши родственники. Это дело их рук. Я собираюсь начать новую жизнь.

М. Д.»

На этом письме, написанном, по-видимому, после хорошего обеда, красовалось еще не совсем высохшее пятно. Сомс взглянул на Уинифрид — пятно от слез, ясно,— и он подавил готовые было вырваться слова: «Скатертью дорожка!» Потом у него мелькнула мысль, что это письмо ставит ее в то самое положение, из которого он так хочет выпутаться: положение неразведенного Форсайта.

Уинифрид, отвернувшись, нюхала маленький флакончик с золотой пробкой. Глухая жалость, смутное ощущение обиды шевельнулись в сердце Сомса. Он пришел к ней поговорить о своем положении, рассчитывая встретить сочувствие, и вот, оказывается, она сама в таком же положении, и, конечно, ей хочется поговорить об этом, и она ждет сочувствия от него. И всегда так! Никому, по-видимому, даже в голову

[1] Деловитость *(фр.)*.

не приходит, что у него могут быть свои неприятности и интересы. Он сложил письмо пятном внутрь и сказал:

— Что все это значит?

Уинифрид спокойным голосом рассказала ему историю с жемчугом.

— Как ты думаешь, Сомс, он действительно уехал? Ты видишь, в каком состоянии он писал это письмо.

Сомс, когда ему чего-нибудь очень сильно хотелось, заискивал перед судьбой, делая вид, что он не верит в счастливый исход; поэтому он ответил:

— Не думаю, вряд ли. Я могу попытаться навести справки в его клубе.

— Если Джордж там, он, конечно, знает,— сказала Уинифрид.

— Джордж?— сказал Сомс.— Я видел его сегодня на похоронах.

— Тогда, значит, он сейчас, наверное, в клубе.

Сомс, здравый смысл которого невольно приветствовал догадливость сестры, нехотя сказал:

— Хорошо, я могу заехать туда. Ты что-нибудь сообщала на Парклейн?

— Я рассказала Эмили,— ответила Уинифрид, сохранившая «шикарную» привычку называть мать по имени.— С папой мог случиться припадок.

Действительно, все мало-мальски неблагополучное от Джемса теперь скрывали. Окинув последний раз взглядом обстановку, словно оценивая действительное положение сестры, Сомс вышел и направился к Пикадилли. Спускались сумерки, тянуло холодком октябрьского тумана. Он шел быстро, с замкнутым и сосредоточенным видом. Нужно поскорей разделаться с этим, он сегодня собирался пообедать в Сохо. Узнав от швейцара «Айсиум-Клуба», что мистера Дарти не было сегодня, Сомс, бегло взглянув на него, решил спросить, здесь ли мистер Джордж Форсайт. Оказалось, что здесь. Сомс, недолюбливавший своего кузена Джорджа, ибо ему всегда казалось, что тот не прочь поиздеваться над ним, последовал за лакеем, несколько утешая себя мыслью, что Джордж только что схоронил отца. Он, вероятно, получит тысяч тридцать, не считая того, что у Роджера вложено в дело и с чего не взимается налог на наследство. Он нашел Джорджа за столиком; сидя в глубине оконной ниши, Джордж поглядывал на улицу поверх стоящего перед ним наполовину опустевшего блюда с пончиками. Его высокая грузная, одетая в черное фигура возвышалась почти зловеще, сохраняя в то же время сверхъестественную подтянутость спортсмена. Со слабой усмешкой на мясистом лице он сказал:

— Хэлло, Сомс! Хочешь пончик?

— Нет, благодарю,— пробормотал Сомс, вертя шляпу в руках и придумывая, что бы ему сказать такое подходящее и сочувственное.— Как здоровье твоей матушки?

— Благодарю,— сказал Джордж,— так себе. Тысячу лет тебя не видел. На скачки ты не ходишь. Как дела в Сити?

Сомс, чувствуя, что сейчас посыплются остроты, уклонился от ответа и сказал:

— Я пришел тебя спросить относительно Дарти. Я слышал, что он...

— Упорхнул! Укатил в Буэнос-Айрес с красоткой Лолой. Счастье для Уинифрид и малюток Дарти. Вот уж сокровище!

Сомс кивнул. Несмотря на взаимную неприязнь, двоюродные братья проникались друг к другу родственными чувствами, когда дело доходило до Дарти.

— Дядя Джемс может теперь спать спокойно,— сказал Джордж.— А тебя он, верно, тоже здорово пощипал.

Сомс улыбнулся.

— Да, ты его правильно угадал,— дружелюбно продолжал Джордж.— Это сущий лоботряс. За малышом Вэлом нужно хорошенько присматривать. Мне всегда было жаль Уинифрид. Мужественная женщина.

Сомс снова кивнул.

— Мне надо вернуться к ней,— сказал он.— Она хотела знать наверно. Теперь можно будет предпринять что-нибудь. Я думаю, здесь не может быть ошибки?

— Верно, как алфавит,— сказал Джордж (он изобрел немало таких странных выражений, которые потом приписывались другим).— Вчера вечером он был пьян, как сапожник; но все-таки уехал сегодня утром, отплыл на «Тускароре»,— и, вытащив карточку, Джордж насмешливо прочел: «Мистер Монтегью Дарти, Буэнос-Айрес, до востребования». Я бы поторопился действовать, будь я на твоем месте. И надоел же он мне вчера!

— Да,— сказал Сомс,— но это не так-то просто.— И, уловив в глазах Джорджа, что он напомнил ему о своей собственной истории, он встал и протянул ему руку. Джордж тоже встал.

— Кланяйся Уинифрид и, если хочешь знать мое мнение, не медли, выпускай ее в ближайшем гандикапе на развод.

На пороге Сомс обернулся и искоса посмотрел на него. Джордж снова уселся, глядя прямо перед собой. Он казался таким огромным и одиноким в своем черном костюме. Сомс никогда не видел его таким смирным. «По-видимому, он все-таки огорчен,— подумал он.— Они, верно, получили, если подсчитать все, тысяч по пятьдесят каждый. Им следовало бы сообща сохранить дело. Если будет война, недвижимость обесценится. Впрочем, дядя Роджер был предусмотрительный человек». И образ Аннет возник перед ним в сгущающейся уличной мгле: ее каштановые волосы, голубые глаза с темными ресницами, свежие губы и щеки, полные, цветущие, несмотря на лондонские туманы, ее изящная фигура француженки. «Пора что-то предпринять!»— подумал он. У подъезда дома Уинифрид он встретил Вэла, и они пошли вместе. Внезапно у Сомса мелькнула идея. Его кузен Джолион — попечитель Ирен; первый шаг, который необходимо сделать, это поехать в Робин-Хилл и повидаться с ним. Робин-Хилл! Странное, удивительно странное чувство пробудили в нем эти слова! Робин-Хилл, дом, который Босини выстроил для него и для Ирэн, дом, в котором они никогда не жили,— роковой дом! И теперь в нем живет Джолион. Гм! И внезапно он вспомнил: говорят, у него сын в Оксфорде! Почему бы не захватить с собой Вэла

и не познакомить их? Вот и предлог! Это будет не так явно, вот именно, не так явно! И, поднимаясь с Вэлом по лестнице, он сказал ему:

— У тебя есть кузен в Оксфорде, ты его никогда не видел. Я хочу захватить тебя с собой — я завтра поеду к ним, вы познакомитесь. Для тебя это может оказаться полезным.

И так как Вэл не изъявил по этому поводу никакой радости, Сомс, не давая ему возразить, прибавил:

— Я заеду за тобой после завтрака. Это недалеко — за городом, тебе это доставит удовольствие.

На пороге гостиной он с усилием вспомнил, что шаги, которые ему в данный момент надлежит предпринять, касаются не его, а Уинифрид.

Уинифрид по-прежнему сидела за своим бюро-буль.

— Действительно, это так,— сказал он,— он отправился в Буэнос-Айрес, уехал сегодня утром, нужно устроить за ним слежку, как только он сойдет на берег. Я сейчас же дам каблограмму. Иначе нам это будет стоить уйму денег. В таких случаях чем раньше начать действовать, тем лучше. Я до сих пор жалею, что я не...— Он остановился и искоса взглянул на безмолвствующую Уинифрид.— Кстати, могла бы ты доказать его жестокое обращение с тобой?

Уинифрид безжизненным голосом ответила:

— Не знаю. Что значит жестокое обращение?

— Ну, может, он тебя ударил или что-нибудь в этом роде?

Уинифрид передернулась и стиснула зубы.

— Он выворачивал мне руку. Или, может быть, достаточно того, что он целился в меня из револьвера? Напивался так, что не в состоянии был сам раздеться, или... но нет, я не могу впутывать в это дело детей.

— Не можешь,— сказал Сомс,— нет. Ну, не знаю... Конечно, существует узаконенный разъезд — этого легко можно добиться, но разъезд, гм!

— Что это такое?— безнадежным голосом спросила Уинифрид.

— Это значит, что он лишается на тебя всяких прав и ты на него; вы остаетесь в браке и в то же время как бы не в браке...— Он опять неодобрительно фыркнул. Что это, в сущности, как не его собственное дурацкое положение, только узаконенное? Нет, до этого он ее не допустит.— Нужно добиться развода,— сказал он решительно.— Если ты отказываешься жаловаться на жестокое обращение, остается факт, что он тебя бросил. Теперь не обязательно ждать два года. Попробуем сейчас подать в суд о восстановлении тебя в супружеских правах. Если он не подчинится судебному решению, можно по истечении шести месяцев провести развод. Разумеется, ты не хочешь, чтобы он вернулся. Но они не должны этого знать. Конечно, здесь есть риск — он и впрямь может вернуться. Я бы все-таки выставил мотивом жестокое обращение.

Уинифрид покачала головой.

— Это так гнусно.

— Ну что же,— сказал Сомс,— возможно, что риск сейчас невелик, пока он влюблен без памяти и у него есть деньги. Ты только никому ничего не рассказывай и не плати его долгов.

Уинифрид вздохнула. Несмотря на все, что ей приходилось терпеть, это ощущение утраты было мучительно горько. А сознание, что ей не нужно больше платить долгов Монти, усиливало это ощущение до невыносимой явственности. Что-то ценное ушло из жизни. Без Монти, без своих жемчугов, без внутреннего сознания того, что она мужественно переносит свои семейные невзгоды, ей придется теперь стать лицом к лицу с жизнью. Она действительно чувствовала себя обездоленной.

И Сомс, приложившись холодным поцелуем к ее лбу, вложил в этот поцелуй несвойственное ему теплое чувство.

— Я завтра собираюсь в Робин-Хилл, мне нужно повидать по делу молодого Джолиона. У него сын в Оксфорде. Я хочу захватить с собой Вэла и познакомить их. Приезжай ко мне в Шелтер на воскресенье и привози детей. Ах, нет, нет, это не выйдет, ко мне кое-кто собирался.

И с этими словами Сомс вышел от Уинифрид и направился в Сохо.

IV

СОХО

Из всех кварталов странной, причудливой амальгамы, именуемой Лондоном, Сохо, пожалуй, менее всего соответствует духу Форсайтов. «Сохо! Хо-хо, голубчик!»— сказал бы Джордж, увидя своего кузена направляющимся туда. Грязный, изобилующий греками, изгоями, кошками, итальянцами, томатами, кабаками, шарманками, пестрыми лохмотьями, странными названиями, зеваками, выглядывающими из верхних окон, он живет своей жизнью, чуждой государственному устройству Великобритании. Но и здесь понемножку процветают свои инстинкты собственности и собственничество в некотором роде благоденствует, ибо арендная плата в Сохо растет, в то время как в других кварталах она падает. В продолжение многих лет знакомство Сомса с Сохо ограничивалось его западным бастионом, Уордер-стрит. Немало удачных покупок сделал он там. Даже в течение тех семи лет, что он жил в Брайтоне после смерти Босини и исчезновения Ирэн, он иногда приобретал там сокровища, хотя ему, в сущности, негде было держать их, ибо, когда он убедился наконец, что жена ушла от него совсем, он велел прибить на Монпелье-сквер дощечку:

ПРОДАЕТСЯ

Об условиях продажи этого удобного особняка
справляться у г. г. Лессона и Тьюка,
Корт-стрит, Белгрэвия.

Не прошло и недели, как его продали — этот удобный особняк, под безмятежной сенью которого так долго страдали два сердца — мужчины и женщины.

Однажды в туманный январский вечер, незадолго до того, как дощечка была снята, Сомс пришел туда еще раз и стал, прислонившись к ограде сквера, глядя на неосвещенные окна и снова жуя жвачку все тех же собственнических воспоминаний, жвачку, от которой становилось

так горько во рту. Почему она его не любила? Почему? Она получала все, чего могла желать, и взамен давала ему в течение трех долгих лет все, что он желал,— кроме своего сердца, правда. У него невольно вырвался глухой стон, и проходивший мимо полисмен подозрительно взглянул на него — ведь у него больше не было права войти в эту зеленую дверь с медным резным молоточком под доской с объявлением: «Продается!» Он почувствовал, как у него сдавило горло, и поспешно скрылся в тумане. В тот же вечер он переехал жить в Брайтон...

Подходя к Мальта-стрит и ресторану «Бретань», где красивые плечи Аннет склонялись над кассовой книгой, Сомс с удивлением вспоминал эти семь лет жизни в Брайтоне. Как только он мог прожить так долго в этом городе, где никогда не слышно запаха цветущего горошка, где ему негде было даже развесить свои сокровища? Правда, это были годы, когда у него не было даже времени любоваться ими,— годы какой-то исступленной погони за деньгами, когда «Форсайт, Бастард и Форсайт» вели дела стольких акционерных обществ, что едва в состоянии были с ними справиться. Утром в пульмановском вагоне в Сити, вечером в пульмановском вагоне из Сити. После обеда просмотр деловых бумаг, потом сон утомившегося человека, и наутро опять все сначала. Конец недели с субботы до понедельника он проводил у себя в клубе в Лондоне — забавное нарушение привычного уклада, основанное на инстинктивном, но глубоко предусмотрительном убеждении, что во время столь утомительной работы ему необходимо дышать морским воздухом дважды в день, когда он отправляется на станцию и обратно, а во время отдыха можно отдать дань и своим семейным привязанностям. Воскресные визиты к родным на Парк-лейн, к Тимоти и на Грин-стрит и время от времени визиты в кое-какие другие места казались ему столь же необходимыми, как морской воздух в будни. Даже когда он переселился в Мейплдерхем, он сохранял эти привычки, пока не познакомился с Аннет. Аннет ли произвела революцию в его взглядах на жизнь, или эти взгляды были причиной появления Аннет — он знал об этом не больше, чем мы знаем о том, где начинается круг. Все это глубоко и сложно переплеталось с растущим в нем сознанием, что собственность, если ее некому оставить, есть отрицание истинного форсайтизма. Иметь наследника, некое продолжение самого себя, который начнет там, где он кончит, послужит гарантией, так сказать, что все нажитое не пойдет прахом,— мысль эта за последний год преследовала его все больше и больше. Как-то апрельским вечером, удачно купив чашку веджвудского фарфора, он завернул на Мальта-стрит взглянуть на дом, принадлежавший отцу и превращенный теперь в ресторан — предприятие рискованное и не предусмотренное в условиях найма. Он некоторое время рассматривал дом снаружи: выкрашен в красивый молочный цвет, две ярко-голубые кадки с лавровыми деревцами в глубине у входа, над которым золотыми буквами красовалось: «Ресторан Бретань»,— впечатление довольно приятное. Войдя, он увидел изрядное количество народу за круглыми зелеными столиками, на которых стояли вазочки с живыми цветами и бретонская посуда. Он обратился к опрятно одетой служанке, сказав, что ему нужно видеть хозяина. Его провели в заднюю комнату, где

за простым письменным столом, заваленным бумагами, сидела молоденькая девушка, а на маленьком круглом столике было приготовлено два прибора. Впечатление чистоты, порядка, хорошего вкуса усилилось у Сомса, когда девушка, встав, спросила с акцентом:

— Вы хотите видеть maman, мсье?

— Да,— ответил Сомс.— Я представитель вашего домовладельца, вернее — я его сын.

— Будьте добры, присядьте, сэр. Скажите maman, чтобы она вышла к этому господину.

Ему понравилось, что его приход, по-видимому, произвел впечатление на молодую девушку: это обнаруживало в ней присутствие деловых инстинктов. И вдруг он заметил, что она необыкновенно хорошенькая, такая хорошенькая, что его глаза с трудом могли оторваться от ее лица. Когда она встала, чтобы подать ему стул, движения ее были полны такого неизъяснимого изящества, словно ее смастерил кто-то, обладавший особым неуловимым искусством; а ее лицо и чуть-чуть открытая шея казались такими свежими, словно их только что спрыснули росой. Вероятно, в эту минуту Сомс и решил, что условия найма вовсе не были нарушены, хотя самому себе и отцу он обосновал свое решение прибыльностью этого не совсем законного использования дома, явными признаками процветания и несомненными деловыми способностями мадам Ламот. Он, впрочем, не преминул отложить на будущее выяснение некоторых вопросов, что вызвало необходимость повторных посещений, так что маленькая комнатка вскоре привыкла к его худощавой, не лишенной солидности, но отнюдь не навязчивой фигуре, к его бледному лицу с выступающим подбородком, коротко подстриженными усами и темными волосами, еще не поседевшими на висках.

«Un monsieur très distingué[1],— отозвалась о нем мадам Ламот, а теперь, заметив взгляды, которые он бросал на ее дочку, стала добавлять:— Très amical, très gentil»[2].

Она была одной из тех красивых, пышнотелых, темноволосых француженок, каждый поступок и самый тон голоса которых внушает полное доверие к их осведомленности в домашнем хозяйстве, к их кулинарному искусству и заботливому взращиванию текущего счета в банке.

После того как начались эти визиты в ресторан «Бретань», посещения других мест прекратились, без всякого, впрочем, определенного решения со стороны Сомса, ибо он, как и все Форсайты и как большинство его соотечественников, был прирожденным эмпириком. И эта-то перемена в его образе жизни постепенно заставила его ясно осознать, что он стремится изменить свое положение неженатого мужа на положение женатого и молодожена.

Свернув на Мальта-стрит в этот вечер, в начале октября 1899 года, он купил газету, чтобы посмотреть, нет ли в ней каких-нибудь новых сообщений о деле Дрейфуса — вопрос, которым он считал полезным ин-

---

[1] Очень достойный господин *(фр.)*.

[2] Очень приветливый, очень симпатичный *(фр.)*.

берегу реки; пока еще не поздно и погода держится теплая; кроме того, я могу показать вам кое-какие хорошие картины. Что вы скажете?

Аннет всплеснула руками.

— О, как это чудесно! Река такая красивая!

— Тогда решено. Я попрошу мадам.

Ему больше ничего не следует говорить ей сегодня, чтобы не выдать себя. Но разве он уже и так не сказал слишком много? Разве без умысла придет кому-нибудь в голову пригласить к себе за город хозяйку ресторана с хорошенькой дочкой? Если Аннет не понимает, то мадам Ламот отлично поймет. И пусть. Много ли есть на свете такого, чего бы не поняла мадам? К тому же он второй раз остается у них ужинать, должен же он отплатить за гостеприимство...

Возвращаясь домой на Парк-лейн (он гостил у отца), он вспоминал нежную подвижную ручку Аннет в своей руке и предавался приятным, немножко чувственным и довольно сбивчивым размышлениям. Предпринять шаги! Какие шаги? Каким образом? Перемывать на людях свое грязное белье? Фу! С его репутацией предусмотрительного, дальновидного человека, так умело выручавшего других, ему, стоявшему на страже интересов собственности, сделаться игрушкой того самого Закона, оплотом которого он был! В этом есть что-то отталкивающее! Достаточно истории Уинифрид! Двойная огласка в семье! Не лучше ли ограничиться связью — любовная связь и сын, которого потом можно усыновить? Но путь к этим мечтам преграждала грозная, твердая, бдительная мадам Ламот. Нет! Это не выйдет. Ведь, разумеется, Аннет не пылает к нему страстной любовью; в его годы нечего на это и надеяться! Но если бы ее мать захотела, если бы это сулило им несомненные и существенные выгоды, тогда — возможно. Если же это не так, то наверняка последует отказ. Но, кроме этого, Сомс думал: «Я не подлец, я не хочу ее обижать, и я не хочу ничего тайного. Но я хочу ее и хочу сына! А для этого нужен развод — так или иначе, во что бы то ни стало развод».

В тени платанов, освещенных уличными фонарями, он медленно шагал вдоль ограды Грин-парка. Меж синеватыми очертаниями деревьев висел туман, непроницаемый для уличного света. Сотни раз проходил он мимо этих деревьев по пути из дома отца на Парк-лейн, когда еще был совсем молодым человеком, или из своего собственного дома на Монпелье-сквер в продолжение четырех лет супружеской жизни! И сегодня, когда у него созрело решение освободиться от этих бессмысленных давних супружеских уз, ему вдруг пришла фантазия пройти до угла Хайд-парка и выйти к Найтс-бридж-гейт, как, бывало, он ходил в прежнее время, возвращаясь домой, к Ирэн. Какова-то она теперь? Как она жила эти годы с тех пор, как он видел ее последний раз двенадцать лет назад — ведь уже семь лет прошло, как дядя Джолион оставил ей эти деньги! Все так же ли она хороша? Узнает ли он ее, если увидит? «Я не очень изменился,— подумал он,— а вот она, надо полагать, изменилась. Сколько страданий она мне причинила!» Ему вдруг вспомнился один вечер. Это было в первый год после их свадьбы. Он в первый раз отправился без нее на обед — это была встреча школьных товарищей. Как он торопился домой; он вошел крадучись, бесшумно, как кот, и услышал,

что она играет. Беззвучно отворив дверь гостиной, он остановился, следя за выражением ее лица; оно было так не похоже на то, что он знал, такое открытое, доверчивое, как будто она отдавала музыке свое сердце, которое для него было закрыто. И он вспомнил, как она вдруг перестала играть и обернулась, и как лицо ее сразу стало таким, какое он знал, и как ледяная дрожь прошла по его телу, хотя в следующую минуту он уже обнимал ее плечи. Да, сколько он из-за нее выстрадал! Развод! Это смешно после стольких лет полного разрыва! Но это необходимо. Другого выхода нет. «Вопрос в том,— подумал он с неожиданной деловитостью,— кому из нас придется взять на себя вину. Ей или мне? Она меня бросила. Она должна поплатиться за это. У нее, наверно, есть кто-нибудь».И у него невольно вырвался глухой, сдавленный стон; повернув обратно, он направился на Парк-лейн.

V

ВИДЕНИЯ ДЖЕМСА

Дворецкий сам открыл дверь и, бесшумно прикрыв ее, остановил Сомса в вестибюле.

— Мистер Форсайт плохо себя чувствует, сэр,— прошептал он.— Он сказал, что не ляжет, пока вы не вернетесь. Он сейчас в столовой.

Сомс спросил, понизив голос, как теперь все говорили в доме:

— Что с ним, Уормсон?

— Он, кажется, нервничает, сэр. Может быть, эти похороны, или вот еще миссис Дарти заходила сегодня. Должно быть, он слышал что-нибудь. Я сварил ему глинтвейн. Миссис Джемс только что поднялась наверх.

Сомс повесил шляпу на вешалку из красного дерева с оленьим рогом.

— Хорошо, Уормсон, можете идти спать. Я сам отведу его наверх.

И Сомс направился в столовую...

Джемс сидел в большом кресле перед камином; поверх сюртука на плечах у него была накинута шаль из верблюжьей шерсти, очень легкая и теплая, и на нее свисали его длинные седые бакенбарды. Седые волосы, все еще густые, блестели в свете лампы; мелкие слезинки, выкатившиеся из неподвижно вперившихся в одну точку светло-серых глаз, оставили следы на его все еще румяных щеках и в глубоких впадинах морщин, тянувшихся до самых углов гладко выбритых губ, которыми он шевелил, словно пережевывая свои мысли. Его длинные ноги в клетчатых брюках, тощие, как у петуха, были согнуты почти под прямым углом, и худая рука, лежавшая на колене, безостановочно перебирала широко раздвинутыми пальцами с блестящими заостренными ногтями. Около него на низеньком столике стоял наполовину опорожненный стакан глинтвейна, запотевший и покрытый капельками влаги. Джемс просидел здесь целый день с перерывами только для еды. В восемьдесят восемь лет он все еще был физически здоров, но очень страдал от мысли, что ему никогда ничего не рассказывают. Было даже непонятно, каким образом он узнал, что сегодня схоронили Роджера,— Эмили от него это

мучительной дурноты. Из-за этого он почти ничего не ел за завтраком. Но самое ужасное потрясение ему пришлось пережить после завтрака. Он дремал и вдруг услышал голоса, тихие голоса. Ах, ему никогда, никогда ничего не говорят! Голоса Уинифрид и ее матери. «Монти!» Опять Дарти, вечно этот Дарти! Голоса удалились, и Джемс остался один, с настороженными, как у зайца, ушами, объятый пронизывающим до костей страхом. Почему они оставили его одного? Почему они не придут, не расскажут ему? И страшная мысль, преследовавшая его уже давно, с внезапной отчетливостью сверкнула в его сознании. Дарти обанкротился, злостно обанкротился, и, чтобы спасти Уинифрид и детей, ему, Джемсу, придется платить! Сможет ли он... Может ли Сомс обезопасить его, превратить его, так сказать, в компанию с ограниченной ответственностью? Нет, не сможет! Вот, вот оно! С каждой секундой, пока не вернулась Эмили, призрак становился все более грозным. Что если Дарти подделал векселя? Вперив остановившийся взгляд в сомнительного Тернера, висевшего на стене, Джемс переживал адские муки. Он видел Дарти на скамье подсудимых, внуков в нищете и себя самого прикованного к постели. Он видел, как сомнительного Тернера продают у Джобсона, как все величественное здание собственности обращается в прах. В его воображении вставала Уинифрид, одетая кое-как, не по моде, а голос Эмили говорил: «Ну полно, Джемс, не волнуйся». Она всегда говорит: «Не волнуйся». У нее нет нервов. Ему не следовало жениться на женщине на восемнадцать лет моложе его. Тут явственный голос живой Эмили произнес:

— Хорошо ли ты вздремнул, Джемс?

Вздремнул! Он мучается, а она спрашивает, хорошо ли он вздремнул!

— Что такое с Дарти?— спросил он, глядя на нее пронизывающим взглядом.

Эмили никогда не теряла самообладания.

— А что ты слышал?— мягко спросила она.

— Что с Дарти?— повторил Джемс.— Он обанкротился?

— Какая ерунда!

Джемс сделал громадное усилие и поднялся во всю длину своей аистоподобной фигуры.

— Ты никогда ничего мне не говоришь. Он обанкротился.

Избавить его от этой навязчивой идеи казалось сейчас Эмили самым главным.

— Нет,— решительно ответила она,— он уехал в Буэнос-Айрес.

Если бы она сказала — на Марс, это не произвело бы на Джемса более ошеломляющего впечатления; его воображению, всецело поглощенному британскими акциями, Марс и Буэнос-Айрес представлялись одинаково смутно.

— Зачем он туда поехал?— спросил он.— У него нет денег. С чем он поехал?

Взволнованная услышанными от Уинифрид новостями и раздосадованная этими непрерывно повторяющимися жалобами, Эмили спокойно ответила:

— С жемчугами Уинифрид и с танцовщицей.

— Что?— сказал Джемс и упал в кресло.

Эта внезапная реакция испугала Эмили; поглаживая его по лбу, она сказала:

— Ну полно, не волнуйся, Джемс!

Багровые пятна выступили на лбу и на щеках Джемса.

— Я заплатил за них,— сказал он дрожащим голосом.— Он вор, я... я знал, чем это кончится. Он меня в могилу сведет; он...

Язык отказался служить ему, и он затих.

Эмили, считавшая, что она его так хорошо знает, испугалась и пошла к шкафчику, где у нее стоял бром. Но она не видела, как в этой хилой дрожащей оболочке стойкий дух Форсайтов вступил в борьбу с непозволительным волнением, вызванным таким надруганием над форсайтскими принципами; дух Форсайтов, прочно внедренный в Джемсе, говорил: «Не сходи с ума, не горячись, этим не поможешь, только испортишь себе пищеварение, с тобой случится припадок». И этот невидимый ею дух оказался сильнее брома.

— Выпей-ка это,— сказала она.

Джемс отмахнулся.

— О чем только Уинифрид думала, что она позволила ему взять свои жемчуга?

Эмили поняла, что кризис миновал.

— Она может носить мои жемчуга,— спокойно сказала она.— Я их никогда не надеваю. А ей нужно хлопотать о разводе.

— Вот до чего дошло!— сказал Джемс.— Развод! Никогда в нашей семье не было разводов. Где Сомс?

— Он сейчас придет.

— Неправда,— сказал Джемс почти злобно.— Он на похоронах. Ты думаешь, я ничего не знаю.

— Ну хорошо,— спокойно сказала Эмили,— но ты не должен волноваться, когда мы тебе что-нибудь рассказываем.

И, взбив ему подушку и поставив бром на столик возле него, она вышла из комнаты.

А Джемс остался со своими видениями — Уинифрид в суде на бракоразводном процессе, имя Форсайтов в газетах, комья земли, падающие на гроб Роджера; Вэл идет по стопам отца; жемчуга, за которые он заплатил и которых он больше не увидит; доход с капитала, понизившийся до четырех процентов; страна, разорившаяся в прах; и по мере того как день переходит в сумерки и прошло время чая и обеда, видения становились все более путаными и зловещими — и ему ничего не скажут, пока ничего не останется от всех его денег, ему никто ничего не говорит. Где же Сомс? Почему он не идет?.. Рука его протянулась к стакану с глинтвейном, он поднес его ко рту и увидел сына, который стоял рядом и смотрел на него. Вздох облегчения разомкнул его губы, и, опустив стакан, он сказал:

— Наконец-то! Дарти уехал в Буэнос-Айрес!

Сомс кивнул.

— Лучшего и желать нельзя,— сказал он,— слава богу, избавились.

Словно волна умиротворения разлилась в сознании Джемса. Сомс знает, Сомс — у них единственный, у кого есть здравый смысл. Почему бы ему не переехать сюда и не поселиться с ними? Ведь у него же нет своего сына? И он сказал жалобным голосом:

— В мои годы трудно совладать с нервами. Я бы хотел, чтобы ты побольше бывал дома, мой мальчик.

Сомс опять кивнул. Бесстрастное, словно маска, лицо ничем не выразило согласия, но он подошел и словно случайно коснулся плеча отца.

— Вам все просили кланяться у Тимоти,— сказал он.— Все сошло очень хорошо. Я заходил к Уинифрид. Я думаю предпринять кое-какие шаги.

И подумал: «Да, но ты не должен о них знать».

Джемс поднял глаза, его длинные седые бакенбарды вздрагивали, между концами воротничка виднелась тонкая шея, хрящеватая и голая.

— Мне так было плохо весь день,— сказал он,— они никогда ничего мне не рассказывают.

Сердце Сомса сжалось.

— Да что же, все идет своим порядком. И волноваться не из-за чего. Пойдемте, я провожу вас наверх.— И он тихонько взял отца под руку.

Джемс послушно поднялся, вздрагивая, и они вдвоем медленно прошли по комнате, казавшейся такой роскошной при свете камина, и вышли на лестницу. Очень медленно они поднялись наверх.

— Спокойной ночи, мой мальчик,— сказал Джемс у двери в спальню.

— Спокойной ночи, отец,— ответил Сомс.

Его рука скользнула под шалью по рукаву Джемса. Казалось, рукав был почти пустой — так худа была рука. И, отвернув лицо от света, падавшего через открытую дверь, Сомс поднялся еще на один пролет в свою спальню.

«Хочу сына,— сказал он про себя, сидя на краю постели,— *хочу сына!*»

VI

УЖЕ НЕ МОЛОДОЙ ДЖОЛИОН У СЕБЯ ДОМА

Деревья мало поддаются влиянию Времени, и старый дуб на верхней лужайке в Робин-Хилле, казалось, не постарел ни на один день с тех пор, как Босини, растянувшись под ним, говорил Сомсу: «Форсайт, я нашел самое подходящее место для вашего дома». После того там дремал Суизин, и старый Джолион уснул вечным сном под его ветвями. А теперь, располагаясь обычно около качелей, уже не молодой Джолион часто рисовал здесь. Во всем мире это было для него, пожалуй, самое священное место, потому что он любил своего отца.

Глядя на этот громадный ствол, корявый и кое-где поросший мхом, но еще не дуплистый, он размышлял о том, как течет время. Это дерево, быть может, видело всю историю Англии. Оно росло здесь, он почти не сомневался в этом, по крайней мере, со времен Елизаветы. Его собст-

в Хэрроу, а Холли все еще училась с мадемуазель Бос. Ничто не удерживало Джолиона дома, и он повез свое горе и свой ящик с красками за границу. Он долго бродил по Бретани и в конце концов очутился в Париже. Он прожил там несколько месяцев и вернулся помолодевший, с короткой русой бородкой. Так как он, в сущности, был одним из тех людей, которым дом нужен только как кров и приют, ему было очень удобно, что Джун вернулась хозяйничать в Робин-Хилл и он мог свободно отлучаться со своим мольбертом когда и куда угодно. Она, правда, обнаруживала сильную склонность рассматривать этот дом главным образом как убежище для своих протеже, но годы изгнания преисполнили Джолиона участием ко всем отверженным, и «несчастненькие» Джун, населявшие дом, не раздражали его. Пусть себе подбирает и кормит их. И хотя он со своим слегка циничным юмором подмечал, что они не только трогают ее доброе сердце, но в не меньшей мере удовлетворяют и ее потребность властвовать, его все же умиляло, что у нее столько «несчастненьких». С каждым годом его отношения с дочерьми и с сыном становились все более непринужденными и братскими, приобретая характер какого-то своеобразного равенства. Когда он приезжал к Джолли в школу, ему всегда было как-то неясно, кто из них старше; сидя рядом с сыном, он ел с ним вишни из бумажного пакета, ласково улыбаясь и чуть-чуть иронически приподымая бровь. Отправляясь в Хэрроу, Джолион всегда заботился о том, чтобы у него были деньги в кармане, и одевался особенно тщательно, чтобы сыну не приходилось краснеть за него. Они были по-настоящему друзьями, но у них, казалось, не было потребности в словесных излияниях, потому что оба отличались одинаковой форсайтской склонностью замыкаться в себе. Они знали, что поддержат друг друга в несчастии, но говорить об этом не было надобности. Джолиону, отчасти по свойствам его натуры, отчасти в результате его юношеского грехопадения, ходячая мораль внушала панический ужас. Самое большее, что он мог бы сказать своему сыну, было бы приблизительно следующее: «Послушай, старина, не забывай, что ты порядочный человек, джентльмен»,— и потом он еще долго, удивляясь самому себе, раздумывал бы, не снобизм ли это. Большой крикетный матч, на котором они ежегодно присутствовали вместе, был для них, пожалуй, самым опасным испытанием, так как Джолион был итонцем. Они были особенно предупредительны друг к другу во время этого матча и, восклицая «Ура!», приговаривали: «Эх, не повезло, старина!» или:«Урра! Не везет вашим, папа!»— в то время, как сердце у них замирало от радости при каждом промахе в команде противника. И Джолион в этот день, вместо своей обычной мягкой шляпы, надевал серый цилиндр, чтобы пощадить чувства сына; черный цилиндр он все-таки никак не мог решиться надеть. Когда Джолли отправился в Оксфорд, Джолион поехал вместе с ним, радостный, смущенный и даже немножко побаиваясь, как бы ему не дискредитировать своего сына в глазах всех этих юнцов, которые ему казались гораздо самоувереннее и старше его самого. Он часто думал: «Хорошо, что я художник. (Он уже давно бросил службу у Ллойда.) Это так безобидно. Никто не смотрит сверху вниз на художника, не принимает его слишком всерьез». Джолли, в котором был какой-то врожден-

ный аристократизм, сразу вошел в очень тесный замкнутый кружок, что втайне немножко забавляло его отца. У мальчика были светлые, слегка вьющиеся волосы и глубоко сидящие серо-стальные глаза деда. Он был хорошо сложен, очень строен и восхищал эстетическое чувство Джолиона так, что тот даже чуть-чуть побаивался его, как это всегда бывает с художниками, когда они восхищаются физическим совершенством людей одного с ними пола. И на этот раз он собрал все свое мужество и заставил себя дать сыну следующий совет:

— Вот что, старина, ты, конечно, залезешь в долги; смотри же, немедленно обратись ко мне; разумеется, я заплачу за тебя. Но помни, что человек всегда уважает себя больше, когда сам платит свои долги. И ни у кого не занимай, кроме меня, хорошо?

И Джолли ответил:

— Хорошо, папа, не буду,— и никогда ни у кого не занимал.

— И потом еще одна вещь. Я не очень-то разбираюсь в вопросах морали и во всем этом, но мне кажется так: прежде чем совершить какой-нибудь поступок, всегда стоит подумать, не обидишь ли ты этим другого человека больше, чем это необходимо.

Джолли на секунду задумался, потом кивнул и крепко пожал отцу руку. А Джолион подумал: «Имел ли я право говорить ему это?» У него всегда был панический страх лишиться того молчаливого доверия, которое они питали друг к другу; он не забыл, как сам он на долгие годы лишился доверия своего отца и как потом уже ничто не связывало их, кроме большой любви на расстоянии. Джолион, разумеется, недооценивал, насколько изменился дух времени с 1865 года, когда он юношей поступал в Кембридж, а также недооценивал, пожалуй, и способность своего сына почувствовать и понять безграничную терпимость отца. Эта-то терпимость, а возможно, и некоторый скептицизм и заставляли его придерживаться такой странной оборонительной позиции в отношении Джун. Она была такая решительная особа, так поразительно хорошо знала, чего хочет, так неуклонно добивалась всего, что бы ни задумывала, хотя потом, правда, нередко отказывалась от этого внезапно, словно обжегшись. Мать ее была совершенно такая же, откуда и произошли все несчастья. Не то чтобы его расхождения с дочерью хоть сколько-нибудь напоминали его разногласия с первой миссис Джолион: что может казаться забавным в дочери, совсем не забавно в жене. Видеть, как Джун, сжав челюсти, упорно и решительно добивается чего-нибудь, казалось в порядке вещей, потому что это «что-нибудь» никогда не задевало всерьез свободы Джолиона — единственное, против чего он восстал бы, с не меньшей решительностью сжав челюсти, и довольно-таки внушительные челюсти, под этой короткой седеющей бородкой. А кроме того, к серьезным столкновениям между ними не было никакого повода. Всегда можно было отделаться шуткой, как он обычно и делал. Гораздо огорчительнее для него было то, что Джун никогда не радовала его эстетическое чувство, хотя, казалось, у нее были все данные для этого; золотисто-рыжие волосы, светлые, как у викингов, глаза, что-то воинственное во всем ее облике. Совсем иначе обстояло дело с Холли, спокойной, кроткой, застенчивой, ласковой, хоть в ней и прятался шалов-

ливый бесенок. Он с необыкновенным интересом следил за своей младшей дочкой, когда она еще была несформировавшимся утенком. Станет ли она лебедем? Ее смуглое с правильным овалом лицо, задумчивые серые глаза с длинными темными ресницами как будто и обещали и нет. Только в этот последний год Джолиону стало казаться, что он может сказать безошибочно: да, она будет лебедем, темным, стыдливо-застенчивым, но истинным лебедем. Ей минуло восемнадцать лет, мадемуазель Бос ретировалась — эта особа после одиннадцати лет, насыщенных непрерывными воспоминаниями о «хог'ошо воспитанных маленьких Тэйлорах», переселилась в другое семейство, чье лоно отныне будет постоянно потрясаться ее воспоминаниями о «хог'ошо воспитанных маленьких Форсайтах». Она научила Холли говорить по-французски так же, как говорила сама.

Хотя Джолион не был особенно силен в портрете, тем не менее он уже три раза писал портрет своей младшей дочери и теперь, четвертого октября 1899 года, писал в четвертый раз, когда ему подали визитную карточку, заставившую его брови изумленно поползти вверх:

М-р Сомс Форсайт.
Шелтер, «Клуб знатоков»,
Мейплдерхем, Сент-Джемс.

Но здесь мы позволим себе новое отступление в саге о Форсайтах...

Вернуться из долгого путешествия по Испании в дом, где опущены шторы, к маленькой перепуганной дочке и увидеть любимого отца, мирно спящего последним сном,— такое воспоминание не могло изгладиться из памяти столь впечатлительного и доброго человека, как Джолион. Ощущение какой-то тайны было связано с этим печальным днем и смертью того, чья жизнь текла так плавно, размеренно и открыто для всех. Казалось невероятным, чтобы отец мог так внезапно исчезнуть, не сообщив о своем намерении, не сказав последнего слова сыну, не простившись с ним; а бессвязные рассказы крошки Холли о «даме в сером» и мадемуазель Бос о какой-то мадам Эронт (как ему послышалось) заволакивали все каким-то туманом, который несколько рассеялся, когда он прочел завещание отца и приписку, сделанную позже. Его обязанностью как душеприказчика было уведомить Ирэн, жену его двоюродного брата Сомса, о том, что ей оставлены в пожизненное пользование проценты с пятнадцати тысяч фунтов. Он отправился к ней, чтобы сообщить, что капитал, с которого ей будут идти проценты, помещен в Индийских акциях и что доход ее будет равняться примерно ста тридцати фунтам в год, свободным от подоходного налога. Это была его третья встреча с женой его двоюродного брата Сомса, если только она все еще оставалась его женой, в чем он был не совсем уверен. Он вспомнил, как увидел ее в первый раз, когда она сидела в Ботаническом саду, дожидаясь Босини,— прекрасная безвольная фигура, напомнившая ему Тицианову «Любовь небесную», и потом, когда, по поручению отца, он явился на Монпелье-сквер вечером, в тот день, когда они узнали о смерти Босини. Он до сих пор отчетливо помнил ее появление в дверях гостиной —

— Мне не приходится встречаться с ней,— пробормотал Джолион сквозь клуб дыма.

— Но, я полагаю, вы знаете, где она живет.

Джолион кивнул. Он не намеревался давать ее адрес без разрешения. Сомс, казалось, угадал его мысли.

— Мне не нужно ее адреса,— сказал он,— я его знаю.

— Что же вы, собственно, хотите?

— Она меня бросила. Я хочу развестись.

— Немножко поздно, пожалуй?

— Да,— сказал Сомс, и наступило молчание.

— Я плохо разбираюсь в этих вещах, если и знал что, так перезабыл,— промолвил Джолион, криво улыбнувшись. Ему самому пришлось ждать смерти, которая и развела его с первой миссис Джолион.— Вы что, хотите, чтобы я поговорил с ней?

Сомс поднял глаза и посмотрел в лицо своему кузену.

— Я полагаю, там есть кто-нибудь,— сказал он.

Джолион пожал плечами.

— Я ничего не знаю. Мне кажется, вы могли оба жить так, как если бы один из вас давно умер. Так обычно и делается.

Сомс повернулся к окну. Рано опавшие дубовые листья уже устилали террасу, кружились по ветру. Джолион увидел две фигуры, Холли и Вэла Дарти, направлявшихся через лужайку к конюшням. «Не могу же я служить и нашим и вашим,— подумал он.— Я должен стать на ее сторону. Я думаю, и отец был бы того же мнения». И на короткое мгновение ему показалось, что он видит фигуру отца, сидящего в старом кресле, как раз позади Сомса, положив ногу на ногу, с «Таймсом» в руках. Видение исчезло.

— Мой отец любил ее,— тихо сказал он.

— Не понимаю, за что,— не оборачиваясь, ответил Сомс.— Сколько горя она причинила вашей дочери Джун; она всем причиняла только горе. Я давал ей все, что она хотела. Я даже готов был простить ее, но она предпочла бросить меня.

Звук этого глухого голоса подавлял всякое сочувствие в Джолионе. Что такое есть в этом человеке, что не позволяет проникнуться к нему участием?

— Я могу съездить к ней, если вам угодно,— сказал он.— Я думаю, что она будет рада разводу, впрочем, не знаю.

Сомс кивнул.

— Да, пожалуйста. Я знаю, где она живет, но я не желаю ее видеть.

Он несколько раз провел языком по губам, словно они у него пересохли.

— Может быть, вы выпьете чаю,— предложил Джолион и чуть не добавил: «и посмотрите дом». И он повел его в холл.

Позвонив и приказав подать чай, он подошел к своему мольберту и повернул картину к стене. Ему почему-то не хотелось, чтобы на нее смотрел Сомс, который стоял здесь, посреди этой большой комнаты с широкими простенками, предназначавшимися для его собственных картин. В лице своего кузена, с этим неуловимым семейным сходством

с ним самим, в этом упрямом, замкнутом, сосредоточенном выражении Джолион увидел что-то, что невольно заставило его подумать: «Этот никогда ничего не забудет, никогда своих чувств не выдаст. Несчастный человек!»

VII

СТРИГУНОК НАХОДИТ ПОДРУЖКУ

Юный Вэл, покинув старшее поколение Форсайтов, подумал: «Вот скучища! Уж дядя Сомс выдумает! Интересно, что собой представляет эта девчонка!» Он не предвкушал никакого удовольствия от ее общества, и вдруг он увидел, что она стоит тут и смотрит на него. Да какая хорошенькая! Вот повезло!

— Боюсь, что вы меня не знаете,— сказал он.— Меня зовут Вэл Дарти. Я ваш дальний родственник, троюродный брат или что-то в этом роде. Моя мать урожденная Форсайт.

Холли, от застенчивости не решаясь отнять у него свою смуглую тонкую ручку, сказала:

— Я не знаю никого из моих родственников. Их много?

— Куча. И по большей части ужасный народ. Конечно, я не... ну, во всяком случае, те, кого я знаю. Родственники всегда ужасны, ведь правда?

— Должно быть, они тоже находят нас ужасными,— сказала Холли.

— Не знаю почему бы. Уж, во всяком случае, вас-то никто не найдет ужасной.

Холли подняла на него глаза, и задумчивая чистота этих серых глаз внезапно внушила Вэлу чувство, что он должен быть ее защитником.

— Конечно, разные бывают люди,— глубокомысленно заметил он.— Ваш папа, например, выглядит очень порядочным человеком.

— Еще бы,— сказала Холли с жаром,— он такой и есть.

Краска бросилась в лицо Вэлу: зал в «Пандемониуме», смуглый господин с розовой гвоздикой в петлице, оказавшийся его собственным отцом!

— Но вы же знаете, что такое Форсайты,— почти злобно добавил он.— Ах, простите, я забыл, вы не знаете.

— А что же они такое?

— Ужасные скопидомы, ничего спортсменского. Посмотрите, например, на дядю Сомса.

— Что ж, с удовольствием,— сказала Холли.

Вэл подавил желание взять ее под руку.

— Ах, нет,— сказал он,— пойдемте лучше погуляем. Вы еще успеете на него насмотреться. Расскажите мне, какой у вас брат.

Холли повела его на террасу и оттуда на лужайку, не отвечая на его вопрос. Как описать Джолли, который, с тех пор, как она себя помнит, всегда был ее господином, повелителем и идеалом?

— Он, верно, командует вами?— коварно спросил Вэл.— Я с ним познакомлюсь в Оксфорде. Скажите, у вас есть лошади?

Холли кивнула.

Хотите посмотреть конюшни?

Очень!

Они прошли мимо дуба и сквозь редкий кустарник вышли во двор. Во дворе под башней с часами лежала мохнатая коричнево-белая собака, такая старая, что она даже не поднялась, увидя их, а только слегка помахала закрученным кверху хвостом.

— Это Балтазар,— сказала Холли.— Он такой старый, ужасно старый, почти такой же, как я. Бедненький! Он так любит папу!

— Балтазар! Странное имя! Но он, знаете, не породистый.

— Нет! Но он милочка.— И она нагнулась погладить собаку.

Мягкая, гибкая, с темной непокрытой головой, с тонкими загорелыми руками и шеей, она казалась Вэлу странной и пленительной, словно что-то, скользнувшее между ним и всем тем, что он знал прежде.

— Когда умер дедушка,— сказала она,— он два дня ничего не ел. Вы знаете, он видел, как дедушка умирал.

— Это старый Джолион? Мама всегда говорит, что это был замечательный человек.

— Это правда,— просто ответила Холли и открыла дверь в конюшню.

В широком стойле стояла серебристо-каурая лошадка ростом около пяти футов, с длинным темным хвостом и такой же гривой.

— Это моя Красотка.

— Ах,— сказал Вэл,— чудная кобылка. Только хорошо бы ей подрезать хвост. Она будет куда шикарнее.— Но, встретив удивленный взгляд Холли, он внезапно подумал: «А в общем не знаю, пусть будет, как ей нравится!» Он потянул носом воздух конюшни.— Лошади хорошая штука, правда? Мой отец...— он запнулся.

— Да?— сказала Холли.

Неудержимое желание открыться ей чуть не завладело им, но нет, не совсем.

— Да нет, просто он массу денег тратил на них. Я тоже, знаете, страшно увлекаюсь и верховой ездой, и охотой. Ужасно люблю скачки. Я бы хотел сам участвовать в скачках.— И, забыв, что ему осталось пробыть в городе только один день и что у него уже два приглашения, он с воодушевлением предложил:— А что, если я завтра возьму напрокат лошадку, вы поедете со мной в Ричмонд-парк?

Холли захлопала в ладоши.

— О, конечно! Я просто обожаю ездить верхом. Но вот же лошадь Джолли. Вы можете поехать на ней. И мы могли бы поехать после чая.

Вэл с сомнением посмотрел на свои ноги в брюках. Он мысленно видел себя перед ней безукоризненным, в высоких коричневых сапогах и в бедсфордовских бриджах.

— Мне не хочется брать его лошадь,— сказал он.— Может быть, ему это будет неприятно. Кроме того, дядя Сомс, наверно, скоро поедет домой. Конечно, я у него не на привязи, вы не думайте. А у вас есть дядя? Лошадка недурная,— заключил он, окидывая критическим взглядом

лошадь Джолли темно-гнедой масти, сверкающую белками глаз.— У вас здесь, наверно, нет охоты?

— Нет; мне, пожалуй, и не хотелось бы охотиться. Это, конечно, ужасно интересно, но это жестоко, ведь правда? И Джун тоже так говорит.

— Жестоко?— воскликнул Вэл.— Какая чепуха! А кто это такая Джун?

— Моя сестра, знаете, сводная сестра, она гораздо старше меня.

Она обхватила обеими руками морду лошади Джолли и потерлась носом об ее нос, тихонько посапывая, что, казалось, производило на животное гипнотизирующее действие. Вэл смотрел на ее щеку, прижимавшуюся к носу лошади, и на ее сияющие глаза, устремленные на него. «Она просто душечка»,— подумал он.

Они пошли обратно к дому, настроенные уже не так разговорчиво; за ними поплелся теперь пес Балтазар, медлительность которого нельзя было сравнить ни с чем на свете, причем он явно выражал желание, чтобы они не превышали его скорости.

— Чудесное здесь место,— сказал Вэл, когда они остановились под дубом, поджидая отставшего Балтазара.

— Да,— сказала Холли и вздохнула.— Но, конечно, мне бы хотелось побывать всюду. Мне бы хотелось быть цыганкой.

— Да, цыганки — это чудно,— подхватил Вэл с убеждением, которое, по-видимому, только что снизошло на него.— А вы знаете, вы похожи на цыганку.

Лицо Холли внезапно озарилось, засияло, точно темные листья, позолоченные солнцем.

— Бродить по всему свету, все видеть, жить под открытым небом — разве это не чудесно?

— А правда, давайте!— сказал Вэл.

— Да, да. Давайте!

— Вот будет здорово, и только вы да я, мы вдвоем.

Холли вдруг заметила, что это получается как-то не совсем удобно, и вспыхнула.

— Нет, мы непременно должны устроить это,— настойчиво повторил Вэл, но тоже покраснел.— Я считаю, что нужно уметь делать то, что хочешь. Что у вас там за домом?

— Огород, потом пруд, потом роща и ферма.

— Идемте туда.

Холли взглянула в сторону дома.

— Кажется, пора идти чай пить, вон папа нам машет.

Вэл, проворчав что-то, направился за ней к дому.

Когда они вошли в гостиную, вид двух пожилых Форсайтов, пьющих чай, оказал на них магическое действие, и они моментально притихли. Это было поистине внушительное зрелище. Оба кузена сидели на диванчике маркетри, имевшем вид трех соединенных стульев, обтянутых серебристо-розовой материей, перед ними стоял низенький чайный столик. Они сидели, отодвинувшись друг от друга, насколько позволял диван, словно заняли эту позицию, чтобы избежать необходимости смотреть

друг на друга, и оба больше пили и ели, чем разговаривали,— Сомс с видом полного пренебрежения к кексу, который тем не менее быстро исчезал, Джолион — словно слегка подсмеиваясь над самим собой. Постороннему наблюдателю, конечно, не пришло бы в голову назвать их невоздержанными, но тот и другой уничтожали изрядное количество пищи. После того как младших оделили едой, прерванная церемония продолжалась своим чередом, молчаливо и сосредоточенно, до тех пор, пока Джолион, затянувшись папиросой, не спросил Сомса:

— А как поживает дядя Джемс?

— Благодарю вас, очень слаб.

— Удивительная у нас семья, не правда ли? Я как-то на днях вычислял по фамильной библии моего отца среднее долголетие десяти старших Форсайтов. Вышло восемьдесят четыре года, а ведь пятеро из них еще живы. Они, по-видимому, побьют рекорд.— И, лукаво взглянув на Сомса, он прибавил:— Мы с вами уже не то, что они.

Сомс улыбнулся. «Неужели вы и в самом деле думаете, будто я могу согласиться, что я не такой, как они,— казалось, говорил он,— или что я склонен уступить что-нибудь добровольно, особенно жизнь?»

— Мы, может быть, и доживем до их возраста,— продолжал Джолион,— но самосознание, знаете ли, большая помеха, а в этом-то и заключается разница между ними и нами. Нам не хватает уверенности. Когда и как родилось это самосознание, мне не удалось установить. У отца оно уже было в небольшой дозе, но я не думаю, чтобы у кого-нибудь еще из старых Форсайтов его было хоть на йоту. Никогда не видеть себя таким, каким видят тебя другие,— прекрасное средство самозащиты. Вся история последнего века сводится к этому различию между нами. А между нами и вами,— прибавил он, глядя сквозь кольцо дыма на Вэла и Холли, чувствовавших себя неловко под его внимательным и слегка насмешливым взглядом,— разница будет в чем-то другом. Любопытно, в чем именно.

Сомс вынул часы.

— Нам пора отправляться,— сказал он,— чтобы не опоздать к поезду.

— Дядя Сомс никогда не опаздывает на поезд,— с полным ртом пробормотал Вэл.

— А зачем мне опаздывать?— просто спросил Сомс.

— Ну, я не знаю,— протянул Вэл,— другие же опаздывают.

В дверях, у выхода, прощаясь с Холли, он незаметно задержал ее тонкую смуглую руку.

— Ждите меня завтра,— шепнул он,— в три часа я буду встречать вас на дороге, чтобы сэкономить время. Мы чудно покатаемся.

У ворот он оглянулся, и если бы не его принципы благовоспитанного молодого человека, он, конечно, помахал бы ей рукой. Он был совсем не в настроении поддерживать беседу с дядей. Но с этой стороны ему не грозило опасности. Сомс, погруженный в какие-то далекие мысли, хранил полное молчание.

Желтые листья, падая, кружились над двумя пешеходами, пока они шли эти полторы мили по просеке, которой так часто хаживал Сомс в те

давно минувшие дни, когда он с тайной гордостью приходил посмотреть на постройку этого дома, дома, где он должен был жить с той, от которой теперь стремился освободиться. Он оглянулся и посмотрел на теряющуюся вдали бесконечную осеннюю просеку между желтеющими изгородями. Как давно это было! «Я не желаю ее видеть»,— сказал он Джолиону. Правда ли это? «А может быть, и придется»,— подумал он и вздрогнул, охваченный той внезапной дрожью, про которую говорят, что это бывает, когда ступишь на свою могилу. Унылая жизнь! Странная жизнь! И, искоса взглянув на своего племянника, он подумал: «Хотел бы я быть в его возрасте! Интересно, какова-то она теперь!»

VIII

ДЖОЛИОН ИСПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ

Когда те двое ушли, Джолион не вернулся к работе, потому что уже спускались сумерки, но прошел в кабинет со смутным и безотчетным желанием воскресить то краткое видение — отца, сидящего в старом кожаном кресле, положив ногу на ногу, и глядящего спокойным взглядом из-под купола своего огромного лба. Часто в этой маленькой комнате, самой уютной в доме, Джолион переживал минуты общения с отцом. Не то чтобы он твердо верил в существование неумирающей человеческой души — чувство его далеко не было столь логическим,— скорее это было какое-то воздушное прикосновение, подобное запаху, или одно из тех сильных анимистических впечатлений от форм или игры света, к которым особенно восприимчивы люди, обладающие глазом художника. Только здесь, в этой маленькой, ничуть не изменившейся комнате, где отец проводил бóльшую часть своего времени, можно было еще почувствовать, что он ушел не совсем, что мудрые суждения этого старого ума, теплота его властного обаяния еще живы. Что посоветовал бы отец теперь, когда старая трагедия вспыхнула вновь, что сказал бы он на эту угрозу той, к которой он так привязался в последние недели своей жизни? «Я должен сделать для нее все, что могу,— думал Джолион.— Он поручил ее мне в завещании. Но что нужно сделать?»

И, словно надеясь обрести мудрость, душевное равновесие и тонкий здравый смысл старого Форсайта, он сел в его кресло и положил ногу на ногу. Но у него было такое чувство, словно пустая тень села в это кресло; ничто не осенило его, только ветер постукивал пальцами в потемневшую стеклянную дверь.

«Поехать к ней,— думал он,— или попросить ее приехать сюда? Какова была ее жизнь? Как-то она живет теперь? Ужасно раскапывать все это после стольких лет». И снова фигура его кузена, стоящего, упершись рукой в парадную дверь красивого зеленовато-оливкового цвета, вынырнула, отчетливая, как кукла, выскакивающая на старинных часах, когда они бьют, и его слова раздались в ушах Джолиона звучнее всяких курантов: «Я не позволю никому вмешиваться в мои дела. Я уже сказал вам, и я повторяю еще раз: мы не принимаем». Отвращение, которое он почувствовал тогда к Сомсу, к его плоской бритой физиономии, выра-

жением напоминавшей бульдога, к его сухой, крепкой, вылощенной фигуре, слегка пригнувшейся, как будто над костью, которую он не может проглотить, ожило снова с прежней силой и стало даже как-то острей. «Я не выношу его,— подумал он,— всем своим существом не выношу. И хорошо, что это так, мне легче будет стать на сторону его жены». Наполовину художник, наполовину Форсайт, Джолион по своему темпераменту ненавидел всякие, как он называл, «стычки»; пока его не выводили из себя, он мог служить прекрасным примером мудрого классического изречения о собаке: «Скорее удерет, чем полезет в драку». Легкая усмешка прочно осела в его бороде. Какая ирония, что Сомсу понадобилось явиться сюда, в этот дом, для него же выстроенный! Как он смотрел, как он озирался на эту могилу своих прежних чаяний; украдкой оглядывал стены, лестницу, оценивал все. И, словно угадывая мысли Сомса каким-то чутьем, Джолион подумал: «Я уверен, что он и сейчас не прочь был бы жить здесь. Он никогда не перестанет желать того, что когда-то было его собственностью. Ну что же, я должен что-то предпринять так или иначе, но как это неприятно, ужасно неприятно!»

Поздно вечером он написал в Челси, прося у Ирэн разрешения увидаться с ней.

Старый век, который видел такой пышный расцвет индивидуализма, закатываясь, угасал в небе, оранжевом от надвигающихся бурь. Слухи о войне усиливали лондонскую сутолоку, обычную в конце лета. И Джолиону, не часто приезжавшему в город, улицы казались лихорадочно беспокойными от всех этих недавно вошедших в моду автомобилей, которых он не одобрял с эстетической точки зрения. Он считал их, пока ехал в своем экипаже, и выяснил, что их приходится один на двадцать кебов. «Год назад их было один на тридцать,— подумал он,— по-видимому, они привьются. Только шуму больше и вдобавок вонь». Он был одним из тех весьма редких либералов, которые не терпят ничего нового, едва только оно воплощается в жизнь. Он велел кучеру свернуть поскорее от всей этой сутолоки к реке — ему хотелось посмотреть на воду сквозь мягкую завесу платанов. У небольшого дома, ярдах в пятидесяти от набережной, он сказал кучеру остановиться и подождать и поднялся в бельэтаж.

— Да, миссис Эрон дома.

Джолион, помнивший убогое изящество этой крошечной квартирки восемь лет назад, когда он приехал сообщить Ирэн об оставленном ей наследстве, сразу заметил влияние прочного, хотя и весьма скромного дохода. Все кругом было новое, изысканное, всюду пахло цветами. Общий тон был серебристый, с черными, золотыми и голубовато-белыми пятнами. «С большим вкусом женщина»,— подумал он. Время милостиво обошлось с Джолионом, ибо он был Форсайт. Но Ирэн время словно совсем не коснулось, таково было, по крайней мере, его впечатление. Когда она вышла к нему в сером бархатном платье, протянув руку и слегка улыбаясь, она показалась ему ничуть не постаревшей: те же мягкие темные глаза, темно-золотистые волосы.

— Садитесь, пожалуйста.

Ему, кажется, никогда не приходилось садиться с чувством большей неловкости.

— Вы совсем не изменились,— сказал он.

— А вы помолодели, кузен Джолион.

Джолион провел рукой по волосам, обилие которых его всегда утешало.

— Я старик, но я этого не чувствую. Это одна из добрых сторон живописи: она сохраняет вам молодость. Тициан жил до девяноста девяти лет, и понадобилась чума, чтобы свести его в могилу. Вы знаете, когда я увидал вас в первый раз, я вспомнил об одной его картине.

— А когда вы меня видели в первый раз?

— В Ботаническом саду.

— Как же вы меня узнали, если никогда до тех пор не видели?

— По одному человеку, который подошел к вам.

Он пристально смотрел на нее, но она не изменилась в лице и спокойно сказала:

— Да, несколько жизней тому назад.

— Откройте ваш секрет молодости, Ирэн.

— Люди, которые не живут, прекрасно сохраняются.

Гм! Звучит горько! Люди, которые не живут. Но с этого можно начать разговор, и он так и сделал.

— Вы помните моего кузена Сомса?— Он заметил, что она чуть улыбнулась на этот нелепый вопрос, и продолжал:— Он два дня назад был у меня. Он хочет получить развод. А вы хотели бы этого?

— Я?— вырвалось у нее изумленно.— После двенадцати лет немножко поздно, пожалуй. Не трудно ли это будет?

Джолион твердо посмотрел ей в лицо.

— Если...— начал он.

— Если у меня нет любовника? Но у меня с тех пор никого не было.

Что почувствовал он при этих простых чистосердечных словах? Облегчение, удивление, жалость? Венера, у которой двенадцать лет нет возлюбленного!

— Но все-таки,— сказал он.— Я думаю, вы много дали бы, чтобы быть совсем свободной.

— Не знаю. Какой в этом смысл теперь?

— Ну, а если бы вы кого-нибудь полюбили?

— Ну и любила бы.

В этих простых словах она, казалось, выразила всю философию женщины, от которой отвернулся свет.

— Так! Что же, ему передать что-нибудь от вас?

— Только то, что я сожалею, что он не свободен. У него ведь была возможность. Не знаю, почему он ею не воспользовался.

— Потому что он Форсайт. Мы, знаете, никогда не расстаемся с нашим добром, пока нам не захочется получить вместо него что-нибудь другое; да и тогда неохотно.

Ирэн улыбнулась.

— И вы тоже, кузен Джолион? А мне кажется, вы не такой.

— Я, конечно, немножко выродок — не совсем чистый Форсайт. Я никогда не пишу полупенни на моих чеках, я всегда округляю,— смущенно сказал Джолион.

— Ну, а что же теперь хочет Сомс вместо меня?

— Не знаю, детей, может быть.

Она секунду сидела молча, опустив глаза.

— Да,— прошептала она наконец.— Это тяжело. Я бы рада была ему помочь, если бы могла.

Джолион разглядывал свою шляпу. Чувство неловкости овладевало им все больше и вместе с тем чувство восхищения, удивления и жалости. Какая она милая, и так одинока; и как все это сложно!

— Так вот,— сказал он.— Я, конечно, увижу Сомса. Если я чем-нибудь могу вам помочь, знайте, я всегда к вашим услугам. Вы должны видеть во мне заместителя отца, правда, довольно жалкого. Во всяком случае, я сообщу вам о результатах моего разговора с Сомсом. Он ведь может и сам представить материал.

Она покачала головой.

— Ему это многого будет стоить; а мне терять нечего; я бы рада была помочь ему освободиться; но я не представляю себе, что я могу сделать.

— Я пока что тоже,— сказал Джолион.

Вскоре после этого он простился и вышел.

Он уселся в кеб. Половина третьего! Сомс сейчас у себя в конторе.

— В Полтри!— крикнул он в окошечко.

Перед зданием парламента и на Уайтхолл газетчики выкрикивали: «Серьезное положение в Трансваале!»— но он почти не замечал этих криков, занятый своими мыслями об этом поистине прекрасном лице, об ее мягких темных глазах и об этой фразе: «У меня никого не было с тех пор». Что делать, как жить такой женщине, когда жизнь ее вот так остановилась? Одна, без защиты, ведь рука любого мужчины угрожает ей, или, вернее, протягивается к ней, чтобы схватить ее при первой возможности. И вот так она живет год за годом!

Слово «Полтри» вверху над пешеходами вернуло его к действительности.

«Форсайт, Бастард и Форсайт»— черными буквами на гороховом фоне — исполнили его некоторой решимости, и он поднялся по каменной лестнице, бормоча:

— Вот они, ревнители собственности! Но ведь без них не обойдешься!

— Мне нужно видеть мистера Сомса Форсайта,— сказал он мальчику, открывшему дверь.

— Как доложить?

— Мистер Джолион Форсайт.

Мальчик посмотрел на него с любопытством — ему еще никогда не доводилось видеть Форсайта с бородой — и исчез.

Контора «Форсайт, Бастард и Форсайт» постепенно поглотила контору «Тутинг и Баулс» и занимала теперь весь второй этаж. Фирма сейчас состояла, собственно, из одного Сомса и изрядного количества

старших и младших клерков. Уход Джемса около шести лет назад положил начало быстрому росту этой монополии, но она с особенной скоростью пошла в гору с уходом Бастарда, которого, как утверждали многие, доконала тяжба Фрайера против Форсайта, запутывавшаяся все больше и больше и сулившая все меньше выгод тяжущимся сторонам. Сомс, с его более трезвым отношением к делу, не позволял себе беспокоиться зря; напротив, он давно предугадал, что судьба наградит его на этом деле двумястами фунтов годового дохода чистоганом, и почему бы и нет?

Когда Джолион вошел, его двоюродный брат составлял список тех процентных бумаг, которые, ввиду слухов о войне, он решил посоветовать своим клиентам продать, раньше чем это сделают другие. Он искоса взглянул на Джолиона и сказал:

— Здравствуйте. Одну минуту. Присядьте, пожалуйста.

И, дописав последние три цифры, положил линейку, чтобы отметить строчку, и повернулся к Джолиону, покусывая плоский указательный палец.

— Да?— сказал он.

— Я виделся с ней.

Сомс нахмурился.

— Ну и что же?

— Она осталась верна прошлому.

Сказав это, Джолион тотчас же упрекнул себя. Лицо его кузена вспыхнуло густым багрово-желтым румянцем. И что его дернуло дразнить это несчастное животное!

— Мне поручено передать, что она очень жалеет, что вы не свободны. Двенадцать лет — это большой срок. Вы лучше меня знаете закон и те возможности, которые он дает вам.

Сомс издал какой-то неясный хриплый звук, и затем оба на целую минуту замолчали. «Точно кукла восковая,— думал Джолион, следя за бесстрастным лицом, с которого быстро сбегал румянец.— Он никогда и вида не подаст, что он думает и что он собирается сделать. Точно кукла!» И он перевел взгляд на карту цветущего приморского городка Байстрит, будущий вид которого красовался на стене для поощрения собственнических инстинктов клиентов. У Джолиона мелькнула странная мысль: «Не предложит ли он мне сейчас получить по счету: Мистеру Джолиону Форсайту — за совет по делу о моем разводе, за его отчет о визите к моей жене, за поручение отправиться к ней вторично, итого причитается шестнадцать шиллингов восемь пенсов».

Вдруг Сомс сказал:

— Я больше не могу так жить, говорю вам, я больше не могу.

Глаза его метались по сторонам, как у затравленного зверя, который ищет, куда бы скрыться. «А ведь он действительно страдает,— подумал Джолион,— мне не следует этого забывать только потому, что он мне неприятен».

— Конечно,— мягко сказал он,— но это в ваших руках. Мужчина всегда может добиться этого, если возьмет дело на себя.

Сомс круто повернулся к нему с глухим стоном, который, казалось, вырвался откуда-то из глубины:

— Почему я должен еще страдать после всего того, что я вытерпел? Почему?

Джолион только пожал плечами. Рассудок его соглашался, инстинкт восставал; почему — он не мог объяснить.

— Ваш отец,— продолжал Сомс,— почему-то симпатизировал ей. И вы, вероятно, тоже?— Он бросил на Джолиона подозрительный взгляд.— По-видимому, стоит только человеку причинить зло другому, он завоевывает всеобщее участие. Не знаю, в чем меня можно упрекнуть, и никогда не знал и раньше. Я всегда относился к ней хорошо. Я давал ей все, что она могла желать. Я хотел, чтобы она осталась со мной.

Снова рассудок Джолиона поддакнул, но инстинкт снова воспротивился. «Что это?— подумал он.— Должно быть, я какой-то урод, ну, а если так, пусть уж и буду такой, как есть, лучше уж быть уродом».

— Ведь как-никак,— с какой-то угрюмой свирепостью заключил Сомс,— она была моей женой.

И тотчас слушателя его словно осенило: «Вот оно! Собственность! Ну что же, в конце концов, мы все владеем своим добром, но живыми людьми... брр!»

— Приходится считаться с фактами,— холодно возразил он,— или, вернее, с отсутствием таковых.

Сомс снова кинул на него быстрый подозрительный взгляд.

— С отсутствием таковых?— повторил он.— Да, но я не очень этому верю.

— Простите,— сказал Джолион.— Я передаю вам то, что она сказала. И это было сказано вполне определенно.

— Мой личный опыт не позволяет мне слепо доверяться ее словам. Мы еще посмотрим.

Джолион поднялся.

— До свидания,— сухо сказал он.

— До свидания,— ответил Сомс, и Джолион вышел, стараясь разгадать полуизумленное, полуугрожающее выражение лица своего двоюродного брата.

Он ехал на вокзал Ватерлоо в полном расстройстве чувств, как будто все существо его вывернули наизнанку; всю дорогу в поезде он думал об Ирэн в ее одинокой квартирке, и о Сомсе в его одинокой конторе, и о том, как странно парализована жизнь у обоих. «В петле,— подумал он,— и тот и другой, и ее красивая шейка — в петле!»

IX

ВЭЛ УЗНАЕТ НОВОСТИ

Держать свои обещания отнюдь не было отличительной чертой молодого Вэла, поэтому, когда он, нарушив два, сдержал одно, последнее выросло в его глазах в событие, достойное удивления, пока он медленной рысью возвращался из Робин-Хилла в город после своей прогулки верхом с Холли. На своей серебристо-каурой длиннохвостой лошадке

она сегодня была еще красивее, чем вчера; и в этих туманных октябрьских сумерках в предместье Лондона ему, настроенному по отношению к себе весьма критически, казалось, что сам он во время этой прогулки блистал только своими сапогами. Он вынул новые золотые часы (подарок Джемса) и посмотрел не на циферблат, а на свою физиономию, отражавшуюся по кусочкам в блестящей верхней крышке. Над бровью у него было какое-то пятно, что ему очень не понравилось, потому что ей, конечно, это не могло понравиться. У Крума никогда не бывает никаких пятен. Следом за образом Крума тотчас же выплыла сцена в «Пандемониуме». Сегодня у него не было ни малейшего желания открыться Холли и говорить об отце. Отцу недоставало поэзии, дыхание которой Вэл впервые ощутил за все свои девятнадцать лет. «Либерти» и Цинтия Дарк, это почти мифическое воплощение всяческих наслаждений, «Пандемониум» и женщина неопределенного возраста — все куда-то провалилось для Вэла, который сейчас только что расстался со своей новой застенчивой темноволосой кузиной. И она так «здорово» ездила верхом и, что ему особенно было лестно, ехала за ним, куда ему хотелось, по всем аллеям Ричмонд-парка, хотя она, конечно, знает их куда лучше его. Вспоминая все это, он удивлялся тому, как бессмысленно он с ней разговаривал; он чувствовал, что мог бы сказать ей массу совершенно замечательных вещей, если бы только представился еще такой случай, и мысль, что завтра ему придется отправиться в Литлхэмтон, а двенадцатого в Оксфорд, на этот дурацкий экзамен, так и не повидавшись с ней, нагоняла на него мрак быстрее, чем мгла окутывала землю. Во всяком случае, он ей напишет, и она обещала ответить. Может быть, она даже приедет в Оксфорд навестить брата. Эта мысль блеснула, как первая звездочка, появившаяся на небе, когда он подъезжал к манежу Пэдуика близ Слоун-сквер. Он сошел с лошади и с наслаждением потянулся: ведь он проехал добрых двадцать пять миль. Проснувшийся в нем Дарти заставил его минут пять поболтать с младшим Пэдуиком о кембриджширском фаворите. Затем со словами: «Запишите лошадку на мой счет»,— он вышел, неуверенно ступая негнущимися ногами, похлопывая по сапогам своим маленьким плетеным стеком. «Мне сегодня никуда не хочется идти,— подумал он.— Хорошо бы мама угостила меня на прощанье шампанским!» С шампанским и с приятными воспоминаниями можно было отлично провести вечер дома.

Когда Вэл сошел вниз, приняв ванну и переодевшись, он застал мать в декольтированном вечернем туалете и, к своему крайнему неудовольствию, дядю Сомса. Они замолчали, когда он вошел, затем дядя сказал:

— Я думаю, лучше сказать ему.

При этих словах, которые, несомненно, имели какое-то отношение к его отцу, Вэл прежде всего подумал о Холли. Неужели какая-нибудь гадость?

Мать заговорила.

— Твой отец,— начала она своим отчетливым светским голосом, в то время как пальцы ее беспомощно теребили зеленую вышивку на платье,— твой отец, мой милый мальчик, он не в Ньюмаркете; он отправился в Южную Америку, он... он уехал от нас.

Вэл перевел взгляд с нее на Сомса. Уехал! Но огорчен ли он этим? Есть ли у него чувство привязанности к отцу? Ему казалось, что он не знает. И вдруг словно пахнуло на него запахом гардений и сигар, и сердце его сжалось; да, он огорчен. Его отец — это его отец; не может быть, чтобы он так просто взял и уехал, так не бывает. И ведь не всегда же он был таким «пшютом», как тогда в «Пандемониуме». С ним были связаны чудесные воспоминания о поездках к портному, о лошадях, о карманных деньгах, которые приходились так кстати в школе, о том, какой он всегда был щедрый и добрый, когда ему в чем-нибудь везло.

— Но почему?— спросил он. И сейчас же мужчина в нем устыдился заданного вопроса. Бесстрастное лицо матери вдруг все передернулось.— Хорошо, мама, не говори мне. Но только что все это значит?

— Боюсь, Вэл, что это означает развод.

У Вэла вырвался какой-то хриплый звук, и он быстро взглянул на дядю, на которого его приучили смотреть как на своего рода гарантию против всех последствий того печального факта, что у него, Вэла, есть отец, и даже больше: против самой крови Дарти, текущей в его жилах. Худощавое лицо Сомса как будто дрогнуло, и это уж совсем расстроило Вэла.

— Но ведь это будет не публично?

И перед ним так живо встало воспоминание о том, с каким жадным любопытством он сам смаковал отвратительные газетные подробности бракоразводных процессов.

— Разве это нельзя устроить как-нибудь так, чтобы не было шуму? Это так отвратительно для... мамы и для всех.

— Разумеется, мы постараемся, по возможности, избежать шума, в этом ты можешь быть уверен.

— Да, но разве это вообще так необходимо? Мама ведь не собирается выходить замуж.

Он сам, сестры, их имя, запятнанное в глазах школьных товарищей и Крума, и всех этих оксфордцев, и в глазах Холли! Невыносимо! И чего ради?

— Разве ты хочешь выйти замуж, мама?— резко спросил он.

Уинифрид, очутившись лицом к лицу со своими собственными переживаниями, к которым вернул ее тот, кого она любила больше всех на свете, поднялась с кресла ампир, на котором она до сих пор сидела неподвижно. Она поняла, что сын будет против нее, если не сказать ему всего, но как сказать ему? И, не переставая теребить зеленую вышивку, она нерешительно посмотрела на Сомса. Вэл тоже смотрел на Сомса. Ну конечно, это воплощение респектабельности и права собственности не допустит, чтобы его родная сестра была публично опозорена!

Сомс медленно провел маленьким разрезным ножом с инкрустациями по гладкой поверхности столика маркетри, затем, не глядя на племянника, заговорил:

— Ты не можешь понять того, что приходилось терпеть твоей матери все эти двадцать лет. Это последняя капля, Вэл.— И, покосившись на Уинифрид, он добавил:— Сказать ему?

Уинифрид промолчала. Не сказать ему — он будет против нее! Но как это ужасно — выслушивать такие вещи о родном отце! Сжав губы, она кивнула.

Сомс быстро, ровным голосом продолжал:

— Он всегда был у твоей матери камнем на шее. Ей постоянно приходилось платить его долги; он часто напивался пьяным, оскорблял ее и всячески угрожал ей, и вот теперь он уехал в Буэнос-Айрес с танцовщицей.— И, словно опасаясь, что его слова не произвели на юношу достаточного впечатления, поспешил добавить:— Он взял жемчуг твоей матери, чтобы подарить этой женщине.

Вэл невольно поднял руку. Увидев этот сигнал бедствия, Уинифрид крикнула:

— Довольно, Сомс, замолчи!

В мальчике боролись Дарти и Форсайт. Долги, пьянство, танцовщицы — это, в конце концов, не так еще плохо, но жемчуг — нет! Это уж слишком! И внезапно он почувствовал, как рука матери сжимает его руку.

— И ты понимаешь,— слышал он голос Сомса,— мы не можем допустить, чтобы все это началось теперь снова. Есть предел всему, и нужно ковать железо, пока горячо.

Вэл высвободил руку.

— Но вы... вы никогда не огласите эту историю с жемчугами! Я этого не перенесу, просто не перенесу!

Уинифрид воскликнула:

— Нет, нет, Вэл, конечно, нет! Тебе сказали это, только чтобы показать, до чего дошел твой отец.— И дядя его утвердительно кивнул.

Несколько успокоенный, он вытащил папироску. Этот тоненький изогнутый портсигар подарил ему отец. Ах, это невыносимо — и как раз теперь, когда он поступает в Оксфорд!

— Разве маме нельзя помочь как-нибудь иначе?— сказал он.— Я сам могу защитить ее. И ведь это всегда можно будет сделать и позже, если в этом действительно будет необходимость.

Улыбка появилась на губах Сомса, в ней была какая-то горечь.

— Ты не понимаешь, о чем говоришь; нет ничего хуже, как откладывать в таких делах.

— Почему?

— Я тебе говорю, ничего не может быть хуже. Я знаю это по собственному опыту.

В голосе его слышалось раздражение. Вэл смотрел на него, вытаращив глаза: он никогда не видел, чтобы дядя обнаруживал хоть какие-нибудь признаки чувства. Ах, да, он вспомнил теперь: была какая-то тетя Ирэн и что-то случилось такое, о чем они не говорят; он слышал один раз, как отец выразился о ней так, что и повторить неудобно.

— Я не хочу говорить дурно о твоем отце, но я его достаточно хорошо знаю и утверждаю, что не пройдет и года, как он опять сядет на шею твоей матери. А ты представляешь себе, что это будет значить для нее и для всех вас? Единственный выход — это разрубить узел раз навсегда.

— Ну, знаете,— пробурчал Вэл, стаскивая пальто,— я уже не школьник.

Уормсон, не лишенный чувства юмора, распахнул дверь позади вешалки из оленьих рогов и провозгласил:

— Мистер Валерус, мэм!

«Черт бы его взял!»— подумал Вэл, входя. Радушные объятия и «а, Вэл!»— Эмили и дрожащее «наконец-то ты пожаловал!»— Джемса вернули ему чувство собственного достоинства.

— Почему же ты не предупредил? У нас сегодня на обед только седло барашка. Шампанского, Уормсон,— сказала Эмили.

И они направились в столовую.

За большим обеденным столом, под которым когда-то вытягивалось столько великолепно обутых ног и который теперь был насколько возможно сдвинут, Джемс сел на одном конце, Эмили на другом, а Вэл посредине между ними; и на него вдруг дохнуло одиночеством, в котором жили старики, его дед и бабушка, теперь, когда все их четверо детей разлетелись из гнезда. «Надеюсь, что я отправлюсь на тот свет прежде, чем стану таким стариком, как дедушка,— подумал он.— Бедный старикан, и какой худой, прямо как жердь». И, понизив голос, в то время как дедушка обсуждал с Уормсоном, сколько сахару нужно положить в суп, он сказал Эмили:

— Дома что-то ужасное, бабушка. Я думаю, вам уже известно все.

— Да, мой милый.

— Дядя Сомс был у нас, когда я уходил. А мне кажется, неужели нельзя чего-нибудь придумать, чтобы избежать развода? Почему он так настаивает на этом?

— Ш-ш, голубчик,— зашикала Эмили,— мы скрываем это от дедушки.

С другого конца стола раздался голос Джемса:

— Что такое? О чем вы там разговариваете?

— О колледже Вэла,— ответила Эмили.— Там ведь учился молодой Паризер, ты помнишь, Джемс, он потом чуть не сорвал банк в Монте-Карло.

Джемс пробормотал, что он не знает, что Вэл должен следить за собой, а то попадет в дурную компанию. И он посмотрел на внука с суровостью, в которой недоверчиво сквозила нежность.

— Я боюсь одного,— сказал Вэл, глядя в тарелку,— что мне там придется туго.

Он инстинктом угадывал слабую струнку старика — его постоянное опасение, что внуки не вполне обеспечены.

— Ты будешь получать достаточно,— сказал Джемс и расплескал суп из ложки,— но ты должен держаться в пределах этой суммы.

— Ну конечно,— тихо сказал Вэл,— если она будет достаточная. А сколько это будет, дедушка?

— Триста пятьдесят фунтов; это очень много. У меня никогда не было таких денег в твоем возрасте.

Вэл вздохнул. Он надеялся на четыреста, боялся, как бы не оказалось только триста.

— Я не знаю, какой пенсион назначен твоему кузену,— сказал Джемс,— он ведь тоже там. Его отец богатый человек.

— А вы разве нет?— дерзко спросил Вэл.

— Я?— забормотал Джемс, опешив.— У меня так много расходов. Твой отец...— И он замолчал.

— Какой шикарный дом у дяди Джолиона! Я был там с дядей Сомсом — замечательные конюшни.

— Ах,— Джемс глубоко вздохнул,— этот дом! Я знал, чем это кончится!..— И он мрачно задумался, глядя в тарелку.

Трагедия его сына, которая произвела такой раскол в семье Форсайтов, до сих пор бередила его, внезапно одолевая сомнениями и предчувствиями. Вэлу, которому не терпелось поговорить о Робин-Хилле, потому что Робин-Хилл — это была Холли, повернувшись к Эмили, сказал:

— Это тот дом, который был выстроен для дяди Сомса?— и на ее утвердительный кивок:— Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне рассказали о нем, бабушка. Что случилось с тетей Ирэн? Она жива? У дяди Сомса сегодня такой вид, будто он чем-то расстроен.

Эмили приложила палец к губам, но слово «Ирэн» долетело до слуха Джемса.

— Что такое?— сказал он, переставая есть и не донеся до рта вилку с кусочком баранины.— Кто ее видел? Я знал, что эта история еще не кончилась.

— Да полно, Джемс,— сказала Эмили,— ешь, пожалуйста, никто никого не видел.

Джемс положил вилку.

— Ты опять за свое,— сказал он.— Верно, я умру прежде, чем ты мне что-нибудь расскажешь. Сомс собирается разводиться?

— Глупости!— ответила Эмили с неподражаемым апломбом.— Сомс слишком умен для этого.

Джемс, захватив рукой свои длинные седые бакенбарды и оттянув кожу на шее, пощупал себе горло.

— Она... она всегда была...— сказал он, и на этой загадочной фразе разговор оборвался, так как вошел Уормсон.

Но позже, после того как жаркое сменилось фруктами, сыром и десертом, Вэл, получив чек на двадцать фунтов и поцелуй от деда, не похожий ни на какой другой поцелуй в мире (губы старика прильнули к нему с какой-то робкой стремительностью, словно уступив слабости), попытался в холле вернуться к прерванному разговору.

— Расскажите про дядю Сомса, бабушка. Почему он так настаивает, чтобы мама развелась?

— Дядя Сомс,— сказала Эмили, и голос ее звучал преувеличенно твердо,— он юрист, мой мальчик. И ему, конечно, лучше знать.

— Вот как?— пробормотал Вэл.— А что случилось с тетей Ирэн? Я помню, она была такая красивая.

— Она... гм...— сказала Эмили,— вела себя очень дурно. Мы никогда не говорим об этом.

— Ну, и я не хочу, чтобы все в Оксфорде знали о наших семейных делах; это просто ужасно. Разве нельзя как-нибудь воздействовать на папу так, чтобы все прошло без огласки?

Эмили вздохнула. Ей, благодаря ее светским наклонностям, не чужда была атмосфера развода: многие из тех, чьи ноги вытягивались под ее обеденным столом, приобрели своими процессами некоторого рода известность. Однако когда дело касалось ее собственной семьи, ей нравилось это не больше, чем другим. Но она была на редкость практичной и мужественной женщиной и никогда не гонялась за призраком в ущерб действительности.

— Твоей маме будет лучше, если она совсем освободится, Вэл. До свидания, мой дорогой мальчик, и не носи, пожалуйста, ярких жилетов в Оксфорде, они теперь совсем не в моде. Вот тебе от меня маленький подарок.

С пятифунтовой бумажкой в руке и с теплым чувством в сердце — Вэл любил свою бабушку — он вышел на Парк-лейн. Ветер разогнал туман, осенние листья шуршали под ногами, сияли звезды. С такой уймой денег в кармане он внезапно почувствовал желание «кутнуть»; но не прошел и сорока шагов по направлению к Пикадилли, как перед ним встало застенчивое лицо Холли, ее глаза с шаловливым бесенком, прячущимся в их задумчивой глубине,— и он снова почувствовал, как рука его сладко заныла от прикосновения ее теплой, затянутой в перчатку руки. «А ну их!— подумал он.— Пойду-ка я домой».

X

СОМС ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ БУДУЩЕЕ

Для прогулок по реке, в сущности, было поздновато, но погода стояла чудесная, и под желтеющей листвой еще дышало лето. Сомс в это воскресное утро не раз поглядывал на небо из своего сада на берегу реки близ Мейплдерхема. Он собственноручно поставил вазы с цветами в своем плавучем домике и спустил на воду маленькую лодку, в которой намеревался покатать Аннет с матерью после завтрака. Раскладывая подушки с китайским рисунком, он думал: хотелось бы ему покататься вдвоем с Аннет? Она такая хорошенькая — может ли он поручиться, что не скажет ничего лишнего, не выйдет за пределы благоразумия? Розы на веранде еще цвели, живая изгородь зеленела, и почти ничто не говорило о поздней осени и не расхолаживало настроения; но тем не менее он нервничал, беспокоился, и его одолевали сомнения, сумеет ли он найти нужный тон.

Он пригласил их с целью дать Аннет и ее матери должное представление о своих средствах, с тем чтобы они впоследствии отнеслись достаточно серьезно к любому предложению, которое он вознамерится сделать. Он оделся тщательно, позаботившись о том, чтобы не выглядеть ни слишком молодым, ни слишком старым, радуясь тому, что волосы у него все еще густые и мягкие, без малейшей седины. Три раза он подымался в свою картинную галерею. Если они хоть что-нибудь понимают, они сразу увидят, что одна его коллекция стоит, по крайней мере, тридцать

тысяч фунтов. Он заботливо оглядел изящную спальню, выходившую окнами на реку. Он проведет их сюда, чтобы они сняли здесь шляпы. Это будет ее спальня, если... если все обернется удачно и она станет его женой. Подойдя к туалету, он провел рукой по сиреневой подушечке, в которую были воткнуты всевозможные булавки; ваза с засохшими лепестками роз издавала аромат, от которого у него на секунду закружилась голова. Его жена! Если бы только можно было уладить все поскорее и над ним не висел бы кошмар развода, через который еще надо пройти! Угрюмая складка залегла у него на лбу, и он перевел взгляд на реку, сверкавшую сквозь розовые кусты за лужайкой. Мадам Ламот, конечно, не устоит перед такими перспективами для своей дочки; а Аннет не устоит перед своей мамашей. Если бы он только был свободен! Он поехал встречать их на станцию. Сколько вкуса у француженок! Мадам Ламот была в черном платье с сиреневой отделкой, Аннет — в сероватолиловом полотняном костюме, в палевых перчатках и такой же шляпе. Она казалась немножко бледной — настоящая жительница Лондона; а ее голубые глазки были скромно опущены. Дожидаясь, когда они сойдут к завтраку, Сомс стоял в столовой у открытой стеклянной двери, с чувством блаженной неги наслаждаясь солнцем, цветами, деревьями — чувство, только тогда доступное во всей своей полноте, когда молодость и красота разделяют его с вами. Меню завтрака было обдумано с величайшей тщательностью: вино — замечательный сотерн, закуски редкой изысканности, кофе, поданный на веранду, более чем превосходный. Мадам Ламот соблаговолила выпить рюмочку мятного ликера. Аннет отказалась. Она держала себя очень мило, но в ее манерах чуть-чуть проскальзывало, что она знает, как она хороша. «Да,— думал Сомс,— еще год в Лондоне, при такой жизни, и она совсем испортится».

Мадам выражала сдержанный, истинно французский восторг:

— Adorable! Le soleil est si bon![1] И все кругом si chic, не правда ли, Аннет? Мсье настоящий Монте-Кристо.

Аннет, чуть слышно выразив свое одобрение, бросила на Сомса взгляд, понять которого он не мог. Он предложил покататься по реке. Но катать обеих, когда одна из них казалась такой очаровательной среди этих китайских подушек, вызывало какое-то обидное чувство упущенной возможности, поэтому они только немножко проехали к Пэнгборну и медленно поплыли обратно по течению; порою осенний лист падал на Аннет или на черное великолепие ее мамаши. И Сомс чувствовал себя несчастным и терзался мыслью: «Как, когда, где, решусь ли я сказать и что сказать?» Они ведь еще даже не знают, что он женат. Сказать им об этом — значит поставить на карту все свои надежды; с другой стороны, если он не даст им определенно понять, что претендует на руку Аннет, она может попасть в лапы кому-нибудь другому прежде, чем он будет свободен и сможет предложить себя.

За чаем, который обе пили с лимоном, Сомс заговорил о Трансваале.

— Будет война,— сказал он.

Мадам Ламот заохала:

---

[1] Восхитительно! Какое приятное солнце! *(фр.)*

— Ces pauvres gens bergers![1] Неужели их нельзя оставить в покое?

Сомс улыбнулся — такая постановка вопроса казалась ему совершенно нелепой.

Она женщина деловая и, разумеется, должна понимать, что англичане не могут пожертвовать своими законными коммерческими интересами.

— Ах, вот что!

Но мадам Ламот считала, что англичане все-таки немножко лицемерны. Они толкуют о справедливости и о поселенцах, а совсем не о коммерческих интересах. Мсье — первый человек, который говорит об этом.

— Буры — полуцивилизованный народ,— заметил Сомс.— Они тормозят прогресс. Нам нельзя отказаться от нашего суверенитета.

— Что это значит? Суверенитет? Какое странное слово!

Сомс проявил большое красноречие, вдохновленный этой угрозой принципу собственности и подстрекаемый устремленными на него глазками Аннет. Он был в восторге, когда она сказала:

— Я думаю, мсье прав. Их следует проучить.

Умная девушка!

— Разумеется,— сказал он,— мы должны проявлять известную умеренность. Я не джингоист. Мы должны держать себя твердо, но не запугивать их. Не хотите ли пройти наверх, посмотреть мои картины?

Переходя с ними от одного шедевра к другому, он быстро обнаружил, что они не понимают ничего. Они прошли мимо его последней находки, Мауве, замечательной картины «Возвращение с жатвы», словно это была литография. Он чуть ли не с замиранием сердца ждал, как они отнесутся к жемчужине его коллекции — Израэльсу, за ценой которого он тщательно следил до последнего времени и теперь пришел к заключению, что она достигла своего апогея и что картину пора продать. Они прошли, не заметив ее. Какой удар! Впрочем, лучше иметь дело с нетронутым вкусом Аннет, который можно развить постепенно, чем с тупым невежественным верхоглядством английских буржуа. В конце галереи висел Мейссонье, которого он почти стыдился. Мейссонье упорно падал в цене. Мадам Ламот остановилась перед ним.

— Мейссонье! Ах, какая прелесть!— Она где-то слышала это имя.

Сомс воспользовался моментом. Мягко коснувшись руки Аннет, он спросил:

— Как вам у меня нравится, Аннет?

Она не отдернула руки, не ответила на его прикосновение, она прямо посмотрела ему в лицо, потом, опустив глаза, прошептала:

— Разве может кому-нибудь не понравиться! Здесь так чудесно!

— Когда-нибудь, может...— сказал Сомс и оборвал.

Она была так хороша, так прекрасно владела собой, она пугала его. Эти васильковые глазки, изгиб этой белой шейки, изящные линии тела — она была живым соблазном, его так и тянуло признаться ей. Нет, нет! Нужно иметь твердую почву под ногами, значительно более твер-

[1] Эти бедные пастухи! *(фр.)*

дую! «Если я воздержусь,— подумал он,— это только раздразнит ее, пусть немного помучается». И он отошел к мадам Ламот, которая все еще стояла перед Мейссонье.

— Да, это недурной образец его последних работ. Вы должны приехать как-нибудь еще, мадам, и посмотреть мои картины при вечернем освещении. Вы должны приехать обе и остаться здесь переночевать.

— Я в восторге, это будет очаровательно — посмотреть их при вечернем освещении, и река при лунном свете, должно быть, восхитительна!

Аннет прошептала:

— Ты расчувствовалась, maman!

Расчувствовалась! Эта благообразная, плотная, затянутая в черное платье, деловитая француженка! И внезапно он совершенно ясно понял, что ни у той, ни у другой нет никаких чувств. Тем лучше! К чему эти чувства? А все же...

Он отвез их на станцию и усадил в поезд. Ему показалось, когда он крепко пожал руку Аннет, что пальчики ее слегка ответили; ее лицо улыбнулось ему из темноты.

В задумчивости он вернулся к своему экипажу.

— Поезжайте домой, Джордан,— сказал он кучеру.— Я пойду пешком.

И он свернул на темнеющую тропинку; осторожность и желание обладать Аннет боролись в нем, и перевешивало то одно, то другое. «Bonsoir, monsieur!»— как ласково она это сказала. Если бы только знать, что у нее на уме! Француженки — как кошки: ничего у них не поймешь! Но как хороша! Как приятно, должно быть, держать в объятиях это юное создание! Какая мать для его наследника! И он с улыбкой подумал о своих родственниках, о том, как они удивятся, узнав, что он женился на француженке, как будут любопытствовать, а он будет морочить их, дразнить — пусть их бесятся! Тополя вздыхали в темноте, гулко крикнула сова. Тени сгущались на воде. «Я хочу, я должен быть свободным,— подумал он.— Довольно этой канители. Я сам пойду к Ирэн. Когда хочешь чего-нибудь добиться, надо действовать самому. Я должен снова жить — жить, дышать и ощущать свое бытие».

И, словно в ответ на это почти библейское изречение, церковные колокола зазвонили к вечерней службе.

XI

...И НАВЕЩАЕТ ПРОШЛОЕ

Во вторник вечером, пообедав у себя в клубе, Сомс решил привести в исполнение то, на что требовалось больше мужества и, вероятно, меньше щепетильности, чем на все, что он когда-либо совершал в жизни, за исключением, может быть, рождения и еще одного поступка. Он выбрал вечер отчасти потому, что рассчитывал скорее застать Ирэн дома, но главным образом потому, что при свете дня не чувствовал в себе достаточной решимости, и ему пришлось выпить вина, чтобы набраться храбрости.

Он вышел из кабриолета на набережной и прошел до Олд-Чэрч, не зная точно, в каком именно доме находится квартира Ирэн. Он разыскал его позади другого, гораздо более внушительного дома и, прочитав внизу: «Миссис Ирэн Эрон»— Эрон! Ну конечно, ее девичья фамилия! Значит, она снова ее носит?— сошел с тротуара, чтобы заглянуть в окна бельэтажа. В угловой квартире был свет, и оттуда доносились звуки рояля. Он никогда не любил музыки, он даже втайне ненавидел ее в те давние времена, когда Ирэн так часто садилась за рояль, словно ища в музыке убежище, в которое ему, она знала, не было доступа. Отстранялась от него! Постепенно отстранялась, сначала незаметно, сдержанно и, наконец, явно! Горькие воспоминания нахлынули на него от этих звуков. Конечно, это она играет; но теперь, когда он убедился в том, что увидит ее, его снова охватило чувство нерешительности. Предвкушение этой встречи пронизывало его дрожью; у него пересохло во рту, сердце неистово билось. «У *меня* нет никаких причин бояться»,— подумал он. Но тотчас же в нем заговорил юрист. Он поступает безрассудно! Не лучше ли было бы устроить официальное свидание в присутствии ее попечителя? Нет! Только не в присутствии этого Джолиона, который симпатизирует ей! Ни за что! Он снова подошел к подъезду и медленно, чтобы успокоить биение сердца, поднялся по лестнице и позвонил. Когда дверь отворили, все чувства его поглотил аромат, пахнувший на него, запах из далекого прошлого, а вместе с ним смутные воспоминания, аромат гостиной, в которую он когда-то входил, в доме, который был его домом,— запах засушенных розовых лепестков и меда.

— Доложите: мистер Форсайт. Ваша хозяйка примет меня, я знаю.

Он подготовил это заранее: она подумает, что это Джолион.

Когда горничная ушла и он остался один в крошечной передней, где от единственной лампы, затененной матовым колпачком, падал бледный свет и стены, ковер и все кругом было серебристым, отчего вся комната казалась призрачной, у него вертелась только одна нелепая мысль: «Что же мне, войти в пальто или снять его?» Музыка прекратилась; горничная в дверях сказала:

— Пройдите, пожалуйста, сэр.

Сомс вошел. Он как-то рассеянно заметил, что и здесь все было серебристое, а рояль был из дорогого дерева. Ирэн поднялась и, отшатнувшись, прижалась к инструменту; ее рука оперлась на клавиши словно ища поддержки, и нестройный аккорд прозвучал внезапно, длился мгновение, потом замер. Свет от затененной свечи на рояле падал на ее шею, оставляя лицо в тени. Она была в черном вечернем платье с чем-то вроде пелерины на плечах, он не мог припомнить, чтобы ему когда-нибудь приходилось видеть ее в черном, но у него мелькнула мысль: «Она переодевается к вечеру, даже когда одна».

— Вы!— услышал он ее шепот.

Много раз Сомс в воображении репетировал эту сцену. Репетиции нисколько не помогли ему. Он просто не мог ничего сказать. Он никогда не думал, что увидеть эту женщину, которую он когда-то так страстно желал, которой он всецело владел и которую он не видел двенадцать лет, будет для него таким потрясением. Он думал, что будет говорить и дер-

жать себя, как человек, пришедший по делу, и отчасти как судья. А он
залось, словно перед ним была не обыкновенная женщина, не преступ
ная жена, а какая-то сила, вкрадчивая, неуловимая, словно сама атмо
фера, и она была в нем и вне его. Какая-то язвительная горечь подн
малась у него в душе.

— Да, странный визит! Надеюсь, вы здоровы?

— Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста.

Она отошла от рояля и, подойдя к креслу у окна, опустилась в нег
сложив руки на коленях. Свет падал на нее, и Сомс теперь мог видеть
лицо, глаза, волосы — неизъяснимо такие же, какими он помнил их, н
изъяснимо прекрасные.

Он сел на край стоявшего рядом с ним стула, обитого серебристы
штофом.

— Вы не изменились,— сказал он.

— Нет? Зачем вы пришли?

— Обсудить кое-какие вопросы.

— Я слышала, что́ вы хотите, от вашего двоюродного брата.

— Ну и что же?

— Я готова. Я всегда хотела этого.

Теперь ему помогал звук ее голоса, спокойного и сдержанного, и
ее застывшая, настороженная поза. Тысячи воспоминаний о ней, всег
вот так настороженной, пробудились в нем, и он сказал желчно:

— Тогда, может быть, вы будете так добры дать мне информаци
на основании которой я смог бы действовать. Приходится считать
с законом.

— Я ничего не могу вам сказать, чего бы вы не знали.

— Двенадцать лет! И вы допускаете, что я способен повери
этому?

— Я допускаю, что вы не поверите ничему, что бы я вам ни сказа
но это правда.

Сомс пристально посмотрел на нее. Он сказал, что она не измен
лась; теперь он увидел, что ошибся. Она изменилась. Не лицом — ра
только, что еще похорошела, не фигурой — разве стала чуть-чуть по
нее. Нет! Она изменилась не внешне. В ней стало больше,— как бы
сказать,— больше ее самой, появилась какая-то решительность и ст
лость там, где раньше было только пассивное сопротивление. «А!— п
думал он.— Это независимый доход! Будь он проклят, дядя Джолио
— Я полагаю, вы теперь обеспечены?— сказал он.

— Благодарю вас. Да.

— Почему вы не разрешили мне позаботиться о вас? Я бы охо
сделал это, несмотря ни на что.

Слабая улыбка чуть тронула ее губы, но она не ответила.

— Ведь вы все еще моя жена,— сказал Сомс.

Зачем он сказал это, что он подразумевал под этим, он не созна
ни в ту минуту, когда говорил, ни позже. Это был трюизм, почти лиш
ный смысла, но действие его было неожиданно. Она вскочила с кре
и мгновение стояла совершенно неподвижно, глядя на него. Он вид

как тяжело подымается ее грудь. Потом она повернулась к окну и распахнула его настежь.

— Зачем это?— резко сказал он.— Вы простудитесь в этом платье. Я не опасен.— И у него вырвался желчный смешок.

Она тоже засмеялась, чуть слышно, горько.

— *Это — по привычке.*

— Довольно странная привычка,— сказал Сомс тоже с горечью.— Закройте окно!

Она закрыла и снова села в кресло. В ней появилась какая-то сила, в этой женщине — в этой... его жене! Вот она сидит здесь, словно одетая броней, и он чувствует, как эта сила исходит от нее. И как-то почти бессознательно он встал и подошел ближе,— ему хотелось видеть выражение ее лица. Ее глаза не опустились и встретили его взгляд. Боже! Какие они ясные и какие темно-темно-карие на этой белой коже, под этими волосами цвета жженого янтаря. И какие белые плечи! Вот странное чувство! Ведь он должен был бы ненавидеть ее!

— Лучше было бы все-таки не скрывать от меня,— сказал он.— В ваших же интересах быть свободной не меньше, чем в моих. А та старая история уж слишком стара.

— Я уже сказала вам.

— *Вы хотите сказать, что у вас ничего не было — никого?*

— Никого. Поищите в вашей собственной жизни.

Уязвленный этой репликой, Сомс сделал несколько шагов по комнате к роялю и обратно к камину и стал ходить взад и вперед, как бывало в прежние дни в их гостиной, когда ему становилось невмоготу.

— Нет, это не годится,— сказал он.— Вы меня бросили. Простая справедливость требует, чтобы вы...

Он увидел, как она пожала этими своими белыми плечами, услышал, как она прошептала:

— Да. Так почему же вы не развелись со мной тогда? Не все ли мне было равно?

Он остановился и внимательно, с каким-то любопытством посмотрел на нее. Что она делает на белом свете, если она правда живет совершенно одна? А почему он не развелся с ней? Прежнее чувство, что она никогда не понимала его, никогда не отдавала ему должного, охватило его, *пока он стоял и смотрел на нее.*

— Почему вы не могли быть мне хорошей женой?

— Да, это было преступлением — выйти за вас замуж. Я поплатилась за это. Вы, может быть, найдете какой-нибудь выход. Можете не щадить моего имени, мне нечего терять. А теперь, я думаю, вам лучше уйти.

Чувство, что он потерпел поражение, что у него отняли все его оправдания, и еще что-то, но что, он сам не мог себе объяснить, пронзило Сомса, словно дыхание холодного тумана. Машинально он потянулся и взял с камина маленькую фарфоровую вазочку, повертел ее и сказал:

— Лоустофт. Где это вы достали? Я купил такую же под пару этой у Джобсона.

И, охваченный внезапными воспоминаниями о том, как много лет

назад он и она вместе покупали фарфор, он стоял и смотрел на вазочку, словно в ней заключалось все его прошлое. Ее голос вывел его из забытья.

— Возьмите ее. Она мне не нужна.

Сомс поставил ее обратно на полку.

— Вы позволите пожать вам руку?— сказал он.

Чуть заметная улыбка задрожала у нее на губах. Она протянула руку. Ее пальцы показались холодными его лихорадочно горевшей ладони. «Она и сама ледяная,— подумал он,— всегда была ледяная». Но даже и тогда, когда его резанула эта мысль, все чувства его были поглощены ароматом ее платья и тела, словно внутренний жар, никогда не горевший для него, стремился вырваться наружу. Сомс круто повернулся и вышел. Он шел по улице, словно кто-то с кнутом гнался за ним, он даже не стал искать экипажа, радуясь пустой набережной, холодной реке, густо рассыпанным теням платановых листьев,— смятенный, растерянный, с болью в сердце, со смутной тревогой, словно он совершил какую-то большую ошибку, последствия которой он не мог предугадать. И дикая мысль внезапно пронзила его — если бы вместо: «Я думаю, вам лучше уйти»,— она сказала: «Я думаю, вам лучше остаться!»— что бы он почувствовал? Что бы он сделал? Это проклятое очарование, оно здесь с ним, даже и теперь, после всех этих лет отчуждения и горьких мыслей. Оно здесь и готово вскружить ему голову при малейшем знаке, при одном только прикосновении. «Я был идиотом, что пошел к ней,— пробормотал он.— Я ни на шаг не подвинул дело. Можно ли было себе представить? Я не думал!..» Воспоминания, возвращавшие его к первым годам жизни с ней, дразнили и мучили его. Она не заслужила того, чтобы сохранить свою красоту, красоту, которая принадлежала ему и которую он так хорошо знает. И какая-то злоба против своего упорного восхищения ею вспыхнула в нем. Всякому на его месте даже вид ее был бы ненавистен, и она это заслужила. Она испортила ему жизнь, нанесла смертельную рану его гордости, лишила его сына. Но стоило ему только увидеть ее, холодную, сопротивляющуюся, как всегда, он — сам не свой! Это в ней какой-то проклятый магнетизм. И ничего удивительного, если, как она утверждает, она прожила одна все эти двенадцать лет. Значит, Босини — будь он проклят на том свете!— жил с ней все это время. Сомс не мог сказать, доволен он этим открытием или нет.

Очутившись наконец около своего клуба, он остановился купить газету. Заголовок гласил: «Буры отказываются признать суверенитет!» Суверенитет! «Вот как она!— подумал он.— Всегда отказывалась. Суверенитет! А я все же обладаю им по праву. Ей, должно быть, ужасно одиноко в этой жалкой маленькой квартирке!»

XII

НА ФОРСАЙТСКОЙ БИРЖЕ

Сомс состоял членом двух клубов: «Клуба знатоков», название коего красовалось на его визитных карточках и в который он редко заглядывал, и клуба «Смена», который отсутствовал на карточках, но в котором

он постоянно бывал. Он примкнул к этому либеральному учреждению пять лет назад, удостоверившись, что почти все его члены суть трезвые консерваторы, по крайней мере, душой и карманом, если не принципами. Его ввел туда дядя Николас. Прекрасная читальня этого клуба была декорирована в адамовском стиле.

Войдя туда в этот вечер, он взглянул на телеграфную ленту — нет ли каких новостей о Трансваале — и увидел, что консоли с утра упали на семь шестнадцатых пункта. Он повернулся, чтобы пройти в читальню, и в это время чей-то голос за его спиной сказал:

— Ну, что ж, Сомс, все сошло отлично.

Это был дядя Николас, в сюртуке, в своем неизменном низко вырезанном воротничке особенного фасона и в черном галстуке, пропущенном через кольцо. Бог ты мой, восемьдесят два года, а как молодо и бодро выглядит.

— Я думаю, Роджер был бы доволен,— продолжал дядя Николас.— Все было великолепно устроено. Блэкли? Надо будет иметь в виду. Нет, Бэкстон мне не помог. С этими бурами у меня все нервы испортились — Чемберлен втянет нас в войну. Ты как полагаешь?

— Да, не избежать,— пробормотал Сомс.

Николас провел рукой по своим худым, гладко выбритым щекам, весьма порозовевшим после летнего лечения. Он слегка выпятил губы. Эта история с бурами воскресила все его либеральные убеждения.

— Не внушает мне доверия этот малый, настоящий буревестник. Если будет война, дома упадут в цене. У вас будет немало хлопот с недвижимостью Роджера. Я ему много раз говорил, что ему следует сбыть часть своих домов. Но он был упрям, как бык.

«Оба вы хороши»,— подумал Сомс. Но он никогда не спорил с дядями, чем, собственно, и поддерживал их во мнении, что Сомс — малый с головой, и официально сохранял за собой управление их имуществом.

— Мне говорили у Тимоти,— продолжал Николас, понизив голос,— что Дарти наконец совсем убрался. Твой отец теперь сможет вздохнуть. Отвратительная личность этот Дарти.

Сомс снова кивнул. Если было что-нибудь, на чем все Форсайты единодушно сходились, это была характеристика Монтегью Дарти.

— Примите меры,— сказал Николас,— не то он еще вернется. А Уинифрид я бы сказал, что этот зуб надо выдернуть сразу. Какой прок беречь то, что уже гниет.

Сомс украдкой покосился на Николаса. Его нервы, взвинченные только что пережитым свиданием, заставили его почувствовать в этих словах намек на него самого.

— Я ей то же советую,— коротко сказал он.

— Ну,— сказал Николас,— меня ждет экипаж. Мне пора домой. Я что-то плохо себя чувствую. Кланяйся отцу!

И, отдав таким образом дань кровным узам, он спустился своей юношеской походкой в вестибюль, где младший швейцар закутал его в меховую шубу.

«Не помню, чтобы когда-нибудь дядя Николас не жаловался, что он плохо себя чувствует,— раздумывал Сомс,— и всегда он выглядит так,

нельзя было разобрать ни одного слова. Он остановился, прислушиваясь, один из них подбежал к нему:

— Экстренный выпуск! Ультиматум Кру-утера! Война объявлена!

Сомс купил газету. Действительно, экстренное сообщение! Первой его мыслью было: «Буры хотят погубить себя». Второй: «Все ли я продал, что нужно? Если забыл, кончено — завтра на бирже будет паника». Он проглотил эту мысль, вызывающе тряхнув головой. Этот ультиматум — дерзость; он готов потерять деньги скорей, чем согласиться на него. Им нужен урок, и они его получат. Но чтобы управиться с ними, понадобится не меньше трех месяцев. Там и войск-то нет — правительство, как всегда, прозевало. Черт бы побрал этих газетных крыс! Понадобилось будить всех ночью. Точно нельзя было подождать до утра. И он с беспокойством подумал о своем отце. Газетчики будут орать и у него под окнами. Окликнув кеб, он сел в него и приказал везти себя на Парк-лейн.

Джемс и Эмили только что поднялись в спальню; и Сомс, сообщив Уормсону новость, уже собирался пройти к ним, но остановился, так как ему внезапно пришло в голову спросить:

— Что вы думаете об этом, Уормсон?

Дворецкий перестал водить мягкой щеткой по цилиндру Сомса, слегка наклонил лицо вперед и сказал, понизив голос:

— Ну что же, сэр, у них, конечно, нет никаких шансов, но я слышал, что они отличные стрелки. У меня сын в Иннискиллингском полку.

— У вас сын, Уормсон? Да что вы, а я даже не знал, что вы женаты.

— Да, сэр. Я никогда не говорю об этом. Я думаю, что его теперь пошлют туда.

Легкое удивление, которое почувствовал Сомс, сделав неожиданное открытие, что ему так мало известно о человеке, которого, как ему казалось, он так хорошо знает, тут же растворилось в другом легком удивлении, вызванном другим неожиданным открытием, что война может задеть кого-нибудь лично. Родившись в год Крымской кампании, он стал сознательным человеком к тому времени, когда восстание в Индии уже было подавлено; мелкие войны, которые после этого вела Британская империя, носили чисто профессиональный характер и нимало не задевали Форсайтов и того, что они представляли в политической жизни страны. Конечно, и эта война не явится исключением. Но он быстро перебрал в уме всех своих родственников. Двое из Хэйменов, он слышал, служат в кавалерии, это приятно, кавалерия — в этом есть что-то благородное; они носят, или это раньше так полагалось, голубые с серебром мундиры и ездят верхом. Арчибальд, он помнит, как-то однажды вступил в ополченцы, но ему пришлось отказаться от этого из-за отца: Николас тогда поднял такой скандал, что сын попусту время теряет — только щеголяет своим мундиром, разрядившись, как павлин. А недавно кто-то говорил, что старший сын молодого Николаса, «очень молодой» Николас, записался в армию добровольцем. «Нет,— думал Сомс, медленно поднимаясь по лестнице,— все это пустяки».

Он остановился на площадке у спальни родителей, раздумывая, стоит ли ему войти и сказать несколько успокоительных слов. Приоткрыв

лестничное окно, он прислушался. Гул на Пикадилли — вот все, что было слышно, и с мыслью: «Ну, если эти автомобили расплодятся, это будет несчастье для домовладельцев»,— он уже собирался пройти выше, в свою комнату, которую для него всегда держали наготове, как вдруг услышал где-то вдалеке хриплый, пронзительный крик газетчика. Так и есть, и сейчас он заорет около дома! Сомс постучал к матери и вошел.

Отец сидел на постели, навострив уши, выглядывавшие из-под седых волос, которые Эмили всегда так искусно подстригала. Он сидел румяный и необыкновенно чистый, между белой простыней и подушкой, из которой, как два острия, торчали его высокие, худые плечи, обтянутые ночной сорочкой. Только глаза его, серые, недоверчивые, под морщинистыми веками, перебегали от окна к Эмили,— она ходила в капоте по комнате, нажимая на резиновый шар, прикрепленный к флакону. В комнате слабо пахло одеколоном, которым она прыскала.

— Все благополучно!— сказал Сомс.— Это не пожар. Буры объявили войну — вот и все.

Эмили остановилась с пульверизатором в руке.

— О!— только и сказала она и посмотрела на Джемса.

Сомс тоже смотрел на отца. Старик принял это известие не так, как они ожидали: казалось, его захватила какая-то неведомая им мысль.

— Гм!— внезапно пробормотал он.— Я уж не доживу и не увижу конца этого.

— Глупости, Джемс! К рождеству все кончится.

— Что ты понимаешь в этом?— сердито возразил Джемс.— Приятный сюрприз, нечего сказать, да еще в такой поздний час.— Он погрузился в молчание, а жена и сын, точно завороженные, ждали, что вот он сейчас скажет: «Не знаю, ничего не могу сказать, я знал, чем все это кончится». Но он ничего не говорил. Серые глаза его блуждали, по-видимому, не замечая никого в комнате. Затем под простыней произошло какое-то движение, и внезапно колени его высоко поднялись.— Им нужно послать туда Робертса. Все это Гладстон заварил со своей Маджубой.

Оба слушателя заметили что-то не совсем обычное в его голосе, что-то похожее на настоящее, живое волнение. Как будто он говорил: «Я никогда больше не увижу мою родину мирной и спокойной. Я умру, не дождавшись конца, прежде чем узнаю, что мы победили». И хотя оба они чувствовали, что Джемсу нельзя позволять волноваться, они были растроганы. Сомс подошел к кровати и погладил отца по руке, которая лежала поверх простыни, длинная, вся покрытая сетью жил.

— Попомните мои слова!— сказал Джемс.— Консоли теперь упадут до номинала, а у Вэла хватит ума пойти записаться добровольцем.

— Да будет тебе, Джемс!— воскликнула Эмили.— Ты так говоришь, будто и правда есть какая-то опасность!

Ее ровный голос на время успокоил Джемса.

— Да, да,— пробормотал он,— я вам говорил, чем все это кончится. Ну, не знаю, конечно,— мне никогда ничего не рассказывают. Ты сегодня здесь ночуешь, мой мальчик?

Кризис миновал, он теперь придет в нормальное для него состояние тихой тревоги; и Сомс, уверив отца, что он останется ночевать здесь, пожал ему руку и направился в свою комнату.

На следующий день у Тимоти собралось столько гостей, сколько не собиралось уже много лет. В дни такого рода национальных потрясений, правда, не пойти туда было почти невозможно. Не то чтобы в событиях чувствовалась какая-нибудь опасность, нет, ее было ровно столько, чтобы ощущать необходимость уверять друг друга, что никакой опасности нет.

Николас явился спозаранку. Он видел Сомса накануне вечером — Сомс говорил, что войны не избежать. Этот старикашка Крюгер просто спятил, ему ведь семьдесят пять лет, по меньшей мере (Николасу было восемьдесят два). Что говорит Тимоти? У него ведь тогда что-то вроде удара было, после Маджубы. Захватчики эти буры. Темноволосая Фрэнси, явившаяся вслед за ним, сейчас же, из свойственного ей духа противоречия, подобающего независимо мыслящей дочери Роджера, подхватила:

— Сучок в чужом глазу, дядя Николас! А уитлендеры разве не почище будут?— Новое выражение, заимствованное ею, как говорили, у ее брата Джорджа.

Тетя Джули нашла, что Фрэнси не следует говорить такие вещи. Сын дорогой миссис Мак-Эндер Чарли Мак-Эндер — уитлендер, а уж его никак нельзя назвать захватчиком. На это Фрэнси отпустила одно из своих «словечек», не совсем приличных, но бывших у нее в большом ходу.

— У него отец шотландец, а мать ехидна.

Тетя Джули заткнула уши, но слишком поздно, а тетя Эстер улыбнулась; что же касается дяди Николаса — он надулся: остроты, исходившие не от него, он недолюбливал. Как раз в эту минуту вошла Мэриен Туитимен и немедленно следом за нею молодой Николас. Увидев сына, Николас поднялся.

— Ну, мне пора,— сказал он.— Вот Ник вам расскажет, чем кончатся скачки.

И, отпустив эту остроту по адресу своего старшего сына, который, будучи оплотом всяческих гарантий и директором страхового общества, был привержен к спорту не более чем его отец, он вышел. Милый Николас! Какие же это скачки! Или это одна из его шуточек? Удивительный человек и как сохранился! Сколько кусков сахару дорогой Мэриен? А как поживают Джайлс и Джесс? Тетя Джули выразила опасение, что теперь королевской кавалерии будет много хлопот, нужно будет охранять побережье, хотя, конечно, у буров нет кораблей. Но ведь никто не знает, на что окажутся способны французы, особенно после этой ужасной истории с Фашодой, которая так напугала Тимоти, что он потом несколько месяцев не покупал никаких бумаг. Но как вам нравится эта ужасная неблагодарность буров после всего, что для них сделано: посадить д-ра Джемсона в тюрьму — миссис Мак-Эндер говорила, он такой симпатичный. А сэра Альфреда Мильнера послали для переговоров с ними — ну, это такой умница. И что им только нужно, понять нельзя!

Но в этот самый момент произошла одна из тех сенсаций, которые так ценились у Тимоти и которым великие события подчас способствуют.

— Мисс Джун Форсайт.

Тетя Джули и тетя Эстер — обе сразу поднялись со своих мест, дрожа от давно заглохшей обиды, захлебываясь от переполнявшего их чувства старой привязанности и гордости, что вот она все-таки возвратилась, блудная дочь! Какой сюрприз! Милочка Джун, после стольких лет! Да как она хорошо выглядит! Ни капельки не изменилась! Они чуть-чуть было не спросили ее: «А как здоровье дорогого дедушки?»— забыв в этот ошеломляющий момент, что бедный дорогой Джолион вот уж семь лет как лежит в могиле.

Всегда самая смелая и прямодушная из всех Форсайтов, с решительным подбородком, живыми глазами и огненной копной волос, маленькая, хрупкая Джун села на позолоченный стул с бисерным сиденьем, словно вовсе и не проходило этих десяти лет с тех пор, как она была здесь, десяти лет странствований, независимости и служения «несчастненьким». Последние ее протеже были всё исключительно скульпторы, художники, граверы, отчего ее раздражение против Форсайтов и их безнадежно антихудожественных вкусов только усилилось. Правду сказать, она почти перестала верить в то, что родственники ее действительно существуют, и теперь оглядывалась кругом с какой-то вызывающей непосредственностью, чем приводила гостей в явное смущение. Она совсем не ожидала увидеть здесь кого-нибудь, кроме своих бедных старушек. А почему ей пришло в голову навестить их, она и сама не совсем понимала, просто по дороге с Оксфорд-стрит в студию на Лэтимер-род она вдруг с угрызением совести вспомнила о них, как о двух «несчастненьких», которых она совсем забросила.

Тетя Джули первая нарушила молчание:

— Мы сейчас только что говорили, дорогая, что за ужас с этими бурами. И какой наглый старикашка этот Крюгер!

— Наглый?— сказала Джун.— А я считаю, что он совершенно прав. С какой стати мы вмешиваемся в их дела? Если он выставит всех этих гнусных уитлендеров, так им и надо. Они только наживаются там.

Молчание, последовавшее за этой новой сенсацией, нарушила Фрэнси.

— Как! Вы, значит, бурофилка? (Несомненно, это выражение применялось впервые.)

— Почему, собственно, мы не можем оставить их в покое?— воскликнула Джун, и в ту же минуту горничная, открыв дверь, сказала:

— Мистер Сомс Форсайт.

Сенсация за сенсацией! Приветствия отошли на задний план, так как все с любопытством выжидали, как состоится встреча между Сомсом и Джун; существовали коварные предположения, если не твердая уверенность, что они не встречались со времени этой прискорбной истории ее жениха Босини с женой Сомса. Все видели, как они едва пожали друг другу руку, покосившись друг на друга одним уголком глаза. Тетя Джули сейчас же пришла на выручку.

— Милочка Джун такая оригиналка. Вообрази, Сомс, она считает, что буров не за что осуждать.

— Они хотят только сохранить свою независимость,— сказала Джун.— Почему им этого нельзя?

— Хотя бы потому,— ответил Сомс со своей несколько кривой усмешкой,— что они согласились на наш суверенитет.

— Суверенитет!— повторила Джун сердито.— Вряд ли бы нам понравился чей-нибудь суверенитет.

— Они получили при этом некоторые материальные выгоды; договор остается договором.

— Договоры не всегда бывают справедливы,— вспыхнула Джун,— и если они несправедливы, их нужно разрывать. Буры гораздо слабее нас. Мы могли бы позволить себе быть более великодушными.

Сомс фыркнул.

— Ну, это уж пустая чувствительность,— сказал он.

Тетя Эстер, которая больше всего боялась всяких споров, повернулась к ним и безапелляционно заявила:

— Какая чудная погода держится для октября месяца.

Но отвлечь Джун было не так-то легко.

— Не знаю, почему нужно издеваться над чувствами. По-моему, это лучшее, что есть в мире.

Она вызывающе посмотрела вокруг, и тете Джули снова пришлось вмешаться:

— Ты, Сомс, за последнее время покупал новые картины?

Ее неподражаемая способность попадать на неудачные темы не изменила ей и теперь. Сомс вспыхнул. Назвать картины, которые он недавно приобрел, значило подвергнуться граду насмешек. Всем было известно пристрастие Джун к неоперившимся гениям и ее презрение к «знаменитостям», если только не она способствовала их успеху.

— Кое-что купил,— буркнул он.

Но выражение лица Джун изменилось. Форсайт в ней почуял некоторые возможности: почему бы Сомсу не купить две-три картины Эрика Коббли — ее последнего «несчастненького»? И она тотчас же повела атаку. Знает ли Сомс его работы? Они совершенно изумительны. Это восходящая звезда.

О, да, Сомс знает его работы. По его мнению, это мазня, которая никогда не будет иметь успеха у публики.

Джун вспылила.

— Конечно, не будет, это самое последнее, чего может желать художник. Я думала, вы ценитель искусства, а не оценщик с аукциона.

— Ну конечно, Сомс — ценитель,— поспешно вмешалась тетя Джули,— у него замечательный вкус, он может заранее предсказать, что́ будет иметь успех.

— О!— простонала Джун и вскочила с вышитого бисером стула.— Я ненавижу это мерило успеха. Неужели люди не могут покупать вещи просто потому, что они им нравятся?

— Вы хотите сказать, потому что они *вам* нравятся?— заметила Фрэнси.

В последовавшей за этим паузе всем было слышно, как молодой Николас мягко сказал, что Вайолет (его четвертая) берет уроки пастели; он, правда, не знает, не уверен, есть ли в этом смысл.

— До свидания, тетечка,— сказала Джун,— мне пора идти.

И, поцеловав теток, она вызывающе окинула взглядом гостиную, еще раз сказала: «До свидания»,— и вышла. Казалось, ветер пронесся по комнате следом за нею, словно все сразу вздохнули.

Но, прежде чем кто-нибудь успел вымолвить слово, произошла третья сенсация:

— Мистер Джемс Форсайт.

Джемс вошел, слегка опираясь на палку, закутанный в меховую шубу, которая придавала ему неестественную полноту.

Все встали. Джемс был такой старый, и он не появлялся у Тимоти уже около двух лет.

— Здесь жарко,— сказал он.

Сомс помог ему снять шубу и невольно восхитился тем необыкновенным лоском, каким отличалась вся фигура отца. Джемс сел — сплошные колени, локти, сюртук и длинные седые бакенбарды.

— Что это значит?— спросил он.

Хотя в его словах не было никакого явного смысла, все поняли, что он подразумевает Джун. Его глаза испытующе скользнули по лицу сына.

— Я решил приехать и сам все узнать. Что они ответили Крюгеру?

Сомс развернул вечернюю газету и прочел заголовок: «Правительство будет действовать без промедления — война началась».

— Ах!— сказал Джемс.— Я боялся, что они отступятся, увильнут, как тогда Гладстон. На этот раз мы с ними разделаемся как следует.

Все смотрели на него, пораженные. Джемс! Вечно суетливый, нервный, беспокойный Джемс с его постоянным: «Я вам говорил, чем это кончится!»— с его пессимизмом и осторожностью в делах! Было что-то зловещее в такой решительности этого самого старого из всех живых Форсайтов.

— Где Тимоти?— спросил Джемс.— Ему следовало бы поинтересоваться этим.

Тетя Джули сказала, что она не знает. Тимоти сегодня за завтраком был что-то неразговорчив. Тетя Эстер встала и тихонько вышла из комнаты, а Фрэнси не без лукавства заметила:

— Буры — крепкий орешек, дядя Джемс, сразу не раскусить.

— Гм!— сказал Джемс.— Откуда у вас такие сведения? Мне никто ничего не рассказывает.

Молодой Николас своим кротким голосом сказал, что Ник (его старший) проходит теперь регулярный курс военного обучения.

— А!— пробормотал Джемс и уставился в одну точку — мысли его перенеслись на Вэла.— Ему надо думать о матери,— сказал он,— некогда ему заниматься военным обучением и всем этим с таким отцом.

Это загадочное изречение повергло всех в полное молчание, пока он снова не заговорил.

— А Джун зачем приходила?— И его глаза подозрительно обвели всех присутствующих по очереди.— Ее отец теперь богатый человек.

беззащитной»,— думал он. Ему казалось удивительно странным, что он до сих пор так ясно видит Ирэн в ее маленькой гостиной, где он был только два раза. В ее красоте какая-то щемящая гармония! Ни один самый точный портрет не передаст ее верно; сущность ее... да, в чем ее сущность? Стук копыт снова привлек его к боковому окну. Холли въезжала во двор на своей длиннохвостой лошадке. Она взглянула наверх, и он помахал ей. Она что-то притихла последнее время; старше становится, думал он, начинает мечтать о своем будущем, как все они — малыши! О черт, не угонишься за временем! И, чувствуя, что терять эту быстро бегущую ценность непростительно, он взялся за кисть. Но это оказалось бесполезно: он не мог сосредоточиться, к тому же начинало смеркаться. «Поеду-ка я в город»,— подумал он. В гостиной его встретила горничная.

— К вам дама, сэр, миссис Эрон.

Вот удивительное совпадение! Войдя в картинную галерею, как ее до сих пор называли, он увидел Ирэн, стоявшую у окна.

Она подошла к нему со словами:

— Я прошла там, где посторонним ходить воспрещается,— рощей и садом. Я всегда ходила этой дорогой, когда навещала дядю Джолиона.

— Здесь не может быть мест, где воспрещалось бы ходить вам,— ответил Джолион.— История этого не допускает. Я только что думал о вас.

Ирэн улыбнулась. И словно что-то засветилось в ней: это была не просто одухотворенность, нет, нечто более ясное, полное, пленительное.

— История!— сказала она.— Я когда-то сказала дяде Джолиону, что любовь длится вечно. Увы, это не так. Только отвращение вечно.

Джолион смотрел на нее в недоумении. Неужели она наконец похоронила своего Босини?

— Да,— сказал он,— отвращение глубже любви и ненависти, потому что это естественный продукт наших нервов, а их мы не можем изменить.

— Я пришла сообщить вам, что у меня был Сомс. Он сказал одну вещь, которая меня напугала. Он сказал: «Вы все еще моя жена».

— Что?!— воскликнул Джолион.— Вам нельзя жить одной.

И он продолжал смотреть на нее, не отрываясь, подавленный мыслью, что там, где Красота, всегда что-нибудь да нечисто и что, несомненно, поэтому многие и считают ее греховной.

— Что еще?

— Он просил позволения пожать мне руку.

— И вы позволили?

— Да. Я уверена, что, когда он пришел, он этого не хотел, но он стал другим, пока был у меня.

— Ах, нельзя вам продолжать так жить одной.

— У меня нет ни одной женщины, которую я могла бы позвать к себе; и не могу же я взять любовника по заказу, кузен Джолион.

— Избави боже!— сказал Джолион.— Но что за проклятое положение! Не останетесь ли вы с нами пообедать? Нет? Ну, тогда позвольте, я вас провожу в город. Я собирался сам ехать вечером.

— Это правда?

— Правда. Я буду готов через пять минут.

По дороге на станцию они разговаривали о живописи, о музыке, обсуждали манеру англичан и французов и их различное отношение к искусству. Но на Джолиона пестрая листва изгороди, окаймлявшей длинную прямую просеку, щебетание зябликов, проносившихся мимо них, запах подожженной сорной травы, поворот шеи Ирэн, очарование этих темных глаз, время от времени взглядывавших на него, обаяние всей ее фигуры производили больше впечатления, чем слова, которыми они обменивались. Бессознательно он держался прямее, и походка его стала более упругой.

В поезде он устроил ей нечто вроде допроса, заставил ее подробно рассказать, как она проводит дни.

Шьет себе платья, делает покупки, навещает больных в лечебнице, играет на рояле, переводит с французского. У нее постоянная работа для одного издательства, которая немножко прибавляет к ее доходам. Она редко выходит по вечерам.

— Я так долго жила одна, что мне это уже кажется естественным. Я думаю, что я нелюдима по натуре.

— Не верю,— сказал Джолион.— У вас много знакомых?

— Очень мало.

На вокзале Ватерлоо они взяли экипаж, и он довез ее до дверей ее дома. Прощаясь с ней, он крепко пожал ей руку и сказал:

— Знаете, вы всегда можете приехать к нам в Робин-Хилл, вы должны сообщать мне все, что бы ни случилось. До свидания, Ирэн.

— До свидания,— мягко сказала она.

Усаживаясь в кеб, Джолион думал: почему он не пригласил ее пообедать с ним, пойти в театр. Какая у нее одинокая, беспросветная, безысходная жизнь!

— Клуб «Всякая всячина»,— сказал он в окошечко кучеру.

Когда экипаж свернул на набережную, какой-то господин в цилиндре и в пальто быстро прошел мимо, держась так близко к стене, что, казалось, он задевал ее.

«Ей-богу,— подумал Джолион,— это Сомс! Что ему здесь надо?» И, остановив экипаж за углом, он вышел и вернулся к тому месту, откуда был виден ее подъезд. Сомс остановился перед домом, он смотрел на свет в ее окнах. «Если он войдет, как мне поступить?— думал Джолион.— Что я имею право сделать? Ведь то, что он сказал, в сущности, правда. Она все еще его жена, и у нее нет никакой защиты против его посягательств. Ну, если он войдет,— решил он,— я войду за ним». И он стал подвигаться к дому. Сомс сделал еще несколько шагов по тротуару; он уже был у самого подъезда. Но внезапно он остановился, круто повернулся на каблуках и пошел обратно к реке. «Как быть?— подумал Джолион.— Через десять шагов он меня увидит». И, повернув, он быстро зашагал обратно. Шаги его кузена раздавались близко позади. Но он успел дойти до своего экипажа и сесть в него раньше, чем Сомс завернул за угол.

— Поезжайте!— крикнул он в окошко.

Фигура Сомса выросла рядом.

— Кеб!— окликнул он.— Занят? Хэлло!

— Хэлло!— ответил Джолион.— Вы?

На лице его кузена, казавшемся белым в свете фонаря, промелькнуло подозрение; это заставило Джолиона решиться.

— Я могу вас подвезти,— сказал он,— если вам в западную часть города.

— Благодарю,— ответил Сомс и сел в экипаж.

— Я был у Ирэн,— сказал Джолион, когда кеб тронулся.

— Вот как!

— Вы у нее были вчера сами, насколько я понимаю.

— Был,— сказал Сомс.— Она моя жена, как вам известно.

Этот тон, эта насмешливо приподнятая губа вызвали у Джолиона внезапную злобу, но он подавил ее.

— Вам лучше знать,— сказал он,— но если вы хотите развода, вряд ли разумно бывать у нее, вы не находите? Нельзя быть и охотником и дичью сразу.

— Благодарю за предостережение,— сказал Сомс,— вы очень добры, но я еще не решил окончательно.

— Она-то решила,— сказал Джолион, глядя прямо перед собой.— Нельзя так просто вернуться к тому, что было двенадцать лет назад.

— Это мы еще посмотрим.

— Послушайте!— сказал Джолион.— Она в невыносимом положении, и я единственный человек, который на законном основании имеет какое-то право входить в ее дела.

— За исключением меня,— сказал Сомс,— который тоже в невыносимом положении. Ее положение — это то, что она сама для себя сделала; мое — это то, что *она* для меня устроила. Я совсем не уверен, что в ее же собственных интересах я не предложу ей вернуться ко мне.

— Что?— воскликнул Джолион, и дрожь прошла по всему его телу.

— Не понимаю, что вы хотите сказать вашим «что»,— холодно проговорил Сомс.— Ваше право входить в ее дела ограничивается выплатой ей процентов, и я просил бы вас не забывать этого. Если я в свое время предпочел не позорить ее разводом, я тем самым сохранил на нее свои права и повторяю: я совсем не уверен, что не пожелаю воспользоваться ими.

— Боже мой!— воскликнул Джолион, и у него вырвался короткий смешок.

— Да,— сказал Сомс, и что-то мертвенное было в его голосе.— Я не забыл прозвища, которым меня почтил ваш отец. «Собственник»! Не зря же я ношу такое прозвище.

— Ну, это уж какая-то фантастика,— пробормотал Джолион.

Не может же этот человек заставить свою жену насильно жить с ним. Это время как-никак прошло! И он покосился на Сомса с невольной мыслью: «Неужели бывают такие люди?» Но Сомс выглядел вполне реальным; он сидел прямой и даже почти элегантный: коротко подстриженные усы на бледном лице, зубы, поблескивающие под верхней губой, приподнятой в неподвижной улыбке. Наступило долгое молчание,

и Джолион думал: «Вместо того чтобы помочь ей, я только напортил». Внезапно Сомс сказал:

— Это для нее во многих отношениях лучшее, что может случиться.

При этих словах Джолион почувствовал такое смятение, что едва мог заставить себя усидеть в экипаже. Казалось, его втиснули в ящик с сотнями тысяч его соотечественников, и тут же вместе с ними втиснулось то, что было их неотъемлемой, национальной чертой, то, что всегда претило ему, что, как он знал, было вполне естественным и в то же время казалось ему непостижимым: эта их незыблемая вера в контракты и нерушимые права, их самодовольное сознание собственной добродетели в неукоснительном использовании этих прав. Здесь, рядом с ним, в кебе, находилось само воплощение, так сказать, овеществленная сумма инстинкта собственности — его родственник к тому же! Это было чудовищно, невыносимо! «Но здесь не только это!— подумал он с чувством какого-то отвращения.— Говорят, собака возвращается к своей блевотине. Встреча с Ирэн что-то разбудила в нем. Красота! Дьявольское наваждение!»

— Так вот,— заговорил Сомс,— как я уже вам сказал, я еще не решил окончательно. Я был бы вам весьма признателен, если бы вы потрудились оставить ее в покое.

Джолион сжал губы; он, всегда ненавидевший ссоры, сейчас почти радовался возможности поссориться.

— Я вам не могу этого обещать,— коротко ответил он.

— Отлично,— сказал Сомс,— в таком случае мы знаем, как нам быть. Я сойду здесь.— И, остановив экипаж, он вышел, не попрощавшись ни словом, ни жестом. Джолион поехал дальше, в свой клуб.

На улицах выкрикивали первые сообщения с театра войны, но он не слушал. Что сделать, чтобы помочь ей? Если бы отец был жив! Вот кто мог бы многое сделать! Но почему же он не может сделать того, что сделал бы отец? Разве он не достаточно стар — пятьдесят стукнуло, дважды женат, у него уже взрослые дочери и сын. «Чудно́,— думал он.— Если бы она была дурнушка, я бы не задумывался над этим. Красота — это наваждение для того, кто восприимчив к ней». И он вошел в читальню клуба совсем расстроенный. В этой самой комнате он и Босини беседовали когда-то летним вечером; он хорошо помнил даже и теперь осторожную, замаскированную лекцию, которую он прочел тогда молодому человеку в интересах Джун, и симптомы форсайтизма, которые он тогда пытался установить, и как он тогда недоумевал и старался представить себе, что́ это за женщина, против которой он предостерегает Босини. А теперь! Он чуть ли не сам нуждается в предостережении. «Странно,— подумал он,— вот уж действительно чертовски странно!»

XIV

СОМСУ СТАНОВИТСЯ ЯСНО, ЧЕГО ОН ХОЧЕТ

Насколько легче сказать: «В таком случае мы знаем, как нам быть»,— чем разуметь нечто определенное под этими словами. Произнося их, Сомс только дал волю своей инстинктивной ревнивой ярости.

Он вышел из экипажа, преисполненный глухой злобы на себя за то, что не повидался с Ирэн, на Джолиона — за то, что тот виделся с ней, и еще на то, что сам он, в сущности, не может решить, чего он хочет.

Он вышел, потому что не в состоянии был больше оставаться рядом со своим кузеном, и теперь, быстро шагая по улице, он думал: «Ни одному слову этого Джолиона нельзя верить. Был парией, и останется парией! У этого субъекта врожденное тяготение... тяготение к разврату». (Он постеснялся употребить слово «грех», потому что оно казалось слишком мелодраматичным для Форсайта.)

Неопределенность желания была для него новым чувством. Он был как ребенок в нерешительности между обещанной новой игрушкой и старой, которую у него отняли, и он сам себе удивлялся. Еще в прошлое воскресенье его желания казались так просты: свобода и Аннет. «Пойду-ка я к ним обедать»,— подумал он. Может быть, когда он увидит ее, эта двойственность его стремлений исчезнет, беспокойство уляжется и в голове прояснится.

Ресторан был полон, много иностранцев и всякой публики, которую Сомс по виду отнес к литераторам или артистам. Обрывки разговоров долетали до него сквозь звон стаканов и тарелок. Он ясно слышал — сочувствовали бурам, ругали английское правительство. «Неважная у них клиентура»,— подумал он. Он угрюмо пообедал, не давая знать о своем присутствии, выпил кофе и, кончив, наконец направился в святилище мадам Ламот, весьма заботясь о том, чтобы пройти незамеченным. Как он и думал, они ужинали, и их ужин был настолько привлекательнее съеденного им обеда, что он почувствовал легкую досаду, а они встретили его с таким преувеличенно искренним удивлением, что он с внезапным подозрением подумал: «Наверное, они с самого начала знали, что я здесь». Он украдкой испытующе посмотрел на Аннет. Такая хорошенькая и, казалось бы, такая бесхитростная; может ли быть, что она ловит его? Он повернулся к мадам Ламот и сказал:

— Я здесь обедал.

В самом деле? Если бы она только знала! Ведь есть блюда, которые она особенно могла бы ему порекомендовать; как жаль! Сомс окончательно утвердился в своих подозрениях. «Надо быть настороже»,— мрачно подумал он.

— Еще чашечку кофе, мсье, совершенно особенного приготовления, рюмочку ликера, grand Marnier?— И мадам Ламот удалилась распорядиться, чтобы подали эти деликатесы.

Оставшись наедине с Аннет, Сомс сказал с легкой непроницаемой усмешкой:

— Ну-с, Аннет...

Девушка вспыхнула. Но то, что в прошлое воскресенье защекотало бы ему нервы, теперь вызвало в нем чувство, очень похожее на то, что испытывает хозяин собаки, когда его пес смотрит на него, виляя хвостом. У него было забавное ощущение своей власти, точно он мог сказать ей: «Подойдите, поцелуйте меня»,— и она бы подошла. И, однако, как странно: здесь же в комнате, казалось, он видел другое лицо,

другую фигуру, и чувства его волновала... кто же, та или эта? Он кивнул головой в сторону ресторана и сказал:

— Подозрительная у вас там публика. Вам нравится эта жизнь?

Аннет подняла на него глаза, посмотрела секунду, потом опустила и принялась играть вилкой.

— Нет,— сказала она,— не нравится.

«Она будет моя,— подумал Сомс,— если я захочу. Но хочу ли я ее? Она изящна, хороша, очень хороша, свеженькая, и у нее, несомненно, есть вкус». Взор его блуждал по маленькой комнатке, но мысленный его взор блуждал далеко: полусумрак, серебристые стены, рояль светлого дерева, женщина, прижавшаяся к роялю, словно отшатнувшись от него, Сомса, женщина с белыми плечами, которые ему так знакомы, с темными глазами, которые он так стремился узнать, и с волосами, как матовый, темный янтарь. И как бывает с художником, который стремится к недостижимому и томится неутолимой жаждой, так в нем в эту минуту проснулась жажда прежней страсти, которую он никогда не мог утолить.

— Ну что ж,— сказал он спокойно,— вы молоды, у *вас* все впереди.

Аннет покачала головой.

— Мне иногда кажется, что у меня впереди нет ничего, кроме тяжелой работы. Я не так влюблена в работу, как мама.

— Ваша матушка — чудо,— сказал Сомс чуть-чуть насмешливо.— В ее доме нет места неудаче.

Аннет вздохнула.

— Как, должно быть, чудесно быть богатым.

— О! Вы когда-нибудь будете богатой,— сказал Сомс все тем же слегка насмешливым тоном,— не беспокойтесь!

Аннет передернула плечиками.

— Мсье очень добр.— И, надув губки, она сунула в рот шоколадку.

«Да, дорогая моя,— подумал Сомс,— очень хорошенькие губки, ничего не скажешь».

Мадам Ламот, явившись с кофе и ликером, положила конец этому диалогу. Сомс посидел недолго.

Идя по улицам Сохо, который всегда вызывал у него чувство, что здесь незаконно присвоено чужое добро, он предавался размышлениям. Если бы только Ирэн подарила ему сына, он бы теперь не гонялся за женщинами! Эта мысль выскочила из самого сокровенного тайника, из самых недр его сознания. Сына — то, на что можно было бы возложить надежды, ради чего стоило бы жить в старости, кому можно было бы передать себя, кто был бы продолжением его самого. «Если бы у меня был сын,— думал он с горечью,— законный сын, я мог бы примириться с той жизнью, какую я вел до сих пор. В конце концов, все женщины одинаковы, что одна, что другая». Но, пройдя несколько шагов, он покачал головой. Нет! Совсем не одно и то же, что одна, что другая. Сколько раз он пытался убедить себя в этом в прежние дни своей неудачной семейной жизни, и всегда тщетно. Тщетно и теперь. Он старается внушить себе, что Аннет — все равно что та, другая, но нет, это не так, у нее нет притяжения той прежней страсти. «И ведь Ирэн моя жена,— думал он,— моя законная жена. Я ничего не делал, чтобы оттолкнуть ее от се-

бя. Почему бы ей не вернуться ко мне? Это было бы справедливо и законно. И без всякого скандала и хлопот. Ей это неприятно. Но почему? Я ведь не прокаженный, и она... она уже больше ни в кого не влюблена!» Зачем ему нужно прибегать ко всяким уловкам, подвергать себя гнусным унижениям и неизвестным последствиям бракоразводного процесса, когда вот она, будто пустой дом, словно только и дожидается, чтобы он снова завладел ею и вступил в свои законные права. Такому замкнутому человеку, как Сомс, представлялось необычайно соблазнительным спокойно вступить во владение своей собственностью, избежав всякой шумихи. «Нет,— думал он,— я хорошо сделал, что повидал эту девушку. Я знаю теперь, чего я хочу сильнее. Если только Ирэн вернется ко мне, я буду так нетребователен и предупредителен, как только она могла бы желать; пусть живет собственной жизнью; но, может быть... может быть, она смягчилась бы, привязалась бы ко мне». Клубок сдавил ему горло. Упорный и мрачный, шагая вдоль ограды Грин-парка, он направлялся к дому отца, стараясь наступать на свою тень, бежавшую перед ним в ярком лунном свете.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

Джолли Форсайт как-то в ноябрьский день шел не торопясь по Хай-стрит в Оксфорде, навстречу ему, также не торопясь, шел Вэл Дарти. Джолли только что снял свой фланелевый гребной костюм и направлялся в «Сковородку»— клуб, членом которого его недавно выбрали. Вэл только что снял свой верховой костюм и направлялся прямо в пекло — к букмекеру на Корнмаркет-стрит.

— Хэлло!— сказал Джолли.

— Хэлло!— ответил Вэл.

Кузены виделись всего два раза: Джолли, второкурсник, пригласил как-то новичка к завтраку; а еще они встретились случайно накануне вечером в несколько экзотической обстановке.

На Корнмаркет-стрит, над мастерской портного, обитало одно из тех привилегированных юных созданий, именуемых несовершеннолетними, коим досталось недурное наследство, чьи родители умерли, опекуны далеко, а инстинкты порочны. Девятнадцати лет сей юноша вступил на стезю, привлекательную и непостижимую для простых смертных, для которых и один проигрыш достаточно памятное событие. Уже прославившись тем, что он был единственным в Оксфорде обладателем рулетки, он проматывал свои будущие доходы с умопомрачительной быстротой. Он перекрумил Крума, хотя, будучи натурой сангвинической и субъектом весьма упитанным, не обладал пленительной томностью последнего. Для Вэла получить доступ к рулеточному столу было своего рода крещением, а возвращаться в колледж позже установленного часа через окно с подпиленной решеткой — чем-то вроде обряда конфирма-

— А что вы делаете в свободное время? Гребным спортом не занимаетесь?

— Нет, я увлекаюсь верховой ездой. В следующем семестре начну играть в поло, если только удастся заставить раскошелиться дедушку.

— Это вы о старом дяде Джемсе? Какой он?

— Стар, как кора земная,— сказал Вэл,— и вечно дрожит, что разорится.

— Кажется, мой дедушка и он были родные братья.

— По-моему, среди этих стариков не было ни одного спортсмена,— сказал Вэл,— все они только и делали, что молились на деньги.

— Мой — нет,— горячо сказал Джолли.

Вэл стряхнул пепел с папиросы.

— Деньги только для того и существуют, чтобы их тратить. Я бы хотел, черт возьми, чтобы у меня их было побольше.

Джолли смерил его пристальным неодобрительным взглядом, унаследованным от старого Джолиона: о деньгах не говорят. И опять наступила пауза, оба молча пили чай и ели булочки.

— Где остановятся ваши родные?— осведомился Вэл, делая вид, что спрашивает это между прочим.

— В «Радуге». Что вы думаете о войне?

— Да пока что дело дрянь. Буры ведут себя совсем не по-спортсменски, почему они не бьются открыто?

— А зачем им это надо? В этой войне и так все против них, кроме их способа драться, а я так просто восхищаюсь ими!

— Конечно, они умеют ездить верхом и стрелять,— согласился Вэл,— но в общем паршивый народ. Вы знаете Крума?

— Из Мэртон-колледжа? Только по виду. Он, кажется, тоже из этой игорной компании. Он, по-моему, производит впечатление дешевого фата.

— Он мой друг,— сдержанно отчеканил Вэл.

— О! Прошу прощения.

Так они сидели, натянутые, избегая смотреть друг другу в лицо, прочно укрепившись каждый на позиции собственного снобизма. Ибо Джолли бессознательно равнялся по кружку своих товарищей, девизом которых было: «Не воображайте, что мы будем терпеть вашу скучищу. Жизнь и так слишком коротка, мы будем говорить быстрее и решительнее, больше делать и знать больше, и задерживаться на любой теме меньше, чем вы способны вообразить. Мы «лучшие»— мы как стальной трос». А Вэл бессознательно равнялся по кружку товарищей, девизом которых было: «Не воображайте, что нас можно чем-нибудь задеть или взволновать. Мы испытали все, а если и не все, то делаем вид, что все. Мы так устали от жизни, что минуты для нас тянутся, как часы. Проиграем ли мы последнюю рубашку — нам все равно. Мы ко всему потеряли интерес. Все — только дым папиросы! Бисмилла!» Дух соперничества, присущий англичанам, обязывал этих двух юных Форсайтов иметь свои идеалы, а в конце столетия идеалы бывают смешанные. Аристократия в общем держалась принципа, что всякий «избранный» может быть богом, хотя там и сям личности вроде Крума — а он был из аристокра-

тов — тянулись к оцепенелой томности и нирване игорного стола, этой summum bonum[1] прежних денди и ловеласов восьмидесятых годов. И вокруг Крума все еще собирались представители голубой крови с их былыми надеждами, а за ними тянулась плутократия.

Но между этими троюродными братьями существовала и какая-то более глубокая антипатия, проистекавшая, по-видимому, из их неуловимого семейного сходства, которым оба они, казалось, были недовольны, или из какого-то смутного ощущения старой вражды, все еще существовавшей между этими двумя ветвями форсайтского рода, ощущения, которое зародили в них случайные словечки, полунамеки, оброненные в их присутствии старшими. Джолли, позвякивая чайной ложечкой, мысленно возмущался: «Боже, эта булавка в галстуке, и этот жилет, манера растягивать слова, игра в рулетку!»

А Вэл, дожевывая булочку, думал: «Ну и несносный же субъект!»

— Вы, вероятно, пойдете встречать ваших родных,— сказал он, вставая.— Я попрошу вас передать им, что я был бы счастлив показать им свой колледж, не то чтобы там было что-нибудь интересное, но, может, им захочется осмотреть его.

— Благодарю, передам.

— Может быть, они зайдут ко мне позавтракать. Слуга у меня очень искусный малый.

Джолли выразил сомнение — вряд ли у них будет время.

— Но вы все-таки передадите им мою просьбу?

— Очень любезно с вашей стороны,— сказал Джолли, тут же решив, что они не пойдут, но с инстинктивной вежливостью добавил:— Вы лучше приходите завтра к нам обедать.

— Охотно. В котором часу?

— Половина восьмого.

— Во фраке?

— Нет.

И они расстались с чувством смутной вражды друг к другу.

Холли с отцом приехали дневным поездом. В первый раз она попала в этот город легенд и башен; она притихла и с какой-то застенчивостью поглядывала на брата, который был своим в этом удивительном городе. После завтрака она принялась с любопытством рассматривать его пенаты. Гостиная Джолли была отделана панелями, и искусство было представлено в ней рядом гравюр Бартолоцци, принадлежавших еще старому Джолиону, и фотографиями молодых людей, товарищей Джолли, несколько героического вида, которых она тут же сравнила с Вэлом, каким он сохранился в ее воспоминаниях. Джолион тоже внимательно рассматривал все, что изобличало характер и вкусы его сына.

Джолли не терпелось показать им, как он гребет, и они скоро отправились на реку. Холли, идя между братом и отцом, чувствовала себя польщенной, когда прохожие поворачивались и провожали ее взглядами. Чтобы лучше видеть Джолли на реке, они расстались с ним у плавучей пристани и переправились на другой берег. Стройный, тонкий — из всех

---

[1] Высшее благо *(лат.)*.

Форсайтов только старый Суизин и Джордж были толстяками — Джолли сидел вторым в гоночной восьмерке. Он греб очень энергично и с большим воодушевлением. Джолион с гордостью думал, что он самый красивый из этих юношей. Холли, как подобает сестре, больше пленилась двумя другими, но не призналась бы в этом ни за что на свете. Река в этот день сверкала, луга дышали свежестью, деревья все еще красовались пестрой листвой. Какая-то особенная тишина царила над старым городом. Джолион дал себе слово посвятить день рисованию, если погода еще продержится. Восьмерка пронеслась мимо них второй раз, направляясь к пристани; у Джолли был очень сосредоточенный вид — он не хотел показать, что запыхался. Отец с дочерью переправились снова на тот берег и подождали его.

— Ах, да,— сказал Джолли, когда они подошли к лужайке перед Крайст-Чэрч-колледжем,— мне пришлось позвать сегодня на обед этого Вэла Дарти. Он хотел пригласить вас завтракать и показать вам Брэйсноз-колледж, но я решил, что так будет лучше: вам не придется туда идти. Он мне что-то не нравится.

Смуглое лицо Холли вспыхнуло ярким румянцем.

— Почему?

— Да не знаю, он, по-моему, очень претенциозен и вообще дурного тона. Что представляет собой его семья, папа? Ведь он нам троюродный брат, не правда ли?

Джолион только улыбнулся.

— Спроси Холли,— сказал он,— она видела его дядю.

— Мне Вэл понравился,— ответила Холли, глядя себе под ноги.— Его дядя — совсем не такой.

Она украдкой бросила на Джолли взгляд из-под опущенных ресниц.

— Слыхали ли вы когда-нибудь, дорогие мои,— сказал Джолион, поддаваясь какому-то забавному желанию,— историю нашего рода? Это прямо сказка. Первый Джолион Форсайт — первый, во всяком случае, о котором до нас что-нибудь дошло,— это, значит, ваш прапрадед,— жил в Дорсете на берегу моря и был по профессии «землевладелец», как выражалась ваша двоюродная бабушка, сын землепашца, то есть, попросту говоря, фермер, «мелкота», как называл их ваш дедушка.

Он украдкой взглянул на Джолли, любопытствуя, как примет это мальчик, всегда тяготевший к аристократизму, а другим глазом покосился на Холли и заметил, с какой лукавой радостью она следит за вытянувшимся лицом брата.

— Вероятнее всего, он был грубый и крепкий человек, типичный представитель Англии, какой она была до начала промышленной эпохи. Второй Джолион Форсайт, твой прадед, Джолли, известный больше под именем «Гордого Доссета» Форсайта, строил дома, как повествует семейная хроника, родил десятерых детей и перебрался в Лондон. Известно еще, что он любил мадеру. Можно считать, что он представлял собою Англию эпохи наполеоновских войн и всеобщего брожения. Старший из его шести сыновей был третий Джолион, ваш дедушка, дорогие мои, чаеторговец и председатель нескольких акционерных компаний, один из самых порядочных англичан, когда-либо живших на свете, и для меня

самый дорогой.— В голосе Джолиона уже не было иронии, а сын и дочь смотрели на него задумчиво и серьезно.— Это был справедливый и твердый человек, отзывчивый и юный сердцем. Вы помните его, и я его помню. Перейдем к другим! У вашего двоюродного деда Джемса, родного деда этого Вэла, есть сын Сомс, о котором известна не очень красивая история, но я о ней, пожалуй, лучше умолчу. Джемс и остальные восемь человек детей «Гордого Доссета», из которых пятеро еще живы, представляют собой, можно сказать, викторианскую Англию — торговля и личная инициатива, пять процентов с капитала, и денежки в оборот, если вы только понимаете, что это значит. Во всяком случае, за свою долголетнюю жизнь они сумели превратить свои тридцать тысяч в кругленький миллион. Они никогда не позволяли себе никаких безрассудств, за исключением вашего двоюродного деда Суизина, которого однажды, кажется, надул какой-то шарлатан и которого прозвали «Форсайт четверкой», потому что он всегда ездил на паре. Их время подходит к концу, тип этот вымирает, и нельзя сказать, что наша страна от этого сильно выиграет. Это люди прозаические, скучные, но вместе с тем здравомыслящие. Я — четвертый Джолион Форсайт, жалкий носитель этого имени...

— Нет, папа,— сказал Джолли, а Холли крепко сжала его руку.

— Да,— повторил Джолион,— жалкая разновидность, представляющая собой, увы, всего только конец века: незаработанный доход, дилетантство, личная свобода — это совсем не то же, что личная инициатива, Джолли. Ты — пятый Джолион Форсайт, старина, и ты открываешь бал нового столетия.

Пока он говорил, они вошли в ворота колледжа, и Холли сказала:

— Это просто поразительно, папа.

Никто из них, в сущности, не знал, что она хотела этим сказать. Джолли был молчалив и задумчив.

В «Радуге», отличавшейся чисто оксфордской старомодностью, была только одна маленькая, обшитая дубом, гостиная, в которую Холли в белом платье, смущенная, вышла одна принимать единственного гостя.

Вэл взял ее руку, словно прикоснулся к бабочке; не разрешит ли она поднести ей этот бедный цветочек, он так чудесно пойдет к ее волосам? Он вынул из петлицы гардению.

— О нет, благодарю вас, я не могу.

Но она взяла и приколола цветок к вырезу платья, внезапно вспомнив слово «претенциозный». Гардения в петлице Вэла слишком бросалась в глаза, а ей так хотелось, чтобы Вэл понравился Джолли. Сознавала ли она, что Вэл в ее присутствии проявлял себя с самой лучшей, с самой скромной стороны и что в этом-то, может быть, и заключался почти весь секрет его привлекательности для нее?

— Я никому не говорила о нашей прогулке, Вэл.

— И очень хорошо! Пусть это останется между нами.

То, что он от смущения не знал, куда девать руки и ноги, вызывало у нее восхитительное ощущение своей власти и еще какое-то теплое чувство — желание сделать его счастливым.

— Расскажите мне об Оксфорде, здесь, должно быть, так интересно.

Вэл согласился, что, конечно, необыкновенно приятно делать то, что хочешь; лекции — это ерунда, а кроме того, здесь есть отличные ребята.

— Только,— прибавил он,— я бы, конечно, больше хотел быть в Лондоне, я бы тогда мог приезжать к вам.

Холли смущенно пошевелила рукой на колене и опустила глаза.

— Вы не забыли,— сказал он вдруг, набравшись храбрости,— что мы решили с вами отправиться бродяжничать?

Холли улыбнулась.

— О, ведь это мы просто так говорили. Нельзя же всерьез делать такие вещи, когда становишься взрослым.

— Вздор,— сказал Вэл,— родственникам можно. Следующие большие каникулы начнутся, знаете, в июне, и они длятся без конца, вот мы с вами это и устроим.

Но хотя этот тайный заговор и вызывал у Холли приятную дрожь, она покачала головой.

— Не удастся,— прошептала она.

— Не удастся!— с жаром вскричал Вэл.— А кто же может помешать нам? Ведь не ваш же отец или ваш брат.

В эту минуту вошли Джолион и Джолли, и романтика юркнула в лакированные ботинки Вэла и в белые атласные туфельки Холли, где она покалывала и щекотала их в течение всего вечера, протекавшего в атмосфере, далекой от непринужденности.

Чуткий к окружающему его настроению, Джолион скоро почувствовал скрытый антагонизм между мальчиками, а Холли его несколько озадачила; он невольно впал в иронический тон, что действует весьма губительно на юношескую экспансивность. Письмо, поданное ему после обеда, погрузило его в полное молчание, которое почти не нарушалось, пока Джолли с Вэлом не собрались уходить. Он вышел вместе с ними, закурив сигару, и проводил сына до ворот Крайст-Чэрч. На обратном пути он вынул письмо и еще раз перечел его, остановившись у фонаря:

«Дорогой Джолион!

Сомс приходил опять сегодня вечером, в тридцать седьмую годовщину моего рождения. Вы были правы, мне нельзя оставаться здесь. Я перееду завтра в отель «Пьемонт», но я не уеду за границу, не повидав вас. Чувствую себя одинокой и подавленной.

Сердечно расположенная к вам *Ирэн*».

Он положил письмо в карман и зашагал дальше, удивляясь поднявшемуся в нем смятению. Что он сказал или осмелился сделать, этот субъект?

Он свернул на Хай-стрит и пошел дальше, по Тэрл-стрит, шагая среди лабиринта остроконечных башен и куполов, фасадов и стен бесконечных колледжей, сверкающих в ярком лунном свете или покрытых густыми темными тенями. Здесь, в самом сердце английского благород-

ства, трудно было даже вообразить себе, чтобы одинокая женщина могла подвергаться преследованиям и домогательствам, но что же еще могло означать это письмо? Сомс, вероятно, настаивает, чтобы она вернулась к нему,— и на его стороне закон и общественное мнение! «Тысяча восемьсот девяносто девятый!— думал Джолион, глядя на битое стекло, сверкавшее на ограде соседнего особняка.— Но когда дело касается нашей собственности, мы все те же язычники! Я завтра же поеду в Лондон. Конечно, ей лучше уехать за границу». Но мысль эта была ему неприятна. С какой стати Сомс выживает ее из Англии? А кроме того, он ведь может поехать за ней, и там ее уже совсем некому будет ограждать от домогательств супруга. «Я должен действовать очень осторожно,— думал он,— этот тип способен на любую пакость. Ужасно мне не понравился его тон тогда, в кебе». Мысль Джолиона обратилась к его дочери Джун. Не могла бы она помочь? Когда-то Ирэн была ее лучшим другом, а теперь она тоже «несчастненькая», из тех, что всегда трогают отзывчивую душу Джун. Он решил послать дочери телеграмму, чтобы она встретила его на вокзале Пэддингтон. Подходя к «Радуге», он пытался разобраться в своих чувствах. Стал бы он волноваться так из-за каждой женщины, попавшей в подобное положение? Нет, не стал бы! Это чистосердечное заключение смутило его, и, узнав, что Холли ушла спать, он отправился в свою комнату. Но он не мог уснуть и долго сидел у окна, закутавшись в пальто, глядя на лунный свет, скользивший по крышам.

В комнате рядом Холли тоже не спала и вспоминала ресницы Вэла, верхние и нижние, особенно нижние, и думала, что бы ей сделать, чтобы Джолли его полюбил. Запах гардении наполнял всю ее маленькую комнату, и ей это было приятно.

А Вэл, высунувшись из окна второго этажа Брэйсноз-колледжа, смотрел на квадрат лунного света, не видя его, и видел вместо этого Холли, тоненькую, в белом платье, как она сидела у камина, когда он вошел в комнату.

Только Джолли в своей комнатке, узкой, как щель, спал, подложив руку под щеку, и ему снилось, что он сидит с Вэлом в одной лодке и они состязаются между собой, а отец кричит с берега: «Второй! Перестань, брось грести, ах, господи!»

II

СОМС РЕШИЛ УДОСТОВЕРИТЬСЯ

Из всех лучезарных фирм, которые украшают своими витринами лондонский Вест-Энд, «Гейвз и Кортегел» казалась Сомсу наиболее «видной»— это слово тогда только что входило в моду. Он никогда не страдал пристрастием своего дяди Суизина к драгоценным камням, а когда Ирэн в 1887 году, покинув его, оставила все драгоценности, которые он ей подарил, это навсегда отбило у него охоту к такого рода помещению денег. Но Сомс и теперь знал толк в бриллиантах, и всю неделю до ее рождения он не упускал случая по дороге в Полтри или обратно постоять перед витринами крупных ювелиров, у которых можно было

получить за свои деньги если не полный их эквивалент, то, во всяком случае, товар с известной маркой.

Непрерывные размышления, которым он предавался со времени своего путешествия в кебе с Джолионом, все больше и больше убеждали его в том, что в его жизни наступил момент величайшей важности и что ему совершенно необходимо предпринять шаги, и на этот раз безошибочные. И рядом с этим сухим и рассудительным соображением о том, что он должен теперь или никогда позаботиться о продлении своего рода, теперь или никогда устроиться, создать семью, взывал тайный голос его чувств, пробудившихся при виде женщины, которая когда-то была его страстно любимой женой, и голос глубокого убеждения, что отказаться от собственной жены было бы преступлением против здравого смысла и благопристойной скрытности Форсайтов.

Запрошенный по делу Уинифрид королевский адвокат Дример (Сомс предпочел бы Уотербака, но его назначили судьей, при этом в таких преклонных годах, что невольно напрашивалось подозрение, нет ли здесь какой-то политической интриги) посоветовал прежде всего требовать через суд восстановления в супружеских правах, то есть сказал то, в чем Сомс не сомневался с самого начала. Получив соответствующее постановление суда, они должны будут некоторое время выждать, чтобы посмотреть, будет ли оно выполнено. Если нет, то в глазах закона это будет рассматриваться как действительный уход от жены, и тогда, представив доказательства дурного поведения, можно возбуждать дело о разводе. Все это Сомс и сам прекрасно знал. Это простое разрешение дела сестры приводило его в еще большее отчаяние по поводу запутанности его собственного положения. Все решительно толкало его к единственному простому выходу — вернуть Ирэн. Если ей это и не совсем по душе, то ведь и ему придется подавить свои чувства, простить обиду, забыть перенесенные страдания! Он, по крайней мере, никогда не оскорблял ее, и он же идет на такую большую уступку! Он может предложить ей настолько больше того, что у нее есть сейчас. Он готов положить на ее имя неотъемлемый капитал. В эти дни он часто рассматривал свою физиономию в зеркале. Он никогда не был павлином, как этот Дарти, не воображал себя покорителем женщин, но у него была известная уверенность в своей внешности — и не без основания, ибо он был хорошо сложен и вполне сохранился, опрятен, здоров, у него был бледный цвет лица, не испорченный пьянством или какими-нибудь другими излишествами. Форсайтский подбородок и сосредоточенное выражение лица являлись в его глазах достоинствами. Насколько он сам мог судить, у него не было ни одной черты, которая могла бы вызвать отвращение.

Мысли и желания, которыми человек живет изо дня в день, становятся для него естественными, даже если вначале они и казались нелепыми. Если только он сможет дать ей достаточно ощутимое доказательство того, что он решил забыть прошлое и готов делать все от него зависящее, чтобы она была довольна, почему бы ей и не вернуться к нему?

Итак, утром девятого ноября он вошел к «Гейвзу и Кортегелу» купить бриллиантовую брошь.

так и не женились. Сам он сделал все, что мог, но теперь его уже скоро не станет. И, словно сообщив что-то глубоко утешительное, он замолчал и принялся есть мозги, подцепляя их вилкой и кусочком хлеба и проглатывая вместе с хлебом.

Сомс простился тотчас же после обеда. Хотя было, в сущности, не холодно, он надел меховое пальто, чтобы защитить себя от приступов нервной дрожи, которая не покидала его целый день. Кроме того, он как-то безотчетно сознавал, что так он выглядит лучше, чем в обыкновенном черном пальто. Затем, нащупав под сердцем сафьяновый футляр, он двинулся в путь. Он редко курил, но сейчас, выйдя на улицу, достал папироску и закурил на ходу. Он медленно шел по Роу к Найтсбриджу, рассчитав время так, чтобы попасть в Челси к четверти десятого. Что она делает вечер за вечером, одна, в этой жалкой дыре? Загадочные существа женщины! Живешь с ними рядом и ничего о них не знаешь. Что она такого нашла в этом Босини, что он ее свел с ума? Потому что в конце концов это же было сумасшествие все, что она сделала,— форменный приступ сумасшествия, перевернувший все представления о ценности вещей, сломавший и ее и его жизнь! И на мгновение Сомса охватило чувство какой-то экзальтации, он словно превратился в человека из трогательной повести, который, проникшись христианским милосердием, возвращает провинившейся все блага жизни, все прощает, все забывает и становится ее добрым гением. Под деревом против казарм Найтсбриджа, где лунный свет ложился яркой белой полосой, он еще раз вытащил сафьяновый футляр и взглянул на игру камней при свете луны. Да, это бриллианты чистейшей воды! Но когда он захлопнул футляр, резкий звук защелкнувшейся крышки отдался нервной дрожью в его теле; он зашагал быстрее, засунув руки в перчатках в карманы пальто, почти надеясь, что не застанет ее дома. Мысль о том, как она непостижима, снова завладела им. Обедает одна изо дня в день, наряжается в вечерний туалет, словно воображает, что находится в обществе! Играет на рояле — для себя! Около нее нет даже кошки или собаки, насколько он мог заметить. И внезапно ему вспомнилась кобыла, которую он держал в Мейплдерхеме для поездок на станцию. Когда бы он ни вошел в конюшню, она стояла там одна, полусонная, и все же она всегда бежала домой быстрее, чем на станцию, словно ей не терпелось поскорее снова очутиться одной в своей конюшне. «Я буду обращаться с ней ласково,— без всякой последовательности подумал он.— Буду очень осторожен». И все его стремления и наклонности к семейной жизни, которой насмешливая судьба, казалось, лишила его навеки, ожили в нем с такою силой, что он незаметно для себя остановился против станции подземной дороги Саут-Кенсингтон. На Кингс-род какой-то человек вышел, пошатываясь, из трактира, наигрывая на концертино. Секунду Сомс наблюдал, как он бессмысленно топчется на тротуаре под неровные заливистые звуки своей музыки, потом перешел на другую сторону, чтобы избежать встречи с этим пьяным идиотом. Проведет ночь в полицейском участке! Бывают же такие ослы! Но человек заметил, что Сомс перешел от него на другую сторону, и поток благодушной брани понесся ему вдогонку. «Надеюсь, что его заберут,— злобно подумал Сомс.—

Как это можно, чтобы такие негодяи шатались по улицам, когда женщины ходят одни?» Мысль эта возникла у него потому, что впереди шла какая-то женщина. Походка ее показалась ему странно знакомой, а когда она свернула за тот угол, к которому он направлялся, сердце его усиленно забилось. Он прибавил шагу, чтобы поскорее дойти до угла и убедиться. Да! Это была Ирэн; он не мог ошибиться, это ее походка. Она прошла еще два поворота, и у последнего угла Сомс увидел, как она завернула в свой подъезд. Чтобы не упустить ее, он пробежал эти несколько шагов, взбежал по лестнице и нагнал ее у самой двери. Он слышал, как щелкнул ключ в замке, и остановился около нее как раз в ту минуту, когда она, открыв дверь, обернулась и замерла в удивлении.

— Не пугайтесь,— сказал он, едва переводя дыхание.— Я вас увидел на улице. Разрешите мне зайти на минуту.

Она прижала руку к груди, в лице ее не было ни кровинки, глаза расширились от ужаса. Затем, по-видимому, овладев собой, она наклонила голову и сказала:

— Хорошо.

Сомс закрыл за собою дверь. Ему тоже нужно было прийти в себя, и, когда она прошла в гостиную, он целую минуту стоял молча, с трудом переводя дыхание, чтобы успокоить биение своего сердца. В эту минуту, которая решала все его будущее, вынуть сафьяновый футляр казалось как-то грубо. Однако у него нет никакого иного предлога, чтобы объяснить свой приход. И это неловкое положение вызвало в нем досаду на всю эту церемонию предлогов и оправданий. Предстояла сцена, ничего другого быть не может, и надо на это идти.

Он услышал ее голос, встревоженный, томительно мягкий:

— Зачем вы пришли опять? Разве вы не поняли, что мне приятней было бы, чтобы вы этого не делали?

Он обратил внимание на ее костюм — темно-коричневый бархат, соболье боа и маленькая круглая шапочка того же меха. Все это удивительно шло к ней. У нее, по-видимому, хватает денег на туалеты. Он сказал отрывисто:

— Сегодня ваше рождение, я принес вам вот это!— И он протянул ей зеленый сафьяновый футляр.

— О нет, нет!

Сомс нажал замочек; семь камней сверкнули на бледно-сером бархате.

— Почему нет?— сказал он.— Просто в знак того, что вы не питаете ко мне больше дурных чувств.

— Я не могу.

Сомс вынул брошь из футляра.

— Дайте мне взглянуть, как это будет на вас.

Она отшатнулась и попятилась. Он шагнул к ней, протягивая руку с брошью к ее груди. Она снова отшатнулась.

Сомс опустил руку.

— Ирэн,— сказал он,— забудем прошлое. Если я могу, то и вы, конечно, можете. Давайте начнем снова, как будто ничего не было. Хотите?

И почти с удивлением он услышал ее слова:

— Тут не может быть разумного ответа. Разум здесь ни при чем. Вы можете услышать только грубую правду: я бы скорее умерла.

Сомс смотрел на нее в остолбенении.

— О!— сказал он, а потом у него словно отнялись язык и способность двигаться, и он почувствовал, что весь дрожит, как человек, которому нанесли смертельное оскорбление и который еще не знает, как ему быть, или, вернее, что теперь с ним будет.

— О!— повторил он еще раз.— Вот даже как! В самом деле! Скорее бы умерли! Недурно!

— Мне очень жаль. Вы хотели, чтобы я вам ответила. Что же мне делать, если это правда? Разве я могу это изменить?

Этот странный и несколько отвлеченный вопрос вернул Сомса к действительности. Он захлопнул футляр с брошью и сунул его в карман.

— Правда!— сказал он.— Это как раз то, чего не знают женщины. Все это только нервы, нервы.

Он услышал ее шепот:

— Да, нервы не лгут. Разве вы не убедились в этом?

Он молчал, поглощенный одной мыслью: «Я заставлю себя возненавидеть эту женщину. Заставлю». В этом-то и было все горе. Если бы он только мог! Он украдкой взглянул на нее: она стояла неподвижно, прижавшись к стене, подняв голову и скрестив руки, словно ждала, что ее убьют. И он сказал быстро:

— Я не верю ни одному вашему слову. У вас есть любовник. Если бы это было не так, вы не были бы такой... дурочкой.

Прежде чем изменилось выражение ее глаз, он понял, что сказал не то, позволил себе слишком резко вернуться к той свободе выражений, которую он усвоил во времена своего супружества. Он повернулся и пошел к двери. Но он не мог уйти. Что-то в самой глубине его существа — самое глубокое, самое скрытое свойство Форсайтов: невозможность упустить, невозможность поверить в то, что упорство тщетно и бесцельно,— мешало ему. Он снова повернулся и стал, прислонившись к двери, так же, как она стояла, прислонившись к стене, не замечая, что как-то нелепо стоять вот так друг против друга в разных концах комнаты.

— Вы когда-нибудь думаете о ком-нибудь, кроме себя?— сказал он.

У Ирэн задрожали губы; она медленно ответила:

— Думали ли вы когда-нибудь, что я поняла свою ошибку — ужасную, непоправимую ошибку — в первую же неделю после свадьбы; что я три года старалась переломить себя? Вы знаете, что я старалась? Разве я делала это для себя?

Сомс стиснул зубы.

— Бог вас знает, что это такое было. Я никогда не понимал вас, никогда не пойму. У вас было все, что вы могли желать, и вы снова можете иметь все это и даже больше. Что же во мне такого? Я задаю вам прямой вопрос: что вам не нравится?— Не сознавая всего трагизма этого вопроса, он продолжал с жаром:— Я не калека, не урод, не неотесанный дурак, не сумасшедший. В чем же дело? Что тут за секрет?

В ответ последовал только глубокий вздох.

Он сжал руки, и этот жест был исполнен необычайной для него выразительности.

— Когда я шел сюда сегодня, я был... я надеялся, я хотел сделать все, что в моих силах, чтобы покончить с прошлым и начать новую жизнь. А вы встречаете меня «нервами», молчанием и вздохами. В этом нет ничего конкретного. Это как... Это точно паутина.

— Да.

Этот шепот с другого конца комнаты снова взорвал Сомса.

— Ну, так я не хочу сидеть в паутине. Я разорву ее!— Он шагнул к ней.— Я...

Зачем он шагнул к ней, он и сам не знал. Но когда он очутился около нее, на него вдруг пахнуло прежним, знакомым запахом ее платья. Он положил руки ей на плечи и наклонился, чтобы поцеловать ее. Но он поцеловал не губы, а тонкую твердую линию стиснутых губ; потом он почувствовал, как ее руки отталкивают его лицо; он услышал ее голос: «О нет!» Стыд, раскаяние, сознание, что все оказалось напрасным, нахлынули, поглотили его — он круто повернулся и вышел.

III

ВИЗИТ К ИРЭН

На вокзале Пэддингтон Джолион встретился с Джун, поджидавшей его на платформе. Она получила его телеграмму за завтраком. У Джун было убежище — мастерская с двумя спальными комнатами в Сент-Джонс-Вуд-парке,— которое она выбрала потому, что оно обеспечивало ей полную независимость. Там, не опасаясь привлечь внимание миссис Грэнди, не стесненная постоянным присутствием прислуги, она могла принимать своих «несчастненьких» в любой час дня или ночи, и нередко какой-нибудь горемыка, не имеющий своей мастерской, пользовался мастерской Джун. Она наслаждалась своей свободой и распоряжалась собой с какой-то девичьей страстностью; весь тот пыл, который предназначался Босини и от которого он, принимая во внимание ее форсайтское упорство, вероятно, скоро устал бы, она расточала теперь на неудачников, на выхаживание будущих гениев артистического мира. Она, в сущности, только и жила тем, что старалась обратить своих питомцев из гадких утят в лебедей, веря всей душой, что они истинные лебеди. Самая страстность, которую она вносила в свое покровительство, мешала правильности ее оценки. Но она была честной и щедрой. Ее маленькая энергичная ручка всегда готова была защитить каждого от притеснения академических и коммерческих мнений, и хотя сумма ее доходов была весьма значительна, ее текущий счет в банке нередко представлял собой отрицательную величину.

Она приехала на вокзал, взволнованная до глубины души свиданием с Эриком Коббли. Какой-то гнусный салон отказал этому длинноволосому гению в устройстве выставки его произведений. Наглый администратор, посетив его мастерскую, заявил, что с коммерческой точки зрения это будет очень уж убого. Сей бесподобный пример коммерческой тру-

сости по отношению к ее любимому «гадкому утенку» (а ему приходилось так туго с женой и двумя детьми, что она вынуждена была исчерпать весь свой текущий счет) все еще заставлял пылать негодованием ее энергичное личико, а ее рыже-золотистые волосы горели ярче, чем когда-либо. Она обняла отца, и они вместе сели в кеб — у нее к нему было не менее важное дело, чем у него к ней. Неизвестно было только, кому из них первому удастся начать.

Джолион только успел сказать:

— Я хотел, дорогая, чтобы ты поехала со мной,— когда, взглянув ей в лицо, увидел по ее синим глазам, которые беспокойно метались из стороны в сторону, как хвост насторожившейся кошки, что она его не слушает.

— Папа, неужели я действительно ничего не могу взять из своих денег?

— К счастью, только проценты с них, моя дорогая.

— Какое идиотство! Но нельзя ли все-таки найти какой-нибудь выход? Ведь, наверно, можно что-нибудь устроить. Я знаю, что я могла бы сейчас купить небольшой выставочный салон за десять тысяч фунтов.

— Небольшой салон,— повторил Джолион,— это, конечно, скромное желание; но твой дедушка предвидел это.

— Я считаю,— воскликнула Джун решительно,— что все эти заботы о деньгах ужасны, когда столько талантов на свете просто погибают из-за того, что они лишены самого необходимого! Я никогда не выйду замуж, и у меня не будет детей; почему не дать мне возможность сделать что-то полезное, вместо того чтобы все это лежало неприкосновенно впредь до того, чего никогда не случится?

— Мы носим имя Форсайтов, моя дорогая,— возразил Джолион тем ироническим тоном, к которому его своенравная дочка до сих пор не могла вполне привыкнуть,— а Форсайты, ты знаешь, это такие люди, которые распоряжаются своим капиталом с тем расчетом, чтобы их внуки, если им пришлось бы умереть раньше своих родителей, вынуждены были составить завещание на свое имущество, которое, однако, переходит в их владение только после смерти их родителей. Тебе это понятно? Ну, и мне тоже нет, но, как бы там ни было, это факт; мы живем по принципу: покуда есть возможность удержать капитал в семье, он не должен из нее уходить; если ты умрешь незамужней, твой капитал перейдет к Джолли и Холли и к их детям, если у них будут дети. Разве не приятно сознавать, что что́ бы вы ни делали, никто из вас никогда не может обеднеть?

— Но разве я не могу занять денег?

Джолион покачал головой.

— Ты, конечно, можешь снять салон, если на это хватит твоих доходов.

Джун презрительно усмехнулась.

— Да; и останусь после этого без средств и никому уже не смогу помогать.

— Милая моя девочка,— тихо сказал Джолион,— а разве это не одно и то же?

и приехали. Я ей телеграфировал, чтобы она нас ждала. Пошлем ей наши карточки.

— Я не выношу Сомса,— сказала Джун, выходя из кеба.— Он всегда издевается над всем, что не имеет успеха.

Ирэн находилась в комнате, которая в отеле «Пьемонт» носила название «дамской гостиной».

Джун нельзя было упрекнуть в недостатке морального мужества: она прямо подошла к своей бывшей подруге и поцеловала ее в щеку, и они обе уселись на диван, на котором с самого основания отеля никто никогда не сидел. Джолион заметил, что Ирэн глубоко потрясена этим простым прощением.

— Итак, Сомс опять являлся к вам?— сказал он.

— Он был у меня вчера вечером; он хочет, чтобы я вернулась к нему.

— Но вы, конечно, не вернетесь?— воскликнула Джун.

Ирэн чуть улыбнулась и покачала головой.

— Но его положение ужасно,— прошептала она.

— Он сам виноват, он должен был развестись с вами, когда у него была возможность.

Джолион вспомнил, как в те прежние дни Джун пламенно надеялась, что память ее неверного возлюбленного не будет опозорена разводом.

— Послушаем, что думает делать Ирэн,— сказал он.

Губы Ирэн дрожали, но она сказала спокойно:

— Я предпочла бы дать ему новый повод освободиться от меня.

— Какой ужас!— воскликнула Джун.

— А что же мне делать?

— Ну, об этом, во всяком случае, не стоит и говорить,— сказал Джолион очень спокойным тоном,— sans amour[1].

Ему показалось, что она сейчас заплачет, но она быстро встала и, отвернувшись от них, стояла молча, стараясь овладеть собой.

Джун неожиданно сказала:

— Вот что, я пойду к Сомсу и скажу ему, чтобы он оставил вас в покое. Что ему нужно в его годы?

— Ребенка. В этом нет ничего неестественного.

— Ребенка!— с презрением воскликнула Джун.— Ну, разумеется, чтобы было кому оставить капитал. Если ему уж так нужен ребенок, пусть он возьмет кого-нибудь и заведет ребенка, тогда вы можете развестись с ним, и он женится на той.

Джолион подумал, что он сделал ошибку, привезя Джун,— ее пылкое выступление только выгораживало Сомса.

— Лучше всего было бы для Ирэн переехать спокойно к нам в Робин-Хилл и посмотреть, как все это повернется.

— Конечно,— сказала Джун,— только...

Ирэн посмотрела Джолиону прямо в глаза. Сколько раз он потом пытался объяснить себе ее взгляд, и всегда безуспешно!

---

[1] Без любви *(фр.)*.

— Нет! От этого выйдут только неприятности для всех вас. Я уеду за границу.

Он понял по ее голосу, что это решено окончательно. Неизвестно почему у него мелькнула мысль: «Я мог бы там видеться с ней». Но он сказал:

— Вам не кажется, что за границей вы будете еще беспомощнее, если он вздумает последовать за вами?

— Не знаю. Я могу только попытаться.

Джун вскочила и принялась ходить взад и вперед по комнате.

— Как это все ужасно!— сказала она.— Почему люди должны мучиться год за годом, чувствовать себя несчастными и беспомощными, а все из-за этого гнусного святошеского закона?

Но в эту минуту кто-то вошел в комнату, и Джун замолчала. Джолион подошел к Ирэн.

— Не нужно ли вам денег?

— Нет.

— Как быть с вашей квартирой, сдать ее?

— Да, Джолион, пожалуйста.

— Когда вы едете?

— Завтра.

— И вам уже больше не понадобится заезжать домой?

Он спросил это с тревогой, которая ему самому показалась странной.

— Нет; я взяла с собой все, что мне нужно.

— Вы мне пришлете свой адрес?

Она протянула ему руку.

— Я чувствую, что могу положиться на вас, как на каменную стену.

— Которая стоит на песке,— ответил Джолион, крепко пожимая ей руку.— Но помните, что я в любую минуту рад для вас что-нибудь сделать. И если вы передумаете... Ну, Джун, идем, попрощайся.

Джун отошла от окна и обняла Ирэн.

— Не думайте о нем,— сказала она шепотом,— живите счастливо, и да благословит вас бог.

Унося в памяти слезы на глазах Ирэн и улыбку на ее губах, они молча прошли мимо дамы, которая помешала их беседе и теперь сидела за столом, просматривая газеты.

Когда они поравнялись с Национальной галереей, Джун воскликнула:

— Вот гнусные скоты с этими их отвратительными законами!

Но Джолион ничего не ответил. В нем была доля отцовской уравновешенности, и он мог смотреть на вещи беспристрастно, даже если его чувства были задеты. Ирэн права. Положение Сомса не лучше, пожалуй, даже хуже, чем ее. Что до законов, то они создаются в расчете на человеческую природу, которую они, естественно, расценивают не очень высоко. И, чувствуя, что если еще останется с дочерью, он позволит себе сказать что-нибудь лишнее, Джолион простился с ней, вспомнив, что ему нужно торопиться на обратный поезд в Оксфорд: он кликнул кеб и оставил ее любоваться акварелями Тернера, пообещав, что подумает о ее салоне.

Но думал он не о салоне, а об Ирэн. Жалость, говорят, сродни любви. Если это так, то он, конечно, недалек от того, чтобы полюбить ее, потому что он жалеет ее от всей души. Подумать только, что она будет скитаться по Европе, совсем одна, да еще под угрозой преследований! «Только бы она не наделала глупостей!— подумал он.— Конечно, она легко может впасть в отчаяние». В сущности, он даже не мог себе представить — ну вот теперь, когда у нее не осталось даже ее скромных занятий,— как она будет жить дальше,— такое прелестное существо, доведенное до крайности, желанная добыча для всякого! К его беспокойству примешивались и чувство страха и ревность. Женщины способны на нелепые вещи, когда они попадают в тупик. «Интересно знать, что теперь выкинет Сомс,— подумал он.— Гнусное, идиотское положение! И, наверно, все будут говорить, что она сама во всем виновата». Расстроенный и совершенно поглощенный своими мыслями, он сел в поезд, сейчас же потерял билет и на платформе в Оксфорде раскланялся с дамой, лицо которой показалось ему знакомым, хотя он не мог вспомнить, кто это, даже и потом, когда увидел ее за чаем в «Радуге».

IV

КУДА ФОРСАЙТЫ СТРАШАТСЯ ЗАГЛЯДЫВАТЬ

Содрогаясь от горького сознания, что все его надежды рухнули, чувствуя по-прежнему плотно прижатый к груди у сердца зеленый сафьяновый футляр, Сомс погрузился в мысли, тяжкие, как смерть. Паутина! Он шагал быстро в лунном свете, не замечая ничего перед собой, снова и снова возвращаясь к только что пережитой сцене, вспоминал, как Ирэн вся застыла, когда он обнял ее плечи. И чем больше он вспоминал, тем больше убеждался, что у нее есть любовник; ее слова: «Я бы скорее умерла!»— были просто нелепы, если у нее никого не было. Даже если она никогда и не любила его, ведь не поднимала же она никаких историй, пока не появился Босини. Нет, она в кого-то влюблена, иначе она не ответила бы такой мелодраматической фразой на его предложение, вполне благоразумное, принимая во внимание все обстоятельства! Отлично! Это упрощает дело.

«Я приму меры к тому, чтобы выяснить это,— подумал он.— Завтра же утром пойду к Полтиду». Но, принимая это решение, он знал, что для него это будет нелегкий шаг. По роду своей деятельности он не раз прибегал к услугам агентства Полтида, и даже совсем недавно по делу Дарти, но у него никогда не было в мыслях, что он может обратиться к ним для слежки за собственной женой.

Это было слишком унизительно для него самого!

Он лег спать или, вернее, бодрствовать, раздумывая об этом своем намерении и о своей уязвленной гордости.

Только утром, во время бритья, он вдруг вспомнил, что Ирэн носит теперь свою девичью фамилию, Эрон. Полтид, во всяком случае первое время, не будет знать, чья она жена, и не будет смотреть на него с лицемерной угодливостью и хихикать за его спиной. Она будет для него про-

— Будет в точности исполнено,— сказал мистер Полтид,— развод, насколько я понимаю?— И он засопел в телефонную трубку:— Миссис Бланч здесь? Мне нужно будет переговорить с ней минут через десять.

— Вы будете сами принимать все донесения,— продолжал Сомс,— и пересылать их мне лично с надписью «секретно», заказным, с сургучной печатью. Мой клиент требует строжайшей тайны.

Мистер Полтид улыбнулся, словно говоря: «Нашли кого учить, дорогой сэр!»— и его взгляд, на одну секунду потеряв профессиональное выражение, скользнул по лицу Сомса.

— Он может быть вполне спокоен,— сказал он.— Курите?

— Нет,— сказал Сомс.— Поймите меня хорошенько, все это может кончиться ничем, но если станет известным чье-нибудь имя или будет заподозрена слежка, это может иметь очень серьезные последствия.

Мистер Полтид кивнул.

— Я могу это пустить по разряду шифрованных дел. При этой системе имена вообще не упоминаются, мы работаем под номерами.— Он открыл другой ящик стола и достал оттуда два листка бумаги, написал на них что-то и передал один листок Сомсу.— Оставьте это у себя, сэр; это будет вашим ключом. Я оставлю себе дубликат. Мы назовем это дело 7х; объект, который мы будем держать под наблюдением, будет 17; наблюдатель — 19; дом — 25; вы, я хочу сказать, ваша фирма — 31; наша фирма — 32; я сам — 2. На случай, если вам понадобится в письме упомянуть вашего клиента, я обозначу его 43; всякий подозреваемый объект будет 47; второй такой же объект — 51. Будут какие-нибудь особые указания?

— Нет,— сказал Сомс,— но соблюдать величайшую осторожность.

Опять мистер Полтид кивнул.

— Расходы?

Сомс пожал плечами.

— В пределах необходимости,— коротко ответил он и встал.— И пусть это будет всецело в вашем личном ведении.

— Всецело,— повторил мистер Полтид, неожиданно очутившись между ним и дверью.— Я скоро загляну к вам по тому, другому, делу. До свидания, сэр.

Его взгляд, еще раз утратив профессиональное выражение, скользнул по Сомсу, затем он открыл дверь.

— До свидания,— сказал Сомс, не оглядываясь.

Выйдя на улицу, он мрачно, тихо выругался. Паутина, да, и, чтобы разорвать ее, он вынужден прибегать к этому паучьему, гнусному, тайному способу, столь омерзительному для всякого, кто привык считать свою частную жизнь святая святых своей собственности. Но дело сделано, теперь поздно отступать. Он пришел в Полтри и запер подальше зеленый сафьяновый футляр и ключ к этому шифру, который должен был показать ему с кристальной ясностью его семейный крах.

Странно, что человек, который всю жизнь только и занимался тем, что выносил на свет частные раздоры собственников и чужие семейные дрязги, так страшился обнаружить перед людьми свои собственные семейные дела, и, однако, не так странно, потому что кому же, как не ему,

было знать всю эту бесчувственную процедуру узаконенного регламента?

Он работал весь день не отрываясь. В четыре часа он ждал Уинифрид, чтобы поехать с ней в Темпл на совещание с королевским адвокатом Дримером; поджидая ее, он перечел письмо, которое заставил ее написать в день отъезда Дарти и в котором она предлагала мужу вернуться:

«Дорогой Монтегью,

Я получила Ваше письмо, где Вы пишете, что покидаете меня навсегда и уезжаете в Буэнос-Айрес. Это, конечно, было для меня большим ударом. Я пользуюсь первой возможностью написать Вам и сказать, что я готова забыть прошлое, если Вы вернетесь ко мне сейчас же. Прошу Вас, сделайте это. Я очень расстроена и теперь больше ничего не могу сказать. Я посылаю это письмо заказным по адресу, который Вы оставили в Вашем клубе. Прошу Вас, ответьте мне каблограммой.

Ваша все еще любящая жена *Уинифрид Дарти*».

Уф! Что за жалкая чепуха! Он вспомнил, как он стоял, нагнувшись над Уинифрид, когда она переписывала то, что он набросал карандашом, и как она вдруг, положив перо, сказала:

— А вдруг он приедет, Сомс!— и таким странным голосом, словно сама не знала, чего ей хочется.

— Он не приедет,— ответил он,— пока не истратит всех денег. Поэтому-то нам и надо действовать не откладывая.

К копии этого письма была приложена нацарапанная в пьяном виде записка Дарти из «Айсиум-Клуба». Сомс предпочел бы, чтобы она не свидетельствовала так явно о его пьяном состоянии. Это именно то, к чему придерется суд. Он словно слышал голос судьи: «И вы могли принять это всерьез! И даже настолько, что написали ему это письмо? Неужели вы думаете, что он действительно намеревался так поступить?» Ну да теперь все равно! Факт несомненный: Дарти уехал и не вернулся. Вдобавок тут же приложена его каблограмма: «Возвращение невозможно. *Дарти*». Сомс покачал головой. Если со всем этим делом не будет покончено в течение ближайших месяцев, этот негодяй опять свалится им на голову. Избавиться от него — это сохранить, по меньшей мере, тысячу фунтов в год,— не говоря уже о всех неприятностях, которые он доставляет Уинифрид и отцу. «Надо будет принажать на Дримера,— подумал Сомс.— Необходимо подтолкнуть дело».

Уинифрид, которая теперь носила нечто вроде полутраура, что очень шло к ее светлым волосам и статной фигуре, приехала в коляске Джемса, запряженной его парой. Сомс не видел этой коляски в Сити уже пять лет, с тех самых пор, как его отец вышел из дела, и поразился, до чего она нелепо выглядит. «Времена меняются,— подумал он,— неизвестно еще, что будет дальше. Вот уже и цилиндры теперь реже видишь». Он спросил ее о Вэле. Вэл, сказала Уинифрид, писал, что он в следующем семестре собирается играть в поло. По ее мнению, он в очень хорошем

кругу. Стараясь не выдать своего беспокойства, она спросила непринужденно-светским тоном:

— Мое дело будет очень громким, Сомс? Оно *непременно* попадет в газеты? Как это нехорошо для Вэла и для девочек.

Полный мыслями о своей собственной катастрофе, Сомс ответил:

— Газеты — пронырливая штука; мало надежды, что они не пронюхают. Они делают вид, что охраняют общественную нравственность, а сами только развращают публику своими гнусными отчетами. Но до этого еще далеко. Сегодня у нас будет только разговор с Дримером о восстановлении тебя в супружеских правах. Он, конечно, понимает, что ты хочешь добиться развода, но ты должна делать вид, что действительно жаждешь вернуть Дарти, и ты с ним так и держи себя сегодня.

Уинифрид вздохнула.

— Монти — вот кто умел паясничать!

Сомс окинул ее проницательным взглядом. Ему было совершенно ясно, что она не способна принимать своего Дарти всерьез, и, дай ей только малейшую возможность, она охотно прекратит дело. Чутье подсказывало ему быть твердым с самого начала. Не пойти сейчас на маленький скандал — это значит обречь сестру и ее детей на настоящий позор, а в конце концов и на разорение, если допустить, чтобы Дарти сел им опять на шею: он ведь будет опускаться все ниже и проматывать деньги, которые Джемс оставит дочери. Хотя капитал и закреплен, этот негодяй сумеет выдоить что-нибудь и из завещания и заставить свою семью заплатить какие угодно деньги, лишь бы спасти его от банкротства или, может быть, даже от тюрьмы! Они оставили на набережной лоснящийся экипаж с лоснящимися лошадьми и слугами в лоснящихся цилиндрах и вошли в резиденцию королевского адвоката Дримера на Краун-Оффис-роу.

— Мистер Бэлби здесь, сэр,— сказал клерк.— Мистер Дример будет через десять минут.

Мистер Бэлби — младший поверенный, но не такой уж младший, каким он мог бы быть, ибо Сомс обращался исключительно к адвокатам с установившейся репутацией (для него, в сущности, было загадкой, каким образом эти адвокаты ухитрялись создать себе такую репутацию, которая вынуждала его обращаться к ним),— мистер Бэлби восседал, просматривая, по-видимому, в последний раз какие-то бумаги. Он только что вернулся из суда и был в парике и в мантии, которые отменно шли к его носу, выдававшемуся вперед, словно ручка миниатюрного насоса, к его маленьким хитрым голубым глазкам и несколько выпирающей нижней губе — нельзя было представить себе лучшего дополнения и подкрепления Дримеру.

Когда церемониал представления его Уинифрид окончился, они, перескочив через погоду, заговорили о войне. Сомс неожиданно прервал их:

— Если он не подчинится, мы все равно не можем начать процесс раньше, чем через шесть месяцев. Я бы хотел продвинуть это дело, Бэлби.

Мистер Бэлби, говоривший с чуть заметным ирландским акцентом, улыбнулся Уинифрид и пробормотал:

— Законная отсрочка, миссис Дарти.

— Шесть месяцев!— повторил Сомс.— Ведь это затянется до июня, а там начнутся летние каникулы; надо поднажать, Бэлби.

Немало у него будет хлопот с Уинифрид, чтобы она до тех пор не раздумала.

— Мистер Дример может принять вас, сэр.

Они поднялись и пошли: сначала мистер Бэлби, затем, по часам Сомса ровно через минуту, Уинифрид в сопровождении Сомса.

Королевский адвокат Дример в мантии, но уже без парика, стоял у камина, словно это совещание было для него чем-то вроде приема гостей; у него было лицо цвета дубленой кожи, сильно лоснящейся, что нередко бывает при большой учености, внушительный нос, оседланный очками, и маленькие с проседью баки; он обладал роскошной привычкой беспрестанно щурить один глаз и прикрывать нижнюю губу верхней, приглушая слова. Кроме того, у него была манера неожиданно налетать на собеседника, и это вместе с малоободряющим тембром голоса и привычкой издавать глухое ворчание, прежде чем заговорить, создало ему в судебных процессах по бракоразводным и наследственным делам такую репутацию, какую могли бы оспаривать очень немногие. Выслушав с прищуренным глазом перечень фактов, бодро изложенный мистером Бэлби, он заворчал и сказал:

— Все это я знаю.— И, неожиданно налетев на Уинифрид, глухо выдавил:— Нам хочется вернуть его домой, не правда ли, миссис Дарти?

Сомс предусмотрительно вмешался:

— Положение моей сестры действительно невыносимо.

Дример заворчал:

— Вот именно. Итак, можем ли мы доверять его каблограмме, или нам подождать до после рождества, чтобы дать ему возможность написать вам,— вопрос, по-видимому, в этом?

— Чем раньше...— начал Сомс.

— Вы что скажете?— спросил Дример, налетая неожиданно на Бэлби.

Мистер Бэлби, казалось, что-то вынюхивал в воздухе, как собака.

— Дело может пойти в суд не раньше половины декабря. Нам нет надобности предоставлять ему свободу и дальше.

— Нет,— сказал Сомс.— Зачем вынуждать мою сестру терпеть все эти неприятности, когда он предпочел сбежать...

— К черту на кулички,— сказал Дример, опять налетая на него,— вот именно. Нечего людям бегать к черту на кулички, не правда ли, миссис Дарти?— И он распустил свою мантию, как павлиний хвост.— Согласен с вами. Мы можем начать действовать. Что еще?

— Пока ничего,— выразительно сказал Сомс.— Я хотел вас познакомить с сестрой.

Дример заворчал нежно:

— Очень приятно. До свидания.

И опустил веер своей мантии.

Они вышли друг за другом. Уинифрид спустилась по лестнице. Сомс задержался. Дример, что ни говори, все-таки произвел на него впечатление.

— Со свидетельскими показаниями, я думаю, все будет благополучно,— сказал он Бэлби.— Между нами, если мы не покончим с этим делом как можно скорее, можно опасаться, что мы с ним вообще не покончим. Как вы думаете, *он* понимает это?

— Я намекну ему,— сказал Бэлби.— Да он человек хороший, хороший человек.

Сомс кивнул и поспешно направился следом за Уинифрид. Она стояла на сквозняке и кусала губы под вуалью; он сказал:

— Показания горничной с парохода будут достаточно убедительны.

Лицо Уинифрид приняло жестокое выражение, она выпрямилась, и они пошли к экипажу. И все время, пока они молча ехали на Гринстрит, у обоих в глубине сознания неотступно вертелась одна и та же мысль: «Почему, ах, почему мне приходится вот так выставлять напоказ мои невзгоды? Нанимать сыщиков, чтобы они копались в моих личных несчастьях? Ведь не я же этому виной».

V

ДЖОЛЛИ В РОЛИ СУДЬИ

Инстинкт собственности, подвергшийся столь жестокому удару у двух членов семьи Форсайтов и побуждавший их ныне искать избавления от того, чем они больше не могли владеть, с каждым днем все настойчивее заявлял о своих правах в британском государстве. Николас, вначале с таким сомнением относившийся к войне, которая неизбежно нанесет ущерб капиталу, теперь говорил, что эти буры преупрямый народишко; на них уходит уйма денег, и чем скорее их проучат, тем лучше. Он бы послал туда Вулзли! Отличаясь способностью всегда видеть несколько дальше, чем другие,— почему он и владел наиболее значительным состоянием из всех Форсайтов,— он уже давно понял, что Буллер — не такой человек, какой там нужен: он топчется на одном месте, как бык, и, если они вовремя не примут мер, Ледисмит будет взят! Это было в самом начале декабря, так что, когда пришла «Черная неделя», он мог всякому сказать: «Я же вам говорил». В течение этой недели сплошного мрака, какого Форсайты не помнили на своем веку, «очень молодой» Николас с таким усердием проходил обучение в своем отряде, который именовался «Собственный самого черта отряд», что молодой Николас устроил совещание с домашним врачом относительно здоровья своего сына и сильно встревожился, узнав, что он совершенно здоров. Юноша только что получил диплом юриста и с помощью кое-каких издержек был допущен к адвокатской практике, и для его отца и матери эта его игра с военной выучкой в такое время, когда военная выучка гражданского населения могла в любой момент понадобиться на фронте, представлялась каким-то кошмаром. Его дед, разумеется, высмеивал эти опасения: он был воспитан в твердом убеждении, что Англия не ведет никаких иных войн, кроме мелких и профессиональных, и питал глубо-

чайшее недоверие к имперской политике, которая к тому же сулила ему одни убытки, так как он держал акции «Де Бир», теперь неуклонно падавшие, а это в его глазах было уже само по себе вполне достаточной жертвой со стороны его внука.

В Оксфорде, однако, преобладали иные чувства. Брожение, свойственное молодежи, собранной в массу, постепенно в течение двух месяцев, предшествовавших «Черной неделе», привело к образованию двух резко противоположных групп. Нормальная английская молодежь, обычно консервативного склада, хотя и не принимала вещи слишком всерьез, горячо стояла за то, чтобы довести войну до конца и хорошенько вздуть буров. К этой более многочисленной группе, естественно, примыкал Вэл Дарти. С другой стороны, радикально настроенная молодежь, небольшая, но более голосистая группа, стояла за прекращение войны и за предоставление бурам автономии. Однако до наступления «Черной недели» обе группы оставались более или менее аморфными, никаких обострений не наблюдалось, и споры велись в пределах чисто академических. Джолли принадлежал к числу тех, кто не считал возможным примкнуть безоговорочно к той или другой стороне. Унаследованная им от старого Джолиона любовь к справедливости не позволяла ему быть односторонним. Кроме того, в его кружке «лучших» был один «избранный», юноша крайне передовых взглядов и большого личного обаяния. Джолли колебался. Отец его, казалось, тоже не имел определенного мнения. И хотя Джолли, как это свойственно двадцатилетнему юноше, зорко следил за своим отцом, присматриваясь, нет ли в нем недостатков, которые еще не поздно исправить, все же этот отец обладал «чем-то», что облекало неким своеобразным очарованием его кредо иронической терпимости. Люди искусства, разумеется, заведомо типичные Гамлеты, и это до известной степени приходится учитывать в собственном отце, даже если его и любишь. Но основное убеждение Джолиона, а именно, что не совсем благовидно совать нос, куда тебя не просят (как сделали уитлендеры), а потом гнуть свою линию, пока не сядешь людям на голову,— это убеждение, было ли оно действительно обосновано или нет, обладало известной привлекательностью для его сына, высоко ценившего благородство. С другой стороны, Джолли терпеть не мог людей, которые в его кружке носили прозвище «чудил», а в кружке Вэла —«тюфяков»; итак, он все еще колебался, пока не пробили часы «Черной недели». Раз, два, три — прозвучали зловещие удары в Стормберге, в Магерсфонтейне, в Колензо. Упрямая английская душа после первого удара воскликнула: «Ничего, есть еще Метьюен!» После второго: «Ничего, есть еще Буллер!» Затем в непроходимом мраке ожесточилась. И Джолли сказал самому себе: «Нет, к черту! Пора проучить этих мерзавцев; мне все равно, правы мы или нет». И если бы он только знал, что отец его думал то же самое!

В последнее в семестре воскресенье Джолли был приглашен на вечеринку к одному из «лучших». После второго тоста «за Буллера и к черту буров»— пили местное бургундское и бокалы осушали до дна — он заметил, что Вэл Дарти, который тоже был в числе приглашенных, смотрит на него с усмешкой и что-то говорит своему соседу. Джолли

был уверен, что это что-то оскорбительное для него. Отнюдь не принадлежа к числу тех юношей, которые любят обращать на себя внимание или устраивать публичные скандалы, он только покраснел и закусил губу. Глухая неприязнь, которую он всегда испытывал к своему троюродному брату, сразу возросла и усилилась. «Хорошо,— подумал он,— подожди, дружок!» Некоторый излишек вина, которое, как того требует обычай, поглощается на вечеринках в количестве более чем полезном, помог ему не забыть подойти к Вэлу, когда они все гурьбой вышли на пустынную улицу, и тронуть его за рукав.

— Что вы там сказали про меня?

— Разве я не вправе говорить все, что хочу?

— Нет!

— Ах так. Ну, я сказал, что вы бурофил, и это так и есть.

— Вы лжец.

— Вы хотите драться?

— Разумеется; только не здесь, в саду.

— Отлично! Идем.

Они пошли, подозрительно косясь друг на друга, нетвердо держась на ногах, но настроенные решительно; перелезли через решетку сада. Зацепившись за острые прутья, Вэл слегка разорвал рукав, что на время поглотило его мысли. Мысли Джолли были поглощены тем, что драка будет происходить во владениях чужого колледжа. Это не дело, ну да все равно — этакое животное!

Они прошли по траве под деревья, где было совсем темно, и сняли пиджаки.

— Вы не пьяны?— вдруг спросил Джолли.— Я не могу драться с вами, если вы пьяны.

— Не больше, чем вы.

— Ну, отлично.

Не подав друг другу руки, они оба разом стали в оборонительную позицию. Они слишком много выпили, чтобы драться по всем правилам искусства, а поэтому особенно тщательно следили за положением своих рук и ног до тех пор, пока Джолли как-то случайно не съездил Вэлу по носу. После этого началась слепая, безобразная драка под густой тенью старых деревьев, и некому было крикнуть им: «Тайм!»— и, запыхавшиеся, избитые, они только тогда расцепились и отскочили друг от друга, когда чей-то голос произнес:

— Ваши фамилии, молодые люди?

От звука этого спокойного голоса, раздавшегося под фонарем у садовой калитки, словно голос некоего божества, нервы их сдали, и, схватив пиджаки, они бросились к ограде, перемахнули через нее и побежали к тому пустынному переулку, где было положено начало драке. Здесь в тусклом свете они вытерли свои потные физиономии и, не обменявшись ни словом, пошли на расстоянии десяти шагов друг от друга к воротам колледжа. Они молча вышли; Вэл направился по Бруэри на Бродстрит, Джолли — переулком на Хай-стрит. Его все еще затуманенные мысли были полны сожалений о том, что он не показал настоящей школы, и ему припоминались теперь все каунтеры и нокауты, которых он не

ронством, потому что, конечно, на самом деле в этом нет никакой необходимости. Кроме того, ему не хотелось идти, потому что в натуре этого юного Форсайта было что-то, что удерживало его от опрометчивых поступков. Чувства его находились в полном смятении, мучительном и тревожном разладе, и он был совсем не похож на свое прежнее ясное и даже несколько величественно-невозмутимое «я».

И вот как-то раз он увидел нечто такое, что привело его в страшное беспокойство и негодование: двух всадников на одной из аллей парка около Хэм-гейт, причем *она*, слева, вне всякого сомнения, была Холли на своей серебристой каурке, а справа, в этом тоже совершенно не приходилось сомневаться, был этот «хлыщ», Вэл Дарти. Первой мыслью Джолли было пришпорить лошадь, нагнать их и потребовать у них объяснения, что сие означает, потом приказать этому субъекту убраться и самому отвезти Холли домой. Второй мыслью было, что он останется в дураках, если они откажутся повиноваться. Он повернул свою лошадь за дерево, но тут же пришел к заключению, что шпионить за ними тоже совершенно недопустимая вещь. Ничего не оставалось, как ехать домой и дожидаться ее возвращения! Тайком завела дружбу с этим пшютом! Он не мог посоветоваться с Джун, потому что она с утра увязалась в Лондон с этим Эриком Коббли и его семейством. А отец все еще был в этом проклятом Париже. Джолли чувствовал, что сейчас-то и наступил один из тех моментов в его жизни, к которым он с таким усердием готовился в школе, где он и еще один мальчик, по фамилии Брент, зажигали газеты и клали их на пол посреди комнаты, чтобы приучить себя к хладнокровию в минуту опасности. Но он далеко не чувствовал себя хладнокровным, когда стоял в ожидании на конюшенном дворе и рассеянно поглаживал Балтазара, который, разомлев, как старый толстый монах, и стосковавшись по хозяину, поднимал морду, задыхаясь от благодарности за такое внимание. Прошло полчаса, прежде чем Холли вернулась, раскрасневшаяся и такая хорошенькая, какой она просто даже не имела права быть. Он видел, как она быстро взглянула на него — виновато, конечно,— вошел за ней в дом и, взяв ее за руку, повел в бывший кабинет деда. Эта комната, в которую теперь редко заглядывали, все еще хранила для них обоих следы присутствия того, с кем неизменно связывалось воспоминание о нежной ласке, длинных седых усах, запахе сигар и веселом смехе. Здесь Джолли в счастливую пору детства, еще задолго до того, как он поступил в школу, сражался со своим дедом, который даже в восемьдесят лет отличался неподражаемым искусством зацеплять его согнутой ногой. Здесь Холли, взобравшись на ручку громадного кожаного кресла, приглаживала завитки серебряных волос над ухом, в которое она шептала свои секреты. Через эту стеклянную дверь они все трое бесчисленное количество раз устремлялись на лужайку играть в крикет и в таинственную игру, называвшуюся «Уопси-дузл», непонятную для непосвященных, но приводившую старого Джолиона в страшный азарт. Сюда однажды летней ночью явилась Холли в ночной рубашонке — ей приснился страшный сон, и требовалось ее успокоить. И сюда однажды в отсутствие отца привели Джолли, который начал день с того, что всыпал углекислой магнезии в только что снесенное яйцо, поданное маде-

ног. Он подошел к Венере и машинально стал рассматривать черепаху. Почему он невзлюбил Вэла Дарти? Он не мог сказать. Незнакомый с семейной историей, смутно осведомленный о какой-то вражде, которая возникла тринадцать лет назад, когда Босини покинул Джун из-за жены Сомса, он ничего, в сущности, не знал о Вэле и не мог разобраться в своих чувствах. Он просто не любил его. Однако нужно было решить вопрос: что ему делать? Правда, Вэл Дарти их троюродный брат, но тем не менее это совершенно недопустимая вещь, чтобы Холли самостоятельно встречалась с ним. Однако «доносить» о том, что он узнал случайно, было против принципов Джолли. Поглощенный этой трудной дилеммой, он сделал несколько шагов по комнате и сел в кожаное кресло, положив ногу на ногу. Спустились сумерки, а он сидел и смотрел в высокое окно на старый дуб, могучий, но безлистый, медленно превращавшийся в глубокую темную тень на фоне сумерек.

«Дедушка!»— подумал он без всякой последовательности и вынул часы. Ему не видно было стрелок, но он завел репетир. Пять часов! Это были первые дедушкины золотые часы — отполированные временем, со стершейся чеканкой, со следами бесчисленных падений. Звон их был точно смутный голос из того золотого времени, когда они только что приехали из Сент-Джонс-Вуда в этот дом, приехали с дедушкой в его коляске и сейчас же бросились к деревьям. Деревья, по которым можно было лазить, а дедушка внизу поливал грядки с геранью! Что же делать? Написать папе, чтобы он приехал? Посоветоваться с Джун? Но только она... она такая несдержанная! Не предпринимать ничего, может быть, и так все уладится? В конце концов ведь каникулы скоро кончатся. Пойти к Вэлу и потребовать, чтобы он с ней не встречался? Но как узнать его адрес? Холли не скажет! Целый лабиринт путей, туча возможностей! Он закурил. Когда он выкурил папиросу до половины, лоб его разгладился, словно чья-то худая старческая рука нежно провела по нему; и словно что-то шепнуло ему на ухо: «Не делай ничего. Будь добрым с Холли, будь добрым с ней, мой мальчик!» И Джолли вздохнул глубоко и облегченно, выпуская дым из ноздрей...

А наверху у себя в комнате Холли, уже сняв амазонку, все еще хмурилась.

— Нет, не наглец, вовсе нет!— беззвучно твердили ее губы.

VI

ДЖОЛИОН В НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ

Небольшой привилегированный отель над знаменитым рестораном рядом с Сен-Лазарским вокзалом был постоянным пристанищем Джолиона в Париже. Он не переносил за границей своих соотечественников Форсайтов, которые, как рыба, вытащенная из воды, бессмысленно трепыхались в пределах одного и того же круга: Опера, улица Риволи, «Мулен-Руж». Самый вид их, заявлявший о том, что они приехали сюда потому, что им как можно скорее требовалось очутиться в каком-нибудь другом месте, раздражал Джолиона. Но ни один Форсайт не приближался к этому убежищу, где в спальне у Джолиона камин топился дро-

вами и кофе был превосходного качества. Париж всегда казался ему более привлекательным зимой. Терпкий запах дровяного дыма и жаровень с пекущимися каштанами, резкие эффекты зимнего солнца в ясные дни, открытые кафе, не боящиеся прохладного зимнего воздуха, оживленная, живущая своей жизнью толпа на бульварах — все словно свидетельствовало о том, что зимний Париж наделен душой, которая, подобно перелетной птице, летом улетает.

Джолион хорошо говорил по-французски, у него были кое-какие приятели, и он знал несколько уютных местечек, где можно было недурно поесть и встретить интересные типы, достойные наблюдения. В Париже он чувствовал себя настроенным философически; ирония его приобретала остроту; жизнь наполнялась неуловимым, не преследующим никаких целей смыслом, становилась букетом ароматов, тьмой, прорезаемой изменчивыми вспышками света.

В первых числах декабря, решив отправиться в Париж, Джолион не допускал и мысли, что немалую роль в его решении играет отъезд Ирэн. Не успел он пробыть там и двух дней, как ему пришлось сознаться, что желание видеть ее было, в сущности, главной причиной его приезда. В Англии человек не признается в том, что для него естественно. Он думал, что ему надо будет переговорить с ней о сдаче ее квартиры и о других делах, но в Париже он сразу понял, что суть не в этом. В городе словно таились какие-то чары. На третий день он написал ей и получил ответ, от которого все существо его радостно встрепенулось:

«Дорогой Джолион,
Я буду очень, очень рада увидеться с вами.

Ирэн».

Был ясный, солнечный день, когда он отправился к ней в отель; он шел с таким чувством, с каким, бывало, отправлялся смотреть на какую-нибудь любимую картину. Ни одна женщина, кажется, не вызывала у него этого своеобразного, чувственного и в то же время совершенно безличного ощущения. Он будет сидеть и с наслаждением смотреть на нее, потом уйдет, зная ее все так же мало, но готовый завтра снова прийти и снова смотреть на нее. Таковы были его чувства, когда в маленькой, потускневшей от времени, но кокетливой гостиной тихого отеля около реки Ирэн подошла к нему, предшествуемая мальчиком-слугой, который, провозгласив: «Мадам»,— тут же исчез. Ее лицо, улыбка, движения были точь-в-точь такие, как он их себе рисовал, и выражение ее лица ясно говорило: «Друг».

— Ну,— сказал он,— что нового, бедная изгнанница?

— Ничего.

— Никаких новостей от Сомса?

— Никаких.

— Я сдал вашу квартиру и, как верный управляющий, привез вам немножко денег. Как вам нравится Париж?

Пока Джолион учинял этот допрос, ему казалось, что он никогда не видал таких прекрасных и выразительных губ: линия нижней губы чуть-

чуть изгибалась кверху, а в уголке верхней дрожала чуть заметная ямочка. Он словно впервые увидал женщину в том, что до сих пор было всего лишь нежной одухотворенной статуей, которой он почти отвлеченно любовался. Она сознала, что жить одной в Париже немножко тяжело, но в то же время Париж так полон своей собственной жизнью, что он чаще всего безопасен, как пустыня. Кроме того, англичан здесь сейчас не любят.

— Но вряд ли это касается вас,— сказал Джолион.— Вы должны нравиться французам.

— Это имеет свои неприятные стороны.

Джолион кивнул.

— Ну, пока я здесь, вы должны предоставить *мне* показать вам Париж. Начнем завтра. Приходите обедать в мой излюбленный ресторан, а затем мы пойдем в Комическую оперу.

Так было положено начало ежедневным встречам.

Джолион скоро пришел к заключению, что для тех, кто стремится сохранить чувства в равновесии, Париж первое и последнее место, где можно быть на дружеской ноге с красивой женщиной. На него словно снизошло откровение, оно, как птица, трепетало в его сердце, распевая: «Elle est ton rêve, elle est ton rêve!»[1]. Порой это казалось естественным, порой нелепым — тяжелый случай запоздалого увлечения. Будучи однажды отвергнут обществом, он давно отвык считаться с условной моралью; но мысль о любви, на которую она не могла ответить,— ну, как она может, в его-то годы?— вряд ли шла дальше его подсознания. Кроме того, его обуревало чувство горькой обиды за ее изломанную, одинокую жизнь. Чувствуя, что он хоть немножко скрашивает ей эту жизнь, видя, что их маленькие экскурсии по городу доставляют ей явное удовольствие, он от души желал не делать и не говорить ничего такого, что могло бы нарушить это удовольствие. Как умирающее растение впитывает в себя воду, так, казалось, впитывала она в себя его дружбу. Насколько им было известно, никто, кроме него, не был осведомлен, где она находится; в Париже ее не знал никто, его — очень немногие, так что им как будто и не нужно было соблюдать никакой осторожности в своих прогулках, беседах, посещениях концертов, театров, музеев, в их обедах в ресторане, поездках в Версаль, Сен-Клу и даже Фонтенебло. А время летело — проходил один из тех полных впечатлений месяцев, у которых нет ни прошлого, ни будущего. То, что в юности Джолион переживал бы, несомненно, как бурное увлечение, теперь было, пожалуй, таким же сильным чувством, но гораздо более нежным, смягченным до покровительственной дружбы его восхищением и безнадежностью и сознанием рыцарского долга — чувством, которое покорно замирало у него в крови, по крайней мере, пока она была здесь, улыбающаяся, счастливая их дружбой, с каждым днем казавшаяся ему все более прекрасной и чуткой; ее взгляды на жизнь, казалось, превосходно согласовались с его собственными, будучи обусловлены гораздо больше чувством, чем разумом. Иронически недоверчивая, восприимчивая к красоте, пылко

[1] Она — твоя мечта, она — твоя мечта! *(фр.)*

отзывчивая и терпимая, она в то же время была способна на скрытый отпор, который ему, как мужчине, был менее свойствен. И в течение всего этого месяца, в постоянном общении с Ирэн, его никогда не покидало чувство, напоминавшее ему первый визит к ней, ощущение, которое испытываешь, глядя на любимое произведение искусства,— это почти беспредметное желание. Будущего, этого неумолимого дополнения к настоящему, он старался не представлять себе из страха нарушить свое безмятежное настроение; но он строил планы, он мечтал повторить это время где-нибудь в еще более чудесном месте, где солнце светит жарко, где можно увидеть необычайные вещи, нарисовать их. Конец наступил быстро — двадцатого января пришла телеграмма:

«Записался волонтером кавалерию.

Джолли».

Джолион получил ее в ту самую минуту, когда он выходил из отеля, направляясь в Лувр, чтобы встретиться там с Ирэн. Это сразу заставило его опомниться и прийти в себя. Пока он здесь предавался праздной лени, его сын, которому он должен быть наставником и руководителем, решился на великий шаг, грозящий ему опасностью, лишениями и, может быть, даже смертью. Он был потрясен до глубины души и только теперь вдруг понял, как крепко обвилась Ирэн вокруг корней его существа. Теперь, под угрозой разлуки, дружеская связь между ними — а это была уже крепкая связь — утрачивала свой беспредметный характер. Спокойная радость совместных прогулок и созерцания прекрасного миновала навсегда: Джолион понял это. Он увидел свое чувство таким, каким оно было,— безудержным и непреодолимым. Может быть, оно было смешно, но так реально, что рано или поздно оно должно обнаружиться. А теперь ему казалось, что он не может, не должен его обнаруживать. Это известие о Джолли неумолимо стояло на его пути. Он гордился его поступком, гордился своим мальчиком, который шел сражаться за родину. На бурофильское настроение Джолиона «Черная неделя» тоже оказала свое влияние. Итак, конец наступил раньше начала. Какое счастье, что он ничем ни разу не выдал себя!

Когда он пришел в музей, Ирэн стояла перед «Мадонной в гроте», грациозная, улыбающаяся, поглощенная картиной, ничего не подозревающая. «Неужели я должен запретить себе смотреть на нее?— подумал он.— Это противоестественно, пока она позволяет мне смотреть на себя». Он стоял, и она не видела его, а он глядел, стараясь запечатлеть в себе ее образ, завидуя картине, которая так приковала ее внимание. Два раза она повернула голову ко входу, и он подумал: «Это относится ко мне». Наконец он подошел.

— Посмотрите,— сказал он.

Она прочла телеграмму, и он услышал, как она вздохнула.

Этот вздох тоже относился к нему! Его положение действительно было трудно! Чтобы быть честным по отношению к сыну, он должен просто пожать ей руку и уйти. Чтобы быть честным по отношению к своему чувству, он должен хотя бы открыть ей это чувство. Поймет ли

она, может ли она понять, почему он так молча стоит и смотрит на эту картину?

— Боюсь, что мне надо немедленно ехать домой,— наконец выговорил он.— Мне будет ужасно недоставать всего этого.

— Мне тоже. Но, разумеется, вам надо ехать.

— Итак,— сказал Джолион, протягивая руку.

Встретившись с ней взглядом, он чуть не поддался нахлынувшему на него чувству.

— Такова жизнь,— сказал он,— берегите себя, дорогая.

У него было ощущение, точно ноги его приросли к земле, точно мозг отказывается уводить его прочь от нее. В дверях он обернулся и увидел, как она подняла руку и коснулась кончиков пальцев губами. Он торжественно приподнял шляпу и больше не оборачивался.

VII

ДАРТИ ПРОТИВ ДАРТИ

Слушание дела Дарти против Дарти о восстановлении миссис Дарти в супружеских правах, относительно которых Уинифрид пребывала в столь глубокой нерешительности, приближалось в порядке естественного убывания срока, оставшегося до дня суда. Очередь до него еще не дошла, как суд объявил перерыв на рождество, но теперь оно стояло третьим в списке. Уинифрид провела рождественские праздники несколько более светски, чем обычно, надежно спрятав свои чувства в низко декольтированной груди. Джемс в это рождество был особенно щедр по отношению к ней, изъявляя этим свое сочувствие и радость по поводу приближающегося расторжения ее брака с этим «отъявленным негодяем»— чувства, которые переполняли его старое сердце, но которых его старые губы не умели высказать.

Благодаря исчезновению Дарти падение консолей прошло для него почти незаметно; что же касается скандала, то истинная ненависть, которую он питал к этому субъекту, и все усиливающийся перевес интересов собственности над боязнью огласки в этом истинном Форсайте, готовящемся покинуть мир, способствовали его успокоению, тем более что в его присутствии все (кроме него самого) тщательно воздерживались от каких бы то ни было упоминаний об этом деле. Но его, как юриста и отца, сильно тревожило опасение, как бы Дарти не вздумал вернуться, получив постановление суда.Вот тогда и здравствуйте! Он так боялся этого, что на рождестве, передавая Уинифрид чек на крупную сумму, сказал ей: «Это главным образом для твоего беглеца, чтобы удержать его там». Это не значило, конечно, швырять деньги на ветер, но в то же время было своего рода страховкой от банкротства, которое уже не будет висеть над ним, если только состоится развод; и он неотступно допрашивал Уинифрид, пока она не успокоила его, что деньги посланы. Бедная женщина! Ей стоило немалых страданий послать эти деньги, которые должны были перекочевать в сумочку «этой мерзавки»! Сомс, услышав про это, покачал головой. Ведь они имеют дело не со здравомыслящим Форсайтом, который твердо держится намеченной цели. Это очень

рискованный поступок — послать ему деньги, не зная, как там обстоит дело. Но в суде это произведет хорошее впечатление, и он позаботится, чтобы Дример использовал это обстоятельство.

— Интересно,— неожиданно сказал он,— куда отправится этот балет после Аргентины?

Он никогда не упускал случая напоминать ей об этом, так как знал, что Уинифрид все еще страдает слабостью если и не к Дарти, то к тому, чтобы не сплетничать о нем публично. Хотя выражать восхищение было не в его натуре, он не мог не признать, что она превосходно держит себя со своими детьми, которые, словно голодные птенцы, требующие пищи, жадно приставали к ней с расспросами об отце,— к тому же Имоджин только что начала выезжать в свет, а Вэл очень нервничал из-за всей этой истории. Сомс чувствовал, что и Уинифрид в этом деле больше всего считалась с Вэлом, потому что она, конечно, любила его больше всех других. Этот мальчишка может помешать разводу, если он вобьет себе это в голову. И Сомс тщательно старался, чтобы до племянника не дошло, что предварительное судебное разбирательство уже близко. Он даже решился на большее. Он пригласил его обедать в «Смену» и, когда Вэл закурил сигару, заговорил с ним о том, что, по его мнению, было ближе всего сердцу племянника.

— Я слышал,— сказал он,— что тебе хочется играть в поло в Оксфорде?

Вэл принял менее небрежную позу.

— Да, очень,— сказал он.

— Так вот,— продолжал Сомс,— это очень дорогое удовольствие. Твой дед вряд ли согласится на это, пока у него не будет уверенности, что он избавился от другого постоянного расхода.

И он замолчал, чтобы посмотреть, понял ли племянник, что он хотел этим сказать.

Глаза Вэла спрятались под густыми темными ресницами, но его большой рот искривился легкой гримасой.

— Я полагаю, вы имеете в виду папу,— пробормотал он.

— Да,— сказал Сомс,— боюсь, что это зависит от того, будет ли он по-прежнему для него обузой или нет.

И больше он ничего не сказал, предоставив Вэлу подумать об этом.

Но Вэл в эти дни думал еще и о серебристо-каурой лошадке и о девушке, которая скакала на ней. Хотя Крум был в городе и мог познакомить его с Цинтией Дарк, стоило только попросить об этом, Вэл не просил; правду сказать, он даже избегал Крума и жил жизнью, которая и самому-то ему казалась удивительной, если исключить счета от портного и из манежа. Мать, сестры и младший брат удивлялись, что он в эти каникулы все только «ходит к товарищам», а вечерами сонный сидит дома. Что бы ему ни предложили, куда бы ни позвали днем, он вечно отвечал одно: «Мне очень жаль, но я обещал пойти к товарищу»,— и он прибегал к невероятным ухищрениям, чтобы никто не видел, что он выходит из дома и возвращается домой в костюме для верховой езды, пока, наконец, сделавшись членом «Клуба Козла», он не перенес туда свои костюмы и там уже мог спокойно переодеваться и оттуда катить на взя-

той напрокат лошади в Ричмонд-парк. Он благоговейно скрывал ото всех свое все усиливающееся чувство. Ни за что в мире не признался бы он «товарищам», к которым он не ходил, в том, что, с точки зрения их и его жизненной философии, должно было казаться просто смешным. Но он не мог помешать тому, что это отбивало у него охоту ко всему другому. Это чувство преграждало ему путь к законным развлечениям молодого человека, наконец-то почувствовавшего себя независимым, превращая его в глазах Крума (можно было в этом не сомневаться) в слюнтяя и молокососа. Все его желания сводились теперь к одному: одеться в самый шикарный костюм для верховой езды и тайком от всех ускакать в Ричмонд и ждать у Робин-Гуд-гейт, пока не покажется серебристо-каурая лошадка, горделиво и чинно выступая под своей стройной темноволосой всадницей, и по голым, безлиственным просекам они поедут бок о бок, разговаривая не так уж много, иногда пускаясь вскачь наперегонки, иногда спокойно, шагом, взявшись за руки. Дома вечером не раз в минуты откровенности его охватывало искушение рассказать матери, как эта застенчивая, пленительная кузина вкралась в его сердце и «перевернула его жизнь». Но горький опыт научил его, что все взрослые старше тридцати пяти лет способны только вмешиваться в чужие дела и все портить. В конце концов он мирился с тем, что ему придется кончить колледж, а ей начать появляться в свете, прежде чем они смогут пожениться,— к чему же тогда усложнять дело, раз у него есть возможность видеться с ней? Сестры вечно дразнятся и вообще невыносимые создания, а брат еще того хуже; у него нет никого, с кем бы он мог поделиться своей тайной. А теперь еще этот проклятый развод! Ведь вот несчастье носить такую редко встречающуюся фамилию! Как хорошо, если бы его фамилия была Гордон, или Скотт, или Говард, или еще какая-нибудь в этом же роде, самая обыкновенная! Но Дарти — во всем адрес-календаре другого не сыщешь! С таким же успехом можно было носить фамилию Моркин, такая же редкость! Так все шло своим чередом, но как-то раз в середине января серебристо-каурая лошадка со своей всадницей не явилась в условленный час. Томясь ожиданием на холодном ветру, он думал: поехать ему к ней или нет? Ведь там может быть Джолли, а воспоминание об их мрачной встрече было еще совсем свежо. Нельзя же вечно драться с ее братом! И он печально вернулся в город и провел вечер в глубочайшем унынии. Утром за завтраком ему бросилось в глаза, что мать вышла в каком-то необыкновенном платье и в шляпе. Платье было черное с ярко-голубой отделкой и большая черная шляпа: она выглядела необыкновенно эффектно. Но когда после завтрака она сказала: «Пойди сюда, Вэл»,— и направилась в гостиную, у него екнуло сердце. Уинифрид тщательно закрыла за собой дверь и поднесла к губам носовой платочек, вдыхая запах пармской фиалки, которой был надушен платок. Вэл думал: «Неужели она узнала про Холли?»

Ее голос прервал его размышления:

— Ты готов меня поддержать, мой мальчик?

Вэл нерешительно усмехнулся.

— Ты не откажешься поехать со мной сегодня?

— Мне нужно пойти...— начал Вэл, но что-то в ее лице остановило его.— Разве,— сказал он,— у тебя что-нибудь...

— Да. Мне нужно сегодня ехать в суд.

Уже! Эта проклятая история, о которой он почти успел забыть, потому что последнее время никто даже не говорил о ней. С чувством ужасной жалости к самому себе он стоял, покусывая кожу около ногтей. Потом, заметив, что у матери кривятся губы, он, точно его что-то толкнуло, сказал:

— Хорошо, мама, я поеду с тобой. Вот скоты!

Кто были эти скоты, он не знал, но это слово весьма точно выражало чувства обоих и установило между ними некоторое согласие.

— Я думаю, мне лучше переодеться,— пробормотал он, спасаясь в свою комнату.

Он надел другой костюм, высочайший воротничок с жемчужной булавкой в галстуке и свои лучшие серые гетры, помогая себе при этом проклятьями. Поглядевшись в зеркало, он сказал:

— Будь я проклят, если я чем-нибудь выдам свои чувства!— и спустился вниз.

У подъезда он увидел дедушкину коляску и мать, закутанную в меха; у нее был такой вид, словно она отправлялась на торжественный прием к лорду-мэру. Они уселись рядом в закрытой коляске, и за всю дорогу до суда Вэл только один раз обмолвился об этом неприятном деле:

— Ведь там не будет никаких разговоров об этом жемчуге, мама?

Пушистые белые хвостики на муфте Уинифрид слегка задрожали.

— О нет,— сказала она,— сегодня все будет совершенно безобидно. Твоя бабушка тоже собиралась поехать, но я отговорила ее. Я подумала, что ты будешь мне опорой. Ты так мило выглядишь, Вэл. Опусти немножко воротничок сзади — вот так, теперь хорошо.

— Если они будут запугивать тебя...— начал Вэл.

— Да нет, никто не будет. Я буду держаться спокойно — иначе нельзя.

— Они не потребуют от меня никаких показаний?

— Нет, дорогой мой, это все уже улажено,— и она похлопала его по руке.

Ее решительный тон успокоил бурю, клокотавшую в груди Вэла, и он занялся стаскиванием и натягиванием своих перчаток. Он только теперь заметил, что надел не ту пару — эти перчатки не подходили к его гетрам; они должны быть серые, а это была темно-коричневая замша; остаться в них или снять их — он никак не мог решить. Они приехали в самом начале одиннадцатого. Вэл никогда еще не был в суде, и здание произвело на него сильное впечатление.

— Черт возьми!— сказал он, когда они вошли в вестибюль.— Здесь можно было бы устроить целых четыре, даже пять шикарных площадок для тенниса.

Сомс дожидался их внизу у одной из лестниц.

— А, вот и вы!— сказал он, не подавая им руки, словно предстоявшее событие делало излишними такого рода формальности.— Первый зал, Хэпперли Браун. Наше дело слушается первым.

В груди у Вэла поднималось чувство, какое он испытывал, когда ему приходилось бить в крикете, но он с угрюмым видом пошел за матерью и дядей, стараясь как можно меньше глядеть по сторонам и решив про себя, что здесь пахнет плесенью. Ему казалось, что отовсюду выглядывают какие-то любопытствующие люди, и он потянул Сомса за рукав.

— Я полагаю, дядя, вы не пустите туда всех этих гнусных репортеров?

Сомс бросил на него взгляд исподлобья, который в свое время многих вынуждал замолчать.

— Сюда,— сказал он.— Ты можешь не снимать мех, Уинифрид.

Вэл вошел вслед за ними, пылая гневом, высоко подняв голову. В этой проклятой дыре все — а народу была пропасть,— казалось, сидели друг у друга на коленях, хотя на самом деле сиденья были разделены перегородками; у Вэла было такое чувство, точно они все вместе должны провалиться сейчас в этот колодец. Но это было только минутное впечатление от красного дерева, черных мантий, от белых пятен париков, лиц и папок с бумагами, и все это какое-то таинственное, шепчущее,— а потом он уже сидел с матерью в первом ряду, спиной ко всем, с облегчением вдыхая запах пармских фиалок и стаскивая в последний раз свои перчатки. Мать смотрела на него; он вдруг почувствовал, что для нее действительно важно, что вот он сидит здесь, рядом с ней, почувствовал, что и он что-то значит в этом деле. Хорошо, он им покажет! Подняв плечи, он закинул ногу на ногу и с невозмутимым видом уставился на свои гетры. Но как раз в эту минуту какой-то старикан в мантии и в длинном парике, ужасно похожий на морщинистую старуху, вошел в дверь на возвышении прямо против них, и ему пришлось быстро разнять ноги и встать вместе со всеми.

— Дарти против Дарти!

Вэлу это показалось невыразимо отвратительным: как они смеют публично выкрикивать его фамилию! Но, услышав вдруг, как кто-то позади него начал говорить о его семье, он повернул голову и увидел какого-то старого олуха в парике, который говорил, словно проглатывая собственные слова,— ужасно забавный старикашка, ему раза два приходилось видеть таких субъектов на Парк-лейн за обедом, они еще так старательно приналегали на портвейн; теперь он знает, откуда их выкапывают. Как бы там ни было, старый олух показался ему таким занимательным, что он так бы и смотрел на него, не отрываясь, если бы мать не тронула его за руку. Вынужденный смотреть перед собой, он уставился на судью. Почему эта старая лиса с насмешливым ртом и быстро бегающими глазами имеет право вмешиваться в их частные дела? Разве у него нет своих собственных дел, наверное не меньше, и ничуть не менее пакостных? И в Вэле, словно ощущение болезни, зашевелился глубоко врожденный индивидуализм Форсайтов. Голос позади него продолжал тянуть:

— Денежные недоразумения... расточительность ответчика... (Что за слово! Неужели это про его отца?) затруднительное положение... частые отлучки мистера Дарти. Моя доверительница весьма резонно, милорд согласится с этим, стремилась положить предел... вело к разорению... пыталась увещевать... игра в карты, на скачках... («Вот правильно,— подумал Вэл,— нажимай на это!») В начале октября кризис... ответчик написал доверительнице письмо из своего клуба.— Вэл выпрямился, уши у него пылали.— Я предлагаю прочесть это письмо с необходимыми поправками, ибо это послание написано джентльменом, который, ну, скажем, хорошо пообедал, милорд.

«Скотина!— подумал Вэл, покраснев еще больше.— Тебе платят не за то, чтобы ты острил».

— «Вам больше не удастся оскорблять меня в моем собственном. Завтра я покидаю Англию. Карта бита...»— выражение, милорд, небезызвестное тем, кому не всегда сопутствует удача.

«Вот олухи!»— подумал Вэл, вспыхивая до корней волос.

— «Мне надоело терпеть ваши оскорбления...» Моя доверительница расскажет милорду, что эти так называемые оскорбления заключались в том, что она назвала его «пределом»— выражение, осмелюсь заметить, весьма мягкое при данных обстоятельствах.

Вэл украдкой покосился на бесстрастное лицо матери: в ее глазах была какая-то растерянность загнанного зверя. «Бедная мама»,— подумал он и коснулся рукой ее руки. Голос позади него тянул:

— «Я собираюсь начать новую жизнь. М. Д.» И на следующий день, милорд, ответчик отправился на пароходе «Тускарора» в Буэнос-Айрес. С тех пор от него нет никаких известий, кроме каблограммы с отказом в ответ на письмо моей доверительницы, которое она в глубоком отчаянии написала ему на другой день, умоляя его вернуться. С вашего разрешения, милорд, я попрошу теперь миссис Дарти занять свидетельское место.

Когда мать поднялась, у Вэла было неудержимое желание тоже подняться и сказать: «Послушайте, вы тут поосторожней, я требую, чтобы вы вели себя с нею прилично». Однако он сдержал себя, услышал, как она произнесла: «Правду, всю правду, ничего, кроме правды»,— и поднял глаза. Она была очень эффектна в своих мехах и в большой шляпе, с легким румянцем на щеках, спокойная, бесстрастная, и в нем вспыхнула гордость за нее, что она так невозмутимо выступает перед этими проклятыми «законниками». Допрос начался. Зная, что это только предварительная процедура для развода, Вэл не без удовольствия следил за вопросами, поставленными так, что получалось впечатление, будто она действительно желает, чтобы отец вернулся. Ему казалось, что они очень ловко проводят этого старикана в парике. И он пережил ужасно неприятную минуту, когда судья неожиданно спросил:

— А почему ваш супруг покинул вас? Ведь не потому, конечно, что вы назвали его «пределом»?

Вэл увидел, как дядя, не шевельнувшись, поднял глаза к свидетельской скамье; услышал позади себя шелест бумаг, и инстинкт подсказал ему, что исход дела в опасности. Неужели дядя Сомс и этот старый олух

позади него что-нибудь прозевали? Мать заговорила, слегка растягивая слова:

— Нет, милорд, но все это тянулось уже довольно долго.

— Что тянулось?

— Наши денежные недоразумения.

— Но ведь вы же давали ему деньги. Или вы хотите сказать, что он оставил вас, надеясь улучшить свое положение?

«Негодяй, старый негодяй, только и можно сказать, что негодяй!— вдруг подумал Вэл.— Он чует, где собака зарыта, старается докопаться!» И сердце у Вэла замерло. Если... если ему удастся, старый негодяй, конечно, догадается, что мать на самом деле вовсе не хочет, чтобы отец вернулся. Мать снова заговорила, на этот раз несколько более светским тоном:

— Нет, милорд, но, видите ли, я отказалась давать ему деньги. Он долго не мог этому поверить, но наконец ему пришлось убедиться в этом, а когда он убедился...

— Понимаю. Значит, вы отказались давать ему деньги. Но после этого вы все-таки ему послали кое-что.

— Я хотела, чтобы он вернулся, милорд.

— И вы думали, что это его вернет?

— Я не знаю, милорд, я поступила так по совету отца.

Что-то в лице судьи, в шелесте бумаг за спиной, в том, как дядя Сомс внезапным движением закинул ногу на ногу, сказало Вэлу, что она ответила так, как нужно. «Ловко,— подумал он.— Ах, черт возьми, какая все это чепуха!»

Судья опять заговорил:

— Еще один, последний вопрос, миссис Дарти. Скажите, вы все еще чувствуете привязанность к вашему супругу?

Руки Вэла, которые он держал за спиной, сжались в кулаки.Какое право имеет этот судья ни с того ни с сего приплетать сюда человеческие чувства? Заставлять ее открывать свое сердце и говорить перед всеми этими людьми о том, чего она, может быть, и сама не знает! Это неприлично! Мать тихим голосом ответила:

— Да, милорд.

Вэл увидел, как судья кивнул. «С удовольствием треснул бы его по башке!»— непочтительно подумал Вэл, когда мать по знаку судьи вернулась на свое место рядом с ним. Затем последовал ряд свидетелей, подтверждавших отъезд отца и его продолжительное отсутствие, причем в качестве свидетельницы выступала даже одна из горничных, что показалось Вэлу особенно гнусным; разговоров было много, и все одна сплошная чепуха; и, наконец, судья вынес решение о восстановлении в супружеских правах, и все поднялись, чтобы идти. Вэл шел позади матери; полуопущенные веки, вздернутый подбородок — все это должно было явно свидетельствовать о том, что он всех презирает. В коридоре голос матери пробудил его от этого гневного оцепенения:

— Ты прекрасно держал себя, мой дорогой. Для меня было большой поддержкой, что ты был со мной. Мы с дядей едем завтракать.

— Отлично,— сказал Вэл.— Я, значит, еще успею зайти к товарищу.

И, быстро попрощавшись с ними, он сбежал по лестнице и, выйдя из здания суда, вскочил в проезжавший кеб и приказал везти себя в «Клуб Козла». Мысли его были о Холли и о том, что сделать до того, как Джолли покажет ей завтра всю эту штуку в газетах.

Расставшись с Вэлом, Сомс и Уинифрид направились в «Чеширский сыр». Сомс условился встретиться там с мистером Бэлби. В этот ранний час — было всего двенадцать часов дня — там никого не будет, и Уинифрид казалось забавным посмотреть эту знаменитую старинную гостиницу. Заказав, к глубочайшему разочарованию официанта, легкий завтрак, они молча ждали, когда его подадут и когда появится мистер Бэлби, оба медленно приходя в себя после полуторачасовой публичной пытки. Мистер Бэлби не замедлил явиться, предшествуемый своим носом и настроенный столь же весело, сколь они были мрачны. Ну вот! Они же добились решения о восстановлении в супружеских правах, чем же они недовольны?

— Все это так,— сказал Сомс, понизив голос,— но теперь нужно начинать все снова, чтобы представить свежие улики. Дело о разводе вторично попадет к нему же, и, конечно, это покажется подозрительным, если обнаружится, что мы с самого начала были осведомлены о нарушении супружеской верности. Его вопросы достаточно ясно показывали, что он не очень-то поощряет эти уловки с восстановлением в правах.

— Пфа!— беспечно воскликнул мистер Бэлби.— Он забудет! Вы сами подумайте, голубчик, у него за этот промежуток будет сотня процессов. К тому же решение, которое он вынес сегодня, обязывает его утвердить развод, если будут достаточные улики. Он не будет знать, что миссис Дарти была в курсе дела,— это мы устроим. Дример прекрасно все подал — у него это так по-отечески вышло.

Сомс кивнул.

— И разрешите поздравить вас, миссис Дарти,— продолжал мистер Бэлби,— у вас прямо, можно сказать, талант давать показания. Несокрушимы, как скала.

В эту минуту появился официант, балансируя тремя приборами на одной руке.

— Я поторопился захватить пудинг, сэр. В нем сегодня много жаворонков.

Мистер Бэлби кивком носа одобрил его предусмотрительность. Но Сомс и Уинифрид растерянно взирали на этот «легкий» завтрак, представлявший собою плотную коричневую массу в соусе, и осторожно ковыряли пудинг вилкой в надежде извлечь крошечные тельца вкусных маленьких певцов. Однако, начав есть, они обнаружили, что проголодались больше, чем думали, и прикончили все, что было, запив завтрак стаканом портвейна.

Разговор перешел на войну. Сомс полагал, что Ледисмит будет взят, и что война может затянуться на год. Бэлби считал, что все кончится к лету. Оба сошлись на том, что нужно послать еще войска. Драться нужно, разумеется, до полной победы, так как теперь это уже вопрос

престижа. Уинифрид перевела разговор на более твердую почву, сказав, что ей не хотелось бы, чтобы ее процесс слушался, пока мальчиков не распустят из Оксфорда на летние каникулы, потому что за лето, к тому времени, как Вэлу придется опять вернуться в Оксфорд, все успеют об этом забыть; кроме того, в это время и сезон в Лондоне кончится. Юристы успокоили ее: по закону необходимо выждать шесть месяцев, а там чем скорее, тем лучше. В ресторане начала собираться публика, и они поднялись уходить: Сомс — в Сити, Бэлби — в свою контору, а Уинифрид взяла кеб и отправилась на Парк-лейн сообщить матери об исходе дела. Все сошло так благополучно, что они нашли возможным рассказать об этом Джемсу, который изо дня в день твердил, что он насчет дела Уинифрид ничего не знает, ничего не может сказать. По мере того как жизнь его приближалась к концу, мирские дела приобретали для него все больше значения, словно он чувствовал: «Нельзя ничего пропускать, я должен поволноваться вдоволь, мне скоро не о чем будет волноваться».

Он недовольно выслушал отчет о событиях. Это какая-то новая мода вести дела, и он ничего не знает. Но он дал Уинифрид чек и сказал:

— Я думаю, у тебя теперь будет масса расходов. Это что, новая шляпа? Почему Вэл к нам совсем не заходит?

Уинифрид пообещала, что привезет его на днях к обеду. А вернувшись домой, она поднялась к себе в спальню, где наконец могла остаться сама с собой. Теперь, когда ее супругу предложено возвратиться под ее иго — предложено только для того, чтобы отторгнуть его от нее навсегда,— она попытается еще раз заглянуть в свое наболевшее одинокое сердце и узнать, чего она в конце концов хочет.

VIII

ВЫЗОВ

Утро было туманное, и слегка морозило, но пока Вэл легкой рысью пробирался к Роухэмптон-гейт, откуда можно было уже галопом пуститься к условленному месту встречи, выглянуло солнышко. Настроение Вэла быстро подымалось. В событиях нынешнего утра не было ничего особенно ужасного, если не считать, конечно, этого оскорбительного вмешательства в их частную жизнь. «Если бы мы были обручены,— думал он,— тогда что бы ни случилось, мне было бы все равно». Чувства его не отличались от чувств большинства людей, которые клянут брак со всеми его последствиями, а сами торопятся жениться. И он мчался галопом по засохшей прошлогодней траве Ричмонд-парка, боясь опоздать. Но он снова оказался один на условленном месте, и эта вторичная измена Холли ужасно расстроила его. Он не может уехать сегодня, не повидав ее! Выехав из парка, он направился к Робин-Хиллу. Он все колебался, кого ему спросить. А вдруг вернулся ее отец или окажутся дома сестра или брат? Он решил рискнуть и спросить сначала про всех домашних, тогда, если ему повезет и их не окажется дома, будет вполне естественно под конец справиться о Холли. Если же кто-нибудь из них

дома, у него будет спасительный предлог, что он просто ехал верхом и решил заглянуть к ним.

— Дома только одна мисс Холли, сэр.

— О, благодарю вас. Разрешите, я поставлю лошадь на конюшню, и доложите, пожалуйста, мисс Холли: ее кузен, мистер Вэл Дарти.

Когда он вернулся, она была в гостиной, смущенная, с пылающими щеками. Она повела его в дальний конец комнаты, и они уселись на широком диване у окна.

— Я так беспокоился,— вполголоса сказал Вэл.— Что случилось?

— Джолли знает о наших прогулках.

— Он дома?

— Нет, но я думаю, что он скоро вернется.

— Ну, тогда!..— воскликнул Вэл и с отчаянной решимостью схватил ее за руку.

Она попыталась отнять ее, ей не удалось; она перестала сопротивляться и робко посмотрела на него.

— Прежде всего,— сказал он,— мне нужно вам сказать одну вещь о моей семье. Мой отец, видите ли, не совсем... то есть я хочу сказать, что он бросил мою мать, и теперь они хотят добиться развода, и поэтому ему предписано вернуться домой, вы понимаете, завтра об этом будет в газетах.

Глаза ее потемнели, расширившись от испуга и любопытства; ее рука стиснула его руку. Но Вэл уже вошел в азарт и стремительно продолжал:

— Конечно, сейчас во всем этом пока нет ничего такого, но, наверно, еще будет до того, как все кончится: бракоразводные процессы, вы знаете, ужасная гадость. И я хотел вам сказать, потому что, потому... чтобы вы знали... если,— и он начал заикаться, глядя в ее испуганные глаза,— если... если вы будете душечкой, Холли, и полюбите меня. Я вас так люблю, и я хочу, чтобы мы обручились.— У него все это вышло так нескладно, что он готов был поколотить себя; упав на колени, он старался приблизиться к этому нежному, взволнованному личику.— Вы любите меня, да? Если не любите, я...

Наступила минута молчания и ожидания, такого напряженного, что ему казалось, он слышит где-то далеко на лужайке звук косилки, словно там еще была трава, которую можно было косить. Потом она качнулась вперед, ее свободная рука коснулась его волос, и он вздохнул:

— О Холли!

В ответ прозвучало очень нежно:

— О Вэл!

Он представлял себе эту минуту в мечтах, но в мечтах все это происходило всегда в повелительном наклонении, он видел себя властным юным возлюбленным, а теперь он чувствовал себя робким, растроганным, дрожащим. Он боялся подняться с колен, чтобы не нарушить очарования; боялся пошевельнуться, как бы она не отшатнулась, не отреклась от своей уступчивости — вся трепещущая в его объятиях, с опущенными веками, к которым тянулись его губы. Глаза ее открылись и словно увлажнились чуть-чуть; он прижался губами к ее губам. Вдруг

он вскочил: он слышал шаги и какой-то сдавленный возглас. Он оглянулся. Никого! Но длинные портьеры, закрывавшие выход в холл, еще дрожали.

— Боже! Кто бы это мог быть?

Холли тоже вскочила.

— Джолли, наверно,— прошептала она.

Вэл сжал кулаки и собрал всю свою решимость.

— Отлично!— сказал он.— Мне теперь все равно, раз мы помолвлены.

И он большими шагами подошел к портьерам и раздвинул их. В холле у камина стоял Джолли, с явной нарочитостью повернувшись к ним спиной. Вэл сделал к нему несколько шагов. Джолли обернулся.

— Прошу прощения за то, что я нечаянно слышал,— сказал он.

Вэл, сколько бы ни старался, не мог преодолеть своего невольного восхищения им в эту минуту: лицо Джолли было ясно, голос спокоен, он держался с необыкновенным достоинством, словно повинуясь какому-то принципу.

— Что ж!— сказал Вэл отрывисто.— Вас это не касается.

— О!— сказал Джолли.— Идемте-ка сюда!— И он пошел через холл.

Вэл последовал за ним. У дверей кабинета он почувствовал, как кто-то тронул его за руку; голос Холли сказал:

— Я тоже иду.

— Нет,— сказал Джолли.

— Да,— сказала Холли.

Джолли отворил дверь, и они все трое вошли в комнату. Войдя, они стали треугольником на трех углах потертого турецкого ковра, держась неестественно прямо, не глядя друг на друга и абсолютно неспособные усмотреть хоть что-либо комичное в этом положении.

Вэл первый прервал молчание:

— Мы с Холли обручились.

Джолли отступил на шаг и прислонился к притолоке стеклянной двери.

— Это наш дом,— сказал он,— и я не собираюсь оскорблять вас здесь. Но отца сейчас нет. И сестра оставлена на мое попечение. Вы воспользовались этим.

— Я вовсе не имел этого в виду,— заносчиво сказал Вэл.

— А я думаю, что имели,— сказал Джолли.— Если бы вы этого не имели в виду, вы бы поговорили со мной или подождали бы, пока вернется мой отец.

— Тут были причины,— сказал Вэл.

— Какие причины?

— Касающиеся моей семьи. Я только что рассказал ей. Я хотел, чтобы она знала все прежде, чем это произойдет.

Джолли вдруг как-то сразу несколько утратил свое великолепное достоинство.

— Вы дети,— сказал он,— и вы это сами знаете.

— Я не ребенок,— сказал Вэл.

— Вы именно ребенок — вам еще нет двадцати.

— Вот как, а вам сколько?

— Мне двадцать,— сказал Джолли.

— Только что исполнилось; во всяком случае, я такой же мужчина, как вы.

Лицо Джолли вспыхнуло, потом омрачилось. В нем, очевидно, происходила какая-то борьба; Вэл и Холли смотрели на него с изумлением — так заметна была эта борьба; они даже слышали, как он тяжело дышит. Потом лицо его прояснилось и приобрело выражение какой-то странной решимости.

— Мы это сейчас увидим,— сказал он.— Я вызываю вас сделать то же, что собираюсь сделать я.

— Вы меня вызываете?

Джолли улыбнулся.

— Да,— сказал он,— и я отлично знаю, что вы этого не сделаете.

Вэла вдруг кольнуло какое-то дурное предчувствие; это была игра вслепую.

— Я не забыл ни того, что вы любитель затевать драки,— медленно сказал Джолли,— и, по-моему, вы только на это и способны,— ни того, что вы назвали меня бурофилом.

Сквозь свое собственное прерывистое дыхание Вэл услышал какой-то сдавленный вздох, увидел чуть выдвинувшееся вперед лицо Холли, бледное, с огромными глазами.

— Да,— продолжал Джолли с какой-то странной улыбкой,— мы это сейчас увидим. Я иду добровольцем в имперскую кавалерию и вызываю вас сделать то же самое, мистер Вэл Дарти.

Голова Вэла непроизвольно дернулась назад. Словно его кто-то ударил по лбу — так неожиданно, невероятно, так чудовищно обрушилось это на его мечты, и он поднял на Холли глаза, которые вдруг стали как-то трогательно растерянными.

— Сядьте!— сказал Джолли.— Не торопитесь. Подумайте хорошенько.

И сам он сел на ручку дедушкиного кресла.

Вэл не двинулся с места. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы брюк — дрожащие, стиснутые в кулаки руки. Сознание неотвратимого ужаса предстоявшего ему решения, как бы он ни поступил, стучало в его мозгу дробным стуком, как рассерженный почтальон. Если он не примет этого вызова, он будет опозорен в глазах Холли и в глазах своего врага — этого грубияна, ее брата. Если же он примет его — ах!— тогда прощай все: ее лицо, ее глаза, ее волосы, ее поцелуи, которые только что начались!

— Не торопитесь,— снова сказал Джолли.— Я не хочу быть несправедливым.

И они оба посмотрели на Холли. Она стояла, прислонившись к книжным полкам, которые доходили до потолка; ее темная головка прижалась к Гиббоновой «Римской империи», ее глаза сострадательно, в мучительном ожидании, были устремлены на Вэла. И его, хоть он и не отличался большой проницательностью, вдруг словно осенило. Она бу-

дет гордиться своим братом — его врагом! А за него ей будет стыдно! Руки его, точно на пружинах, выскочили из карманов.

— Хорошо,— сказал он.— Идет.

Лицо Холли,— о, это было удивительно! Он видел, как она вспыхнула, шагнула вперед. Он поступил правильно: ее лицо светилось грустным восхищением. Джолли встал и отвесил легкий поклон, словно желая сказать: «Вы выдержали испытание».

— Итак, завтра,— сказал он,— мы отправимся вместе.

Опомнившись от этой головокружительной борьбы чувств, завершившейся столь неожиданным решением, Вэл злорадно смотрел на Джолли из-под густых ресниц. «Хорошо,— подумал он,— на этот раз твоя взяла. Придется мне идти в армию, но подожди, я еще отыграюсь». И он с достоинством сказал:

— Я к вашим услугам.

— Мы встретимся в главном вербовочном пункте,— сказал Джолли,— в двенадцать часов.

И, открыв стеклянную дверь, он вышел на террасу, следуя тому же принципу, который заставил его удалиться, когда он застал их в гостиной.

Смятение в голове Вэла, оставшегося теперь с глазу на глаз с той, которая досталась ему так неожиданно дорого, было совершенно невообразимо. Но желание блеснуть оказалось сильнее всего. Попался в эту проклятую историю, теперь уж нужно выдержать тон до конца.

— Во всяком случае, ездить верхом и стрелять можно будет вволю,— сказал он,— это все-таки утешение.

И он испытал чувство какого-то жестокого удовольствия, услышав ее вздох, который, казалось, вырвался из самой глубины ее сердца.

— О, война скоро кончится,— сказал он,— может быть, нам даже и не придется попасть на фронт. Мне, конечно, было бы все равно, если бы не вы.

И он теперь избавится от этой неприятности, от этого проклятого развода. Нет, как говорится, худа без добра. Он почувствовал, как ее горячая ручка скользнула в его руку. Джолли думает, что он помешает им любить друг друга? Как бы не так! Он крепко держал ее за талию, нежно глядел на нее сквозь ресницы, улыбался, стараясь ободрить ее, обещая ей скоро вернуться, чувствуя себя, по крайней мере, на шесть дюймов выше и таким властелином с ней, каким он никогда не осмеливался себя чувствовать. И он много, много раз поцеловал ее, прежде чем сел на лошадь и поехал домой, в город. Вот так от маленького толчка стремительно расцветает и растет инстинкт собственности.

IX

ОБЕД У ДЖЕМСА

На Парк-лейн у Джемса больше не задавали званых обедов: в каждом доме наступает момент, когда у хозяина или хозяйки иссякают нужные для этого силы, и конечно — не разносят больше девяти блюд двадцати ртам над двадцатью белоснежными салфетками, и хозяйской

кошке не приходится больше удивляться, почему ее сегодня вдруг заперли.

И вот поэтому Эмили, которая и в семьдесят лет была не прочь вкусить кой-когда светской жизни, с чувством приятного волнения заказала обед на шесть персон вместо двух, сама написала на карточках внушительное количество иностранных слов и расставила цветы — мимозы с Ривьеры и белые римские гиацинты не из Рима. Правда, будут только, ну, конечно, Джемс и она сама, Сомс, Уинифрид, Вэл и Имоджин, но ей приятно было потешить себя немножко и поиграть в воображении величием прошлого. Она оделась так тщательно, что Джемс сказал:

— Зачем это ты надела такое платье? Ты простудишься.

Но Эмили знала, что шеи женщин защищены от простуды любовью к блеску вплоть до восьмидесяти лет, и она только сказала:

— Позволь, я надену на тебя новую манишку из тех, что я недавно купила, Джемс, тогда тебе останется только переодеть брюки и надеть свой бархатный пиджак, и ты будешь готов. Вэл любит, когда ты одет к лицу.

— Манишки!— сказал Джемс.— Вечно ты тратишь деньги на всякую чепуху.

Но он претерпел эту операцию, пока его шея тоже не засверкала, и только пробурчал невнятно:

— Боюсь, что он сумасброд, этот мальчишка!

Глаза его блестели немножко более обычного, и на щеках играл легкий румянец, когда он уселся в гостиной, прислушиваясь, не раздастся ли звонок у входной двери.

—. Я устроила настоящий званый обед,— удовлетворенно сказала Эмили.— Мне кажется, это полезно для Имоджин — ей надо привыкать к этому, раз она начала выезжать.

Джемс, пошевелив губами, издал какой-то неопределенный звук, вспомнив, как Имоджин любила забираться к нему на колени и разрывать с ним рождественские хлопушки.

— Она будет хорошенькая,— пробормотал он.— Можно в этом не сомневаться.

— Она и сейчас хорошенькая,— сказала Эмили.— Она может сделать отличную партию.

— Вот что у тебя на уме,— буркнул Джемс,— только лучше, если она будет сидеть дома и заботиться о своей матери.

Если еще второй Дарти завладеет его хорошенькой внучкой, это уж доконает его! Он никак не мог простить Эмили, что Монтегью Дарти когда-то пленил ее так же, как и его самого.

— Где Уормсон?— внезапно спросил он.— Я бы хотел сегодня выпить мадеры.

— Будет шампанское, Джемс.

Джемс замотал головой.

— В нем нет аромата,— сказал он.— Какая мне от него радость!

Эмили протянула руку к камину и позвонила.

— Мистер Форсайт хочет, чтобы вы открыли бутылку мадеры, Уормсон.

— Нет, нет,— сказал Джемс, и кончики его ушей вздрогнули негодующе, а глаза словно приковались к какому-то предмету, видимому только ему одному.— Слушайте, Уормсон, вы пройдите во внутренний погреб и на средней полке последнего отделения налево увидите семь бутылок. Возьмите из них одну, среднюю, да только поосторожней, не взболтайте ее. Это последние бутылки мадеры из тех, что мне подарил мистер Джолион, когда мы приехали сюда; ее так с тех пор и не трогали, она должна была сохранить весь свой аромат; впрочем, я не знаю, не могу сказать.

— Слушаю, сэр,— сказал Уормсон, удаляясь.

— Я берег ее к нашей золотой свадьбе,— неожиданно сказал Джемс,— но в моем возрасте я не протяну трех лет.

— Глупости, Джемс,— сказала Эмили,— не говори так.

— Мне надо бы самому сходить за ней,— бормотал Джемс,— ведь он ее непременно тряхнет.

И он погрузился в безмолвные воспоминания о тех далеких минутах, когда среди газовых рожков и паутины запах пропитанных вином пробок столько раз перед званными обедами возбуждал его аппетит. В винах его погреба можно было прочесть историю сорока с лишним лет, с того времени, как он поселился в этом доме на Парк-лейн с молодой женой, и историю многих поколений друзей и знакомых, которые давно ушли из этой жизни; эти поредевшие полки являлись живым свидетельством семейных торжеств — всех свадеб, рождений, смертей близких и родственников. И когда его не будет, все это останется как есть, и что будет с этими винами, он не знает. Выпьют их или растащат, что же удивительного!

Из этой глубокой задумчивости его вывело появление сына, за ним следом явилась Уинифрид с двумя старшими детьми.

Они пошли в столовую парами под руку. Джемс с дебютанткой Имоджин (хорошенькая внучка придавала ему бодрости); Сомс с Уинифрид; Эмили с Вэлом, у которого при виде устриц заблестели глаза. Будет настоящий порядочный обед с шампанским и портвейном! И он чувствовал, что ему как раз этого и надо после того, что он совершил сегодня и что для всех еще было тайной. После первых двух бокалов так приятно стало сознавать, что у него припрятана эта бомба, это снисшибательное доказательство патриотизма, или, вернее, его собственной храбрости, которой он может блеснуть, ибо то, что он сделал для своей королевы и для своей родины, до сих пор доставляло ему чисто эгоистическое удовольствие. Он теперь настоящий рубака, ему только и иметь дело с оружием и лошадьми; ему есть чем похвастаться, но, конечно, он не собирается этого делать. Просто он спокойно объявит об этом, когда все замолчат. И, взглянув на меню, он решил, что самый удобный момент будет, когда подадут bombe aux fraises[1], когда они приступят к десерту, за столом воцарится некоторая торжественность. Раз или два, прежде чем достигли этой розовой вершины обеда, его смутило воспоминание, что деду никогда ничего не говорят. Но старик пьет

[1] Клубничное мороженое *(фр.)*.

мадеру, и у него отличный вид! К тому же он должен быть доволен этим благородным поступком, который сгладит позор бракоразводного процесса. Вид его дядюшки, сидевшего напротив него, тоже подстрекал его к этому. Вот уж кто не способен ничем рискнуть; интересно будет посмотреть на его физиономию! А кроме того, матери лучше объявить вот так, чем с глазу на глаз, а то они оба расстроятся! Ему жаль ее, но в конце концов нельзя же требовать от него, чтобы он еще огорчался за других, когда ему предстоит расстаться с Холли.

До него слабо донесся голос деда:

— Вэл, попробуй-ка этой мадеры с мороженым. У вас в колледже такой не бывает.

Вэл смотрел, как густая жидкость медленно наполняла рюмку, как летучее масло старого вина отливало на поверхности; он вдохнул его аромат и подумал: «Ну, теперь самый момент!» Он отпил глоток, и приятное тепло разлилось по его уже разгоряченным венам. Быстро окинув всех взглядом, он сказал:

— Я записался сегодня добровольцем в имперскую кавалерию, бабушка.— И залпом осушил рюмку, точно это был тост за совершенный им поступок.

— Что такое?— Этот горестный возглас вырвался у его матери.

— Джолли Форсайт и я, мы ходили туда вместе.

— Но вас еще не записали?— спросил Сомс.

— Нет, как же! Мы в понедельник отправляемся в лагерь.

— Нет, вы только послушайте!— вскричала Имоджин.

Все повернулись к Джемсу. Он наклонился вперед, поднеся ладонь к уху.

— Что такое?— сказал он.— Что он говорит? Я не слышу.

Эмили нагнулась и похлопала Вэла по руке.

— Вэл записался в кавалерию — вот и все, Джемс, это очень мило. Ему очень пойдет мундир.

— Записался... какая глупость!— громко, дрожащим голосом воскликнул Джемс.— Вы все дальше своего носа ничего не видите. Ведь его... его отправят на фронт. Ведь он не успеет опомниться, как ему придется воевать.

Вэл видел восхищенные глаза Имоджин, устремленные на него, и мать, которая сидела молча, сохраняя светский вид, прикладывая платочек к губам.

Неожиданно дядя сказал:

— Ты несовершеннолетний.

— Я подумал об этом,— улыбнувшись, сказал Вэл.— Я сказал, что мне двадцать один год.

Он слышал восторженный возглас бабушки: «Ну, Вэл, ты прямо молодчина!»— видел, как Уормсон почтительно наливал шампанское в его бокал, и смутно уловил жалобное причитание деда:

— Я не знаю, что из тебя только выйдет, если ты будешь так продолжать.

Имоджин хлопала его по плечу, дядя смотрел искоса, только мать сидела неподвижно, и, встревоженный ее молчанием, Вэл сказал:

— Все будет хорошо; мы их живо обратим в бегство. Я только надеюсь, что и на мою долю что-нибудь останется.

Он испытывал чувство гордости, жалости и необычайной важности — все сразу. Он покажет дяде Сомсу и всем Форсайтам, что значит настоящий спортсмен! Конечно, это геройский и совершенно необычайный поступок — сказать, что ему двадцать один год!

Голос Эмили вернул его с высот на землю.

— Тебе не следует пить второго бокала, Джемс. Уормсон!

— Вот удивятся у Тимоти!— воскликнула Имоджин.— Чего бы я не дала, чтобы посмотреть на их физиономии. У тебя есть сабля, Вэл, или только пугач?

— А почему это ты вдруг надумал?

Голос дяди вызвал у Вэла неприятное ощущение холодка в животе. Почему? Как ему ответить на это? Он обрадовался, услышав спокойный голос бабушки:

— Я считаю, что Вэл поступил очень мужественно. И я уверена, что из него выйдет превосходный солдат: у него такая замечательная фигура. Мы все будем гордиться им.

— И при чем тут Джолли Форсайт? Почему вы ходили вместе?— безжалостно допытывался Сомс.— Мне казалось, вы не очень-то дружны.

— Нет,— пробормотал Вэл,— но я не хочу, чтобы он надо мной верх взял.

Он увидел, что дядя смотрит на него как-то совсем иначе, словно одобряя его. И дедушка тоже закивал, и бабушка тряхнула головой. Они все одобряли, что он не дал этому кузену взять над ним верх. Тут, верно, есть какая-нибудь причина! Вэл смутно ощущал какую-то неуловимую тень вне поля своего зрения — своего рода центр циклона, неизвестно где находящийся. И, глядя в лицо дяди, он внезапно, с какой-то непостижимой отчетливостью увидел женщину с темными глазами, золотые волосы и белую шею, и от этой женщины всегда так хорошо пахло, и у нее были всегда такие красивые шелковые платья, которые он любил трогать, когда был еще совсем маленький. Ну да, конечно! Тетя Ирэн! Она всегда целовала его, а он один раз, разыгравшись, укусил ее за руку, потому что это было очень приятно: такая мягкая! До него донесся голос деда:

— Что делает его отец?

— Он в Париже,— ответил Вэл, удивленно следя за странным выражением дядиного лица — как... как у собаки, которая вот-вот бросится!

— Художники!— сказал Джемс.

Этим словом, которое, казалось, вырвалось из самой глубины его души, закончился обед.

Сидя в кебе напротив матери, когда они возвращались домой, Вэл вкушал плоды своего героизма, напоминавшие переспелую мушмулу.

Она, правда, сказала только, что ему немедленно надо отправиться к портному и заказать приличный мундир, чтобы ему не пришлось надевать то, что ему там дадут. Но он чувствовал, что она очень расстроена.



тот период семейных невзгод и творческой борьбы, когда он еще не вернулся под сень отцовской любви и богатства. И вот Балтазар умер!

На исходе дня Джолион и Джолли взяли кирки и лопаты и отправились на лужайку. Они выбрали место неподалеку от рыжеватого холмика и, осторожно сняв слой дерна, начали рыть яму. Они рыли молча минут десять, потом решили отдохнуть.

— Итак, старина, ты решил, что должен пойти?— сказал Джолион.

— Да,— ответил Джолли.— Но, разумеется, мне этого вовсе не хочется.

Как точно эти слова выражали состояние самого Джолиона!

— Ты просто восхищаешь меня этим, мой мальчик. Я не думаю, чтобы я был способен на это в твоем возрасте,— боюсь, что я для этого слишком Форсайт. Но надо полагать, что с каждым поколением тип все больше стирается. Твой сын, если у тебя будет сын, возможно, будет *чистейшим альтруистом, кто знает!*

— Ну тогда, папа, он будет не в меня: я ужасный эгоист.

— Нет, дорогой мой, совершенно ясно, что ты не эгоист.

Джолли помотал головой, и они снова начали рыть.

— Странная жизнь у собаки,— вдруг сказал Джолион.— Единственное животное с зачатками альтруизма и ощущением творца.

— Ты веришь в бога, папа? Я этого не знал.

На этот пытливый вопрос сына, которому нельзя было ответить пустой фразой, Джолион ответил не сразу — постоял, потер уставшую от работы спину.

— Что ты подразумеваешь под словом «бог»?— сказал он.— Существуют два несовместимых понятия бога. Одно — это непостижимая первооснова созидания, некоторые верят в это. А еще есть сумма альтруизма в человеке — в это естественно верить.

— Понятно. Ну, а Христос тут уж как будто ни при чем?

Джолион растерялся. Христос, звено, связующее эти две идеи! Устами младенцев! Вот когда вера получила наконец научное объяснение! Высокая поэма о Христе — это попытка человека соединить эти два несовместимых понятия бога. А раз сумма альтруизма в человеке настолько же часть непостижимой первоосновы созидания, как и все, что существует в природе,— право же, звено найдено довольно удачно! Странно, как можно прожить жизнь и ни разу не подумать об этом с такой точки зрения!

— А ты как считаешь, старина?— спросил он.

Джолли нахмурился.

— Да знаешь, первый год в колледже мы часто говорили на эти темы. Но на втором году перестали; почему, собственно, не знаю, ведь это страшно интересно.

Джолион вспомнил, что и он первый год в Кембридже много говорил на эти темы, а на втором году перестал.

— Ты, наверно, думаешь,— сказал Джолли,— что у старика Балтазара было ощущение этого второго понятия бога?

— Да. Иначе его старое сердце не могло бы разорваться из-за чего-то, что было вне его.

— Здрасте, здрасте! Извините, я не встаю.

Явилась Фрэнси, Юстас приехал в своем автомобиле; Уинифрид привезла Имоджин, и лед недовольства ее судебным процессом растаял в семейном одобрении геройства Вэла; за ней явилась Мэриен Туитимен с последними известиями о Джайлсе и Джессе. Так что в этот день с тетей Джули и Эстер, молодым Николасом, Юфимией и — вообразите себе!— Джорджем, который приехал с Юстасом в автомобиле, собрание представляло собой зрелище, достойное дней процветания семьи. В маленькой гостиной не было ни одного свободного стула, и чувствовалось опасение, как бы не приехал кто-нибудь еще.

Когда натянутость, вызванная присутствием Тимоти, немножко прошла, заговорили о войне. Джордж спросил тетю Джули, когда она думает отправиться на фронт с Красным Крестом, чем даже развеселил ее; затем, повернувшись к Николасу, он сказал:

— Юный Ник тоже, кажется, отважный воин. Когда же он облачится в хаки?

Молодой Николас, улыбнувшись кроткой виноватой улыбкой, нерешительно заметил, что, конечно, мать очень беспокоится.

— Два Дромио, я слышал, уже собираются в путь,— продолжал Джордж, повернувшись к Мэриен Туитимен,— скоро мы все там будем. En avant[1], Форсайты! Бей, коли, стреляй! Кто на гауптвахту?

Тетя Джули фыркнула. Джордж такой забавный! Может быть, Эстер принесет карту Тимоти? И тогда он всем покажет, в каком положении дело.

Тимоти издал какой-то неопределенный звук, принятый за согласие, и тетя Эстер вышла из комнаты.

Джордж продолжал изображать наступление Форсайтов, произведя Тимоти в фельдмаршалы, а Имоджин, которую он сразу отметил как «славную кобылку»— в маркитантки, и, поставив цилиндр между колен, начал бить по нему воображаемыми барабанными палочками. Это представление вызвало у аудитории разнородные чувства. Все смеялись — Джорджу все разрешалось; но все чувствовали издевательство над семьей, и это казалось им неестественным именно теперь, когда семья отдавала пятерых своих членов на службу королеве. Джордж может зайти слишком далеко; поэтому все вздохнули с облегчением, когда он встал и, предложив руку тете Джули, торжественно направился к Тимоти, отдал ему честь и, с комической пылкостью расцеловав тетушку, сказал:

— Я так счастлив, папаша! Идем, Юстас.— И вышел, сопровождаемый важным, невозмутимым Юстасом, который ни разу не улыбнулся.

Изумленные возгласы тети Джули: «Подумайте, он даже не дождался карты! Уж ты не обижайся на него, Тимоти! Он такой шутник!»— нарушили молчание, и Тимоти отнял руку ото рта.

— Не знаю, к чему все это приведет,— раздался его голос.— Что это за разговоры о том, что все едут туда? Это не поможет победить буров.

---

[1] Вперед *(фр.)*.

Только у Фрэнси хватило смелости спросить:

— А что же тогда поможет, дядя Тимоти?

— Все это новомодное волонтерство — мотовство, только утечка денег из страны.

Как раз в эту минуту тетя Эстер вошла с картой, неся ее бережно, точно ребенка, покрытого сыпью. С помощью Юфимии карту разложили на рояле — маленьком салонном «колвуде», на котором последний раз играли, кажется, тринадцать лет назад, летом, перед тем как умерла тетя Энн. Тимоти встал. Он подошел к роялю и наклонился, разглядывая карту, в то время как все столпились вокруг него.

— Вот,— сказал он,— вот позиция, которую мы занимаем сегодня, и довольно-таки скверная позиция. Гм!

— Да,— сказала отчаянно смелая Фрэнси,— но как же ее можно изменить, дядя Тимоти, если не хватает людей?

— Людей!— сказал Тимоти.— Нам не нужно людей, которые выматывают деньги из страны. Нам нужен Наполеон — он покончил бы с этим в один месяц.

— Но если его нет, дядя Тимоти?

— Это их дело,— ответил Тимоти.— А для чего же, спрашивается, мы армию содержим? Чтобы она бездельничала в мирное время? Постыдились бы они просить помощи у страны! Каждый должен заниматься своим делом, тогда все будет идти как нужно.

И, окинув всех взглядом, он прибавил почти гневно:

— Волонтерство — тоже! Бросание денег на ветер! Мы копить должны! Сохранять энергию — вот единственный выход.

И, то ли засопев, то ли фыркнув, он наступил на ногу Юфимии и вышел, оставив позади себя ошеломленных гостей и легкий запах ячменного сахара.

Когда что-нибудь говорится с убеждением, да еще человеком, который явно делает над собой усилие, чтобы сказать это, впечатление получается внушительное. И восемь Форсайтов, оставшихся в гостиной, все женщины, за исключением молодого Николаса, некоторое время молча стояли вокруг карты. Наконец Фрэнси сказала:

— Нет, правда, знаете, по-моему, он прав. В конце концов для чего же тогда армия? Они должны были предвидеть все. А это только поощряет их.

— Но, дорогая моя,— воскликнула тетя Джули,— ведь они такие передовые! Подумать только, ведь они пожертвовали своими алыми мундирами. Они так всегда гордились ими. А теперь они все похожи на арестантов. Мы с Эстер только вчера говорили об этом, им, наверно, очень тяжело. Нет, вы подумайте, что бы сказал Железный Герцог!

— Новый цвет очень красивый,— сказала Уинифрид,— Вэлу очень идет.

Тетя Джули вздохнула.

— Не могу представить себе, какой сын у Джолиона. Подумать только, что мы никогда его не видели! Наверно, отец очень гордится им.

— Его отец в Париже,— сказала Уинифрид.

Плечо тети Эстер внезапно дернулось кверху, словно для того, чтобы предупредить следующую фразу сестры, потому что морщинистые щеки тети Джули вдруг вспыхнули.

— К нам вчера заходила милая миссис Мак-Эндер, она только что вернулась из Парижа. И как бы вы думали, кого она встретила там на улице? Ни за что не угадаете!

— Мы, тетечка, не будем и пытаться,— сказала Юфимия.

— Ирэн! Вообразите себе! После стольких лет; и она шла со светлой бородкой...

— Тетечка! Я с ума сойду! Светлая бородка...

— Я хотела сказать,— строго сказала тетя Джули,— с джентльменом со светлой бородкой. И она ничуть не постарела, ведь она была очень хороша,— прибавила она словно себе в оправдание.

— Ах, расскажите нам про нее, тетечка!— вскричала Имоджин.— Я ее еле-еле помню. Она точно фамильное привидение, о ней никогда не говорят. А это так интересно!

Тетя Эстер села. Ну вот, Джули договорилась!

— Она мало похожа на привидение, насколько мне помнится,— пробормотала Юфимия,— во всяком случае, с довольно округлыми формами.

— Дорогая моя!— сказала тетя Джули.— Что за странная манера выражаться — не совсем удобно!

— Ну все-таки, какая же она была?— не отставала Имоджин.

— Я тебе скажу, детка,— сказала Фрэнси,— представь себе нечто вроде современной Венеры, роскошно одетой.

— Венера никогда ни во что не одевалась, и глаза у нее были голубые, как сапфир,— язвительно заметила Юфимия.

Тут Николас распрощался и вышел.

— Миссис Ник, должно быть, ужасно строгая,— смеясь, заметила Фрэнси.

— У нее шестеро детей,— сказала тетя Джули,— и это очень хорошо, что она так осмотрительна.

— А дядя Сомс очень любил ее?— не унималась Имоджин, переводя свои темные блестящие глаза с одной на другую.

Тетя Эстер с отчаянием махнула рукой, как раз в ту минуту, когда тетя Джули ответила:

— Да, дядя Сомс был очень привязан к ней.

— И она, кажется, убежала с кем-то?

— Нет, вовсе нет; то есть не совсем так.

— Ну что же она такое сделала, тетечка?

— Идем, Имоджин,— сказала Уинифрид,— нам пора домой.

Но тетя Джули решительно докончила:

— Она... она вела себя не так, как нужно.

— Ах, боже мой!— вскричала Имоджин.— Я только это и слышу!

— Ну вот что, милочка,— сказала Фрэнси,— у нее был роман, который кончился смертью этого молодого человека, и она тогда ушла от твоего дяди. А мне она всегда очень нравилась.

— Она мне приносила шоколадки,— прошептала Имоджин,— и от нее всегда так хорошо пахло.

— Ну, разумеется!— заметила Юфимия.

— Совсем не разумеется!— возразила Фрэнси, которая сама всегда душилась очень дорогой эссенцией левкоя.

— Не понимаю, что это такое,— сказала тетя Джули, воздев руки к небу,— говорить о таких вещах!

— А она развелась с ним?— спросила Имоджин уже в дверях.

— Ну, конечно, нет!— воскликнула тетя Джули.— То есть... конечно, нет.

У дальних дверей послышался какой-то шум. Тимоти снова вошел в гостиную.

— Я пришел за картой,— сказал он.— Кто с кем развелся?

— Никто, дядя,— совершенно правдиво ответила Фрэнси.

Тимоти взял карту с рояля.

— Не доводите до этого,— сказал он,— чтобы нё было подобных историй в нашей семье. Все это волонтерство уже достаточно скверно. Страна приходит в упадок. Я не знаю, до чего мы дойдем.— Он погрозил в гостиную толстым пальцем.— Слишком много женщин у нас теперь, и они сами не знают, что им нужно.

И с этими словами он крепко ухватил карту обеими руками и вышел, точно опасаясь, как бы ему кто-нибудь не ответил.

Семь женщин, которым это было адресовано, все сразу заговорили шепотом; прорывался только голос Фрэнси: «Нет, в самом деле, Форсайты...»— и тети Джули: «Ему надо сегодня на ночь сделать горячую ножную ванну с горчицей, непременно. Эстер, ты скажешь Джейн? Боюсь, что ему опять бросилась кровь в голову...»

Вечером, когда они с Эстер сидели одни после обеда, она спустила петлю на своем вязанье и подняла глаза.

— Эстер, я что-то не могу вспомнить, от кого это я слышала, что милый Сомс хочет, чтобы Ирэн вернулась к нему. Кто-то рассказывал, что Джордж нарисовал такую смешную картинку и подписал: «Счастлив не будет, пока не добьется своего».

— Юстас,— ответила тетя Эстер, не отрываясь от «Таймса».— Она у него была с собой в кармане, но он не захотел нам показать.

Тетя Джули промолчала, о чем-то задумавшись. Тикали часы, хрустели страницы «Таймса», потрескивал огонь в камине. Тетя Джули опять спустила петлю.

— Эстер,— сказала она,— какая мне ужасная мысль пришла в голову.

— Тогда лучше не говори мне,— живо отозвалась тетя Эстер.

— Ах, нет, я не могу не сказать. Ты даже представить себе не можешь, до чего это ужасно.— Голос ее перешел в шепот:— Джолион... у Джолиона, говорят, теперь светлая бородка.

XII

ОХОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Спустя два дня после обеда у Джемса мистер Полтид доставил Сомсу обильную пищу для размышлений.

— Некий джентльмен,— сказал он, заглядывая в ключ к шифру, спрятанный у него в левой руке,— 47, как мы называем его, весь этот месяц оказывал усиленное внимание 17 в Париже. Но в настоящее время нет еще ничего определенного. Встречи происходили в общественных местах, совершенно открыто, в ресторанах, в Опере, в Лувре, в Люксембургском саду, в гостиной отеля. Ни она не встречалась с ним у него в номере, ни наоборот. Они ездили в Фонтенебло, но ничего существенного. Короче говоря, положение вещей сулит надежды, но требует терпения.— И, внезапно подняв глаза на Сомса, он прибавил:— Одна довольно любопытная подробность: 47 носит ту же фамилию, что... и... мм... 31.

«Эта скотина знает, что я ее муж»,— подумал Сомс.

— Зовут его — странное имя!— Джолион,— продолжал мистер Полтид.— Нам известен его адрес в Париже и его местожительство здесь. Нам, разумеется, было бы нежелательно идти по ложному следу.

— Продолжайте в этом направлении, но будьте осторожны,— упрямо сказал Сомс.

Инстинктивная уверенность, что этот профессионал-сыщик проник в его тайну, заставляла его держаться еще более скрытно.

— Простите,— сказал мистер Полтид,— я сейчас узнаю, нет ли чего-нибудь новенького.

Он вернулся, держа в руках несколько писем. Заперев за собой дверь, он бегло просмотрел конверты.

— Вот, есть письмо лично мне от 19.

— Да?— сказал Сомс.

— Гм!— пробормотал мистер Полтид.— Она пишет: «47 сегодня уехал в Англию, адрес на его багаже — Робин-Хилл. Расстался с 17 в Лувре в 3.30. Ничего заслуживающего внимания. Остаюсь продолжать наблюдение за 17. Вы можете проследить за 47 в Англии, если найдете нужным».— И мистер Полтид поднял на Сомса взгляд, лишенный профессионального выражения, точно он собирал материал для книги о человеческой природе, которую решил написать, когда оставит свое дело.— Очень умная женщина 19 и замечательно гримируется. Недешево обходится, но есть за что платить. До сих пор они не подозревают, что за ними следят, но по прошествии некоторого времени, знаете, случается иногда, что впечатлительные люди начинают чувствовать это, хотя бы у них и не было никаких подозрений. Я бы посоветовал сейчас оставить 17 в покое и понаблюдать за 47. Следить за перепиской, знаете, очень рискованно. Я не очень бы советовал делать это при настоящем положении вещей. Но вы можете передать вашему клиенту, что дела идут успешно.

И снова его прищуренные глаза блеснули на безмолвствующего посетителя.

— Нет,— внезапно сказал Сомс.— Я предпочитаю, чтобы вы, соблюдая всяческую осторожность, продолжали слежку в Париже и не занимались этим объектом здесь.

— Отлично,— сказал мистер Полтид.— Будет сделано.

— Каковы... как они себя держат друг с другом?

— Я вам прочту, что она пишет,— сказал мистер Полтид, открывая ящик стола и вынимая оттуда пачку бумаг.— Она излагает это весьма конфиденциально. Да, вот оно! «17 весьма привлекательна... что касается 47, то клыки стерты (жаргон для определения возраста, знаете ли) ...явно неравнодушен... выжидает время,— 17, вероятно, уклоняется от объяснения,— сказать ничего нельзя, не ознакомившись ближе с делом. Но в общем можно предположить, что она находится в нерешительности — способна в один прекрасный день поддаться импульсу. Оба выдерживают стиль».

— Что это значит?— спросил Сомс, не разжимая губ.

— Это,— улыбнулся мистер Полтид, показывая два ряда белых зубов,— это такое специальное выражение. Другими словами, эта история не на два дня: они или столкуются всерьез, или совсем не столкуются.

— Гм!— пробормотал Сомс.— Это все?

— Да,— сказал мистер Полтид,— но это сулит надежды.

«Паук!»— подумал Сомс.

— До свидания.

Он направился к Грин-парку, чтобы выйти к вокзалу Виктория и поехать подземкой в Сити. Погода стояла теплая для последних дней января. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь туман, горели на подернутой инеем траве, точно сверкающая паутина.

Маленькие паучки — большие пауки! И самый большой паук — это его собственное упорство, запутывающее все больше и больше своими нитями все пути к выходу. С какой целью этот тип увивается около Ирэн? Неужели это действительно так, как предполагает Полтид? Или, может быть, Джолион сочувствует ей в ее одиночестве, как он однажды выразился,— ведь он всегда был такой сентиментальный радикал? А что, если это на самом деле так, как говорит Полтид? Сомс остановился. Этого не может быть! Этот субъект старше его на семь лет, ни внешностью он не лучше, ни богаче! Что же в нем может быть привлекательного?

«К тому же, он вернулся,— подумал он,— не похоже, чтобы... Поеду-ка повидаться с ним!» И, вынув визитную карточку, Сомс написал:

«Не могли бы Вы уделить мне полчаса как-нибудь на этой неделе — я буду ждать Вас в любой день в «Клубе знатоков» от 5.30 до 6 или, если это Вам удобнее, мог бы зайти во «Всякую всячину». Мне нужно Вас видеть.

С. Ф.»

Он свернул на Сент-Джемс-стрит и передал карточку швейцару клуба «Всякая всячина».

долгом употребить его лишь на то, что, по моему мнению, способствовало бы ее счастью. Я, знаете ли, как теперь, кажется, принято говорить, «феминист».

— Феминист!— повторил Сомс, словно стараясь выгадать время.— Нужно ли это понимать так, что вы против меня?

— Грубо говоря,— сказал Джолион,— я против того, чтобы женщина жила с мужчиной, которого она определенно не любит. Мне это кажется отвратительным.

— И я полагаю, всякий раз, как вы видите ее, вы стараетесь внушить ей эти ваши взгляды?

— Вряд ли я сейчас имею возможность видеться с нею.

— Вы не собираетесь обратно в Париж?

— Да нет, насколько мне известно,— сказал Джолион, чувствуя внимательно настороженный взгляд Сомса.

— Отлично, это все, что я имел вам сказать. И знаете, всякий, кто становится между мужем и женой, берет на себя тяжелую ответственность.

Джолион встал и слегка поклонился.

— До свидания,— сказал он и, не протянув руки, повернулся и пошел.

Сомс, не двигаясь, смотрел ему вслед. «Мы, Форсайты,— думал Джолион, садясь в кеб,— очень цивилизованная публика. У людей попроще дело, наверно, дошло бы до драки. Если бы мой мальчик не отправлялся на эту войну...» Война! Прежние сомнения зашевелились в нем. Хороша война! Порабощение народов или женщин! Стремление подчинить, навязать свое господство тем, кто вас не хочет! Отрицание самой элементарной порядочности! Собственность, священные права! И всякий, кто против них,— пария. «Но я, слава богу, всегда хоть чувствовал, что я против них»,— думал он. Да! Он помнил, что даже до первой неудачной женитьбы его приводили в негодование жестокие расправы в Ирландии или эти ужасные судебные процессы, когда женщины делали попытку освободиться от мужей, которые им были ненавистны. Это церковники считают, что свобода души и тела — два разных понятия! Пагубное учение! Можно ли так разделять душу и тело? Свободная воля — в этом сила, а не греховность любого союза. «Мне бы следовало сказать Сомсу,— подумал он,— что, на мой взгляд, он просто смешон. Ах, но он и трагичен в то же время!»

Действительно, что в мире может быть трагичнее человека, ставшего рабом своего неудержимого инстинкта собственности, человека, который ничего за этим не видит и даже неспособен просто понять чувства другого человека! «Надо написать ей, предостеречь ее,— думал Джолион.— Он собирается сделать еще попытку». И всю дорогу, пока он ехал домой в Робин-Хилл, он мысленно протестовал против этого неодолимого чувства долга по отношению к сыну, которое мешало ему уехать обратно в Париж...

А Сомс долго еще сидел в кресле, не в силах преодолеть не менее грызущую ревнивую боль, словно ему внезапно открылось, что этот человек действительно имеет перед ним преимущество, что он успел

сплести новую паутину и преградить ему путь. «Следует ли это понимать так, что вы против меня?» Он ничего не добился, задав этот хитрый вопрос. Феминист! Фразер несчастный! «Мне только не надо торопить события,— думал он.— У меня еще есть время: он сейчас не едет в Париж, если он только не соврал. Подождем до весны». Хотя что могла принести ему весна, он и сам не мог бы сказать,— разве только усилить его мучения. И, глядя на улицу, где фигуры прохожих возникали в кругах света то у одного, то у другого фонаря, Сомс думал: «Все кажется ненужным, все бессмысленно. Я одинок — в этом все несчастье».

Он закрыл глаза; и сейчас же увидел Ирэн в темном переулке, за церковью. Она прошла и обернулась, и он видел, как сверкнули ее глаза и ее белый лоб под маленькой темной шляпой с золотыми блестками и длинной, развевающейся сзади вуалью. Он открыл глаза — он так ясно ее видел! Какая-то женщина шла по улице, но это не она. Ах нет, там ничего нет!

XIII

«А ВОТ И МЫ!»

Туалеты Имоджин для ее первого сезона в течение всего марта месяца поглощали внимание ее матери и содержимое кошелька ее деда. Уинифрид с форсайтским упорством стремилась превзойти самое себя. Это отвлекало ее мысли от медленно приближавшейся процедуры, которая должна была наконец вернуть ей столь сомнительно желанную свободу; это отвлекало ее также и от мыслей о сыне и быстро приближавшемся дне его отъезда на фронт, откуда по-прежнему поступали тревожные известия. Точно пчелы, деловито перелетающие с цветка на цветок, или проворные оводы, что снуют и мечутся над колосистыми осенними травами, Уинифрид и ее «маленькая дочка», ростом почти с мать и разве только чуть уступавшая ей в объеме бюста, сновали по магазинам Риджент-стрит, по модным мастерским на Ганновер-сквер и Бонд-стрит, разглядывая, ощупывая ткани. Десятки молодых женщин с ослепительными манерами и с прекрасной осанкой проходили перед Уинифрид и Имоджин, облаченные в «творения искусства». Модели — «самая новинка, мадам, последний крик моды»,— от которых они неохотно отказывались, могли бы наполнить целый музей; модели, которые они считали себя обязанными приобрести, почти истощили текущий счет Джемса. «Не стоит ничего делать наполовину»,— думала Уинифрид, задавшись целью создать дочери в этот первый, единственный, ничем не омраченный для нее сезон громкий успех. Терпение, которое они проявляли, испытывая терпение этих безличных созданий, плавно выступавших перед ними, дается только людям, движимым глубокой верой. И Уинифрид, простираясь перед своей возлюбленной богиней Модой, уподоблялась ревностной католичке, простертой перед святой девой; для Имоджин это было новое ощущение, отнюдь не лишенное приятности,— она и в самом деле бывала порой просто обворожительна, и, само собой разумеется, ей всюду льстили; словом, это было очень забавно.

На исходе дня двадцатого марта, после того как они надлежащим образом очистили Скайуорда, они по дороге зашли к Кэремел и Бекеру и, подкрепившись шоколадом со сбитыми сливками, отправились домой через Беркли-сквер в сумерках, уже пронизанных весной. Открыв дверь, заново выкрашенную в светло-оливковый цвет (в этом году ничего не было упущено в предвидении триумфального дебюта Имоджин), Уинифрид прошла к серебряной корзине посмотреть, не был ли у них кто-нибудь днем, и вдруг ноздри ее невольно вздрогнули. Что это за запах?

Имоджин, схватив роман, присланный из библиотеки, тут же углубилась в него. Уинифрид немножко резким тоном — все из-за этого странного ощущения в груди — сказала ей:

— Возьми книгу наверх, милочка, и отдохни перед обедом.

Имоджин, не отрываясь от книги, поднялась по лестнице. Уинифрид слышала, как хлопнула дверь в ее комнату, и глубоко потянула носом воздух. Что это? Или весна взбудоражила ее нервы, пробудив в ней тоску по ее «паяцу», вопреки всем доводам рассудка и оскорбленной добродетели? Мужской запах! Слабый аромат сигар и лавандовой воды, которого она не слышала с той самой ночи в начале осени, шесть месяцев назад, когда она назвала его «пределом». Откуда он взялся? Или это только призрак запаха — эманация памяти? Она огляделась по сторонам. Ничего, ровно ничего, ни малейшего беспорядка ни в холле, ни в столовой. Какая-то галлюцинация запаха — обманчивая, мучительная, нелепая! В серебряной корзине оказались визитные карточки: две — мистера и миссис Полгет Том и одна — мистера Полгет Тома; она понюхала их, но они издавали строгий пресный запах. «Я просто устала,— подумала она,— пойду прилягу».

Гостиная наверху тонула в полутьме, дожидаясь, чтобы чья-нибудь рука зажгла в ней вечерний свет; Уинифрид прошла к себе в спальню. Здесь тоже шторы были полуопущены и царила полумгла, так как было уже шесть часов. Уинифрид сбросила жакет — опять этот запах! И вдруг остановилась, точно ее пригвоздили к спинке кровати. Что-то темное приподнялось с кушетки в дальнем углу. Слово, всегда выражавшее ужас в семье, сорвалось с ее губ: «Боже!»

— Это я, Монти,— послышался голос.

Ухватившись за спинку кровати, Уинифрид потянулась и повернула выключатель над туалетом. Фигура Дарти выступила на самом краю светового круга, отчетливо выделяясь от нижней половины груди, где отсутствовала цепочка от часов, до изящных темно-коричневых ботинок — одного с разорванным носком. Плечи и лицо были в тени. Он очень похудел — или это игра света? Он сделал несколько шагов вперед, освещенный теперь от кончиков ботинок до темной шевелюры, слегка поседевшей, несомненно. Лицо у него потемнело, пожелтело. Черные усы утратили свой задорный вид и мрачно висели; на лице появились морщинки, которых она раньше не замечала. В галстуке не было булавки. Его костюм — ах, да, она узнает его, но какой измятый, потертый! Она опять перевела глаза на носок его ботинка. Что-то огромное,

жестокое настигло его, смяло, исковеркало, скрутило, выпотрошило. И она стояла молча, не двигаясь, глядя на трещину на его ботинке.

— Ну вот!— сказал он.— Я получил постановление суда. Я вернулся.

Грудь Уинифрид начала бурно вздыматься. Тоска по мужу, пробудившаяся от этого запаха, боролась с такой мучительной ревностью, какой она никогда еще не испытывала. Вот он стоит здесь — темная и точно загнанная тень самого себя, прежнего вылощенного и самоуверенного Монти! Какая сила сделала это с ним — выжала его, как апельсин, до самой корки! Эта женщина!

— Я вернулся,— сказал он.— Мне было очень скверно, клянусь богом! На палубе ехал. У меня нет ничего, кроме того, что на мне, да вот этого чемодана.

— А у кого же остальное?— вскричала Уинифрид, вдруг выйдя из оцепенения.— Как ты смел приехать? Ты знал, что это только для развода тебе послали этот приказ. Не трогай меня!

Они стояли по обе стороны большой кровати, где в течение стольких лет они спали вместе. Много раз — да, много раз — ей хотелось, чтобы он вернулся. Но теперь, когда он вернулся, она чувствовала только холодную, смертельную злобу. Он поднял руку к усам, но не подкрутил их, как, бывало, раньше, а просто потянул вниз.

— Господи!— сказал он.— Если бы ты только знала, что я перенес!

— Рада, что не знаю.

— Дети здоровы?

Уинифрид кивнула.

— Как ты вошел?

— У меня был ключ.

— Значит, прислуга не знает. Тебе нельзя здесь оставаться, Монти.

У него вырвался горький смешок.

— А где же?

— Где угодно.

— Но ты только посмотри на меня. Эта... эта проклятая...

— Если ты только скажешь слово о *ней*,— вскричала Уинифрид,— я сейчас же отправлюсь на Парк-лейн и не вернусь домой!

И вдруг он сделал совсем простую вещь, но такую необычную для него, что ее пронзила острая жалость. Он закрыл глаза. Все равно как если бы он сказал: «Хорошо. Я умер для всего света».

— Ты можешь остаться переночевать,— сказала она.— Твои вещи все еще здесь. Дома только одна Имоджин.

Он прислонился к спинке кровати.

— Ну что ж, все в твоих руках.— И его собственные руки судорожно сжались.— Я столько вытерпел! Тебе нет надобности бить слишком больно: не стоит. Я уже напуган, достаточно напуган, Фредди.

Услышав ласкательное имя, которым он не называл ее много лет, Уинифрид вздрогнула.

«Что мне делать с ним?— подумала она.— Господи, что мне с ним делать?»

— У тебя есть папироска?

Она достала папиросу из маленького ящика, который держала здесь на случай бессонницы, и дала ему закурить. И этот обыденный жест вернул к жизни трезвую сторону ее натуры.

— Пойди и прими горячую ванну. Я приготовлю тебе белье и костюм в твоей комнате. Мы можем поговорить потом.

Он кивнул и поднял на нее глаза — какой-то полумертвый взгляд, или это только казалось оттого, что веки у него словно набухли?

«Он совсем не такой, как прежде,— подумала она.— Он никогда не будет таким, как был! Но какой же он будет?»

— Хорошо,— сказал он и пошел к двери. Он даже двигался иначе — как человек, который утратил все иллюзии и не уверен, стоит ли ему вообще двигаться.

Когда он вышел и Уинифрид услышала, как в ванной зашумела вода, она достала и разложила на кровати в его комнате полную смену белья и верхней одежды, потом спустилась вниз и принесла виски и корзину с печеньем. Снова надев жакет и секунду постояв, прислушиваясь у двери ванной, она тихонько спустилась и вышла из дому. На улице она остановилась в нерешительности. Восьмой час! Где сейчас может быть Сомс — у себя в клубе или на Парк-лейн? Она направилась на Парк-лейн. Вернулся! Сомс все время боялся этого, а она — надеялась, иногда. Вернулся! Это так похоже на него — сущий клоун, появляется: «А вот и мы!» И всех оставляет в дураках: и суд, и Сомса, и ее самое! Но развязаться с этим судом, знать, что эта угроза не висит больше над ней, над ее детьми! Какое счастье! Ах, но как примириться с его возвращением? Эта девка выпотрошила его, выбила из него пламя такой страсти, какой он никогда не проявлял к ней, на какую она даже не считала его способным. Вот что самое обидное! Ее себялюбивого, самоуверенного клоуна, которого она никогда по-настоящему не волновала, растоптала, опустошила другая женщина! Унизительно! Слишком унизительно! Просто невозможно, неприлично пустить его к себе! Но ведь она же добивалась этого, суд может теперь заставить ее! Ведь он все еще ее муж, как прежде,— она теперь ничего не может требовать от суда. А ему, разумеется, нужны только деньги, чтобы у него были сигары и лавандовая вода! Ах, этот запах! «В конце концов я же ведь не старуха,— подумала она,— ведь не старуха же я!» Но эта девка, которая довела его до таких слов: «Я столько вытерпел! Я уже напуган, достаточно напуган, Фредди!» Уинифрид подходила к дому отца, так и не совладав со всеми этими раздиравшими ее противоречивыми чувствами, но форсайтский инстинкт настойчиво и неотступно внушал ей, что как бы там ни было, он все же ее собственность, которую она должна оберегать ото всех, кто осмелится посягнуть на нее. В таком состоянии она вошла в дом Джемса.

— Мистер Сомс? У себя в комнате? Я поднимусь к нему; не говорите, что я здесь.

Брат ее переодевался. Она застала его перед зеркалом, он стоял и завязывал черный галстук с таким видом, словно глубоко презирал его концы.

— Хэлло!— сказал он, увидев ее в зеркало.— Что случилось?

— Монти,— каменным голосом сказала Уинифрид.

Сомс круто повернулся.

— Что?!

— Вернулся!

— Попались на свою же удочку!— пробормотал Сомс.— Ах, черт, почему ты не дала мне сослаться на жестокое обращение? Я с самого начала знал, что это страшно рискованно!

— Ах, не будем говорить об этом! Что мне теперь делать?

Сомс ответил глубоким-глубоким вздохом.

— Ну, что же?— нетерпеливо сказала Уинифрид.

— Что он говорит в свое оправдание?

— Ничего. У него один башмак рваный.

Сомс молча уставился на нее.

— А,— сказал он,— ну конечно! Промотал все, что мог. Теперь все опять начнется сначала! Это просто прикончит отца.

— Нельзя ли это как-нибудь скрыть от него?

— Невозможно! У него удивительный нюх на всякие неприятности.— И Сомс задумался, заложив пальцы за свои голубые шелковые подтяжки.— Нужно найти какой-нибудь юридический способ его обезвредить.

— Нет!— вскричала Уинифрид.— Я больше не желаю разыгрывать из себя дуру. Я скорей уж примирюсь с ним.

Они стояли и смотрели друг на друга — у обоих чувства били через край, но они не могли выразить их: для этого они были слишком Форсайты.

— Где ты его оставила?

— В ванне.— У Уинифрид вырвался горький смешок.— Единственное, что он привез с собой, это лавандовую воду.

— Успокойся,— сказал Сомс,— ты на себя не похожа. Я поеду с тобой.

— Какой в этом прок?

— Попробую поговорить с ним, поставлю ему условие...

— Условие! Ах, все опять пойдет по-старому, стоит ему только прийти в себя: карты, лошади, пьянство и...

Она вдруг замолчала, вспомнив выражение лица своего мужа. Обжегся мальчик, обжегся! Кто знает...

— Прийти в себя?— переспросил Сомс.— Он что, болен?

— Нет, сгорел; вот и все.

Сомс снял со стула жилет и надел его; потом надел сюртук, надушил платок одеколоном, пристегнул цепочку от часов и сказал:

— Не везет нам.

И хотя Уинифрид была поглощена своим собственным несчастьем, ей стало жалко его, точно этой ничтожной фразой он открыл ей свое глубокое горе.

— Я бы хотела повидаться с мамой,— сказала она.

— Она, наверно, с отцом в спальне. Пройди незаметно в кабинет. Я позову ее.

Уинифрид тихонько спустилась по лестнице и прошла в маленький

темный кабинет, главной достопримечательностью которого был Каналетто, слишком сомнительный для того, чтобы его можно было повесить в другой комнате, и прекрасное собрание отчетов о судебных процессах, не раскрывавшееся много лет. Она стала спиной к плотно задернутым портьерам каштанового цвета и, не двигаясь, смотрела в пустой камин, пока не вошла мать и следом за ней Сомс.

— Ах, бедняжка моя,— сказала Эмили,— какой у тебя ужасный вид. Нет, в самом деле, как это возмутительно с его стороны!

В семье так тщательно воздерживались от проявления каких бы то ни было интимных чувств, что Эмили казалось совершенно невозможным подойти и обнять дочь. Но от ее мягкого голоса, от ее все еще полных плеч, сквозивших из-под дорогого черного кружева, веяло утешением. Собрав всю свою гордость, Уинифрид, не желая расстраивать мать, сказала самым непринужденным тоном:

— Все благополучно, мама, и волноваться не из-за чего.

— Не понимаю,— сказала Эмили, поворачиваясь к Сомсу,— почему Уинифрид не может сказать ему, что она подаст на него в суд, если он не удалится? Он взял ее жемчуг, и если он не привез его назад, этого уже достаточно.

Уинифрид улыбнулась. Они все теперь будут строить всякие предположения, давать советы, но она уже знает, что ей делать: просто ничего. Чувство, что она в конце концов одержала какую-то победу, сберегла свою собственность, все сильнее и сильнее овладевало ею. Нет! Если она захочет наказать его, она сделает это дома, без свидетелей.

— Ну что ж,— сказала Эмили,— идемте как можно спокойней в столовую, ты должна остаться пообедать с нами. И ты уж предоставь это мне, я сама скажу папе.

И, когда Уинифрид направилась к двери, Эмили выключила свет. Тут только они заметили, какая беда их ждет в коридоре.

Там, привлеченный светом, пробивавшимся из комнаты, которая никогда не освещалась, стоял Джемс, закутанный в свою верблюжью шаль песочного цвета, из которой он не мог высвободить рук, так что казалось, словно между его серебряной головой и ногами, одетыми в модные брюки, врезался кусок пустыни. Он стоял, бесподобно похожий на аиста, и смотрел с таким выражением, точно видел перед собой лягушку, которая была слишком велика, чтобы он мог проглотить ее.

— Что все это означает?— сказал он.—«Скажу папе»? Вы мне никогда ничего не говорите.

Эмили не нашлась, что ответить. Сама Уинифрид подошла к отцу и, положив обе руки на его закутанные беспомощные руки, сказала:

— Монти не обанкротился, папа. Он просто вернулся домой.

Все трое ожидали, что случится что-то ужасное, и рады были хоть тому, что Уинифрид держит его за руки, но они не знали, как крепки корни в этом старом, похожем на тень Форсайте. Какая-то гримаса покривила его гладко выбритые губы и подбородок, какая-то тень пробежала между длинными седыми бакенбардами. Затем он твердо, почти с достоинством произнес:

— Он меня сведет в могилу. Я знал, чем это кончится.

— Не нужно расстраиваться, папа,— сказала Уинифрид спокойно.— Я заставлю его вести себя прилично.

— Ах!— сказал Джемс.— Снимите с меня это, мне жарко.

Они размотали шаль. Он повернулся и твердой поступью направился в столовую.

— Я не хочу супу,— сказал он Уормсону и опустился в свое кресло.

Все тоже сели — Уинифрид все еще в шляпе,— в то время как Уормсон ставил четвертый прибор. Когда он вышел из комнаты, Джемс сказал:

— Что он привез с собой?

— Ничего, папа.

Джемс устремил взгляд на свое собственное отражение в ложке.

— Развод!— бормотал он.— Вздор! О чем я думал? Мне нужно было предложить ему пенсион, чтобы он не возвращался в Англию. Сомс! Ты съезди и предложи ему это.

Это казалось таким разумным и простым выходом, что Уинифрид даже сама удивилась, когда сказала:

— Нет, пусть уж он останется теперь, раз вернулся; он должен просто вести себя прилично — вот и все.

Все посмотрели на нее. Всем было известно, что Уинифрид мужественная женщина.

— Там ведь,— не совсем вразумительно начал Джемс,— кто знает, что за бандиты! Поищи и отними у него револьвер! И не ложись спать без этого. Тебе нужно взять с собой Уормсона, чтобы он у вас ночевал. А завтра я с ним сам поговорю.

Все были растроганы этим заявлением, и Эмили сказала ласково:

— Правильно, Джемс, мы не потерпим никаких глупостей.

— Ах!— мрачно пробормотал Джемс.— Я ничего не могу сказать.

Вошел Уормсон с рыбой, и разговор перешел на другую тему.

Когда Уинифрид сразу после обеда подошла к отцу поцеловать его и пожелать ему спокойной ночи, он поднял на нее такие вопрошающие, такие тревожные глаза, что она постаралась собрать все свое мужество, чтобы сказать как можно непринужденнее:

— Все благополучно, папа, милый, не беспокойтесь, пожалуйста; мне никого не нужно, он совсем смирный. Я только расстроюсь, если вы будете волноваться. Спокойной ночи, спасибо, папа!

Джемс повторил ее слова: «Спасибо, папа!»— словно он не совсем понимал, что это значит, и проводил ее глазами до двери.

Она вернулась домой около девяти часов и прошла прямо наверх.

Дарти лежал на кровати в своей комнате, переодетый с ног до головы, в синем костюме и в бальных туфлях. Руки его были закинуты за голову, потухшая папироса торчала изо рта.

Уинифрид почему-то вспомнились цветы на окне в ящиках после знойного летнего дня — как они лежат, или, вернее, стоят, обессиленные от жары, но все же чуть-чуть оправившиеся после захода солнца. Казалось, словно на ее опаленного супруга уже брызнуло немножко росы.

Он вяло сказал:

— Ты, наверное, была на Парк-лейн? Ну, как старик?

Уинифрид не могла удержаться и желчно ответила:

— Не умер еще.

Он вздрогнул, совершенно определенно вздрогнул.

— Пойми одно, Монти,— сказала она,— я не допущу, чтобы его кто-нибудь чем-нибудь расстраивал. Если ты не будешь вести себя прилично, уезжай туда, откуда приехал, или куда угодно. Ты обедал?

— Нет.

— Хочешь есть?

Он пожал плечами.

— Имоджин предлагала мне, я не стал.

Имоджин! Уинифрид в своем смятении позабыла о ней.

— Значит, ты видел ее? Что же она тебе сказала?

— Поцеловала меня.

Уинифрид с чувством горькой обиды увидела, как его хмурое, желчное лицо прояснилось. «Да,— подумала она,— он любит ее, а меня ни капли».

Глаза Дарти блуждали по сторонам.

— Она знает про меня?— спросил он.

И Уинифрид вдруг осенило: вот оружие, которым она может воспользоваться. *Он боится, как бы они не узнали!*

— Нет, Вэл знает. А больше никто; они знают только, что ты уезжал.

Она услышала вздох облегчения.

— Но они узнают,— твердо сказала она,— если ты только дашь мне повод.

— Ну что же,— пробормотал он.— Добивай меня! Я уже и так уничтожен.

Уинифрид подошла к кровати.

— Послушай, Монти,— сказала она.— Я вовсе не хочу добивать тебя. И не хочу делать тебе больно. Я ни о чем не буду вспоминать. И не буду терзать тебя. Какой от этого толк?— Она секунду помолчала.— Но я так больше не могу и не буду так жить. И лучше, если ты это поймешь. Я много страдала из-за тебя. Но я тебя любила. Ради этого...

Опущенный взгляд ее зелено-серых глаз встретился со взглядом его карих глаз, глядевших из-под тяжелых век; она вдруг дотронулась до его руки, повернулась и вышла.

У себя в спальне она долго сидела перед зеркалом, вертя машинально свои кольца, думая об этом смуглом, присмиревшем, почти незнакомом ей человеке, который лежал на кровати в другой комнате; она решительно не позволяла себе «терзаться», но ее грызла ревность к тому, что он пережил, а минутами сердце ее сжималось от жалости.

XIV

ДИКОВИННАЯ НОЧЬ

Сомс упорно дожидался весны — занятие нелегкое для человека, который сознает, что время бежит, что дело ни на волос не подвигается и что по-прежнему нет выхода из паутины. Мистер Полтид не сообщал ничего нового, кроме того, что слежка продолжается и на нее, разумеется, уходит масса денег. Вэл и его троюродный брат уехали на фронт, откуда последнее время поступали утешительные известия; Дарти пока что держал себя прилично; Джемс не хворал; дела процветали как-то даже почти невероятно, и у Сомса не было, в сущности, никаких оснований тревожиться, кроме того только, что он чувствовал себя «связанным» и не мог сделать ни шагу ни в одном направлении.

Правда, он не совсем избегал Сохо: он не мог допустить, чтобы там подумали, что он «отстал», как сказал бы Джемс,— ведь ему в любую минуту может понадобиться снова «пристать». Но ему приходилось вести себя так сдержанно, так осторожно, что он часто только проходил мимо ресторана «Бретань», даже не заглядывая туда, и сейчас же спешил выбраться из пределов этого квартала, который всегда вызывал у него ощущение, что он допустил какую-то ошибку в обращении со своей собственностью.

Так, возвращаясь однажды оттуда майским вечером, он вышел на Риджент-стрит и попал в толпу, которая произвела на него впечатление чего-то совершенно невероятного — орущая, свистящая, пляшущая, мятущаяся, неистово ликующая толпа, с фальшивыми носами, с дудками, с грошовыми свистульками, с какими-то длинными перьями и всяческими атрибутами полного идиотизма. Мейфкинг! Ну да, конечно, Мейфкинг отбит у буров. Но боже! Разве это может служить оправданием? Что это за люди, откуда они, как они попали в Вест-Энд? Его задевали по лицу, свистели в уши, какие-то девчонки кричали: «Чего шарахаешься, эй ты, штукатурка!» Какой-то малый сшиб с него цилиндр, так что он еле водрузил его на место. Хлопушки разрывались у него под самым носом, под ногами. Он был потрясен, возмущен до глубины души, он чувствовал себя оскорбленным. Этот людской поток несся со всех сторон, словно открылись какие-то шлюзы и хлынули подземные воды, о существовании которых он, может быть, когда-нибудь и слышал, но никогда этому не верил. Так это вот и есть народ, эта бесчисленная масса, живое отрицание аристократии и форсайтизма! И это, о боже, демократия! Она воняла, вопила, она внушала отвращение! В Ист-Энде или хотя бы даже в Сохо — но здесь, на Риджент-стрит, на Пикадилли! Что смотрит полиция?

Дожив до 1900 года, Сомс со всеми своими форсайтскими тысячами ни разу не видел этого котла с поднятой крышкой и теперь, заглянув в него, едва мог поверить своим обожженным паром глазам. Все это просто невообразимо! У этих людей нет никаких сдерживающих центров, и они, кажется, смеются над ним, эта орава, грубая, исступленная, хохочущая,— и каким хохотом! Для них нет ничего священного! Он не удивился бы, если бы они начали бить стекла. По Пэл-Мэл, мимо вели-

чественных зданий, за право входа в которые люди платят по шестьдесят фунтов, неслась эта орущая, свистящая, беснующаяся, как дервиш, толпа. Из окон клубов люди его класса со сдержанным любопытством разглядывали ее. Они не понимают! Ведь это же очень серьезно — это может принять какие угодно формы! Сейчас эта толпа радуется, но когда-нибудь она выйдет и в другом настроении. Он вспомнил бунт в восьмидесятых годах, когда он был в Брайтоне: тогда громили, произносили речи. Но сейчас он испытывал не столько чувство страха, сколько глубокое удивление. Ведь это же какая-то истерика, это что-то совершенно не английское. И все это только из-за того, что отвоевали какой-то маленький городок, не больше Уотфорда, и за шесть тысяч миль отсюда. Сдержанность, умение владеть собой! Эти качества, которые для него были, пожалуй, дороже жизни, эти непременные атрибуты собственности, где они? Нет, это что-то совершенно чуждое, это не англичане! Так размышлял Сомс, продвигаясь вперед. Казалось, он внезапно увидел, как кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих ему документов; или словно ему показали чудовище, которое подкрадывается, вылезает из будущего, бросая вперед свою тень. Это отсутствие солидности, уважения! Словно он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии — чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать чего угодно!

На углу Хайд-парка он столкнулся с Джорджем Форсайтом, сильно загоревшим от постоянного пребывания на ипподроме; Джордж держал в руке фальшивый нос.

— Хэлло, Сомс,— сказал он.— Хочешь нос?

Сомс ответил кислой улыбкой.

— Я отнял его у одного из этих спортсменов,— продолжал Джордж, который, по-видимому, только что недурно пообедал.— Дал ему здоровую взбучку за то, что он пытался сбить с меня шляпу. Нам еще когда-нибудь придется воевать с этими молодчиками: они что-то здорово обнаглели — все радикалы, социалисты. Им не дает покоя наше добро. Расскажи-ка это дяде Джемсу, это ему поможет от бессонницы!

«In vino veritas»[1],— подумал Сомс, но только кивнул и пошел дальше по Гамильтон-плейс. На Парк-лейн попадались уже только редкие кучки гуляк, не очень шумные. Глядя на высокие дома, Сомс думал: «Мы, как-никак, все же оплот страны. Не так-то легко нас опрокинуть. Собственность диктует законы».

Но когда он закрыл за собой дверь отцовского дома, весь этот невероятный, чудовищный уличный кошмар рассеялся бесследно, как если бы он видел его во сне и проснулся утром в своей теплой, чистой, уютной кровати с пружинным матрацем.

Дойдя до середины громадной пустой гостиной, он остановился. Жена! С кем можно было бы обо всем поговорить! Ведь имеет же он право на это, черт возьми, имеет право!

---

[1] «Истина в вине» *(лат.)*.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

СОМС В ПАРИЖЕ

Сомс мало путешествовал. Когда ему было девятнадцать лет, он с отцом, матерью и Уинифрид совершил «малый круг»: Брюссель, Рейн, Швейцария и обратно домой через Париж. В двадцать семь лет, когда он только что начал интересоваться живописью, он провел пять лихорадочных недель в Италии, сосредоточив свое внимание на Ренессансе, в котором он, однако, нашел меньше, чем ожидал, и на обратном пути две недели в Париже, сосредоточив свое внимание на самом себе, как и подобает Форсайту, окруженному столь самовлюбленным и чуждым народом, как французы. Его знакомство с их языком, приобретенное в школе, было весьма ограниченно: он не понимал того, что они говорят. Молчание казалось ему лучше и для себя и для других — по крайней мере, не строишь из себя дурака. Ему не нравилась ни их манера одеваться, ни эти закрытые кареты, ни театры, похожие на пчелиные ульи, ни музеи, в которых пахло пчелиным воском. Он был слишком осторожен и застенчив, чтобы исследовать ту сторону Парижа, которая, как предполагают Форсайты, и является его тайной приманкой; что же касалось его коллекционерских сделок, он не заключил ни одной. Французы, как, вероятно, сказал бы Николас,— прирожденные захватчики. Сомс вернулся домой недовольный и сказал, что Париж вовсе не так хорош, как говорят.

Таким образом, когда в июне 1900 года он отправился в Париж, это было его третье покушение на центр цивилизации. На этот раз, однако, гора пришла к Магомету, ибо он чувствовал себя теперь значительно более цивилизованным, чем этот Париж, и, может быть, оно так и было на самом деле. Кроме того, он ехал с определенной целью. Это уже было не какое-то там стояние на коленях в храме Безнравственности и Вкуса, но ходатайство по его собственным законным делам. Он ехал потому, что, в самом деле, все это давно уже вышло за пределы шутки. Слежка все продолжалась, но ничего, ровно ничего! Джолион в Париж не возвращался, и никого больше не было на подозрении. Занятый сейчас новыми и весьма конфиденциальными делами, Сомс, более чем когда-либо, сознавал всю важность безупречной репутации для поверенного. Но ночью и в часы досуга ему не давала покоя мысль, что время бежит, деньги текут к нему, а будущность его все в той же петле, что и прежде. После той мейфкингской ночи он случайно узнал, что около Аннет увивается какой-то юный балбес доктор. Он дважды заставал его у них: веселый молодой идиот лет тридцати, не больше. Ничто так не раздражало Сомса, как веселость — неприличное и какое-то экстравагантное свойство, вне всякой связи с действительностью. Одним словом, вся эта смесь желаний и надежд становилась для него настоящей пыткой; а кроме того, последнее время у него мелькала мысль, не догадалась бы Ирэн, что за ней следят. Это-то в конце концов и заставило его решиться поехать и посмотреть самому; прийти к ней, попробовать еще раз сломить ее со-

чественных зданий, за право входа в которые люди платят по шестьдесят фунтов, неслась эта орущая, свистящая, беснующаяся, как дервиш, толпа. Из окон клубов люди его класса со сдержанным любопытством разглядывали ее. Они не понимают! Ведь это же очень серьезно — это может принять какие угодно формы! Сейчас эта толпа радуется, но когда-нибудь она выйдет и в другом настроении. Он вспомнил бунт в восьмидесятых годах, когда он был в Брайтоне: тогда громили, произносили речи. Но сейчас он испытывал не столько чувство страха, сколько глубокое удивление. Ведь это же какая-то истерика, это что-то совершенно не английское. И все это только из-за того, что отвоевали какой-то маленький городок, не больше Уотфорда, и за шесть тысяч миль отсюда. Сдержанность, умение владеть собой! Эти качества, которые для него были, пожалуй, дороже жизни, эти непременные атрибуты собственности, где они? Нет, это что-то совершенно чуждое, это не англичане! Так размышлял Сомс, продвигаясь вперед. Казалось, он внезапно увидел, как кто-то вырезает договор на право спокойного владения собственностью из законно принадлежащих ему документов; или словно ему показали чудовище, которое подкрадывается, вылезает из будущего, бросая вперед свою тень. Это отсутствие солидности, уважения! Словно он вдруг обнаружил, что девять десятых населения Англии — чужестранцы. А если это так, тогда можно ждать чего угодно!

На углу Хайд-парка он столкнулся с Джорджем Форсайтом, сильно загоревшим от постоянного пребывания на ипподроме; Джордж держал в руке фальшивый нос.

— Хэлло, Сомс,— сказал он.— Хочешь нос?

Сомс ответил кислой улыбкой.

— Я отнял его у одного из этих спортсменов,— продолжал Джордж, который, по-видимому, только что недурно пообедал.— Дал ему здоровую взбучку за то, что он пытался сбить с меня шляпу. Нам еще когда-нибудь придется воевать с этими молодчиками: они что-то здорово обнаглели — все радикалы, социалисты. Им не дает покоя наше добро. Расскажи-ка это дяде Джемсу, это ему поможет от бессонницы!

«In vino veritas»[1],— подумал Сомс, но только кивнул и пошел дальше по Гамильтон-плейс. На Парк-лейн попадались уже только редкие кучки гуляк, не очень шумные. Глядя на высокие дома, Сомс думал: «Мы, как-никак, все же оплот страны. Не так-то легко нас опрокинуть. Собственность диктует законы».

Но когда он закрыл за собой дверь отцовского дома, весь этот невероятный, чудовищный уличный кошмар рассеялся бесследно, как если бы он видел его во сне и проснулся утром в своей теплой, чистой, уютной кровати с пружинным матрацем.

Дойдя до середины громадной пустой гостиной, он остановился.

Жена! С кем можно было бы обо всем поговорить! Ведь имеет же он право на это, черт возьми, имеет право!

---

[1] «Истина в вине» *(лат.)*.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

СОМС В ПАРИЖЕ

Сомс мало путешествовал. Когда ему было девятнадцать лет, он с отцом, матерью и Уинифрид совершил «малый круг»: Брюссель, Рейн, Швейцария и обратно домой через Париж. В двадцать семь лет, когда он только что начал интересоваться живописью, он провел пять лихорадочных недель в Италии, сосредоточив свое внимание на Ренессансе, в котором он, однако, нашел меньше, чем ожидал, и на обратном пути две недели в Париже, сосредоточив свое внимание на самом себе, как и подобает Форсайту, окруженному столь самовлюбленным и чуждым народом, как французы. Его знакомство с их языком, приобретенное в школе, было весьма ограниченно: он не понимал того, что они говорят. Молчание казалось ему лучше и для себя и для других — по крайней мере, не строишь из себя дурака. Ему не нравилась ни их манера одеваться, ни эти закрытые кареты, ни театры, похожие на пчелиные ульи, ни музеи, в которых пахло пчелиным воском. Он был слишком осторожен и застенчив, чтобы исследовать ту сторону Парижа, которая, как предполагают Форсайты, и является его тайной приманкой; что же касалось его коллекционерских сделок, он не заключил ни одной. Французы, как, вероятно, сказал бы Николас,— прирожденные захватчики. Сомс вернулся домой недовольный и сказал, что Париж вовсе не так хорош, как говорят.

Таким образом, когда в июне 1900 года он отправился в Париж, это было его третье покушение на центр цивилизации. На этот раз, однако, гора пришла к Магомету, ибо он чувствовал себя теперь значительно более цивилизованным, чем этот Париж, и, может быть, оно так и было на самом деле. Кроме того, он ехал с определенной целью. Это уже было не какое-то там стояние на коленях в храме Безнравственности и Вкуса, но ходатайство по его собственным законным делам. Он ехал потому, что, в самом деле, все это давно уже вышло за пределы шутки. Слежка все продолжалась, но ничего, ровно ничего! Джолион в Париж не возвращался, и никого больше не было на подозрении. Занятый сейчас новыми и весьма конфиденциальными делами, Сомс, более чем когда-либо, сознавал всю важность безупречной репутации для поверенного. Но ночью и в часы досуга ему не давала покоя мысль, что время бежит, деньги текут к нему, а будущность его все в той же петле, что и прежде. После той мейфкингской ночи он случайно узнал, что около Аннет увивается какой-то юный балбес доктор. Он дважды заставал его у них: веселый молодой идиот лет тридцати, не больше. Ничто так не раздражало Сомса, как веселость — неприличное и какое-то экстравагантное свойство, вне всякой связи с действительностью. Одним словом, вся эта смесь желаний и надежд становилась для него настоящей пыткой; а кроме того, последнее время у него мелькала мысль, не догадалась бы Ирэн, что за ней следят. Это-то в конце концов и заставило его решиться поехать и посмотреть самому; прийти к ней, попробовать еще раз сломить ее со-

противление, ее нежелание выйти с ним на ровную дорогу и создать себе и ему относительно сносное существование. Если это ему опять не удастся — ну что же, он, во всяком случае, узнает, как она на самом деле живет.

Он остановился в отеле на улице Комартен — в отеле, весьма рекомендуемом Форсайтам, где почти не говорили по-французски. У него не было никакого плана. Он не хотел застать ее врасплох; нужно было только что-то придумать, чтобы помешать ей уклониться от свидания и обратиться в бегство. И на следующее же утро, в хороший, ясный день, он пустился в путь.

Париж казался каким-то ликующим, словно над звездообразным городом стояло сияние, которое почти раздражало Сомса. Он шел медленно, поглядывая по сторонам с явным любопытством. Ему хотелось теперь понять сущность французов. Ведь Аннет француженка! Можно многое извлечь из этой поездки, если он только сумеет сделать это. В таком похвальном настроении он три раза чуть было не угодил под колеса на площади Согласия. Он оказался на Кур-ля-Рэн, где находился отель, в котором жила Ирэн, как-то почти неожиданно для самого себя, ибо он еще не решил, как ему поступить. Выйдя на набережную, он увидел белое приветливое здание с зелеными маркизами, выглядывающее из густой листвы платанов. И, решив, что, пожалуй, гораздо лучше встретиться с Ирэн на улице, якобы случайно, чем рисковать заходить к ней, он уселся на скамью, откуда можно было наблюдать за входом в отель. Еще не было одиннадцати часов, так что вряд ли она уже успела выйти. Несколько голубей чинно расхаживали и чистили перышки на солнечных дорожках, протянувшихся в тени платанов. Какой-то рабочий в синей блузе прошел и вытряхнул им крошки из бумаги, в которую был завернут его завтрак. Нянька в чепце с лентами вывела гулять двух маленьких девочек с косичками и в панталончиках с гофрированными оборками. Мимо проехал экипаж, им правил кучер в синем долгополом сюртуке и черной блестящей шляпе. Сомсу казалось, что все это отдает бутафорией — какая-то преувеличенная живописность, которая совсем не современна. Театральный народ эти французы! Он закурил папиросу, что позволял себе только в редких случаях; он испытывал чувство горькой обиды, что судьба закинула его в какие-то чужеземные края. Он ничуть не удивился бы, если бы узнал, что Ирэн нравится эта чужеземная жизнь, она никогда не была истинной англичанкой, даже по внешности. И он начал гадать, какие из этих окон под зелеными маркизами — ее окна. Сумеет ли он найти слова для того, что ему надо сказать ей, чтобы пробить броню ее гордого упрямства? Он бросил окурок в голубя и подумал: «Не могу же я вечно сидеть здесь и гадать на пальцах. Пожалуй, лучше уйти, а попозже днем зайти к ней в отель». Но он все же продолжал сидеть, слышал, как пробило двенадцать, половина первого. «Подожду до часу,— подумал он,— раз уж я просидел столько». И в ту же минуту он вскочил и, отпрянув, снова опустился на скамью. Из отеля вышла женщина в платье кремового цвета, под палевым зонтиком, и направилась в противоположную сторону. Ирэн! Он подождал, пока она не отошла настолько, что не могла бы узнать его, и последовал за ней. Она

шла медленно, по-видимому, без всякого дела, направляясь, если он не ошибался, к Булонскому лесу. Полчаса, по крайней мере, он шел за ней, держась на значительном расстоянии, пока она не вошла в самый лес. Может быть, она все же идет на свидание с кем-нибудь? С кем-нибудь из этих дурацких французов, каким-нибудь таким Bel Ami[1], которым нечего и делать больше, как бегать за женщинами,— Сомс прочел эту книгу с трудом, но в то же время с каким-то брезгливым любопытством.

Он упорно шел за ней по тенистой аллее, иногда теряя ее из виду, когда дорожка заворачивала. И вспоминал, как однажды, давно когда-то, вечером в Хайд-парке он крался от дерева к дереву, от стула к стулу в безумной, слепой, яростной ревности, выслеживая ее с Босини. Дорожка круто завернула, и он, прибавив шагу, очутился лицом к лицу с Ирэн, сидевшей перед маленьким фонтаном — миниатюрной зеленовато-бронзовой Ниобеей с распущенными волосами, окутывающими ее до стройных бедер, которая смотрела на наплаканный ею прудок. Он так внезапно налетел на Ирэн, что даже прошел мимо и лишь потом повернулся и снял шляпу, чтобы поклониться ей. Она не шевельнулась, не вздрогнула. Она всегда отличалась большим самообладанием — одно из ее качеств, которым он больше всего восхищался и которое в то же время больше всего огорчало его, так как он никогда не мог понять, что она думает. Может быть, она заметила, что он шел за ней? Ее самообладание разозлило его, и, не прибегая ни к каким объяснениям, которые могли бы оправдать его присутствие, он кивнул на заплаканную Ниобею и сказал:

— Недурная статуя!

И тут он заметил, что она делает усилие над собой, чтобы сохранить спокойствие.

— Я не хотел испугать вас. Это что, одно из ваших излюбленных мест?

— Да.

— Не слишком ли уединенно?

В это время проходившая мимо дама остановилась посмотреть на фонтан, затем прошла дальше.

Ирэн проводила ее взглядом.

— Нет,— сказала она, чертя по земле зонтиком.— У человека всегда есть спутник — его тень.

Сомс понял и, мрачно взглянув на нее, воскликнул:

— Что же, вы сами виноваты. Вы можете освободиться от этого в любой момент. Ирэн, вернитесь ко мне, и вы будете свободны.

Ирэн засмеялась.

— Не смейтесь!— вскричал Сомс, топнув ногой.— Это бесчеловечно! Выслушайте меня. Существует ли какое-нибудь условие, на котором вы могли бы согласиться вернуться ко мне? Если я обещаю вам отдельный дом и только иногда буду приходить к вам...

Ирэн вскочила. В ее лице, во всей фигуре появилось что-то исступленное.

---

[1] Милый друг *(фр.)*.

— Нет, нет, нет! Вы можете преследовать меня до могилы. Я не вернусь к вам.

Оскорбленный, едва сдерживая себя, Сомс отступил.

— Не устраивайте сцен!— сказал он резко.

И они продолжали стоять неподвижно, глядя на маленькую Ниобею, зеленоватое тело которой сверкало на солнце.

— Итак, это последнее ваше слово,— пробормотал Сомс, сжимая кулаки.— Вы обрекаете нас обоих.

Ирэн опустила голову.

— Я не могу вернуться. Прощайте.

Сомс задыхался от чувства чудовищной несправедливости.

— Постойте,— сказал он,— выслушайте меня еще минуту. Вы дали мне священный обет, вы пришли ко мне нищая. Вы имели все, что я мог дать вам. Вы без всякого повода с моей стороны нарушили этот обет; вы сделали меня посмешищем, лишили меня ребенка; вы связали меня по рукам и по ногам, и вы — вы все еще держите меня так, что я не могу без вас, не могу. Скажите, что вы после всего этого думаете о себе?

Ирэн обернулась, лицо ее было смертельно бледно, темные глаза горели.

— Бог сделал меня такой, какая я есть,— сказала она,— порочной, может быть, если вам так хочется думать, но не настолько, чтобы второй раз отдаться мужчине, которого я ненавижу.

Солнце заиграло в ее волосах, когда она пошла, и, словно лаская, заскользило по всему плотно облегающему ее кремовому платью.

Сомс не мог выговорить ни слова, не мог двинуться с места. От этого слова «ненавижу», такого грубого, такого примитивного, Форсайт в нем весь содрогнулся. С глухим проклятием он сорвался с этого места, откуда она только что исчезла, и чуть не попал в объятия дамы, возвращавшейся обратно. Идиотка, идиотка-сыщица!

Обливаясь потом, он шел вперед, углубляясь в самую гущу леса.

«Хорошо же!— думал он.— Я могу теперь не церемониться с ней, она со мной ни капли не считается. Я ей сегодня же покажу, что она все еще моя жена!»

Но, повернув обратно домой, он должен был признаться себе, что сам не знает, что он хотел этим сказать. Нельзя же устроить публичную сцену, а, кроме публичной сцены, что он может сделать? Он готов был проклинать свою щепетильность. Ее, конечно, можно бы не щадить, но себя — увы!— себя он должен пощадить! И, сидя в холле отеля, где мимо него ежеминутно проходили туристы с Бедекером в руках, забыв заказать завтрак, он предавался мрачным размышлениям. В петле! Вся его жизнь, со всеми естественными инстинктами и разумными стремлениями, затянута петлей, задавлена, а все потому, что судьба толкнула его семнадцать лет назад увлечься этой женщиной так слепо, без оглядки, что даже и теперь у него не лежит сердце ни к кому, кроме нее. Проклятие дню, когда он встретил ее, и его глазам за то, что они что-то увидели в ней, когда на самом деле она только жестокая Венера — и ничего больше. И, снова видя ее перед собой в залитом солнечным светом, плотно облегающем шелковом платье, он застонал так, что проходивший

мимо турист подумал: «Вот скрутило человека! Гм, что это мы ели за завтраком?»

Попозже, сидя в открытом кафе недалеко от Оперы, за стаканом холодного чая с лимоном и опущенной в стакан соломинкой, он с каким-то злорадством решил пойти пообедать в ее отель. Если она окажется там, он поговорит с ней, если нет, он оставит ей записку. Он тщательно оделся и написал следующее:

«Ваша идиллия с этим субъектом Джолионом Форсайтом, во всяком случае, известна мне. Если Вы будете продолжать ее, имейте в виду, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы сделать его положение невыносимым.

С. Ф.»

Он запечатал записку, но не адресовал ее: ему не хотелось ни писать девичью фамилию Ирэн, к которой она так бесстыдно вернулась, ни ставить на конверте имя Форсайт, из опасения, как бы она не разорвала письмо не читая. Затем он вышел и зашагал по ярко освещенным улицам, запруженным вечерней толпой, жаждущей развлечений и зрелищ. Войдя в ее отель, он занял столик в дальнем углу ресторана, откуда ему были видны все двери. Ее не было. Он ел мало, торопливо, держась все время настороже. Она не шла. Он выжидал, томясь над своим кофе, выпил две рюмки ликера. Но она все не шла. Он подошел к доске, на которой висели ключи, и стал читать фамилии. Номер двенадцатый, бельэтаж! И Сомс решил, что сам пойдет и отнесет записку. Он поднялся по покрытой красным ковром лестнице, мимо маленькой гостиной: восьмой — десятый — двенадцатый! Постучать, подсунуть записку под дверь или... Он быстро огляделся по сторонам и нажал ручку. Дверь отворилась, но за ней в темном закоулке оказалась другая дверь; он постучал — ответа не было. Дверь была заперта. Она очень плотно прилегала к полу — подсунуть записку было нельзя. Он положил ее обратно в карман и минуту постоял, прислушиваясь. Почему-то он был уверен, что ее там нет. Внезапно он повернулся и пошел обратно, мимо маленькой гостиной, вниз по лестнице. Он остановился у конторки и сказал:

— Не будете ли вы так добры передать миссис Эрон эту записку.

— Мадам Эрон уехала сегодня, мсье, совершенно неожиданно, так часов около трех дня. У нее кто-то заболел в семье.

Сомс поджал губы.

— О!— сказал он.— Вы не знаете адреса?

— Нет, мсье! Кажется, Англия.

Сомс снова сунул записку в карман и вышел. Он окликнул проезжавший мимо экипаж:

— Везите меня куда-нибудь!

Кучер, который, по-видимому, не понял его, улыбнулся и взмахнул кнутом. И маленькая с желтыми колесами виктория покатила Сомса по всему звездообразному Парижу, останавливаясь иногда, когда кучер

ние семи месяцев платить по пятнадцати фунтов в неделю, чтобы быть выслеженным в качестве любовника собственной жены! Виноватый вид! Он распахнул окно.

— Жарко здесь!— сказал он и вернулся на свое место.

Закинув ногу на ногу, он смерил мистера Полтида спокойно-презрительным взглядом.

— Я сомневаюсь, чтобы этого было вполне достаточно,— сказал он, растягивая слова,— ни имени, ни адреса. Мне кажется, вы можете оставить эту леди в покое на время, а заняться нашим другом 47.

Узнал ли Полтид, что речь шла о нем самом, Сомс не мог сказать, но он вдруг представил его себе в кругу приятелей безудержно покатывающимся с хохоту. «Виноватый вид»! Проклятье!

Мистер Полтид убедительно, чуть не с пафосом сказал:

— Уверяю вас, сэр, нам удавалось устраивать дела с меньшими данными, чем эти. Ведь это же Париж, знаете, интересная женщина, живет одна. Почему не рискнуть, сэр? Мы могли бы представить это так, что это не вызывало бы никаких сомнений.

Сомса вдруг осенило: у этого типа затронута профессиональная струнка. «Величайший триумф моей карьеры: устроил одному клиенту развод из-за посещения спальни его же собственной жены! Об этом долго будут вспоминать, когда я уйду со сцены!» И на одно неистовое мгновение у Сомса мелькнуло: «А почему нет? В конце концов есть тысячи людей среднего роста с маленькими ногами и виноватым видом!»

— Я не уполномочен рисковать,— сухо сказал он.

Мистер Полтид взглянул на него.

— Жаль,— сказал он,— очень жаль. То первое дело может оказаться очень затяжным.

Сомс встал.

— Это не имеет значения. Следите, пожалуйста, за 47 и постарайтесь не попасть пальцем в небо.

При словах «пальцем в небо» глаза мистера Полтида сверкнули.

— Отлично. Мы будем держать вас в курсе дела.

И Сомс снова остался один. Грязное, смешное, паучье дело! Положив локти на стол, он лег головой на руки. Так он просидел целых десять минут, пока старший клерк не вывел его из этого оцепенения, явившись к нему с проектом нового выпуска акций, подающих большие надежды. В этот день он рано ушел из конторы и отправился в ресторан «Бретань». Он застал только мадам Ламот. Не выпьет ли мсье чашечку чаю?

Сомс поклонился.

Когда они уселись в маленькой комнатке, заняв позицию под прямым углом друг к другу, он отрывисто сказал:

— Я хочу поговорить с вами, мадам.

Быстрый взгляд ее ясных карих глаз сказал ему, что она уже давно ждала этой фразы.

— Прежде всего я хочу вас кое о чем спросить. Этот молодой доктор — как его зовут?— есть ли что-нибудь между ним и Аннет?

Она вся вдруг сделалась похожей на стеклярус — скользкая, черная, твердая, блестящая.

— Аннет молода,— сказала она,— так же как и monsieur le docteur[1]. Между молодыми людьми все совершается быстро; но Аннет хорошая дочь! Ах, что за редкостная натура!

Чуть заметная улыбка мелькнула на губах у Сомса.

— Так, значит, ничего определенного?

— Определенного? О нет! Молодой человек очень мил, но что вы хотите? Сейчас у него нет денег.

Она подняла свою чашку с синим китайским рисунком. Сомс сделал то же. Их глаза встретились.

— Я женатый человек,— сказал он,— и уже много лет живу врозь с женой. Я намерен развестись с ней.

Мадам Ламот опустила свою чашку. В самом деле! Какие трагедии бывают на свете! Полнейшее отсутствие в ней какого бы то ни было чувства вызвало в Сомсе что-то вроде презрения.

— Я богатый человек,— сказал он, чувствуя, что это замечание не очень хорошего тона.— В настоящий момент бесполезно говорить больше, но я полагаю, вы понимаете.

Глаза мадам, раскрытые так широко, что из-под век были видны белки, посмотрели на него в упор.

— Ah, ça! Mais nous avons le temps[2].

Это было все, что она сказала. Еще чашечку? Сомс отказался и, простившись с ней, отправился в западную часть города.

На этот счет можно быть теперь спокойным. Она не позволит Аннет скомпрометировать себя с этим веселым молодым ослом, пока... Но какова вероятность того, что он когда-нибудь сможет сказать: «Я свободен»? Вероятность? Будущее потеряло всякое подобие реальности. Он чувствовал себя, как муха, запутавшаяся в волокнах паутины, жадно взирающая беспомощными глазами на желанную свободу.

Ему хотелось двигаться, и он прошел до Кенсингтонского сада и оттуда по Куинс-гейт в Челси. Может быть, она вернулась в свою квартиру. Это он, во всяком случае, может выяснить, ибо после ее последнего, самого унизительного, отказа его уязвленное самолюбие снова пыталось утешиться тем, что у нее, несомненно, есть любовник. Был обеденный час, когда Сомс подошел к знакомому дому. Нет надобности справляться! В ее окне какая-то седая дама поливала цветы в ящике. Очевидно, квартира сдана. И он медленно прошел мимо дома и побрел обратно вдоль реки, в сумерках такой чистой, невозмутимой красоты, такой гармонии и покоя всюду, за исключением его собственного сердца.

---

[1] Господин доктор *(фр.)*.

[2] Ну что же, у нас еще много времени *(фр.)*.

III

РИЧМОНД-ПАРК

В день, когда Сомс отплывал во Францию, Джолиону в Робин-Хилл пришла каблограмма:

«Ваш сын заболел дизентерией непосредственной опасности нет будем телеграфировать».

Это известие пришло в семью, уже сильно взволнованную предстоящим отъездом Джун, для которой была заказана каюта на пароходе, отходившем на следующий день. Джун как раз поручала заботам отца Эрика Коббли и его семейство, когда пришла эта каблограмма.

Решение стать сестрой милосердия, принятое под впечатлением поступка Джолли, было честно выполнено с тем раздражением и досадой, которые испытывают все Форсайты, когда что-нибудь ограничивает их личную свободу. Воодушевленная сначала «необыкновенной» работой, Джун через месяц начала находить, что сама может научиться большему, чем ее могут научить другие. И если бы Холли не настояла на том, чтобы последовать ее примеру и тоже не начала учиться, она, несомненно, бросила бы это. Отъезд Джолли и Вэла с их полком в апреле снова укрепил ее ослабевшую было решимость. Но теперь, накануне отъезда, мысль о том, что она оставляет Эрика Коббли с женой и двумя детьми на произвол судьбы в холодных волнах равнодушного мира, так угнетала ее, что она каждую минуту могла пойти на попятный. Каблограмма с тревожным сообщением решила дело. Джун уже видела себя ухаживающей за Джолли — ведь позволят же ей, конечно, ухаживать за родным братом! Джолион, отличавшийся более широким взглядом на вещи и более скептическим, не надеялся на это. Бедная Джун! Мог ли кто-нибудь из Форсайтов ее поколения представить себе, какая жестокая и грубая штука жизнь? С тех пор как Джолион узнал о прибытии Джолли в Капштадт, мысль о сыне преследовала его, словно постоянно возвращающаяся боль. Он не мог примириться с сознанием, что Джолли все время подвергается опасности. Каблограмма, как ни печально было это известие, вызвала почти чувство облегчения. По крайней мере, ему сейчас хоть не грозят пули. Но и дизентерия опасная штука! В «Таймсе» бесконечные сообщения о смертных случаях от этой болезни. Почему *он* не лежит там, в этом чужеземном лазарете, а мальчик его не дома, в безопасности? Эта нефорсайтская самоотверженность всех его троих детей прямо поражала Джолиона. Он с радостью поменялся бы местами с Джолли, потому что он любил своего мальчика; но они-то ведь руководствовались не такими личными мотивами. Ему не оставалось думать ничего другого, как то, что это свидетельствовало о вырождении форсайтского типа.

В этот день Холли после обеда пришла к нему под дуб. Она очень повзрослела за два месяца своего учения на курсах сестер. И сейчас, увидев ее, Джолион подумал: «Она рассудительнее, чем Джун, а ведь она еще ребенок; у нее больше мудрости. Слава богу, что хоть она не уезжает». Она уселась на качели молчаливая и притихшая. «Она переживает

все это не меньше, чем я»,— подумал Джолион. И, встретив ее взгляд, устремленный на него, он сказал:

— Не принимай это так близко к сердцу, девочка. Если бы он не заболел, он, может быть, был бы в еще большей опасности.

Холли встала с качелей.

— Я хочу тебе что-то сказать, папа. Это из-за меня Джолли записался и пошел на войну.

— Как это так?

— Когда ты был в Париже, Вэл Дарти и я — мы полюбили друг друга. Мы с ним катались верхом в Ричмонд-парке; потом мы обручились. Джолли об этом узнал и решил, что он должен помешать этому; и тогда он вызвал Вэла Дарти записаться добровольцем. И во всем этом виновата только я, папа, и я тоже хочу поехать туда. Потому что, если с кем-нибудь из них что-нибудь случится, мне будет ужасно. И ведь я совсем так же подготовлена, как Джун.

Джолион смотрел на нее ошеломленный, но в то же время не мог не усмехнуться про себя. Так вот ответ на загадку, которую он сам себе выдумал,— итак, все трое его детей в конце концов истинные Форсайты. Разумеется, Холли могла бы рассказать ему все это раньше. Но он удержался от этого иронического замечания. Бережное отношение к юности было, пожалуй, одной из самых священных заповедей его веры. Он, несомненно, получил то, что заслужил. Обручились! Так вот почему она стала какой-то чужой! И с Вэлом Дарти, племянником Сомса, из враждебного лагеря! Все это было ужасно неприятно. Он сложил мольберт и прислонил свой этюд к дереву.

— Ты говорила с Джун?

— Да, она говорит, что может устроить меня в своей каюте. Это одноместная каюта, но одна из нас может спать на полу. Если ты согласишься, она сегодня же съездит в город и достанет разрешение.

«Согласишься?— подумал Джолион.— Немножко поздно спрашивать об этом!» Но он опять сдержался.

— Ты слишком молода, дорогая; тебе не дадут разрешения.

— У Джун есть знакомые, которым она помогла уехать в Капштадт. А если мне сразу не позволят ухаживать за ранеными, я могу продолжать там учиться. Пусти меня, папа.

Джолион улыбнулся, потому что готов был заплакать.

— Я никогда никому ничего не запрещаю,— сказал он.

Холли обвила руками его шею.

— Ах, папочка, ты лучше всех на свете!

«Это значит хуже всех»,— подумал Джолион. Если он когда-нибудь раскаивался в своей терпимости, так это сейчас.

— Я не поддерживаю никаких отношений с семьей Вэла,— сказал он.— Вэла я не знаю, но Джолли его недолюбливал.

Холли посмотрела куда-то в пространство и сказала:

— Я люблю его.

— Этим, по-видимому, все сказано,— сухо произнес Джолион, но, увидев выражение ее лица, поцеловал ее. «Есть ли в мире что-нибудь более трогательное, чем юношеская вера?»

Так как он, в сущности, не запрещал ей ехать, то само собой выходило, что он должен был постараться устроить все как можно лучше, поэтому он отправился в город вместе с Джун. Благодаря ли ее настойчивости или тому, что чиновник, к которому они обратились, оказался школьным товарищем Джолиона, они получили разрешение для Холли разделить каюту Джун. На следующий день вечером Джолион проводил их на Сэрбитонский вокзал, и затем они уехали от него, снабженные деньгами, консервами и аккредитивами, без которых не путешествует ни один Форсайт.

Он возвращался в Робин-Хилл; над ним было небо, усеянное звездами. Когда он приехал, ему с особенным усердием, стараясь выразить свое сочувствие, подали поздний обед, который он с преувеличенной добросовестностью съел, чтобы показать, что ценит это сочувствие. Но он только тогда вздохнул свободно, когда вышел с сигарой на террасу, выложенную каменными плитами, искусно подобранными Босини по цвету и по форме, и ночь обступила его со всех сторон — такая прекрасная ночь, чуть шепчущая в листве деревьев и благоухающая так сладко, что у него защемило сердце. Трава была пропитана росой; он зашагал по каменным плитам взад и вперед, пока ему не начало казаться, что он не один, а их трое и что, дойдя до конца террасы, они каждый раз поворачивают так, что отец всегда остается ближе к дому, а сын ближе к краю террасы. И оба они с обеих сторон тихонько держат его под руки; он не смел поднять руку из страха потревожить их, и сигара дымилась, осыпая его пеплом, пока наконец не упала из его губ, которым уже стало горячо держать ее. И тут они покинули его и рукам сразу стало холодно. Вот здесь они ходили, три Джолиона в одном!

Он стоял, не двигаясь, прислушиваясь к звукам: экипаж проехал по шоссе, поезд где-то далеко, собака лает на ферме Гейджа, шепчут деревья, конюх играет на своей дудочке. Какое множество звезд наверху — яркие, спокойные и такие далекие! А месяца еще нет! Света как раз столько, что можно различить темные каменные плиты и лезвия ирисов вдоль террасы — любимые его цветы, у которых на изогнутых и съежившихся лепестках краски самой ночи. Он повернул к дому. Громадный, неосвещенный, и ни души, кроме него, во всем этом крыле! Полное одиночество! Он больше не может так жить здесь, совсем один. Но почему же, если существует красота, почему человек чувствует себя одиноким? Ответ — как на какую-нибудь идиотскую загадку: потому что чувствует. Чем больше красота, тем больше одиночество, потому что красота зиждется на гармонии, а гармония на единении. Красота не может утешать, если из нее вынули душу. Эта ночь, мучительно прекрасная, с зацветающими деревьями, в звездном свете, с запахом трав и меда,— он не может наслаждаться ею, пока между ним и той, которая для него сама красота, ее воплощение, ее сущность, возвышается стена — он чувствовал это,— глухая стена ненарушимых законов благопристойности.

Он долго не мог уснуть в мучительных попытках принудить себя к тому безропотному смирению, которое туго дается Форсайтам, ибо они привыкли следовать во всем собственным желаниям, пользуясь незави-

симостью, щедро предоставленной им их предками. Но на рассвете он задремал, и ему приснился необыкновенный сон.

Он был на сцене с неимоверно высоким пышным занавесом, уходившим ввысь до самых звезд и образовавшим полукруг вдоль рампы. Сам он был очень маленьким — крошечная беспокойная черная фигурка, снующая взад и вперед,— но самое странное было то, что он был не совсем он, а также и Сомс, и он не только переживал, но и наблюдал. Фигурка — он и Сомс — старалась найти выход в занавесе, но занавес, тяжелый и темный, не пускал их. Несколько раз он прошел вдоль него в ту и в другую сторону, пока вдруг с чувством восторга не увидел узкую щель: глубокий просвет неизъяснимой красоты, цвета ирисов, словно видение рая, непостижимое, несказанное. Быстро шагнув, чтобы пройти туда, он увидел, что занавес снова сомкнулся. С горьким разочарованием он — или это был Сомс — отступил, и в раздвинувшемся занавесе снова появился просвет, но опять он сомкнулся слишком рано. Так повторялось без конца, пока он не проснулся с именем Ирэн на губах. Этот сон очень расстроил его, особенно это отождествление себя с Сомсом.

Утром, убедившись, что из работы ничего не выйдет, Джолион несколько часов ездил верхом на лошади Джолли, стремясь как можно больше устать. А на второй день он решил отправиться в Лондон и попытаться достать разрешение последовать за своими дочерьми в Южную Африку. Он только начал укладываться, как ему принесли письмо:

«Отель «Зеленый коттедж».
Ричмонд, *13 июня*

Мой дорогой Джолион,

Вы будете удивлены, узнав, что я так близко от Вас. В Париже стало невыносимо, и я приехала сюда, чтобы быть поближе к Вашим советам. Я буду так рада снова увидеться с Вами. С тех пор как Вы уехали из Парижа, у меня, кажется, ни разу не было случая по-настоящему поговорить с *кем-нибудь*. Все ли у вас благополучно и как Ваш мальчик? Сейчас, кажется, ни одна душа не знает, что я здесь.

Всегда Ваш друг *Ирэн*».

Ирэн в трех милях от него! И опять спасается бегством! Он стоял, и губы у него расплывались в какую-то очень загадочную улыбку. Это больше того, на что он смел надеяться!

Около полудня он вышел и пошел пешком через Ричмонд-парк и дорогой думал: «Ричмонд-парк! Честное слово, он так подходит нам, Форсайтам!» Не то чтобы Форсайты здесь жили — здесь никто не жил, кроме членов королевской фамилии, лесничих и ланей,— но в Ричмонд-парке природе разрешено проявляться до известных пределов, не далее, и она изо всех сил старается быть естественной и словно говорит: «Полюбуйся на мои инстинкты, это почти страсти — того и гляди, вырвутся наружу, но, разумеется, не совсем! Истинная ценность обладания — это владеть собой». Да, Ричмонд-парк, несомненно, владел собой даже в этот сияющий июньский день со звонкими голосами кукушек, внезапно

раздававшимися то там, то тут среди листвы, и лесных голубей, возвещавших разгар лета.

Отель «Зеленый коттедж», куда Джолион пришел к часу дня, стоял почти напротив знаменитой гостиницы «Корона и скипетр»; он был скромен, в высшей степени респектабелен; здесь всегда можно найти холодный ростбиф, пироги с крыжовником и двух-трех титулованных вдов, так что у подъезда редко когда не стояла коляска, запряженная парой.

В комнате, обитой ситцевыми обоями, столь расплывчатыми, что, казалось, самый вид их не допускал никаких переживаний, на табурете, покрытом ручной вышивкой, сидела Ирэн и играла по ветхим нотам «Гензель и Гретель». Над ней на стене висела гравюра, изображавшая королеву на маленькой лошадке, среди охотничьих собак, охотников в шотландских шапочках и убитых оленей; около нее на подоконнике красовалась в горшке розово-белая фуксия. Весь этот викторианский дух комнаты был так красноречив, что Ирэн в плотно облегающем ее платье показалась Джолиону Венерой, выступающей из раковины прошлого столетия.

— Если бы у хозяина были глаза, он вас выставил бы отсюда,— сказал он,— вы точно брешь пробили в этих его декорациях.

Так, шуткой, он разрядил напряженность этого волнующего момента. Поев холодного ростбифа с маринованными орехами и пирога с крыжовником и выпив лимонада из глиняного графинчика, они пошли в парк. И тут шутливый разговор сменился молчанием, которого так боялся Джолион.

— Вы мне ничего не рассказали о Париже,— сказал он наконец.

— Да. За мной долгое время следили; к этому, знаете, привыкаешь. Но потом приехал Сомс, и около маленькой Ниобеи повторилась та же история: не вернусь ли я к нему?

— Невероятно!

Она говорила, не поднимая глаз, но теперь посмотрела на него. Эти темные глаза, льнущие к его глазам, говорили, как не могли бы сказать никакие слова: «Я дошла до конца: если ты хочешь меня, бери».

Была ли у него за всю его жизнь — а ведь он уже почти старик — минута, подобная этой по силе переживания?

Слова: «Ирэн, я обожаю вас»,— едва не вырвались у него. И вдруг с отчетливостью, которую он счел бы недоступной воображению, он увидел Джолли, который лежал, повернувшись белым, как мел, лицом к белой стене.

— Мой мальчик очень болен,— спокойно произнес он. Ирэн взяла его под руку.

— Идемте дальше; я понимаю.

Не пускаться ни в какие жалкие объяснения! Она поняла! И они пошли дальше меж папоротников, кроличьих норок, старых дубов, разговаривая о Джолли. Он простился с нею через два часа у ворот Ричмондпарка и отправился домой.

«Она знает о моем чувстве к ней,— думал он.— Ну конечно! Разве можно скрыть это от такой женщины?»

IV

ПО ТУ СТОРОНУ РЕКИ

Джолли до смерти замучили сны. Сейчас они оставили его; он слишком обессилел для снов, они оставили его, и он лежал в оцепенении и смутно вспоминал что-то очень далекое; у него хватало сил только на то, чтобы повернуть глаза и смотреть в окно рядом с койкой, на медленное течение реки, струившейся среди песков, на раскинувшуюся за ней сухую равнину Кару, поросшую чахлым кустарником. Теперь он знал, что такое Кару, даже если он и не видел буров, улепетывающих, как кролики, и не слышал свиста летящих пуль. Болезнь свалила его прежде, чем он успел понюхать пороху. Знойный день, напился сырой воды или заразился через фрукты — кто знает? Не он, у которого не было даже сил огорчаться тем, что болезнь одержала победу,— их едва хватало на то, чтобы сознавать, что здесь рядом с ним лежат другие, что его замучил лихорадочный бред, да на то, чтобы смотреть на медленное течение реки и смутно вспоминать что-то очень далекое...

Солнце уже почти зашло. Скоро станет прохладнее. Ему приятно было бы знать, который час, потрогать свои старые часики, такие гладкие, послушать, как бьет репетир. Это было бы так уютно, как дома. У него не было даже сил вспомнить, что старые часы были заведены в последний раз в тот день, как его положили сюда. Мозг его пульсировал так слабо, что лица приходивших и уходивших сестер, докторов, санитаров не отличались для него одно от другого — просто какое-то лицо; и слова, произносившиеся над ним, все значили одно и то же, то есть почти ничего. Вот то, что он когда-то делал раньше, как это ни далеко и смутно, гораздо отчетливее — в Хэрроу, мимо старой лестницы, что ведет в бильярдную,— сюда, сюда, сэр!— заворачивает ботинки в «Вестминстерскую газету», бумага зеленоватая, блестящие ботинки — дедушка откуда-то из темноты — запах земли — парник с шампиньонами! Робин-Хилл! Беднягу Балтазара засыпали листьями! Папа! Дом...

Сознание снова вернулось: он заметил, что в реке нет воды, и еще — кто-то заговорил около него. «Вы, может, хотите чего-нибудь?» Чего можно хотеть? Слишком слаб, чтобы хотеть,— разве только услышать, как бьют его часы...

Холли! Она не сумеет подать. Ах, поддавай, поддавай! Не вези битой... Давай назад, второй, и ты, первый! Это он второй!

Сознание еще раз вернулось: он увидел лиловый сумрак за окном и поднимающийся на небе кроваво-красный серп луны. Глаза его приковались к нему, завороженные; в эти долгие-долгие минуты абсолютной пустоты в сознании серп подымался выше, выше...

«Кончается, доктор!» Уж больше не заворачивать ботинки? Никогда?.. Подтянись, второй! Не плачьте! Спокойно иди на ту сторону реки — спать. Темно? Если б кто-нибудь... пустил... бой... его... часы!..

V

СОМС ДЕЙСТВУЕТ

Конверт с сургучной печатью, надписанный почерком мистера Полтида, оставался невскрытым в кармане у Сомса в течение двух часов, пока его внимание было целиком поглощено делами «Новой угольной компании», компании, которая с момента ухода старого Джолиона с поста председателя постепенно шла к упадку, а за последнее время пришла в такое состояние, что не оставалось ничего другого, как ее ликвидировать. Он взял письмо с собой, когда отправился завтракать в свой клуб в Сити, который был дорог для него тем, что он бывал там еще с отцом в начале семидесятых годов, и Джемсу тогда было приятно, что сын его приглядывается к жизни, в которую ему предстоит вступить.

Сидя в глубине в углу, перед тарелкой жареной баранины с картофельным пюре, он прочел:

«Дорогой сэр,

Согласно Вашему предложению, мы подошли к делу с другого конца и достигли желанных результатов. Наблюдение за 47 позволило нам установить местопребывание 17: Ричмонд, отель «Зеленый коттедж». Мы проследили, что в течение последней недели они встречаются ежедневно в Ричмонд-парке. Ничего, так сказать, решительного до сих пор не было замечено. Но, учитывая данные из Парижа, относящиеся к началу этого года, я полагаю, мы теперь можем удовлетворить требования суда. Мы, разумеется, будем продолжать наши наблюдения впредь до получения от Вас новых распоряжений.

С совершенным почтением *Клод Полтид*».

Сомс прочел это письмо два раза, затем подозвал лакея:

— Возьмите жаркое, оно простыло.

— Прикажете подать другое, сэр?

— Нет. Дайте мне кофе в другую комнату.

И, уплатив за жаркое, к которому он не притронулся, он вышел из комнаты, пройдя мимо двух знакомых и сделав вид, что не узнает их.

«Удовлетворить требования суда!»— думал он, сидя у круглого мраморного столика, на котором стоял кофейный прибор. Этот Джолион! Он налил себе кофе, положил сахару, выпил. Он его опозорит в глазах собственных детей! И, поднявшись с этим решением, которое жгло его, Сомс впервые понял, как неудобно быть своим собственным поверенным. Не может же он вести это скандальное дело в своей конторе! Он должен доверить свою честь, свою интимную жизнь какому-нибудь незнакомому человеку, профессионалу, специалисту по делам семейного бесчестья! К кому же обратиться? Может быть, к «Линкмену и Лейверу» на Вэдж-роу — контора солидная, не очень известная, и у него с ними только шапочное знакомство. Но прежде чем обращаться к ним, нужно еще раз повидать Полтида. И при этой мысли Сомс почувствовал настоящее малодушие. Открыть свою тайну! Да разве у него повернется язык

сказать это? Выставить себя на глумление, чувствовать смешки у себя за спиной! Впрочем, этот малый, наверно, уже знает — ну, конечно, знает! И, чувствуя, что с этим надо покончить теперь же, Сомс взял кеб и отправился в Вест-Энд.

В этот жаркий день окно в кабинете мистера Полтида было совершенно явно открыто, и единственной мерой предосторожности была проволочная сетка, преграждавшая доступ мухам. Две-три пытались пробраться сквозь нее, но застряли, и казалось, что они липнут к этой сетке в надежде на то, что их тут же немедленно съедят. Мистер Полтид, проследив направление взгляда своего клиента, встал и, извинившись, закрыл окно.

«Позер, осел!»— подумал Сомс. Как все, кто незыблемо верит в себя, он в решительный момент сразу обретал привычную твердость и теперь с обычной своей кривой усмешкой сказал:

— Я получил ваше письмо. Я намерен действовать. Я полагаю, вы знаете, кто та дама, за которой вам поручено было следить.

Выражение лица мистера Полтида в эту минуту было поистине великолепно. Оно так ясно говорило: «Ну, а как вы думаете? Но это чисто профессиональная осведомленность, уверяю вас, простите, пожалуйста». Он сделал какой-то неопределенный жест и помахал рукой, как бы говоря: «С кем из нас, с кем из нас этого не случалось!»

— Отлично,— сказал Сомс, проводя языком по губам,— в таком случае говорить больше нечего. Я поручу вести дело «Линкмену и Лейверу» на Бэдж-роу. Мне ваши сведения не нужны, но я попрошу вас представить ваш отчет им, в пять часов, и по-прежнему держать все это в величайшем секрете.

Мистер Полтид полузакрыл глаза, словно соглашаясь со всем.

— Дорогой сэр...— сказал он.

— Вы убеждены, что этих улик достаточно?— с внезапной настойчивостью спросил Сомс.

Плечи мистера Полтида чуть заметно приподнялись и опустились.

— Можете смело рискнуть,— сказал он.— С тем, что у нас имеется, и принимая во внимание человеческую природу, можете смело рискнуть.

Сомс встал.

— Вы спросите мистера Линкмена. Благодарю вас, не беспокойтесь.

Он не желал, чтобы мистер Полтид, по обыкновению, очутился между ним и дверью. Выйдя на солнце на Пикадилли, он отер лоб. Самое тяжелое позади — с чужими будет легче. И он вернулся в Сити, чтобы сделать то, что ему еще предстояло.

В этот вечер на Парк-лейн, глядя за обедом на отца, он почувствовал, как его снова охватывает прежнее неутоленное желание иметь сына — сына, который будет смотреть, как *он* ест, когда он состарится, сына, которого он будет сажать к себе на колени, как когда-то его сажал Джемс; сына, который родится от *него*, который будет понимать его, потому что он будет его собственной плотью и кровью, будет понимать и утешать его и будет богаче и образованнее его, потому что он начнет с большего. Состариться — вот как эта седая, исхудавшая, беспомощная фигура, и остаться в совершенном одиночестве со всеми своими капита-

лами, которые будут все расти; не интересоваться ничем, потому что впереди нет ничего, и все его богатство должно перейти в руки и рты тех, кто ему совершенно безразличен! Нет! Он теперь добьется своего, он будет свободен и женится, и у него будет сын, которого он вырастит, прежде чем станет таким старым, как его отец, который сейчас смотрит одинаково задумчивым взглядом и на сына и на тарелку с печенкой.

В этом настроении Сомс отправился спать. Но, лежа в тепле между тонкими полотняными простынями из комода Эмили, он снова почувствовал себя во власти мучительнейших воспоминаний. Воспоминание об Ирэн, почти живое ощущение ее тела, преследовало его. Как он был глуп, что позволил себе увидеть ее затем только, чтобы все это снова нахлынуло на него, и теперь — это такая пытка — думать, что она с этим субъектом, с этим вором, который отнял ее у него!

VI

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Мысль о сыне почти не покидала Джолиона со времени его первой прогулки с Ирэн в Ричмонд-парке. Он не имел о нем никаких известий; справки в военном министерстве ни к чему не приводили; а от Холли и Джун он не надеялся получить что-нибудь раньше, чем через три недели. В эти дни он почувствовал, как неполны его воспоминания о Джолли и каким он, в сущности, был дилетантом-отцом. Не было ни единого воспоминания о том, как кто-нибудь из них рассердился, ни одного примирения, потому что не было никаких ссор; ни одного задушевного разговора, даже когда умерла мать Джолли. Ничего, кроме полуиронической привязанности. Он слишком боялся связать себя чем-нибудь, лишиться своей свободы или помешать свободе своего мальчика.

Только в присутствии Ирэн он испытывал чувство облегчения, но и к этому чувству примешивалось все усиливающееся ощущение того, как он раздваивается между нею и сыном. С Джолли связывались чувство непрерывности бытия и те общественные устремления, которые так глубоко волновали Джолиона в юности и позже, когда мальчик его учился в школе, а затем поступил в университет,— это чувство обязательства перед ним, которое требовало, чтобы отец и сын взаимно оправдали то, чего они ждут друг от друга. С Ирэн было связано все его преклонение перед Красотой и Природой. И он, казалось, все больше и больше переставал понимать, что́ говорит в нем сильнее. От этого оцепенения чувств его однажды грубо пробудил некий молодой человек со странно знакомым лицом, который, ведя рядом с собой велосипед и улыбаясь, подошел к нему на дороге, когда он как раз собирался в Ричмонд.

— Мистер Джолион Форсайт? Благодарю вас.

Сунув в руку Джолиона конверт, он вскочил на велосипед и уехал. Джолион, удивленный, распечатал письмо.

«Отдел завещаний и разводов. Форсайт против Форсайт и Форсайта». За чувством отвращения и стыда мгновенно последовала реакция: «Как, ведь это как раз то, чего ты жаждешь, и ты недоволен! Она, вероятно, тоже получила такое извещение, и нужно поскорее увидеть ее».

Дорогой он пытался обдумать все это. Забавное все же дело! Ибо, что бы там ни говорилось про сердце в Священном писании, все-таки, чтобы удовлетворить закон, требуется нечто большее, чем простое вожделение. Они могут отлично защищаться в этом процессе или, по крайней мере, с полным правом попробовать сделать это. Но мысль об этом была противна Джолиону. Если он фактически не был ее любовником, мысленно он был им, и он знал, что она готова принадлежать ему. Это говорило ему ее лицо. Не то чтобы он преувеличивал ее отношение к себе. Она уже пережила свою большую любовь, и он в его возрасте не мог надеяться внушить ей такое чувство. Но она ему доверяет, она привязалась к нему и чувствует, что он будет ей опорой в жизни. И, конечно, она не заставит его защищаться в этом процессе, зная, что он обожает ее! Нет, слава богу, у нее нет этой невыносимой британской щепетильности, которая отказывается от счастья ради удовольствия отказаться! Она будет рада возможности почувствовать себя свободной после семнадцати лет умирания заживо. Что же касается огласки, этого уж не избежать! И, если они будут защищаться, это их не спасет от позора. Джолион чувствовал то, что должен чувствовать настоящий Форсайт, когда его частной жизни угрожает опасность: если по закону его полагается повесить, пусть это, по крайней мере, будет за дело! А давать показания под присягой, что ни единого жеста, ни даже слова любви никогда не было между ними, казалось ему более унизительным, чем молча признать себя виновным в адюльтере,— гораздо более унизительным, принимая во внимание его чувство, и не менее мучительным и тягостным для его детей. Мысль о том, что он должен будет отчитываться перед судьей и двенадцатью английскими обывателями в своих встречах с нею в Париже и в прогулках в Ричмонд-парке, внушала ему отвращение. Лицемерие и жестокость всей этой церемонии; вероятность того, что им не поверят, и одна только мысль о том, что она, которая для него была самим воплощением Красоты и Природы, будет стоять там под всеми этими подозрительными, жадными взглядами,— все это казалось совершенно нестерпимым. Нет, нет! Защищаться — это только доставить удовольствие Лондону и повысить тираж газет! В тысячу раз лучше принять то, что посылает Сомс и боги!

«Кроме того,— думал Джолион, стараясь быть честным с самим собой,— кто знает, долго ли я мог бы выдержать это положение вещей даже ради моего мальчика? Во всяком случае, она-то хоть наконец высвободит шею из петли!» Поглощенный всеми этими размышлениями, он почти не замечал удушливого зноя. Небо нависло низко, багровое, с резкими белыми просветами. Тяжелая дождевая капля шлепнулась и оставила маленький звездообразный след в пыли на дороге, когда он входил в парк. «Фью,— протянул Джолион,— и гром! Я надеюсь, что она не вышла мне навстречу; сейчас польет как из ведра!» Но в ту же минуту он увидел Ирэн, подходившую к воротам парка. «Нам нужно бегом спасаться в Робин-Хилл»,— подумал он.

Гроза пронеслась над Полтри в четыре часа дня, доставив приятное развлечение клеркам во всех конторах. Сомс пил чай, когда ему принесли письмо:

«Дорогой сэр!

Форсайт против Форсайт и Форсайта.

Согласно Вашим указаниям, имеем честь сообщить Вам, что мы сегодня лично уведомили в Ричмонде и в Робин-Хилле ответчицу и соответчика по сему делу.

С совершенным почтением *Линкмен* и *Лейвер*».

Сомс несколько минут тупо смотрел на письмо. С той самой минуты, как он отдал эти указания, он все время порывался отменить их. Такая скандальная история, такой позор! И улики — то, что он слышал от Полтида,— казались ему вовсе не убедительными; он, во всяком случае, все меньше и меньше верил в то, что эти двое переступили известный предел. Но вручение повестки безусловно послужит для них толчком; и эта мысль не давала ему покоя. Этому типу достанется любовь Ирэн, тогда как он потерпел полное поражение! Неужели уже слишком поздно? Теперь, когда он так серьезно предостерег их, не может ли он воспользоваться своей угрозой для того, чтобы их разъединить? «Но если я не сделаю этого сейчас же,— подумал он,— потом уже будет поздно, раз они получили извещение. Я сейчас поеду к нему и повидаюсь с ним; сейчас же поеду к нему».

И в горячке нервного нетерпения он послал за «новомодным» таксомотором. Понадобится, может быть, немало времени, чтобы сейчас разыскать этого типа, и бог знает, к какому они решению пришли после такого удара. «Если бы я был какой-нибудь театральный осел,— подумал он,— мне бы нужно было, я полагаю, взять с собой хлыст, или пистолет, или что-нибудь в этом роде!» Вместо этого он взял с собой связку бумаг по делу Медженти против Уэйка, намереваясь просмотреть их дорогой. Он даже не развернул их и сидел не двигаясь, только подпрыгивая и сотрясаясь от толчков, не замечая ни того, что ему дует в затылок, ни запаха бензина. Он будет держать себя в зависимости от поведения того; самое главное — сохранять спокойствие!

Лондон уже начал изрыгать рабочих из своих недр, когда Сомс подъехал к Пэтнейскому мосту. Муравейник растекался по улицам. Какое множество муравьев, и все борются за существование, и каждый старается уцелеть в этой великой толчее! Должно быть, в первый раз в своей жизни Сомс подумал: «Я-то мог бы плюнуть на все, если бы захотел! Ничто бы меня не касалось. Послал бы все к черту, жил бы, как хотел, наслаждался бы жизнью!» Нет! Нельзя, человек не может жить так, как жил он, и вдруг все бросить, поселиться где-нибудь в Италии, сорить деньгами, потерять репутацию, которую себе создал. Человеческая жизнь — это то, что человек приобрел и что он стремится приобрести. Только дураки думают иначе, дураки и еще социалисты... да распутники!

Машина, прибавляя ходу, неслась мимо загородных вилл. «Мы делаем миль пятнадцать в час!— подумал Сомс.— Теперь с этими машинами люди будут селиться за городом». И он задумался над тем, как это отзовется на участках Лондона, которыми владел его отец; сам он ни-

вас обоих, если вы не поклянетесь мне прекратить с этого дня всякие отношения.

Он удивлялся тому, что так связно говорит, потому что мысли у него путались и руки дрожали. Никто из них не ответил ни слова, но ему показалось, что на их лицах изобразилось что-то вроде презрения.

— Так вот,— сказал он.— Ирэн, вы?..

Губы ее шевельнулись, но Джолион положил руку ей на плечо.

— Оставьте ее!— в бешенстве крикнул Сомс.— Ирэн, вы поклянетесь в этом?

— Нет.

— Ах, вот как, а вы?

— Еще менее.

— Так, значит, вы виновны?

— Да, виновны.

Это сказала Ирэн своим ясным голосом и с тем неприступным видом, который так часто доводил его до бешенства. И, потеряв всякое самообладание, не помня себя, Сомс крикнул:

— Вы — дьявол!

— Вон! Уходите из этого дома, или я должен буду прибегнуть к насилию!

И он говорит о насилии! Да знает ли этот тип, что он мог бы сейчас схватить его за горло и задушить?

— Попечитель,— сказал Сомс,— присваивающий то, что ему доверено! Вор, не останавливающийся перед тем, чтобы украсть жену у своего двоюродного брата!

— Называйте меня, как хотите. Вы избрали свою долю, мы — свою. Уходите отсюда!

Если бы у Сомса было при себе оружие, он в эту минуту пустил бы его в ход.

— Вы мне за это заплатите!— сказал он.

— С величайшим удовольствием.

Это убийственное извращение смысла его слов сыном того, кто прозвал его «собственником», заставило Сомса остолбенеть от ярости. Это бессмысленно!

Так они стояли, сдерживаемые какой-то тайной силой. Они не могли ударить друг друга и не находили слов, чтобы выразить то, что они сейчас переживали. Но Сомс не мог и не знал, как он сможет повернуться и уйти. Глаза его были прикованы к лицу Ирэн: в последний раз видит он это роковое лицо, можно не сомневаться, в последний раз!

— Вы...— вдруг сказал он.— Я надеюсь, что вы поступите с ним так же, как поступили со мной,— вот и все.

Он увидел, как она передернулась, и со смутным чувством не то торжества, не то облегчения толкнул дверь, прошел через гостиную, вышел и сел в машину. Он откинулся на подушки, закрыв глаза. Никогда в жизни он не был так близок к убийству, никогда до такой степени не терял самообладания, которое было его второй натурой. У него было какое-то обнаженное, ничем не защищенное чувство, словно все его душевные силы, вся сущность улетучились из него: жизнь утратила всякий

смысл, мозг перестал работать. Солнечные лучи падали прямо на него, но ему было холодно. Сцена, которую он только что пережил, уже отошла куда-то, то, что ждало впереди, не имело очертаний, не материализовалось; он ни за что не мог ухватиться, и он испытывал чувство страха, словно висел на краю пропасти, словно еще один маленький толчок — и рассудок изменит ему. «Я не гожусь для таких вещей,— думал он.— Нельзя мне, я для этого не гожусь». Автомобиль быстро мчался по шоссе, и мимо, в механическом мелькании, проносились дома, деревья, люди, но все это было лишено всякого значения. «Как-то странно я себя чувствую,— подумал он,— не поехать ли мне в турецкую баню? Я... я был очень близок к чему-то страшному. Так нельзя». Автомобиль с грохотом пронесся по мосту, поднялся по Фулхем-род и поехал вдоль Хайд-парка.

— В Хаммам,— сказал Сомс.

Чудно́, что в такой жаркий летний день тепло может успокоить! Входя в парильню, он встретил выходившего оттуда Джорджа Форсайта, красного, лоснящегося.

— Хэлло,— сказал Джордж.— А ты зачем тренируешься? Ты, кажется, не страдаешь от излишков.

Шут! Сомс прошел мимо со своей кривой усмешкой. Лежа на спине и растираясь, чтобы вызвать испарину, он думал: «Пусть себе смеются. Я *не хочу* ничего чувствовать. Мне нельзя так волноваться. Мне это очень вредно!»

VII

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

После ухода Сомса в кабинете наступило мертвое молчание.

— Благодарю вас за вашу прекрасную ложь,— внезапно сказал Джолион.— Идемте отсюда, здесь уже воздух не тот.

Вдоль высокой, длинной, выходившей на юг стены, у которой шпалерами росли персики, они молча прогуливались взад и вперед. Старый Джолион посадил здесь несколько кипарисов, между этой покрытой дерном насыпью и отлогой лужайкой, поросшей лютиками и желтоглазыми ромашками; двенадцать лет росли они, пока их темные веретенообразные контуры не стали такими же, как у их итальянских собратьев. Птицы возились и порхали в мокрых от дождя кустах; ласточки чертили круги — быстрые маленькие тельца, отливающие стальной синевой; трава под ногами скрипела упруго, красуясь освеженной зеленью; бабочки гонялись друг за дружкой. После этой мучительной сцены мирная тишина природы казалась сладостной до остроты. Под нагретой солнцем стеной тянулась узкая грядка с резедой и анютиными глазками, а над нею гудели пчелы, и в этом глухом гуле тонули все другие звуки — мычание коровы, у которой отняли теленка, голос кукушки с вяза по ту сторону лужайки. Кто бы мог подумать, что в каких-нибудь десяти милях отсюда начинается Лондон — Лондон Форсайтов с его богатством и нищетой, грязью и шумом, с редкими островками каменного великолепия среди серого океана отвратительного кирпича и штукатурки! Этот

Лондон, который видел трагедию Ирэн и тяжелую жизнь молодого Джолиона; эта паутина, этот роскошный дом призрения, опекаемый инстинктом собственности!

И, в то время как они прогуливались здесь, Джолион думал об этих словах: «Я надеюсь, что вы поступите с ним так же, как поступили со мной». Это будет зависеть от него. Может ли он поручиться за себя? Способен ли Форсайт по своей натуре не сделать рабой ту, что внушает ему обожание? Может ли Красота довериться ему? И не лучше ли ей быть только гостьей, что приходит, когда ей вздумается, позволяя обладать собой лишь недолгое мгновение, и уходит и возвращается, когда захочет? «Мы из породы захватчиков,— думал Джолион,— грубых и алчных, цветок жизни не может быть в безопасности в наших руках. Пусть она придет ко мне, когда захочет, как захочет, или, если не захочет, не придет совсем. Пусть я буду ей опорой, насестом, но никогда, никогда не буду клеткой!»

Она была тем просветом Красоты, который он видел во сне. Пройдет ли он теперь сквозь занавес и обретет ли ее? Этот пышный покров врожденной привычки владеть, тесная смыкающаяся завеса инстинкта собственности — преградит ли она путь этой маленькой черной фигурке — ему и Сомсу — или занавес раздвинется и он сможет проникнуть в свое видение и найти в нем не только то, что доступно одним грубым чувствам? «Ах, если бы мне только постичь одно,— думал он,— только одно: как не завладеть, не погубить!»

За обедом нужно было обсудить план действий. Сегодня она вернется в отель, но завтра им придется поехать в Лондон. Ему нужно будет дать указания своему поверенному Джеку Хэрингу. Пусть он не вздумает и пальцем шевельнуть, с их стороны не должно быть никакого вмешательства в этот процесс. Возмещение убытков, судебные издержки — что угодно, пусть соглашается на все с самого начала, только бы наконец ей вырваться из этой петли! Он завтра же увидит Хэринга — они с Ирэн вместе поедут к нему. А потом за границу, так, чтобы не оставалось никаких сомнений, чтобы там могли собрать сколько угодно улик, чтобы ложь, произнесенная ею, стала правдой. Он поднял на нее глаза, и его благоговейному взору представилось, что против него сидит не просто женщина, а сама душа Красоты — глубокая, загадочная, которую старые мастера — Тициан, Джорджоне, Боттичелли — умели находить и запечатлевать на своих полотнах в лицах женщин,— эта неуловимая красота, казалось, осеняла ее лоб, ее волосы, ее губы, смотрела из ее глаз.

«И это будет моим!— подумал он.— Мне страшно!»

После обеда они вышли на террасу пить кофе. Они долго сидели — был такой чудесный вечер — и смотрели, как медленно спускается летняя ночь. Было все еще жарко, и в воздухе пахло цветущей липой — так рано этим летом. Две летучие мыши с таинственным, чуть слышным шуршанием носились по террасе. Он поставил стулья против стеклянной двери в кабинет, и мотыльки летели мимо них, на слабый свет в комнате. Не было ни ветра, ни малейшего шороха в листве старого дуба в двадцати шагах от них! Луна вышла из-за рощи уже почти полная, и два света

вступили в борьбу друг с другом, и лунный свет победил, он одел весь сад в другой цвет, сделал его неузнаваемым, скользя по каменным плитам, подкрался к их ногам, поднялся и изменил их лица.

— Ну что же,— сказал наконец Джолион,— я боюсь, что вы очень устанете, дорогая; нам уже пора идти. Девушка вас проводит в комнату Холли.— И, войдя в кабинет, он позвонил.

Вошла горничная и подала ему телеграмму. Глядя, как она уходит с Ирэн, он подумал: «Наверно, телеграмму принесли час назад, если не больше, и она не подала ее нам! Это знаменательно! Похоже, что нас скоро повесят за дело!» И, распечатав телеграмму, он прочел:

«Джолиону Форсайту, Робин-Хилл.— Ваш сын скончался безболезненно двадцатого июня. Глубоко сочувствуем»— и какая-то неизвестная фамилия.

Он выронил телеграмму, повернулся и замер. Луна светила на него, бабочка ударилась ему в лицо. Это первый день за все время, что он непрерывно не думал о Джолли. Ничего не видя, он шагнул к окну, наткнулся на старое кресло — кресло отца — и опустился на ручку. Он сидел сгорбившись, нагнувшись вперед, глядя перед собой в темноту. Сгорел, как свеча, вдали от дома, от любви, совсем один, в темноте! Его мальчик! С раннего детства такой добрый с ним, такой ласковый! Двадцать лет — и вот скошен, как трава, не успев и пожить! «Я, в сущности, не знал его,— думал Джолион,— и он меня не знал; но мы любили друг друга. Ведь только любовь и имеет значение».

Умереть там, одному, вдали от них, вдали от дома! Это казалось его форсайтскому сердцу более мучительным, более ужасным, чем сама смерть! Ни крова, ни заботы, ни любви в последние минуты! И все: глубоко заложенное в нем чувство родства, любовь к семье и крепкая привязанность к своей плоти и крови, которая так сильна была в старом Джолионе, так сильна во всех Форсайтах,— надрывалось в нем, пришибленное, раздавленное этой одинокой кончиной его мальчика. Лучше бы он умер в сражении, чтобы у него не было времени тосковать о них, звать их, быть может, в предсмертном бреду!

Луна зашла за дуб, и он как-то странно ожил и, казалось, наблюдал за ним — этот дуб, на который так любил взбираться его мальчик, а однажды он упал оттуда и расшибся, но не заплакал!

Дверь скрипнула. Он увидел, как вошла Ирэн, подняла телеграмму и прочла ее. Он услышал легкий шелест ее платья. Она опустилась на колени около него, и он заставил себя улыбнуться ей. Она протянула руки и положила его голову к себе на плечо. Ее аромат и тепло охватили его; и медленно она завладела всем его существом.

VIII

ДЖЕМС В ОЖИДАНИИ

Вспотев до восстановления душевного равновесия, Сомс пообедал в клубе «Смена» и отправился на Парк-лейн. Отец в последнее время чувствовал себя хуже. Эту историю придется скрыть от него! Никогда до

этой минуты Сомс не отдавал себе отчета в том, какое большое место в его чувствах занимал страх опозорить седины Джемса и свести его преждевременно в могилу; как тесно это было связано с его собственной боязнью скандала. Его привязанность к отцу, всегда очень глубокая, за последние годы еще усилилась, ибо он чувствовал, что отец смотрит на него как на единственную опору своей старости. Ему казалось ужасным, что человек, который всю жизнь так заботился, так много сделал для того, чтобы возвысить имя семьи, что оно теперь стало почти синонимом благосостояния и незыблемой респектабельности, должен при последнем издыхании увидеть свое имя во всех газетах. Это было все равно, что помогать смерти, этому исконному врагу Форсайтов. «Придется сказать матери,— думал он,— а когда все это начнется, нужно будет как-нибудь прятать от него газеты. Ведь он теперь почти никого не видит». Открыв дверь своим ключом, Сомс только начал подниматься по лестнице, как вдруг услышал какой-то шум на площадке второго этажа. Голос матери говорил:

— Но ведь ты же простудишься, Джемс. Почему ты не можешь подождать спокойно?

И голос отца отвечал:

— Подождать? Я всегда жду. Почему он не возвращается?

— Ты можешь поговорить с ним завтра утром, вместо того, чтобы торчать таким пугалом на лестнице.

— Он может пройти прямо к себе, не зайдя к нам, а я всю ночь не засну.

— Ну иди же в постель, Джемс!

— Ах, да ну, почем ты знаешь, что я не умру до завтра!

— Тебе не придется ждать до завтра. Я сойду вниз и приведу его. Можешь не волноваться.

— Вот ты всегда так, тебе все нипочем. А может быть, он и совсем не придет!

— Ну хорошо, если он не придет, какой толк будет от того, что ты будешь сторожить здесь в халате?

Сомс сделал последний поворот и увидел высокую фигуру отца в коричневом шелковом стеганом халате, перегнувшуюся через перила. Свет падал на его серебряные волосы и баки, образуя как бы сияние вокруг его головы.

— Вот он!— услышал он его голос, прозвучавший возмущенно, и спокойный ответ матери из спальни:

— Ну, вот и хорошо. Иди, я расчешу тебе волосы.

Джемс поманил его длинным согнутым пальцем — казалось, словно поманил скелет — и скрылся за дверью спальни.

«Что это с ним?— подумал Сомс.— Что бы он такое мог узнать?»

Отец сидел перед туалетом, повернувшись боком к зеркалу, а Эмили медленно проводила оправленными в серебро щетками по его волосам. Она делала это по нескольку раз в день, так как это оказывало на него почему-то такое же действие, как почесывание за ушами — на кошку.

— Наконец-то ты пришел!— сказал он.— Я тебя ждал.

Сомс погладил его по плечу и, взяв с туалета серебряный крючок для застегивания обуви, начал рассматривать на нем пробу.

— Ну как?— сказал он.— Вид у вас, кажется, лучше.

Джемс помотал головой.

— Мне нужно тебе что-то сказать. Мама об этом не знает.

Он сообщил об этом незнании Эмили того, чего он ей не говорил, как будто это была горькая обида.

— Папа сегодня в необыкновенном волнении весь вечер. И я, право, не знаю, в чем тут дело.

Мерное «уиш-уиш» щеток вторило ее спокойному, ласковому голосу.

— Нет! *Ты* ничего не знаешь,— сказал Джемс.— Мне может сказать только Сомс.— И, устремив на сына свои серые глаза, в которых было какое-то мучительное напряжение, он забормотал:— Я старею, Сомс. В моем возрасте... я ни за что не могу ручаться. Я могу умереть каждую минуту. После меня останется большой капитал. У Рэчел и Сисили детей нет. Вэл — на позициях, а этот молодчик, его отец, загребет все, что только можно. И Имоджин, того и гляди, кто-нибудь приберет к рукам.

Сомс слушал рассеянно — все это он уже слышал и раньше. «Уиш-уиш!»— шелестели щетки.

— Если это все...— сказала Эмили.

— Все!— подхватил Джемс.— Я еще ничего не сказал. Я только подхожу к этому,— и опять его глаза с жалобным напряжением устремились на Сомса.

— Речь о тебе, мой мальчик,— внезапно сказал он.— Тебе нужно получить развод.

Услышать эти слова из этих вот уст было, пожалуй, слишком для самообладания Сомса. Он быстро перевел глаза на обувной крючок, а Джемс, словно оправдываясь, продолжал:

— Я не знаю, что с ней стало, говорят, она за границей. Твой дядя Суизин когда-то восхищался ею — он был большой чудак.— Так Джемс всегда отзывался о своем покойном близнеце. «Толстый и тощий», называли их когда-то.— Она, надо полагать, живет не одна.

И, закончив свою речь этим умозаключением о воздействии красоты на человеческую природу, он замолчал, глядя на сына недоверчивыми, как у птицы, глазами. Сомс тоже молчал. «Уиш-уиш!»— шелестели щетки.

— Да будет тебе, Джемс! Сомсу лучше знать, как ему быть. Это уж его дело.

— Ах!— протянул Джемс, и, казалось, это восклицание вырвалось из самых недр его души.— Но ведь речь идет обо всем моем состоянии и об его тоже,— кому все это достанется? А когда он умрет — даже имя наше исчезнет.

Сомс положил крючок обратно на розовый шелк плетеной туалетной салфетки.

— Имя?— сказала Эмили.— А все остальные Форсайты?

— Как будто мне легче от этого,— прошептал Джемс.— Я буду в могиле, и если он не женится, никого после него не останется.

— Вы совершенно правы,— спокойно сказал Сомс.— Я подал о разводе.

Глаза у Джемса чуть не выскочили из орбит.

— Что?— вскричал он.— Вот, и мне никогда ничего не рассказывают!

— Ну, кто бы мог знать, что ты хочешь этого,— сказала Эмили.— Мой дорогой мальчик, но это действительно неожиданно, после стольких лет!

— Будет скандал,— бормотал Джемс, словно рассуждая сам с собой,— но тут уж я ничего не могу поделать. Не нажимай так сильно щеткой. Когда же это будет?

— До летнего перерыва. Та сторона не защищается.

Губы Джемса зашевелились, производя какие-то тайные вычисления.

— Я не доживу до того, чтобы увидеть моего внука,— прошептал он.

Эмили перестала водить щетками.

— Ну, конечно, доживешь, Джемс. Сомс поторопится, можешь быть уверен.

Наступило долгое молчание, наконец Джемс протянул руку.

— Дай-ка мне одеколон.— И, поднеся флакон к носу, он повернулся к сыну, подставляя ему лоб.

Сомс нагнулся и поцеловал этот лоб как раз в том месте, где начинали расти волосы. Лицо Джемса дрогнуло и разгладилось, словно мучительное беспокойство, грызущее его, вдруг сразу улеглось.

— Я иду спать,— сказал он.— Я не буду читать газет, когда все это случится. Это такая клика; мне не годится обращать на них внимание, я слишком стар.

Глубоко растроганный, Сомс повернулся и пошел к двери; он услышал, как отец сказал:

— Я очень устал сегодня; я помолюсь в постели.

А мать ответила:

— Вот и хорошо, Джемс; тебе так будет удобнее.

IX

ВЫПУТАЛСЯ ИЗ ПАУТИНЫ

На Форсайтской Бирже известие о смерти Джолли, погибшего рядовым солдатом среди кучки других солдат, вызвало противоречивые чувства. Странным казалось прочесть, что Джолион Форсайт (пятый носитель этого имени по прямой линии) умер от болезни на службе родине, и не иметь возможности переживать это, как личное несчастье. Это оживило старую обиду на его отца за то, что он так откололся от них. Ибо столь велик был престиж старого Джолиона, что никому из остальных Форсайтов не приходило в голову заикнуться, хотя этого и можно было бы ожидать, что они сами отвернулись от его потомков за предосудительное поведение. Разумеется, это известие увеличило общий интерес к Вэлу и беспокойство о нем; но Вэл носил имя Дарти, и если бы

он даже был убит на войне или получил крест Виктории, все-таки это было бы совсем не то, как если бы он носил имя Форсайт. Ни несчастье, ни слава Хэйменов тоже никого бы не удовлетворили. Семейной гордости Форсайтов не на что было опереться.

Как возникли слухи о том, что готовится,— ах, моя дорогая, что-то такое ужасное!— никто не мог бы сказать, и меньше всех Сомс, который всегда все держал в секрете. Возможно, чей-нибудь глаз увидал в списке судебных дел: «Форсайт против Форсайт и Форсайта»— и прибавил к этому: «Ирэн в Париже со светлой бородкой». Может быть, у какой-нибудь из стен на Парк-лейн были уши. Но факт оставался фактом — это *было* известно: старики шептались об этом, молодежь обсуждала — семейной гордости готовился удар.

Сомс, явившись однажды с воскресным визитом к Тимоти, причем он шел туда с чувством, что, как только начнется процесс, эти визиты прекратятся,— едва только вошел, понял, что здесь уже все известно. Никто, разумеется, не осмеливался заговорить при нем об этом, но все четыре присутствовавших Форсайта сидели как на углях, зная, что ничто не может помешать тете Джули поставить их всех в неловкое положение. Она так жалостно смотрела на Сомса, так часто обрывала себя на полуслове, что тетя Эстер извинилась и ушла, сказав, что ей нужно пойти промыть глаз Тимоти: у него начинается ячмень. Сомс держал себя невозмутимо и несколько надменно и оставался недолго. Он вышел, едва сдерживая проклятье, готовое сорваться с его бледных, чуть улыбающихся губ.

К счастью для своего рассудка, жестоко терзавшегося надвигающимся скандалом, Сомс день и ночь занимал его проектами своего ухода от дел, ибо он в конце концов пришел к этому мрачному решению. Продолжать встречаться со всеми этими людьми, которые считали его предусмотрительным, тонким советчиком, после этой истории,— нет, ни за что! Щепетильность и гордость, которые так странно, так тесно переплетались в нем с бесчувствием собственника, восставали против этого. Он уйдет от дел, будет жить своей жизнью, покупать картины, составит себе имя как коллекционер, у него, в сущности, к этому всегда больше сердце лежало, чем к юридической деятельности. Но, чтобы осуществить это, ныне бесповоротное решение, он должен позаботиться о слиянии своей фирмы с другим предприятием и так, чтобы это произошло втайне, ибо такой шэг, разумеется, может вызвать всеобщее любопытство и только заранее бросит на него тень унижения. Он остановил свой выбор на фирме «Кэткот, Холидей и Кингсон», два компаньона которой умерли. Полное название объединенной фирмы должно было бы быть: «Кэткот, Холидей, Кингсон, Форсайт, Бастард и Форсайт». Но после споров о том, кто из покойников пользуется большим влиянием среди живых, решили сократить название, оставив только: «Кэткот, Кингсон и Форсайт», причем Кингсон будет действующей, а Сомс немой фигурой. За свое имя, престиж и клиентуру Сомс должен был получить изрядный доход.

Однажды вечером он, как подобало человеку, достигшему столь важной ступени в своей жизненной карьере, занялся подсчетом того,

какой цифры достигла стоимость его персоны, и, скостив некоторую сумму на понижение ценностей по случаю войны, нашел, что она равняется приблизительно ста тридцати тысячам фунтов. После смерти отца, которая, увы, не за горами, он получит еще по меньшей мере тысяч пятьдесят, а его годовой расход пока еще не превышает двух тысяч. Стоя среди своих картин, Сомс видел перед собой будущность, богатую выгодными приобретениями, которые были ему обеспечены благодаря его безошибочной способности угадывать лучше, чем другие. Продавая то, что должно упасть в цене, придерживая то, что еще растет, и учитывая с осторожной проницательностью будущие требования вкуса, он составит редчайшую коллекцию, которая после его смерти отойдет государству как «дар Форсайта».

Если процесс окончится благополучно, он уже решил, как ему поступить с мадам Ламот. Он знал, что ее заветной мечтой было жить на ренту в Париже, около своих внуков. Он откупит ресторан «Бретань» за громадную цену. Мадам будет жить, как королева-мать, в Париже, на доходы от капитала, который уж она сумеет поместить, как нужно (между прочим, Сомс подумывал о том, чтобы поставить на ее место хорошего управляющего, и тогда ресторан будет приносить ему немалый процент на уплаченную сумму. В Сохо скрыты богатые возможности). За Аннет он пообещает закрепить пятнадцать тысяч фунтов — намеренно или случайно, как раз ту сумму, которую старый Джолион завещал «той женщине».

Из письма поверенного Джолиона к его поверенному выяснилось, что «эти двое» в Италии. Кроме того, они дали всем полную возможность установить, что до этого жили в отеле в Лондоне. Дело ясно как белый день, и разберут его в каких-нибудь полчаса; но за эти полчаса Сомс испытает все муки ада; а после того как эти полчаса пройдут, все носители имени Форсайт почувствуют, что роза утратила свой аромат. У него не было иллюзий, как у Шекспира, что роза, как ее ни назови, благоухает все так же. Имя — это то, чем человек владеет: реальное, ничем не забракованное имущество, и ценность его упадет, по крайней мере, на двадцать процентов. Если не считать Роджера, который однажды отказался выставить свою кандидатуру в парламент, и — о, ирония!— Джолиона, завоевавшего себе известность как художник, не было ни одного чем-нибудь заметного Форсайта. Но именно это отсутствие гласности и было величайшим достоянием их имени. Это было частное имя, в высшей степени индивидуальное, и оно было его личной собственностью; оно никогда ни с доброй, ни с худой целью не было использовано назойливой молвой. Он и каждый член его семьи владели им нераздельно, строго конфиденциально, не делая его объектом любопытства публики чаще, чем того требовали события — их рождения, браки, смерти. И в течение этих недель ожидания, когда сам он готовился сложить с себя звание служителя закона, Сомс проникся горькой ненавистью к этому закону — так глубоко возмущало его это неминуемое насилие над его именем, насилие, которое он должен был претерпеть во имя естественной потребности законным образом увековечить свое имя. Чудовищная несправедливость всего этого вызывала в нем постоянную

глухую злобу. Он не хотел ничего другого, как только жить честной семейной жизнью, и вот теперь, после всех этих бесплодных, одиноких лет, он должен явиться в суд и публично признаться в своей несостоятельности — в том, что он не может удержать жену,— вызвать жалость, удовольствие или презрение себе подобных. Все перевернулось вверх ногами. Страдать должны бы она и этот субъект, а они в Италии. И этот Закон, которому Сомс так верно служил, на который он с таким благоговением взирал как на оплот собственности, за эти недели стал казаться ему жалким убожеством. Что может быть бессмысленнее, чем сказать человеку: «Владей своей женой»,— а потом наказать его, если кто-нибудь незаконным образом отнимет ее у него. Или Закон не знает, что для человека имя — это зеница ока и что гораздо тяжелее прослыть обманутым мужем, чем обольстителем чужой жены? Он положительно завидовал этой репутации Джолиона, одержавшего победу там, где он, Сомс, проиграл. Вопрос о денежной компенсации тоже не давал ему покоя. Ему хотелось наказать этого субъекта, но ему вспомнились его слова: «С величайшим удовольствием»,— и он чувствовал, что взыскание денег причинит неприятность не Джолиону, а ему; он смутно угадывал, что Джолиону даже приятно будет заплатить деньги,— это такой распущенный человек! Кроме того, предъявлять денежные претензии было как-то не совсем удобно. Но это произошло само собой, почти механически; однако, по мере того как час испытания приближался, Сомсу начинало казаться, что и это тоже всего лишь какая-то уловка этого бесчувственного противоестественного Закона — для того чтобы выставить его, Сомса, в смешном виде; чтобы люди могли смеяться и говорить: «Да, да, он получил за нее изрядную сумму!» И он отдал распоряжение своему поверенному, чтобы тот заявил, что деньги будут пожертвованы на убежище для падших женщин. Он долго раздумывал, какое из благотворительных учреждений будет самым подходящим, и остановился на этом, но теперь, просыпаясь по ночам, думал: «Это не годится, слишком мрачно, это только привлечет внимание. Что-нибудь поскромнее, поприличнее». Он был равнодушен к собакам, а то бы, наверно, перенес свой выбор на них; в конце концов в полном отчаянии, ибо его осведомленность в делах благотворительности была весьма ограниченна, он решил остановиться на слепых. Это не может показаться неприличным, и это, разумеется, заставит суд назначить более высокую сумму.

Целый ряд процессов снимался со списка, который этим летом и так был очень невелик, и дело Сомса должно было слушаться уже в июле. В эти дни единственным утешением Сомса была Уинифрид. Она относилась к нему сочувственно, как человек, который сам побывал в такой передряге, и он мог ей довериться, зная, что она не станет откровенничать с Дарти. Этот негодяй только порадовался бы! В конце июля, накануне процесса, Сомс вечером пришел к ней. Они еще не выехали за город, так как Дарти уже истратил деньги, отложенные на летний отдых, а Уинифрид не решалась идти просить у отца, пока тот ждал, чтобы ему ничего не сказали об этом деле Сомса.

Она встретила его с письмом в руке.

— От Вэла?— мрачно спросил он.— Что он пишет?

— Он пишет, что женился,— сказала Уинифрид.

— На ком это, господи боже?

Уинифрид подняла на него глаза.

— На Холли Форсайт, дочери Джолиона.

— Что?

— Получил разрешение и женился. Я даже не знала, что он знаком с нею. Как это все неудобно, правда?

Сомс отрывисто засмеялся на эту ее характерную манеру употреблять ничего не значащие слова.

— Неудобно! Ну, я не думаю, что они об этом что-нибудь узнают прежде, чем вернутся. Да и лучше им оставаться там. Ее отец даст ей денег.

— Но я хочу, чтобы Вэл вернулся,— сказала Уинифрид почти жалобно.— Мне его недостает. Мне легче, когда он со мной.

— Я знаю,— пробормотал Сомс.— А как Дарти ведет себя теперь?

— Могло быть и хуже; вечные истории с деньгами. Ты хочешь, чтобы я завтра поехала в суд, Сомс?

Сомс протянул ей руку. Этот жест так явно изобличал его одиночество, что она крепко пожала его руку обеими руками.

— Ничего, голубчик, зато тебе будет гораздо легче, когда все это кончится.

— Я не знаю, что я такого сделал,— хрипло сказал Сомс.— И никогда не знал. Все как-то перевернулось вверх ногами. Я любил ее, я ее всегда любил.

Уинифрид увидела, как кровь выступила на его губе, и это ее страшно потрясло.

— Ну конечно,— сказала она,— это все *очень* гадко с ее стороны. Но что же мне делать с этой женитьбой Вэла, Сомс? Я не знаю, что ему написать в связи с этой историей? Ты видел эту девочку — хорошенькая она?

— Да, она хорошенькая,— сказал Сомс.— Брюнетка, и в ней есть что-то аристократическое.

«Не так уж плохо,— подумала Уинифрид.— У Джолиона всегда был стиль!»

— Все-таки это какая-то путаница,— сказала она.— Что скажет папа?

— Ему незачем говорить об этом,— сказал Сомс.— Война теперь скоро кончится, и хорошо было бы, если бы Вэл купил там участок земли и обзавелся хозяйством.

Это было равносильно тому, как если бы он сказал ей, что считает племянника погибшим.

— Монти я ничего не говорила,— упавшим голосом прошептала Уинифрид.

Дело начало слушаться на следующий день около двенадцати часов и заняло немногим больше получаса. Сомс, с грустными глазами, бледный, элегантный, стоял перед судом; он столько перестрадал до этого,

что теперь уже ничего не чувствовал. Как только объявили решение суда, он покинул зал.

Через каких-нибудь четыре часа его имя сделается достоянием публики! Бракоразводный процесс присяжного поверенного! Глухая, горькая злоба сменила чувство мертвого равнодушия. «Будь они все прокляты!— думал он.— Я не буду прятаться. Я буду вести себя так, как если бы ничего не случилось». И по нестерпимо знойной Флит-стрит и Лэдгейт-Хилл он отправился пешком в свой клуб в Сити, позавтракал и затем пошел в контору. Там, не отрываясь, работал до вечера.

Когда, собравшись идти домой, Сомс вышел из кабинета, он увидел, что клерки уже все знают, но он встретил их недовольные взгляды таким саркастическим взглядом, что они немедленно отвели глаза.

У собора св. Павла он остановился купить самую аристократическую из вечерних газет. Да! Вот оно! «Бракоразводный процесс известного присяжного поверенного. Соответчик — двоюродный брат. Взысканная с ответчика компенсация жертвуется в пользу слепых!»— значит, они все-таки напечатали это! Глядя на встречные лица, он думал: «Интересно, знаете вы или нет?» И вдруг он почувствовал себя как-то странно, словно у него что-то завертелось в голове.

Что это такое? Он не должен поддаваться этому! Не должен! Ведь так можно заболеть. Не нужно думать! Он поедет к себе за город, на реку, будет грести, ловить рыбу. «Я не позволю себе заболеть!»— подумал он.

Вдруг он вспомнил, что ему необходимо сделать что-то очень важное, прежде чем уехать из города. Мадам Ламот! Он должен объяснить ей предусмотренный законом порядок. Еще шесть месяцев должно пройти, прежде чем он будет действительно свободен. Только ему не хочется видеть Аннет! И он провел рукой по голове: она была очень горячая.

Он свернул и пошел по Ковент-Гарден. В этот знойный июльский день воздух старого рынка, зараженный запахом гниющих отбросов, вызывал у него отвращение, а Сохо, более чем когда-либо, казался безотрадным притоном всякого сброда. Только ресторан «Бретань», чистенький, нарядно выкрашенный, со своими голубыми кадками и карликовыми деревцами, сохранял независимое, типично французское достоинство и самоуважение. Сейчас были часы затишья, и бледные, опрятно одетые официантки накрывали столики к обеду. Сомс прошел в жилую половину. К его великому огорчению, на стук его открыла Аннет. Она тоже была бледная, изнемогающая от жары.

— Вы нас совсем забыли,— вяло сказала она.

Сомс улыбнулся.

— Это не моя вина; я был очень занят. Где ваша матушка, Аннет? Мне нужно ей кое-что сообщить.

— Мамы нет дома.

Сомсу показалось, что она как-то странно смотрит на него. Что ей известно? Что ей рассказала мать? Старание угадать это вызвало мучительно-болезненное ощущение у него в голове. Он ухватился за край

стола и смутно увидел, что Аннет подошла к нему, глядя на него прояснившимися от удивления глазами. Он закрыл глаза и сказал:

— Ничего, сейчас пройдет. У меня, наверно, был легкий солнечный удар!

Солнечный! Уж если что и ударило его, так это мрак! Голос Аннет, сдержанный голос француженки, сказал:

— Сядьте, у вас скорей пройдет.

Ее рука нажала на его плечо, и Сомс опустился в кресло. Когда ощущение мрака прошло и он открыл глаза, он увидел, что она смотрит на него. Какое непостижимое и странное выражение для двадцатилетней девушки!

— Вам лучше теперь?

— Все прошло,— сказал Сомс.

Инстинкт подсказывал ему, что, обнаруживая перед ней слабость, он не выигрывает: возраст и без того достаточное препятствие. Сила воли — вот что возвысит его в глазах Аннет. Все эти последние месяцы он отступал из-за нерешительности, больше он уже не будет отступать. Он встал и сказал:

— Я напишу вашей матушке. Я уезжаю в свой загородный дом на довольно продолжительное время. Я бы хотел, чтобы вы обе приехали погостить ко мне. Сейчас там самое лучшее время. Вы приедете, не правда ли?

— Мы будем очень рады.

Такое изящное грассирование этого «р», но ни малейшего энтузиазма. И с некоторым огорчением он прибавил:

— Вы тоже страдаете от жары, Аннет? Вам будет очень полезно побыть на реке. До свидания.

Аннет наклонилась вперед. В этом движении промелькнуло что-то вроде раскаяния.

— А вы в состоянии идти? Может быть, вы выпьете кофе?

— Нет,— твердо сказал Сомс.— Дайте мне вашу руку.

Она протянула ему руку, и Сомс поднес ее к губам. Когда он поднял глаза, то опять увидел то же странное выражение на ее лице. «Непонятно,— думал он, выходя от нее,— но не надо думать, не надо мучиться».

Но он все же мучился, идя по направлению к Пэл-Мэл. Англичанин, чужой для нее религии, человек в летах, в прошлом семейная трагедия — что он может дать ей? Только богатство, положение в обществе, обеспеченную жизнь, успех! Это много, но достаточно ли это для красивой двадцатилетней девушки? Он так мало знает Аннет. Кроме того, у него был какой-то необъяснимый страх перед этим французским характером ее матери, да и ее самой. Они так хорошо знают, чего хотят. Это почти Форсайты! Они никогда не погонятся за тенью, не упустят реальной возможности!

Невероятное усилие, которое ему пришлось сделать над собой для того, чтобы, придя в клуб, написать коротенькую записку мадам Ламот, лишний раз показало ему, что он окончательно выдохся.

вушку отдаться вам на всю жизнь, если вы на самом деле не затронули ее сердца?»— он ответил бы: «Француженки иначе смотрят на эти вещи. Для них брак — это возможность устроиться, завести детей, и я по собственному опыту скажу: я совсем не уверен, что эта точка зрения не есть самая разумная. На этот раз я не жду больше того, что я могу получить, ни того, что она может дать. Я не удивлюсь, если через несколько лет у меня будут какие-нибудь неприятности с ней; но я к тому времени буду уже стар, у меня будут дети. Я просто закрою глаза на это. Я уже испытал большое чувство, ей, может быть, еще предстоит испытать его, и вряд ли это чувство будет ко мне. Я даю ей многое, а взамен жду совсем немного — только детей или хотя бы одного сына. Но в одном я совершенно уверен — это в том, что она обладает большим здравым смыслом».

И если бы неотвязчивый собеседник, все еще не удовлетворившись, спросил: «Значит, вы не ищете в этом браке духовного общения?»— Сомс усмехнулся бы своей кривой усмешкой и ответил: «Это уж как придется. Если чувства будут удовлетворены и мое «я» будет увековечено в потомстве, если дома у меня будет хороший тон и хорошее настроение — это все, чего я могу желать в моем возрасте. Я вовсе не склонен мечтать о каких-то преувеличенных чувствах». После этого собеседник, если он обладает достаточным тактом, должен прекратить свой допрос...

Королева умерла, и в воздухе величайшей столицы мира стояла серая мгла непролитых слез. В меховом пальто, в цилиндре, Сомс с Аннет, укутанной в темные меха, пробравшись сквозь толпу на Парк-лейн в это утро похоронного шествия, остановился у ограды Хайд-парка. Хотя обычно всякие происшествия общественного характера мало волновали Сомса, это глубоко символическое событие, это завершение длительной блестящей эпохи произвело на него впечатление. В тридцать седьмом году, когда королева взошла на престол, «Гордый Доссет» еще строил дома, уродовавшие Лондон, а Джемс, двадцатишестилетний юноша, только закладывал фундамент своей юридической карьеры. Еще ходили почтовые кареты, мужчины носили пышные галстуки, брили верхнюю губу, ели устрицы прямо из бочонков, на запятках карет красовались грумы, женщины на все говорили: «Скажите!»— и не имели прав на собственное имущество. В стране царила учтивость, для нищих строили закуты, бедняков вешали за ничтожные преступления, и Диккенс только что начинал писать. Без малого два поколения сменилось с тех пор, а за это время — пароходы, железные дороги, телеграф, велосипеды, электричество, телефоны и вот теперь эти автомобили — такое накопление богатств, что восемь процентов превратились в три, а Форсайты насчитываются тысячами. Изменились нравы, изменились манеры, люди еще на одну ступень отошли от обезьян, богом стал Маммона — Маммона такой респектабельный, что сам себя не узнавал. Шестьдесят четыре года покровительства собственности создали крупную буржуазию, приглаживали, шлифовали, поддерживали ее до тех пор, пока она манерами, нравами, языком, внешностью, привычками и душой почти не перестала отличаться от аристократии. Эпоха, так позолотившая свободу личности, что если у человека были деньги, он был свободен по закону и

в действительности, а если у него не было денег, он был свободен только по закону, но отнюдь не в действительности; эпоха, так канонизировавшая фарисейство, что для того, чтобы быть респектабельным, достаточно было казаться им. Великий век, всеизменяющему воздействию которого подверглось все, кроме природы человека и природы вселенной.

И для того чтобы посмотреть, как уходит этот век, Лондон, его любимец и баловень, вливал потоки своих граждан сквозь все ворота в Хайд-парк, этот оплот викторианства, заповедный остров Форсайтов. Под серым небом, которое вот-вот, казалось, брызнет мелким дождем, темная толпа собралась посмотреть на пышное шествие. Добрая старая королева, богатая добродетелью и летами, в последний раз вышла из своего уединения, чтобы устроить Лондону праздник. Из Хаундсдитча, Эктона, Илинга, Хэмстеда, Излингтона и Бетнел-грина, из Хэкни, Хорнси, Лейтонстона, Бэттерси и Фулхема и с тех зеленых пастбищ, где расцветают Форсайты,— Мэйфэра и Кенсингтона, Сент-Джемса и Белгрэвии, Бэйсуотера и Челси и Риджент-парка стекался народ на улицы, по которым сейчас с мрачной помпой и в пышном параде пройдет смерть. Никогда больше не будет ни одна королева царствовать так долго, и народу не придется больше поглядеть, как хоронят такую долгую эпоху. Какая жалость, что война все еще тянется и нельзя возложить на гроб венок победы! Но, кроме этого, в проводах будет все: солдаты, матросы, иностранные принцы, приспущенные знамена и похоронный звон, а главное — огромная, волнующаяся, одетая в траур толпа, в которой, может быть, не одно сердце под черной одеждой, надетой ради этикета, сжимается легкой грустью. В конце концов это не только королева уходит на покой, это уходит женщина, которая мужественно терпела горе, жила, как умела, честно и мудро.

В толпе перед оградой парка Сомс, стоя под руку с Аннет, ждал. Да! Век уходит! Со всем этим тред-юнионизмом и с этими лейбористами в парламенте, с этими французскими романами и ощущением чего-то такого в воздухе, чего не выразишь словами, все пошло совсем по-другому; он вспомнил толпу в ночь взятия Мейфкинга и слова Джорджа Форсайта: «Они все социалисты, они зарятся на наше добро». Сомс, подобно Джемсу, ничего не знал, ничего не мог сказать, что будет, когда на престол сядет этот Эдуард. Никогда уж больше не будет так спокойно, как при доброй старой Викки! Он, вздрогнув, прижал руку своей молодой жены. Это, по крайней мере, было что-то его собственное, что-то наконец снова его неотъемлемо-домашнее, то, ради чего стоит иметь собственность, что-то действительно реальное. Крепко прижимая ее к себе и стараясь отгородить от других, Сомс чувствовал себя довольным. Толпа шумела вокруг них, ела бутерброды, стряхивала крошки; мальчишки, взобравшись на платаны, болтали как мартышки, бросались сучьями и апельсинными корками. Время уже прошло, процессия должна вот-вот показаться! И вдруг чуть-чуть левее позади он увидел высокого мужчину в мягкой шляпе, с короткой седеющей бородкой, и высокую женщину в маленькой круглой меховой шапочке под вуалью. Джолион и Ирэн, болтая, улыбались, стояли, тесно прижавшись друг к другу, как он и Аннет! Они не видели его; и украдкой, с каким-то очень стран-

ным чувством, Сомс наблюдал за ними. Они кажутся счастливыми! Зачем они пришли сюда, эти двое — отвернувшиеся от всех законов, восставшие против идеалов викторианства? Что нужно им в этой толпе? Каждый из них дважды изгнан приговором морали — и вот они здесь, точно хвастаются своей любовью и беспутством. Он как зачарованный следил за ними, признавая с завистью даже и теперь, когда рука Аннет покоилась в его руке, что она, Ирэн... Нет! Он этого не признает, и он отвел глаза. Он не хочет видеть их, не хочет, чтобы прежняя горечь, прежнее желание снова вспыхнули в нем! Но тут Аннет повернулась к нему и сказала:

— Вот эти двое, Сомс, они знают вас, я уверена. Кто они такие?

Сомс покосился.

— Где? Кто?

— Да вот, видите; они как раз уходят. Они вас знают.

— Нет,— ответил Сомс,— вы ошибаетесь, дорогая.

— Очаровательное лицо! И какая походка! Elle est très distingué[1].

Тогда Сомс посмотрел им вслед. Вот так, этой спокойной походкой, она вошла в его жизнь и ушла из нее — прямая, недоступная, далекая, всегда уклонявшаяся от духовного общения с ним! Он резко отвернулся от этого удаляющегося видения прошлого.

— Смотрите-ка лучше сюда,— сказал он,— идут!

Но, стоя рядом с ней, крепко прижимая к себе ее руку и как будто с интересом следя за приближающейся процессией, он содрогался от чувства невозвратимой утраты, от острого сожаления, что они не принадлежат ему обе.

Медленно приближалась музыка и погребальное шествие, и наконец среди всеобщей тишины длинная процессия влилась в ворота парка. Он услышал, как Аннет прошептала: «Как печально и как прекрасно!»— почувствовал, как она крепко сжала его руку, приподнимаясь на цыпочки, и волнение толпы захватило его. Вот он, катафалк королевы,— медленно плывущий мимо гроб Века! И по мере того, как он медленно двигался, из сомкнутых рядов толпы, следившей за ним, подымался глухой стон; никогда в жизни Сомс не слышал такого звука, это было что-то такое бессознательное, первобытное, глубокое, безудержное, что ни он, ни кто другой не отдавали себе отчета, не исходит ли он от каждого из них. Непостижимый звук! Дань Века собственной своей смерти!.. А-а-а! А-а-а!.. Исчезает опора жизни! То, что казалось вечным, уходит! Королева — упокой ее, господи!

Он плыл вместе с катафалком, этот неудержимый стон, как огонь плывет по траве узенькой полоской. Не отставая, шаг за шагом он следовал за ним по сомкнутым рядам толпы, из ряда в ряд. Это был человеческий и в то же время нечеловеческий стон, исторгаемый животным подсознанием, сокровеннейшим прозрением того, что все умирает, все изменяется. Никто из нас, никто из нас не вечен!

Когда он смолк, наступила тишина, не надолго, очень не надолго, пока тут же не развязались языки, спеша обсудить интересное зрелище.

[1] У нее очень благородная внешность *(фр.)*.

Сомс постоял еще немножко, чтобы доставить удовольствие Аннет, потом вывел ее из парка и отправился с нею на Парк-лейн завтракать к отцу...

Джемс провел утро, не отходя от окна своей спальни. Последнее пышное зрелище, которое ему суждено увидеть,— последнее из всех! Итак, она умерла! Конечно, она уже была старая женщина. Суизин и он присутствовали при ее коронации: тоненькая, стройная девочка, моложе Имоджин! Она потом очень располнела. Они с Джолионом видели, как ее венчали с этим немцем, ее супругом; он оказался вполне порядочным, а потом умер, оставив ее с сыном. И Джемс вспоминал, как, бывало, вечерами собирались братья и друзья и как, сидя после обеда за бутылкой вина, они, покачивая головами, беседовали меж собой об этом юнце. И вот теперь он вступил на престол. Говорят, он остепенился — вот этого уж он не знает, не может сказать! Наверно, будет сорить деньгами. Какая масса народу! Кажется, совсем не так давно они с Суизином стояли в толпе перед Вестминстерским аббатством, когда ее короновали, а потом Суизин повез его в Креморн — веселый был этот Суизин; кажется, будто это было почти так же недавно, как юбилейный год, когда они с Роджером сняли сообща балкон на Пикадилли. Джолион, Суизин, Роджер — все умерли, а ему в августе будет девяносто! И вот теперь Сомс женился на этой француженке. Французы странный народ, но он слышал, что француженки хорошие матери. Времена меняются! Говорят, германский император приехал на похороны; а ведь его телеграмма тогда старику Крюгеру была прямо-таки неприличного тона. И он не удивится, если когда-нибудь этот молодчик наделает хлопот. Все меняется! Гм! И придется им самим заботиться о себе, когда он умрет; что еще с ним будет, он не знает! Вот сегодня Эмили пригласила Дарти к завтраку с Уинифрид и Имоджин, чтобы принять всей семьей жену Сомса. Вечно она что-нибудь придумает! А Ирэн, говорят, живет с этим Джолионом. Верно, он теперь на ней женится.

«Брат Джолион,— подумал Джемс,— что бы он сказал на все это?» И полная невозможность представить себе, что сказал бы его старший брат, к мнению которого он всегда прислушивался, так расстроила Джемса, что он поднялся со своего кресла и медленно, с усилием начал ходить взад и вперед по комнате.

«А какая была красотка!— думал он.— И я так к ней привязался. Может быть, Сомс не подходил ей, не знаю, не могу сказать. У нас никогда не было никаких неприятностей с *нашими* женами». Женщины изменились, все изменилось! И вот теперь королева умерла — что ты скажешь! Он заметил какое-то движение в толпе и остановился у окна, прижавшись к холодному стеклу, так что кончик носа у него сразу побелел. Они уже выходят с ней из-за угла Хайд-парка, сейчас они пройдут мимо! Почему Эмили не идет сюда наверх посмотреть, вместо того чтобы суетиться с этим завтраком? Ему недоставало ее в эту минуту, недоставало! Сквозь голые сучья платанов ему видно было, как двигалась процессия, как толпа обнажила головы,— наверно, масса народу простудится! Голос позади него сказал:

— Оказывается, тебе здесь отлично все видно, Джемс!

— Наконец-то!— пробормотал Джемс.— Почему ты раньше не пришла? Ты ведь могла все пропустить!

И он замолчал, глядя напряженно и пристально.

— Что это за шум?— вдруг спросил он.

— Никакого нет шума,— сказала Эмили,— ты что думаешь, ведь не может быть никаких приветствий!

— Но я слышу.

— Глупости, Джемс!

Ни малейшего звука не доносилось сквозь двойные рамы. То, что Джемс слышал, это был стон его собственного сердца, в то время как он взирал на то, как уходит его Век.

— Пожалуйста, никогда не говори мне, где меня похоронят,— неожиданно сказал он.— Я не хочу этого знать.

И он отошел от окна. Вот она и ушла, старая королева; у нее было много неприятностей — наверно, она рада, что избавилась от них!

Эмили взяла с туалета головные щетки.

— Тебе нужно причесаться,— сказала она,— пока они не пришли. Ты должен сегодня быть как можно красивее, Джемс!

— Ах!— вздохнул Джемс.— Говорят, она хороша собой!

Встреча Джемса с его новой невесткой состоялась в столовой. Джемс сидел у камина, когда они вошли. Он оперся обеими руками на ручки кресла и медленно поднялся ей навстречу. Слегка согнувшийся, безукоризненный в своем сюртуке, тонкий, как линия у Евклида, он взял руку Аннет в свою руку. Изрезанное морщинами лицо, с которого уже сошел румянец, склонилось над нею, и озабоченные глаза пытливо устремились на нее. Словно блеском ее цветущей молодости вспыхнули и его глаза и щеки.

— Как поживаете?— сказал он.— Вы, наверно, ходили смотреть на королеву? Хорошо ли вы перенесли переезд морем?

Так приветствовал он ту, от которой ждал внука.

Аннет, глядя на него, такого старого, худого, белого, как лунь, безукоризненно одетого, пролепетала что-то по-французски, чего Джемс не понял.

— Да, да,— сказал он.— Я думаю, вы проголодались. Сомс, позвони, пожалуйста. Мы не будем дожидаться этого Дарти.

Но как раз в эту минуту они пожаловали. Дарти не пожелал изменять своим привычкам ради того, чтобы посмотреть на «старушку». Заказав себе с утра коктейль, он любовался этим зрелищем из окна курительной «Айсиум-Клуба», так что Уинифрид с Имоджин пришлось зайти за ним в клуб из парка. Его карие глаза остановились на Аннет почти с изумленным восхищением. Вторую красавицу подцепил этот Сомс! И что только женщины находят в нем! Конечно, она сыграет с ним такую же штуку, как та; но пока что ему повезло! И Дарти подкрутил усы: за девять месяцев семейного благоденствия на Грин-стрит он почти в полной мере обрел и свою былую полноту, и свою самоуверенность. Несмотря на ласковые хлопоты Эмили, спокойную выдержку Уинифрид, дружелюбную приветливость Имоджин, самодовольную развязность

Дарти и заботы Джемса о том, чтобы Аннет ела, Сомс чувствовал, что этот завтрак не очень удачный дебют для его жены. Он скоро увез ее.

— Этот мсье Дарти,— сказала Аннет, когда они сели в кеб,— je n'aime pas ce tupe là![1].

— Упаси боже, нет!— сказал Сомс.

— У вас очень милая сестра, и дочка у нее очень хорошенькая. А ваш отец очень старый. Мне кажется, вашей матери должно быть с ним много хлопот, я бы не хотела быть на ее месте.

Сомс кивнул, одобряя проницательность и ясное, твердое суждение своей молодой жены; но оно как-то немножко смущало его. Может быть, у него мелькала мысль: «Когда мне будет восемьдесят, ей будет только пятьдесят пять, и ей тоже будет со мной много хлопот».

— Мы теперь должны побывать еще в одном доме у моих родственников, они вам покажутся чудаками, но с этим уж нужно примириться; а потом мы пообедаем и поедем в театр.

Так он подготовлял ее к знакомству с обитателями дома Тимоти. Но у Тимоти все было совсем по-другому. Они были *так рады* увидеть дорогого Сомса после такого долгого перерыва; ах, вот она какая, Аннет!

— Вы такая красавица, моя милочка; пожалуй, даже чересчур молоды и хороши для дорогого Сомса, не правда ли! Но он такой внимательный и заботливый, такой хороший...

Тетя Джули чуть было не сказала «муж», но удержалась и приложилась губами к щечкам Аннет, чуть пониже глаз, которые она потом расписывала Фрэнси, когда та заехала к ней: синие, как васильки, такие красивые, мне так и хотелось расцеловать их. Я должна сказать, что милый Сомс действительно знаток. В таком французском стиле, впрочем, не совсем французском, и такая же красавица — правда, не такая интересная, не такая обаятельная, как Ирэн. Потому что ведь, правда же, Ирэн была обаятельна — эта ее молочная кожа, темные глаза и эти волосы couleur de... как это, я всегда забываю?

— Feuille morte,— подсказала Фрэнси.

— Да, да, опавших листьев — как странно! Я помню, когда я была девушкой, перед тем как мы приехали в Лондон, у нас был маленький щенок, гончая, не для охоты, а просто мы с ним ходили гулять, у него было рыжеватое пятно на голове и белая грудь и замечательные карие глаза, и это была особа женского пола.

— Да, тетечка,— сказала Фрэнси,— но я не понимаю, при чем это тут.

— Ах!— воскликнула тетя Джули в каком-то экстазе.— Она была очаровательная, эти глаза и это пятно, ну, знаешь...— Она замолчала, словно боясь о чем-то проговориться.— Feuille morte,— прибавила она неожиданно.— Эстер, запомни, пожалуйста!..

Сестры долго и оживленно обсуждали вопрос, позвать или не позвать Тимоти, чтобы он пришел посмотреть на Аннет.

— Пожалуйста, не беспокойтесь,— сказал Сомс.

— Но здесь нет никакого беспокойства, только разве то, что Аннет

[1] Мне не нравятся такие люди! *(фр.)*

француженка, и это, может быть, расстроит его. Он так напуган этой историей с Фашодой. Я думаю, нам лучше не рисковать, Эстер. Так приятно, что она побудет здесь запросто с нами. А как ты поживаешь, Сомс? Ты теперь совсем покончил с твоим...

Эстер живо вмешалась:

— Как вам понравился Лондон, Аннет?

Сомс с некоторой тревогой ждал, что она ответит. Разумно, сдержанно она сказала:

— О! Я знаю Лондон. Я бывала здесь раньше.

Он до сих пор не решился поговорить с ней насчет ресторана. У французов несколько другое представление о хорошем тоне, и, может быть, ей покажется странным, что можно стесняться таких вещей; он хотел поговорить с ней об этом после того, как они поженятся, и теперь жалел, что забыл это сделать.

— А какую часть Лондона вы лучше всего знаете?— спросила тетя Джули.

— Сохо,— просто сказала Аннет.

Сомс стиснул зубы.

— Сохо?— повторила тетя Джули.— Сохо?

«Теперь это обойдет всех»,— подумал Сомс.

— Это действительно квартал во французском духе и очень любопытный,— сказал он.

— Да,— протянула тетя Джули.— У твоего дяди Роджера когда-то были там дома, я помню, ему всегда приходилось выселять оттуда жильцов.

Сомс перевел разговор на Мейплдерхем.

— Ну конечно,— сказала тетя Джули.— Вы теперь, наверно, отправитесь туда и будете там жить. Мы все ждем не дождемся, когда у Аннет будет милый маленький...

— Джули!— вскричала тетя Эстер с отчаянием в голосе.— Позвони, чтобы дали чаю.

Сомс не решился ждать чаю и увез Аннет.

— Я бы на вашем месте не стал упоминать о Сохо,— сказал он, когда они сели в кеб.— Этот квартал пользуется довольно сомнительной репутацией; а вы теперь выше того круга, в котором вращались, будучи в этом ресторане. Понимаете,— прибавил он,— я хочу ввести вас в хорошее общество, а англичане ужасные снобы.

Ясные глаза Аннет широко раскрылись; на губах мелькнула улыбка.

— Да?— сказала она.

«Гм!— подумал Сомс.— Это на мой счет»,— и он строго посмотрел на нее. «У нее очень трезвый взгляд на вещи,— подумал он.— Я должен раз навсегда заставить ее понять».

— Послушайте, Аннет, это очень просто, нужно только вникнуть. У нас люди, занимающиеся свободной профессией, и богатые люди, живущие на свой капитал, считают себя выше людей, занимающихся какой-нибудь коммерческой деятельностью; исключение, конечно, для очень богатых. Может быть, это и глупо, но это так. В Англии не рекомендуется сообщать людям, что вы держали ресторан или лавку или во-

обще занимались какой-нибудь торговлей. Может быть, это и очень достойное занятие, но это кладет известное клеймо; вы уже не сможете бывать в таком хорошем обществе и вести такую светскую жизнь — вот и все.

— Я понимаю,— сказала Аннет,— это так же, как и во Франции.

— О да!— пробормотал Сомс, несколько озадаченный, но в то же время с облегчением.— Разумеется, класс — это все.

— Да,— сказала Аннет.— Comme vous êtes sage![1]

«Все это так,— подумал Сомс, глядя на ее губы,— только она все-таки очень цинична». Его знание языка было не настолько велико, чтобы он мог огорчиться тем, что она и по-французски не сказала ему «tu». Он обнял ее и, старательно выговаривая слова, прошептал:

— Et vous êtes ma belle femme[2].

Аннет расхохоталась.

— Oh, non! — сказала она.— Oh, non! ne parlez pas francais[3], Сомс. А чего это ждет не дождется эта старая дама, ваша тетя?

Сомс закусил губу.

— Бог ее знает,— сказал он,— она вечно что-нибудь скажет.

Но он знал лучше бога.

XI

ЗАТИШЬЕ

Война затягивалась. Рассказывали, будто Николас утверждал, что она обойдется, по крайней мере, в триста миллионов, пока ее доведут до конца! Подоходный налог грозил чрезвычайно повыситься. Зато теперь они получат за свои денежки Южную Африку, раз и навсегда. И хотя собственнический инстинкт в три часа утра подвергался тяжелой встряске, он приободрялся за завтраком, утешаясь тем, что в этой жизни ничего не дается даром. Так что в общем люди занимались своими делами, как будто не было ни войны, ни концентрационных лагерей, ни несговорчивого Девета, ни недовольства на континенте, ничего неприятного. В сущности, настроение Англии можно было уподобить карте Тимоти, на которой теперь наступило затишье, потому что Тимоти больше не переставлял флажков, а сами они не могли двигаться ни взад, ни вперед, как бы им подобало.

Затишье чувствовалось не только здесь; оно захватило Форсайтскую Биржу и вызывало чувство всеобщей неуверенности относительно того, что же будет дальше. Объявление в столбце браков в «Таймсе»: «Джолион Форсайт с Ирэн, единственной дочерью покойного профессора Эрона»,— вызвало сомнение, правильно ли была названа в газете Ирэн. Но в общем все почувствовали облегчение, что не было напечатано: «Ирэн, бывшая жена», или: «Разведенная жена Сомса Форсайта». Можно даже сказать, что отношение семьи к этой «истории» с самого начала носило возвышенный характер. Как говорил Джемс, «дело сделано».

[1] Какой вы умный! *(фр.)*

[2] А вы моя красавица жена *(фр.)*.

[3] Ах нет, не говорите по-французски *(фр.)*.

И нечего волноваться. Что проку признавать, что это была, как теперь принято выражаться, «прескверная история».

Но что будет теперь, когда Сомс и Джолион оба снова женились? Это вот очень интересно. Говорили, что Джордж держал с Юстасом пари, что маленький Джолион появится раньше маленького Сомса. Джордж такой комик! Рассказывали еще, что у него было пари с Дарти, доживет ли Джемс до девяноста лет, хотя кто из них держал за Джемса, неизвестно.

Как-то в начале мая заехала Уинифрид и рассказала, что Вэл ранен в ногу пулей на излете и теперь выбыл из строя. За ним ухаживает его жена. Он будет чуть-чуть прихрамывать; но это даже не будет заметно. Он просит дедушку купить ему там участок земли и ферму, он хочет разводить лошадей. Отец Холли дает ей восемьсот фунтов в год, они будут жить вполне обеспеченно, потому что Вэлу дедушка обещал давать пятьсот; что же касается фермы, он заявил, что не знает, ничего не может сказать; он не хочет, чтобы Вэл бросал деньги на ветер.

— Ну, вы посудите сами,— сказала Уинифрид,— должен же он что-нибудь делать.

Тетя Эстер высказала мнение, что дедушка рассуждает правильно, потому что, если он ему не купит фермы, то, во всяком случае, это ничем дурным не кончится.

— Но Вэл любит лошадей,— сказала Уинифрид,— это было бы для него таким подходящим занятием.

Тетя Джули заметила, что лошади очень ненадежны, разве этого не испытал Монтегью?

— Вэл совсем другой,— возразила Уинифрид,— он весь в меня.

Тетя Джули высказала уверенность, что голубчик Вэл очень умный.

— Я всегда вспоминаю,— прибавила она,— как он однажды подал нищему фальшивую монетку. Дедушке это очень понравилось. Он сказал, что это доказывает большую находчивость. Я помню, он тогда говорил, что Вэла нужно отдать во флот.

Тетя Эстер поддержала ее: разве Уинифрид не согласна, что молодым людям лучше жить на верный доход и не пускаться ни в какие рискованные предприятия в таком возрасте?

— Все это так,— сказала Уинифрид,— может быть, это действительно верно, если бы они жили в Лондоне: в Лондоне приятно ничего не делать. Но там, конечно, это ему надоест до смерти.

Тетя Эстер согласилась, что, разумеется, было бы очень мило, если бы он нашел себе занятие, только такое, чтобы не было никакого риска. Конечно, если бы у них не было денег!.. Вот Тимоти тогда как хорошо поступил, что вышел из дела. Тетя Джули поинтересовалась, что говорит об этом Монтегью.

Уинифрид промолчала, потому что Монтегью только и сказал: «Подожди, пока умрет старик».

Как раз в эту минуту доложили о Фрэнси. Глаза ее так и сияли улыбкой.

— Ну,— сказала она,— что вы думаете об этом?

— О чем, дорогая?

— Да о том, что сегодня в «Таймсе»?

— Мы его еще не видели. Мы всегда читаем его после обеда. А до тех пор он у Тимоти.

Фрэнси закатила глаза.

— А ты считаешь, что нам необходимо знать? Что же там такое было?

— У Ирэн родился сын в Робин-Хилле.

Тетя Джули чуть не задохнулась.

— Но ведь они только в марте поженились!

— Да, тетечка, правда, как интересно!

— Ну что ж, я очень рада,— сказала Уинифрид.— Мне было жаль Джолиона, что он потерял сына. Ведь это мог быть и Вэл.

Тетя Джули, казалось, о чем-то глубоко задумалась.

— Интересно,— прошептала она,— что думает об этом дорогой Сомс. Ему так всегда хотелось сына. Это я по секрету знаю.

— Ну, он его скоро и получит, если ничего не случится,— сказала Уинифрид.

Тетя Джули посмотрела на нее восхищенным взглядом.

— Какое счастье!— сказала она.— Когда же?

— В ноябре.

Такой счастливый месяц! Но ей бы хотелось, чтобы это было пораньше. А то Джемсу уж очень долго ждать в его возрасте!

Ждать! Им было страшно за Джемса, но сами они так к этому привыкли. По правде сказать, это было для них большое развлечение. Ждать «Таймса», когда можно будет его прочесть; племянника или племянницу, которые зайдут навестить и развлечь их; известий о здоровье Николаса; о решении Кристофера, который собирается поступить на сцену; каких-нибудь новостей о рудниках племянника миссис Мак-Эндер; доктора к Эстер из-за того, что она очень рано просыпается; книг из библиотеки, которые всегда у кого-нибудь на руках; неизбежной простуды Тимоти; хорошего тихого дня, не очень жаркого только, чтобы им можно было погулять в Кенсингтонском саду. Ждать, сидя в гостиной, когда пробьют между ними часы на камине; в худых, узловатых, с синими прожилками руках мелькают спицы, волосы, подобно волнам Канута, укрощены и больше не меняют цвета. Ждать в своих черных шелковых или атласных платьях, когда придворный этикет позволит Эстер облачиться в темно-зеленое, а Джули в темно-коричневое, ждать — медленно пережевывать в старенькой памяти мелкие радости, и огорчения, и надежды крошечного семейного мирка,— так терпеливо жуют жвачку коровы на своем привычном лугу. А это новое событие, уж как его будет приятно ждать! Сомс всегда был их любимцем, он им дарил картины и чуть ли не каждую неделю навещал их, чего им теперь так не хватало, и он нуждался в их сочувствии из-за этого несчастного первого брака. Это новое событие — рождение наследника Сомса — ведь это так важно для него и для его дорогого батюшки, чтобы Джемсу не пришлось умереть, когда все так неопределенно впереди. Джемс терпеть не может всякой неопределенности, да и разве он может быть по-настоящему доволен, когда у него нет других внуков, кроме маленьких Дарти? В конце

концов самое важное — это свое имя! И по мере того как приближался день девяностолетия Джемса, они все больше беспокоились о том, какие меры предосторожности соблюдает Джемс, чтобы сохранить свое здоровье. Он будет первым из Форсайтов, который достигнет этого возраста и установит, так сказать, новую норму долголетия. И это так важно для них в их годы — в восемьдесят семь и в восемьдесят пять лет, хотя им вовсе и не хочется думать о себе, пока у них есть Тимоти, которому нет еще и восьмидесяти лет. Конечно, за гробом нас ждет лучший мир. «В доме отца моего обителей много»— это было любимое изречение тети Джули, оно всегда очень утешало ее, напоминая ей о тех домах, на покупке которых так разбогател дорогой Роджер. Библия, разумеется, была большим подспорьем, а по воскресеньям в *очень* хорошую погоду они отправлялись утром в церковь; а иногда Джули прокрадывалась в кабинет Тимоти, когда она наверно знала, что его там нет, и клала ему на столик между книг раскрытое Евангелие — он, разумеется, очень любил читать, потому что ведь он когда-то был издателем. Но она заметила, что Тимоти потом всегда бывал очень сердит за обедом. А Смизер не раз говорила им, что ей случается подбирать книги с полу, когда она подметает его комнату. Ну, конечно, все-таки им казалось, что на небе вряд ли они будут чувствовать себя так уютно, как в этих комнатках, где они с Тимоти так давно живут ожиданием. В особенности тетя Эстер терпеть не могла думать о чем-нибудь утомительном. Всякая перемена или, вернее, мысль о какой-нибудь перемене — ибо перемен никогда никаких не бывало — ужасно ее расстраивала. Тете Джули, которая была предприимчивее ее, казалось иногда, что это будет очень даже интересно; как весело было тогда, когда она ездила в Брайтон, в год смерти дорогой Сьюзен. Но, правда, все знают, что Брайтон очень приятное место, а ведь так трудно сказать, каково-то там покажется, на небе, так что в общем она, пожалуй, даже рада еще подождать.

В день рождения Джемса, пятого августа, они ужасно волновались и посылали друг другу через Смизер маленькие записочки во время утреннего завтрака, который им подали в постели. Смизер должна пойти туда и передать от них привет и маленькие подарочки и узнать, как мистер Джемс себя чувствует и хорошо ли он спал накануне такого выдающегося события. А на обратном пути пусть Смизер зайдет на Гринстрит — это немножко не по дороге, но она потом может сесть в омнибус на Бонд-стрит (для нее это будет маленькое развлечение) и попросит дорогую миссис Дарти непременно заехать к ним, пока она еще в городе.

Все это Смизер исполнила — она была незаменимая служанка, которую когда-то еще тетя Энн вытренировала так, что она стала образцом недосягаемого ныне совершенства. Мистер Джемс, велела передать миссис Джемс, превосходно спал ночь и посылает привет; миссис Джемс сказала еще, что мистер Джемс очень удивился и жаловался, что он не понимает, из-за чего такой шум подняли. Вот, а миссис Дарти передает привет, она будет к чаю.

Тетя Джули и Эстер, несколько задетые тем, что их подарки не были удостоены особого упоминания (они каждый год забывали, что Джемс

терпеть не может подарков: «швыряют деньги попусту»— так он выражался), были в «страшном восторге»; значит, Джемс в хорошем настроении, а это для него так важно. И они стали поджидать Уинифрид. Она приехала в четыре часа и привезла с собой Имоджин и Мод, которая только что вернулась из школы и «тоже стала такой хорошенькой девочкой», и поэтому было ужасно трудно расспросить как следует про Аннет. Тетя Джули все же набралась храбрости и спросила, не слышала ли чего-нибудь Уинифрид и как Сомс — доволен, ждет с нетерпением?

— Дяде Сомсу всегда чего-нибудь недостает, тетечка,— вмешалась Имоджин.— Как он может быть доволен, раз он уже добился своего!

Эта фраза что-то напомнила тете Джули. Ах, да! Эта картинка, которую нарисовал Джордж и которую им так и не показали! Но что, собственно, хочет сказать Имоджин? Что ее дядя всегда хочет получить больше, чем у него есть? Совсем нехорошо так думать.

Звонкий, ясный голос Имоджин продолжал:

— Вы только подумайте! Ведь Аннет всего на два года старше меня, как это, должно быть, ужасно для нее выйти замуж за дядю Сомса.

Тетя Джули в ужасе всплеснула руками.

— Дорогая моя, ты просто сама не знаешь, что ты говоришь. Такого мужа, как дядя Сомс, можно пожелать всякой. Он очень умный человек, и красивый, и богатый, и такой внимательный и заботливый, и совсем даже не старый, если принять все во внимание.

Имоджин только улыбалась, переводя свои блестящие влажные глаза с одной «старушки» на другую.

— Я надеюсь,— строго сказала тетя Джули,— что ты выйдешь замуж за такого же хорошего человека.

— Я не выйду за хорошего человека, тетечка,— ответила Имоджин,— они все очень скучные.

— Если ты так будешь рассуждать,— возразила совершенно потрясенная тетя Джули,— ты совсем не выйдешь замуж. И лучше не будем говорить об этом.— И, повернувшись к Уинифрид, она спросила, как поживает Монтегью.

Вечером, когда они ждали обеда, она тихонько сказала:

— Я велела Смизер подать полбутылки сладкого шампанского, Эстер. Я думаю, нам нужно выпить за здоровье дорогого Джемса и за здоровье жены Сомса, только пусть это будет наш секрет. Я просто скажу: «Ты знаешь, за что, Эстер»,— и мы выпьем. А то как бы Тимоти не стало дурно.

— Пожалуй, это скорее нам с тобой станет дурно,— сказала тетя Эстер.— Но, конечно, все-таки нужно, ради такого случая.

— Да,— восторженно подхватила тетя Джули,— уж это случай! Ты только представь себе, если у него будет милый маленький мальчик, продолжатель рода! Мне теперь это кажется особенно важным, с тех пор как у Ирэн родился сын. Уинифрид рассказывала, что Джордж называет Джолиона «Трехпалубник» из-за того, что у него три семьи! Джордж такой шутник! И подумать только! Ирэн все-таки живет в том доме, который Сомс построил для себя, чтобы жить с ней. Как это, наверно, тяжело бедному Сомсу, а ведь он всегда был такой корректный.

Вечером в постели, взволнованная и слегка разгоряченная шампанским и этим секретным вторым тостом, она лежала, держа открытый молитвенник и устремив глаза в потолок, освещенный желтым светом ночника. Малютки! Как это приятно для всех! И она была бы так счастлива увидеть дорогого Сомса счастливым. Но, конечно, он теперь счастлив, что бы там ни говорила Имоджин. У него будет все, чего он желал: богатство, и жена, и дети! И он доживет до глубокой старости, как его дорогой отец, и забудет и Ирэн и этот ужасный развод. Если бы только ей еще дожить до того, чтобы купить его деткам их первую лошадку-качалку! Смизер сможет выбрать вместо нее в магазине, красивую, в яблоках. Ах! Как, бывало, Роджер качал ее, пока она не падала кувырком! Ах, боже мой! Как давно это было! А было! «В доме отца моего обителей много» (легкий скребущий звук донесся до ее слуха), «но это не мыши»,— как-то машинально подумала она. Шум усиливался. Ну конечно, мыши! Как нехорошо со стороны Смизер утверждать, что у них нет мышей! Не успеешь и опомниться, как они прогрызут обшивку, а тогда придется звать плотников. Это такие разрушители! И тетя Джули лежала, медленно водя глазами по потолку, прислушиваясь к этому легкому скребущему шуму и ожидая сна, который избавит ее от него.

XII

РОЖДЕНИЕ ФОРСАЙТА

Сомс вышел из сада, пересек лужайку, постоял на тропинке около реки, повернулся и снова пошел к калитке сада, не замечая, что он двигается. Шум колес, проскрипевших по аллее, дошел до его сознания, и он понял, что прошло уже сколько-то времени, как доктор уехал. Что же он, собственно, сказал?

— Вот каково положение, мистер Форсайт. Я могу вполне поручиться за ее жизнь, если я сделаю операцию, но ребенок в этом случае родится мертвым. Если же я не сделаю операции, ребенок, по всей вероятности, останется жив, но для матери это большой риск, большой риск. И в том и в другом случае вряд ли она когда-нибудь сможет иметь детей. В том состоянии, в каком она находится, она, совершенно очевидно, не может решить сама за себя, и мы не можем дожидаться ее матери. Так что решать должны вы, и вы должны прийти к какому-то решению, пока я съезжу за всем необходимым. Я вернусь через час.

Решение? Какое решение? И нет времени, чтобы пригласить специалиста! Ни на что уже нет времени!

Шум колес замер, но Сомс все еще стоял, прислушиваясь; потом вдруг, заткнув уши обеими руками, он пошел обратно к реке. Все это случилось так неожиданно, преждевременно, что не было возможности ни принять какие-нибудь меры, ни даже вовремя вызвать ее мать. Это ее мать должна была бы решать, а она не сможет приехать из Парижа раньше ночи! Если бы он хоть понимал этот докторский жаргон, все эти медицинские подробности так, что мог бы с уверенностью взвесить шансы; но это было для него китайской грамотой; все равно как для непосвященного человека — юридическая проблема. И, однако, он должен

решить! Он отнял руку ото лба, она была влажная от пота, хотя воздух был прохладный. Эти крики, которые доносились из ее комнаты! Если он вернется туда, ему будет только труднее решить. Он должен сохранить спокойствие, невозмутимость. В одном случае, почти наверняка — жизнь его молодой жены и верная смерть ребенка; и — больше детей не будет. В другом — *может быть,* смерть его жены и почти наверное жизнь ребенка; и — больше детей не будет. Что же выбрать?.. Последние две недели стояла дождливая погода, река очень поднялась, и в воде вокруг его плавучего домика, стоявшего на канате у пристани, плавало много листьев, опавших во время заморозков. Листья опадают, уходят жизни! Смерть! Решать о смерти! И никого, кто мог бы ему как-нибудь помочь. Жизнь уйдет и уж не вернется. Не давайте уходить ничему, что можно удержать; потому что то, что уйдет, уже невозможно вернуть. Останешься незащищенным, голым, как вот эти деревья, когда они теряют листья, с каждым днем будешь обнажаться все больше и больше, пока сам не зачахнешь и не погибнешь. Мысль его сделала какой-то внезапный скачок, и он вдруг представил себе, что за этим окном, освещенным солнцем, лежит не Аннет, а Ирэн, в их спальне на Монпельесквер, как она могла бы лежать там шестнадцать лет назад. Стал бы он колебаться тогда? Ни секунды! Оперировать, оперировать! Только чтобы спасти ее жизнь! Не решение, а просто инстинктивный крик о помощи, хотя он уже и тогда знал, что она его не любит. Но сейчас... А! В его чувстве к Аннет не было ничего всепоглощающего! Часто в эти последние месяцы, особенно с тех пор, как она начала бояться, он удивлялся на себя. Она была своенравна, эгоистична по-своему, как все француженки. Но такая хорошенькая! Как бы она решила сама, захотела бы рискнуть? «Я знаю, что она хочет ребенка,— подумал он.— Если он родится мертвый и она больше не сможет иметь детей, она будет страшно огорчена. Никогда больше! Все напрасно! Супружеская жизнь с ней из года в год и без детей! Ничего, что могло бы привязать ее! Она слишком молода. Ничего впереди для нее, ничего для меня! *Для меня!»* Он ударил себя в грудь. Почему он не может думать, не ввязывая в это себя,— отрешиться от себя и подумать, как он должен поступить? Эта мысль сначала уколола его, потом вдруг притупилась, словно натолкнувшись на броню. Отрешиться от себя? Невозможно! Отрешиться, уйти в беззвучное, бесцветное, неосязаемое, незримое пространство! Даже мысль об этом была ужасна, бессмысленна. И, столкнувшись здесь с самой сутью действительности, с основой форсайтского духа, Сомс на минуту успокоился. Когда человек перестает существовать, все исчезает — может быть, оно и существует, но для него в этом уже ничего нет!

Он посмотрел на часы. Через полчаса доктор вернется. Нужно решать. Если он не согласится на операцию и она умрет, как он осмелится тогда смотреть в лицо ее матери и доктору? Как он решится остаться с глазу на глаз со своей собственной совестью? Ведь это же его ребенок. Если он выскажется за операцию, он приговорит их обоих к бездетному существованию. А для чего же он еще женился на ней, как не для того, чтобы иметь законного наследника! И отец — на пороге смерти, ждет известия! «Это жестоко,— думал он.— Как это могло случиться, что мне

приходится решать такой вопрос? Это жестоко!» Он повернулся и пошел к дому. Если бы был какой-нибудь простой, мудрый способ решить! Сомс вынул монету и снова положил ее в карман. Как бы она ни легла, если бы он загадал на нее, он знал, что не остановится на том, что подскажет ему случай. Он прошел в столовую, подальше от этой комнаты, откуда доносились стоны. Доктор сказал, что все же есть шанс, что она останется жива. Здесь этот шанс казался более вероятным; здесь не было ни реки с непрерывным течением, ни опадающих листьев. Горел камин. Сомс открыл стеклянную дверцу буфета. Обычно он почти не притрагивался к спиртным напиткам, но теперь налил себе виски и выпил, не разбавляя,— ему хотелось разогнать кровь по жилам. «Этот Джолион,— подумал он,— у него есть дети, он завладел женщиной, которую я действительно любил, и вот теперь у него сын от нее. А от меня требуют, чтобы я убил своего единственного ребенка. Аннет не может умереть; это немыслимо. У нее здоровый, сильный организм!»

Он все еще стоял в мрачном раздумье у буфета, когда услышал шум подъезжавшего экипажа; тогда он пошел навстречу доктору. Ему пришлось подождать, так как доктор сразу поднялся наверх, а потом уже сошел к нему.

— Ну, как, доктор?

— Да все в том же положении. Так что же вы решили?

— Да,— сказал Сомс,— не будем оперировать.

— Не будем? Вы понимаете, это большой риск.

В неподвижном лице Сомса дрогнули только губы.

— Вы говорите, что все-таки есть шанс?

— Есть, да, но очень небольшой.

— Вы говорите, что если сделать операцию, ребенок непременно умрет?

— Да.

— И вы думаете, что у нее ни в коем случае не может быть больше детей?

— Ручаться, конечно, трудно, но едва ли.

— У нее здоровый организм,— сказал Сомс,— рискнем.

Доктор посмотрел на него внимательно и серьезно.

— Вы берете на себя тяжелую ответственность,— сказал он.— Будь это моя жена, я бы не смог.

Подбородок Сомса дернулся кверху, точно его ударили.

— Я вам буду нужен наверху?— спросил он.

— Нет, вам лучше держаться подальше.

— Так я буду в картинной галерее, вы знаете, где это.

Доктор кивнул и пошел наверх.

Сомс продолжал стоять прислушиваясь. «Завтра в это время,— думал он,— я, может быть, буду виновником ее смерти». Нет! Это несправедливо, это чудовищно — думать так! И снова, мрачно нахмурившись, он пошел наверх в галерею. Он остановился у окна. Дул северный ветер; было холодно, ясно; ярко голубело небо, и по нему неслись тяжелые белые рваные облака, река тоже голубела сквозь золотящуюся листву деревьев; лес пламенел всеми оттенками красок, огненно-рдяный,— ран-

няя осень. Если бы это решалась его жизнь, рискнул бы он? «Но *она* бы скорей рискнула потерять меня, чем отказаться от ребенка,— подумал он.— Она ведь не любит меня». А мог ли он ожидать чего-нибудь другого — молоденькая девушка, француженка? Единственно, в чем был живой смысл для них обоих, для их семейной жизни, для их будущего,— это ребенок. «Я столько вытерпел из-за этого,— думал Сомс.— Я буду держаться, буду. Есть шанс спасти обоих — есть шанс!» Нельзя отдавать своими руками, пока не отняли, это неестественно! Он начал ходить по галерее. Он недавно приобрел одну картину, которая, он знал это, представляла собой целое состояние, он остановился перед ней: девушка с тускло-золотыми волосами, похожими на металлическую пряжу, разглядывающая маленького золотого уродца, которого она держит в руке. Даже теперь, в эту мучительную для него минуту, он сознавал, какая это необыкновенная вещь, и любовался каждой деталью, столом, полом, стулом, фигурой девушки, сосредоточенным выражением ее лица, тускло-золотой пряжей волос, ярко-золотым уродцем. Покупать картины, богатеть, богатеть! Какой смысл, если... Он круто повернулся спиной к картине и отошел к окну. Несколько голубей слетели со своих шестов у голубятни и, раскрыв крылья, носились по ветру. В ярком, резком солнечном свете их белизна почти сверкала. Они взмывали высоко, чертили иероглифы в небе. Аннет кормила голубей; он всегда любовался ею. Они брали корм у нее из рук; они чувствовали, что она деловита и спокойна. У него подступил клубок к горлу. Она не может, не должна умереть! Она слишком благоразумна для этого; и она крепкая, действительно крепкая, как и ее мать, несмотря на всю свою изящную красоту!

Уже начало смеркаться, когда он наконец открыл дверь и стал прислушиваться. Ни звука! Молочно-белые сумерки уже окутали нижние ступеньки лестницы и площадку. Он повернул обратно в галерею, как вдруг до его слуха донесся какой-то шорох. Заглянув через перила, он увидел черную движущуюся фигуру, и сердце у него сжалось. Что это? Смерть? Призрак смерти, выходящий из ее комнаты? Нет, это только горничная без передника и без чепчика. Она подошла к нижней ступеньке последнего пролета и, задыхаясь, сказала:

— Доктор вас просит, сэр.

Он бегом бросился вниз. Она прижалась к стене, чтобы пропустить его, и сказала:

— Ох, сэр, все кончилось!

— Кончилось?— чуть не с угрозой в голосе сказал Сомс.— Что вы хотите сказать?

— Ребенок родился, сэр.

Он вбежал по четырем ступенькам в полутемный коридор и столкнулся с доктором. Доктор стоял, вытирая лоб.

— Ну,— сказал Сомс,— говорите скорее!

— Живы оба. Я думаю, все будет благополучно.

Сомс стоял неподвижно, закрыв глаза рукой.

— Поздравляю вас,— услышал он голос доктора,— она была на волоске.

Рука Сомса, закрывавшая лицо, опустилась.

— Благодарю вас,— сказал он,— благодарю очень, очень. А что же...

— Дочка, к счастью, мальчик ее бы убил. Вы понимаете, головка. Дочь!

— Крайняя осторожность, уход за обеими,— услышал он слова доктора,— и все будет благополучно. Когда приезжает мать?

— Сегодня между девятью и десятью, я надеюсь.

— Я побуду здесь до тех пор. Хотите повидать ее?

— Нет, не сейчас,— сказал Сомс,— перед вашим уходом. Я сейчас пришлю вам обед наверх.

И он пошел вниз.

Чувство невыразимого облегчения, но — дочь! Ему это казалось несправедливым. Пойти на такой риск, пережить все эти муки — и какие муки!— ради дочери! Он стоял в холле перед камином с пылающими поленьями, подталкивая их кончиком ботинка, и старался успокоиться. «А отец?»— вдруг подумал он. Какое горькое разочарование, и ведь этого не скроешь! В этой жизни никогда не получаешь всего, чего хочешь! А другой ведь нет, а если даже она и есть, что в ней толку!

Пока он стоял там, ему подали телеграмму:

«Приезжай немедленно, отец при смерти.

Мама».

Он прочел это, и рыдание сдавило ему горло. Можно было думать, что он уже не способен что-либо чувствовать после тех ужасных часов, но это он почувствовал. Половина седьмого, поезд из Рэдинга в девять, поезд, с которым приезжает мадам, если она поспела на него, в восемь сорок, он дождется этого поезда и уедет. Он велел подать коляску, пообедал машинально и поднялся наверх. Доктор вышел к нему.

— Они спят.

— Я не войду,— сказал Сомс, точно избавившись от какой-то тяжести.— У меня умирает отец. Я уезжаю в город. Все благополучно?

На лице доктора изобразилось что-то вроде изумленного восхищения. «Если бы они все были так хладнокровны!»— казалось, говорил он.

— Да, я думаю, вы можете спокойно уехать. Вы скоро вернетесь?

— Завтра,— сказал Сомс,— вот адрес.

Доктор, казалось, собирался выразить свое сочувствие.

— До свидания,— отрывисто сказал Сомс, повернулся и пошел.

Он надел меховое пальто. Смерть! Леденящая штука! Сев в коляску, он закурил — редкий случай, когда он себе разрешал папиросу. Ночь была ветреная и неслась на черных крыльях; огни экипажа нащупывали дорогу. Отец! Старый, старый человек! Безотрадно умирать в такую ночь!

Лондонский поезд подошел как раз, когда Сомс подъехал к станции, и мадам Ламот, плотная, вся в черном и очень желтая при свете фонарей, вышла на платформу с саквояжем в руке.

— Это все, что у вас с собой?— спросил Сомс.

— Да, больше ничего, ведь у меня не было времени. Ну, как моя крошка?

— Благополучно — обе. Девочка!

— Девочка? Какое счастье! Ужасный у меня был переезд по морю!

Фигура мадам, черная, внушительная, нимало не пострадавшая от ужасного переезда по морю, поместилась в коляску.

— А вы, mon cher?

— У меня отец умирает,— стиснув зубы, сказал Сомс.— Я еду в город. Кланяйтесь от меня Аннет.

— Tiens! — пробормотала мадам Ламот.— Ouel malheur![1]

Сомс приподнял шляпу и направился к своему поезду. «Французы!»— подумал он.

XIII

ДЖЕМСУ СКАЗАЛИ

Легкая простуда, которую он схватил в комнате с двойными рамами, в комнате, куда воздух и люди, приходившие навещать его, попадали как бы профильтрованными и откуда он не выходил с середины сентября,— и Джемсу уж было не выпутаться. Ничтожная простуда, одержавшая верх над его слабыми силами, быстро проникла в легкие. Ему нельзя простужаться, сказал доктор, а он взял и простудился. Когда он впервые почувствовал легкую боль в горле, он сказал сиделке, которую к нему приставили с некоторых пор: «Я знал, чем это кончится, это проветривание комнаты». Весь день он очень нервничал, аккуратно выполнял всяческие предписания и глотал лекарства: он старался дышать как можно осторожнее и каждый час заставлял мерить себе температуру. Эмили не очень беспокоилась.

Но на следующее утро, когда она вошла к нему, сиделка прошептала:

— Он не дает мерить температуру.

Эмили подошла к кровати и сказала ласково:

— Как ты себя чувствуешь, Джемс?— и поднесла термометр к его губам.

Джемс посмотрел на нее.

— Какой толк от этого?— хрипло сказал он.— Я не желаю знать.

Тогда она забеспокоилась. Он дышал с трудом и выглядел ужасно слабым — бледный, с легкими лихорадочными пятнами. Ей много с ним было хлопот — что говорить; но это был ее Джемс, вот уже почти пятьдесят лет ее Джемс; она не могла ни припомнить, ни представить себе жизни без Джемса — Джемса, который, при всей своей придирчивости, пессимизме, под этой своей жестокой скорлупой, был глубоко любящим, добрым и великодушным к ним ко всем!

Весь этот день и следующий день он не произносил почти ни слова, но по его глазам было видно, что он замечает все, что делается для него, и выражение его лица говорило ей, что он борется; и она не теряла надежды. Даже это его молчание и то, как он берег каждую крошку своей энергии, показывало, какое упорство проявляет он в этой борьбе. Все это

[1] Скажите, какое несчастье! *(фр.)*

ее ужасно трогало, и хотя при нем она была спокойна и сдержанна, как только она выходила из его комнаты, слезы текли по ее щекам.

На третий день она вошла к нему, только что переодевшись к чаю — она старалась сохранить свой обычный вид, чтобы не волновать его, так как он все замечал,— и сразу почувствовала перемену. «Не стоит больше, я устал»,— ясно было написано на его бледном лице, и когда она подошла к нему, он прошептал:

— Пошли за Сомсом.

— Хорошо, Джемс,— спокойно ответила она,— пошлю сейчас же.

И она поцеловала его в лоб. На него капнула слеза, и, вытирая ее, Эмили заметила его благодарный взгляд. В полном отчаянии и уже потеряв всякую надежду, она послала Сомсу телеграмму.

Когда он, оставив за собой черную ветреную ночь, вошел в большой дом, в нем было тихо, как в могиле. Широкое лицо Уормсона казалось совсем узким; он с особенной предупредительностью снял с него меховое пальто и сказал:

— Не угодно ли стакан вина, сэр?

Сомс покачал головой и вопросительно поднял брови.

Губы Уормсона задрожали.

— Он спрашивал вас, сэр.— Он начал сморкаться.— Уж сколько лет, сэр, сколько лет я у мистера Форсайта...

Сомс оставил пальто у него на руках и начал подниматься по лестнице. Этот дом, в котором он родился и вырос, никогда еще не казался ему таким теплым, богатым и уютным, как в это последнее его паломничество в спальню отца. Дом был не в его вкусе — чересчур громоздкий и пышный, но в каком-то своем стиле он, безусловно, был образцом комфорта и покоя. А ночь такая темная и ветреная, и в могиле так холодно и одиноко!

Он остановился у двери. Ни звука не доносилось оттуда. Он тихо нажал ручку и, прежде чем кто-нибудь успел заметить, уже был в комнате. Свет был загорожен экраном. Мать и Уинифрид сидели в ногах у Джемса по одну сторону кровати. С другой стороны кровати к нему двигалась сиделка. Тут же стоял пустой стул. «Для меня!»— подумал Сомс. Когда он сделал шаг от двери, мать и Уинифрид встали, но он махнул им рукой, и они снова сели. Он подошел к стулу и остановился, глядя на отца. Дыхание у Джемса вырывалось с трудом; глаза его были закрыты. И Сомс, вглядываясь в отца, такого худого, бледного, изможденного, прислушиваясь к его тяжелому дыханию, чувствовал, как в нем подымается неудержимое, страстное возмущение против Природы, жестокой, безжалостной Природы, которая, надавив коленом на грудь этого тщедушного человеческого тела, медленно выдавливает из него дыхание, выдавливает жизнь из этого существа, самого дорогого для него в мире. Его отец всегда вел такой осмотрительный, умеренный, воздержанный образ жизни — и вот награда: медленно, мучительно из него выдавливают жизнь! И, не замечая, что говорит вслух, Сомс сказал:

— Это жестоко!

Он видел, как мать закрыла глаза рукой, а Уинифрид пригнулась к кровати. Женщины! Они переносят все гораздо легче, чем мужчины.

Он подошел ближе. Джемса уже три дня не брили, и его губы и подбородок обросли волосами, которые были разве чуть-чуть белее его лба. Они смягчали его лицо, придавая ему какой-то уже неземной вид. Глаза его открылись. Сомс подошел вплотную к кровати и наклонился над ним. Губы зашевелились.

— Это я, отец.

— Мм... что... нового? Мне никогда ничего...

Голос замер. Лицо Сомса так исказилось от волнения, что он не мог говорить. Сказать ему? Да. Но что? Он сделал над собой громадное усилие, прикусил губы, чтобы они не дрожали, и сказал:

— Хорошие новости, дорогой, хорошие: у Аннет сын.

— А!

Это был удивительный звук: уродливый, довольный, жалобный, торжествующий, как крик младенца, когда он получает то, чего хотел. Глаза закрылись, и опять стало слышно только хриплое дыхание. Сомс отошел к стулу и тяжело опустился на него. Ложь, которую он только что произнес, подчинившись какой-то глубоко заложенной в нем инстинктивной уверенности, что после смерти Джемс не узнает правды, на минуту лишила его способности чувствовать. Рука его за что-то задела. Это была голая нога отца. В своей мучительной агонии он высунул ее из-под одеяла. Сомс взял ее в руку: холодная нога, легкая, тонкая, белая, очень холодная. Что толку прятать ее обратно, укутывать то, что скоро станет еще холоднее? Он машинально согревал ее рукой, прислушиваясь к хриплому дыханию отца, и чувства медленно возвращались к нему. Тихое, сразу же оборвавшееся всхлипывание вырвалось у Уинифрид, но мать сидела неподвижно, устремив глаза на Джемса. Сомс поманил сиделку.

— Где доктор?— прошептал он.

— За ним послали.

— Можете вы что-нибудь сделать, чтобы он так не задыхался?

— Только впрыскивание, но он его не выносит. Доктор сказал, что, пока он борется...

— Он не борется,— прошептал Сомс.— Его медленно душит. Это ужасно.

Джемс беспокойно зашевелился, точно он знал, о чем они говорят. Сомс встал и наклонился над ним. Джемс чуть-чуть пошевелил руками. Сомс взял их обе в свои руки.

— Он хочет, чтобы его подняли повыше,— шепнула сиделка.

Сомс приподнял его. Ему казалось, что он делает это очень осторожно, но на лице Джемса появилось почти гневное выражение. Сиделка взбила подушку. Сомс отпустил руки отца и, нагнувшись, поцеловал его в лоб. Взгляд Джемса, устремленный на него, казалось, исходил из самой глубины того, что еще оставалось в нем. «Со мной кончено, мой мальчик,— казалось, говорил он,— заботься о них, заботься о себе; заботься — я все оставляю на тебя».

— Да, да,— шептал Сомс,— да.

Позади него сиделка что-то делала, он не знал, что, но отец сделал слабое нетерпеливое движение, точно протестуя против этого вмеша-

тельства, и потом вдруг сразу дыхание его стало легче, свободнее, он лежал совсем тихо. Напряженное выражение исчезло с его лица, странный белый покой разлился по нему. Веки дрогнули, застыли. Все лицо разгладилось, смягчилось. Только по едва заметному вздрагиванию губ можно было сказать, что он дышит. Сомс опять опустился на стул и опять начал гладить его ногу. Он слышал, как сиделка тихо плакала в глубине комнаты у камина; странно, что только она одна из них, чужая, плачет! Он слышал, как мирно потрескивает и шипит огонь в камине. Еще один старый Форсайт уходит на покой — удивительные люди! Удивительно, с каким упорством он держался! Мать и Уинифрид, наклонившись вперед, не отрывая глаз, следили за губами Джемса. Но Сомс, повернувшись боком, грел его ноги; он находил в этом какое-то утешение, хотя они и становились все холоднее и холоднее. Вдруг он вскочил: ужасный, страшный звук, какого он никогда в жизни не слышал, сорвался с губ отца, как будто возмущенное сердце разбилось с протяжным стоном. Что за крепкое сердце, если оно могло исторгнуть такое прощание! Звук замер. Сомс заглянул в лицо. Оно было неподвижно; дыхания не было. Умер! Он поцеловал его лоб, повернулся и вышел из комнаты. Он бросился наверх, к себе в спальню, в свою старую спальню, которую и теперь держали наготове для него, упал ничком на кровать и зарыдал, уткнувшись лицом в подушки...

Немного погодя он вышел и спустился в комнату покойника. Джемс лежал один, удивительно спокойный, освободившийся от забот и волнений, и его изможденное лицо носило печать величия, которую накладывает только глубокая старость,— стертое, прекрасное величие старинных монет.

Сомс долго смотрел на его лицо, на огонь в камине, на всю комнату с открытыми окнами, в которые глядела лондонская ночь.

— Прощай,— прошептал он и вышел.

XIV

ЕГО СОБСТВЕННОЕ

У него было много хлопот в эту ночь и весь следующий день. Утром за завтраком он получил телеграмму, которая успокоила его относительно Аннет, и в Рэдинг он отправился только с последним поездом, унося в памяти поцелуй Эмили и ее слова:

— Не знаю, что бы я без тебя стала делать, мой мальчик.

Он приехал к себе в двенадцать часов ночи. Погода переменилась, стала мягче, точно, покончив со своим делом и заставив одного из Форсайтов свести счеты с жизнью, она давала себе отдых. Вторая телеграмма, которую он получил за обедом, подтверждала хорошее состояние Аннет, и Сомс, вместо того чтобы войти в дом, прошел освещенным луной садом к своему плавучему домику. Он отлично может переночевать здесь. Очень усталый, он улегся в меховом пальто на кушетку и сразу уснул. Он проснулся, едва только рассвело, и вышел на палубу. Он стоял у поручней и смотрел на запад, где река круто поворачивала, огибая лес. У Сомса ощущение красоты природы до странности напоминало отно-

шение к этому его предков-фермеров, выражавшееся главным образом в чувстве недовольства, когда ее не было; только у него, конечно, благодаря его эрудиции в пейзажной живописи оно было несколько рафинировано и обострено. Но рассвет способен потрясти самое заурядное воображение, и Сомс был взволнован. Знакомая река под этим далеким холодным светом казалась каким-то другим миром; это был мир, где еще не ступала нога человека, призрачный, похожий на какой-то неведомый, открывшийся вдали берег. Его краски не были обычного условного цвета, вряд ли это можно было даже назвать цветом; его очертания были туманны и в то же время отчетливы; его тишина ошеломляла; в нем не было никаких запахов. Почему он так глубоко волнует его, Сомс не знал, может быть, только потому, что он чувствовал себя в нем таким одиноким, таким оторванным от всего, с чем был связан. В такой мир, может быть, ушел его отец, до того этот мир не похож на тот, что он покинул. И Сомс, стремясь уйти из него, погрузился в размышления о том, какой художник мог бы передать его на полотне. Бедо-серая вода была... была, как рыбье брюшко! Может ли быть, чтобы этот мир, который он перед собой видит, был весь частной собственностью, за исключением воды, да и ту заключили в трубы и провели в дома! Ни деревца, ни куста, ни одной травинки, ни птицы, ни зверя, ни рыбы, которые кому-нибудь не принадлежали бы. А когда-то здесь были дебри, и топи, и вода, и непостижимые существа бродили и охотились здесь, и не было человека, который мог бы дать им имена; дикие, погибающие в своем буйном росте заросли простирались там, где теперь эти высокие, заботливо насаженные леса спускаются к реке, и окутанные туманом болот тростники покрывали все эти луга на том берегу. И вот все прибрали к рукам, наклеили ярлыки, распихали по нотариальным конторам. И хорошо сделали!

Но, случается, выходит вдруг, как вот сейчас, дух прошлого и, застигнув случайно проснувшегося человека, встает перед ним и неотступно и зловеще шепчет: «Из моего свободного одиночества вышли все вы, но наступит день — вы все снова в него вернетесь».

И Сомс, чувствуя холод и призрачность этого мира, неведомого ему и такого древнего, никому не принадлежащего мира, явившегося взглянуть на колыбель своего прошлого, спустился в каюту и поставил себе чай на спиртовку. Выпив его, он достал письменные принадлежности и написал два сообщения для газеты:

«20-го сего месяца в своем доме на Парк-лейн скончался на девяносто первом году жизни Джемс Форсайт. Похороны 24-го числа в 12 часов дня в Хайгете. Просьба венков не возлагать».

«20-го сего месяца в Шелтере, близ Мейплдерхема у Аннет, жены Сомса Форсайта, родилась дочь».

А внизу, на промокательной бумаге, он написал слово «сын».

Было восемь часов утра в обыкновенном осеннем мире, когда он подходил к дому. Кусты по ту сторону реки выступали из молочного ту-

— Конечно,— сказал Сомс,— очень хочу.

Он обошел кровать и остановился, вглядываясь. В первую секунду то, что он увидел, было именно то, что он ожидал увидеть: ребенок. Но по мере того как он смотрел, а ребенок дышал и крошечное личико морщилось во сне, ему казалось, что оно приобретает индивидуальные черты, становится словно картиной, чем-то, что он теперь всегда узнает; в нем не было ничего отталкивающего, оно как-то странно напоминало бутон и было очень трогательно. Волосики были темные. Сомс дотронулся до него пальцем, ему хотелось посмотреть глаза. Они открылись, они были темные — синие или карие, он не мог разобрать. Ребенок моргнул, и глаза уставились неподвижно, в них была какая-то сонная глубина. И вдруг Сомс почувствовал, что на сердце у него стало как-то странно тепло и отрадно.

— Ma petite fleur![1] — нежно сказала Аннет.

— Флер,— повторил Сомс.— Флер, мы так и назовем ее.

Чувство торжества, радостное чувство обладания подымалось в нем.

Видит бог: это его — *его собственное!*

1920

[1] Мой цветочек! *(фр.)*

ИНТЕРЛЮДИЯ
ПРОБУЖДЕНИЕ





Через стеклянную крышу холла в Робин-Хилле лучи послеполуденного июльского солнца падали как раз на поворот широкой лестницы, и в этой полоске света стоял маленький Джон Форсайт, одетый в синий полотняный костюмчик. Волосы его светились, светились и глаза из-под нахмуренных бровей: он обдумывал, как спуститься по лестнице в последний раз перед тем, как автомобиль привезет со станции его отца и мать. Через четыре ступеньки, а внизу пять сразу? Старо! По перилам? Но как? Лицом вниз, ногами вперед? Очень старо! На животе, боком? Скучно! На спине, свесив руки в обе стороны. Не разрешается. Или лицом вниз, головой вперед, способом, известным до сих пор только ему одному? Оттого-то и хмурились брови на ярко освещенном лице маленького Джона...

Полное имя маленького Джона было Джолион; но поскольку его живой отец и умерший старший брат уже давно забрали себе два других уменьшительных — Джо и Джолли, ему не оставалось ничего другого, как согласиться на сокращенное Джон. До самого этого дня в его сердце нераздельно царили: отец, конюх Боб, который играл на концертино, и няня «Да», которая по воскресеньям надевала лиловое платье и именовалась Спрэгинс в той личной жизни, которой изредка живет даже домашняя прислуга. Мать являлась ему словно во сне, от нее чудесно пахло, она гладила его лоб перед тем, как он засыпал, и иногда подстригала ему золотисто-русые волосы. Когда он раскроил себе голову о каминную решетку в детской, она была тут, он всю ее измазал кровью; а когда у него бывали кошмары, она сидела на его кроватке и прижимала его голову к своему плечу. Она была очень нужная, но далекая, уж очень близка была «Да», а в сердце мужчины редко найдется место одновременно для двух женщин. С отцом, разумеется, его связывали особые узы: маленький Джон тоже хотел работать красками, когда вырастет, с той только небольшой разницей, что отец его красил картины, а он собирался красить потолки и стены, стоя в грязно-белом фартуке на доске между двумя лестницами и вдыхая приятный запах известки. И еще он ездил с отцом в Ричмонд-парк верхом на своей лошадке Мышке, которую так звали потому, что она была мышиного цвета.

Маленький Джон родился с серебряной ложкой во рту, довольно большом и подвижном. Он ни разу не слышал, чтобы его отец и мать говорили сердитым голосом друг с другом, с ним или с кем бы то ни было; у конюха Боба, кухарки Джейн, Бэллы и остальной прислуги, даже у «Да», которая одна только и сдерживала его порывы,— у всех делались особенные голоса, когда они разговаривали с ним. И поэтому у него сложилось представление, что во всем мире царит совершенная и постоянная вежливость и свобода.

Родившись в 1901 году, Джон дорос до сознательного возраста, когда его страна, только что перенесшая бурскую войну, как серьезную форму скарлатины, готовилась к периоду возрождения либерализма. Строгость была не в моде, родители носились с высокими идеями — дать своим отпрыскам счастливое детство. Они забросили розги, жалели своих детей и с восторгом предвкушали результаты. И помимо этого маленький Джон поступил мудро и правильно, выбрав себе в отцы приятного человека пятидесяти двух лет, уже потерявшего единственного сына, а в матери — тридцативосьмилетнюю женщину, первым и единственным ребенком которой он был. Стать помесью болонки и маленького педанта ему помешало обожание, с которым его отец относился к его матери, так как даже маленький Джон понимал, что она не только его мать и что в сердце отца он играет вторую скрипку. Какое место ему отведено в сердце матери, он еще не знал. Что касается тети Джун, его сводной сестры (но до того старой, что она уже не годилась в сестры), она любила его, конечно, но была слишком порывиста. В верной «Да» было много спартанского. Купали его в холодной воде, водили с голыми коленками; хныкать и жалеть самого себя не разрешали. Что же касается щекотливого вопроса о его образовании, то маленький Джон был сторонником теории, что к детям не следует применять насилие. Он не возражал против мадемуазель, которая приходила каждое утро на два часа учить его своему языку, а заодно истории, географии и арифметике; уроки рояля, которые давала ему мать, тоже не были неприятны: она умела незаметно вести его от одной мелодии к другой, никогда не заставляя повторять ту, которая ему не нравилась, так что у него не пропадала охота приучать свои пальцы к повиновению. Под руководством отца он учился рисовать свинок и других животных. Он был не очень образованным мальчиком. Но в общем серебряная ложка оставалась у него во рту и не портила его, хотя «Да», случалось, говорила, что общество других детей пошло бы ему «очень даже на пользу».

И вот в семь лет он испытал горькое разочарование, когда она силой заставила его лежать на спине в наказание за что-то, ей не угодное. Это первое вмешательство в личную свободу Форсайта привело его чуть не в бешенство. Было что-то потрясающее в полной беспомощности такого положения и в неуверенности, наступит ли когда-нибудь конец. А вдруг она никогда больше не даст ему встать? В течение пятидесяти секунд он во весь голос переживал эту муку. И что хуже всего — он увидел, что «Да» потребовалось так много времени, чтобы понять, какой мучитель-

ный страх он испытывал. В таком страшном образе открылась ему бедность человеческого воображения. Когда ему позволили встать, он остался при убеждении, что «Да» совершила ужасный поступок. Хоть ему и не хотелось на нее жаловаться, но из боязни, что это повторится, ему пришлось пойти к матери и сказать:

— Мам, не вели больше «Да» класть меня на спину.

Мать, подняв над головой тяжелые косы couleur de feuille morte[1], как еще не научился их называть маленький Джон, посмотрела на него глазами, похожими на бархат его коричневой курточки, и ответила:

— Хорошо, родной, не велю.

Считая ее чем-то вроде богини, маленький Джон успокоился; особенно когда во время завтрака, сидя под столом в ожидании обещанного шампиньона, он подслушал, как она говорила отцу:

— Так как же, милый, ты скажешь «Да», или мне сказать? Она так его любит.

И ответ отца:

— Да, но не так надо выражать свою любовь. Я в точности знаю, что чувствуешь, когда тебя заставляют лежать на спине. Ни один Форсайт и минуты этого не вытерпит.

Когда маленький Джон сообразил, что они не знают о его присутствии под столом, на него нашло совершенно новое чувство смущения, и он остался, где был, снедаемый тоской по шампиньону.

Так он впервые окунулся в темную пропасть жизни. Ничего особенно нового он не познал после этого, пока однажды, подойдя к коровнику, чтобы выпить парного молока, когда Гаррет подоит коров, не увидел, что теленок Клевер мертв. Безутешный, в сопровождении расстроенного Гаррета, он пошел отыскивать «Да», но вдруг, поняв, что не она ему сейчас нужна, бросился искать отца и влетел в объятия матери.

— Теленок умер! Ой, ой, он был такой мягкий!

Руки матери и ее слова: «Да, родной, ничего, ничего»,— успокоили его рыдания. Но если теленок мог умереть, значит, всякий может — не только пчелы, мухи, жуки и цыплята. А он был такой мягкий! Это было потрясающе — и скоро забылось.

Следующим важным происшествием было то, что он сел на шмеля,— острое переживание, которое его мать поняла гораздо лучше, чем «Да»; и ничего особенно важного не произошло затем до конца года, когда после целого дня невыносимой тоски он перенес чудесную болезнь: некую смесь из сыпи, лежанья в постели, меду с ложки и великого множества мандаринов. Тогда-то мир расцвел. Этим цветением он был обязан «тете» Джун, ибо, как только он сделался «несчастненьким», она примчалась из Лондона и привезла с собой книги, которые в свое время вскормили ее воинственный дух, рожденный в знаменательном 1869 году. Ветхие, в разноцветных переплетах, они хранили в себе самые невероятные события. Их она читала маленькому Джону, пока ему не по-

[1] Цвета сухих листьев *(фр.)*.

зволили читать самому, а тогда она упорхнула домой в Лондон и оставила ему целую кучу этих сокровищ. Книги подогревали его воображение, и в мыслях и снах у него только и было, что мичманы и пироги, плоты, пираты, торговцы сандаловым деревом, железные кони, акулы, битвы, татары, краснокожие, воздушные шары, Северные полюсы и прочие небывалые прелести. Как только ему разрешили встать, он оснастил свою кроватку с кормы и с носа и отплыл от нее в узкой ванне по зеленым морям ковра к скале, на которую влез по выступам ее ящиков красного дерева оглядывать горизонт в прижатый к глазу стакан, высматривая спасательный парус. Каждый день он сооружал плот из вешалки для полотенец, чайного подноса и своих подушек. Он накопил соку от слив, налил его в пузырек из-под лекарства и снабдил плот этим ромом, а также пеммиканом из накопленных кусочков курятины (он сидел на них, а потом сушил у камина) и лимонным соком на случай цинги, изготовленным из апельсиновой корки и припрятанных остатков компота. Как-то утром он сделал Северный полюс из всех своих постельных принадлежностей, кроме подушки, и достиг его в березовом челне (вернее, на каминной решетке) после опасной встречи с белым медведем, сооруженным из подушки и четырех кеглей, накрытых ночной рубашкой «Да». После этого отец, в попытке усмирить его воображение, привез ему «Айвенго», «Бевиса», «Книгу о короле Артуре» и «Школьные годы Тома Брауна». Он прочел первую и три дня строил, защищал и брал штурмом замок Фрон де Бефа, исполняя все роли, кроме Ревекки и Ровены, с пронзительными криками: «En avant, de Bracy!»[1] — и другими восклицаниями в том же духе. Прочтя книгу о короле Артуре, он почти целиком превратился в сэра Ламорака де Галис, потому что, хотя про него в книге было очень мало, это имя нравилось ему больше, чем имена всех других рыцарей; и он до смерти заездил своего деревянного коня, вооружившись длинной бамбуковой тростью. «Бевис» показался ему недостаточно захватывающим; кроме того, для него требовались лиса и звери, каковых в детской не имелось, если не считать его двух кошек, Фица и Пэка Форсайтов, которые не допускали вольностей в обращении. Для «Тома Брауна» он был еще мал. Весь дом вздохнул с облегчением, когда после четырех недель ему было разрешено спуститься вниз и выйти в сад.

Был март, поэтому деревья особенно напоминали мачты кораблей, и для маленького Джона это была изумительная весна; от нее сильно досталось его коленкам, костюмам и терпению «Да», на которой лежала стирка и починка его платья. Каждое утро, сейчас же после его завтрака, отец и мать видели из окон своей спальни, как он выходит из кабинета, пересекает террасу, влезает на старый дуб; лицо решительное, волосы блестят на солнце. Он начинал день таким образом потому, что до уроков не было времени уйти подальше. Старое дерево было неисчерпаемо разнообразно, у него была грот-мачта, фок-мачта и брамстеньга,

[1] «Вперед, де Браси!» *(фр.)*

а спуститься всегда можно было по вантам, то есть по веревкам от качелей. После уроков, которые кончались в одиннадцать, он отправлялся на кухню за ломтиком сыра, печеньем и двумя сливами — достаточно припасов, по крайней мере, для шлюпки — и съедал их как-нибудь поинтереснее; потом, вооружившись до зубов ружьем, пистолетами и шпагой, он всерьез пускался в утреннее странствие, встречая по пути бесчисленные невольничьи корабли, индейцев, пиратов, медведей и леопардов. Его постоянно видели в это время дня с тесаком в зубах (как Дик Нидхэм), в грохоте непрерывно взрывающихся пистонов. И не одного садовника он подстрелил желтым горохом из своего ружья. Жизнь его была наполнена самой интенсивной деятельностью.

— Джон просто невозможен,— сказал как-то отец, сидя с матерью под старым дубом.— Боюсь, что из него выйдет матрос или что-нибудь безнадежное. Ты видишь в нем хоть какие-нибудь признаки эстетического чувства?

— Ни малейших.

— Хорошо еще, что его не тянет к винтам и машинам. Все лучше, чем это. Но не мешало бы ему больше интересоваться природой.

— У него богатое воображение, Джолион.

— Да, как у сангвиника. Он хоть любит сейчас кого-нибудь?

— Нет, он любит всех. На свете нет существа такого любящего и располагающего к любви, как Джон.

— Твой сын, Ирэн!

В эту минуту маленький Джон, лежавший на суке высоко над ними, попал в них двумя горошинами; но этот обрывок разговора крепко засел у него в головенке. «Любящий», «располагающий», «воображение», «сангвиник»!

А к этому времени листва была уже густая и подошел день его рождения, который наступал каждый год двенадцатого мая и был памятен любимым обедом Джона: печенка, шампиньоны, миндальное пирожное и лимонад.

Однако между этим, восьмым днем рождения и тем днем, когда он стоял в июльском сиянии на повороте лестницы, произошло еще несколько важных событий.

«Да», устав мыть ему коленки или движимая тем загадочным инстинктом, который заставляет даже нянюшек покидать своих питомцев, ушла, обливаясь слезами, на следующий же день после того, как отпраздновали его рождение, «чтоб выйти замуж — подумайте только!— за какого-то мужчину». Маленький Джон, от которого это скрывали, был безутешен в течение целого дня. Зачем ему не сказали! Наряду с этим горем происшедшему в нем перевороту способствовали два больших ящика солдатиков, несколько пушек, а также книга «Юные трубачи», бывшие в числе подарков ко дню его рождения, и, вместо того чтобы самому искать приключений и рисковать собственной жизнью, он стал играть в выдуманные игры, в которых рисковал жизнью бесчисленных оловянных солдатиков, камешков, шариков и бобов. Из всех этих

видов пушечного мяса он составил коллекции и, пользуясь ими по очереди, инсценировал наполеоновские, Семилетнюю, Тридцатилетнюю и другие войны, о которых в последнее время читал в большой «Истории Европы», принадлежавшей еще его деду. Он изменял их ход по своему усмотрению и воевал на всем полу детской, так что никто не мог туда войти из опасения помешать Густаву-Адольфу, королю шведскому, или наступить на целую армию австрийцев. За приятный звук этого слова он страстно полюбил австрийцев и, когда убедился, как мало было битв, в которых они сражались успешно, был вынужден придумывать их в своих играх. Его любимыми генералами были принц Евгений, эрцгерцог Карл и Валленштейн. Тилли и Мака («опереточные фигуры», как однажды назвал их при нем отец; он и понятия не имел, что это значит!) никак нельзя было полюбить всерьез, хоть они и были австрийцами. По тем же соображениям благозвучия он обожал Тюренна.

Эта страсть, которая беспокоила его родителей, потому что он сидел в комнатах, когда ему полагалось быть на воздухе, длилась весь май и половину июня, пока его отец не убил ее, привезя ему как-то «Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Когда он прочел эти книги, с ним что-то произошло, и он снова вышел из дому в страстных поисках реки. Поскольку на территории Робин-Хилла таковой не имелось, ему пришлось сделать ее из пруда, где, к счастью, были водяные лилии, стрекозы, комары и три невысоких ивы. На этом-то пруду, после того как отец и Гаррет, промерив его, убедились, что дно надежное и что глубина нигде не превышает двух футов, ему позволили завести маленький верткий челнок, в котором он проводил целые часы, то работая веслами, то ложась, чтобы укрыться от взоров индейца Джо и других врагов. А на берегу он построил себе вигвам из старых жестянок из-под печенья, с крышей из веток, площадью примерно в четыре квадратных фута. Тут он разводил костры и жарил птиц, которых не застрелил из ружья, охотясь в роще и в полях, или рыбу, которую не наловил в пруду, потому что ее там не было. Все это заняло конец июня и июль, который его родители провели в Ирландии. Эти пять летних недель он вел одинокую жизнь «как будто», довольствуясь своим ружьем, вигвамом, водой и челноком; и как ни энергично его деятельный ум противился влиянию красоты, она все же подбиралась к нему порой на минутку, усевшись на крыле стрекозы, поблескивая на водяных лилиях или задевая его синевой по глазам, когда он лежал на спине в засаде.

У «тети» Джун, на попечении которой он остался, был в доме «взрослый» с кашлем и большим куском глины, из которой он делал лицо; поэтому она почти никогда не заглядывала на пруд к маленькому Джону. Раз, правда, она привела с собой двух других «взрослых». Завидев их, маленький Джон,— который в этот день раскрасил свою голую особу синими и желтыми полосами, воспользовавшись акварельным ящиком отца, и воткнул себе в волосы утиные перья,— залег в засаде между ивами. Как он и думал, они сразу прошли к его вигваму и встали на колени, чтобы заглянуть туда, так что он с диким, душу леденящим

воплем почти успел оскальпировать «тетю» Джун и новую «взрослую», прежде чем они его поцеловали. Взрослых звали «тетя» Холли и «дядя» Вэл; у «дяди» Вэла было загорелое лицо, и он прихрамывал и ужасно хохотал, глядя на Джона. Маленькому Джону понравилась «тетя» Холли, которая тоже оказалась сестрой; но они оба уехали в тот же день, и больше он их не видел. За три дня до намеченного приезда его родителей «тетя» Джун тоже уехала — очень поспешно, забрав с собой «взрослого», который кашлял, и его кусок глины. И мадемуазель сказала: «Бедный, он о-очень болен! Запрещаю тебе ходить в его комнату, Джон». Маленький Джон, который редко делал что-нибудь только потому, что это было запрещено, воздержался и не пошел, хотя ему было скучно и одиноко. Дело в том, что дни пруда миновали, и он до краев души был полон беспокойства и желания чего-то — не дерева, не ружья,— чего-то мягкого. Эти два последних дня показались ему месяцами, несмотря на «Выброшенный морем», где он прочел про старуху Ли и ее страшный костер. За эти два дня он раз сто прошел вверх и вниз по лестнице и часто из детской пробирался в комнату матери, все разглядывал, ничего не трогая, потом проходил в ванную комнату и, стоя на одной ноге около ванны, шептал заклинания, таинственно, как Слингсби:

— Хо, хо, хо! Кошки-собаки!

Потом, вернувшись из ванной, открывал гардероб матери и долго нюхал, и это, казалось, приближало его к... он сам не знал, к чему.

Он проделал это как раз до того, как остановился на лестнице в полосе солнечного света, обдумывая, каким из многих способов спуститься по перилам. Все они казались глупыми, и в овладевшей им вдруг томной лени он медленно пошел вниз по ступенькам. Во время этого спуска он совершенно отчетливо вспомнил отца: короткую седую бородку, подмигивание глубоко сидящих глаз, морщинку между ними, странную улыбку, тонкую фигуру, которая всегда казалась маленькому Джону такой высокой; но мать он никак не мог увидеть. Все, что с ней связывалось,— это покачивающаяся походка, темные глаза, устремленные на него, и запах ее гардероба.

Бэлла была в холле,— раздвигала тяжелые портьеры и открывала парадную дверь. Маленький Джон сказал заискивающе:

— Бэлла!

— Что, мистер Джон?

— Давай пить чай под дубом, когда они приедут; я знаю, им захочется.

— Вы лучше скажите, что *вам* захочется!

Маленький Джон подумал.

— Нет, им, чтобы доставить мне удовольствие.

Бэлла улыбнулась.

— Хорошо, я накрою в саду, если вы тут посидите тихо и не напроказничаете, пока они приедут.

Маленький Джон уселся на нижней ступеньке и кивнул.

Бэлла подошла поближе и оглядела его.

— Встаньте-ка,— сказала она.

Маленький Джон встал. Она тщательно осмотрела его сзади. Зеленых пятен нет, и коленки как будто чистые!

— Хорошо,— сказала она.— Ой, ну и загорели же вы! Дайте поцелую.

И она клюнула маленького Джона в макушку.

— А какое будет варенье?— спросил он.— Я так устал ждать.

— Крыжовенное и клубничное.

Вот здорово! Самые его любимые!

Когда Бэлла ушла, он целую минуту сидел спокойно. В большой гостиной было тихо, и через открытую дверь в восточной стене он видел один из своих кораблей-деревьев, очень медленно плывущий по верхней лужайке. В холле от колонн падали косые тени. Маленький Джон встал, перепрыгнул через тень и обошел ирисы, посаженные вокруг бассейна серо-белого мрамора. Цветы были красивые, но пахли только чуточку. Он встал в открытых дверях и выглянул наружу. А вдруг... вдруг они не приедут! Он ждал так долго, что почувствовал, что не вынесет этого, и его внимание сейчас же перескочило с такой страшной мысли на пылинки в голубоватом солнечном луче, падающем снаружи. Он поднял руку, попробовал их поймать. Что же это Бэлла не стерла с воздуха пыль! А может быть, это и не пыль, а просто из них сделан солнечный свет? И он стал смотреть, такой ли солнечный свет и за дверью. Нет, не такой! Он обещал, что спокойно побудет в холле, но просто не мог больше выдержать, пересек посыпанную гравием дорогу и улегся на траве. Сорвал шесть ромашек, назвал их по очереди: сэр Ламорак, сэр Тристан, сэр Ланселот, сэр Палимед, сэр Борс, сэр Гавэн и заставил их биться парами до тех пор, пока только у сэра Ламорака, обладателя особенно толстого стебелька, осталась голова на плечах, но даже и он после трех схваток имел вид порядком усталый и растрепанный. В траве, уже почти готовой для покоса, медленно пробирался жук. Каждая травинка была деревцем, ствол которого ему приходилось обходить. Маленький Джон протянул сэра Ламорака ногами вперед и пошевелил жука. Тот беспомощно заторопился. Маленький Джон засмеялся, потом все ему надоело, и он вздохнул. На сердце было пусто. Он повернулся и лег на спину. От цветущих лип пахло медом, небо было синее и красивое, и редкие белые облачка были на вид, а может, и на вкус, как лимонное мороженое. Было слышно, как Боб играет на концертино «Далёко на речке Сува́ни», и от этого стало хорошо и грустно. Он опять перевернулся и приник ухом к земле — индейцы ведь издали слышат, когда что-нибудь приближается,— но ничего не услышал, только концертино. И почти сейчас же вправду уловил далекий хруст, слабый гудок. Да, это автомобиль, ближе, ближе! Маленький Джон вскочил на ноги. Подождать на крыльце или мчаться наверх, и когда они подъедут, крикнуть: «Смотрите!»— и медленно съехать вниз по перилам головой вперед? Сделать так? Автомобиль повернул к подъезду. Поздно! И он стал ждать, подпрыгивая на месте от нетерпения. Машина быстро подъехала, зафыркала и остано-

вилась. Вышел отец, совсем настоящий. Он наклонился, а маленький Джон вскинул голову кверху, они стукнулись. Отец сказал: «Ой, ой, ой! Ну, малыш, и загорел же ты!»— точь-в-точь как всегда говорил; но чувство ожидания — желания чего-то — продолжало кипеть в маленьком Джоне.

Потом медленным, робким взглядом он нашел свою мать, улыбающуюся, в синем платье, с синим автомобильным шарфом, накинутым на шапочку и волосы. Он подскочил как только мог выше, сцепил ноги у нее за спиной и обнял ее. Он услышал, как она охнула, почувствовал, что и она его обнимает. Его глаза, темно-синие в эту минуту, смотрелись в ее, темно-карие, пока губы ее не прижались к его брови, и, стискивая ее изо всех сил, он услышал, как она закашлялась, и засмеялась, и сказала:

— Ну, и силач ты, Джон!

Тогда он соскользнул на землю и бросился в дом, таща ее за собой.

Уплетая варенье под старым дубом, он заметил в своей матери много такого, чего, казалось, никогда раньше не видел: щеки, например, цвета сливок, серебряные нити в темно-золотистых волосах, на шее спереди нет шишки, как у Бэллы, и во всех движениях что-то мягкое. Он заметил также черточки, бегущие от уголков ее глаз, а под глазами красивые тени. Она была ужасно красивая, красивее, чем «Да», или мадемуазель, или «тетя» Джун, или даже «тетя» Холли, которая ему очень понравилась; даже красивее, чем румяная Бэлла,— та, пожалуй, уж слишком костлява. Эта новая красота матери имела для него какое-то особенное значение, и он съел меньше, чем собирался.

После чая отец захотел пройтись с ним по саду. Он долго разговаривал с отцом о всякой всячине, обходя свою личную жизнь: сэра Ламорака, австрийцев и ту пустоту, которую он ощущал последние три дня и которая теперь так внезапно заполнилась. Отец рассказал ему о месте, называемом Гленсофантрим, где побывали он и его мать, и о крошечных человечках, которые выходят из-под земли, когда бывает совсем тихо. Маленький Джон остановился, расставив пятки.

— А ты правда веришь в них, папа?

— Нет, Джон, но я думал, может быть, ты поверишь.

— Почему?

— Ты моложе меня; а они ведь эльфы.

Маленький Джон прижал палец к подбородку.

— Я не верю в эльфов. Никогда их не вижу.

— Ха,— сказал отец.

— А мама?

Отец улыбнулся своей странной улыбкой.

— Нет, она видит только Пана.

— Что это «Пан»?

— Козлоногий бог, который резвится в диких и прекрасных местах.

— А он был в Гленсофантриме?

— Мама говорит, что был.

Маленький Джон сдвинул пятки и пошел дальше.

— А ты его видел?

— Нет, я видел только Венеру Анадиомейскую.

Маленький Джон задумался. Венера была у него в книге про греков и троянцев. Значит, «Анна» ее имя, а «Диомейская» — фамилия? Но когда он спросил, оказалось, что это одно слово и значит «встающая из пены».

— А она вставала из пены в Гленсофантриме?

— Да, каждый день.

— А какая она, папа?

— Как мама.

— О, так она, наверно...

Но тут он запнулся, бросился к стене, вскарабкался на нее и сейчас же слез обратно. Открытие, что его мать красива, было тайной, которую, он чувствовал, никто не должен узнать. Но отец так долго курил сигару, что он наконец был вынужден спросить:

— Мне хочется посмотреть, что мама привезла. Можно?

Он выдумал этот корыстный предлог, чтобы его не заподозрили в чувствительности, и немножко растерялся, когда отец посмотрел на него так, словно видел его насквозь, многозначительно вздохнул и ответил:

— Ну что ж, малыш, беги, люби ее!

Он пошел нарочно медленно, а потом пустился бегом, чтобы наверстать потерянное время. Он вошел к ней в спальню из своей комнаты, так как дверь была отворена. Она стояла на коленях перед чемоданом, и он стал рядом с ней и стоял тихо-тихо.

Она выпрямилась и сказала:

— Ну, Джон?

— Я думал, зайду посмотрю.

Обняв ее еще раз и получив ответный поцелуй, он влез на диван у окна и, поджав под себя ноги, стал смотреть, как она распаковывает чемодан. Этот процесс доставлял ему не испытанное дотоле удовольствие — и потому, что она вынимала заманчивого вида пакеты, и потому, что ему нравилось смотреть на нее. Она двигалась не так, как другие, особенно не так, как Бэлла. Из всех людей, которых он видел в жизни, она безусловно была самая прекрасная. Наконец она покончила с чемоданом и встала на колени перед сыном.

— Ты скучал по нас, Джон?

Маленький Джон кивнул и, подтвердив таким образом свои чувства, продолжал кивать.

— Но ведь с тобой была «тетя» Джун?

— Да-а, у нее был человек, который кашлял.

Лицо матери изменилось, стало почти сердитым. Он поспешно добавил:

— Он бедный, мама; он ужасно кашлял. Я... я его люблю.

Мать обняла его.

— Ты всех любишь, Джон.

Маленький Джон подумал.

— Немножко — да,— сказал он.—«Тетя» Джун водила меня в церковь в воскресенье.

— В церковь? О!

— Она хотела посмотреть, как на меня подействует.

— Ну, и как же, подействовало?

— Да. Мне стало так страшно, она уж поскорей увела меня домой. А я не заболел. Меня уложили в постель и дали горячего коньяку с водой, и я читал «Бичвудских мальчиков». Было замечательно.

Мать прикусила губу.

— Когда это было?

— Ну, приблизительно... уже давно; я хотел, чтобы она меня еще взяла с собой, а она не захотела. Вы с папой никогда не ходите в церковь?

— Нет, не ходим.

— А почему?

— Мы оба, милый, ходили, когда были маленькие. Может быть, мы были для этого слишком малы.

— Понимаю,— сказал маленький Джон.— Это опасно.

— Сам разберешься во всем этом, когда вырастешь!

Маленький Джон ответил рассудительно:

— Я не хочу совсем вырасти, только немножко. Не хочу ехать в школу.— Он покраснел от внезапно нахлынувшего желания сказать еще что-то, высказать то, что он действительно чувствовал.— Я... я хочу остаться с тобой и быть твоим возлюбленным, мама.— И в инстинктивном усилии спасти положение он поспешно добавил:— И я сегодня не хочу ложиться спать. Я устал ложиться спать каждый вечер.

— У тебя бывали еще кошмары?

— Только один раз. Мама, можно сегодня оставить дверь в твою комнату открытой?

— Да, немножко.

Маленький Джон удовлетворенно вздохнул.

— Что ты видела в Гленсофантриме?

— Там такая красота, милый!

— А что это такое «красота»?

— Что это такое?.. О Джон, это трудный вопрос.

— Я, например, могу ее увидеть?

Мать встала и села рядом с ним.

— Каждый день видишь. Небо красиво, и звезды, и лунные ночи, и еще птицы, цветы, деревья — все это красиво. Посмотри в окно, вот тебе красота, Джон.

— Ну да, это вид. И это все?

— Все? Нет. Море удивительно красивое, и волны с летящей пеной.

— Ты из нее вставала каждый день, мама?

Мать улыбнулась.

— Мы купались.

Маленький Джон быстро потянулся и охватил ее шею руками.

Я знаю,— сказал он таинственно,— это ты, а все остальное это только так.

Она вздохнула, засмеялась, сказала:

— Ох, Джон!

Маленький Джон сказал критически:

— По-твоему, Бэлла, например, красивая? По-моему, нет.

— Бэлла молода; а это уже много.

— Но ты выглядишь моложе, мама. Если о Бэллу стукнешься — больно. «Да», по-моему, не была красивая, я помню, а мадемуазель так чуть не урод.

— У мадемуазель очень приятное лицо.

— Это да, приятное. Мне так нравятся твои лучики, мама.

— Лучики?

Маленький Джон тронул пальцем наружный уголок ее глаза.

— Ах, это? Но ведь это признак старости.

— Они бывают, когда ты улыбаешься.

— Раньше их не было.

— Все равно, они мне нравятся. Ты меня любишь, мама?

— Люблю, конечно, люблю, милый.

— Очень-очень?

— Очень-очень.

— Больше, чем я думал?

— Больше, гораздо больше.

— Ну, и я так. Значит, поровну.

Внезапно осознав, что еще никогда в жизни не высказывался так откровенно, он сразу обратился мыслью к сэру Ламораку, Дику Нидхэму, Геку Финну и прочим мужественным героям.

— Показать тебе кое-что?— сказал он и, выскользнув из ее объятий, встал на голову. Потом, вдохновленный ее явным восхищением, влез на кровать и перекувырнулся головой вперед прямо на спину, ничего не коснувшись руками. Это он проделал несколько раз.

Вечером, осмотрев все, что они привезли, он обедал, сидя между ними за маленьким круглым столом, за которым они всегда ели, когда не бывало гостей. Он был до крайности возбужден. Его мать переоделась в светло-серое платье с кремовым кружевом вокруг шеи; кружево было из маленьких крученых розочек, и шея была темнее кружева. Он все смотрел на нее, пока наконец странная улыбка отца не заставила его поспешно переключить внимание на лежавший перед ним ломтик ананаса. Спать он отправился позднее, чем когда-либо в жизни.

Мать пошла с ним в детскую, и он стал раздеваться нарочно медленно, чтобы она подольше не уходила. Оставшись наконец в одной пижаме, он сказал:

— Обещай, что не уйдешь, пока я молюсь.

— Обещаю.

Встав на колени и ткнувшись лицом в постель, маленький Джон торопливо зашептал, время от времени приоткрывая один глаз, чтобы взглянуть, как она стоит — совсем тихо, с улыбкой на лице. «Отче

наш,— так вышла последняя молитва,— иже еси на небесех, да святится Мама твоя, да Мама царствие твое яко на небеси и на земли. Маму насущный даждь нам днесь и остави нам долги наши на небеси и на земли и должником нашим, ибо твое есть рабствие и сила и слава во веки веков Амам! Берегись!» Он подскочил и на целую минуту замер у нее на груди. Улегшись, он все не выпускал ее руку.

— Дверь не будешь закрывать, да? Ты скоро придешь, мамочка?

— Надо пойти вниз поиграть папе.

— Это хорошо, я буду слушать.

— Надеюсь, что не будешь. Тебе надо спать.

— Спать я каждый вечер могу.

— Что ж, сегодня такой же вечер, как и всегда.

— Ну нет, сегодня совсем особенный.

— В совсем особенные вечера всегда спится крепче.

— Но если я засну, мама, я не услышу, как ты придешь.

— А я тогда зайду поцеловать тебя, и если ты еще не будешь спать, ты меня увидишь, а если уже заснешь, все равно будешь знать, что я приходила.

Маленький Джон вздохнул.

— Ну что ж,— сказал он,— придется потерпеть. Мама!

— Да?

— Как ее зовут, в которую папа верит? Венера Анна Диомедская?

— Ох, родной мой, Анадиомейская!

— Да. Но у меня есть для тебя имя гораздо лучше.

— Какое, Джон?

Маленький Джон робко ответил:

— Гуинивир. Это из «Рыцарей Круглого стола»— я это только что придумал, только у нее были распущенные волосы.

Глаза матери смотрели мимо него, словно уплывали куда-то.

— Не забудешь зайти, мама?

— Нет, если ты сейчас заснешь.

— Ну, значит, сговорились.

И маленький Джон зажмурил глаза.

Он почувствовал ее губы у себя на лбу, услышал ее шаги, открыл глаза, увидел, как она проскользнула в дверь, и со вздохом снова зажмурился.

Тогда потянулось время.

Минут десять он честно старался заснуть, применяя давнишний рецепт «Да»— считать уложенные в длинный ряд репейники. Казалось, он считал уже много часов. Наверное, думал он, ей время прийти. Он откинул одеяло.

— Мне жарко,— сказал он, и его голос в темноте прозвучал странно, как чужой.

Почему она не идет? Он сел. Надо посмотреть! Он вылез из кроватки, подошел к окну и чуть-чуть раздвинул занавески. Темно не было, но он не мог разобрать, наступил ли день или это от луны, которая была

очень большая. У нее было странное, злое лицо, точно она смеялась над ним, и ему не хотелось смотреть на нее. Но, вспомнив слова матери, что лунные ночи красивы, он продолжал смотреть. Деревья отбрасывали толстые тени, лужайка была похожа на разлитое молоко, и было видно далеко-далеко — ой, как далеко, через весь свет!— и все было необычное и словно плыло. И очень хорошо пахло из открытого окна.

«Вот был бы у меня голубь, как у Ноя»,— подумал он.

Луна была лунистая, светила из-за туч
И, круглая и светлая, бросала яркий луч.

После этих стихов, которые пришли ему в голову совершенно неожиданно, он услышал музыку, очень тихую — чудесную. Мама играет! Он вспомнил, что у него в комоде припрятано миндальное пирожное, достал его и вернулся к окну. Высунувшись наружу, он то жевал пирожное, то переставал, чтоб лучше слышать музыку. «Да» говорила когда-то, что ангелы небесные играют на арфах, но это, наверно, куда хуже, чем вот как сейчас: мама играет в лунную ночь, а он ест миндальное пирожное. Прожужжал жук, у самого лица пролетела ночная бабочка, музыка кончилась, и маленький Джон втянул голову в комнату. Наверно, она идет! Он не хотел, чтобы его застали на полу, залез опять в постель и натянул одеяло до самого носа. Но в занавеске осталась щель, и сквозь нее вошел лунный луч и упал на пол в ногах кровати. Маленький Джон следил, как луч двигается к нему медленно-медленно, как будто живой. Снова зазвучала музыка, но теперь он еле-еле слышал ее; сонная музыка, славная... сонная музыка... сонная... сон...

А время шло, музыка звучала то громче, то тише, потом смолкла, лунный свет подполз к его лицу. Маленький Джон ворочался во сне, наконец лег на спину, вцепившись загорелыми пальцами в одеяло. Уголки его глаз подрагивали — он видел сны. Ему снилось, что он пьет молоко из сковородки, и сковородка — это луна, а напротив него сидит большая черная кошка и смотрит на него со странной улыбкой, как у его отца. Он услышал ее шепот: «Не пей слишком много». Молоко ведь было кошкино, и он дружески протянул руку, чтобы погладить ее; но она уже исчезла; сковородка превратилась в кровать, на которой он лежал, и когда он захотел вылезти, то никак не мог найти края, не мог найти его, никакникак не мог вылезти. Это было ужасно!

Он тихо заплакал во сне. И кровать начала вертеться; она была и внутри его и снаружи; ходила все кругом и кругом и становилась как огонь, и старуха Ли из «Выброшенных морем» вертела ее. Ух, какая она была страшная! Быстрее, быстрее, пока он, и кровать, и старуха Ли, и луна, и кошка — все не слилось в одно колесо и кружилось, кружилось, поднимаясь все выше, выше — страшно — страшно — страшно!

Он закричал.

Голос, говоривший: «Милый, милый»,— проник сквозь колесо, и он проснулся, стоя в постели, с широко открытыми глазами.

Рядом с ним стояла мать, волосы у нее были, как у Гуинивир, и, вцепившись в нее, он уткнулся в них лицом.

— Ой, ой!

— Ничего, мое золото. Ты теперь проснулся. Ну, ну, все прошло.

Но маленький Джон все говорил: «Ой, ой!»

Голос ее продолжал, мягкий, как бархат:

— Это лунный свет упал тебе на лицо, родной.

Маленький Джон всхлипнул ей в плечо:

— Ты сказала, что он красивый. Ой!

— Но спать он мешает, Джон. Кто впустил его? Это ты раздвинул занавески?

— Я хотел посмотреть, сколько времени; я... я высунулся, я... я слышал, как ты играла; я... съел миндальное пирожное.

Но на душе у него становилось спокойнее, и в нем проснулось инстинктивное желание оправдать свой испуг.

— Старуха Ли кружилась у меня внутри и стала вся огненная,— пробормотал он.

— Но, Джон, чего же и ждать, если ты будешь есть пирожные в постели?

— Только одно, мама. От него музыка стала гораздо лучше. Я ждал тебя, я уж думал, сейчас завтра.

— Милый ты мой, сейчас только одиннадцать часов.

Маленький Джон помолчал, потерся носом о ее шею.

— Мама, папа у тебя в комнате?

— Сегодня нет.

— Можно к тебе?

— Если хочешь, мой хороший.

Придя наконец в себя, маленький Джон отодвинулся.

— Ты сейчас совсем другая, мама; гораздо моложе.

— Это мои волосы, милый.

Маленький Джон взял их в руки, они были густые, темно-золотые, с серебряными нитями.

— Я люблю их,— сказал он,— я тебя больше всего люблю вот такую.

Схватив мать за руку, Джон потащил ее к двери. Он закрыл за собой дверь со вздохом облегчения.

— Ты с какой стороны ляжешь, мама?

— С левой.

— Ну, хорошо.

Не теряя времени, чтобы она не успела передумать, маленький Джон залез в постель, которая показалась ему гораздо мягче, чем его собственная. Он опять глубоко вздохнул, зарылся головой в подушку и лежал, разглядывая битву колесниц и мечей и пик, которая всегда происходила на одеялах, там, где на свет были видны волоски.

— По-настоящему ведь ничего не было, правда?— сказал он.

Не отходя от зеркала, мать ответила:

— Только луна и твое разгоряченное воображение. Нельзя так волноваться, Джон!

Но маленький Джон, все еще не владея своими нервами, ответил хвастливо:

— Я и не испугался, по правде-то.

И он все лежал, разглядывая колесницы и пики. Время тянулось.

— Ой, мамочка, поскорей!

— Милый, надо же мне заплести косы.

— Сегодня не надо. Завтра ведь опять придется расплетать. Мне спать хочется, а если ты не придешь, расхочется.

Мать стояла перед трехстворчатым зеркалом, вся белая, и он видел ее с трех сторон; лицом к нему, волосы блестели в свете лампы, темные глаза улыбаются. Все это было ни к чему, и он сказал:

— Иди же, мама, я жду.

— Сейчас, мой родной, сейчас.

Маленький Джон закрыл глаза. Все кончилось к лучшему, только пусть бы уж она поскорее! Кровать дрогнула, она легла. И, не открывая глаз, он сонно проговорил:

— Хорошо, правда?

Он слышал, как она сказала что-то, почувствовал прикосновение ее губ у себя на носу и, прижавшись к той, что лежала без сна и любила его всеми помыслами, погрузился в безмятежный сон, который отделил его от прошлого.

1920

СДАЕТСЯ ВНАЕМ



ОТ ЧРЕСЛ ВРАЖДЕБНЫХ РОДИЛАСЬ ЧЕТА,
ЛЮБИВШАЯ НАПЕРЕКОР ЗВЕЗДАМ.

ШЕКСПИР

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»



От чресл враждебных родилась чета,
Любившая наперекор звездам.

Шекспир,
Ромео и Джульетта

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ВСТРЕЧА

Двенадцатого мая 1920 года Сомс Форсайт вышел из подъезда своей гостиницы, Найтсбридж-отеля, с намерением посетить выставку в картинной галерее на Корк-стрит и заглянуть в будущее. Он шел пешком. Со времени войны он, по мере возможности, избегал такси. Шоферы, на его взгляд, были отъявленные невежи, хотя теперь, когда война закончилась и предложение труда снова начало превышать спрос, они становились почтительней — согласно законам человеческой природы. Но Сомс им так и не простил: в глубине души он отождествлял их с мрачными тенями прошлого, а ныне смутно, как все представители его класса,— с революцией. Сильные волнения, перенесенные им во время войны, и еще более сильные волнения, коим подвергло его заключение мира, не прошли без психологических последствий для его упрямой натуры. Он столько раз в мыслях переживал разорение, что перестал верить в его реальную возможность. Чего же еще ждать, если и так приходится платить четыре тысячи в год подоходного и чрезвычайного налога! Состояние в четверть миллиона, обремененное только женой и единственной дочерью и разнообразно обеспеченное, представляло существенную гарантию даже против такого «нелепого новшества», как налог на капитал. Что же касается конфискации военных прибылей, то ей Сомс всецело сочувствовал — сам он таковых не имел. «Прощелыги! Так им и надо»,— говорил он о тех, кто нажился на войне. На картины между тем цены даже поднялись, и с начала войны дела с коллекцией шли у него все лучше и лучше. Налеты цеппелинов также подействовали благотворно на человека, по природе осторожного, и укрепили и без того упорный характер. Возможность в любую минуту взлететь на воздух приучала относиться более спокойно к взрывам небольших снарядов в виде всяческих обложений и налогов, а привычка ругать немцев за бессовестность, естественно, перерождалась в привычку ругать тред-юнионы — если не открыто, то в тайниках души.

Он шел пешком. Торопиться было некуда, так как они с Флер условились встретиться в галерее в четыре, а сейчас было только половина третьего. Ходить пешком Сомс считал для себя полезным — у него пошаливала печень, да и нервы слегка развинтились. Жена его, когда они

жили в городе, никогда не сидела дома, а дочь была прямо неуловима и целый день «носилась по разным местам», легкомысленная, как большинство молодых девушек послевоенной формации. Впрочем, уже и то хорошо, что по своему возрасту она не могла принять участие в войне. Из этого не следует, что Сомс не поддерживал войны всей душой с первых ее дней. Но между такою поддержкой и личным, непосредственным участием в войне родной дочери и жены зияла пропасть, созданная его старозаветным отвращением к экстравагантным проявлениям чувств. Так, например, он решительно воспротивился желанию прелестной Аннет (в четырнадцатом году ей было только тридцать четыре года) поехать во Францию, на свою «chère patrie»[1], как она выражалась теперь под влиянием войны, и ухаживать там за своими «braves poilus»[2]. Губить здоровье, портить внешность! Да какая она, в самом деле, сестра милосердия! Сомс наложил свое veto: пусть дома шьет на них или вяжет. Аннет не поехала, но с этого времени что-то в ней изменилось. Ее неприятная наклонность смеяться над ним — не открыто, а как-то по-своему, постоянно подтрунивая,— заметно возросла. В отношении Флер война разрешила трудный вопрос — отдать ли девочку в школу или нет. Лучше было отдалить ее от воинствующего патриотизма матери, от воздушных налетов и от стремлений к экстравагантным поступкам; поэтому Сомс поместил ее в пансион, настолько далеко на западе страны, насколько это, по его представлениям, было совместимо с хорошим тоном, и отчаянно по ней скучал. Флер! Он отнюдь не сожалел об иностранном имени, которым внезапно, при ее рождении, решил окрестить дочь, хоть это и было явной уступкой Франции. Флер! Красивое имя — красивая девушка! Но неспокойная, слишком неспокойная, и своенравная! Сознает свою власть над отцом! Сомс часто раздумывал о том, какую он делает ошибку, что так трясется над дочерью. Старческая слабость! Шестьдесят пять! Да, он старится; но годы не очень давали себя знать, так как,на его счастье, несмотря на молодость и красоту Аннет, второй брак не пробудил в нем горячих чувств. Сомс знал в жизни лишь одну подлинную страсть — к своей первой жене, к Ирэн. Да! А тот бездельник, его двоюродный братец Джолион, которому она досталась, совсем, говорят, одряхлел. Не удивительно — в семьдесят два года, после двадцати лет третьего брака.

Сомс на минуту остановился, прислонясь к решетке Роттен-роу. Самое подобающее место для воспоминаний — на полпути между домом на Парк-лейн, который видел его рождение и смерть его родителей, и маленьким домиком на Монпелье-сквер, где тридцать пять лет назад он вкусил радости первого брака. Теперь, после двадцати лет второго брака, та старая трагедия казалась Сомсу другой жизнью, которая закончилась, когда вместо ожидаемого сына родилась Флер. Сомс давно перестал жалеть, хотя бы смутно, о нерожденном сыне. Флер целиком заполнила его сердце. В конце концов дочь носит его имя, и он совсем не жаждет, чтобы она его переменила. В самом деле, если он и думал иног-

[1] «Дорогая родина» *(фр.)*.
[2] «Храбрые солдатики» *(фр.)*.

да о подобном несчастье, оно умерялось смутным сознанием, что он может сделать свою дочь достаточно богатой, чтобы имя ее перевесило и, может быть, даже поглотило имя того счастливца, который женится на ней,— почему бы и нет, раз женщина в наши дни, по-видимому, сравнялась с мужчиной? И Сомс, втайне убежденный в неизменном превосходстве своего пола, крепко провел вогнутой ладонью по лицу и дал ей успокоиться на подбородке. Благодаря привычке к воздержанию он не разжирел и не обрюзг; нос у него был белый и тонкий; седые усы были коротко подстрижены; глаза не нуждались в стеклах. Легкий наклон головы умерял излишнюю высоту лба, создаваемую отступившими на висках седыми волосами. Не много перемен произвело время в этом «самом богатеньком» из младших Форсайтов, как выразился бы последний из старшего поколения, Тимоти Форсайт, которому шел теперь сто первый год.

Тень платанов падала на его простую фетровую шляпу. Сомс дал отставку цилиндру — в наши дни не стоит афишировать свое богатство. Платаны! Мысль круто перенесла его в Мадрид — к последней пасхе перед войной, когда он, колеблясь, купить ли Гойю или нет, предпринял путешествие с целью изучить художника на его родине. Гойя произвел на него впечатление — первоклассный художник, подлинный гений! Как ни высоко ценят сейчас этого мастера, решил он, его станут ценить еще выше, прежде чем окончательно сдадут в архив. Новое увлечение Гойей будет сильнее первого; о, несомненно! И Сомс купил картину. В ту поездку, он, вопреки своему обычаю, заказал также копию с фрески «La Vendimia»[1]; на ней была изображена подбоченившаяся девушка, которая напоминала ему дочь. Полотно висело теперь в его галерее в Мейпл-дерхеме и выглядело довольно убого — Гойю не скопируешь. Однако в отсутствие дочери Сомс часто заглядывался на картину, плененный неуловимым сходством — в легкой, прямой и стройной фигуре, в широком просвете между изогнутыми дугою бровями, в затаенном пламени темных глаз. Странно, что у Флер темные глаза, когда у него самого глаза серые — у истого Форсайта не может быть карих глаз,— а у матери голубые! Но, правда, у ее бабушки Ламот глаза темные, как патока.

Он пошел дальше в направлении к «Углу» Хайд-парка. Ярче всего произошедшая в Англии перемена отразилась на Роттен-роу. Родившись в двух шагах отсюда, Сомс помнил Роу с 1860 года. Сюда приводили его ребенком, и он, выглядывая из-за кринолинов, глазел на всадников с бакенбардами, в тугих лосинах — как скакали они мимо, рисуясь своей кавалерийской посадкой, как снимали учтиво белые с выгнутыми полями цилиндры; самый воздух дышал досугом; колченогий человечек в длинном красном жилете вечно терся среди модников, держа на сворках несколько собак и все набиваясь продать одну из них его матери: болонки, кинг-чарлз, левретки, питавшие явное пристрастие к ее кринолину,— их теперь не увидишь нигде. Не увидишь ничего изысканного: сидит унылыми рядами рабочий люд, и не на что ему поглядеть, разве что проедет, сидя по-мужски, краснощекая толстушка в котелке или проскачет жи-

[1] «Сбор винограда» *(исп.)*.

тель дальней колонии на невзрачной лошаденке, взятой напрокат; трусят на приземистых пони маленькие девочки, катаются для моциона старички да пронесется изредка ординарец, проезжая крупного, резвого скакуна; ни чистокровных жеребцов, ни грумов, ни поклонов, ни шарканья ножкой, ни пересудов — ничего; только деревья остались те же — безразличные к смене поколений и к упадку рода человеческого. Вот она, демократическая Англия — всклокоченная, торопливая, шумная и, видимо, с обрубленной верхушкой. Сомс почувствовал, как у него в груди зашевелилась какая-то брезгливость. Замкнутая твердыня чинности и лоска невозвратно канула в вечность. Богатство осталось — о да! Он и сам богаче, чем был когда-либо его отец; но манеры, но вкус и достоинство — этого больше нет: все смешалось в толчее громадной, безобразной, пропахшей бензином галерки. То здесь, то там промелькнут маленькие затертые оазисы учтивости и хорошего тона, единичные и жалкие — chétifs[1], как сказала бы Аннет; но ничего прочного и цельного, что могло бы порадовать глаз. И в эту мешанину дурных манер и распущенных нравов брошена его дочь — цветок его жизни! А если заберут в свои руки власть лейбористы — неужели это им удастся?— вот когда наступит самое худшее!

Он прошел под аркой, с которой сняли наконец — слава богу — уродливый землисто-серый прожектор. «Навели бы лучше прожекторы на дорогу, по которой все они идут,— подумал он,— осветили бы свою пресловутую демократию»,— и он направил стопы свои по Пикадилли, минуя клуб за клубом. В фонаре «Айсиума» сидит, несомненно, Джордж Форсайт. Джордж так раздобрел, что проводит в клубе почти все свое время — некий недвижный, насмешливый, сардонический глаз, наблюдающий падение людей и нравов. И Сомс ускорил шаг, так как чувствовал себя всегда неловко под взглядом своего двоюродного брата. Джордж, как он слышал, в разгар войны написал воззвание за подписью «Патриот», в котором жаловался на истерию правительства, снизившего рацион овса скаковым лошадям. Да, вот он, сидит, высокий, грузный, элегантный, чисто выбритый, со слегка поредевшими гладкими волосами, от которых неизменно пахнет превосходным одеколоном, и держит в руке неизменный розовый листок спортивной газеты. Джордж не меняется! И, может быть, в первый раз у Сомса забилось под жилетом теплое чувство к этому пересмешнику. Его дородность, его безукоризненный пробор, тяжелый взгляд его бычьих глаз являлись гарантией, что старый порядок не так-то легко свалить. Он увидел, что Джордж пригласительно машет ему розовым листком — верно, хочет справиться насчет своих денег. Его капитал все еще находился под опекой Сомса: вступив компаньоном-пайщиком в юридическую контору двадцать лет назад, в тот мучительный период своей жизни, когда он разводился с Ирэн, Сомс как-то незаметно для других и для себя удержал за собой управление всеми денежными делами Форсайтов.

После минутного колебания он кивнул Джорджу и вошел в клуб. Со времени смерти в Париже его зятя Монтегью Дарти — смерти, которую

[1] Хрупкие, хилые *(фр.)*.

каждый объяснял по-своему, соглашаясь лишь в одном, что это не самоубийство, «Айсиум-Клуб» казался Сомсу более приличным, чем раньше. Джордж тоже, как ему было известно, успел «перебеситься», растратил свой прежний пыл и окончательно отдался чревоугодию, выбирая лишь самые изысканные блюда, чтобы дальше не полнеть, да сохранил, по его собственным словам, «только две-три старых клячи, дабы не утратить окончательно интереса к жизни». Итак, Сомс подсел к своему двоюродному брату у столика в фонаре, не испытывая, как в былые времена, стеснительного чувства, что совершает оплошность. Джордж протянул ему холеную руку.

— Мы не виделись с окончания войны. Как жена?

— Благодарю,— холодно ответил Сомс,— здорова.

Скрытая усмешка покривила на мгновение мясистое лицо Джорджа и плотоядно притаилась в глазу.

— Этот бельгиец Профон,— сказал он,— прошел у нас в члены клуба. Подозрительный субъект.

— Н-да,— пробурчал Сомс.— О чем ты хотел со мной поговорить?

— О старом Тимоти; он того и гляди сорвется с крючка. Завещание он, наверно, составил?

— Да.

— Так вот, тебе или кому-нибудь из нас следовало бы его навестить — как-никак последний из старой гвардии; ведь ему стукнуло сто. Он, говорят, совсем превратился в мумию. Где вы думаете его похоронить? Он заслужил пирамиду.

Сомс покачал головой.

— Похороним его в Хайгете, в фамильном склепе.

— Правильно. Наши дорогие старушки соскучились там по нему. Говорят, он еще проявляет интерес к еде. Он, знаешь ли, может долго протянуть. Нам ничего не причитается за наших стариков? Десять старых Форсайтов жили в среднем по восемьдесят восемь лет. Я высчитал. Государство должно бы выдать за них премию — приравнять их к тройням.

— Это все?— спросил Сомс.— А то мне пора идти.

«Филин ты этакий»,— ответили, казалось, глаза Джорджа.

— Да, все. Загляни к старичку в мавзолей — вдруг захочет попророчествовать.— Усмешка замерла в обильных рытвинах на его лице. Он добавил:— Неужели вы, юристы, не придумали, как отлынивать от подоходного налога, будь он трижды проклят! Он дьявольски бьет по наследственной ренте. Я привык получать две с половиной тысячи в год, мне же оставили какие-то нищенские полторы тысячи, а жизнь вздорожала вдвое.

— Эге!— промычал Сомс.— Скачки становятся не по карману?

Насмешливо-оборонительная улыбка пробежала по лицу Джорджа.

— Да,— сказал он,— я так воспитан, чтобы ничего не делать, и вот теперь, на склоне лет моих, нищаю с каждым днем. Эти лейбористы намерены драть с нас семь шкур, пока не оберут дочиста. Чем ты думаешь тогда зарабатывать свой хлеб? Я буду работать свои шесть часов в день — буду обучать политиков искусству понимать юмор. Мой тебе

совет, Сомс: пройди в парламент, обеспечь себе четыреста фунтов в год и найми меня учителем.

И, когда Сомс удалился, он занял свое прежнее место у окна в фонаре.

Сомс шел по Пикадилли, углубившись в размышления, вызванные словами кузена. Он всегда трудился и копил, а Джордж всегда бездельничал и транжирил; и все-таки, если дело дойдет до конфискации, то в первую голову будет ограблен он, бережливый труженик! Это было отрицанием всякой добродетели, ниспровержением всех форсайтских принципов. А может ли цивилизация строиться на каких-либо иных принципах? Сомс полагал, что не может. Правда, картин у него не отберут — не поймут их ценности. Но сколько будут стоить картины, если эти сумасброды начнут нажимать на капитал? Ровным счетом ничего. «Я не за себя тревожусь,— думал он.— Я мог бы жить на пятьсот фунтов в год — в моем-то возрасте — и не заметил бы разницы». Но Флер! Это состояние, так умно застрахованное, эти сокровища, так старательно выбранные и накопленные,— все это предназначалось для нее. И если окажется, что он не сможет передать или завещать их дочери, тогда жизнь бессмысленна, и что пользы тогда ходить на сумасшедшую футуристическую выставку и раздумывать, есть ли у «будетлян» какое-нибудь будущее?

Как бы там ни было, прибыв в галерею на Корк-стрит, он заплатил свой шиллинг, купил каталог и вошел. По зале слонялось человек десять посетителей. Сомс храбро двинулся к чему-то, что показалось похожим на фонарный столб, накренившийся от столкновения с автобусом. Вещь была выдвинута на три шага от стены и в каталоге названа «Юпитером». Сомс с любопытством осматривал ее, так как с недавнего времени уделял некоторое внимание скульптуре. «Если это Юпитер,— думал он,— то какова же Юнона?» И вдруг, как раз напротив, он узрел и ее. Богиня показалась ему как нельзя более похожей на водокачку с двумя рычагами, слегка запорошенную снегом. Он глядел на нее в недоумении, когда налево, рядом с ним, остановились двое.

— Пронзительно!— громко сказал один из них.

«Жаргонное словцо!»— проворчал про себя Сомс.

Мальчишеский голос другого возразил:

— Брось, старина! Это же издевательство над зрителями. Он, когда мастерил свою олимпийскую парочку, верно, приговаривал: «Посмотрим, как проглотит их наше дурачье». А дурачье глотает и облизывается.

— Ах ты, зеленый зубоскал! Воспович — новатор. Не видишь разве, что он вносит в ваяние сатиру? Будущее и ваяния, и музыки, и живописи, и даже архитектуры — в сатире. Ничего не попишешь. Народ устал — для чувствительности нет почвы: из нас вышибли всякую чувствительность.

— Так. Но я считаю себя вправе питать некоторую слабость к красоте. Я прошел через войну. Вы обронили платок, сэр.

Сомс увидел протянутый ему носовой платок. Он взял его с присущей ему подозрительностью и поднес к носу. Запах был правильный — чуть пахло одеколоном, метка в уголке. Несколько успокоившись, Сомс

поднял глаза на молодого человека. У него были уши фавна, смеющийся рот со щеточкой усов над углами губ и маленькие живые глаза. В одежде ничего экстравагантного.

— Благодарю вас,— сказал он и, движимый раздражением против скульптора, добавил:— Рад слышать, что вы цените красоту; в наши дни это редкость.

— Я на ней помешан,— сказал молодой человек.— Но мы с вами, сэр, последние из старой гвардии.

Сомс улыбнулся.

— Если вы в самом деле любите живопись, вот вам моя карточка. В любое воскресенье я могу показать вам несколько недурных картин, если вам придет охота, катаясь по реке, заглянуть ко мне.

— Страшно мило с вашей стороны, сэр. Заскочу непременно. Меня зовут Монт, Майкл Монт.

Он поспешно снял шляпу.

Сомс, уже раскаиваясь в своем внезапном порыве, также слегка приподнял шляпу и покосился на второго из молодых людей. Лиловый галстук, препротивные бачки, точно два слизняка, и презрительно прищуренные глаза — вероятно, поэт!

За много лет Сомс в первый раз допустил подобную оплошность и, взволнованный, уселся в нише. Чего ради ему вздумалось дать свою карточку какому-то вертопраху, который водится с подобными субъектами? И образ Флер, всегда таившийся за каждым его помыслом, выступил, как с боем часов выступает заводная филигранная фигурка на старых курантах. На стенде против ниши висело большое полотно, а на нем множество желто-красных, точно помидоры, кубиков — и больше ничего, как показалось Сомсу из его убежища. Заглянул в каталог: № 32, «Город будущего»— Пол Пост. «Полагаю, тоже сатира,— подумал он.— Ну и чушь!» Но следующая его мысль была уже осторожней. Нельзя торопиться с осуждением. Имела же успех — и очень громкий — полосатая мазня Моне; а пуантилисты, а Гоген? Даже после постимпрессионистов было два-три художника, над которыми смеяться не приходится. За те тридцать восемь лет, что Сомс был ценителем живописи, он наблюдал столько «течений», столько видел приливов и отливов во вкусах и в самой технике письма, что мог бы сказать с уверенностью только одно: на всякой перемене моды можно заработать. Возможно, что и теперь перед ним был один из тех случаев, когда надо или подавить в себе врожденные инстинкты, или упустить выгодную сделку. Он встал и застыл перед картиной, мучительно стараясь увидеть ее глазами других. Над желто-красными кубиками оказалось нечто, что он принял было за лучи заходящего солнца, пока кто-то из публики не сказал мимоходом: «Удивительно дан аэроплан, не правда ли?» Под кубиками шла белая полоса, иссеченная черными вертикалями, которым Сомс уже вовсе не мог подобрать никакого значения, пока не подошел кто-то еще и не прошептал: «Сколько экспрессии придает этот передний план!» Экспрессия? Выразительность? А что же тут выражено? Сомс вернулся к своему креслу в нише. «Умора»,— сказал бы его отец и не дал бы за эту вещь ни полпенни. Экспрессия! На континенте, как он

слышал, теперь все поголовно стали экспрессионистами. Докатилось, значит, и до нас. Ему вспомнилась первая волна инфлюэнцы в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом или восьмом году, которая шла, как говорили, из Китая. А откуда, интересно, пошел экспрессионизм? Форменная эпидемия!

Между Сомсом и «Городом будущего» остановились женщина и юноша. Они стояли к нему спиной, но Сомс поспешно заслонил лицо каталогом и, надвинув шляпу, продолжал наблюдать за ними. Он не мог не узнать эту спину, по-прежнему стройную, хотя волосы над ней поседели. Ирэн! Его разведенная жена Ирэн! А этот юноша, наверное, ее сын — ее сын от Джолиона Форсайта, их мальчик, он на шесть месяцев старше его собственной дочери! И, вновь переживая в мыслях горькие дни развода, Сомс встал, чтобы уйти, но тотчас поспешно сел на прежнее место. Ирэн повернула голову, собираясь что-то сказать сыну; в профиль она была так моложава, что седые волосы казались напудренными, точно на маскараде; а на губах ее блуждала улыбка, какой Сомс, первый обладатель этих губ, никогда на них не видел. Он против воли признал, что эта женщина еще красива и что стан ее почти так же молод, как был. А как улыбнулся ей в ответ мальчишка! У Сомса сжалось сердце. Его чувство справедливости было оскорблено. Да, улыбка ее сына вызвала в нем зависть — это превосходило все, что давала ему Флер, и это было незаслуженно! Их сын мог бы быть его сыном, Флер могла бы быть ее дочерью, если бы эта женщина не преступила черту! Он опустил каталог. Если она его увидит — что ж, тем лучше. Воспоминание о своем проступке в присутствии сына, который, может быть, ничего не знает о ее прошлом, будет благим перстом Немезиды, который рано или поздно должен коснуться ее! Потом, смутно сознавая, что подобная мысль экстравагантна для Форсайта в его возрасте, Сомс вынул часы. Начало пятого! Флер запаздывает! Она попла к его племяннице Имоджин Кардиган, и там ее, конечно, угощают папиросами, сплетнями, всякой ерундой. Сомс услышал, как юноша рассмеялся и сказал с горячностью:

— Мама, это, верно, кто-нибудь из «несчастненьких» тети Джун?

— Это, кажется, Пол Пост, мой родной.

Сомс вздрогнул от этих двух последних слов: он никогда не слышал их от Ирэн. И вдруг она его увидела. Должно быть, в глазах его отразилась саркастическая улыбка Джорджа Форсайта, так как ее затянутая в перчатку рука крепко сжала складки платья, брови поднялись, лицо окаменело. Она прошла мимо.

— Уродство!— сказал мальчик и снова взял ее под руку.

Сомс глядел им вслед. Мальчик был хорош собой; у него был форсайтский подбородок, глубоко посаженные темно-серые глаза, но что-то солнечное искрилось в его лице, как старый херес в хрустальном бокале,— улыбка ли его? Или волосы? Он лучше, чем они того заслуживали — Ирэн с Джолионом. Мать и сын скрылись из виду в соседней комнате, а Сомс продолжал рассматривать «Город будущего», но не видел его. Усмешка скривила его губы, он презирал себя за то, что после стольких лет все еще чувствовал так остро. Призраки! Но когда человек

стареет, что остается ему, кроме призраков? Правда, у него есть Флер! И глаза его остановились на входных дверях. Ей пора прийти; но она обязательно должна заставить его ждать! И вдруг перед ним явилась... не женщина — ветер: маленькая легкая фигурка, одетая в сине-зеленый балахон, перехваченный металлическим поясом; из-под ленты на лбу выбивались непокорные красного золота волосы, подернутые сединой. Она остановилась, заговорив со служителями галереи, и что-то очень знакомое дразнило память Сомса: глаза, подбородок, волосы, повадка — что-то в ней напоминало крошечного скайтерьера, ожидающего обеда. Ну конечно! Джун Форсайт! Его двоюродная племянница Джун, и она направляется прямо в его укромный уголок!

Джун в глубокой задумчивости села рядом с ним, достала записную книжку и сделала карандашом пометку. Сомс боялся шелохнуться. Проклятая вещь — родство! «Безвкусица»,— услышал он ее шепот; потом, словно в досаде на присутствие постороннего, который может ее подслушать, она взглянула на него. Случилось самое худшее!

— Сомс!

Сомс повернул голову на самую малую толику.

— Как поживаете?— спросил он.— Мы с вами не виделись двадцать лет.

— Да. Что вас сюда привело?

— Не иначе, как мои грехи,— ответил Сомс.— Ну и мазня!

— Мазня? О, конечно! Ведь это еще не получило признания.

— И никогда не получит,— ответил Сомс.— Это должно приносить убийственные убытки.

— Несомненно. И приносит.

— А вы откуда знаете?

— Эта галерея моя.

Сомс в неподдельном изумлении повел носом.

— Ваша? Чего ради вы устраиваете подобные выставки?

— *Я* не смотрю на искусство как на бакалейную торговлю.

Сомс указал на «Город будущего».

— Взгляните на это! Кто станет жить в таком городе? Или кто повесит такую картину у себя в доме?

Джун загляделась на полотно.

— Это видение,— проговорила она.

— Ерунда!

Наступило молчание. Джун встала. «Чудачка!»— подумал Сомс.

— Кстати,— сказал он вслух,— вы тут встретитесь с младшим сыном вашего отца и с женщиной, которую я знавал когда-то. Если хотите, мой вам совет: закройте вы эту выставку.

Джун оглянулась на него.

— Эх вы, Форсайт!— воскликнула она и пошла дальше.

В ее легкой, воздушной фигурке, так внезапно пронесшейся мимо, таилась опасная решимость. Форсайт! Конечно, он Форсайт! Как и она сама! Но с той поры, когда почти что девочкой она ввела в его дом Филипа Босини и сломала его жизнь, его отношения с Джун не ладились и едва ли могли наладиться в дальнейшем. Так вот она теперь какая —

по сей день не замужем, владелица галереи!.. Сомсу вдруг пришло на ум, как мало он нынче знает о своих родственниках. Старые тетки, жившие у Тимоти, умерли много лет назад; не стало больше биржи силетен. Что все они делали во время войны? Сын молодого Роджера был ранен, второй сын Сент-Джона Хэймена убит, старший сын молодого Николаса получил орден Британской империи — или чем там их награждают? Все так или иначе приняли участие в войне. Этот мальчишка, сын Джолиона и Ирэн,— он был, пожалуй, слишком молод; его собственное поколение уже, конечно, вышло из возраста, хотя Джайлс Хэймен и работал шофером в Красном Кресте, а Джесс Хэймен служил в добровольной полиции — эти «два Дромио» всегда любили спорт. А сам он — что ж? Он пожертвовал деньги на санитарный автомобиль, до одури читал газеты, перенес много волнений, не покупал костюмов, потерял семь фунтов веса; вряд ли он мог в своем возрасте сделать больше. Но как подумаешь, так поражает, право, насколько иначе и он и вся его семья отнеслись к этой войне, чем хотя бы к той истории с бурами, в которую империя тоже как будто вложила все свои силы. Правда, в той, старой, войне его племянник Вэл Дарти получил ранение, сын Джолиона умер от дизентерии; «два Дромио» пошли в кавалерию, а Джун в сестры милосердия; но все это делалось тогда в порядке чего-то чрезвычайного, знаменательного, тогда как в эту войну каждый «вносил свою лепту» как нечто само собой разумеющееся — так, по крайней мере, казалось Сомсу. В этом проявлялся рост чего-то нового или, может быть, вырождение старого? Форсайты сделались меньшими индивидуалистами? Или большими патриотами? Или меньшими провинциалами? Или просто тут сказалась ненависть к немцам? Почему нет Флер? Из-за нее он не может отсюда уйти! Сомс увидел, как те трое вернулись все вместе из второго зала и пошли вдоль стенда с той стороны. Мальчик остановился перед Юноной. И вдруг по другую сторону ее Сомс увидел... свою дочь. Ее брови были высоко подняты — вполне естественно. От Сомса не ускользнуло, что Флер поглядывает искоса на мальчика, а мальчик на нее. Затем Ирэн мягко взяла его под руку и увела прочь. Сомс видел, что он оглянулся, а Флер посмотрела им вслед, когда они все трое выходили из зала.

Веселый голос сказал:

— Немного пересолено, сэр, не правда ли?

Молодой человек, который подал ему тогда платок, опять очутился рядом. Сомс кивнул головой:

— Не знаю, куда мы идем.

— О, все в порядке, сэр!— весело подхватил молодой человек.— Они тоже не знают.

Голос Флер сказал:

— Здравствуй, папа! Вот и ты!

Точно не она его заставила ждать, а он ее!

Молодой человек, приподняв шляпу, пошел дальше.

Сомс осмотрел дочь с головы до ног.

— Ты у меня аккуратная маленькая женщина!

Это его драгоценнейшее в жизни достояние было среднего роста, умеренных тонов. Темно-каштановые волосы были коротко острижены; широко расставленные карие глаза вправлены в такие яркие белки, что они блестели, когда двигались, но в покое казались почти что сонными под завесой очень белых век, отороченных черными ресницами. У нее был очаровательный профиль, и в ее лице нельзя было отметить ничего отцовского, кроме решительного подбородка. Сознавая, что его взгляду свойственно смягчаться, когда он направлен на дочь, Сомс нахмурился, чтобы соблюсти приличествующую истому Форсайту невозмутимость. Он знал, что дочь слишком склонна пользоваться его отцовской слабостью.

Взяв его под руку, Флер спросила:

— Кто это?

— Он поднял мне платок. Мы с ним разговорились о картинах.

— Надеюсь, папа, ты не купишь *это*?

— Нет,— угрюмо проговорил Сомс,— ни это, ни Юнону, на которую ты так засмотрелась.

Флер потянула его за рукав.

— Ах, уйдем отсюда! Отвратительная выставка!

В дверях они опять встретились с Монтом и его товарищем. Но Сомс вывесил дощечку с надписью «Посторонним вход воспрещается» и едва ответил на поклон молодого человека.

— Так,— сказал он, выходя с дочерью на улицу,— кого ты видела у Имоджин?

— Тетю Уинифрид и мсье Профона.

— А, бельгиец!— проворчал Сомс.— Что в нем находит твоя тетка?

— Не знаю. Он очень себе на уме. И маме он тоже нравится.

Сомс что-то промычал.

— А еще там были Вэл и его жена.

— Да?— сказал Сомс.— Я думал, они давно уехали обратно в Южную Африку.

— Нет! Они продали там свою ферму. Кузен Вэл собирается объезжать скаковых лошадей в Сэссексе. Они купили прелестное старинное имение; приглашали меня к себе.

Сомс кашлянул: новость была ему не по вкусу.

— Какова она теперь, его жена?

— Очень спокойная, но, кажется, милая.

Сомс опять кашлянул.

— Вертопрах он, твой кузен Вэл.

— Ну что ты, папа! Они страшно любят друг друга. Я обещала приехать к ним в субботу и погостить до среды.

— Объезжать скаковых лошадей!— повторил Сомс.

Это само по себе было достаточно скверно, но причина его недовольства заключалась в другом: какого черта его племянник вернулся из Африки? Мало им было его собственного развода, так нет же, понадобилось еще, чтобы его родной племянник женился на дочери его соперника — на единокровной сестре Джун и того мальчишки, на которого Флер поглядывала только что из-под рычага водокачки. Если не принять

мер, Флер выведает все о старых невзгодах! Столько неприятностей сразу! Налетели на него сегодня, точно пчелиный рой!

— Я не одобряю этой поездки,— сказал он.

— Мне хочется посмотреть скаковых лошадей,— ответила Флер,— и они обещали поучить меня ездить верхом. Ты знаешь, Вэл не может много ходить; но он превосходный наездник. Он мне покажет своих лошадей на галопе.

— Уж эти мне скачки!— сказал Сомс.— Жаль, что война не пристукнула их окончательно. Вэл, я боюсь, пошел в своего отца.

— Я ничего не знаю о его отце.

— Н-да,— промычал Сомс.— Он увлекался лошадьми и умудрился сломать себе шею в Париже на какой-то дурацкой лестнице. Для твоей тетки это было счастливым избавлением.

Сомс насупился, вспоминая следствие по поводу этой самой лестницы, на которое он ездил в Париж шесть лет назад, потому что Монтегью Дарти уже не мог сам на нем присутствовать,— обыкновенная лестница в доме, где играют в баккара. Выигрыши ли ударили его зятю в голову? Или тот способ, которым он их отпраздновал? Французские следователи очень невнимательно отнеслись к делу; на долю Сомса выпало немало хлопот.

Голос Флер вывел его из задумчивости:

— Смотри! Те самые люди, которых мы видели в галерее.

— Какие люди?— пробурчал Сомс, хотя отлично понял, о ком она говорит.

— Красивая женщина, правда?

— Зайдем сюда, тут вкусные пирожные,— отрезал Сомс и, крепче прижав к груди ее локоть, завернул в кондитерскую. С его стороны это было очень необычно, и он сказал смущенно:— Что для тебя заказать?

— Ох, я ничего не хочу. Меня угостили коктейлем, а завтрак был семиэтажный.

— Надо заказать что-нибудь, раз мы зашли,— пробормотал Сомс, не выпуская ее руки.

— Два стакана чая,— сказал он,— и две порции нуги.

Но не успел он сесть, как сердце снова забило тревогу, побуждая его обратиться в бегство. Те трое... те трое тоже вошли в кондитерскую. Сомс услышал, как Ирэн что-то сказала сыну, а тот ответил:

— Ах, нет, мамочка, прекрасная кондитерская. Самая моя любимая.

И они втроем заняли столик.

В это мгновение, самое неловкое за всю его жизнь, осаждаемый призраками и тенями прошлого в присутствии двух женщин, которых только и любил он в жизни: своей разведенной жены и своей дочери от ее преемницы,— Сомс боялся не столько их, сколько своей двоюродной племянницы Джун. Она может устроить сцену, может познакомить этих двух детей — она способна на все. Он слишком поспешно стал кусать нугу, и она завязла на его вставных зубах. Прибегнув к помощи пальцев, он взглянул на Флер. Девушка сонно жевала нугу, но глаза ее были устремлены на юношу. Форсайт в Сомсе говорил: «Только начни чувствовать, думать — и ты погиб!» И он стал отчаянно откусывать нугу.

Вставные зубы! Интересно, у Джолиона тоже вставные зубы? А у этой женщины? Было время, когда он ее видел всю, как есть, без всяких прикрас, даже без платья. Этого у него никто не отнимет. И она тоже это помнит, хоть и сидит здесь спокойная, уверенная, точно никогда не была его женой. Едкая ирония шевелилась в его форсайтской крови — острая боль, граничившая с наслаждением. Только бы Джун не двинула на него весь вражий стан! Мальчик заговорил:

— Конечно, тетя Джун («Так он зовет сестру тетей? Впрочем, ей ведь под пятьдесят!»), ты очень добра, что поддерживаешь их и поощряешь. Но, по-моему, ну их совсем!

Сомс украдкой поглядел на них: встревоженный взгляд Ирэн неотступно следил за мальчиком. Она... она была способна на нежность к Босини, к отцу этого мальчика, к этому мальчику! Он тронул Флер за руку и сказал:

— Ну, ты кончила?

— Еще порцию, папа, пожалуйста.

Ее стошнит! Сомс подошел к кассе заплатить. Когда он снова обернулся, Флер стояла у дверей, держа в руке платок, который мальчик, по-видимому, только что подал ей.

— Ф. Ф.,— услышал он ее голос.— Флер Форсайт, правильно, мой. Благодарю вас.

Боже правый! Как она переняла трюк, о котором он сам только что рассказал ей в галерее,— мартышка!

— Форсайт? Неужели? Моя фамилия тоже Форсайт. Мы, может быть, родственники?

— Да, вероятно. Других Форсайтов нет. Я живу в Мейплдерхеме, а вы?

— В Робин-Хилле.

Вопросы и ответы чередовались так быстро, что Сомс не успел пошевелить пальцем, как все было кончено. Он увидел, что лицо Ирэн загорелось испугом, едва заметно покачал головой и взял Флер под руку.

— Идем,— сказал он.

Она не двигалась.

— Ты слышал, папа? Как странно: у нас одна и та же фамилия. Мы родственники?

— Что такое?— сказал он.— Форсайт? Верно, дальние.

— Меня зовут Джолион, сэр. Сокращенно — Джон.

— А! Э!— сказал Сомс.— Да. Дальние родственники. Как поживаете? Вы очень любезны. Прощайте!

Он пошел.

— Благодарю вас,— сказала Флер.— Au revoir!

— Au revoir,— услышал Сомс ответ мальчика.

II

ХИТРАЯ ФЛЕР ФОРСАЙТ

По выходе из кондитерской первым побуждением Сомса было сорвать свою досаду, сказав дочери: «Что за манера ронять платки!»— на что она с полным правом могла бы ответить: «Эту манеру я переняла от тебя!» А потому вторым его побуждением было, как говорится, «не трогать спящую собаку». Но Флер, несомненно, сама пристанет с вопросами. Он искоса поглядел на дочь и убедился, что она точно так же смотрит на него. Она сказала мягко:

— Почему ты не любишь этих родственников, папа?

Сомс приподнял уголки губ.

— С чего ты это взяла?

— Cela se voit[1].

«Это себя видит»— ну и выражение!

Прожив двадцать лет с женой-француженкой, Сомс все еще недолюбливал ее язык: какой-то театральный. К тому же в сознании Сомса этот язык ассоциировался со всеми тонкостями супружеской иронии.

— Почему?— спросил он.

— Ты их, конечно, знаешь, а между тем и виду не подал. Я заметила, они глядели на тебя.

— Этого мальчика я видел сегодня в первый раз в жизни,— возразил Сомс — и сказал чистую правду.

— Да, но остальных ты знаешь, дорогой мой.

Он опять искоса поглядел на дочь. Что она выведала? Не проболталась ли Уинифрид, или Имоджин, или Вэл Дарти и его жена? Дома при Флер тщательно избегали всякого намека на тот старый скандал, и Сомс много раз говорил Уинифрид, что в присутствии его дочери о нем и заикаться нельзя. Ей не полагалось знать, что в прошлом у ее отца была другая жена. Но темные глаза Флер, часто почти пугавшие Сомса своим южным блеском, смотрели на него совсем невинно.

— Видишь ли,— сказал он,— между твоим дедом и его братом произошла ссора. С тех пор наши две семьи порвали знакомство.

— Как романтично!

«Что она подразумевает под этим словом?»— подумал Сомс. Оно ему казалось экстравагантным и опасным, а прозвучало оно так, как если бы Флер сказала: «Как мило!»

— И разрыв продолжается по сей день,— добавил он, но тотчас пожалел об этих словах, прозвучавших как вызов.

Флер улыбнулась. По нынешнему времени, когда молодежь кичится своей самостоятельностью и презрением к такому предрассудку, как приличия, этот вызов должен был раздразнить ее своенравие. Потом, вспомнив выражение лица Ирэн, он вздохнул свободнее.

— А какая ссора? Из-за чего?— услышал он вопрос дочери.

— Из-за дома. Для тебя это дело далекого прошлого. Твой дедушка умер в тот самый день, когда ты родилась. Ему было девяносто лет.

---

[1] Сразу видно *(фр.)*.

— Девяносто? А много есть еще Форсайтов, кроме тех, которые значатся в «Красной книге»?

— Не знаю,— сказал Сомс.— Они теперь все разбрелись. Из старшего поколения все умерли, кроме Тимоти.

— Тимоти!— Флер всплеснула руками.— Как забавно!

— Ничуть!— проворчал Сомс.

Его оскорбило, что Флер нашла имя «Тимоти» забавным, как будто в этом скрывалось пренебрежение к его предкам. Новое поколение готово смеяться над всем прочным и стойким. «Загляни к старичку, пусть попророчествует». Ах! Если бы Тимоти мог видеть беспокойную Англию своих внучатых племянников и племянниц, он, конечно, сказал бы о них крепкое словцо. И невольно Сомс поднял глаза на окна «Айсиум-Клуба»; да, Джордж все еще сидит у окна с тем же розовым листком в руке.

— Папа, где это Робин-Хилл?

Робин-Хилл! Робин-Хилл, вокруг которого разыгралась та старая трагедия! К чему ей знать?

— В Сэрри,— пробормотал он,— неподалеку от Ричмонда. А что?

— Не там ли этот дом?

— Какой дом?

— Из-за которого вышла ссора.

— Да. Но что тебе до этого? Мы завтра едем домой, ты бы лучше подумала о своих нарядах.

— Благодарю! Они все уже обдуманы. Ссора, кровная вражда! Как в Библии или как у Марка Твена — вот занятно! А какую ты играл роль в вендетте, папа?

— Тебе до этого нет дела.

— Как! Но я ведь должна ее поддерживать?

— Кто тебе это сказал?

— Ты сам, дорогой мой.

— Я? Я, наоборот, сказал, что тебя это не касается.

— И я так думаю. Значит, все в порядке.

Она была слишком хитра для него: fine, как выражалась иногда о дочери Аннет. Остается только как-нибудь отвлечь ее внимание.

— Тут выставлено хорошее кружево,— сказал он, останавливаясь перед витриной.— Тебе должно понравиться.

Когда Сомс уплатил и они снова вышли на улицу, Флер сказала:

— По-моему, мать того мальчика для своего возраста очень красивая женщина. Я красивей не видела. Ты не согласен?

Сомс задрожал. Что за напасть! Дались ей эти люди!

— Я не обратил на нее внимания.

— Дорогой мой, я видела, как ты поглядывал на нее.

— Ты видишь все и еще много сверх того, что есть на самом деле!

— А что представляет собой ее муж? Ведь он тебе двоюродный брат, раз ваши отцы были братья.

— Не знаю, скорей всего умер,— с неожиданной силой сказал Сомс.— Я не видел его двадцать лет.

— Кем он был?

— Художником.

— Вот как? Чудесно!

Слова: «Если хочешь меня порадовать, брось думать об этих людях»— просились Сомсу на язык, но он проглотил их — ведь он не должен выказывать перед дочерью свои чувства.

— Он меня однажды оскорбил,— сказал он.

Ее быстрые глаза остановились на его лице.

— Понимаю! Ты не отомстил, и тебя это гложет. Бедный папа! Ну, я им задам!

Сомс чувствовал себя так, точно лежал в темноте и над лицом его кружил комар. Такое упорство со стороны Флер было ему внове, и, так как они уже дошли до своего отеля, он проговорил угрюмо:

— Я сделал все, что мог. А теперь довольно об этих людях. Я пройду к себе до обеда.

— А я посижу здесь.

Бросив прощальный взгляд на дочь, растянувшуюся в кресле,— полудосадливый, полувлюбленный взгляд,— Сомс вошел в лифт и был вознесен к своим апартаментам в четвертом этаже. Он стоял в гостиной у окна, глядевшего на Хайд-парк, и барабанил пальцами по стеклу. Он был смущен, испуган, обижен. Зудела старая рана, зарубцевавшаяся под действием времени и новых интересов, и к этому зуду примешивалась легкая боль в пищеводе, где бунтовала нуга. Вернулась ли Аннет? Впрочем, он не искал у нее помощи в подобных затруднениях. Когда она приступала к нему с расспросами о его первом браке, он всегда ее обрывал; она ничего не знала о его прошлом, кроме одного — что первая жена была большою страстью его жизни, тогда как второй брак был для него только сделкой. Она поэтому затаила обиду и при случае пользовалась ею очень расчетливо. Сомс прислушался. Шорох, смутный звук, выдающий присутствие женщины, доносился через дверь. Аннет дома. Он постучал.

— Кто там?

— Я,— отозвался Сомс.

Она переодевалась и была не совсем еще одета. Эта женщина имела право любоваться на себя в зеркале. Были великолепны ее руки, плечи, волосы, потемневшие с того времени, когда Сомс впервые познакомился с нею, и поворот шеи, и шелковое белье, и серо-голубые глаза под темными ресницами — право, в сорок лет она была так же красива, как в дни первой молодости. Прекрасное приобретение: превосходная хозяйка, разумная и достаточно нежная мать. Если б только она не обнажала так цинично сложившиеся между ними отношения! Питая к ней не больше нежности, чем она к нему, Сомс, как истый англичанин, возмущался, что жена не набрасывает на их союз хотя бы тончайшего покрова чувств. Как и большинство его соотечественников, он придерживался взгляда, что брак должен основываться на взаимной любви, а когда любовь иссякнет или когда станет очевидным, что ее никогда не было — так что брак уже явно зиждется не на любви,— тогда нужно гнать это сознание. Брак есть, а любви нет, но брак означает любовь, и надо как-то тянуть. Тогда все удовлетворены, и вы не погрязаете в цинизме, реализме и безнравственности, как французы. Мало того, это необходимо

в интересах собственности. Сомс знал, что Аннет знает, что оба они знают, что любви между ними нет. И все-таки он требовал, чтобы она не признавала этого на словах, не подчеркивала бы своим поведением, и он никогда не мог понять, что́ она имеет в виду, обвиняя англичан в лицемерии. Он спросил:

— Кто приглашен к нам в Шелтер на эту неделю?

Аннет слегка провела по губам помадой — Сомс всегда предпочитал, чтобы она не красила губ.

— Твоя сестра Уинифрид, Кардиганы,— она взяла тонкий черный карандашик,— и Проспер Профон.

— Бельгиец? Зачем он тебе?

Аннет лениво повернула шею, подчернила ресницы на одном глазу и сказала:

— Он будет развлекать Уинифрид.

— Хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь развлек Флер; она стала капризной.

— Капризной?— повторила Аннет.— Ты это в первый раз заметил, друг мой? Флер, как ты это называешь, капризна с самого рождения.

Неужели она никогда не избавится от своего картавого «р»? Он потрогал платье, которое она только что сняла, и спросил:

— Что ты делала это время?

Аннет посмотрела на его отражение в зеркале. Ее подкрашенные губы улыбались полурадостно, полунасмешливо.

— Жила в свое удовольствие,— сказала она.

— Угу!— угрюмо произнес Сомс.— Бантики?

Этим словом Сомс обозначал непостижимую для мужчины женскую беготню по магазинам.

— У Флер достаточно летних платьев?

— О моих ты не спрашиваешь.

— Тебе безразлично, спрашиваю я или нет.

— Совершенно верно. Так если тебе угодно знать, у Флер все готово, и у меня тоже, и стоило это страшно дорого!

— Гм!— сказал Сомс.— Что делает этот Профон в Англии?

Аннет подняла только что наведенные брови.

— Катается на яхте.

— Ах так! Он какой-то сонный.

— Да, иногда,— ответила Аннет, и на ее лице застыло спокойное удовлетворение.— Но иногда с ним очень весело.

— В нем чувствуется примесь черной крови.

Аннет томно потянулась.

— Черной? — переспросила она.— Почему? Его мать была arménienne[1].

— Возможно, поэтому,— проворчал Сомс.— Он понимает что-нибудь в живописи?

— Он понимает во всем — светский человек.

---

[1] Армянка *(фр.)*.

— Ну, хорошо. Пригласи кого-нибудь для Флер. Надо ее развлечь. В субботу она едет к Вэлу Дарти и его жене; мне это не нравится.

— Почему?

Так как действительную причину нельзя было объяснить, не вдаваясь в семейную хронику, Сомс ответил просто:

— Пустая трата времени. Она и так отбилась от рук.

— Мне нравится маленькая миссис Вэл: она спокойная и умная.

— Я о ней ничего не знаю, кроме того, что она... Ага, это что-то новое!

Сомс поднял с кровати сложнейшее произведение портновского искусства.

Аннет взяла платье из его рук.

— Застегни мне, пожалуйста, на спине.

Сомс стал застегивать. Заглянув через ее плечо в зеркало, он уловил выражение ее лица — чуть насмешливое, чуть презрительное, говорившее как будто: «Благодарю вас! Вы этому никогда не научитесь!» Да, не научится — он, слава богу, не француз! Кое-как справившись с трудной задачей, он буркнул, пожав плечами: «Слишком большое декольте!»— и пошел к двери, желая поскорее избавиться от жены и спуститься к Флер.

Пуховка застыла в руке Аннет, и неожиданно резко сорвались слова:

— Que tu es grossier! [1]

Это выражение Сомс помнил — и недаром. Услышав его в первый раз от жены, он подумал, что слова эти значат: «Ты — бакалейщик!» [2] — и не знал, радоваться ему или печалиться, когда выведал их подлинное значение. Сейчас они его обидели — он не считал себя грубым. Если он груб, то как же назвать человека в соседнем номере, который сегодня утром производил отвратительные звуки, прополаскивая горло; или тех людей в салоне, которые считают признаком благовоспитанности говорить не иначе, как во все горло, чтобы слышал весь дом,— пустоголовые крикуны! Груб? Только потому, что сказал ей насчет декольте? Но оно в самом деле велико! Не возразив ни слова, он вышел из комнаты.

Войдя в салон, он сразу увидел Флер на том же месте, где оставил ее. Она сидела, закинув ногу на ногу, и тихо покачивала серой туфелькой — верный признак, что девушка замечталась. Это доказывали также ее глаза — они у нее иногда вот так уплывают вдаль. А потом — мгновенно — она очнется и станет быстрой и непоседливой, как мартышка. И как много она знает, как она самоуверенна, а ведь ей нет еще девятнадцати лет. Как говорится — девчонка. Девчонка? Неприятное слово! Им называют этих отчаянных вертихвосток, которые только и знают, что пищать, щебетать да выставлять напоказ свои ноги! Худшие из них — злой кошмар, лучшие — напудренные ангелочки! Нет, Флер не вертихвостка, не какая-нибудь разбитная, невоспитанная девчонка. Но все же она отчаянно своенравна, жизнерадостна и, кажется, твердо решила наслаждаться жизнью. Наслаждаться! Это слово не вызывало

---

[1] Как ты груб! *(фр.)*

[2] По созвучию с английским «*grocer*».

у Сомса пуританского ужаса; оно вызывало ужас, отвечавший его темпераменту. Сомс всегда боялся наслаждаться сегодняшним днем из страха, что меньше останется наслаждений на завтра. И его пугало сознание, что дочь его лишена этой бережливости. Это явствовало даже из того, как она сидит в кресле — сидит, отдавшись мечтам,— сам он никогда не отдавался мечтам: из этого ничего не извлечешь,— и откуда это у Флер? Во всяком случае, не от Аннет. А ведь в молодости, когда он за ней ухаживал, Аннет была похожа на цветок. Теперь-то не похожа.

Флер встала с кресла — быстро, порывисто — и бросилась к письменному столу. Схватив перо и бумагу, она начала писать с таким рвением, словно не имела времени перевести дыхание, пока не допишет письмо. И вдруг она увидела отца. Выражение отчаянной сосредоточенности исчезло, она улыбнулась, послала воздушный поцелуй и состроила милую гримаску легкого смущения и легкой скуки.

Ах! И хитрая она — действительно fine!

III

В РОБИН-ХИЛЛЕ

Девятнадцатую годовщину рождения сына Джолион Форсайт провел в Робин-Хилле, спокойно предаваясь своим занятиям. Он теперь все делал спокойно, так как сердце его было в печальном состоянии, а он, как и все Форсайты, не дружил с мыслью о смерти. Он и сам не понимал, до какой степени мысль о ней была ему противна, пока в один прекрасный день, два года назад, не обратился к своему врачу по поводу некоторых тревожных симптомов, и тот ему объявил:

«В любую минуту, от любого напряжения».

Он принял это с улыбкой — естественная реакция Форсайта на неприятную истину. Но с усилением симптомов в поезде на обратном пути он постиг во всей полноте смысл висевшего над ним приговора. Оставить Ирэн, своего мальчика, свой дом, свою работу, как ни мало он теперь работает! Оставить их для неведомого мрака, для состояния невообразимого, для такого небытия, что он даже не будет ощущать ни ветра, колышущего листву над его могилой, ни запахов земли и травы. Такого небытия, что он никогда, сколько бы ни старался, не мог его постичь — все оставалась надежда на новое свидание с теми, кого он любил! Представить себе это — значило пережить сильнейшее душевное волнение. В тот день, еще не добравшись до дому, он решил ничего не сообщать Ирэн. Придется ему стать осторожнейшим в мире человеком, ибо любая мелочь может выдать его и сделать ее почти столь же несчастной, как и он сам. По остальным статьям врач нашел его здоровым; семьдесят лет — это ведь не старость: он долго еще проживет, *если* сумеет!

Подобное решение, выполняемое в течение почти двух лет, способствует полному развитию всех тончайших свойств характера. Мягкий по природе, способный на резкость только когда разнервничается, Джолион превратился в воплощенное самообладание. Грустное терпение ста-

риков, вынужденных щадить свои силы, прикрывалось улыбкой, которую он сохранял даже наедине с собою. Он постоянно изобретал всяческие покровы для этой вынужденной бережности к самому себе.

Сам над собою смеясь, он играл в опрощение: отказался от вина и сигар, пил особый кофе, не содержащий ни признака кофе. Словом, под маской мягкой иронии обезопасил себя настолько, насколько это возможно для Форсайта в его положении. Уверенный, что его не накроют, так как жена и сын уехали в город, он провел тот чудесный майский день, спокойно разбирая свои бумаги, чтобы можно было хоть завтра умереть, никому не причинив хлопот,— подвел последний баланс своим материальным делам. Разметив бумаги и заперев их в старый китайский ларец своего отца, Джолион заклеил ключ в конверт, на конверте написал: «Ключ от китайского ларца, где найдете отчет о всех моих материальных делах. *Дж. Ф.*»— и положил его в карман на груди, чтобы он, на всякий случай, был всегда при нем. Потом, позвонив, чтобы подали чай, пошел и сел за стол под старым дубом.

Смертный приговор висит над каждым; Джолион, для которого только срок был несколько более точным и близким, так сжился с мыслью о приговоре, что обычно он, как и другие, думал о других вещах. Сейчас он думал о сыне.

Джону в этот день исполнилось девятнадцать лет, и Джон недавно пришел к решению. Пройдя курс не в Итоне, как его отец, и не в Хэрроу, как его покойный брат, но в одном из тех заведений, которые ставят себе целью устранить недостатки и сохранить преимущества системы старых закрытых школ, а на деле в большей или меньшей мере сохраняют ее недостатки и устраняют преимущества, Джон в апреле месяце кончил школу, абсолютно не ведая, кем он хочет быть. Война, обещавшая длиться вечно, кончилась как раз к тому времени, когда он собрался (за шесть месяцев до срока) вступить в армию. До сих пор война мешала ему освоиться с мыслью, что он может свободно выбирать себе дорогу. Несколько раз он заводил с отцом разговор, в котором выказывал веселую готовность ко всему, кроме, конечно, церкви, армии, юриспруденции, сцены, биржи, медицины, торговли и техники. Джолион сделал отсюда вполне логичный вывод, что Джон не питает склонности ни к чему. В этом возрасте он и сам переживал в точности то же. Но для него эта приятная неопределенность вскоре окончилась из-за ранней женитьбы и ее несчастных последствий. Он был вынужден сделаться агентом страхового общества, но снова стал богатым человеком, прежде чем его талант художника достиг расцвета. Однако, обучив своего мальчика рисовать свинок, собак и прочих животных, Джолион понял, что Джон никогда не будет живописцем, и склонился к выводу, что за его отвращением ко всему скрывается намерение стать писателем. Однако, придерживаясь взгляда, что и для этой профессии необходим опыт, Джолион пока ничего не мог придумать для сына, кроме университета, путешествий да, пожалуй, подготовки к карьере адвоката. А там... там видно будет, а вернее, ничего не будет видно. Однако и перед этими предложенными ему соблазнами Джон оставался в нерешительности.

Совещания с сыном укрепили сомнения Джолиона в том, действительно ли мир изменился. Люди говорят, будто наступило новое время. С прозорливостью человека, которому недолго осталось жить, Джолион видел, что эпоха только внешне слегка изменилась, по существу же осталась в точности такой, как была. Род человеческий по-прежнему делится на два вида: склонное к «созерцанию» меньшинство и чуждая ему масса, да посредине некая прослойка из гибридов, таких, как он сам. Джон, по-видимому, принадлежал к породе созерцателей, и отец считал это печальным фактом.

А потому с чем-то более глубоким, чем его обычная ирония, выслушал он две недели назад слова своего мальчика:

— Я хотел бы заняться сельским хозяйством, папа, если это только не обойдется тебе слишком дорого. Это, кажется, единственный образ жизни, при котором можно никого не обижать; еще, пожалуй, искусство, но эта возможность для меня, конечно, исключена.

Джолион воздержался от улыбки и ответил:

— Отлично. Ты вернешься к тому, с чего мы начали при Джолионе Первом в тысяча семьсот шестидесятом году. Это подтвердит теорию циклов, и ты, несомненно, имеешь шансы выращивать лучшую репу, чем твой прапрадед.

Слегка смущенный, Джон спросил:

— Но разве тебе не нравится мой план, папа?

— Можно попробовать, дорогой. Если ты в самом деле пристрастишься к этому делу, ты принесешь больше пользы в жизни, чем приносит большинство людей, хоть это еще не значит, что много.

Однако про себя он подумал: «Джон никогда не пристрастится к сельскому хозяйству. Дам ему четыре года сроку. Занятие здоровое и безобидное».

Обдумав вопрос и посоветовавшись с Ирэн, он написал своей дочери, миссис Вэл Дарти, спрашивая, не знает ли она по соседству, в Меловых горах, какого-нибудь фермера, который взял бы к себе Джона в обучение. Холли ответила восторженным письмом. Есть очень подходящий человек, и совсем близко; они с Вэлом будут счастливы взять Джона к себе.

Мальчик должен был уехать на следующий день.

Попивая слабый чай с лимоном, Джолион глядел сквозь ветви старого дуба на вид, который он в течение тридцати двух лет находил неизменно прекрасным. Дерево не постарело, казалось, ни на день. Так молоды были маленькие буро-золотые листики, так стара белесая прозелень его толстого корявого ствола. Дерево воспоминаний, которое будет жить еще сотни лет, если не срубит его варварская рука, которое увидит конец старой Англии — при теперешних-то темпах. Джолион вспомнил вечер три года назад, когда, обняв Ирэн, он стоял у окна и следил за немецким аэропланом, кружившим, казалось, прямо над старым дубом. На другой день посреди поля при ферме Гейджа они нашли вырытую бомбой воронку. Это случилось до того, как Джолион узнал свой смертный приговор. Теперь он почти жалел, что бомба тогда его не прикончила. Это избавило бы его от множества тревог, от долгих

часов холодного страха, сосущего под ложечкой. Он раньше рассчитывал прожить нормальный форсайтский век — восемьдесят пять или больше. Ирэн к тому времени было бы семьдесят. А теперь ей будет тяжело его лишиться. Впрочем, у нее останется Джон, занимающий в ее жизни больше места, чем он сам; Джон, который так ей предан.

Под этим деревом, где старый Джолион, ожидая, когда покажется на лужайке идущая к нему Ирэн, испустил последнее дыхание, Джолион-младший с усмешкой подумывал, не лучше ли теперь, когда у него все приведено в такой безупречный порядок, закрыть глаза и отойти. Недостойным казалось цепляться паразитом за бездеятельный остаток жизни, в которой он жалел только о двух вещах: о том, что в молодые годы долго был в разлуке с отцом, и о том, что поздно наступил его союз с Ирэн.

С того места, где он сидел, ему была видна купа яблонь в цвету. Ничто в природе так не волновало его, как плодовые деревья в цвету; и сердце его вдруг болезненно сжалось при мысли, что, может быть, он больше никогда не увидит их цветения. Весна! Нет, решительно не должен человек умирать, когда его сердце еще достаточно молодо, чтобы любить красоту! Дрозды безудержно заливались в кустах, летали высоко ласточки, листья над головой сверкали; и поля всеми вообразимыми оттенками ранних всходов, залитых косым светом, уходили вдаль, туда, где синей дымкой курился на горизонте далекий лес. Цветы Ирэн на грядках приобрели в этот вечер почти пугающую индивидуальность: каждый цветок по-своему утверждал радость жизни. Только китайские и японские художники да, пожалуй, Леонардо умели передавать это удивительное маленькое ego в каждом написанном ими цветке, и птице, и зверьке — индивидуальность и вместе с ней ощущение рода, ощущение единства жизни. Вот были мастера!

«Я не сотворил ничего, что будет жить!— думал Джолион.— Я был дилетантом, я только любил, но не создавал. Все же, когда я уйду, останется Джон. Какое счастье, что Джона не захватила война. Он легко мог бы погибнуть, как бедный Джолли в Трансваале, двадцать лет назад. Джон когда-нибудь что-нибудь создаст, если век не испортит его: мальчик одарен воображением! Его новая прихоть заняться сельским хозяйством идет от чувства и вряд ли окажется долговечной». И в эту самую минуту он увидел их в поле: Ирэн с сыном рука об руку шли со станции. Джолион медленно встал и через новый розарий направился им навстречу...

В тот вечер Ирэн зашла к нему в комнату и села у окна. Она сидела молча, пока он первый не заговорил:

— Что с тобою, любовь моя?

— Сегодня у нас была встреча.

— С кем?

— С Сомсом.

Сомс! Последние два года Джолион гнал это имя из своих мыслей, сознавая, что оно ему вредно. И теперь его сердце сделало опасный маневр: оно как будто скатилось набок в груди.

Ирэн спокойно продолжала:

— Он был с дочерью в галерее, а потом в той же кондитерской, где мы пили чай.

Джолион подошел и положил руку ей на плечо.

— Каков он с виду?

— Поседел, но в остальном такой же.

— А дочка?

— Хорошенькая. Так, во всяком случае, думает Джон.

Опять сердце Джолиона покатилось набок. Лицо у его жены было напряженное и озабоченное.

— Ты с ним не...— начал Джолион.

— Нет. Но Джон узнал ее имя. Девочка уронила платок, а он поднял и подал ей.

Джолион присел на кровать. Вот незадача!

— С вами была Джун. Она не вмешалась?

— Нет; но все вышло очень странно, натянуто. Джон это заметил!

Джолион перевел дыхание и сказал:

— Я часто раздумывал, правы ли мы, что скрываем от него. Когда-нибудь все равно узнает.

— Чем позже, тем лучше, Джолион. В молодости суждения так дешевы и жестки. В девятнадцать лет что думал бы ты о своей матери, если б она поступила, как я?

Да! В этом вся трудность! Джон боготворит свою мать — и ничего не знает о трагедиях жизни, о ее непреложных требованиях, не знает ничего о горькой тюрьме несчастного брака, о ревности или о страсти — вообще ничего еще не знает!

— Что ты ему сказала?— спросил он наконец.

— Что они наши родственники, но что мы с ними незнакомы; что ты чуждался своих родных или, скорей, они тебя; я боюсь, он приступит с расспросами к тебе.

Джолион улыбнулся.

— Кажется, это займет место воздушных налетов,— сказал он.— Без них в конце концов скучновато.

Ирэн подняла на него глаза.

— Мы знали, что это придет.

Он ответил с неожиданной силой:

— Я не допущу, чтобы Джон тебя порицал. Он этого не должен делать даже в мыслях. Он одарен воображением; и он поймет, если изложить ему все должным образом. Я думаю, лучше мне рассказать ему все, прежде чем он узнает другим путем.

— Подождем, Джолион.

Это похоже на нее — ей чуждо предвидение, она никогда не поспешит навстречу опасности. Однако — кто знает!— может быть, она права. Нехорошо идти наперекор материнскому инстинкту. Может быть, правильней оставить мальчика в неведении, пока некоторый жизненный опыт не даст ему в руки пробный камень, который позволит ему произвести оценку той старой трагедии; пока любовь, ревность, желание не сделают его милосердней. Как бы там ни было, надо принять меры предосторожности — все возможные меры. И долго после того, как Ирэн

ушла от него, он лежал без сна, обдумывая эти меры. Надо написать Холли, рассказать ей, что Джону пока ничего не известно о семейной истории. Холли тактична, ни она, ни ее муж ничего не выдадут — она позаботится о том. Джон завтра поедет и возьмет с собою письмо.

Итак, с боем часов на конюшне угас день, когда Джолион привел в порядок свои материальные дела, и новый день начался для него в сумраке душевной неурядицы, которую нельзя было так просто разобрать и подытожить...

А Джон в своей комнате, некогда служившей ему детской, тоже лежал без сна во власти чувства, возможность которого оспаривается теми, кто его никогда не знал: любви с первого взгляда. Он ощутил, как оно зародилось в нем от блеска тех темных глаз, что посмотрели на него через плечо Юноны, зародилось вместе с убеждением, что эта девушка — его мечта; и то, что произошло потом, показалось ему одновременно и естественным и чудесным. Флер! Одного ее имени было почти достаточно для того, кто так безмерно был подвержен обаянию слов. В наш гомеопатический век, когда юноши и девушки получают совместное образование и с раннего возраста находятся в таком постоянном общении, что это почти убивает в них пол, Джон был до странности старомоден. В новую школу, где он учился, принимали только мальчиков, а каникулы он проводил в Робин-Хилле с товарищами или наедине с родителями. Таким образом, ему никогда не прививалась, в предохранение от любовной заразы, небольшая доза яда. И теперь в ночной темноте лихорадка быстро разгоралась. Он лежал без сна, мысленно восстанавливая черты Флер, припоминая ее слова и в особенности это последнее «Au revoir!»— и нежное и веселое.

На рассвете он был еще так далек от сна, что вскочил с постели, надел теннисные туфли, штаны, свитер и, тихо спустившись по лестнице, вылез через окно кабинета. Было уже светло; пахло влажной травой. «Флер!— думал он.— Флер!» Свет в саду был таинственно-бледный, и все спало, только птицы начинали чирикать. «Пойду в рощу»,— подумал Джон. Он побежал по полям, достиг пруда как раз к восходу солнца и вошел в рощу. Ковром устилали землю голубые колокольчики, лиственницы дышали тайной — казалось, самый воздух был проникнут ею. Джон жадно вдыхал его свежесть и при все более ярком свете смотрел на колокольчики. Флер! Какие рифмы напрашивались к этому имени! И живет она в Мейплдерхеме — тоже красивое название; это, кажется, где-то на Темзе? Надо будет сейчас отыскать по атласу. Он ей напишет. Но ответит ли она? О! Должна ответить! Она сказала: «Au revoir!»— не «Прощайте!» Какое счастье, что она уронила платок! Иначе он никогда бы с ней не познакомился. И чем больше он думал об этом платке, тем удивительней казалось ему его счастье. Флер. Рифмуется с «костер». Ритмические узоры теснились в мозгу; слова просились в сочетания; создавался стержень стихотворения.

Так простоял Джон более получаса, потом возвратился к дому и, раздобыв лестницу, влез в окно своей спальни — из чистого озорства. Затем, вспомнив, что окно в кабинете осталось открытым, он сошел вниз и запер его, предварительно убрав лестницу и устранив таким образом

— Он был с дочерью в галерее, а потом в той же кондитерской, где мы пили чай.

Джолион подошел и положил руку ей на плечо.

— Каков он с виду?

— Поседел, но в остальном такой же.

— А дочка?

— Хорошенькая. Так, во всяком случае, думает Джон.

Опять сердце Джолиона покатилось набок. Лицо у его жены было напряженное и озабоченное.

— Ты с ним не...— начал Джолион.

— Нет. Но Джон узнал ее имя. Девочка уронила платок, а он поднял и подал ей.

Джолион присел на кровать. Вот незадача!

— С вами была Джун. Она не вмешалась?

— Нет; но все вышло очень странно, натянуто. Джон это заметил!

Джолион перевел дыхание и сказал:

— Я часто раздумывал, правы ли мы, что скрываем от него. Когда-нибудь все равно узнает.

— Чем позже, тем лучше, Джолион. В молодости суждения так дешевы и жестки. В девятнадцать лет что думал бы ты о своей матери, если б она поступила, как я?

Да! В этом вся трудность! Джон боготворит свою мать — и ничего не знает о трагедиях жизни, о ее непреложных требованиях, не знает ничего о горькой тюрьме несчастного брака, о ревности или о страсти — вообще ничего еще не знает!

— Что ты ему сказала?— спросил он наконец.

— Что они наши родственники, но что мы с ними незнакомы; что ты чуждался своих родных или, скорей, они тебя; я боюсь, он приступит с расспросами к тебе.

Джолион улыбнулся.

— Кажется, это займет место воздушных налетов,— сказал он.— Без них в конце концов скучновато.

Ирэн подняла на него глаза.

— Мы знали, что это придет.

Он ответил с неожиданной силой:

— Я не допущу, чтобы Джон тебя порицал. Он этого не должен делать даже в мыслях. Он одарен воображением; и он поймет, если изложить ему все должным образом. Я думаю, лучше мне рассказать ему все, прежде чем он узнает другим путем.

— Подождем, Джолион.

Это похоже на нее — ей чуждо предвидение, она никогда не поспешит навстречу опасности. Однако — кто знает!— может быть, она права. Нехорошо идти наперекор материнскому инстинкту. Может быть, правильней оставить мальчика в неведении, пока некоторый жизненный опыт не даст ему в руки пробный камень, который позволит ему произвести оценку той старой трагедии; пока любовь, ревность, желание не сделают его милосердней. Как бы там ни было, надо принять меры предосторожности — все возможные меры. И долго после того, как Ирэн

ушла от него, он лежал без сна, обдумывая эти меры. Надо написать Холли, рассказать ей, что Джону пока ничего не известно о семейной истории. Холли тактична, ни она, ни ее муж ничего не выдадут — она позаботится о том. Джон завтра поедет и возьмет с собою письмо.

Итак, с боем часов на конюшне угас день, когда Джолион привел в порядок свои материальные дела, и новый день начался для него в сумраке душевной неурядицы, которую нельзя было так просто разобрать и подытожить...

А Джон в своей комнате, некогда служившей ему детской, тоже лежал без сна во власти чувства, возможность которого оспаривается теми, кто его никогда не знал: любви с первого взгляда. Он ощутил, как оно зародилось в нем от блеска тех темных глаз, что посмотрели на него через плечо Юноны, зародилось вместе с убеждением, что эта девушка — его мечта; и то, что произошло потом, показалось ему одновременно и естественным и чудесным. Флер! Одного ее имени было почти достаточно для того, кто так безмерно был подвержен обаянию слов. В наш гомеопатический век, когда юноши и девушки получают совместное образование и с раннего возраста находятся в таком постоянном общении, что это почти убивает в них пол, Джон был до странности старомоден. В новую школу, где он учился, принимали только мальчиков, а каникулы он проводил в Робин-Хилле с товарищами или наедине с родителями. Таким образом, ему никогда не прививалась, в предохранение от любовной заразы, небольшая доза яда. И теперь в ночной темноте лихорадка быстро разгоралась. Он лежал без сна, мысленно восстанавливая черты Флер, припоминая ее слова и в особенности это последнее «Au revoir!»— и нежное и веселое.

На рассвете он был еще так далек от сна, что вскочил с постели, надел теннисные туфли, штаны, свитер и, тихо спустившись по лестнице, вылез через окно кабинета. Было уже светло; пахло влажной травой. «Флер!— думал он.— Флер!» Свет в саду был таинственно-бледный, и все спало, только птицы начинали чирикать. «Пойду в рощу»,— подумал Джон. Он побежал по полям, достиг пруда как раз к восходу солнца и вошел в рощу. Ковром устилали землю голубые колокольчики, лиственницы дышали тайной — казалось, самый воздух был проникнут ею. Джон жадно вдыхал его свежесть и при все более ярком свете смотрел на колокольчики. Флер! Какие рифмы напрашивались к этому имени! И живет она в Мейплдерхеме — тоже красивое название; это, кажется, где-то на Темзе? Надо будет сейчас отыскать по атласу. Он ей напишет. Но ответит ли она? О! Должна ответить! Она сказала: «Au revoir!»— не «Прощайте!» Какое счастье, что она уронила платок! Иначе он никогда бы с ней не познакомился. И чем больше он думал об этом платке, тем удивительней казалось ему его счастье. Флер. Рифмуется с «костер». Ритмические узоры теснились в мозгу; слова просились в сочетания; создавался стержень стихотворения.

Так простоял Джон более получаса, потом возвратился к дому и, раздобыв лестницу, влез в окно своей спальни — из чистого озорства. Затем, вспомнив, что окно в кабинете осталось открытым, он сошел вниз и запер его, предварительно убрав лестницу и устранив таким образом

все следы, которые могли бы выдать его чувство. Слишком было оно глубоко, чтобы открыть его кому бы то ни было, даже матери.

IV

МАВЗОЛЕЙ

Бывают дома, чьи души отошли в сумрак времени, оставив тела в сумраке Лондона. Не совсем так обстояло дело с домом Тимоти на Бэйсуотер-род, ибо душа Тимоти одной ногой еще пребывала в теле Тимоти Форсайта, и Смизер поддерживала атмосферу неизменной — атмосферу камфоры, и портвейна, и дома, где окна только два раза в сутки открываются для проветривания.

Для Форсайтов этот дом был теперь чем-то вроде китайской коробочки для пилюль — клеточки, одна в другой, и в последнюю заключен Тимоти. До него не добраться, или так, по крайней мере, утверждали те из родни, кто по старинной привычке или по рассеянности нет-нет, а заходили сюда проведать своего последнего дядю: Фрэнси, теперь уже совсем эмансипировавшаяся от бога (она открыто исповедовала атеизм), Юфимия, эмансипировавшаяся от старого Николаса, и Уинифрид Дарти, тоже эмансипировавшаяся от своего «светского человека». Но в конце концов нынче все стали эмансипированными или говорят, что стали, а это, пожалуй, не совсем одно и то же.

Поэтому, когда Сомс на другой день после знаменательной встречи зашел в этот дом по дороге на Пэддингтонский вокзал, вряд ли он рассчитывал увидеть Тимоти во плоти. Сердце его екнуло, когда он остановился на ярком солнце у свежевыбеленного крыльца маленького дома, где жили некогда четверо Форсайтов, а теперь доживал только один, точно зимняя муха; дом, куда Сомс захаживал несчетное число раз скинуть или принять балласт семейных сплетен, дом «стариков», людей другого века, другой эпохи.

Вид Смизер, по-прежнему затянутой в высокий, до подмышек, корсет, потому что тетя Джули и тетя Эстер не одобряли новой моды, появившейся в 1903 году, когда они сами сошли со сцены, вызвал бледную дружескую улыбку на губах Сомса; Смизер, во всем до последних мелочей верная старой моде, неоценимая служанка — такие теперь перевелись,— улыбнулась ему в ответ со словами:

— Ах, господи! Мистер Сомс! Сколько лет! Как же вы поживаете, сэр? Мистер Тимоти будет очень рад узнать, что вы заходили.

— Как он поживает?

— О сэр, он для своих лет совсем молодцом; но он, конечно, необыкновенный человек. Я так и сказала миссис Дарти, когда она была у нас последний раз: вот порадовались бы на него мисс Форсайт, и миссис Джули, и мисс Эстер, если бы могли видеть, как он отлично управляется с печеным яблочком. Он, правда, совсем оглох, но это я считаю только к лучшему: иначе я просто ума не приложу, что бы мы делали с ним во время налетов.

— А-а,— сказал Сомс.— Что же все-таки вы делали?

все следы, которые могли бы выдать его чувство. Слишком было оно глубоко, чтобы открыть его кому бы то ни было, даже матери.

IV

МАВЗОЛЕЙ

Бывают дома, чьи души отошли в сумрак времени, оставив тела в сумраке Лондона. Не совсем так обстояло дело с домом Тимоти на Бэйсуотер-род, ибо душа Тимоти одной ногой еще пребывала в теле Тимоти Форсайта, и Смизер поддерживала атмосферу неизменной — атмосферу камфоры, и портвейна, и дома, где окна только два раза в сутки открываются для проветривания.

Для Форсайтов этот дом был теперь чем-то вроде китайской коробочки для пилюль — клеточки, одна в другой, и в последнюю заключен Тимоти. До него не добраться, или так, по крайней мере, утверждали те из родни, кто по старинной привычке или по рассеянности нет-нет, а заходили сюда проведать своего последнего дядю: Фрэнси, теперь уже совсем эмансипировавшаяся от бога (она открыто исповедовала атеизм), Юфимия, эмансипировавшаяся от старого Николаса, и Уинифрид Дарти, тоже эмансипировавшаяся от своего «светского человека». Но в конце концов нынче все стали эмансипированными или говорят, что стали, а это, пожалуй, не совсем одно и то же.

Поэтому, когда Сомс на другой день после знаменательной встречи зашел в этот дом по дороге на Паддингтонский вокзал, вряд ли он рассчитывал увидеть Тимоти во плоти. Сердце его екнуло, когда он остановился на ярком солнце у свежевыбеленного крыльца маленького дома, где жили некогда четверо Форсайтов, а теперь доживал только один, точно зимняя муха; дом, куда Сомс захаживал несчетное число раз скинуть или принять балласт семейных сплетен, дом «стариков», людей другого века, другой эпохи.

Вид Смизер, по-прежнему затянутой в высокий, до подмышек, корсет, потому что тетя Джули и тетя Эстер не одобряли новой моды, появившейся в 1903 году, когда они сами сошли со сцены, вызвал бледную дружескую улыбку на губах Сомса; Смизер, во всем до последних мелочей верная старой моде, неоценимая служанка — такие теперь перевелись,— улыбнулась ему в ответ со словами:

— Ах, господи! Мистер Сомс! Сколько лет! Как же вы поживаете, сэр? Мистер Тимоти будет очень рад узнать, что вы заходили.

— Как он поживает?

— О сэр, он для своих лет совсем молодцом; но он, конечно, необыкновенный человек. Я так и сказала миссис Дарти, когда она была у нас последний раз: вот порадовались бы на него мисс Форсайт, и миссис Джули, и мисс Эстер, если бы могли видеть, как он отлично управляется с печеным яблочком. Он, правда, совсем оглох, но это я считаю только к лучшему: иначе я просто ума не приложу, что бы мы делали с ним во время налетов.

— А-а,— сказал Сомс.— Что же все-таки вы делали?

— Просто оставляли его в кровати, а звонок отвели в погреб, так что мы с кухаркой услышали бы, если б он позвонил. Не могли же мы сказать ему, что идет война. Я еще говорила тогда кухарке: «Если мистер Тимоти позвонит, будь что будет, а я пойду наверх. С моими дорогими хозяйками сделался бы удар, если бы они узнали, что он звонил и никто не пришел к нему на звонок». Но он прекрасно проспал все налеты. А в тот раз, когда цеппелины появились днем, он принимал ванну. Это вышло очень удачно, а то он мог бы заметить, что все люди на улице смотрят на небо: он часто глядит в окно.

— Так, так,— пробормотал Сомс. Смизер становилась чересчур болтлива.— Я обойду дом, посмотрю, не надо ли что-нибудь сделать.

— Пожалуйста, сэр. Но мне думается, у нас все в порядке, только вот в столовой пахнет мышами, и мы никак не можем избавиться от запаха. Странно, что они завелись, хоть там не бывает никогда ни крошки: мистер Тимоти как раз перед войной перестал спускаться вниз. Но с ними никогда не знаешь, где они заведутся,— противные создания.

— Он встал с постели?

— О да, сэр. Утром он прогуливается для моциона от кровати до окна, хотя выводить его в другую комнату мы не рискуем. И он очень доволен: каждый день аккуратно пересматривает свое завещание. Это для него лучшая утеха.

— Вот что, Смизер; я хотел бы, если можно, повидать его; может быть, ему надо что-нибудь мне сказать.

Смизер зарделась от планшетки корсета до корней волос.

— Вот будет событие!— сказала она.— Если угодно, я провожу вас по дому, а кухарку пошлю тем временем доложить о вас мистеру Тимоти.

— Нет, вы ступайте к нему,— ответил Сомс.— Я сам осмотрю дом.

Нельзя при посторонних предаваться сантиментам, а Сомс чувствовал, что может впасть в сентиментальность, вдыхая воздух этих комнат, насквозь пропитанный прошлым. Когда Смизер, скрипя от волнения корсетом, оставила его, Сомс прошел в столовую и потянул носом. По его мнению, пахло не мышами, а гниющим деревом, и он внимательно осмотрел обшивку стен. Сомнительно, стоит ли перекрашивать их, принимая во внимание возраст Тимоти. Эта комната всегда была самой современной в доме. Только слабая улыбка покривила губы и ноздри Сомса. Стены над дубовой панелью были окрашены в сочный зеленый тон; тяжелая люстра свешивалась на цепи с потолка, разделенного на квадраты имитацией балок. На стенах картины, которые Тимоти купил как-то по дешевке у Джобсона шестьдесят лет назад: три снайдеровских натюрморта, два рисунка, слегка подцвеченные акварелью — мальчик и девочка — очаровательные, помеченные инициалами «Дж. Р.». Тимоти тешился мыслью, что за этими буквами может скрываться Джошуа Рейнольдс, но Сомс, которому рисунки эти очень нравились, выяснил, что они сделаны неким Джоном Робинсоном; да сомнительный Морленд — кузнец набивает подкову белой лошади. Вишневые плюшевые портьеры, десять темных стульев красного дерева, тяжелых, с высокими спинками, с вишневым плюшем на сиденьях; турецкий ковер, красного

все следы, которые могли бы выдать его чувство. Слишком было оно глубоко, чтобы открыть его кому бы то ни было, даже матери.

IV

МАВЗОЛЕЙ

Бывают дома, чьи души отошли в сумрак времени, оставив тела в сумраке Лондона. Не совсем так обстояло дело с домом Тимоти на Бэйсуотер-род, ибо душа Тимоти одной ногой еще пребывала в теле Тимоти Форсайта, и Смизер поддерживала атмосферу неизменной — атмосферу камфоры, и портвейна, и дома, где окна только два раза в сутки открываются для проветривания.

Для Форсайтов этот дом был теперь чем-то вроде китайской коробочки для пилюль — клеточки, одна в другой, и в последнюю заключен Тимоти. До него не добраться, или так, по крайней мере, утверждали те из родни, кто по старинной привычке или по рассеянности нет-нет, а заходили сюда проведать своего последнего дядю: Фрэнси, теперь уже совсем эмансипировавшаяся от бога (она открыто исповедовала атеизм), Юфимия, эмансипировавшаяся от старого Николаса, и Уинифрид Дарти, тоже эмансипировавшаяся от своего «светского человека». Но в конце концов нынче все стали эмансипированными или говорят, что стали, а это, пожалуй, не совсем одно и то же.

Поэтому, когда Сомс на другой день после знаменательной встречи зашел в этот дом по дороге на Пэддингтонский вокзал, вряд ли он рассчитывал увидеть Тимоти во плоти. Сердце его екнуло, когда он остановился на ярком солнце у свежевыбеленного крыльца маленького дома, где жили некогда четверо Форсайтов, а теперь доживал только один, точно зимняя муха; дом, куда Сомс захаживал несчетное число раз скинуть или принять балласт семейных сплетен, дом «стариков», людей другого века, другой эпохи.

Вид Смизер, по-прежнему затянутой в высокий, до подмышек, корсет, потому что тетя Джули и тетя Эстер не одобряли новой моды, появившейся в 1903 году, когда они сами сошли со сцены, вызвал бледную дружескую улыбку на губах Сомса; Смизер, во всем до последних мелочей верная старой моде, неоценимая служанка — такие теперь перевелись,— улыбнулась ему в ответ со словами:

— Ах, господи! Мистер Сомс! Сколько лет! Как же вы поживаете, сэр? Мистер Тимоти будет очень рад узнать, что вы заходили.

— Как он поживает?

— О сэр, он для своих лет совсем молодцом; но он, конечно, необыкновенный человек. Я так и сказала миссис Дарти, когда она была у нас последний раз: вот порадовались бы на него мисс Форсайт, и миссис Джули, и мисс Эстер, если бы могли видеть, как он отлично управляется с печеным яблочком. Он, правда, совсем оглох, но это я считаю только к лучшему: иначе я просто ума не приложу, что бы мы делали с ним во время налетов.

— А-а,— сказал Сомс.— Что же все-таки вы делали?

— Просто оставляли его в кровати, а звонок отвели в погреб, так что мы с кухаркой услышали бы, если б он позвонил. Не могли же мы сказать ему, что идет война. Я еще говорила тогда кухарке: «Если мистер Тимоти позвонит, будь что будет, а я пойду наверх. С моими дорогими хозяйками сделался бы удар, если бы они узнали, что он звонил и никто не пришел к нему на звонок». Но он прекрасно проспал все налеты. А в тот раз, когда цеппелины появились днем, он принимал ванну. Это вышло очень удачно, а то он мог бы заметить, что все люди на улице смотрят на небо: он часто глядит в окно.

— Так, так,— пробормотал Сомс. Смизер становилась чересчур болтлива.— Я обойду дом, посмотрю, не надо ли что-нибудь сделать.

— Пожалуйста, сэр. Но мне думается, у нас все в порядке, только вот в столовой пахнет мышами, и мы никак не можем избавиться от запаха. Странно, что они завелись, хоть там не бывает никогда ни крошки: мистер Тимоти как раз перед войной перестал спускаться вниз. Но с ними никогда не знаешь, где они заведутся,— противные создания.

— Он встал с постели?

— О да, сэр. Утром он прогуливается для моциона от кровати до окна, хотя выводить его в другую комнату мы не рискуем. И он очень доволен: каждый день аккуратно пересматривает свое завещание. Это для него лучшая утеха.

— Вот что, Смизер; я хотел бы, если можно, повидать его; может быть, ему надо что-нибудь мне сказать.

Смизер зарделась от планшетки корсета до корней волос.

— Вот будет событие!— сказала она.— Если угодно, я провожу вас по дому, а кухарку пошлю тем временем доложить о вас мистеру Тимоти.

— Нет, вы ступайте к нему,— ответил Сомс.— Я сам осмотрю дом.

Нельзя при посторонних предаваться сантиментам, а Сомс чувствовал, что может впасть в сентиментальность, вдыхая воздух этих комнат, насквозь пропитанный прошлым. Когда Смизер, скрипя от волнения корсетом, оставила его, Сомс прошел в столовую и потянул носом. По его мнению, пахло не мышами, а гниющим деревом, и он внимательно осмотрел обшивку стен. Сомнительно, стоит ли перекрашивать их, принимая во внимание возраст Тимоти. Эта комната всегда была самой современной в доме. Только слабая улыбка покривила губы и ноздри Сомса. Стены над дубовой панелью были окрашены в сочный зеленый тон; тяжелая люстра свешивалась на цепи с потолка, разделенного на квадраты имитацией балок. На стенах картины, которые Тимоти купил как-то по дешевке у Джобсона шестьдесят лет назад: три снайдеровских натюрморта, два рисунка, слегка подцвеченные акварелью — мальчик и девочка — очаровательные, помеченные инициалами «Дж. Р.». Тимоти тешился мыслью, что за этими буквами может скрываться Джошуа Рейнольдс, но Сомс, которому рисунки эти очень нравились, выяснил, что они сделаны неким Джоном Робинсоном; да сомнительный Морленд — кузнец набивает подкову белой лошади. Вишневые плюшевые портьеры, десять темных стульев красного дерева, тяжелых, с высокими спинками, с вишневым плюшем на сиденьях; турецкий ковер, красного

дерева обеденный стол, настолько же большой, насколько комната была маленькая,— вот столовая, которую он помнил с четырехлетнего возраста и которая с тех пор не изменилась ни душой ни телом. Сомс задержался взглядом на рисунках и подумал: «На распродаже я их куплю».

Из столовой он прошел в кабинет Тимоти. Он, насколько помнил, никогда не бывал в этой комнате. От пола до потолка тянулись полки с книгами, и Сомс с любопытством стал их рассматривать. Одна стена была, по-видимому, посвящена книгам для юношества, изданием которых Тимоти занимался два поколения назад; иногда попадалось по двадцать экземпляров одной и той же книги. Сомс читал их названия и трепетал. Средняя стена уставлена была в точности теми же книгами, какие стояли в библиотеке его отца на Парк-лейн, и отсюда он вывел заключение, что Джемс и его младший брат в один прекрасный день пошли вдвоем и купили по библиотечке. С большим интересом подошел он к третьей стене. Она, очевидно, отображала вкусы самого Тимоти. Так и оказалось. Вместо книг — полки с фальшивыми корешками. Четвертая стена была сплошь занята окном с тяжелыми гардинами. Против него, обращенное к свету, стояло глубокое кресло с прилаженным к нему пюпитром красного дерева, на котором, словно в ожидании хозяина, лежал пожелтевший сложенный номер «Таймса» от шестого июля 1914 года — день, когда Тимоти впервые не сошел вниз, как бы в предчувствии войны. В углу стоял большой глобус — изображение тех стран земных, которых Тимоти никогда не посещал, глубоко убежденный в нереальности всего, кроме Англии, и навсегда сохранивший ужас перед морем с того злополучного воскресенья 1836 года, когда он с Джули, Эстер, Суизином и Хэтти Чесмен поехал в Брайтоне кататься на лодке и испытал сильную тошноту; а все из-за Суизина, который вечно что-нибудь затевал и которого, слава богу, тоже изрядно тошнило. Случай этот был Сомсу детально известен. Он слышал о нем раз пятьдесят, не меньше, от всех участников поочередно. Он подошел к глобусу и легонько толкнул его; раздался скрип, шар повернулся на дюйм, и Сомс узрел долгоногого комара, издохшего под сорок четвертой параллелью.

«Мавзолей,— подумал он.— Джордж прав». И он вышел и поднялся по лестнице. На первой площадке он остановился перед стеклянным шкафчиком с чучелами колибри, которые восхищали его в детстве. Они, казалось, не постарели ни на день, вися на своих проволоках над травой пампасов. Если открыть шкаф, птицы не защебечут, нет, но все сооружение, пожалуй, рассыплется в прах. Не стоит выносить его на аукцион. И внезапно возникло воспоминание, как тетя Энн, милая старая тетя Энн, подвела его за руку к шкафу и сказала: «Смотри, Соми, какие они яркие и красивые, эти крошки-колибри. Милые пташки-щебетуньи». Припомнился Сомсу и его ответ: «Они не щебечут, тетя». Ему было, верно, лет шесть, и был на нем черный бархатный костюмчик с голубым воротничком — он отлично помнит этот костюмчик. Тетя Энн — букли, добрые, тонкие, точно из паутины, руки, важная старческая улыбка, орлиный нос — красивая старая леди. Сомс поднялся выше и остановился у входа в гостиную. По обе стороны двери висели миниатюры. Вот

их он непременно купит. Портреты его четырех теток, дядя Суизин в юности, дядя Николас ребенком. Все они были исполнены одной молодой дамой, другом их семьи, в 1830 году, миниатюры считались «хорошим тоном», и были прочны, так как написаны были на слоновой кости. Сомс неоднократно слышал рассказ об этой молодой даме: «Очень талантливая, дорогой мой; она была неравнодушна к Суизину, заболела вскоре чахоткой и умерла; совсем как Китс — мы всегда это говорили».

Вот они все! Энн, Джули, Эстер, Сьюзен совсем еще маленькой девочкой, Суизин с небесно-голубыми глазами, розовыми щечками, желтыми локонами, в белом жилете — как живой, и Николас, купидон, закативший к небу глаза. И если подумать, дядя Ник был всегда такой — удивительный был человек до конца своих дней. Да, несомненно, талантливая художница. И в миниатюрах всегда есть своя особая прелесть — cachet; это тихая заводь, которую не затрагивают бурные течения изменчивой эстетической моды. Сомс отворил дверь в гостиную. В комнате было прибрано, мебель стояла без чехлов, гардины были раздвинуты, точно его тетки еще проживали здесь в терпеливом ожидании. И у него явилась мысль: когда Тимоти умрет, можно было бы — и не только можно, а почти что должно — сохранить этот дом, как сохраняется дом Карлейля, вывесить дощечку и показывать желающим. «Типичное жилище средневикторианского периода — один шиллинг за вход, каталог бесплатно». В конце концов этот дом — самая совершенная и едва ли не самая мертвая вещь в Лондоне наших дней. В своем роде это законченный памятник культуры. Стиль выдержан безупречно, нужно только — и он это сделает — убрать отсюда и перенести в его личную коллекцию эти четыре картины барбизонской школы, которые он сам подарил когда-то своим теткам. Еще не выцветшие небесно-голубые стены; зеленые портьеры, затканные красными цветами и папоротниками; вышитый гарусом экран перед камином; наполненный безделушками шкафчик красного дерева со стеклянными дверцами; расшитые бисером скамеечки для ног; на книжных полках — Китс, Шелли, Саути, Каупер, Колридж, байроновский «Корсар» (только «Корсар», а больше ничего) и викторианские поэты; горка маркетри с семейными реликвиями, обитая изнутри блеклым красным плюшем; первый веер тети Эстер; пряжки от башмаков их деда с материнской стороны; три заспиртованных в бутылочке скорпиона; очень желтый слоновый бивень, который прислал домой из Индии двоюродный дядя Эдгар Форсайт, торговавший джутом; пришпиленный к стене желтый клочок бумаги, покрытый паутинными письменами, увековечившими бог весть какие события. И картины, теснящиеся на стенах,— все акварели, за исключением тех четырех барбизонцев, которые кажутся в этой обстановке иностранцами (они и есть иностранцы), яркие, чисто жанровые картины: «На пчельнике», «Эй, паромщик!» и две в манере Фрита: игра в кости, кринолины — подарок Суизина. Да! Много, много картин, на которые Сомс засматривался тысячу раз, высокомерный и зачарованный; чудесная коллекция блестящих гладких золоченых рам.

И рояль, великолепно протертый и, как всегда, герметически закрытый; и на рояле альбом засушенных водорослей — утеха тети Джули. И кресла на золоченых ножках, которые в действительности крепче, чем на вид. И сбоку у камина пунцовая шелковая кушетка, на которой тетя Энн, а после нее тетя Джули сидели, бывало, не сгибая спины, лицом к окну. А по другую сторону камина, спинкой к окну, единственное действительно удобное кресло для тети Эстер. Сомс протер глаза — ему чудилось, точно они и сейчас еще здесь сидят. Ах, и запах, сохранившийся поныне,— запах чрезмерного обилия материй, стираных кружевных занавесей, пачули в пакетиках, засохших пчелиных крылышек. «Да,— думал он,— теперь ничего подобного не найти. Это следует сохранить». Пусть смеются сколько угодно, но перед этой приличной жизнью с ее твердыми устоями — для разборчивого глаза, и носа, и вкуса — каким жалким кажется наше время с подземкой и автомобилями, с непрерывным курением, закидыванием ноги на ногу, с голоплечими девицами, которых видно от пят до колен, а при желании от головы до пояса (что, может быть, приятно для сатира, сидящего в каждом Форсайте, но плохо отвечает его представлениям о настоящей леди), девицами, которые, когда едят, цепляются носками туфель за ножки своих стульев, и громко хохочут, и щеголяют такими выражениями, как «старикан» и «пока»,— ужас охватывал Сомса при мысли, что Флер общается с подобными девицами; и не меньший ужас внушали ему женщины постарше, очень самостоятельные, энергичные и бойкие. Нет! У старых его теток, если они и не открывали никогда ни широких горизонтов, ни собственных глаз, ни даже окон, были хотя бы хорошие манеры, устои и уважение к прошлому и будущему.

С чувством искреннего волнения Сомс затворил дверь и на цыпочках стал подыматься выше. По пути он заглянул в одно местечко: гм! полнейший порядок, тот же, что и в восьмидесятых годах, стены обиты желтой клеенкой. На верхней площадке он остановился в нерешительности перед четырьмя дверями. Которая из них ведет в комнату Тимоти? Прислушался. Странный звук дошел до его ушей: как будто ребенок медленно возит по полу игрушечную лошадку. Наверно, Тимоти! Сомс постучал, и ему открыла дверь Смизер, очень красная и взволнованная.

Мистер Тимоти совершает свою прогулку, и ей не удалось привлечь его внимание. Если мистер Сомс будет так добр и пройдет в заднюю комнату, он оттуда увидит его.

Сомс прошел, куда ему указали, и стал наблюдать.

Последний из старых Форсайтов был на ногах. Очень медленно и степенно, с видом полной сосредоточенности он прохаживался взад и вперед от изголовья кровати до окна — расстояние футов в двенадцать. Нижняя часть его квадратного лица, уже не бритая, как бывало, покрыта была белоснежной бородкой, подстриженной так коротко, как только можно, и подбородок его казался таким же широким, как лоб, над которым волосы тоже побелели, между тем как нос, и щеки, и лоб были совершенно желтые. Одна рука держала толстую палку, а другая придерживала полу егеровского халата, из-под которого выглядывали ноги в спальных носках и в комнатных егеровских туфлях. Выражением

лица он напоминал обиженного ребенка, который тянется к чему-то, чего ему не дают. Каждый раз на повороте он опирался на палку, а потом волочил ее за собою, как бы показывая, что может обойтись и без опоры.

— Он с виду еще крепок,— проговорил вполголоса Сомс.

— О да, сэр. А посмотрели бы вы, как он принимает ванну; он так любит купаться.

Эти громко сказанные слова навели Сомса на открытие: Тимоти впал в детство.

— А вообще он проявляет к чему-нибудь интерес?— спросил он тоже громко.

— О да, сэр: к еде и к своему завещанию. Просто удовольствие смотреть, как он его разворачивает и переворачивает, не читая, конечно; и он то и дело спрашивает, какой сейчас курс на консоли, и я ему пишу на грифельной доске цифру, очень крупно. Я, конечно, пишу всегда одно и то же, как они стояли, когда он справился в последний раз в четырнадцатом году. Когда началась война, мы надоумили доктора запретить ему читать газеты. Ох, как он сперва огорчался! Но вскоре образумился, поняв, что чтение его утомляет; он удивительно умеет беречь энергию, как он это называл, когда еще были живы мои дорогие хозяйки,— царствие им небесное. Уж как он, бывало, на них за это напускался; они всегда были такие деятельные, если вы помните, мистер Сомс.

— А что будет, если я войду?— спросил Сомс.— Он узнает меня? Я, как вы помните, составил его завещание в тысяча девятьсот седьмом году, после смерти мисс Эстер.

— Да, сэр,— замялась Смизер.— Не берусь сказать. Может быть, узнает; он для своего возраста удивительный человек.

Сомс переступил порог и, выждав, когда Тимоти обернулся, громко сказал:

— Дядя Тимоти!

Тимоти сделал три шага и остановился.

— Эге?— сказал он.

— Сомс!— крикнул Сомс во весь голос, протягивая руку.— Сомс Форсайт!

— Нет!— произнес Тимоти и, громко постукивая палкой, продолжал свою прогулку.

— Кажется, не выходит,— сказал Сомс.

— Да, сэр,— отозвалась Смизер, несколько приуныв,— видите ли, он не кончил еще своей прогулки. Он никогда не мог делать два дела сразу. Днем он, верно, спросит меня, не приходили ли вы насчет газа, и вот будет мне тогда задача объяснять ему!

— Не думаете ли вы, что при нем нужен был бы мужчина?

Смизер всплеснула руками.

— Мужчина! Ох нет! Мы с кухаркой отлично управляемся вдвоем. Попади он в чужие руки, он бы тотчас свихнулся. И моим хозяйкам совсем не понравилось бы, чтобы в доме жил посторонний мужчина. К тому же ведь он — наша гордость!

— Врач, конечно, его навещает?

— Каждое утро. Он прописывает, что ему давать и поскольку, и мистер Тимоти так привык, что совсем не обращает внимания — только высовывает язык.

— Да,— сказал Сомс, отворачиваясь.— Грустное все-таки зрелище.

— О, что вы, сэр!— с жаром возразила Смизер.— Не говорите! Теперь, когда он больше ни о чем не тревожится, он наслаждается жизнью, право. Как я часто говорю кухарке, мистеру Тимоти теперь лучше, чем когда бы то ни было. Понимаете, он если не гуляет, так принимает ванну или ест, а если не ест, так спит; так оно и идет. Он не знает ни забот, ни печалей.

— Да,— сказал Сомс,— это, пожалуй, правильно. Ну, я пойду. Кстати, дайте-ка мне посмотреть его завещание.

— Для этого, сэр, мне нужно время; он его держит под подушкой; сейчас он бодрый и может заметить.

— Я хотел бы только знать, то ли это самое, что я составлял для него,— сказал Сомс.— Вы как-нибудь взгляните на число и дайте мне знать.

— Хорошо, сэр; но я знаю наверное, что это то самое, потому что мы с кухаркой были свидетельницами, как вы помните, и наши имена все еще стоят на нем, а подписывались мы только раз.

— Отлично,— сказал Сомс.

Он действительно помнил. Смизер и Джейн были самыми подходящими свидетельницами, так как в завещании Тимоти нарочно ничего не отказал им, чтобы им не было никакой корысти в его смерти. По мнению Сомса, эта предосторожность была почти непристойна, но таково было желание Тимоти, и в конце концов тетя Эстер вполне обеспечила старых служанок.

— Отлично,— сказал он,— прощайте, Смизер. Следите за ним и, если он когда-нибудь что-нибудь скажет, запишите и дайте мне знать.

— О, непременно, мистер Сомс; можете на меня положиться. Так приятно было повидать вас. Кухарка будет в восторге, когда я ей расскажу.

Сомс пожал ей руку и пошел вниз. Добрых две минуты он простоял перед вешалкой, на которую столько раз вешал свою шляпу. «Так все проходит,— думал он.— Проходит и начинается сызнова. Бедный старик!» И он прислушался — вдруг отдастся в колодце лестницы, как волочит Тимоти свою лошадку; или выглянет из-за перил призрак старческого лица, и старческий голос скажет: «Ах, милый Сомс, это ты! А мы только что говорили, что не видели тебя целую неделю!»

Ничего, ничего! Только запах камфоры да столб роящейся пыли в луче, проникшем сквозь полукруглое окно над дверью. Милый, старый дом! Мавзолей! И, повернувшись на каблуках, Сомс вышел и поспешил на вокзал.

V

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Он на своей родной земле,
Его зовут... Вэл Дарти.

Такого рода чувство испытывал Вэл Дарти на сороковом году своей жизни, когда он в тот же четверг рано поутру выходил из старинного дома, купленного им на северных склонах сэссекских Меловых гор. Направлялся он в Ньюмаркет, где был в последний раз осенью 1899 года, когда удрал из Оксфорда на скачки. Он остановился в дверях поцеловать на прощание жену и засунуть в карман бутылку портвейна.

— Не перетруждай ногу, Вэл, и не играй слишком рьяно.

Ее грудь прижалась к его груди, глаза глядели в его глаза, и Вэл почувствовал, что и нога его и карман в безопасности. Он не должен зарываться; Холли всегда права, у нее врожденное чувство меры. Других это могло удивлять, но Вэл не видел ничего странного в том, что он, хоть и был наполовину Дарти, в течение двадцати лет сохранял нерушимую верность своей троюродной сестре с того дня, как романтически женился на ней в Южной Африке, в разгар войны; и, сохраняя верность, не испытывал скуки, не считал, что приносит жертву: Холли была такая живая, так всегда лукаво опережала его в смене настроений. Будучи в кровном родстве, они решили — вернее, Холли решила — не заводить детей, и она хоть и поблекла немного, но все же сохранила свою внешность, свою гибкость, тон своих темных волос. Вэла больше всего восхищало, что она живет своей собственной жизнью, направляя при этом и его жизнь и с каждым годом совершенствуясь в верховой езде. Она не забросила музыку, очень много читала — романы, стихи, всякую всячину. Там, на их ферме в Южной Африке, она замечательно ухаживала за больными — за чернокожими женщинами и их ребятишками. Она по-настоящему умна, но не выставляет этого напоказ, не важничает. Не отличаясь особой скромностью, Вэл, однако, пришел к сознанию, что Холли выше его, и он ей с легким сердцем прощал это — большая уступка со стороны мужчины. Следует также отметить, что, когда бы он ни смотрел на нее, Холли всегда это знала, она же часто смотрела на него, когда он этого не замечал.

Он поцеловал ее на крыльце, потому что не должен был целовать ее на платформе, хотя она провожала его на станцию, чтобы отвести назад машину. Загорев и покрывшись морщинами под жарким солнцем колоний и в борьбе с постоянным коварством лошадей, связанный своей ногой, поврежденной в бурской войне (и, может быть, спасшей ему жизнь в мировой войне), Вэл, однако, мало изменился со времени своего сватовства — та же была у него открытая, пленительная улыбка, только ресницы стали, пожалуй, еще темней и гуще, но так же мерцали сквозь них светло-серые глаза, да веснушки выступали резче, да волосы на висках начали седеть. Он производил впечатление человека, долго жившего в солнечном климате деятельной жизнью лошадника.

Резко поворотив машину на выезде из парка, он сказал:

— Когда приезжает маленький Джон?

— Сегодня.

— Тебе ничего не нужно для него? Я могу привезти в субботу.

— Ничего не нужно; но, может быть, ты приедешь одним поездом с Флер — в час сорок?

Вэл пустил форд галопом; он все еще правил машиной, как правят в новой стране по дурным дорогам: не соглашаясь на компромиссы и у каждой рытвины ожидая царствия небесного.

— Вот маленькая женщина, которая знает, чего хочет,— сказал он,— ты в ней это заметила?

— Да,— сказала Холли.

— Дядя Сомс и твой отец... Не вышло бы неловко!

— Она этого не знает, и Джон не знает, и, конечно, не надо им ничего рассказывать. Всего только на пять дней, Вэл.

— Семейная тайна! Запомним.

Если Холли сочла это достаточно безопасным, значит, так оно и есть. Хитро скосив на Вэла глаза, она сказала:

— Ты заметил, как она ловко назвалась к нам?

— Нет.

— Очень ловко. Какого ты мнения о ней, Вэл?

— Хорошенькая и умная; но она, сдается мне, выбросит седока из седла на первом же повороте, если ее разгорячить.

— Никак не решу,— пробормотала Холли,— типична ли она для современной молодой женщины. Новая стала Англия, трудно что-нибудь понять.

— Тебе? Но ты всегда так быстро во всем разбираешься.

Холли засунула руку в карман его пальто.

— С тобою и другим все становится ясно,— сказал Вэл, точно почувствовав поощрение.— Что ты думаешь об этом бельгийце Профоне?

— По-моему, довольно безобидный чертик.

Вэл усмехнулся.

— Мне кажется, что для друга нашей семьи он странный субъект. Впрочем, наша семья идет довольно-таки диким фарватером: дядя Сомс женился на француженке, твой отец — на первой жене Сомса. Наших дедушек хватил бы удар.

— Не только наших, дорогой.

— Машина явно просит кнута,— заметил вдруг Вэл,— на подъеме не желает подбирать под себя задние ноги. Придется мне пустить ее под гору во весь опор, не то я опоздаю на поезд.

В лошадях было нечто такое, что помешало ему по-настоящему полюбить автомобиль, и всегда сразу чувствовалось, правит ли фордом он или Холли. На поезд он поспел.

— Будь осторожна на обратном пути; дай ей волю, и она сбросит тебя на землю. До свидания, дорогая.

— До свидания,— отозвалась Холли и послала воздушный поцелуй.

В поезде, после пятнадцати минут колебания между мыслями о Холли, утренней газетой, любованием природой в этот ясный день и смутными воспоминаниями о Ньюмаркете, Вэл ушел с головой в дебри

маленькой квадратной книжечки — сплошь имена, родословные, генеалогия лошадей, примечания о мастях и статях. Живший в нем Форсайт склонен был приобрести лошадь определенных кровей, но решительно изгонял свойственный Дарти азарт. Вернувшись в Англию после выгодной продажи своей африканской фермы и конного завода и заметив, что солнце светит здесь довольно редко, Вэл сказал самому себе: «Мне просто необходимо найти какой-то интерес в жизни, иначе эта страна нагонит на меня зеленую тоску. Охота не спасет. Буду разводить и объезжать лошадей». С решительностью и остротой наблюдения, сообщаемой человеку длительным пребыванием в новой стране, Вэл установил слабые стороны современного коневодства. Людям сейчас импонирует мода и высокая цена. Нужно покупать за экстерьер, родословную побоку. А он тут сам готов поддаться гипнозу определенных кровей. Полуосознанная, слагалась у него мысль: «Этот проклятый климат заставляет человека бегать по кругу. Все равно, я должен завести у себя лошадь линии Мэйфлай».

В таком настроении прибыл он в Мекку своих упований. Народу было немного, день выдался благоприятный для тех, кто смотрит на лошадей, а не в рот букмекеру, и Вэл прошел прямо в паддок. Двадцать лет жизни в колониях освободили его от дендизма, привитого воспитанием, но сохранили в нем изящество наездника и наделили его острым глазом на то, что он называл «показным добродушием» некоторых англичан и «вертлявым попугайством» некоторых англичанок — в Холли не было ни того, ни другого, а Холли была для него образцом. Наблюдательный, быстрый, находчивый, Вэл во всякой сделке, в выпивке, в покупке лошади шел прямо к цели; он наметил себе целью молодую мэйфлайскую кобылку, когда медлительный голос сказал где-то рядом:

— Мистер Вэл Дарти? Как поживает миссис Вэл Дарти? Надеюсь, здорова?

И Вэл увидел подле себя бельгийца, с которым познакомился у своей сестры Имоджин.

— Проспер Профон. Мы с вами познакомились на днях за завтраком,— сказал голос.

— Как поживаете?— пробормотал Вэл.

— Очень хорошо,— отозвался Профон, улыбаясь неподражаемо медлительной улыбкой.

«Безобидный чертик»,— сказала о нем Холли. Н-да! Черная острая бородка придает ему сходство с Мефистофелем; но это Мефистофель сонный и добродушный, с красивыми и, как ни странно, умными глазами.

— Тут один человек хочет с вами познакомиться — ваш родственник, мистер Джордж Форсайт.

Вэл увидел грузную фигуру и чисто выбритое бычье, немного нахмуренное лицо с насмешливой улыбкой, притаившейся в серых навыкате глазах; он смутно помнил это лицо с давних времен, когда обедал иногда с отцом в «Айсиум-Клубе».

— Я когда-то хаживал на скачки с вашим отцом,— сказал Джордж.— Пополняете свой завод? Не купите ли у меня пару одров?

Вэл прикрыл усмешкой внезапно возникшее чувство, что коневодство потеряло под собою почву. Тут ни во что не верят — даже в лошадей. Джордж Форсайт и Проспер Профон! Сам дьявол не так разочарован в жизни, как эти двое.

— Я не знал, что вы увлекаетесь скачками,— сказал он мсье Профону.

— Я не увлекаюсь ими. Лошади меня не занимают. Я плаваю на яхте. Собственно, яхта меня тоже не занимает, но я люблю навещать друзей. Могу предложить вам завтрак, мистер Вэл Дарти, так, маленький завтрак, если вас соблазнит: неплотный, просто легкую закуску в моем авто.

— Благодарю вас,— ответил Вэл,— очень любезно с вашей стороны. Я приду через четверть часа.

— Вон там. Мистер Форсайт тоже придет.— Указывая пальцем, мсье Профон поднял руку в желтой перчатке.— Маленький завтрак в маленьком авто.

Он пошел дальше, вылощенный, сонный и одинокий. Джордж Форсайт последовал за ним, элегантный, грузный, с лицом пересмешника.

Вэл остался. Он не сводил глаз с мэйфлайской кобылы. Конечно, Джордж Форсайт — старик, но этот Профон примерно одних с ним лет. Вэл чувствовал себя совсем мальчишкой, точно мэйфлайская кобыла была игрушкой, над которой только что посмеялись двое взрослых. Животное утратило свою реальность.

«Маленькая кобылка!— чудился Вэлу голос Профона.— Что вы в ней нашли? Мы все умрем».

Джордж Форсайт, старый друг его отца, еще играет на скачках! Линия Мэйфлай — чем она лучше всякой другой? Может, просто пойти и сыграть?

— Нет, черт возьми,— проворчал он вдруг,— если не стоит труда разводить лошадей, так, значит, вообще ничего не стоит делать. Зачем я сюда приехал? Куплю кобылу.

Он стал в стороне, наблюдая за движением публики из паддока к трибунам. Благообразные старички, зоркие осанистые дельцы, евреи, тренеры, которые выглядят так невинно, точно в жизни не видели лошади; высокие, медлительные, томные женщины или женщины бойкие, с громкими голосами; молодые люди, глядящие так, точно стараются принять все это всерьез,— среди них двое или трое одноруких.

«Здесь жизнь — игра,— подумал Вэл.— Звонок, лошади стартуют, кто-то выиграл; опять звонок, новый старт, кто-то проиграл».

Однако, испугавшись своей собственной философии, он вернулся к воротам паддока посмотреть мэйфлайскую кобылу на галопе. Она шла прекрасно; и Вэл побрел к «маленькому авто». «Маленький завтрак» оказался тем, о чем человек может грезить во сне, но что он редко получает в жизни; когда завтрак кончился, мсье Профон прошел с Вэлом обратно в паддок.

— Ваша жена — милая женщина,— заметил он неожиданно.

— Самая милая женщина, какую я знаю,— сухо ответил Вэл.

— Да,— сказал Профон,— у нее милое лицо. Я люблю милых женщин.

Вэл посмотрел на него подозрительно, но что-то благодушное и прямое в тяжелом мефистофельском лице его спутника обезоружило его на мгновение.

— В любое время, когда вы захотите приехать ко мне на яхту, я сделаю для нее маленький рейс.

— Благодарю,— сказал Вэл, снова насторожившись.— Она не любит моря.

— Я тоже не люблю,— сказал Профон.

— Зачем же вы плаваете на яхте?

В глазах бельгийца заиграла улыбка.

— О! Право, не знаю. Я все перепробовал: это мое последнее занятие.

— Оно обходится, верно, чертовски дорого. Мне, например, нужны были бы основания более веские.

Проспер Профон поднял брови и выдвинул тяжелую нижнюю губу.

— Я беспечный,— сказал он.

— Вы были на войне?— спросил Вэл.

— Да-а. Войну я тоже испробовал. Был отравлен газом; это было мал-мало неприятно.

Он улыбнулся замысловатой и сонной улыбкой преуспевающего человека. Сказал ли он «мал-мало» вместо «немного» по ошибке или из особого кокетства, Вэл не мог решить; от этого человека можно было, по-видимому, ждать чего угодно. В толпе покупателей, привлеченных мэйфлайской кобылкой, которая вышла победительницей, мсье Профон сказал:

— Примете участие в аукционе?

Вэл кивнул головой. Рядом с этим сонным Мефистофелем он чувствовал потребность верить во что-то. Он был обеспечен от крайних превратностей судьбы предусмотрительностью деда, оставившего ему тысячу фунтов годовой ренты, и еще тысячью годовых, оставленных Холли ее дедом,— однако у Вэла не было свободных средств, так как деньги, вырученные им от продажи африканской фермы, он почти целиком потратил на оборудование нового хозяйства в Сэссексе. И очень скоро у него явилась мысль: «К черту! Мне это не по карману». Намеченный им предел — шестьсот фунтов — был уже перекрыт; Вэл перестал набавлять. Мэйфлайская кобыла пошла с молотка за семьсот пятьдесят гиней. Вэл с огорчением повернулся, чтобы уйти, когда над ухом у него раздался медлительный голос мсье Профона:

— Ну вот, я купил эту маленькую кобылку, но мне она не нужна: возьмите ее и отдайте вашей жене.

Вэл с новым подозрением посмотрел на него, но увидел в его глазах такое добродушие, что, право, не мог обидеться.

— Я заработал на войне немного денег,— начал мсье Профон в ответ на этот взгляд.— У меня были акции оружейных заводов. Мне нравится отдавать деньги. Я всегда зарабатываю. А мне самому не много надо. Я люблю отдавать их моим друзьям.

— Я куплю у вас кобылу за ту цену, которую вы отдали,— сказал с внезапной решимостью Вэл.

— Нет,— ответил мсье Профон.— Возьмите ее так. Мне она не нужна.

— Но, черт возьми, не могу же я...

— Почему?— улыбнулся мсье Профон.— Я друг вашей семьи.

— Семьсот пятьдесят гиней — это не ящик сигар,— возразил нетерпеливо Вэл.

— Прекрасно; вы сохраните ее для меня до той минуты, когда она мне понадобится, а пока делайте с ней, что хотите.

— Если она остается вашей,— сказал Вэл,— не возражаю.

— Вот и отлично,— проговорил мсье Профон и отошел.

Вэл посмотрел ему вслед: «Безобидный чертик!» Да, как будто — и вдруг опять подумалось: нет! Вэл заметил, как он подошел к Джорджу Форсайту, и затем потерял его из виду.

В эти дни после скачек он ночевал у своей матери в доме на Гринстрит.

Уинифрид Дарти в шестьдесят два года удивительно сохранилась, если принять во внимание, что тридцать три года она прожила с Монтегью Дарти, пока ее не избавила от него — почти что к счастью — французская лестница. Возвращение любимого сына из Южной Африки после стольких лет доставило ей огромную радость; приятно было видеть, что он так мало изменился, чувствовать симпатию к его жене. До замужества, в конце семидесятых годов, Уинифрид шла в авангарде свободомыслящих ревнительниц наслаждения и моды; но теперь она должна была признать, что современные девицы далеко превзошли молодежь ее века. Например, они, по-видимому, смотрят на брак как на эпизод, и Уинифрид иногда жалела, что в свое время не придерживалась тех же взглядов; второй, третий, четвертый эпизод, может быть, дал бы ей в спутники жизни не такого блистательного пьяницу; правда, в конце концов он оставил ей Вэла, Имоджин, Мод и Бенедикта (без пяти минут полковника, невредимо прошедшего через войну), и никто из них пока не развелся. Постоянство детей часто изумляло ее, помнившую их отца; но Уинифрид любила тешиться мыслью, что все они настоящие Форсайты и пошли в нее, за исключением разве Имоджин. И откровенно смущала Уинифрид «дочурка» ее брата, Флер. Девочка так же беспокойна, как любая современная девица. «Маленький огонь на сквозном ветру»,— сказал о ней как-то за десертом Проспер Профон, но она не вертлява и говорит не громко. Стойкая в своем форсайтизме, Уинифрид бессознательно отвергала новые веяния, не одобряла повадок современной девушки и ее девиза: «Была не была! Трать — завтра мы будем нищие!» Ее успокаивала в племяннице одна черта: раз чего-нибудь пожелав, Флер не отступалась, пока не получит своего, а дальше... Но Флер, конечно, слишком еще молода, сейчас об этом нельзя судить. Она к тому же прехорошенькая, да еще унаследовала от матери ее французский вкус и умение носить вещи: каждый оборачивался при виде Флер, что очень льстило Уинифрид, ценительнице элегантности и стиля, так жестоко ее обманувших в случае с Монтегью Дарти.

Говоря о ней с Вэлом за завтраком в субботу, Уинифрид не могла обойти молчанием их семейную тайну.

— Эта история с твоим тестем и твоей тетей Ирэн, Вэл... Все это, конечно, давно забыто, но не нужно, чтобы Флер что-нибудь узнала. Дяде Сомсу это было бы очень неприятно. Не проговорись.

— Хорошо. Но это трудновато: к нам приезжает младший брат Холли, будет жить у нас, изучать сельское хозяйство. Он, верно, уже приехал.

— Ах!— воскликнула Уинифрид.— Как это некстати! Какой он из себя?

— Я видел его только раз в Робин-Хилле, когда мы приезжали домой в тысяча девятьсот девятом году; он был голый и раскрашен в желтые и синие полосы, славный был мальчуган.

Уинифрид нашла это «очень милым» и добавила успокоительно:

— Ну, ничего. Холли очень благоразумна; она сумеет все уладить. Я не стану ничего говорить твоему дяде. Зачем его зря тревожить? Такая радость для меня, дорогой мой мальчик, что ты опять со мной теперь, когда я старею.

— Стареешь? Брось! Ты такая же молодая, как была. Мама, этот Профон — он вполне приличный человек?

— Проспер Профон? О! Я в жизни не встречала более занимательного собеседника!

Вэл что-то промычал и рассказал историю с мэйфлайской кобылой.

— Совсем в его стиле,— проговорила Уинифрид.— Он делает самые неожиданные вещи.

— Н-да,— веско сказал Вэл.— Нашей семье с этой породой не везло, с такими безответственными людьми.

Это была правда, и Уинифрид добрую минуту молчала в унылой задумчивости, прежде чем ответила:

— Да, конечно! Но он иностранец, Вэл; не надо судить слишком строго.

— Правильно. Буду пользоваться его кобылой. И как-нибудь с ним рассчитаюсь.

Вскоре за тем он пожелал матери всего хорошего и, приняв от нее поцелуй, помчался к своему букмекеру, в «Айсиум-Клуб» и на вокзал.

VI

ДЖОН

Миссис Вэл Дарти после двадцати лет жизни в Южной Африке страстно влюбилась — к счастью, в нечто ей родное, ибо предметом ее страсти был вид, открывавшийся из ее окон: холодный ясный свет на зеленых косогорах. Снова была перед нею Англия! Англия еще более прекрасная, чем та, что грезилась ей во сне. В самом деле, случай привел Вэла в такой уголок, где Меловые горы в солнечный день поистине очаровательны. Как дочь своего отца, Холли не могла не оценить необычность их контуров и сияние белых обрывов; подниматься проселком в гору по дну лощины или брести дорогой на Чанктонбери или Эмберли

было подлинным наслаждением, которое она не стала бы делить с Вэлом: Вэлу любоваться природой мешал инстинкт Форсайта, учивший всегда что-нибудь от нее получать — например, подходящее поле для проездки лошадей.

Мягко и умело правя фордом на пути домой, Холли дала себе обещание воспользоваться приездом Джона и в первый же день повести его на гребень холмов — показать ему свой любимый вид в свете майского дня.

Она ждала младшего брата с материнской нежностью, не израсходованной целиком на Вэла. В те три дня, которые она прогостила в Робин-Хилле вскоре по приезде на родину, ей не пришлось видеть мальчика — он был еще в школе,— так что у нее, как и у Вэла, сохранился в памяти только светловолосый ребенок в желто-синей татуировке, игравший у пруда.

Те три дня в Робин-Хилле были отмечены грустью, волнением, неловкостью. Воспоминания о покойном брате; воспоминания о сватовстве Вэла; свидание с постаревшим отцом, которого она не видела двадцать лет, что-то похоронное в его иронии и ласковости, не ускользнувшее от чуткой дочери; а главное — присутствие мачехи, которую она смутно помнила как «даму в сером» тех давних дней, когда сама она была еще девочкой, и дедушка был жив, и мадемуазель Бос так сердилась, что вторгшаяся в их жизнь незнакомка стала обучать Холли музыке,— все это смущало и мучило душу, жаждавшую найти в Робин-Хилле прежний покой. Но Холли умела не выдавать своих чувств, и наружно все шло хорошо.

Отец поцеловал ее на прощание, и она отчетливо ощутила, что губы его дрожат.

— Правда, дорогая,— сказал он,— война не изменила Робин-Хилла? Если б только ты могла привезти с собою Джолли! Как тебе нравится этот спиритический бред? Дуб, я боюсь, когда умрет, так умрет навсегда.

По теплоте ее объятия он, верно, угадал, что выдал себя, потому что тотчас перешел опять на иронию.

— Нелепое слово «спиритизм»; чем больше им занимаются, тем вернее доказывают, что овладели всего лишь материей.

— То есть?— спросила Холли.

— Как же! Взять хотя бы фотографирование привидений. Для фотографии нужно прежде всего, чтобы свет падал на что-то материальное. Нет, все идет к тому, что мы станем называть всякую материю духом или всякий дух материей — одно из двух.

— Но ведь ты не веришь в загробную жизнь, папа?

Джолион поглядел на дочь, и ее глубоко поразило грустно-своенравное выражение его лица.

— Дорогая, мне хотелось бы что-то получить от смерти. Я уже заглянул в нее. Но, сколько ни стараюсь, я не могу найти ничего такого, чего нельзя бы с тем же успехом объяснить телепатией, работой подсознания или эманацией из материальных складов нашего мира. Хотел

бы; но не могу. Желания порождают мысли, но доказательств они не дают.

То ощущение, которое явилось у Холли, когда она еще раз прижала губы ко лбу отца, подтвердило его теорию, что всякая материя превращается в дух,— лоб показался каким-то нематериальным.

Но ярче всего запомнилось Холли, как однажды она незаметно для мачехи наблюдала за ней, когда та читала письмо от Джона. Это было, решила Холли, прекраснейшее, что она видела в жизни. Ирэн, увлеченная письмом своего мальчика, стояла у окна, где свет ложился косо на ее лицо и на тонкие седые волосы; губы ее чуть шевелились, темные глаза смеялись, ликуя; одна рука держала письмо, другая прижата была к груди. Холли тихо удалилась, как от видения совершенной любви, уверенная, что Джон, несомненно, очень мил.

Увидев, как он выходит из станционного здания, неся в обеих руках по чемодану, она утвердилась в своем предрасположении. Он был немного похож на Джолли — давно утраченный кумир ее детства, но только в нем чувствовалось больше горячности и меньше выдержки, глаза посажены были глубже, а волосы были ярче и светлее — он ходил без шляпы; в общем очень привлекательный «маленький братец».

Его застенчивая вежливость подкупала женщину, привыкшую к самоуверенным манерам современной молодежи; он был смущен, что она везет его домой, а не он ее. Нельзя ли ему сесть за руль? В Робин-Хилле автомобиля не держали, то есть, конечно, со времени войны. Он правил только раз и тут же врезался в насыпь — Холли должна позволить ему поучиться. В его смехе, мягком и заразительном, была большая прелесть, хоть это слово и признано теперь устарелым. Когда они приехали домой, Джон вытащил смятое письмо. Холли его прочла, пока он умывался, совсем коротенькое письмо, которое, однако, должно было стоить ее отцу многих мучений.

«Дорогая моя,

Ты и Вэл не забудете, надеюсь, что Джон ничего не знает о нашей семейной истории. Его мать и я, мы полагаем, что он еще слишком для этого молод. Мальчик очень хороший, он зеница ее ока. Verbum sapientibus [1].

Любящий тебя отец *Дж. Ф.*».

Вот и все; но, прочитав письмо, Холли невольно пожалела, что пригласила Флер.

После чая она исполнила данное себе обещание и повела Джона в горы. Брат и сестра долго беседовали, сидя над старой меловой ямой, поросшей крыжовником и ежевикой. Горицвет и ветреницы звездились по зеленому косогору, заливались жаворонки и дрозды в кустах, порою чайка, залетев с морского берега, кружила, белая, в бледнеющем небе, по которому уже поднимался расплывчатым диском месяц. Сладостный

[1] Умный поймет с полуслова *(лат.)*.

запах был разлит в воздухе, точно незримые маленькие создания бегали вокруг и давили стебли душистых трав.

Джон, приумолкший было, сказал неожиданно:

— Чудно! Ничего не прибавишь. Чайка парит, колокольчик овцы́...

— «Чайка парит, колокольчик овцы́!» Ты, дорогой мой, поэт.

Джон вздохнул.

— Ох! Трудная это дорожка.

— Пробуй. Я тоже пробовала в твоем возрасте.

— Правда? И мама тоже говорит: «Пробуй»; но я такой никудышный. Почитаешь мне свои стихи?

— Дорогой мой,— мягко сказала Холли,— я девятнадцать лет замужем, а стихи я писала, когда только еще хотела выйти замуж.

Джон опять вздохнул и отвернул лицо: та щека, что была видна Холли, покрылась прелестным румянцем. Неужели Джон «сбился с ноги», как сказал бы Вэл? Уже? Но если так, тем лучше: он не обратит внимания на Флер. Впрочем, с понедельника он приступит к работе на ферме. Холли улыбнулась. Кто это — Бернс, кажется, пахал землю? Или только Петр Пахарь? В наши дни чуть ли не все молодые люди и очень многие молодые женщины пишут стихи, судя по множеству книг, которые она читала там, в Южной Африке, выписывая их через Хетчеса и Бэмпхарда; и, право, очень неплохие стихи — много лучше тех, которые писала когда-то она сама. Она рано начала — поэзия по-настоящему вошла в обиход несколько позже, вместе с автомобилями. Еще один долгий разговор после обеда в низкой комнате у камина, в котором потрескивали дрова,— и для нее ничего почти не оставалось скрытого в Джоне, кроме разве чего-нибудь подлинно важного. Холли распрощалась с ним у дверей его спальни, дважды проверив сначала, все ли у него в порядке, и вынесла убеждение, что полюбит брата и что Вэлу он понравится. Он был горяч, но не порывист; превосходно умел слушать и мало говорил о себе. Он, по-видимому, любил отца и боготворил свою мать. Играм он предпочитал верховую езду, гребле и фехтование, он спасал бабочек от огня и не терпел пауков, хотя не убивал их, а выбрасывал за дверь в клочке бумаги. Словом, он был мил. Она пошла спать, думая о том, как страшно он будет страдать, если кто-нибудь ранит его. Но кто его ранит?

Джон между тем не спал и сидел у окна с карандашом и листом бумаги. Он писал свое первое «настоящее» стихотворение — при свече, так как лунного света было недостаточно: его хватало только на то, чтобы ночь за окном казалась трепетной и как бы выгравированной на серебре. В такую ночь Флер могла бы идти, оглядываться и вести за собой в горную даль. Роясь в глубине своего изобретательного мозга, Джон заносил слова на бумагу, и вычеркивал их, и снова вписывал, и делал все необходимое, чтобы завершить произведение искусства, и переживал такое чувство, какое должен испытывать весенний ветер, пробуя свои первые песни среди наступающего цветения. Джон принадлежал к числу тех редких мальчиков, которым удалось пронести через школьные годы привитую дома любовь к красоте. Ему, конечно, приходилось таить ее про себя, не выдавая даже учителю рисования; но она жила в нем, цело-

мудренная и взыскательная. Стихотворение показалось ему настолько же хромым и ходульным, насколько ночь казалась крылатой. Но все-таки Джон его сохранил. «Дрянь,— решил он,— но когда нужно выразить невыразимое, все же лучше, чем ничего». И не без огорчения он подумал: «Этого я не смогу показать маме». Спал он удивительно крепко, когда наконец заснул, захлестнутый волной новых впечатлений.

VII

ФЛЕР

Во избежание неловких расспросов Джону было сказано только:

— Вэл привезет с собой на воскресенье одну знакомую.

По той же причине Флер было сказано только:

— У нас гостит один молодой человек.

Оба стригунка, как мысленно называл их Вэл, встретились, таким образом, совершенно неподготовленными. Холли так представила их друг другу:

— Это Джон, мой маленький брат; Флер — наша родственница, Джон.

Джон, вошедший через террасу прямо с яркого солнечного света, был так потрясен этим счастливым чудом, что не мог произнести ни слова, и Флер успела спокойно сказать «здравствуйте» таким тоном, как будто они никогда не виделись раньше; невообразимо быстрый кивок головы дал мальчику понять, что это — их первая встреча. Джон в упоении склонился к ее руке и сделался тише могилы. Он сообразил, что лучше молчать. Однажды, в раннюю пору своей жизни, когда его застали врасплох за чтением при свете ночника, он сказал растерянно: «Я только переворачивал страницы, мама». И мать ответила ему: «Джон, с твоим лицом лучше не выдумывать басен — никто не поверит».

Эти слова раз и навсегда подорвали уверенность, необходимую для успешной лжи. И теперь он слушал быстрые и восторженные замечания Флер о том, как все вокруг прелестно, угощал ее оладьями с вареньем и ушел, как только представилась возможность. Говорят, что в белой горячке больной видит навязчивый предмет, по преимуществу темный, который внезапно меняет свою форму и положение. Джон видел такой навязчивый предмет; у предмета были темные глаза, довольно темные волосы, и он менял положение, но отнюдь не форму. Сознание, что между ним и его «навязчивым предметом» установилось взаимное тайное понимание (хоть он и не разгадал, в чем было дело), наполняло мальчика таким трепетом, что он был как в лихорадке и начал переписывать начисто свое стихотворение, которое он, конечно, никогда не осмелится ей показать. Его заставил очнуться топот копыт, и, высунувшись в окно, он увидел Флер верхом в сопровождении Вэла. Понятно, она не теряет времени даром, но зрелище это наполнило Джона досадой: он-то теряет время. Если бы он не сбежал в робком восторге, его тоже пригласили бы на прогулку. И он сидел у окна и следил, как всадники скрылись, появились вновь на подъеме дороги, опять исчезли и еще раз вынырнули на

минуту, четко вырисовываясь на гребне холма. «Болван я!— думал он.— Всегда упускаю случай».

Почему он не умеет держаться уверенно? И, подперев подбородок обеими руками, он рисовал себе поездку, которую мог бы совершить вместе с ней. Она приехала всего лишь на два дня, а он упустил из них три часа. Ну кто среди всех его знакомых, кроме него самого, свалял бы такого дурака? Никто.

К обеду он оделся пораньше и спустился в столовую первым. Он дал себе слово больше не зевать — и все-таки прозевал Флер, которая пришла последней. За обедом он сидел напротив нее, и это было пыткой: невозможно было ничего сказать из страха, что скажешь лишнее, невозможно смотреть на нее так, как хотелось бы; и вообще возможно ли держаться естественно с девушкой, с которой ты в своем воображении уже побывал далеко за холмами, и притом все время сознавать, что и ей, и всем остальным ты кажешься форменным остолопом? Да, это была пытка. А Флер говорила так хорошо, перепархивая на быстрых крыльях с одной темы на другую! Удивительно, как она усвоила это искусство, которое ему казалось неодолимо трудным. Право, она должна считать его безнадежным тупицей.

Взгляд сестры, устремленный на него с некоторым удивлением, принудил его наконец взглянуть на Флер. Но тотчас ее глаза, широко открытые и живые, как бы взмолились: «Ради бога, не надо!»— и вынудили его перевести взгляд на Вэла; но усмешка в его глазах заставила Джона уставиться на свою котлету, у которой, к счастью, не было ни глаз, ни улыбки, и он поспешил ее съесть.

— Джон собирается стать фермером,— услышал он голос Холли,— фермером и поэтом.

Он с упреком посмотрел на сестру, увидел ее забавно поднятую бровь, совсем как у их отца, засмеялся и почувствовал себя значительно лучше.

Вэл рассказал о своей встрече с Проспером Профоном как нельзя более кстати, потому что во время рассказа он глядел на Холли, а Холли на него, тогда как Флер, слегка нахмурившись, казалось, рассматривала какую-то свою затаенную мысль, и Джон получил наконец возможность поглядеть на нее. На ней было белое платье, очень простое и отлично сшитое; руки были обнажены, в волосах белая роза. В этот быстрый миг, когда он впервые посмотрел на нее свободно после такого напряженного ожидания, Джон увидел ее словно реющей в воздухе, как мы видим в темноте стройную белую яблоню; он «ловил» ее, как строчку стихотворения, вспыхнувшую в мозгу, как мелодию, которая выплывет вдалеке и замрет.

Он смущенно гадал, сколько ей лет,— она так хорошо владела собой и казалась настолько опытней его самого. Почему надо скрывать, что они уже встречались? Джону вспомнилось лицо его матери, растерянное и оскорбленное, когда она ответила: «Да, они нам родственники, но мы с ними не знакомы». Мать его так любит красоту. Неужели же, узнав Флер, она не будет восхищаться ею? Невозможно!

Оставшись после обеда вдвоем с Вэлом, Джон почтительно потягивал портвейн и отвечал на расспросы своего новоявленного зятя. Что касается верховой езды (у Вэла она всегда стояла на первом плане), то Джону предоставлялся молодой караковый жеребец, только мальчик должен сам седлать его и расседлывать и вообще ухаживать за ним после поездки. Джон сказал, что ко всему этому он привык и дома, и убедился, что сразу поднялся в мнении своего хозяина.

— Флер,— заметил Вэл,— еще не умеет ездить как следует, но она ловкая. Конечно, ее отец не отличает лошади от колеса. А твой папа ездит верхом?

— Раньше ездил; но теперь он, вы понимаете, он...

Мальчик запнулся на слове «стар». Отец его был стар, и все-таки не стар, нет, конечно, нет.

— Понимаю,— сказал Вэл.— Я знавал в Оксфорде твоего брата, давным-давно, того, который погиб в бурскую войну. Мы с ним однажды подрались в университетском саду. Странная это была история,— добавил он задумчиво.— Она вызвала немало последствий.

У Джона широко раскрылись глаза; все наталкивало его на исторические изыскания. Но с порога послышался ласковый голос сестры: «Идите к нам!»— и он вскочил, ибо сердце его настойчиво рвалось к настоящему.

Так как Флер заявила, что «в такой чудесный вечер грех сидеть дома», все четверо вышли. Роса индевела в лунном свете, и старые солнечные часы отбрасывали длинную тень. Две самшитовые изгороди, квадратные и темные, встречались под прямым углом, отгораживая плодовый сад. Флер свернула в проход между ними.

— Идемте!— позвала она.

Джон оглянулся на остальных и последовал за девушкой. Она, как призрак, бежала между деревьями. Все было так красиво над нею и точно пенилось, и пахло старыми стволами и крапивой. Флер скрылась. Джон подумал, что потерял ее, когда вдруг чуть не сшиб ее с ног на бегу: она стояла неподвижно.

— Правда, чудесно?— воскликнула она, и Джон ответил:

— Да.

Она потянулась, сорвала с яблони цветок и, теребя его пальцами, сказала:

— Можно называть вас просто Джон? И на «ты»?

— Ну еще бы!

— Прекрасно. Но ты знаешь, что между нашими семьями — кровная вражда?

Джон обомлел:

— Вражда? Почему?

— Романтично и глупо, не правда ли? Вот почему я сделала вид, будто мы раньше не встречались. Давай встанем завтра пораньше и пойдем гулять вдвоем до утреннего завтрака, чтобы покончить с этим. Я не люблю тянуть канитель, а ты?

Джон пробормотал восторженное согласие.

— Итак, в шесть часов. Знаешь, твоя мама, по-моему, очень красива.

Джон горячо подхватил:

— Да, очень.

— Я люблю красоту во всех ее видах,— продолжала Флер,— но только чтобы она непременно волновала. Греческое искусство я не признаю.

— Как! Даже Еврипида?

— Еврипида? Ой, нет! Не выношу греческих трагедий, они такие длинные. Красота, по-моему, всегда быстрая. Я, например, люблю посмотреть на какую-нибудь картину и убежать. Я не выношу много вещей разом. Вот посмотри.— Она высоко держала на лунном свету свой яблоневый цветок.— По-моему, это лучше, чем весь сад.

И вдруг другой, свободной, рукой она схватила руку Джона.

— Тебе не кажется, что самое несносное в мире — осторожность? Понюхай лунный свет.

Она бросила цветок ему в лицо. Джон с упоением согласился, что самое скверное в мире — осторожность, и, склонившись, поцеловал пальцы, сжимавшие его руку.

— Мило и старомодно,— спокойно сказала Флер.— Ты невозможно молчалив, Джон. Я люблю и молчание, когда оно внезапно.— Она выпустила его руку.— Ты не подумал тогда, что я нарочно уронила платок?

— Нет!— воскликнул Джон, глубоко пораженный.

— А я, конечно, нарочно его уронила. Повернем назад, а то подумают, что мы и теперь уединились нарочно.

И опять она, как призрак, побежала между стволами. Джон последовал за ней, с любовью в сердце, с весной в сердце, а надо всем рассыпалось в лунном свете белое неземное цветение. Они вышли тем же путем, как вошли; вид у Флер был самый непринужденный.

— Там в саду чудно!— томно сказала она Холли.

Джон хранил молчание, безнадежно надеясь, что, может быть, оно покажется ей внезапным.

Она непринужденно и сдержанно пожелала ему спокойной ночи, и ему подумалось, что разговор в саду был только сном.

У себя в спальне Флер скинула платье и, завернувшись в затейливо бесформенный халат, все еще с белой веточкой в волосах, точно гейша, села на кровать, поджав под себя ноги, и начала писать при свече:

«Дорогая Черри!

Я, кажется, влюблена. Свалилось как снег на голову, но ощущается где-то глубже. Он — мой троюродный брат, совсем дитя, на шесть месяцев старше и на десять лет моложе меня. Мальчики всегда влюбляются в старших, а девушки в младших или же в сорокалетних стариков. Не смейся, но я отроду не видела ничего правдивее его глаз; он божественно молчалив. Наша первая встреча в Лондоне произошла очень романтично, под сенью восповичевской Юноны. А сейчас он спит в соседней комнате, яблони в цвету залиты лунным светом, а завтра утром, пока все спят, мы пойдем на Меловые горы — в гости к феям. Между нашими семьями —

кровная вражда, что, по-моему, восхитительно. Да! И, может быть, мне придется идти на хитрости, попросить, чтобы ты меня пригласила к себе, так ты поймешь зачем. Папа не хочет, чтобы мы были знакомы, но я с этим не примирюсь. Жизнь слишком коротка. У него красавица мать: темноглазая, с прелестными серебряными волосами и молодым лицом. Я гощу у его сестры, которая замужем за моим двоюродным братом; все это очень запутанно, но я намерена выудить из нее завтра все, что смогу. Мы часто с тобой говорили, что любовь портит веселую игру. Вздор! Только с нею и начинается подлинная игра. И чем раньше ты это испытаешь, дорогая, тем лучше для тебя.

Джон (не просто «Джон», а уменьшительное от Джолион — традиционное имя Форсайтов) из породы тех, которые то вспыхивают, то гаснут; росту в нем пять футов десять дюймов, и он еще растет и, кажется, хочет быть поэтом. Если ты станешь смеяться надо мной, я рассорюсь с тобою навсегда. Я предвижу всевозможные затруднения, но ты знаешь: если я чего-нибудь всерьез захочу, я добьюсь своего. Один из основных признаков любви — это то, что воздух чудится населенным, подобно тому, как чудится нам лицо на луне; кажется, будто танцуешь, и в то же время какое-то странное ощущение где-то над корсетом, точно запах апельсинового дерева в цвету. Это моя первая любовь и, я предчувствую, последняя, что, конечно, нелепо по всем законам природы и нравственности. Если ты намерена глумиться надо мной, я тебя убью, а если ты кому-нибудь расскажешь, я тебе этого никогда не прощу. Верь, не верь, а у меня, кажется, не хватит духу отослать это письмо. Как бы то ни было, сейчас я над ним засыпаю. Итак, спокойной ночи, моя Черри-и-и!

Твоя *Флер*».

VIII

ИДИЛЛИЯ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

Когда двое молодых Форсайтов миновали первый перевал и обратили свои лица на восток, к солнцу, в небе не было ни облачка, а холмы искрились росой. На перевал они поднялись почти бегом и немного запыхались; если и было им что сказать, они все же не говорили и шли под пение жаворонков, в неловком молчании утренней прогулки натощак. Уйти украдкой было забавно, но на вольной высоте ощущение заговора пропало и сменилось немотой.

— Мы допустили глупейшую ошибку,— сказала Флер, когда они прошли с полмили.— Я голодна.

Джон извлек из кармана плитку шоколада. Они разломили ее пополам, и языки у них развязались. Они говорили о своем домашнем укладе и о прошлой своей жизни, которая здесь, среди одиночества холмов, казалась волшебно-нереальной. В прошлом Джона оставалось незыблемым лишь одно — его мать, в прошлом Флер — ее отец; их лица неодобрительно смотрели издалека на детей, и дети говорили о них мало.

Дорога спустилась в ложбину и опять вынырнула в направлении к Чанктонбери-Ринг; блеснуло вдалеке море, ястреб парил между ними и солнцем, так что его кроваво-коричневые крылья казались огненно-красными. Джон до страсти любил птиц, любил сидеть подолгу неподвижно, наблюдая за ними; и так как у него был острый взгляд и память на вещи, которые его занимали, пожалуй, стоило его послушать, если речь заходила о птицах. Но на Чанктонбери-Ринг не слышно было птиц, большой храм его буковой рощи был пуст — он стоял безжизненный и холодный в этот ранний час; приятным показалось, пройдя рощу, снова выйти на солнце. Очередь была за Флер. Она заговорила о собаках, о том, как с ними гнусно обращаются. Не жестоко ли сажать их на цепь! Она бы секла людей, которые так поступают. Джон был удивлен этим проявлением гуманности. Оказалось, что Флер знала собаку, которую какой-то фермер, их сосед, во всякую погоду держал на цепи в углу своего птичьего двора — так что в конце концов она надорвала голос от лая!

— Подумай, как обидно!— с жаром сказала девушка.— Ведь если бы она не лаяла на каждого прохожего, ее бы не держали на цепи. Человек — подлая тварь. Я два раза потихоньку спускала ее; оба раза она меня чуть не укусила, а после просто бесновалась от радости; но потом она неизменно прибегала домой, и ее опять сажали на цепь. Будь моя воля, я посадила б на цепь ее хозяина.— Джон заметил, как сверкнули ее зубы и глаза.— Я выжгла бы ему на лбу клеймо: «Зверь». Была бы ему наука!

Джон согласился, что средство превосходное.

— Всему виной,— сказал он,— инстинкт собственности, который изобрел цепи. Последнее поколение только и думало, что о собственности; вот почему разыгралась война.

— О!— воскликнула Флер.— Мне никогда не приходило это на ум. Твои родные и мои поссорились из-за собственности. А она ведь есть у нас у всех — твои родные, мне кажется, богаты.

— О да! К счастью! Не думаю, чтоб я сумел зарабатывать деньги.

— Если бы ты умел, ты бы мне не нравился.

Джон с трепетом взял ее под руку.

Флер смотрела прямо вперед и напевала:

Джонни, Джонни, пастушок,
Хвать свинью — и наутек!

Рука Джона робко обвилась вокруг ее талии.

— Довольно неожиданно!— спокойно сказала Флер.— Ты часто это делаешь?

Джон опустил руку. Но Флер засмеялась, и его рука снова легла на ее талию. Флер завела:

О, кто по горной той стране
За мной промчится на коне,
О, кто отважится за мной
Дорогой горной той?

— Подпевай, Джон!

Джон запел. К ним присоединились жаворонки, колокольчики овец, утренний звон с далекой церкви в Стэйнинге. Они переходили от мелодии к мелодии, пока Флер не заявила:

— Боже! Вот когда я по-настоящему проголодалась!

— Ах, мне так совестно!

Она заглянула ему в лицо.

— Джон, ты — прелесть!

И она локтем прижала к себе его руку, обнимавшую ее. Джон едва не зашатался от счастья. Желто-белая собака, гнавшаяся за зайцем, заставила его отдернуть руку. Они смотрели вслед, пока заяц и собака не скрылись под горой. Флер вздохнула:

— Слава богу, не поймает! Который час? Мои остановились. Забыла завести.

Джон посмотрел на часы.

— Черт возьми! И мои стоят.

Пошли дальше, взявшись за руки.

— Если трава сухая,— предложила Флер,— присядем на минутку.

Джон скинул куртку, и они уселись на ней вдвоем.

— Понюхай! Настоящий дикий тмин.

Он снова обнял ее, и так они сидели молча несколько минут.

— Ну и ослы!— вскричала Флер и вскочила.— Мы безобразно опоздаем, вид у нас будет самый дурацкий, и они все насторожатся. Вот что, Джон: мы просто вышли побродить перед завтраком, чтобы нагулять аппетит, и заблудились. Хорошо?

— Да,— согласился Джон.

— Это важно. Нам будут чинить всевозможные препятствия. Ты хорошо умеешь лгать?

— Кажется, не слишком. Но я постараюсь.

Флер нахмурилась.

— Знаешь, я думаю, нам не позволят дружить.

— Почему?

— Я тебе уже объясняла.

— Но это глупо!

— Да; но ты не знаешь моего отца.

— Я думаю, что он тебя очень любит.

— Видишь ли, я — единственная дочь. И ты тоже единственный — у твоей матери. Такая обида! От единственных детей ждут слишком многого. Пока переделаешь все, чего от тебя ждут, успеешь умереть.

— Да,— пробормотал Джон,— жизнь возмутительно коротка. А хочется жить вечно и все познать.

— И любить всех и каждого?

— Нет,— воскликнул Джон,— любить я желал бы только раз — тебя!

— В самом деле? Как ты это быстро! Ах, смотри, вот меловая яма; отсюда недалеко и до дому. Бежим!

Джон пустился за нею, спрашивая себя со страхом, не оскорбил ли он ее.

Овраг — заброшенная меловая яма — был полон солнца и жужжания пчел. Флер откинула волосы со лба.

— Ну,— сказала она,— на всякий случай тебе разрешается меня поцеловать, Джон.

Она подставила щеку. В упоении он запечатлел поцелуй на горячей и нежной щеке.

— Так помни: мы заблудились; и по мере возможности предоставь объяснения мне; я буду смотреть на тебя со злостью для большей верности; и ты постарайся и гляди на меня зверем!

Джон покачал головой:

— Не могу!

— Ну, ради меня; хотя бы до дневного чая.

— Догадаются,— угрюмо проговорил Джон.

— Как-нибудь постарайся. Смотри! Вот мы и дома! Помахай шляпой. Ах, у тебя ее нет! Ладно, я крикну. Отойди от меня подальше и притворись недовольным.

Пять минут спустя, поднимаясь на крыльцо и прилагая все усилия, чтобы казаться недовольным, Джон услышал в столовой звонкий голос Флер:

— Ох, я до смерти голодна. Вот мальчишка! Собирается стать фермером, а сам заблудился. Идиот!

IX

ГОЙЯ

Завтрак кончился, и Сомс поднялся в картинную галерею в своем доме близ Мейплдерхема. Он, как выражалась Аннет, «предался унынию». Флер еще не вернулась домой. Ее ждали в среду, но она известила телеграммой, что приезд переносится на пятницу, а в пятницу новая телеграмма известила об отсрочке до воскресенья; между тем приехали ее тетка, ее кузены Кардиганы и этот Профон, и ничего не ладилось, и было скучно, потому что не было Флер. Сомс стоял перед Гогеном — самым больным местом своей коллекции. Это безобразное большое полотно он купил вместе с двумя ранними Матиссами перед самой войной, потому что вокруг постимпрессионистов подняли такую шумиху. Он раздумывал, не избавит ли его от них Профон — бельгиец, кажется, не знает, куда девать деньги,— когда услышал за спиною голос сестры: «По-моему, Сомс, эта вещь отвратительна»,— и, оглянувшись, увидел подошедшую к нему Уинифрид.

— Да?— сказал он сухо.— Я отдал за нее пятьсот фунтов.

— Неужели! Женщины не бывают так сложены, даже чернокожие.

Сомс невесело усмехнулся.

— Ты пришла не за тем, чтобы мне это сообщить.

— Да. Тебе известно, что у Вэла и его жены гостит сейчас сын Джолиона?

Сомс круто повернулся.

— Что?

— Да-а,— протянула Уинифрид,— он будет жить у них все время, пока изучает сельское хозяйство.

Сомс отвернулся, но голос сестры неотступно преследовал его, пока он шагал взад и вперед по галерее.

— Я предупредила Вэла, чтобы он ни ему, ни ей не проговорился о старых делах.

— Почему ты мне раньше не сказала?

Уинифрид повела своими полными плечами.

— Флер делает, что захочет. Ты ее всегда баловал. А потом, дорогой мой, что здесь страшного?

— Что страшного?— процедил сквозь зубы Сомс.— Она... она...

Он осекся. Юнона, носовой платок, глаза Флер, ее вопросы и теперь эти отсрочки с приездом — симптомы казались ему настолько зловещими, что он, верный своей природе, не мог поделиться опасениями.

— Мне кажется, ты слишком осторожен,— начала Уинифрид.— Я бы на твоем месте рассказала ей всю историю. Нелепо думать, что девушки в наши дни те же, какими были раньше. Откуда они набираются знаний, не могу сказать, но, по-видимому, они знают все.

По замкнутому лицу Сомса прошла судорога, и Уинифрид поспешила добавить:

— Если тебе тяжело говорить, я возьму на себя.

Сомс покачал головой. Пока еще в этом не было абсолютной необходимости, а мысль, что его обожаемая дочь узнает о том старом позоре, слишком уязвляла его гордость.

— Нет,— сказал он,— только не теперь. И если будет можно — никогда.

Уинифрид смолчала. Она все более и более склонялась к миру и покою, которых Монтегью Дарти лишал ее в молодости. И так как вид картин всегда угнетал ее, она вскоре за тем сошла вниз, в гостиную.

Сомс прошел в тот угол, где висели рядом его подлинный Гойя и копия с фрески «La Vendimia». Появление у него картины Гойи служило превосходной иллюстрацией к тому, как человеческая жизнь, яркокрылая бабочка, может запутаться в паутине денежных интересов и страстей. Прадед высокородного владельца подлинного Гойи приобрел картину во время очередной испанской войны — в порядке откровенного грабежа. Высокородный владелец пребывал в неведении относительно ценности картины, пока в девяностых годах прошлого века некий предприимчивый критик не открыл миру, что испанский художник по имени Гойя был гением. Картина представляла собой не более как рядовую работу Гойи, но в Англии она была чуть ли не единственной, и высокородный владелец стал известным человеком. Обладая разнообразными видами собственности и той аристократической культурой, которая не жаждет только чувственного наслаждения, но зиждется на более здоровом правиле, что человек должен знать все и отчаянно любить жизнь,— он держался твердого намерения, покуда жив, сохранять у себя предмет, доставляющий блеск его имени, а после смерти завещать его государству. К счастью для Сомса, палата лордов в 1909 году подверглась жестоким нападкам, и высокородный владелец встревожился и обозлился.

«Если они воображают,— решил он,— что могут грабить меня с обоих концов, они сильно ошибаются. Пока меня не трогают и дают спокойно наслаждаться жизнью, государство может рассчитывать, что я оставлю ему в наследство некоторые мои картины. Но если государство намерено травить меня и грабить, будь я трижды проклят, если не распродам к черту всю свою коллекцию. Одно из двух: или мою собственность, или патриотизм, а того и другого сразу они от меня не получат». Несколько месяцев он вынашивал эту мысль, потом в одно прекрасное утро, прочитав речь некоего государственного мужа, дал телеграмму своему агенту, чтобы тот приехал и привез с собою Бодкина. Осмотрев коллекцию, Бодкин, чье мнение о рыночных ценах пользовалось среди знатоков наибольшим весом, заявил, что при полной свободе действий, продавая картины в Америку, Германию и другие страны, где сохранился интерес к искусству, можно выручить значительно больше, чем если продавать их в Англии. Патриотизм высокородного владельца, сказал он, всем хорошо известен, но в его коллекции что ни картина, то уникум. Высокородный владелец набил этим мнением свою трубку и раскуривал его одиннадцать месяцев. На двенадцатом месяце он прочитал еще одну речь того же государственного мужа и дал агенту телеграмму: «Предоставить Бодкину свободу действий». Вот тогда у Бодкина и зародилась идея, спасшая Гойю и еще два уникума для отечества высокородного владельца. Одной рукой Бодкин выдвигал картины на иностранные рынки, а другой составлял список частных английских коллекционеров. Добившись в заморских странах предложения наивысшей цены, какой, по его мнению, можно было ожидать, он предлагал картину и установленную цену вниманию отечественных коллекционеров, приглашая их из чувства патриотизма заплатить больше. В трех случаях (включая случай с Гойей) из двадцати одного эта тактика увенчалась успехом. Спросят: почему? Один из коллекционеров был пуговичным фабрикантом и, заработав большие деньги, желал, чтобы его супруга именовалась леди Баттонс [1]. Посему он купил за высокую цену один из уникумов и преподнес его в дар государству. Это, как поговаривали его друзья, было «одной из ставок в его большой игре». Другой коллекционер ненавидел Америку и купил картину-уникум, «чтобы насолить распроклятым янки». Третьим коллекционером был Сомс, который, будучи, пожалуй, трезвее прочих, купил картину после поездки в Мадрид, так как пришел к убеждению, что Гойя пока что идет в гору. Сейчас, правда, он был не слишком в моде, но слава его еще впереди; и, глядя на этот портрет, напоминавший своей прямотой и резкостью Хогарта и Мане, но отличавшийся особенной — острой и странной — красотой рисунка, Сомс все больше утверждался в уверенности, что не сделал ошибки, хоть и уплатил большую цену — самую большую, какую доводилось ему платить. А рядом с портретом висела копия с фрески «La Vendimia». Вот она — маленькая проказница — глядит на него с полотна сонно-мечтательным взглядом, тем взглядом, который Сомс любил у нее больше всякого другого, потому что он сообщал ему чувство сравнительного спокойствия.

[1] Buttons — по-английски «пуговицы».

Он все еще глядел на картину, когда запах сигары защекотал ему ноздри и за спиной послышался голос:

— Итак, мистер Форсайд, что вы думаете делать с этой маленькой коллекцией?

Противный бельгиец, мать которого — точно не довольно и фламандской крови — была армянкой! Преодолев невольное раздражение, Сомс спросил:

— Вы знаете толк в картинах?

— Да, у меня у самого собрано кое-что.

— Есть у вас постимпрессионисты?

— Да-а! Я их люблю.

— Каково ваше мнение об этой вещи?— спросил Сомс, указывая на Гогена.

Мсье Профон выставил вперед нижнюю губу и заостренную бородку.

— Очень недурно,— сказал он.— Вы хотите это продать?

Сомс подавил инстинктивно навернувшееся: «Нет, собственно»,— ему не хотелось прибегать с иностранцем к обычным уловкам.

— Да,— сказал он.

— Сколько вы за нее хотите?

— То, что отдал сам.

— Отлично,— сказал мсье Профон.— Я с удовольствием возьму у вас эту маленькую картинку. Постимпрессионисты очень нежизненны, но они забавны. Я не слишком интересуюсь картинами, хотя у меня есть кое-что, совсем маленькое собрание.

— А чем вы интересуетесь?

Мсье Профон пожал плечами.

— Жизнь очень напоминает драку мартышек из-за пустого ореха.

— Вы молоды,— сказал Сомс.

Профону, видно, хочется обобщений, но, право же, он мог бы и не напоминать, что собственность утратила свою былую прочность.

— Я ни о чем не тревожусь,— отвечал с улыбкой мсье Профон.— Мы рождаемся на свет и умираем. Половина человечества голодает. Я кормлю маленькую ораву ребятишек на родине моей матери; но что в том пользы? Я мог бы с тем же успехом бросать деньги в реку.

Сомс смерил его взглядом и вернулся к своему Гойе. Непонятно было, чего хочет бельгиец.

— На какую сумму выписать мне чек?— продолжал мсье Профон.

— Пятьсот,— коротко сказал Сомс,— но я не хотел бы навязывать вам картину, если она так мало вас интересует.

— О, не беспокойтесь,— ответил мсье Профон.— Я буду счастлив приобрести эту вещицу.

И он выписал чек вечным пером с тяжелой золотой отделкой. Сомс тревожно наблюдал за процедурой. Каким образом узнал этот господин, что он хочет продать Гогена? Мсье Профон протянул ему чек.

— Англичане очень странно относятся к картинам. И французы тоже, да и мои соотечественники. Очень странно.

— Я вас не понимаю,— деревянным голосом сказал Сомс.

— Словно это шляпы,— загадочно произнес мсье Профон.— Большие и маленькие, кверху поля или книзу — все по моде. Очень странно.

Он улыбнулся и поплыл прочь из галереи, синий и крепкий, как дым его превосходной сигары.

Сомс принял чек с таким чувством, словно Профон поставил под вопрос истинную ценность собственничества. «Космополит»,— думал он, наблюдая, как Профон и Аннет сходят с веранды и направляются к реке. Что нашла его жена в этом бельгийце? Сомс не понимал — разве что ей приятно поговорить на родном языке; и тотчас промелькнуло в его мыслях то, что Профон назвал бы «маленьким сомнением»; не слишком ли красива Аннет, чтобы безопасно расхаживать с подобным «космополитом»? Даже на таком расстоянии Сомс видел синий дымок сигары мсье Профона, клубившийся в ровном свете солнца; и его серые замшевые ботинки, и серую фетровую шляпу: мсье — изысканный щеголь. И видел он также, как быстро его жена повернула голову, так прямо сидевшую на соблазнительной шее. Этот поворот шеи всегда казался Сомсу немного показным и каким-то опереточным — не вполне приличным для леди. Гуляющие шли по узкой дорожке в нижнем конце сада. К ним присоединился молодой человек во фланелевом костюме — верно, какой-нибудь воскресный гость, приехавший по реке. Сомс вернулся к своему Гойе. Он еще смотрел на Флер-виноградаршу, встревоженный новостью, которую сообщила ему Уинифрид, когда голос его жены сказал:

— Мистер Майкл Монт, Сомс. Ты его приглашал посмотреть картины.

Тот бойкий молодой человек с выставки на Корк-стрит!

— Как видите, сэр, я к вам с налетом! Я живу всего в четырех милях от Пэнгборна. Прекрасная погода, не правда ли?

Оказавшись лицом к лицу с результатами своей экспансивности, Сомс сощурил глаза на гостя. Губы у молодого человека были большие, изогнутые — точно с них не сходила усмешка. И почему он не отрастит подлиннее остатки своих идиотских усиков, которые придают ему вид шута из мюзик-холла? Зачем современная молодежь унижает свой класс этими щеточками на верхней губе или фатоватыми крошечными бакенбардами? Уф! Претенциозные кретины! Но в прочих отношениях Сомс нашел гостя вполне приемлемым, фланелевый костюм его был безукоризненно чист.

— Рад вас видеть,— сказал он.

Молодой человек поглядел по сторонам, потом остановился, пораженный:

— Вот это картина!

Сомс вряд ли мог бы разобраться в тех смешанных чувствах, которые вспыхнули в нем, когда он увидел, что замечание относилось к копии Гойи.

— Да,— сухо сказал он,— это не Гойя. Это только копия. Я заказал ее, потому что девушка с фрески напоминает мне мою дочь.

— Верно! Мне и то показалось, что я узнаю это лицо, сэр. Она здесь?

Откровенность молодого человека почти обезоружила Сомса.

— Она приедет после чая. Не хотите ли осмотреть картины?

И Сомс начал обход, никогда не надоедавший ему. Он не ждал большого понимания от человека, принявшего копию за подлинник, но, переходя от отдела к отделу, от периода к периоду, поражался откровенным и метким замечаниям Монта. Сам от природы проницательный и даже чувствительный под маской сдержанности, Сомс недаром тридцать восемь лет уделил своей коллекционерской страсти, и его понимание картин не ограничивалось знанием их рыночной цены. Он являлся своего рода промежуточным звеном между художником и покупающей публикой. Искусство для искусства и всякая такая материя, конечно, пустая болтовня. Но эстетизм и хороший вкус необходимы. Если известное количество любителей, обладающих хорошим вкусом, признают вещь, то она приобретает твердую рыночную ценность, или, иными словами, становится «произведением искусства». Разрыва, в сущности, нет. И он так привык к овечьему стаду робких и незрячих посетителей, что не мог не заинтересоваться гостем, который, не колеблясь, говорил о Мауве: «Эх, хороши стога», или о Якобе Мэрисе: «Да, не пожалел красок. Вот Маттейс Мэрис, тот настоящий мастер, сэр. А у этого поверхность хоть копай лопатой». Но только когда молодой человек свистнул перед Уистлером со словами: «Как вы думаете, сэр, он когда-нибудь видел в натуре голую женщину?»— Сомс заметил:

— Кто вы сами, мистер Монт, если разрешите спросить?

— Я, сэр? Раньше я думал сделаться художником, но этому помешала война. Там, в окопах, знаете ли, я тешился мечтой о бирже, чтобы было тепло и уютно и не слишком шумно. Но этому помешало заключение мира; на акциях сейчас далеко не уедешь, правда ведь? Я только год как демобилизован. Что вы мне посоветуете, сэр?

— Есть у вас средства?

— Как сказать,— ответил молодой человек.— У меня есть отец. Я защищал его жизнь во время войны, так что теперь он обязан поддерживать мою жизнь. Хотя, конечно, возникает вопрос, оставят ли ему его собственность. Что вы на этот счет думаете, сэр?

Сомс улыбнулся бледной оборонительной улыбкой.

— Старика чуть ли не удар хватает, когда я говорю, что ему, может быть, придется работать. Он, понимаете ли, землевладелец: неизлечимая болезнь.

— Вот мой подлинный Гойя,— сухо сказал Сомс.

— Черт побери! Вот был гений! Я видел раз в Мюнхене одну вещь Гойи, от которой прямо обалдел: зловреднейшая старуха в роскошнейших кружевах. Да, этот не шел навстречу вкусам публики. В свое время был, наверно, вроде бомбы; условностям от него досталось. Перед ним и Веласкес бледнеет — вы не находите?

— Веласкеса у меня нет,— сказал Сомс.

Молодой человек посмотрел на него внимательно.

— Да,— сказал он,— такую роскошь могут позволить себе только государства да спекулянты. Почему бы всем обанкротившимся государствам не продать спекулянтам насильственным порядком своих Ве-

ласкесов, Тицианов и прочие шедевры, а потом издать закон, что всякий, кто владеет картиной старых мастеров (смотри прилагаемый список), обязан вывесить ее в какой-либо национальной галерее? Пожалуй, стоило бы.

— Не сойти ли нам вниз, к чаю?— предложил Сомс.

Уши молодого человека словно опали, прижавшись плотнее к черепу. «Он не лишен такта»,— подумал Сомс, выходя следом за ним из галереи.

Гойя с его сатирической необычайной любовью к деталям, его своеобразной линией и смелостью светотени мог бы в точности воспроизвести группу, собравшуюся внизу на веранде за чайным столом Аннет. Быть может, он один из всех художников мог бы отдать должное солнечным лучам, струившимся сквозь увитый плющом трельяж; матовой бронзе, старинному хрусталю, тонким ломтикам лимона в бледном янтаре чая; отдать должное самой Аннет, одетой в черные кружева,— в ее красоте было что-то от белокурой испанки, хоть ей и не хватало одухотворенности женщин этого редкого типа; отдать должное седоволосой, затянутой в корсет степенности Уинифрид; седой и худощавой корректности Сомса; живому Майклу Монту, востроухому и востроглазому; смуглой, лениво улыбающейся, начинающей полнеть Имоджин; Проспе-ру Профону, чья улыбка словно говорила: «Право, мистер Гойя, стоит ли изображать эту маленькую компанийку?»— и, наконец, Джеку Кардигану, чьи невозмутимо сияющие глаза и полнокровный загар выдавали его руководящий принцип: «Я — англичанин и живу, чтобы быть здоровым».

Странно, кстати сказать, что Имоджин, которая девушкой торжественно обещала однажды у Тимоти не выходить замуж за хорошего человека, потому что все они так скучны,— что эта Имоджин вышла замуж за Джека Кардигана, в котором здоровье настолько стерло все следы первородного греха, что она могла бы удалиться на покой с десятью тысячами других англичан и не найти различия между ними и тем, кого она избрала разделять с нею ложе. «О, Джек здоров до ужаса!— говорила она про него к великой радости матери.— За всю свою жизнь он не проболел ни единого дня. Он проделал всю войну, не получив ни царапинки. Вы не представляете себе, до чего он здоров и жизнеспособен». И правда, он был настолько приспособлен к жизни, что не замечал, когда его жена флиртовала с другими мужчинами, что, впрочем, было весьма удобно. Однако она его любила, насколько можно любить спортивную машину, и любила двух Кардиганчиков, сделанных по его образцу. Ее глаза лукаво сравнивали его сейчас с Проспером Профоном; кажется, не было такой «маленькой» игры или спорта, которых мсье Профон не испробовал бы — от кеглей до охоты на акул — и которые не надоели бы ему. Имоджин мечтала иногда, чтобы они надоели также и Джеку, который продолжал играть и говорить об игре с увлечением школьницы, только что приобщившейся к хоккею; она не сомневалась, что в возрасте дядюшки Тимоти Джек будет играть в детский гольф на ковре в ее спальне и «утирать кому-нибудь нос».

Сейчас он рассказывал, как сегодня утром обставил у последней лунки профессионала-гольфера — прелестный человек, и очень неплохо играл; и как он после второго завтрака прошел на веслах до самого Кэвершема; рассказывая, он пробовал соблазнить Проспера Профона на партию в теннис после чая: спорт — полезная штука, делает человека жизнеспособным.

— Но зачем вам жизнеспособность?— сказал мсье Профон.

— Да, сэр,— проговорил Майкл Монт,— к чему вы хотите быть приспособленным в жизни?

— Джек,— радостно подхватила Имоджин,— к чему ты приспособлен?

Джек Кардиган глядел во все глаза и дышал здоровьем. Вопросы жужжали, как комары, и он поднял руку, как бы отмахиваясь от них. Во время войны он был, конечно, приспособлен к тому, чтобы убивать немцев; а теперь он или не знал, к чему, или же из скромности уклонялся от объяснения своих руководящих принципов.

— Но он прав,— сказал неожиданно мсье Профон,— нам ничего не осталось, как только приспособляться.

Это изречение, слишком глубокомысленное для воскресного чая, прошло бы без ответа, не будь здесь неугомонного Майкла Монта.

— Правильно!— воскликнул он.— Вот великое открытие, которым мы обязаны войне. Мы воображали, что прогрессируем, а теперь мы знаем, что только меняемся.

— К худшему,— с улыбкой сказал мсье Профон.

— Какой вы веселый, Проспер,— прошептала Аннет.

— Идемте на теннис!— сказал Джек Кардиган.— Вам нужно разогнать хандру. А вы играете, мистер Монт?

— С грехом пополам — гоняю мячи.

Сомс встал, побуждаемый подсознательной тревогой о будущем, определявшей всю его жизнь.

— Когда приедет Флер...— услышал он слова Джека Кардигана.

Да! Почему она не едет? Через гостиную, через холл и веранду он вышел на аллею и стоял, прислушиваясь, не зашуршит ли по гравию автомобиль. Было по-воскресному тихо; сирень щедро напоила воздух своим ароматом. Белые облака, как лебяжьи перья, золотились на солнце. Остро вспомнился день, когда родилась Флер и он мучительно ждал, а ее жизнь и жизнь ее матери колебались в его руках. Он спас ее тогда, чтобы она стала цветком его жизни. А теперь!.. Неужели она непременно должна доставлять ему тревогу?.. Мучение и тревогу? Не нравится ему, как сложились дела! Вечерней песней вторгся в его раздумье дрозд — большая, тяжелая птица на той акации. Последние годы Сомс живо интересовался птицами в своем саду; нередко вдвоем с Флер ходил он по дорожкам и наблюдал за ними — глаза у нее острые, как иголки, она знает каждое гнездо. Он увидел ее собаку, пойнтера, улегшуюся на солнышке посреди аллеи, позвал: «Что, приятель, ты тоже ждешь ее?» Собака медленно подошла, недовольно виляя хвостом, и Сомс машинально потрепал ее по шее. Собака, птица, сирень — все было для него частицей Флер, не больше и не меньше. «Я слишком ее люблю,— думал он,—

слишком люблю!» Он был похож на судовладельца, пустившего в море незастрахованные корабли. Был снова не застрахован, как в те дни, когда, немой и ревнивый, блуждал в пустыне Лондона, томясь по той женщине — по своей первой жене, матери этого проклятого мальчишки. Ага? Вот и автомобиль! Но везет только вещи, а где же Флер?

— Мисс Флер идет пешком, сэр, по дороге вдоль реки.

Пешком всю дорогу, несколько миль? Сомс воззрился на шофера. По лицу слуги начала расплываться улыбка. Чего он ухмыляется? Сомс тотчас отвернулся со словами: «Отлично, Симз!»— и вошел в дом. Снова поднялся он в галерею к своим картинам. Отсюда открывался вид на реку, и Сомс не отводил глаз от дорожки, забывая, что Флер может появиться на ней не ранее как через час. Пошла пешком! И шофер ухмыляется почему-то! Тот мальчишка... Он резко отвернулся от окна. Не может он за ней шпионить! Если она желает скрывать от него свои тайны, пусть скрывает; шпионить он не станет. В сердце его была пустота, и горечь подступила к самому рту. Отрывистые выкрики Джека Кардигана, гоняющего мячи, да смех молодого Монта вторгались в тишину. Сомс лелеял надежду, что они там загоняют Профона. А девушка на «La Vendimia» стояла подбоченясь, и мечтательно-сонные ее глаза смотрели мимо него. «Я делал для тебя все, что мог,— думал он,— с тех дней, когда ты была еще крошкой. Ты... ты не захочешь причинить мне боль!»

Но девушка Гойи не отвечала, сверкая красками, едва начинавшими блекнуть. «В этом нет настоящей жизни,— подумал Сомс.— Почему она не идет?»

X

ТРИО

В Уонсдоне, у подножия Меловых гор, конец недели, превратившись в девять дней, до предела натянул переплетенные нити между четырьмя Форсайтами из третьего, или, по другому счету, из четвертого поколения. Никогда еще Флер не была так fine, Холли так наблюдательна, Вэл так поглощен своими конюшнями, Джон так молчалив и так взволнован. Сведения по сельскому хозяйству, которые он приобрел за истекшую неделю, можно было бы взять на кончик ножа и легким дуновением пустить по ветру. По природе своей глубоко ненавидя всякую интригу и в своем преклонении перед Флер считая «ребяческим вздором» необходимость скрываться, он досадовал и бунтовал, но все же подчинялся, по мере возможности вознаграждая себя в те редкие минуты, когда оставался с нею вдвоем. В четверг, когда они, переодевшись к обеду, стояли рядом в гостиной в амбразуре окна, Флер сказала:

— Джон, я еду домой в воскресенье, поездом три сорок, с Пэддингтонского вокзала; если в субботу тебе нужно навестить своих, ты мог бы в воскресенье приехать, проводить меня, а потом вернуться сюда последним поездом. Ведь тебе все равно нужно побывать дома?

Джон кивнул головой.

— Что угодно, лишь бы побыть с тобою,— сказал он,— но почему я должен делать вид, точно...

Флер провела мизинцем по его ладони.

— У тебя нет чутья, Джон. Ты должен предоставить все мне. С нашими родными дело обстоит очень серьезно. Нам нужно соблюдать тайну, если мы хотим быть вместе.

Дверь отворилась, и Флер добавила громко:

— Джон, ты просто болван.

В груди Джона точно что-то перевернулось: невыносимо было притворяться, скрывать чувство, такое естественное, такое всепоглощающее и сладостное.

В пятницу, около одиннадцати часов вечера, Джон уложил свои вещи и свесился в окно, полугрустно, полурадостно замечтавшись о Пэддингтоне, когда услышал легкий стук в дверь как будто ногтем. Он вскочил и прислушался. Снова тот же звук. Да, несомненно, ноготь! Джон открыл. В комнату вошло прелестное видение.

— Я хотела показать тебе мой маскарадный наряд,— сказало видение и стало в позу около кровати.

Джон, затаив дыхание, прислонился к двери. На голове у видения была белая кисея; белая косынка лежала вокруг обнаженной шеи на винно-красном платье с пышными сборами у гибкой талии. Девушка подбоченилась одной рукой, другая рука была поднята под прямым углом и держала веер, касавшийся затылка.

— Вместо веера должна быть корзина винограда,— прошептало видение,— но здесь у меня ее нет. Это мой костюм по Гойе. Поза взята с картины. Нравится тебе?

— Это — сон!

Видение сделало пируэт.

— Потрогай, посмотри.

Джон стал на колени и почтительно притронулся к подолу.

— Виноградный цвет,— раздался шепот.— «La Vendimia» — сбор винограда.

Пальцы Джона с двух сторон легко коснулись ее талии; он поднял глаза, полные влюбленного восторга.

— О Джон!— прошептало видение, нагнулось, поцеловало его в лоб, опять сделало пируэт и, скользнув за дверь, исчезло.

Джон стоял на коленях, голова его упала на постель. Сколько времени пробыл он в этом положении, он сам не знал. Стук ногтем в дверь, шаги, шуршание юбок, как во сне, не смолкали; и перед его сомкнутыми глазами стояло видение и улыбалось ему и шептало, и медлил в воздухе слабый запах нарцисса. А на лбу, в том месте, где его поцеловали, держался легкий холодок, словно от прикосновения цветка. Любовь наполняла его душу, любовь юноши к девушке, любовь, которая так мало знает и так много таит надежд, которая ни за что на свете не спустится с высот и должна превратиться со временем в чудесное воспоминание, испепеляющую страсть, скучный брак или, единожды на много случаев,— в сбор винограда, обильного и сладкого, с румянцем заката на гроздьях.

И здесь, и в другом месте довольно было сказано о Джоне Форсайте, чтобы показать, какое большое расстояние лежало между ним и его

прапрадедом, первым Джолионом, владельцем приморской фермы в Дорсете. Джон был чувствителен, как девушка,— чувствительней девяти из десяти современных девушек; силой воображения он не уступал «несчастненьким» своей старшей сестры Джун; и, как сын своего отца и своей матери, он, естественно, был впечатлителен и привязчив. И все же в самых глубинах его существа было нечто от старого основателя их рода — тайное упорство души, боязнь выказать свои чувства, твердая решимость не признавать себя побежденным. Впечатлительным и привязчивым мальчикам с богатым воображением обычно трудно приходится в школе, но Джон инстинктивно скрывал подлинную свою природу и был среди товарищей лишь в меру несчастлив. До сих пор он только с матерью был совершенно откровенен и естествен; когда в субботу он ехал домой в Робин-Хилл, на сердце у него было тяжело, потому что Флер сказала ему, что он не должен быть откровенным и естественным с той, от кого он никогда ничего не скрывал, не должен даже ей рассказывать про их вторичную встречу, если только не убедится, что ей это известно и так. Ему казалось это до того невыносимым, что он готов был дать телеграмму и под каким-нибудь предлогом остаться в Лондоне. И первое, что он услышал от матери, было:

— Итак, ты встретил там нашу маленькую приятельницу из кондитерской, Джон. Какова она при более близком знакомстве?

С облегчением и с ярким румянцем на щеках Джон ответил:

— О, она очень славная, мама.

Она локтем прижала его руку.

Джон никогда еще так не любил свою мать, как в эту минуту, опровергавшую, по-видимому, опасения Флер и возвратившую его душе свободу. Он повернул голову и посмотрел на мать, но что-то в ее улыбающемся лице — что-то такое, что, может быть, лишь он один мог уловить,— остановило закипавшие в нем слова. Может ли страх сочетаться с улыбкой? Если да, то на ее лице он прочел страх. И совсем иные слова сорвались с губ Джона: о сельских работах, о Холли, о Меловых горах. Он говорил быстро, ожидая, что она сама переведет разговор на Флер. Но этого не случилось. И отец его также не упомянул о девушке, хотя и ему известно было, конечно, об их встрече. Как обкрадывало, как калечило действительность это умалчивание о Флер, когда он был весь полон ею и когда мать его вся полна была своим Джоном, а его отец весь полон его матерью! Так провели они втроем субботний вечер.

После обеда мать села за рояль; она, казалось, нарочно играла его самые любимые вещи, и он сидел, обняв руками одно колено и позабыв пригладить взъерошенные волосы. Он глядел на мать, пока она играла, но видел Флер — Флер в озаренном луною яблоневом саду, Флер над залитой солнцем меловой ямой, Флер в ее фантастическом наряде,— вот она покачивается, шепчет, склоняется над ним, целует в лоб. Слушая, он на минуту совсем забыл о себе и взглянул на отца, сидевшего в другом кресле. Почему у отца такие глаза, такое грустное, непонятное выражение? С чувством смутного раскаяния Джон встал и пересел на ручку кресла, в котором сидел отец. Отсюда он не мог видеть его лица; и снова увидел Флер — в белых и тонких руках матери, скользивших по клави-

шам, в профиле ее лица, в ее серебряных волосах и в глубине комнаты у открытого окна, за которым шагала майская ночь.

Когда Джон поднялся к себе, чтобы лечь спать, мать пришла к нему в комнату. Она остановилась у окна и сказала:

— Удивительно разрослись эти кипарисы, которые посадил твой дедушка. При свете месяца они мне кажутся всегда особенно прекрасными. Мне жаль, что ты не знал своего дедушку, Джон.

— Когда ты выходила замуж за папу, он был еще жив?— спросил неожиданно Джон.

— Нет, дорогой; он умер в тысяча восемьсот девяносто втором году — очень старым, восьмидесяти пяти лет, если не ошибаюсь.

— Папа похож на него?

— Похож немного, но тоньше и не такой внушительный.

— Да, я это знаю по портрету дедушки. Кто его писал?

— Один из «несчастненьких» нашей Джун; но портрет неплохой.

Джон осторожно взял мать под руку.

— Мама, расскажи мне о ссоре в нашей семье.

Он почувствовал, как задрожала ее рука.

— Нет, дорогой; это пусть когда-нибудь расскажет тебе отец, если найдет возможным.

— Значит, ссора была серьезная?— прерывающимся голосом сказал Джон.

— Да.

В наступившем молчании ни мать, ни сын не знали, что дрожало сильнее — локоть ли или сжимавшие его пальцы.

— Некоторые люди,— сказала мягко Ирэн,— находят, что луна на ущербе имеет злобный вид; а для меня она всегда пленительна. Посмотри на тени кипарисов. Джон, папа говорит, что мы с тобою можем поехать на два месяца в Италию. Хочешь?

Джон выпустил ее локоть, и рука его повисла: так остры и так смутны были его переживания. Ехать с матерью в Италию! Две недели назад он лучшего и не желал бы; а теперь это наполнило его отчаянием; что-то подсказывало ему, что неожиданное предложение сделано в связи с Флер. Он проговорил запинаясь:

— О, конечно; но только, право, не знаю... Как же, я ведь только что принялся за дело? Мне хотелось бы подумать.

Ее голос отозвался холодно и ласково:

— Да, милый, подумай! Но лучше теперь, чем когда ты возьмешься всерьез за сельское хозяйство. С тобою в Венеции — как было бы хорошо!

Джон обхватил ее за талию, еще гибкую и упругую, точно у девушки.

— А как же ты оставишь папу одного?— сказал он робко, чувствуя себя виноватым.

— Папа сам предложил; он считает, что ты должен посмотреть хотя бы Италию, прежде чем остановишься на чем-нибудь определенном.

Чувство вины умерло в Джоне: он знал — да, знал,— что его отец и мать говорили не откровеннее, чем он сам. Его хотят удалить от Флер.

Сердце его ожесточилось. И, словно понимая происходившее в нем, мать сказала:

— Спокойной ночи, дорогой. Выспись хорошенько и подумай! Но, право, было бы чудесно!

Она прижала его к груди так порывисто, что он не мог разглядеть ее лица. Он стоял, чувствуя себя так, как, бывало, в детстве, когда напроказит; ему было больно оттого, что он не испытывал сейчас прилива любви к ней, и оттого, что сознавал свою правоту.

А Ирэн, помедлив минуту у себя, прошла в гардеробную, отделявшую ее спальню от спальни мужа.

— Ну как?

— Он подумает, Джолион.

Наблюдая усталую улыбку на ее губах, Джолион сказал спокойно:

— Ты бы лучше позволила мне рассказать ему все, и мы бы с этим покончили. В конце концов, Джон по своим инстинктам настоящий джентльмен. Он только должен понять...

— Только! Он не поймет; это невозможно.

— Я в его возрасте понял бы.

Ирэн схватила его за руку.

— Ты всегда был бóльшим реалистом, чем Джон; и ты никогда не был таким невинным.

— Это правда,— сказал Джолион.— Но не странно ли? Ты и я могли бы, не стыдясь, рассказать нашу историю всему свету; а перед собственным нашим мальчиком мы немеем.

— Нам было безразлично, осуждает нас свет или нет.

— Джон не может нас осудить!

— Может, Джолион! Он влюблен, я чувствую, что он влюблен. И он скажет самому себе: «Моя мать вышла когда-то замуж без любви! Как она могла?» Ему это покажется преступным, да так оно и было!

Джолион погладил ее по руке, и улыбка искривила его губы.

— Ах, зачем только мы рождаемся молодыми? Если б мы рождались старыми и с каждым годом молодели, мы понимали бы, как что происходит, и отбросили бы нашу проклятую нетерпимость. Но знаешь, если мальчик в самом деле влюблен, никакая Италия не заставит его забыть. Мы, Форсайты, упрямый народ; и он поймет чутьем, зачем его отсылают. Одно лишь может его излечить — то потрясение, которое он испытает, если ему все рассказать.

— И все-таки дай мне попробовать.

Джолион молчал. В этом выборе между дьяволом и морской пучиной, между болью страшного разоблачения и горем двухмесячной разлуки с женой он втайне больше доверял дьяволу, чем морю; но если Ирэн предпочитает море, он должен примириться. В конце концов, это будет для него подготовкой к той разлуке, которой нет конца. Он обнял ее, поцеловал в глаза и сказал:

— Как хочешь, любимая.

XI

ДУЭТ

«Маленькое волнение» любви поразительно разрастается, когда любовь в опасности. Джон прибыл на Паддингтонский вокзал за полчаса до срока и, как ему казалось, с опозданием на добрую неделю. Он стоял около условленного книжного киоска в толпе воскресных дачников, и даже грубая шерсть клетчатого костюма не могла скрыть взволнованное биение его сердца. Он читал названия романов на прилавке и наконец купил один из них, чтобы избежать косого взгляда продавца. Роман назывался «Сердце стези!», что должно было иметь какой-то смысл, хотя, по всей видимости, не имело. Купил он, кроме того, «Зеркало дамы» и «Земледельца». Каждая минута длилась час и полна была воображаемых ужасов. Когда прошло девятнадцать таких минут, Джон увидел Флер в сопровождении носильщика, катившего багаж. Она подошла быстро, спокойно. Она поздоровалась с ним, как с братом.

— Первый класс,— сказала она носильщику,— угловые места, одно против другого.

Джон дивился ее поразительному самообладанию.

— Нельзя ли нам занять целое купе?— спросил он шепотом.

— Не выйдет. Поезд с частыми остановками. Разве что после Мэйденхеда. Держись непринужденно, Джон.

Джон скривил лицо в хмурую гримасу. Они вошли в купе — и с ними двое каких-то болванов, черт бы их побрал! От смущения он дал на чай носильщику уйму денег. Подлец не заслужил и пенни за то, что привел их сюда, да еще с таким видом, точно все понял!

Флер спряталась за «Зеркало дамы». Джон в подражание ей — за «Земледельца». Поезд тронулся. Флер уронила «Зеркало дамы» и наклонилась вперед.

— Ну?— сказала она.

— День тянулся, точно две недели!

Она кивнула в знак согласия, и у Джона сразу просветлело лицо.

— Держись непринужденно,— шепнула Флер и прыснула со смеху.

Джон почувствовал обиду. Как может он держаться непринужденно, когда над ним нависла угроза Италии? Он намеревался сообщить ей новость осторожно, но тут выложил сразу:

— Меня хотят на два месяца отправить с мамой в Италию!

Флер опустила ресницы, чуть побледнела и прикусила губу.

— О!— сказала она.

Вот и все, но этого было довольно.

Это «О!» было как быстро отдернутая рука в фехтовании при подготовке к неожиданному выпаду. Выпад тотчас последовал.

— Ты должен ехать!

— Ехать?— повторил Джон придушенным голосом.

— Конечно!

— Но — на два месяца! Это ужасно!

— Нет,— сказала Флер,— на полтора. Ты меня тем временем забудешь. Мы встретимся в Национальной галерее на следующий день после вашего приезда.

Джон засмеялся.

— А что, если ты забудешь меня?— пробормотал он под грохот колес.

Флер покачала головой.

— Какой-нибудь другой мерзавец...— проговорил Джон.

Она носком туфли придавила ему ногу.

— Никаких других мерзавцев!— сказала она, поднимая «Зеркало дамы».

Поезд остановился; двое попутчиков сошли, вошел один новый.

«Я умру,— думал Джон,— если мы так и не останемся одни».

Поезд покатил дальше. Флер опять наклонилась вперед.

— Я ни за что не отступлю,— сказала она,— а ты?

Джон горячо тряхнул головой.

— Никогда!— воскликнул он.— Ты будешь мне писать?

— Нет. Но ты можешь писать мне — в мой клуб.

У нее свой клуб... удивительная девушка!

— Ты пробовала нажать на Холли?— прошептал он.

— Да, но ничего не выведала. Я боялась нажимать слишком сильно.

— Что бы это могло быть?— воскликнул Джон.

— Что бы ни было, я узна́ю.

Последовало долгое молчание, которое нарушила наконец Флер:

— Мэйденхед, держись, Джон!

Поезд остановился. Единственный попутчик вышел. Флер опустила штору на окне.

— Живо!— сказала она.— Смотри в свое окно! Сделай самое зверское лицо, какое только можешь.

Джон раздул ноздри и нахмурился; он отроду, кажется, так не хмурился! Одна старая дама отступила, другая — молоденькая — взялась за ручку двери. Ручка повернулась, но дверь не подалась. Поезд тронулся, молодая дама бросилась к другому вагону.

— Какое счастье!— воскликнул Джон.— Замок заупрямился.

— Да,— сказала Флер,— я придержала дверь.

Поезд шел. Джон упал на колени.

— Следи за дверью в коридор,— прошептала Флер,— и живо.

Их губы встретились. И хотя поцелуй длился всего каких-нибудь десять секунд, душа Джона покинула его тело и унеслась в такую даль, что когда он снова сидел против этой спокойной и сдержанной девицы, он был бледен как смерть. Он услышал ее вздох, и этот звук показался ему самой дорогою вестью — чудесным признанием, что он кое-что значит для нее.

— Шесть недель совсем не долго,— сказала она,— а тебе нетрудно будет свести поездку к шести неделям — надо только не терять голову, когда будешь там, и делать вид, что не думаешь обо мне.

Джон обомлел.

— Как ты не понимаешь, Джон! Их необходимо в этом убедить. Если мы не исправимся к твоему приезду, они оставят свои причуды. Жаль только, что вы едете в Италию, а не в Испанию. В Мадриде на картине Гойи есть девушка... папа говорит, что она похожа на меня. Но она совсем не похожа — я знаю, у нас есть копия с нее.

Для Джона это было словно луч солнца, пробившийся сквозь туман.

— Мы поедем в Испанию,— сказал он.— Мама не станет возражать, она никогда не была в Испании. А мой отец очень высокого мнения о Гойе.

— Ах да, ведь он художник?

— Он пишет только акварелью,— честно признался Джон.

— Когда мы приедем в Рэдинг, Джон, ты выйдешь первым и подождешь меня у Кэвершемского шлюза. Я отправлю машину домой, и мы пойдем пешком по дорожке вдоль реки.

Джон в знак благодарности поймал ее руку, и они сидели молча, забыв обо всем на свете и одним глазом косясь на коридор. Но поезд бежал, казалось, с удвоенной скоростью, и шум его почти заглушал бурное дыхание Джона.

— Подъезжаем,— сказала Флер.— Береговая дорожка возмутительно открытая. Еще разок! О Джон, не забывай меня!

Джон ответил поцелуем. И вскоре можно было видеть, как разгоряченного вида юноша выскочил из вагона и торопливо зашагал по платформе, шаря по карманам в поисках билета.

Когда наконец Флер догнала его на берегу, немного дальше Кэвершемского шлюза, он сделал над собой усилие и привел себя в относительное равновесие. Если разлука неизбежна, что ж, он не будет устраивать сцен. Ветер с ясной реки переворачивал наизнанку листья ракит, и они серебрились на солнце и провожали двух заговорщиков слабым шелестом.

— Я объяснила нашему шоферу, что меня укачало в поезде,— сказала Флер.— У тебя был достаточно естественный вид, когда ты выходил на платформу?

— Не знаю. Что ты называешь естественным?

— Для тебя естественно выглядеть сосредоточенно-счастливым. Когда я увидела тебя в первый раз, я подумала, что ты ни капли не похож на других людей.

— В точности то же я подумал о тебе. Я сразу понял, что не буду любить никого, кроме тебя.

Флер засмеялась.

— Мы до нелепости молоды. А юные грезы любви несовременны, Джон. К тому же они поглощают массу времени и сил. Сколько веселых похождений предстоит тебе в жизни! Ведь ты еще и не начал; даже стыдно, право. И я. Как подумаешь...

На Джона нашло смущение. Как она может говорить такие вещи сейчас, перед самой разлукой!

— Если ты так говоришь, я не могу уехать. Я скажу маме, что должен работать. Подумай, что творится в мире.

— Что творится?

Джон глубоко засунул руки в карманы.

— Да, именно: подумай, сколько людей умирают с голоду.

Флер покачала головой.

— Нет, я не желаю портить себе жизнь из-за ничего.

— Из-за ничего! Но положение отчаянное, и ведь нужно как-то помочь.

— Ох, все это я знаю. Но людям нельзя помочь, Джон; они безнадежны. Только их вытащат из ямы — они тотчас лезут в другую. Смотри, они все еще дерутся, строят козни, борются, хотя ежедневно умирают кучами. Идиоты!

— Тебе их не жалко?

— Жалко? Конечно, жалко, но я не намерена из-за этого страдать: что в том пользы?

Они замолчали, взволнованные: перед каждым впервые обнажилась на мгновение природа другого.

— По-моему, люди — скоты и идиоты,— упрямо повторила Флер.

— По-моему, они просто несчастные,— сказал Джон.

Между ними словно произошла ссора в этот высокий и страшный час, когда в последних просветах между ракитами им уже виделась разлука.

— Ладно, ступай спасать своих несчастных и не думай обо мне.

Джон застыл на месте. На лбу у него проступила испарина. Он весь дрожал; Флер тоже остановилась и хмуро глядела на реку.

— Я должен хоть во что-нибудь верить,— сказал Джон в смертельной тоске.— Все люди созданы, чтобы наслаждаться жизнью.

Флер засмеялась.

— Да, но ты сам-то смотри не упусти свое. Впрочем, может быть, по твоим понятиям, наслаждение заключается в том, чтобы мучить самого себя. Таких немало, что и говорить.

Она была бледна, глаза ее стали темнее, губы тоньше. Флер ли это смотрела на воду? У Джона явилось чувство нереальности, точно он переживает сцену из романа, где влюбленному приходится выбирать между любовью и долгом. Но вот она оглянулась на него. Не могло быть ничего упоительней этого быстрого взгляда. Он подействовал на Джона, как натянутая цепь на собаку,— заставил его рвануться к девушке, виляя хвостом и высунув язык.

— Нечего нам глупить,— сказала она,— времени слишком мало. Смотри, Джон, отсюда тебе будет видно, где я переправлюсь через реку. Вон там, за поворотом, у опушки леса.

Джон увидел конек крыши, две-три дымовые трубы, заплату стены между деревьями — и у него упало сердце.

— Мне нельзя больше мешкать. Лучше не заходить дальше той изгороди, там слишком открыто. Дойдем до нее и распрощаемся.

Они молча шли бок о бок, рука об руку, приближаясь к изгороди, где полным цветом распустился боярышник, белый и розовый.

— Мой клуб —«Талисман», Стрэттон-стрит, Пикадилли. Туда можно писать совершенно безопасно, и я бываю там довольно аккуратно раз в неделю.

Джон кивнул. Лицо его застыло, глаза глядели на неподвижную точку в пространстве.

— Сегодня двадцать третье мая,— сказала Флер,— девятого июля я буду стоять перед «Вакхом и Ариадной» в три часа; придешь?

— Приду.

— Если тебе так же скверно, как мне, значит, все хорошо. Пусть пройдут эти люди!

Муж и жена, гулявшие с детьми, шли мимо по-воскресному чинно. Последний из них прошел наконец в калитку.

— Семейный жанр!— сказала Флер и прислонилась к цветущей изгороди. Ветви боярышника раскинулись над ее головой, и розовая кисть прильнула к щеке. Джон ревниво протянул руку, чтобы отстранить ее.

— Прощай, Джон.

Мгновение они стояли, крепко сжимая друг другу руки. Потом губы их встретились в третий раз, а когда разомкнулись, Флер отпрянула и, метнувшись за калитку, убежала. Джон стоял там, где она его оставила, прижимался лбом к той розовой кисти. Ушла! На вечность — на семь недель без двух дней! А он тут упускает последнюю возможность смотреть на нее! Он бросился к калитке. Флер быстро шла, чуть не наступая на пятки отставшим детям. Она обернулась, помахала ему рукой, потом заторопилась вперед, и медленно шествовавшая семья заслонила ее от его глаз.

Вспомнилась смешная песенка:

> Пэддингтонский вздох — самый горький, ох!—
> Испустил он похоронный пэддингтонский вздох...

И он в смятении заспешил назад к Рэдингскому вокзалу. Всю дорогу до Лондона и от Лондона до Уонсдона он держал на коленях раскрытое «Сердце стези!» и слагал в уме стихотворение, до того переполненное чувством, что строки нипочем не желали рифмоваться.

XII

КАПРИЗ

Флер спешила. Быстрое движение было необходимо: она опаздывает, и когда придет, ей понадобится весь ее ум. Уже миновала она острова, станцию, гостиницу и направилась к перевозу, когда увидела у берега лодку, в которой стоял во весь рост, держась за прибрежные кусты, какой-то молодой человек.

— Мисс Форсайт,— сказал он,— разрешите мне вас перевезти. Я нарочно для этого приехал.

Она в полном недоумении вскинула глаза.

— Ничего странного нет: я пил чай у ваших родителей. И решил, что помогу вам сократить дорогу. Мне как раз по пути, я собрался назад в Пэнгборн. Меня зовут Монт. Я вас видел на выставке, помните? Когда ваш отец пригласил меня посмотреть его картины.

— Ах да,— сказала Флер,— помню — платок.

Она в долгу перед этим молодым человеком, он дал ей Джона, и, приняв протянутую руку, Флер вошла в лодку. Еще взволнованная, еще не отдышавшись, она сидела молча; но спутник ее отнюдь не молчал. Флер в жизни не слышала, чтобы человек так много наговорил в такой короткий срок. Он сообщил ей свой возраст — двадцать четыре года; свой вес — десять стонов одиннадцать фунтов; свое местожительство — неподалеку; описал свои переживания под огнем и свое самочувствие во время газовой атаки; раскритиковал «Юнону», высказав, кстати, свое собственное понимание этой богини; упомянул о копии Гойи, добавив, что Флер не слишком на нее похожа; дал беглый обзор экономического положения Англии; назвал мсье Профона — или как его бишь?— «милейшим человеком», заметил, что у ее отца есть несколько «весьма замечательных» картин, но есть и «ископаемые»; выразил надежду, что ему разрешат заехать за ней и покатать ее по реке — на него вполне можно положиться; спросил ее мнение о Чехове, высказал ей свое; изъявил желание пойти как-нибудь вместе на русский балет; признал имя Флер Форсайт просто очаровательным; выругал своих родителей за то, что они в добавление к фамилии Монт дали ему имя Майкл; набросал портрет своего отца и сказал, что если она соскучилась по хорошей книге, то пусть прочтет книгу Иова; его отец похож на Иова, когда у Иова еще была земля.

— У Иова не было земли,— возразила Флер,— у него были только стада овец и коров, и он кочевал с места на место.

— Жаль, что мой родитель не кочует с места на место,— подхватил Майкл Монт.— Не подумайте только, что я зарюсь на его землю. Скучно в наши дни владеть землей. Вы не согласны?

— В нашей семье никто не владел землей,— сказала Флер.— У нас всякая другая собственность. Кажется, один из дядей моего отца в Дорсете владел когда-то сентиментальной фермой, потому что оттуда ведет начало наш род; но она требовала больше расходов, чем давала ему благ.

— Он ее продал?

— Нет, сохранил.

— Почему?

— Потому что никто не покупал.

— Тем лучше для старика.

— Нет, для него это было не лучше. Отец говорит, что его это огорчало. Его звали Суизин.

— Сногсшибательное имя!

— А вы знаете, что мы не приближаемся, а удаляемся? Река, как-никак, течет.

— Великолепно!— воскликнул Монт, рассеянно погружая в воду весла.— Приятно встретить остроумную девушку.

— Еще приятнее было бы встретить просто умного молодого человека.

Монт поднял руку, точно собираясь выдрать себя за волосы.

— Осторожней!— вскричала Флер.— Весло!

— Ничего. Весло пускай висит.

— Вы намерены грести или нет?— строго проговорила Флер.— Я хочу домой.

— Но когда вы попадете домой, я вас больше не увижу сегодня. Fini [1], как сказала француженка, прыгнув в кровать по окончании молитвы. Неужели вы не благословляете судьбу, что она дала вам француженку-мать и такое имя, как ваше?

— Я люблю свое имя, но его мне дал отец. Мать хотела назвать меня Маргаритой.

— Что, конечно, было бы абсурдно. С вашего разрешения я буду звать вас Ф. Ф., а вы зовите меня М. М. Согласны? Это в духе современности.

— Я согласна на что угодно, только бы мне попасть домой.

Лодку качнуло — Монт слишком глубоко погрузил весло.

— Фу, какое свинство!— сказал он вместо ответа.

— Пожалуйста, гребите.

— Слушаюсь.— Он сделал несколько взмахов веслами, глядя на нее с пламенной скорбью.— Вы же знаете,— воскликнул он, остановившись,— я приехал, чтоб увидеть вас, а не картины вашего отца!

Флер встала.

— Если вы не будете грести, я выскочу и поплыву.

— Честное слово? Тогда мне придется прыгнуть в воду вслед за вами.

— Мистер Монт, уже поздно, и я устала; прошу вас, доставьте меня на берег немедленно.

Когда она ступила на пристань в своем саду, гребец встал во весь рост и глядел на нее, схватившись за волосы обеими руками.

Флер улыбнулась.

— Не надо!— вскричал неукротимый Монт.— Я знаю, вы хотите сказать: «Сгиньте, проклятые космы!»

Флер обернулась и помахала ему рукой.

— Прощайте, мистер М. М.,— бросила она через плечо и скрылась среди розовых кустов.

Она взглянула на свой браслет с часами, потом на окна дома. Странно, дом показался ей необитаемым. Седьмой час! Голуби слетались к своему насесту, и косые лучи солнца, задев голубятню и белоснежные их перья, разбивались о вершины деревьев. Стук бильярдных шаров доносился с веранды, выдавая присутствие Джека Кардигана; тихо шелестел листьями эвкалипт — экстравагантный южанин в этом старом английском саду. Флер поднялась по ступенькам и хотела уже войти в дом, но остановилась, прислушиваясь к голосам из гостиной налево. Мать! И мсье Профон! Сквозь трельяж, отделявший бильярдную от веранды, донеслись слова: «Ну не буду, Аннет!»

Знает ли отец, что этот господин называет ее мать «Аннет»? Приняв раз и навсегда сторону отца — как дети всегда принимают ту или иную сторону в семье, в которой создались натянутые отношения,— Флер стояла в нерешительности. Говорила ее мать своим тихим, вкрадчивым,

[1] Кончено *(фр.)*.

металлическим голосом; Флер уловила одно только слово «demain» [1] и ответ Профона: «Прекрасно». Флер нахмурилась. Молчание, какой-то легкий звук. Затем голос Профона сказал: «Я пойду немного прогуляюсь».

Флер бросилась через стеклянную дверь в будуар. Профон вышел из гостиной на веранду и спустился в сад. Снова стук бильярдных шаров, замолкший было, словно нарочно, чтоб она могла услышать и другие звуки. Она встряхнулась, прошла в холл и отворила дверь в гостиную. Мать ее, закинув ногу на ногу, сидела на диване между окнами; ее голова покоилась на подушке, губы были полуоткрыты, веки опущены. Она была чрезвычайно красива.

— А! Это ты, Флер! Отец начал уже беспокоиться.

— Где он?

— В своей галерее. Ступай к нему наверх.

— Что ты делаешь завтра, мама?

— Завтра? Еду в Лондон с тетей Уинифрид.

— Так я и думала. Не купишь ли ты мне, кстати, совсем простенький зонтик?

— Какого цвета?

— Зеленый. Гости все, надеюсь, уезжают?

— Да, все. Ты останешься с отцом, чтоб он не заскучал. Ну, поцелуй меня.

Флер прошла через всю комнату, наклонилась, приняла поцелуй в лоб и вышла, заметив мимоходом отпечаток тела на диванных подушках в другом углу. Бегом кинулась она наверх.

Флер отнюдь не была старозаветной дочерью, требующей, чтобы родители подчиняли свою жизнь тем нормам, какие предписывались ей самой. Она притязала на право управлять своею жизнью, но не жизнью других; к тому же в ней уже заработало безошибочное чутье на все, что могло принести ей выгоду. В потревоженной домашней атмосфере сердце, поставившее ставку на Джона, имело больше шансов на выигрыш. Тем не менее она чувствовала себя оскорбленной, как бывает оскорблен цветок порывом ветра. Если этот человек в самом деле целовал ее мать, то это — это серьезно, и отец должен знать. «Demain», «Прекрасно»! Мать едет завтра в город! Флер зашла в свою спальню и высунулась в окно, чтобы охладить лицо, странно вдруг разгоревшееся. Джон теперь, верно, подходит к станции. Что знает папа о Джоне? Возможно, все или почти что все.

Она переоделась, чтобы казалось, точно она дома уже довольно давно, и побежала наверх, в галерею.

Сомс все еще упрямо стоял перед холстом Альфреда Стивенса — самой любимой своей картиной. Он не обернулся, когда открылась дверь, но Флер поняла, что он слышал и что он обижен. Она тихо подошла к нему сзади, обняла его за шею и, перегнув голову через его плечо, прижалась щекой к его щеке. Такое вступление всегда приводило к успеху, но на этот раз не привело, и Флер приготовилась к худшему.

[1] «Завтра» *(фр.)*.

— Явилась наконец, — сказал он каменным голосом.

— Это все, что дочка услышит от злого отца?— тихонько сказала Флер. И потерлась щекой о его щеку.

Сомс попробовал покачать головой.

— Зачем ты заставляла меня так тревожиться, откладывая приезд со дня на день?

— Дорогой мой, ведь это было совсем невинно.

— Невинно! Много ты знаешь, что невинно, а что нет.

Флер уронила руки.

— Хорошо, дорогой; в таком случае ты, может быть, объяснишь мне все, как есть. Откровенно и начистоту.

Она отошла и села на подоконник.

Ее отец отвернулся от картины и пристально смотрел на носки своих ботинок. Он весь как будто посерел. «У папы изящные маленькие ноги»,— подумала Флер, уловив брошенный на нее украдкой взгляд.

— Ты единственное мое утешение,— сказал вдруг Сомс,— и ты так себя ведешь.

У Флер забилось сердце.

— Как, дорогой?

Опять Сомс бросил на нее беглый взгляд, в котором сквозила, однако, нежность.

— Ты понимаешь, о чем я говорю,— сказал он.— Я не хочу иметь ничего общего с той ветвью нашей семьи.

— Да, милый, но я не понимаю, почему я тоже не должна.

Сомс повернулся на каблуках.

— Я не вдаюсь в объяснение причин; ты должна мне верить, Флер.

Тон, которым были сказаны эти слова, произвел на Флер впечатление, но она думала о Джоне и молчала, постукивая каблуком по дубовой обшивке стены. Невольно она приняла модную позу: ноги перекручены, подбородок покоится на согнутой кисти одной руки, другая рука, придавив грудь, поддерживает локоть; в ее теле не оставалось ни одной линии, которая не была бы вывернута, и все-таки оно сохраняло какую-то своеобразную грацию.

— Мои пожелания были тебе известны,— продолжал Сомс,— и тем не менее ты пробыла там лишних четыре дня. И этот мальчик, как я понимаю, провожал тебя сегодня.

Флер не сводила глаз с его лица.

— Я тебя ни о чем не спрашиваю,— сказал Сомс,— не допытываюсь о твоих делах.

Флер встала и склонилась в окно, подперев руками подбородок. Солнце закатилось за деревья, голуби сидели, притихшие, по карнизу голубятни; высоко взлетал стук бильярдных шаров, и слабые лучи света падали на траву из нижнего окна: Джек Кардиган зажег электричество.

— Тебя успокоит,— вдруг сказала Флер,— если я дам тебе обещание не видеться с ним — ну, скажем, ближайшие шесть недель?

Она не была подготовлена к странной дрожи в его пустом и ровном голосе.

— Шесть недель? Шесть лет, шестьдесят лет! Не обольщайся, Флер, не обольщайся напрасно.

Флер обернулась в тревоге.

— Папа, что же это такое?

Сомс подошел к ней так близко, что ему стало видно ее лицо.

— Скажи,— проговорил он,— ведь это каприз, ведь ты не так глупа, чтобы питать к нему какие-нибудь чувства? Это было бы чересчур!

Он рассмеялся.

Флер, никогда не слышавшая у него такого смеха, подумала: «Значит, причина серьезная. О, что же это такое?» И, мягко взяв его под руку, она бросила:

— Да, конечно, каприз. Только я люблю свои капризы и не люблю твоих, дорогой.

— Моих!— горько сказал Сомс и отвернулся.

Свет за окном холодел и стелил по реке, как мел, белесые отблески. Деревья утратили все веселье окраски. Флер ощутила вдруг голодную тоску по лицу Джона, по его рукам, по его губам: снова чувствовать его губы на своих губах! Крепко прижав руки к груди, она выдавила из горла легкий смешок.

— О-ля-ля! Маленькая неприятность, как сказал бы Профон. Папа, не люблю я этого человека.

Она увидела, как он остановился и вынул что-то из внутреннего кармана.

— Не любишь? Почему?

— Просто так: каприз!

— Нет,— сказал Сомс,— не каприз!— Он разорвал пополам то, что держал в руке.— Ты права. Я тоже его не люблю!

— Смотри!— тихо проговорила Флер.— Вот он идет! Ненавижу его ботинки: они у него бесшумные.

В сумеречном свете двигалась фигура Проспера Профона. Он засунул руки в карманы и тихонько насвистывал в бородку; затем остановился и взглянул на небо, словно говоря: «Я невысокого мнения об этой маленькой луне».

Флер отошла от окна.

— Он похож на жирного кота, правда?— прошептала она.

Громче донесся снизу резкий стук бильярдных шаров, как будто Джек Кардиган перекрыл и кота, и луну, и капризы, и все трагедии своим победным кличем: «От борта в угол!»

Мсье Профон снова зашагал, напевая в бородку дразнящий мотив. Откуда это? Ах да — из «Риголетто»: «Donna è mobile» [1]. Что еще мог он петь? Флер стиснула локоть отца.

— Рыщет, проныра!— шепнула она, когда мсье Профон скрылся за углом дома.

Унылый час, отделяющий день от ночи, миновал. Вечер настал — тихий, медлительный и теплый; запах боярышника и сирени ластился к чистому воздуху над рекой. Распелся внезапно дрозд. Джон уже

[1] «Сердце красавицы склонно к измене» *(ит.)*.

в Лондоне; он идет по Хайд-парку, по мосту через Серпантайн и думает о ней! Легкий шелест за спиною заставил ее обернуться: отец опять рвал в руках бумагу. Флер заметила, что это был чек.

— Не продам я ему моего Гогена,— сказал он.— Не понимаю, что в нем находят твоя тетка и Имоджин.

— Или мама.

— Мама?— повторил Сомс.

«Бедный папа!— подумала Флер.— Он никогда не кажется счастливым, по-настоящему счастливым. Я не хотела бы доставлять ему лишние огорчения, но, конечно, придется, когда возвратится Джон. Ладно, на сегодня хватит!»

— Пойду переоденусь,— сказала она.

Когда она оказалась одна в своей спальне, ей вздумалось надеть маскарадный костюм. Он был сделан из золотой парчи; золотистые шаровары были туго перехвачены на щиколотках; за плечами висел пажеский плащ; на ногах — золотые туфельки, на голове — шлем с золотыми крылышками; и все — а в особенности шлем — усеяно было золотыми бубенчиками, так что каждый поворот головы сопровождался легким треньканьем. Флер оделась; грустно стало ей, что Джон не может ее видеть; показалось даже обидно, что на нее не смотрит хотя бы тот веселый молодой человек, Майкл Монт. Но прозвучал гонг, и она сошла вниз.

В гостиной она произвела сенсацию. Уинифрид нашла ее наряд «презабавным». Имоджин была в восхищении. Джек Кардиган объявил костюм «замечательным, очаровательным, умопомрачительным и сногсшибательным». Мсье Профон с улыбкой в глазах сказал: «Славное маленькое платьице!» Мать, очень красивая в черных кружевах, поглядела на нее и ничего не сказала. Осталось только отцу наложить пробу здравого смысла:

— Зачем ты это надела? Ты пришла не на танцы.

Флер повернулась на каблучках, и бубенчики затренькали.

— Каприз!

Сомс смерил ее внимательным взглядом и, отвернувшись, предложил руку сестре. Джек Кардиган повел ее мать. Проспер Профон — Имоджин. Флер пошла одна, звеня своими бубенчиками.

«Маленькая луна» вскоре зашла, спустилась майская ночь, мягкая и теплая, окутывая своими красками виноградного цветения и своими запахами капризы, интриги, страсти, желания и сожаления миллионов мужчин и женщин. Был счастлив Джек Кардиган, похрапывая в белое плечо Имоджин,— жизнеспособный, как блоха; или Тимоти в своем «мавзолее», слишком старый для всего на свете, кроме младенческого сна. А многие, многие лежали, не смыкая глаз, или видели сны, и мир дразнил их во сне противоречиями и неполадками.

Упала роса, и цветы свернулись; паслись на заливных лугах коровы, нащупывая языком невидимую траву; и овцы лежали на меловых холмах неподвижно, словно камни. Фазаны на высоких деревьях в пэнгборнских лесах, жаворонки в травяных своих гнездах над заброшенной каменоломней близ Уонсдона, ласточки под карнизами дома в Робин-Хилле

и лондонские воробьи — все в ласковом безветрии спокойно спали, не видя снов. Мэйфлайская кобыла, верно еще не обжившаяся в новом жилище, почесывалась на своей соломе; и редкие ночные охотники — летучие мыши, совы, бабочки — вылетали, сильные, в теплую тьму; но мозг всей дневной природы погрузился в покой ночи, бесцветный и тихий. Одни только люди, одержимые любовью или тревогой, жгли колеблющееся пламя мечты и мысли в эти часы одиночества.

Флер, склонившись в окно, слышала приглушенный бой часов в холле — двенадцать ударов, слышала мелкий плеск рыбы, внезапный шелест осиновых листьев в порывах ветра, поднимавшегося над рекой, далекий грохот ночного поезда и время от времени слышала звуки, которым в темноте не дашь названия,— мягкие и темные проявления несчетных эмоций человека и зверя, птицы и машины, или, может быть, усопших Форсайтов, Дарти, Кардиганов, затевающих ночную прогулку в тот мир, который некогда был своим для их духов, облеченных в плоть. Но Флер не прислушивалась к этим звукам; дух ее, отнюдь не стремившийся расстаться с телом, летал на быстрых крыльях от вагона железной дороги к цветущей изгороди, он тянулся за Джоном, гнался за его запретным образом, за звуком его голоса, который стал для нее табу. И она раздула ноздри, стараясь воссоздать из полуночных речных ароматов то мгновение, когда рука Джона проскользнула между цветком боярышника и ее щекой. Долго в причудливом наряде сидела она на окне, готовая в своей отваге спалить крылья о свечу жизни,— между тем как мотыльки, рвущиеся к лампе на ее туалетном столе, крылом задевали ее щеку, не зная, что в доме Форсайта не бывает открытого огня. Но под конец даже ее стало клонить ко сну, и, забыв о своих бубенчиках, она проворно спрыгнула с подоконника.

В открытое окно своей комнаты, смежной со спальней Аннет, Сомс, тоже не спавший, услышал их тонкое легкое треньканье — звон, какой могли бы производить звезды или падающая с цветка роса, если б можно было слышать подобные звуки.

«Каприз!— подумал Сомс.— Нет, не могу рассказать. Она своенравная. Что мне делать? Флер!»

Далеко за полночь он лежал без сна и думал свою думу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

МАТЬ И СЫН

Сказать, что Джон Форсайт сопровождал мать в Испанию неохотно, было бы не совсем точно. Он шел, как благонравная собака пошла бы на прогулку со своей хозяйкой, оставляя на дорожке облюбованную баранью кость. Он шел, оглядываясь на кость. Форсайты, если отнять у них баранью кость, обычно дуются. Но дуться было не в характере Джона. Он боготворил свою мать, и как-никак это было его первое путешествие. Италия превратилась в Испанию совсем легко — он только

сказал: «Поедем лучше в Испанию, мама; в Италии ты бывала много раз; мне хотелось бы, чтобы мы оба увидели что-то новое».

В нем уживалась с наивностью хитрость. Он ни на минуту не забывал, что намерен свести намеченные два месяца к шести неделям, а потому не должен показывать виду, что ему этого хочется. Для человека, оставившего на дороге столь лакомую кость, одержимого столь навязчивой идеей, он казался, право, неплохим товарищем по путешествию: не спорил о том, куда и когда ехать, был глубоко равнодушен к еде и вполне отдавал должное стране, такой чуждой для большинства путешественников-англичан. Флер проявила глубокую мудрость, отказавшись ему писать: в каждое новое место он приезжал без жара и надежды и мог сосредоточить все свое внимание на ослах, на перезвоне колоколов, на священниках, патио, нищих, детях, на горластых петухах, на сомбреро, живых изгородях из кактуса, на старых белых горных деревнях, на козах и оливах, на зеленеющих равнинах, певчих птицах в крошечных клетках, на продавцах воды, закатах, дынях, мулах, на больших церквах и картинах и курящихся желто-серых горах чарующего края.

Уже наступила летняя жара, и мать с сыном наслаждались отсутствием соотечественников: Джон, в чьих жилах, насколько ему было известно, не текло ни единой капли неанглийской крови, часто чувствовал себя глубоко несчастным в присутствии земляков. Ему казалось, что они дельны и разумны и что у них более практический подход к вещам, чем у него самого. Он признался матери, что чувствует себя крайне необщественным животным — так приятно уйти от всех, кто может разговаривать о том, о чем принято разговаривать между людьми. Ирэн ответила просто:

— Да, Джон, я тебя понимаю.

Одиночество дало ему несравненный случай оценить то, что редко понимают сыновья: полноту материнской любви. Сознание, что он должен что-то скрывать от нее, несомненно, делало его преувеличенно чувствительным; а знакомство с южанами заставляло больше прежнего восхищаться самым типом ее красоты, которую в Англии постоянно называли испанской; но теперь он узнал, что это не так: красота его матери не была ни английской, ни французской, ни испанской, ни итальянской — она своя, особенная! И, как никогда раньше, оценил он также чуткость своей матери. Он, например, не мог бы сказать, заметила ли она его увлечение фреской Гойи «La Vendimia» и знала ли она, что он возвращался украдкой к этой фреске после завтрака и потом еще раз на следующее утро, чтобы добрых полчаса простоять перед ней во второй и в третий раз. То, конечно, была не Флер, но виноградарша Гойи достаточно на нее походила, чтобы вызвать в сердце мальчика боль, столь милую влюбленным, напоминая то видение, что стояло в ногах его кровати, подняв руку над головой. Держать в кармане открытку с репродукцией этой фрески, постоянно ее вытаскивать и любоваться ею стало для Джона одной из тех дурных привычек, которые рано или поздно открываются глазу наблюдателя, обостренному любовью, страхом или ревностью. А наблюдательность его матери обостряло и то, и другое, и третье. В Гренаде его поймали с поличным. Он сидел на раскаленной от

каменной скамье в саду на валу Альгамбры, откуда ему полагалось
зваться видом; он думал, что мать его засмотрелась на горшки
коями между стрижеными акациями, как вдруг раздался ее голос:
— Это твой излюбленный Гойя, Джон?
Он с некоторым опозданием удержал движение, какое мог бы сде-
школьник, пряча шпаргалку, и ответил:
— Да.
— Бесспорно, очаровательная вещь. Но я предпочитаю «Quita-
[1]. Твой отец был бы, верно, без ума от Гойи; вряд ли он его видел,
да ездил в Испанию в девяносто втором году.
В 1892 году — за девять лет до его рождения! Какова была прежняя
знь его отца и матери? Если они вправе интересоваться его будущим,
к он вправе интересоваться их прошлым. Он поднял глаза на мать. Но
-то в ее лице — следы трудно прожитой жизни, таинственная печать
нений, опыта и страдания с его неизмеримой глубиной и дорого куп-
ным покоем — обращало любопытство в дерзость. Его мать прожила,
жно быть, удивительно интересную жизнь. Она так прекрасна и так...
... Но Джон не умел выразить того, что чувствовал в ней. Он встал
принялся глядеть вниз, на город, на равнину, сплошь покрытую зеле-
ми, на кольцо сверкающих в закатном солнце гор. Жизнь его матери
ла, как прошлое этого старого мавританского города: наполненное
льшим содержанием, глубокое, отдаленное; перед нею его собственная
знь кажется младенцем — безнадежная невинность и неведение! Го-
рят, в тех горах на западе, что поднимаются прямо из сине-зеленой
вницы, как из моря, жили некогда финикияне — темный, странный,
инственный народ — высоко над землей! Жизнь матери была для него
кой же тайной, как это финикийское прошлое для города в долине, где
ричали петухи и где изо дня в день весело шумели и визжали на улицах
ти. Было обидно, что она знает о нем все, а он о ней ничего — только
о она любит его и его отца и что она прекрасна. Ребяческое неведение
он не был даже на войне — даже в этом преимуществе, которым поль-
ются все и каждый, ему отказано!) умаляло Джона в его собственных
лазах.
В ту ночь с балкона своей спальни он глядел вниз на городские кры-
— словно соты из янтаря, слоновой кости и золота; а потом долго
жал без сна, прислушиваясь к перекличке часовых после боя часов, и
голове его складывались строки:

Голос, в ночи звенящий, в сонном и старом испанском
Городе, потемневшем в свете бледнеющих звезд,
Что говорит голос — долгий, звонко-тоскливый?
Просто ли сторож кличет, верный покой суля?
Просто ли путника песня к лунным лучам летит?
Нет, влюбленное сердце плачет, лишенное счастья,
Просто зовет: «Когда?»

Слово «лишенное» казалось ему холодным и невыразительным, но
е звавшее» было слишком определенно, а никакого другого ритми-

[1] Дама с зонтиком».

чески сходного слова он не мог подобрать к словам «влюбленное сердце плачет». Был третий час ночи, когда он кончил, и только в четвертом часу он уснул, предварительно прочитав про себя эти стихи не менее двадцати четырех раз. На следующий день он их записал и вложил в одно из тех писем к Флер, которые считал своим долгом настрочить, перед тем как спуститься к завтраку,— это развязывало его и делало более общительным.

В полдень того же дня, сидя на террасе отеля, Джон внезапно почувствовал тупую боль в затылке, странное ощущение в глазах и тошноту. Солнце слишком горячо приласкало его. Следующие три дня он провел в полумраке и тупом болезненном безразличии ко всему, кроме льда на голове и улыбки матери. А мать не выходила из его комнаты и ни на миг не ослабляла своей бесшумной бдительности, которая казалась Джону ангельской. Но бывали минуты, когда ему делалось нестерпимо жалко самого себя и очень хотелось, чтобы Флер могла его видеть. Несколько раз он страстно прощался в мыслях с нею и с землей, и слезы выступали у него на глазах. Он даже придумал, какую весть пошлет ей через свою мать, которая до смертного часа будет раскаиваться, что замышляла их разлучить,— бедная мама! Однако он не преминул также сообразить, что теперь у него есть законный предлог для скорейшего возвращения домой.

Каждый вечер в половине седьмого начиналась «гасгача» колоколов: водопадом обрушивался звон, поднимаясь из города в долине и вновь низвергаясь разноголосицей перезвона. Отслушав гасгачу на четвертый день своей болезни, Джон сказал неожиданно:

— Я хочу назад, в Англию, мама, солнце слишком печет.

— Хорошо, дорогой. Как только тебе можно будет тронуться в путь.

Джону сразу сделалось лучше — и гнусней на душе.

Прошло пять недель со дня их отъезда из Лондона, когда они пустились в обратную дорогу. Мыслям Джона вернулась их былая ясность, только он вынужден был носить широкополую шляпу, которую мать его подшила в несколько слоев оранжевым и зеленым шелком, и ходил он теперь предпочтительно по теневой стороне. Сейчас, когда долгая борьба скрытности между ними близилась к концу, Джон все тревожней спрашивал себя, замечает ли мать, как ему не терпится скорее вернуться к тому, от чего она его оторвала. Обреченные испанским провидением провести сутки в Мадриде в ожидании поезда, они, естественно, еще раз посетили Прадо. На этот раз Джон с нарочитой небрежностью лишь мимоходом остановился перед «Виноградаршей» Гойи. Теперь, когда он возвращался к Флер, можно было глядеть не так внимательно. Задержалась перед картиной его мать. Она сказала:

— Лицо и фигура девушки очаровательны.

Джон выслушал со смущением. Поняла она или нет? Но он лишний раз убедился, что далеко уступает ей и в самообладании и в чуткости. Каким-то своим, интуитивным путем, тайна которого ему была недоступна, она умела нащупывать пульс его мыслей; она знала чутьем, на что он надеется, чего боится и чего желает. Обладая, не в пример большинству своих сверстников, совестью, Джон испытывал чувство отчаян-

ной неловкости и вины. Он хотел, чтобы мать была с ним откровенна, он почти надеялся на открытую борьбу. Но не было ни борьбы, ни откровенности, в упорном молчании ехал он с матерью на север. Так впервые он узнал, насколько лучше, чем мужчина, умеет женщина вести выжидательную игру. В Париже пришлось опять задержаться на денек. Джон совсем приуныл, потому что «денек» растянулся в целых два дня из-за каких-то дел в связи с портнихой; точно его мать, прекрасная во всяком платье, нуждалась в нарядах! Счастливейшей минутой за все их путешествие была для него та, когда он, покидая Францию, ступил на палубу парохода.

Стоя у борта рука об руку с сыном, Ирэн сказала:

— Боюсь, наше путешествие не доставило тебе большого удовольствия. Но ты был очень со мною мил.

Джон украдкой пожал ей руку.

— О нет, мне было очень хорошо — только под конец подвела голова.

Теперь, когда путешествие пришло к концу, минувшие недели засветились для Джона неизъяснимой прелестью, он в самом деле испытывал то мучительное наслаждение, которое попробовал передать в стихах о голосе, звенящем в ночи; нечто подобное чувствовал он в раннем детстве, когда жадно слушал Шопена и хотелось плакать. Он удивлялся, почему не может сказать ей так же просто, как она ему: «Ты была очень со мною мила». Не странно ли, что так трудно быть ласковым и естественным? Он сказал взамен:

— Нас, верно, укачает.

Их действительно укачало, и в Лондон они приехали ослабевшие, после шести недель и двух дней отсутствия, за все это время ни разу не упомянув о предмете, который едва ли не всечасно занимал их мысли.

II

ОТЦЫ И ДОЧЕРИ

В разлуке с женой и сыном, отторгнутыми от него испанской авантюрой, Джолион убедился, как нестерпимо в Робин-Хилле одиночество. Философ, когда у него есть все, чего он хочет, не похож на философа, которому многого не хватает. Все же, приучив себя к смирению — или хотя бы к идее смирения,— Джолион заставил бы себя примириться с одиночеством, не вмешайся в это дело Джун. Он попал теперь в разряд «несчастненьких» и, значит, был на ее попечении. Она поспешно завершила спасение одного злополучного гравера, оказавшегося в то время у нее на руках, и через две недели после отъезда Ирэн и Джона появилась в Робин-Хилле. Маленькая леди жила теперь в Чизике, в крошечном домике с большим ателье. Представительница Форсайтов лучшего периода, когда ни перед кем не приходилось отчитываться, она сумела все же приспособиться к сокращению своих доходов таким образом, что это удовлетворяло и ее и ее отца. Так как арендная плата за корк-стритскую галерею, которую он ей купил, составляла ту же сумму, что и причитавшийся с нее повышенный подоходный налог, дело разрешилось

очень просто: Джун перестала выплачивать отцу аренду. Восемнадцать лет галерея доставляла владельцу голые убытки, а сейчас как-никак можно было надеяться, что она начнет окупаться, так что для отца, по мнению Джун, не было никакой разницы. Благодаря этой уловке она сохранила свои тысячу двести фунтов годового дохода, а сократив расходы на стол и заменив двух обедневших белыгиек, составлявших штат ее прислуги, одной еще более обедневшей австрийкой, она располагала фактически прежним излишком для поддержки гениев. Прогостив три дня в Робин-Хилле, она увезла отца с собою в город. За эти три дня она прощупала тайну, которую Джолион скрывал два года, и тотчас решила его лечить. В самом деле, он знала для этой цели самого подходящего человека. Он сделал чудо с Полом Постом — замечательным художником, опередившим футуризм; и она рассердилась на отца, когда он высоко поднял брови, так как не слышал ни о враче, ни о художнике. Конечно, без «веры» он никогда не поправится! Нелепо не верить в человека, который вылечил Пола Поста так, что теперь он опять заболел, но уже от чрезмерного усердия к работе или, может быть, к наслаждениям. Великое новшество этого целителя заключается в том, что он вступает в союз с природой. Он специально изучает нормальные симптомы здоровой природы, а когда у пациента не наблюдается какого-либо из естественных симптомов, он ему дает соответствующий яд, вызывающий симптом,— и больной поправляется! Джун возлагала на своего врача неограниченные надежды. Отец ее живет в Робин-Хилле явно неестественной жизнью — необходимо пробудить симптомы. Он, как чувствовала Джун, утратил связь с современностью, а это неестественно; сердце его нуждается в стимулирующих средствах. В маленьком доме в Чизике Джун со своей австрийкой (благодарная душа, столь преданная хозяйке за свое спасение, что теперь ей грозила опасность расхвораться от непосильной работы) всячески «стимулировали» Джолиона в порядке подготовительного лечения. Однако брови его никак не могли опуститься. То вдруг австрийка разбудит его в восемь часов, когда ему только что удалось заснуть; или Джун отберет у него «Таймс», потому что неестественно читать «такую ерунду»— он должен интересоваться «подлинной жизнью». Он пребывал в непрестанном удивлении перед ее изобретательностью, особенно по вечерам. Ради его пользы, как заявила она, хоть он подозревал, что и сама она кое-что для себя извлекает из такого метода лечения, Джун собирала у себя весь двадцатый век, поскольку он светил отраженным светом гения; и век торжественно проходил перед ним по ателье в фокстроте или в другом, еще более «заумном», танце — в уанстепе, ритм которого так не соответствовал музыке, что брови Джолиона почти терялись в волосах от изумления перед тем испытанием, коему подвергалась сила воли танцующих. Зная, что в Ассоциации акварелистов он, по общей оценке, занимал место позади каждого, кто претендовал на звание художника, Джолион усаживался в самый что ни на есть темный уголок и вспоминал ритмы, на которых когда-то был воспитан. А если Джун подводила к нему какую-нибудь девицу или молодого человека, он смиренно поднимался до их уровня — насколько это было для него возможно — и думал: «Боже мой! Им это

должно казаться таким скучным». Питая, как некогда его отец, постоянное сочувствие к молодежи, он все же устал становиться на ее точку зрения. Но все это его «стимулировало», и он не переставал изумляться неукротимой энергии своей дочери. Время от времени на ее ассамблеях появлялась, презрительно сморщив нос, сама гениальность; и Джун всегда представляла ее отцу. Это, по ее убеждению, было для него особенно полезно, ибо гениальность является естественным симптомом, который у ее отца всегда отсутствовал,— так она считала при всей своей любви к нему.

Уверенный, насколько это возможно для мужчины, что Джун его родная дочь, Джолион часто дивился, откуда она у него такая: красного золота волосы, теперь заржавевшие своеобразной сединой; открытое, живое лицо, так не похожее на его собственную физиономию, тонкую и сложную; маленькая, легкая фигурка, когда сам он, как и большинство Форсайтов, был высокого роста. Часто задумывался он, какого происхождения этот вид: датского, может быть, или кельтского? Скорее кельтского, полагал он, судя по ее воинственности и пристрастию к лентам на лбу и свободным платьям. Без преувеличения можно сказать, что он ее предпочитал «людям двадцатого века», которыми она была окружена, хотя они по большей части были молоды. Но Джун стала проявлять усиленное внимание к его зубам, ибо этим естественным симптомом он еще в какой-то мере обладал. Ее дантист не замедлил открыть «присутствие чистой культуры staphylococcus aureus» (которая, несомненно, может вызвать нарывы) и хотел удалить еще оставшиеся у него зубы и снабдить его взамен двумя полными комплектами неестественных симптомов. Врожденное упрямство Джолиона встало на дыбы, и в этот вечер в ателье Джун он попытался обосновать свои возражения. У него никогда не бывало никаких нарывов, и ему хватит как-нибудь до конца жизни собственных зубов. Бесспорно, согласилась Джун, ему хватит их до конца жизни, если он их не удалит. Но если он вставит новые зубы, то сердце его будет крепче и жизнь длиннее. Это упорство, заявила Джун, симптоматично для всего его поведения: он не желает бороться. Когда он соберется к врачу, вылечившему Пола Поста? Джолион выразил свое глубокое сожаление, но он отнюдь не собирался к врачу. Джун возмутилась. Пондридж, сказала она, великий целитель и прекрасный человек, и ему так трудно сводить концы с концами и добиваться признания своих теорий. И мешает ему как раз то безразличие к своему здоровью и те предрассудки, какие проявляет ее отец. Было бы так хорошо для них обоих!..

— Я вижу,— сказал Джолион,— ты хочешь убить двух зайцев сразу.

— Скажи лучше — вылечить!— вскричала Джун.

— Это, дорогая моя, одно и то же.

Джун настаивала на своем. Нечестно говорить такие вещи, не испробовав лечения.

Джолион боялся, что если он испробует, то уже вовсе не сможет говорить.

— Папа!— воскликнула Джун.— Ты безнадежен.

— Не спорю,— сказал Джолион.— Но я хотел бы оставаться безнадежным как можно дольше. Я не намерен трогать спящих собак, дитя мое. Не лают — ну и хорошо.

— Это значит закрывать перед наукой все пути!— кричала Джун.— Ты не представляешь, до чего Пондридж предан своему делу. Для него наука выше всего.

— Как для мистера Пола Поста его искусство, не так ли?— возразил Джолион и затянулся слабенькой папироской, которой он теперь себя ограничил.— Искусство для искусства, наука для науки. Мне хорошо знакомы эти господа энтузиасты, маньяки эгоцентризма. Они зарежут вас, не моргнувши глазом. Я как-никак Форсайт и предпочитаю держаться от них подальше, Джун.

— Папа,— сказала Джун,— если б только ты понимал, как устарели твои доводы. В наши дни никто не может позволить себе быть половинчатым.

— Боюсь,— промолвил с улыбкой Джолион,— это единственный естественный симптом, которым мистеру Пондриджу нет нужды меня снабжать. Нам с рождения дано быть сторонниками крайностей или держаться середины; хотя должен сказать, уж ты не сердись, что половина тех, кто проповедует крайности, на самом деле очень умеренны. Насколько можно требовать, настолько я здоров,— надо на этом успокоиться.

Джун молчала, узнав в свое время на опыте, как непреклонен бывает ее отец в своей мягкой настойчивости, когда дело коснется его свободы действий.

Джолион сам не понимал, как он мог проговориться дочери, почему Ирэн увезла Джона в Испанию. Он не слишком полагался на скромность Джун. Джун задумалась над этим известием, и ее раздумье завершилось резким спором между нею и отцом, спором, который открыл Джолиону коренную противоположность между действенным темпераментом его дочери и пассивностью его жены. Он убедился даже, что не прошла еще горечь от той их давнишней борьбы за Филипа Босини, в которой пассивное начало так знаменательно восторжествовало над активным.

Джун считала глупым, считала трусостью скрывать от Джона прошлое.

— Чистейший оппортунизм,— заявила она.

— Который,— мягко вставил Джолион,— является творческим принципом действительной жизни, дорогая.

— Ох,— воскликнула Джун,— ты не можешь искренне защищать Ирэн в том, что она скрывает от Джона правду, папа! Если бы все предоставить тебе, ты рассказал бы.

— Может быть, но я сделал бы это просто потому, что так или иначе Джон все равно узнает, и это будет хуже, чем если мы ему расскажем сами.

— Тогда почему же ты все-таки не рассказываешь! Опять «спящие собаки»?

— Дорогая,— сказал Джолион,— ни за что на свете я не пошел бы против инстинкта Ирэн. Джон ее сын.

— И твой тоже,— возразила Джун.

— Как можно сравнивать отцовский инстинкт с материнским?

— Как хочешь, а, по-моему, с твоей стороны это малодушие.

— Возможно,— согласился Джолион,— возможно.

Вот и все, чего она добилась от отца; но дело это не выходило у нее из головы. Джун не выносила мысли о «спящих собаках». Ее подмывало дать делу толчок, чтобы так или иначе разрешить его. Джону надо все рассказать, чтобы чувство его или зачахло, не распустившись, или же, расцветши назло прошлому, принесло плоды. И она решила повидаться с Флер и составить себе собственное мнение. Если Джун на что-нибудь решалась, вопросы щепетильности отступали на второй план. В конце концов, она Сомсу двоюродная племянница, и оба они интересуются живописью. Она придет к нему и заявит, что ему следует купить какой-нибудь холст Пола Поста или, может быть, скульптуру Бориса Струмоловского. Отцу она, конечно, ничего не скажет. В ближайшее воскресенье она пустилась в путь, и вид у нее был столь решительный, что на вокзале в Рэдинге ей с трудом удалось достать такси. Берега реки были очаровательны в эти дни июня — ее месяца,— и Джун отнюдь не была бесчувственна к их очарованию. За всю жизнь не познав любовного союза, она чуть не до сумасшествия любила природу. Подъехав к изысканному уголку, где поселился Сомс, она отпустила такси, так как намеревалась, покончив с делом, насладиться прохладой реки и рощи. Таким образом, перед его дверьми она предстала скромным пешеходом и послала Сомсу свою карточку. Джун знала, что если нервы ее трепещут, значит, она делает что-то стоящее труда. А когда нервы не трепещут, тогда она знала, что пошла по линии наименьшего сопротивления и что благородство ни к чему ее не обязывает. Ее ввели в гостиную, на убранстве которой, хоть и чуждом ей по стилю, лежала печать требовательного вкуса. Подумав: «Слишком затейливо — много выкрутасов»,— она увидела в черной раме старинного зеркала фигуру девушки, входившей с веранды. Вся в белом, с белыми розами в руках, отраженная в серебряно-сером озере стекла, она казалась видением — точно прелестный призрак явился из зеленого сада.

— Здравствуйте,— сказала Джун и обернулась.— Я родственница вашего отца.

— Ах да, я вас видела тогда в кондитерской.

— С моим младшим братом. Ваш отец дома?

— Сейчас придет. Он вышел прогуляться.

Джун слегка прищурила синие свои глаза и вздернула решительный подбородок.

— Вас зовут Флер, да? Я слышала о вас от Холли. Что вы думаете о Джоне?

Девушка подняла розы к лицу, посмотрела на них и ответила спокойно:

— Очень милый мальчик.

— Нисколько не похож ни на меня, ни на Холли, не правда ли?

— Нисколько.

«Выдержанная»,— подумала Джун.

И вдруг девушка сказала:

— Не можете ли вы рассказать мне, почему наши семьи не ладят между собой?

Поставленная перед вопросом, на который сама же советовала своему отцу ответить, Джун смолчала — потому ли, что эта девушка сама чего-то добивалась от нее, или просто потому, что не всегда человек поступает на деле так, как поступил бы в теории.

— Вы знаете,— продолжала девушка,— вернейший способ заставить человека выведать худшее — это держать его в неведении. Мой отец сказал, что ссора произошла из-за собственности. Но я не верю: и у нас и у них всего вдоволь. Они не вели бы себя, как мещане.

Джун вспыхнула. Это слово в применении к ее отцу и деду оскорбило ее.

— Мой дедушка,— сказала она,— был очень великодушен, и отец тоже; оба они нисколько не мещане.

— Так что ж это было?— повторила Флер.

Видя, что эта юная представительница семьи Форсайтов упорно добивается своего, Джун сразу решила помешать ей и добиться чего-нибудь для себя.

— Почему вы хотите знать?

Девушка понюхала розы.

— Я потому хочу знать, что от меня это скрывают.

— Хорошо. Ссора действительно произошла из-за собственности, но собственность бывает разная.

— Час от часу не легче. Теперь я действительно *должна* узнать.

По решительному личику Джун пробежала судорога. Волосы, выбившиеся из-под круглой шапочки, растрепались. Сейчас она казалась совсем юной, словно помолодела от встречи.

— Знаете,— сказала она,— я видела, как вы бросили платок. Между вами и Джоном что-нибудь есть? Если да, откажитесь от этого.

Девушка побледнела, но все-таки улыбнулась.

— Если есть способ меня принудить, то, во всяком случае, не такой.

В ответ на это смелое заявление Джун протянула руку.

— Вы мне нравитесь; но я не люблю вашего отца; я никогда его не любила. Ведь мы можем говорить откровенно?

— Вы приехали, чтоб сказать ему это?

Джун засмеялась.

— Нет, я приехала, чтоб видеть вас.

— Как мило с вашей стороны!

Девушка хорошо парировала удары.

— Я в два с половиной раза старше вас,— сказала Джун,— но я вам вполне сочувствую. Возмутительно, когда человеку ставят палки в колеса.

Флер опять улыбнулась.

— Право, мне думается, вы должны все мне рассказать.

Как упорно этот ребенок гнет свою линию!

— Это не моя тайна. Но я испробую все, что от меня зависит, потому что, по-моему, и вы и Джон должны это знать. А теперь я с вами прощусь.

— Вы не подождете папу?

Джун покачала головой.

— Как мне попасть на тот берег?

— Я вас перевезу на лодке.

— Вот что,— порывисто сказала Джун,— когда будете в Лондоне, загляните ко мне. Возьмите мой адрес. По вечерам у меня обычно собирается молодежь. Но отцу лучше не говорите.

Девушка кивнула в знак согласия.

Наблюдая, как она управляется с веслами, Джун думала: «Она прехорошенькая и отлично сложена. Никогда бы я не подумала, что у Сомса будет такая красивая дочь. Они с Джоном составили бы очаровательную пару».

Инстинкт подбора пар, не нашедший в свое время удовлетворения, никогда не засыпал в Джун. Она стояла, наблюдая, как Флер гребет обратно; девушка выпустила весло, чтобы махнуть рукой на прощание, и с болью в сердце Джун побрела лугами над рекой. Молодое тянется к молодому, как гонятся стрекозы друг за дружкой, и любовь, как солнце, прогревает их насквозь. Ее молодость! Давным-давно, когда Фил и она... А с тех пор ничего! Ни в ком не нашла она того, чего искала. И так упустила жизнь. Но какая петля затягивается вокруг этих двух юных существ, если они и вправду любят друг друга, как думает Холли, как опасаются ее отец и Ирэн и даже, по-видимому, Сомс. Какая петля и какие препятствия! И тяга к будущему, живое презрение к минувшему — то, из чего образуется активное начало,— заговорили в сердце женщины, всегда считавшей, что то, чего хочешь сам, важнее того, чего не хотят другие. С высокого берега в теплой тишине лета она глядела на кувшинки, следила за листьями ветлы, за всплесками рыб; вдыхая запах травы и таволги, думала, как принудить каждого быть счастливым. Джон и Флер! Бедные неоперившиеся утятки — желтенькие, несчастненькие! Как их жалко! Несомненно, можно что-то сделать. С таким положением нельзя мириться. Джун пошла дальше и пришла к вокзалу разгоряченная и сердитая.

В тот же вечер, следуя своей склонности к прямому действию, из-за которой многие ее избегали, она сказала отцу:

— Папа, я ездила посмотреть на Флер. Я ее нахожу очень привлекательной. Нехорошо нам прятать голову под крыло.

Джолион, пораженный, отставил свой ячменный кофе и сгреб в кулак бородку.

— Но ты именно это и делаешь,— сказал он.— Представляешь ты себе, чья она дочь?

— Мертвое прошлое пусть хоронит своих мертвецов.

Джолион встал.

— Есть вещи, которые нельзя похоронить.

— Я не согласна,— сказала Джун.— Это то, что стоит на пути ко всякому счастью и прогрессу. Ты не понимаешь нашего века, папа. Он

отбрасывает все изжитое. Почему тебя так страшит, что Джон узнает все о своей матери? Кто теперь придает значение таким вещам? Брачные законы и посейчас те же, какими были в то время, когда Ирэн и Сомс не могли получить развода и пришлось вмешаться тебе. Мы ушли вперед, а законы остались на старом месте. Поэтому никто с ними не считается. Брак без приличной возможности его расторжения — это одна из форм рабовладельчества; человек не должен быть собственностью человека. Теперь каждый это понимает. Если Ирэн нарушила подобный закон, что в этом дурного?

— Не мне возражать,— сказал Джолион,— но дело совсем не в том. Дело в человеческом чувстве.

— Конечно!— вскричала Джун.— В человеческом чувстве этих двух юных созданий.

— Моя дорогая,— ответил Джолион мягко, но чувствуя, что теряет терпение,— ты говоришь вздор.

— Отнюдь не вздор. Если окажется, что они действительно друг друга любят, зачем же делать их несчастными во имя прошлого?

— Ты не переживала этого прошлого. А я пережил через чувства моей жены; пережил собственными своими нервами и своим воображением, как только может это пережить истинно любящий человек.

Джун тоже встала и беспокойно зашагала по комнате.

— Если б еще,— сказала она вдруг,— Флер была дочерью Фила Босини, я скорей могла бы тебя понять. Его Ирэн любила, а Сомса она не любила никогда.

Джолион издал странный грудной звук — вроде того, каким итальянская крестьянка понукает своего мула. Сердце его бешено заколотилось, но он не обратил на это внимания, увлеченный своими чувствами.

— Твои слова показывают, как мало ты поняла. Ни я, ни Джон, насколько я его знаю, не осудили бы любовное прошлое. Но брачный союз без любви омерзителен. Эта девушка — дочь человека, который некогда обладал матерью Джона, как рабыней-негритянкой. Этого призрака тебе не прогнать; и не пробуй, Джун! Ведь ты требуешь от нас, чтобы мы смотрели спокойно, как Джон соединится с плотью от плоти человека, который владел матерью Джона против ее воли. Незачем смягчать выражения; надо выяснить раз навсегда. А теперь прекратим разговор, или мне придется просидеть так всю ночь.

И Джолион прижал руку к груди, повернулся к дочери спиной и, отойдя к окну, стал глядеть на Темзу.

Джун, по природе своей неспособная увидеть шершня, пока он ее не ужалит, не на шутку встревожилась. Она подошла и взяла Джолиона под руку. Отнюдь не убежденная, что он прав, а сама она ошибается — такое признание противоречило бы ее природе,— она была глубоко потрясена очевидным обстоятельством, что эта тема очень ему вредна. Она потерлась щекой о его плечо и ничего не сказала.

Переправив гостью, Флер не причалила сразу к пристани, а зашла в камыши, в полосу яркого света. Тихая прелесть дня на мгновение зачаровала девушку, не слишком склонную к мечтаниям и поэзии. В поле над берегом запряженная сивой лошадью косилка снимала ранний по-

кос. Флер следила, не шевелясь, как через легкие колеса падает каскадом трава — прохладная и свежая. Свист и щелк сливались с шелестом ракит и тополей и с воркованьем лесного голубя в звонкую речную песню. В глубокой зеленой воде, точно желтые змеи, извиваясь и ныряя, стлались по течению водоросли; пегие коровы на том берегу стояли в тени, лениво помахивая хвостами. День располагал к мечтам. Флер вытащила письма Джона — не цветистые излияния, нет, но в отчетах о виденном и сделанном они проникнуты были очень приятной для нее тоской и все заканчивались словами: «Любящий тебя Дж.» Флер не была сентиментальна, ее желания были всегда конкретны и определенны, но, безусловно, все, что было поэтического в дочери Сомса и Аннет, за эти недели ожидания сосредоточилось вокруг ее воспоминаний о Джоне. Они жили в траве и в листьях, в цветах и в струящейся воде. Когда, наморщив нос, она вдыхала запахи, Флер радовалась в них его близости. Звезды ее убеждали, что она стоит с ним рядом в центре карты Испании; а ранним утром капли росы на паутине, искристое марево и дышащее в саду обещание дня были для нее олицетворением Джона.

Пока она читала письма, два белых лебедя проплыли величественно мимо, а за ними цепочкой их потомство: шесть молодых лебедей друг за дружкой, выдерживая равную дистанцию между каждым хвостом и головой — флотилия серых миноносцев. Флер спрятала письма, взялась за весла и выгребла к причалу. Поднимаясь по дорожке сада, она обдумывала вопрос: следует ли рассказать отцу, что приходила Джун? Если он узнает о ее посещении через лакея, ему покажется подозрительным, почему дочь о нем умолчала. Вдобавок рассказ откроет новую возможность выведать у отца причину ссоры. Поэтому, выйдя на шоссе, Флер направилась ему навстречу.

Сомс ходил осматривать участок, на котором местные власти предполагали построить санаторий для легочных больных. Верный своему индивидуализму, Сомс не принимал участия в местных делах, довольствуясь уплатой все повышавшихся налогов. Однако он не мог остаться равнодушным к этому новому и опасному плану. Участок был расположен менее чем в полумиле от его дома. Сомс был вполне согласен с мнением, что страна должна искоренять туберкулез; но здесь для этого не место. Это надо делать подальше. Он занял позицию, разделяемую каждым истинным Форсайтом: во-первых, чужие болезни его не касаются, а, во-вторых, государство должно делать свое дело, никоим образом не затрагивая естественных привилегий, которые он приобрел или унаследовал. Фрэнси, самая свободомыслящая из Форсайтов его поколения (за исключением разве Джолиона), однажды с лукавым видом спросила: «Ты когда-нибудь видел имя *Форсайт* на каком-нибудь подписном листе, Сомс?» Как бы там ни было, а санаторий испортит окрестности, и он, Сомс, непременно подпишет петицию о переносе его на другое место. С назревшим новым решением он повернул к дому и увидел Флер.

Последнее время она проявляла к отцу больше нежности, и, мирно проводя с нею эти теплые летние дни, Сомс чувствовал себя помолодев-

шим; Аннет постоянно ездила в город то за тем, то за другим, так что Флер предоставлена была ему одному почти в той мере, как он того желал. Впрочем, надо сказать, Майкл Монт повадился приезжать на мотоцикле чуть ли не ежедневно. Молодой человек, слава богу, сбрил свои дурацкие усы и не был теперь похож на скомороха! В доме гостила подруга Флер, заходил по-соседски кое-кто из молодежи, так что после обеда в холле было всегда по меньшей мере две пары, танцевавшие под музыку электрической пианолы, которая без посторонней помощи, удивленно сверкая полировкой, исполняла фокстроты. Случалось, что и Аннет грациозно пройдет по паркету в объятиях какого-нибудь молодого человека. И Сомс, остановившись в дверях между гостиной и холлом, поведет носом, посмотрит на них выжидательно, ловя улыбку Флер; потом отойдет к своему креслу у камина в глубине гостиной и развернет «Таймс» или каталог-прейскурант какого-нибудь коллекционера. Его всегда настороженный глаз не улавливал никаких признаков того, что Флер помнит о своем капризе.

Когда она подошла к отцу на пыльной дороге, он взял ее под руку.

— К тебе приходила гостья, папа! Но она не могла ждать. Угадай, кто?

— Я не умею отгадывать,— недовольно сказал Сомс.— Кто?

— Твоя племянница, Джун Форсайт.

Сомс бессознательно схватил девушку за руку.

— Что ей понадобилось от меня?

— Не знаю. Но ведь это — нарушение кровной вражды, не так ли?

— Кровной вражды? Какой?

— А той, что существует в твоем воображении, дорогой мой.

Сомс отпустил ее руку. Дразнит его девчонка или пробует поймать?

— Она, верно, хочет, чтобы я купил какую-нибудь картину,— сказал он наконец.

— Не думаю. Может быть, ее привела просто родственная привязанность.

— Двоюродная племянница — не такое уж близкое родство,— пробурчал Сомс.

— К тому же она дочь твоего врага.

— Что ты хочешь сказать?

— Извини, дорогой, я думала, он твой враг.

— Враг!— повторил Сомс.— Это давнишняя история. Не знаю, откуда ты получила такие сведения.

— От Джун Форсайт.

Эта мысль осенила девушку внезапно: если он подумает, что ей уже все известно или что она вот-вот догадается, он сам расскажет.

Сомс был ошеломлен, но Флер недооценила его осторожность и выдержку.

— Если тебе все известно,— сказал он холодно,— зачем же ты мне докучаешь?

Флер увидела, что зашла слишком далеко.

на женщине, которой домогался ее отец,— может быть, обманом отнял ее у него. Потом, убоявшись, как бы лицо ее не выдало, что она открыла тайну отца, Флер решила не думать дальше и, размахивая шелковым платком, вошла в столовую.

— Я выбрала самый мягкий, папа.

— Гм!— буркнул Сомс.— Эти я употребляю только при насморке. Ну ничего!

Весь вечер Флер пригоняла одно к одному; она припомнила, какое выражение появилось на лице ее отца в кондитерской: отчужденное и холодно-интимное, странное выражение. Он, верно, очень любил эту женщину, если до сих пор, лишившись ее, хранит ее фотографию. Беспощадная и трезвая мысль девушки взяла под обстрел отношение отца к ее матери. А ее он любил когда-нибудь по-настоящему? Флер думала, что нет. И Джон — сын женщины, которую он истинно любил! Тогда, конечно, его не должно возмущать, что дочь его любит Джона; ему только нужно освоиться с этой мыслью. Вздох глубокого облегчения задержался в складках ночной рубашки, которую Флер не спеша надевала через голову.

III

ВСТРЕЧИ

Молодость замечает старость только при резких переменах. Джон, например, не видел по-настоящему старости своего отца, пока не вернулся из Испании. Лицо Джолиона четвертого, измученного ожиданием, потрясло его, таким оно казалось увядшим и старым. От волнения встречи маска сдвинулась, и мальчик внезапно понял, как должен был его отец страдать от их отсутствия. На помощь себе он призвал мысль: «Что ж! Ведь я не хотел ехать». Не такое было время, чтобы молодость оказывала снисхождение старости. Но Джон вовсе не был типичен для своего времени. Отец был с ним всегда «бесконечно мил». Джону претила мысль, что нужно сразу принимать ту линию поведения, в борьбе с которой его отцу пришлось выстрадать шесть недель одиночества.

При вопросе отца: «Ну, друг мой, как тебе понравился великий Гойя?»— совесть горько его упрекнула. Великий Гойя существовал лишь постольку, поскольку он создал девушку, похожую на Флер.

В тот вечер Джон лег спать, снедаемый угрызениями совести, но наутро проснулся полный радостных предвкушений. Было только пятое июля, а встреча с Флер назначена на девятое. До возвращения в Уонсдон предстояло провести дома три дня. Нужно изловчиться и увидеть ее!

Даже самые любящие родители не могут отрицать, что в жизнь мужчины с неуклонной периодичностью вторгается нужда в новых брюках. А посему на второй день по приезде Джон отправился в город и, для очистки совести заказав на Кондит-стрит то, что требовалось, направил свои стопы к Пикадилли. Стрэттон-стрит, где находится ее клуб, выходит к Девоншир-Хаусу. Было бы чистой случайностью застать Флер в клубе. Все же Джон с замиранием сердца пошел по Бонд-стрит,

— Я вовсе не хочу докучать тебе, милый. Ты прав, к чему мне знать больше? К чему мне выведывать эту «маленькую тайну»? Je m'en fiche[1], как говорит Профон.

— Этот бельгиец!— глубокомысленно произнес Сомс.

Бельгиец в самом деле играл этим летом значительную, хоть и невидимую роль, ибо в Мейплдерхеме он больше не показывался. С того воскресенья, когда Флер обратила внимание на то, как он «рыскал» в саду, Сомс много думал о нем и всегда в связи с Аннет, хоть и не имел к тому никаких оснований, кроме разве того, что она за последнее время заметно похорошела. Его собственнический инстинкт, ставший более тонким и гибким со времени войны и менее подчиненный формальностям, научил его не давать воли подозрениям. Как смотрят на американскую реку, тихую и приятную, зная, что в тине притаился, может быть, аллигатор и высунул голову, не отличимую от коряги,— так Сомс смотрел на реку своей жизни, чуя мсье Профона, но отказываясь допускать до своего сознания что-нибудь более определенное, чем простое подозрение о его высунутой голове. В эту пору своей жизни он имел фактически все, чего желал, и был настолько близок к счастью, насколько позволяла его природа. Чувства его в покое; потребность привязанности нашла удовлетворение в дочери; его коллекция широко известна, деньги надежно помещены; здоровье его превосходно, если не считать редких неприятностей с печенью; он еще не начинал тревожиться всерьез о том, что будет после его смерти, склоняясь к мысли, что не будет ничего. Он походил на одну из своих надежных акций с позолоченными полями, а соскребать позолоту, разглядывая то, чего ему видеть нет необходимости,— это было бы, как он неосознанно чувствовал, чем-то противоестественным и упадочным. Те два помятых розовых лепестка — каприз его дочери и высунутая из тины голова Профона — разгладятся, если получше их отутюжить.

В этот вечер случай, врывающийся в жизнь даже самых обеспеченных Форсайтов, дал ключ в руки Флер. Ее отец сошел к обеду без носового платка, и вдруг ему понадобилось высморкаться.

— Я принесу тебе платок, милый,— сказала она и побежала наверх.

В саше, где она стала искать платок, старом саше из очень выцветшего шелка, было два отделения: в одном лежали платки, другое было застегнуто и содержало что-то плоское и твердое. Повинуясь ребяческому любопытству, Флер отстегнула его. Там оказалась рамка с ее собственной детской фотографией. Она смотрела на карточку, завороженная своим изображением. Карточка скользнула под ее задрожавшим пальцем, и Флер увидела за ней другую фотографию. Тогда она дальше выдвинула свою, и ей открылось показавшееся знакомым лицо молодой женщины, очень красивой, в очень старомодном вечернем туалете. Вдвинув на место свою фотографию, Флер достала носовой платок и спустилась в столовую. Только на лестнице она вспомнила это лицо. Конечно, конечно, мать Джона! Внезапная уверенность была точно удар. Флер остановилась в вихре мыслей. Все понятно! Отец Джона женился

[1] Наплевать *(фр.)*.

на женщине, которой домогался ее отец,— может быть, обманом отнял ее у него. Потом, убоявшись, как бы лицо ее не выдало, что она открыла тайну отца, Флер решила не думать дальше и, размахивая шелковым платком, вошла в столовую.

— Я выбрала самый мягкий, папа.

— Гм!— буркнул Сомс.— Эти я употребляю только при насморке. Ну ничего!

Весь вечер Флер пригоняла одно к одному; она припомнила, какое выражение появилось на лице ее отца в кондитерской: отчужденное и холодно-интимное, странное выражение. Он, верно, очень любил эту женщину, если до сих пор, лишившись ее, хранит ее фотографию. Беспощадная и трезвая мысль девушки взяла под обстрел отношение отца к ее матери. А ее он любил когда-нибудь по-настоящему? Флер думала, что нет. И Джон — сын женщины, которую он истинно любил! Тогда, конечно, его не должно возмущать, что дочь его любит Джона; ему только нужно освоиться с этой мыслью. Вздох глубокого облегчения задержался в складках ночной рубашки, которую Флер не спеша надевала через голову.

III

ВСТРЕЧИ

Молодость замечает старость только при резких переменах. Джон, например, не видел по-настоящему старости своего отца, пока не вернулся из Испании. Лицо Джолиона четвертого, измученного ожиданием, потрясло его, таким оно казалось увядшим и старым. От волнения встречи маска сдвинулась, и мальчик внезапно понял, как должен был его отец страдать от их отсутствия. На помощь себе он призвал мысль: «Что ж! Ведь я не хотел ехать». Не такое было время, чтобы молодость оказывала снисхождение старости. Но Джон вовсе не был типичен для своего времени. Отец был с ним всегда «бесконечно мил». Джону претила мысль, что нужно сразу принимать ту линию поведения, в борьбе с которой его отцу пришлось выстрадать шесть недель одиночества.

При вопросе отца: «Ну, друг мой, как тебе понравился великий Гойя?»— совесть горько его упрекнула. Великий Гойя существовал лишь постольку, поскольку он создал девушку, похожую на Флер.

В тот вечер Джон лег спать, снедаемый угрызениями совести, но наутро проснулся полный радостных предвкушений. Было только пятое июля, а встреча с Флер назначена на девятое. До возвращения в Уонсдон предстояло провести дома три дня. Нужно изловчиться и увидеть ее!

Даже самые любящие родители не могут отрицать, что в жизнь мужчины с неуклонной периодичностью вторгается нужда в новых брюках. А посему на второй день по приезде Джон отправился в город и, для очистки совести заказав на Кондит-стрит то, что требовалось, направил свои стопы к Пикадилли. Стрэттон-стрит, где находится ее клуб, выходит к Девоншир-Хаусу. Было бы чистой случайностью застать Флер в клубе. Все же Джон с замиранием сердца пошел по Бонд-стрит,

отмечая превосходство над собою всех встречных молодых людей. На них так ловко сидят костюмы, в них столько самоуверенности, и они старше. Внезапно его сразила мысль, что Флер его, конечно, забыла. Поглощенный все эти недели своим собственным чувством к ней, он упускал из виду эту возможность. Углы его рта оттянулись книзу, руки покрылись липким потом. Флер, несущая цветок юности в тонкой своей улыбке, несравненная Флер! То была жестокая минута. Но Джону не чужда была великая идея, что человеку подобает смотреть прямо в лицо любой судьбе. Подбадривая себя этим суровым помыслом, он остановился перед антикварной лавкой. Сегодня, в разгар того, что когда-то именовалось лондонским сезоном, ничто не отличало эту лавку от всякой другой, кроме двух-трех покупателей в серых цилиндрах да солнечного блика на меди. Джон пошел дальше и, свернув на Пикадилли, чуть не сшиб с ног Вэла Дарти, направлявшегося в «Айсиум-Клуб», куда он недавно был принят.

— Здравствуйте, молодой человек. Вы куда?

Джон вспыхнул.

— Я был у портного.

Вэл смерил его взглядом с головы до пят.

— Отлично. Мне тут нужно заказать папиросы: а потом зайдем позавтракаем вместе.

Джон принял приглашение. Он мог получить от Вэла сведения о *ней!*

В табачной лавке, куда они теперь вошли, можно было увидеть в новом свете современное положение Англии, столь угнетающее ее прессу и общественных деятелей.

— Да, сэр; те самые папиросы, которые я поставлял, бывало, вашему отцу. Как же! Ведь мистер Монтегью Дарти был нашим постоянным покупателем,— позвольте, да, с того года, когда Мелтон взял первый приз на дерби. Один из лучших моих клиентов.

Слабая улыбка осветила лицо табачника.

— Сколько раз он мне советовал, на какую лошадь ставить. Что и говорить! Он, помнится, брал этих папирос две сотни в неделю, из года в год, и никогда не менял — всегда один сорт. Очень был любезный джентльмен, приводил ко мне множество новых покупателей. Я так жалел, когда с ним случилось несчастье. Когда лишаешься давнишнего клиента, всегда чувствуешь утрату.

Вэл улыбнулся. Смерть Монтегью Дарти закрыла в этом магазине самый, вероятно, длинный счет; и в кольцах дыма от крепкой, освященной временем папиросы он увидел лицо своего отца, смуглое, благообразное, с выхоленными усами, несколько одутловатое — в единственном ореоле, какой достался ему. Здесь его отца, во всяком случае, окружала слава: человек, куривший две сотни папирос в неделю, знавший толк в лошадях, умевший без конца брать в кредит! Для своего табачника — герой. Все-таки почет — и даже по наследству передается.

— Я уплачу наличными,— сказал он.— Сколько с меня?

— Для его сына и при наличной оплате — десять шиллингов шесть пенсов. Я никогда не забуду мистера Монтегью Дарти. Он, бывало, простаивал тут по полчаса, беседуя со мной. Таких, как он, теперь не часто

встретишь,— все куда-то спешат. Война плохо отразилась на манерах, плохо. Вы тоже, я вижу, сидели в окопах.

— Нет,— сказал Вэл, хлопнув себя по колену.— Это ранение я получил в предыдущую войну. Оно, думаю, спасло мне жизнь. Тебе не нужно папирос, Джон?

Джон пристыженно пробормотал: «Я ведь не курю»,— и увидел, как табачник скривил губы, словно не решаясь, сказать ли: «Боже праведный!» или: «Вот теперь и начать бы, сэр».

— Это хорошо,— отозвался Вэл.— Держись, пока можешь. Потянет курить, когда тебя крепко стукнет по лбу. Так это вправду тот самый табак?

— В точности, сэр; немного вздорожал, и только. Я всегда говорю: удивительно стойкая держава — Британская империя.

— Посылайте мне вот по этому адресу сто штук в неделю, а счет раз в месяц. Пошли, Джон.

Джон не без любопытства вступил в «Айсиум». Он никогда не бывал ни в одном лондонском клубе, кроме «Всякой всячины», где изредка завтракал с отцом. «Айсиум», дышащий скромным комфортом, не менялся, не мог измениться, покуда в правлении сидел Джордж Форсайт, которому его гастрономическая изощренность давала чуть ли не диктаторскую власть. «Айсиум» сурово относился к богачам послевоенной формации, и потребовалось все влияние Джорджа Форсайта, чтобы провести в члены клуба Проспера Профона, которого Джордж расхвалил как «превосходного спортсмена».

Джордж Форсайт и его протеже завтракали вдвоем, когда Вэл и Джон вошли в столовую клуба и, заметив пригласительный жест Джорджа, подсели к их столику — Вэл с лукаво прищуренными глазами и обаятельной улыбкой, Джон с торжественно сжатыми губами и подкупающей застенчивостью во взгляде. У этого углового столика был привилегированный вид, как будто за ним разрешалось сидеть только верховным мастерам масонской ложи. Атмосфера зала оказывала на Джона гипнотическое действие. Худолицый официант выступал с благоговейной почтительностью масона. Он, казалось, смотрел в рот Джорджу Форсайту, сочувственно наблюдал жадный огонек в его глазах и любовно следил за передвижением тяжелого серебра, меченного клубными вензелями. Рукав ливреи и конфиденциальный голос смущали Джона — так таинственно возникали они из-за его плеча.

Если не считать замечания Джорджа: «Ваш дедушка как-то дал мне полезный совет — он знал, что такое хорошая сигара»,— ни он, ни другой верховный мастер не обращали внимания на Джона, и мальчик был им за это благодарен. Разговор вертелся исключительно вокруг скрещивания пород, вокруг статей и цен на лошадей, и Джон слушал сперва словно в тумане, удивляясь, как может поместиться в голове столько премудрости. Он не мог отвести глаз от темнолицего мастера: слова его были так развязны и так удручающи — странные, тяжелые слова, точно выдавленные усмешкой. Джон думал о бабочках, когда вдруг до его сознания дошла фраза, сказанная темнолицым:

— Вот бы мистеру Сомсу Форсайду заинтересоваться лошадьми.

— Старому Сомсу? Где ему — высохшая жила!

Джон прилагал все усилия, чтобы не покраснеть, между тем как темнолицый мастер продолжал:

— Его дочка очень привлекательная маленькая женщина. Мистер Сомс Форсайд немного старомодный человек. Хотел бы я когда-нибудь посмотреть, как он веселится.

— Не беспокойтесь,— усмехнулся Джордж.— Он совсем не такой несчастный, как можно подумать. Он никогда не покажет, что наслаждается чем-нибудь: чтоб другие не отняли. Старый Сомс! Кто раз побит, тот дважды трус.

— Ты кончил, Джон?— сказал поспешно Вэл.— Пойдем выпьем кофе.

— Кто эти господа?— спросил Джон на лестнице.— Я плохо расслышал.

— Старший — Джордж Форсайт, двоюродный брат твоего отца и моего дяди Сомса. Он сидит здесь испокон веков. А второй, Профон, ну, тот — не поймешь что. Он, по-моему, увивается за женой Сомса, раз уж ты хочешь знать!

Джон поглядел на него в испуге.

— Это ужасно,— сказал он.— То есть ужасно для Флер.

— Не думаю, чтобы Флер придавала значение таким вещам; она очень современна.

— Но ведь это ее мать!

— Ты еще зелен, Джон.

Джон сделался ярко-красным.

— Мать,— буркнул он сердито,— это совсем другое дело.

— Ты прав,— вдруг согласился Вэл.— Но жизнь изменилась с тех пор, как я был в твоем возрасте. Каждый теперь говорит: «Лови мгновение, завтра мы умрем». Вот о чем думал старый Джордж, когда говорил о дяде Сомсе. Он-то не собирается завтра умирать.

Джон быстро спросил:

— Что произошло между ним и моим отцом?

— Семейная тайна, Джон. Послушай моего совета: не допытывайся. Тебе незачем знать. Налить тебе ликеру?

Джон мотнул головой.

— Меня возмущает, когда от человека все скрывают,— пробормотал он,— а потом насмехаются над ним, что он, мол, зелен.

— Хорошо, спроси у Холли. Если и она откажется тебе рассказать, ты поверишь, что это делается ради твоей же пользы.

Джон встал.

— Мне пора идти, спасибо за угощение.

Вэл улыбнулся полупечально, полувесело. Мальчик, казалось, был подавлен.

— Хорошо, ждем тебя в пятницу.

— Не знаю, право,— замялся Джон.

Он и впрямь не знал. Этот заговор приводил его в отчаяние. Было унизительно, что с ним обращаются, как с ребенком. Он вновь направил рассеянный шаг к Стрэттон-стрит. Теперь он пойдет в ее клуб и узнает

худшее. На его вопрос ему ответили, что мисс Форсайт не приходила, но, возможно, зайдет попозже. Она часто бывает здесь по понедельникам, но наверное ничего сказать нельзя. Джон сказал, что зайдет еще раз, и, войдя в Грин-парк, бросился на траву под деревом. Ярко светило солнце, и легкий ветер шевелил листья молодой липы, под которой лежал Джон; но сердце его болело. Над его счастьем собирались тучи. Большой Бэн отзвонил три, покрывая грохот колес. Эти звуки что-то в нем всколыхнули, и, достав клочок бумаги, он начал царапать по нему карандашом. Набросав четверостишие, он шарил рукой по траве в поисках новой рифмы, когда что-то твердое коснулось его плеча — зеленый зонтик. Над ним стояла Флер.

— Мне сказали, что ты заходил и вернешься. Вот я и подумала, что ты, верно, пошел сюда; так и оказалось — правда, удивительно?

— О Флер! Я думал, ты меня забыла.

— Но ведь я сказала тебе, что не забуду.

Джон схватил ее за руку.

— Это слишком большое счастье! Пройдем в другой конец.

Он почти поволок ее по этому слишком тщательно разделанному парку, ища укромного места, где можно сидеть рядом и держаться за руки.

— Никто не вклинился?— спросил он, заглядывая под ее нависшие ресницы.

— Один идиот появился на горизонте, но он не в счет.

Джона кольнула жалость к идиоту.

— Знаешь, у меня был солнечный удар. Я тебе об этом не писал.

— Правда? Это интересно?

— Нет. Мама была ангельски добра. А у тебя ничего нового?

— Ничего. Только, кажется, я раскопала, что́ неладно между нашими семьями, Джон.

Сердце его сильно забилось.

— Мне кажется, мой отец хотел жениться на твоей матери, а досталась она твоему отцу.

— О!

— Я наткнулась на ее фотографию; карточка была вставлена в рамку за моею. Конечно, если он очень ее любил, ему было от чего взбеситься, не так ли?

Джон задумался.

— Нет, не от чего, если мама полюбила моего отца.

— Но предположим, они были помолвлены?

— Если б мы были помолвлены и ты убедилась бы, что любишь кого-нибудь другого больше, чем меня, я сошел бы, может быть, с ума, но не винил бы тебя.

— А я винила бы. Ты меня не должен предавать, Джон.

— Боже мой! Разве я мог бы!

— Мне кажется, отец никогда по-настоящему не дорожил моею матерью.

Джон смолчал. Слова Вэла, два верховных мастера в клубе!

— Ведь мы не знаем,— продолжала Флер,— может быть, это было для него большим ударом. Может, она дурно с ним обошлась. Мало ли что бывает с людьми.

— Моя мама не могла бы!

Флер пожала плечами.

— Много мы знаем о наших отцах и матерях! Мы судим о них по тому, как они обходятся с нами. Но ведь они сталкивались и с другими людьми до нашего рождения. Со множеством людей. Возьми своего отца: у него три семьи!

— Неужели во всем проклятом Лондоне,— воскликнул Джон,— не найдется местечка, где мы могли бы быть одни?

— Только в такси.

— Возьмем такси.

Когда они устроились рядом, Флер вдруг спросила:

— Тебе нужно домой, в Робин-Хилл? Мне хочется посмотреть, где ты живешь, Джон. Меня ждет тетя, я у нее ночую сегодня, но ведь я успею вернуться к обеду. К вам в дом я, конечно, не зайду.

Джон окинул ее восхищенным взглядом.

— Великолепно! Я покажу тебе наш дом со стороны рощи — там мы никого не встретим. Есть поезд ровно в четыре.

Бог собственности и верные ему Форсайты, великие и малые,— рантье, чиновники, коммерсанты, врачи и адвокаты, как и все трудящиеся, еще не отработали своего семичасового рабочего дня, так что юноша и девушка из четвертого их поколения, поспев на этот ранний поезд, ехали к Робин-Хиллу в пустом вагоне первого класса, пыльном и душном, ехали в блаженном молчании, держась за руки.

На станции они не увидели никого, кроме носильщиков да двух-трех незнакомых Джону фермеров, и пошли в гору по проселочной дороге, где пахло пылью и жимолостью.

Для Джона, уверенного теперь в любимой и не боящегося новой разлуки, это было чудесное странствие, еще более пленительное, чем их прогулки по холмам или вдоль Темзы. Это была любовь в лазоревом мареве — одна из тех ярких страниц жизни, на которых каждое слово и улыбка, каждое легкое касание руки были точно маленькие красные, синие и золотые бабочки, и цветы, и птицы, порхающие между строк,— счастливое бездумное общение, длившееся тридцать семь минут. К роще они подошли в тот час, когда доят коров. Джон не собирался дойти с Флер до скотного двора, он хотел только привести ее на такое место, откуда видно поле, сад и за ними дом. Они побрели между лиственниц и вдруг у поворота дорожки увидели Ирэн, сидевшую на стволе упавшего дерева.

Бывают разного рода удары: удар по позвоночнику, по нервам, по совести, но самый сильный и болезненный — удар по чувству собственного достоинства. Такой удар пришлось принять Джону теперь, когда он столкнулся с матерью. Он вдруг понял, что совершил некрасивый поступок. Привести Флер открыто — да. Но украдкой... Сгорая от стыда, он призвал на помощь всю наглость, на какую только был способен.

— Ведь мы не знаем,— продолжала Флер,— может быть, это было для него большим ударом. Может, она дурно с ним обошлась. Мало ли что бывает с людьми.

— Моя мама не могла бы!

Флер пожала плечами.

— Много мы знаем о наших отцах и матерях! Мы судим о них по тому, как они обходятся с нами. Но ведь они сталкивались и с другими людьми до нашего рождения. Со множеством людей. Возьми своего отца: у него три семьи!

— Неужели во всем проклятом Лондоне,— воскликнул Джон,— не найдется местечка, где мы могли бы быть одни?

— Только в такси.

— Возьмем такси.

Когда они устроились рядом, Флер вдруг спросила:

— Тебе нужно домой, в Робин-Хилл? Мне хочется посмотреть, где ты живешь, Джон. Меня ждет тетя, я у нее ночую сегодня, но ведь я успею вернуться к обеду. К вам в дом я, конечно, не зайду.

Джон окинул ее восхищенным взглядом.

— Великолепно! Я покажу тебе наш дом со стороны рощи — там мы никого не встретим. Есть поезд ровно в четыре.

Бог собственности и верные ему Форсайты, великие и малые,— рантье, чиновники, коммерсанты, врачи и адвокаты, как и все трудящиеся, еще не отработали своего семичасового рабочего дня, так что юноша и девушка из четвертого их поколения, поспев на этот ранний поезд, ехали к Робин-Хиллу в пустом вагоне первого класса, пыльном и душном, ехали в блаженном молчании, держась за руки.

На станции они не увидели никого, кроме носильщиков да двух-трех незнакомых Джону фермеров, и пошли в гору по проселочной дороге, где пахло пылью и жимолостью.

Для Джона, уверенного теперь в любимой и не боящегося новой разлуки, это было чудесное странствие, еще более пленительное, чем их прогулки по холмам или вдоль Темзы. Это была любовь в лазоревом мареве — одна из тех ярких страниц жизни, на которых каждое слово и улыбка, каждое легкое касание руки были точно маленькие красные, синие и золотые бабочки, и цветы, и птицы, порхающие между строк,— счастливое бездумное общение, длившееся тридцать семь минут. К роще они подошли в тот час, когда доят коров. Джон не собирался дойти с Флер до скотного двора, он хотел только привести ее на такое место, откуда видно поле, сад и за ними дом. Они побрели между лиственниц и вдруг у поворота дорожки увидели Ирэн, сидевшую на стволе упавшего дерева.

Бывают разного рода удары: удар по позвоночнику, по нервам, по совести, но самый сильный и болезненный — удар по чувству собственного достоинства. Такой удар пришлось принять Джону теперь, когда он столкнулся с матерью. Он вдруг понял, что совершил некрасивый поступок. Привести Флер открыто — да. Но украдкой... Сгорая от стыда, он призвал на помощь всю наглость, на какую только был способен.

Флер улыбалась немного вызывающе. На лице Ирэн испуг быстро сменился равнодушно-приветливым выражением. Она заговорила первая:

— Очень рада вас видеть. Как мило, что Джон надумал привести вас к нам.

— Мы не собирались заходить в дом,— выпалил Джон.— Я только хотел показать Флер, где мы живем.

Мать его спокойно сказала:

— Зайдемте, выпьем чаю.

Сознавая, что только усугубил свою бестактность, Джон услышал ответ Флер:

— Благодарю вас, я с удовольствием зашла бы, но мне надо вернуться к обеду. Я случайно встретила Джона, и мне захотелось посмотреть на его дом.

Как она владеет собой!

— Отлично, но все-таки вы должны выпить у нас чаю. Мы вас отправим потом на вокзал. Мой муж будет рад вас видеть.

Взгляд матери, остановившись на миг на лице Джона, поверг его во прах, раздавил, как червя. Потом она пошла вперед, и Флер последовала за ней. Джон чувствовал себя ребенком, плетясь следом за обеими женщинами, так свободно разговаривавшими об Испании и Уонсдоне и о доме на зеленом холме за деревьями. Он следил, как скрещивались их взгляды, как они изучали друг друга — эти два существа, которых он любил больше всех на свете.

Он издали увидел отца, сидевшего под старым дубом, и заранее страдал от унизительного приговора, который придется ему прочитать во взгляде старика, в его спокойной позе, в его худощавой фигуре, старческой, но изящной; Джону уже чудилась легкая ирония в его голосе и улыбке.

— Это Флер Форсайт, Джолион; Джон привез ее посмотреть наш дом. Устроим чай сейчас же — наша гостья торопится на поезд. Джон, распорядись, дорогой, и вызови по телефону такси.

Было странно оставить ее с ними одну, и все-таки — как, несомненно, предусмотрела его мать — сейчас это оказалось наименьшим из зол; Джон побежал в дом. Теперь он больше ни на минуту не увидит Флер с глазу на глаз, а они не сговорились о следующей встрече. Когда он вернулся под прикрытием горничных и чайного прибора, в саду под старым дубом не чувствовалось и следа неловкости. Неловкость затаилась в нем самом, но от этого было не легче. Разговор шел о выставке на Корк-стрит.

— Мы, старики,— сказал его отец,— стараемся понять, почему мы не можем оценить нового искусства; вы с Джоном должны нас просветить.

— Его надо рассматривать как сатиру — вам не кажется?— сказала Флер.

Джолион улыбнулся.

— Сатира? Нет, мне думается, в нем есть нечто большее, чем сатира. Что ты скажешь, Джон?

— Не знаю,— замялся Джон.

Лицо его отца внезапно омрачилось.

— Мы надоели молодым — наши боги, наши идеалы. Руби им головы, кричат они, низвергай кумиры! Вернемся к Ничему! И видит бог, они так и сделали — уперлись в тупик. Джон поэт. Он тоже пойдет этой дорогой и будет топтать под ногами то, что останется от нас. Собственность, красота, чувство — все только дым! В наши дни не должно быть никакой собственности, даже собственных чувств. Они стоят поперек пути... в Ничто!

Джон слушал ошеломленный, почти оскорбленный словами отца, за которыми чуял непостижимый для него скрытый смысл. Он же ничего не хочет топтать!

— Ничто стало богом нынешнего дня,— продолжал Джолион,— мы пришли туда, где стояли русские шестьдесят лет назад, когда зачинали нигилизм.

— Нет, папа,— вдруг воскликнул Джон,— мы только хотим жить и не знаем как, потому что нам мешает прошлое,— вот и все.

— Честное слово,— сказал Джолион,— глубокая мысль, Джон. Это ты сам придумал? Прошлое! Старые формы собственности, старые страсти и их последствия. Закурим?

Уловив, как мать его подняла руку к губам — быстро, словно призывая к молчанию, Джон подал ящичек с папиросами. Он поднес спичку отцу и Флер, потом закурил сам. Стукнуло его по лбу, как говорил Вэл? Когда он не затягивался, дым был голубой, когда затягивался — серый; Джону понравилось ощущение в носу и сообщаемое папиросой чувство равенства. Хорошо, что никто не сказал: «Как? Ты тоже начал курить?» Он стал как будто старше.

Флер посмотрела на часы и поднялась. Мать Джона пошла с нею в дом. Джон, оставшись один с отцом, молча попыхивал папиросой.

— Усади гостью в машину, друг мой,— сказал Джолион,— и когда она уедет, попроси маму вернуться сюда ко мне.

Джон пошел. Он подождал в холле; усадил Флер в машину. Им так и не представилось случая перекинуться словом; едва удалось пожать на прощание руку. Весь вечер он ждал, что ему что-нибудь скажут. Но ничего не было сказано. Как будто ничего не произошло. Он пошел спать и в зеркале над туалетным столиком встретил самого себя. Он не заговорил, не заговорил и двойник; но оба смотрели так, точно что-то затаили в мыслях.

IV

НА ГРИН-СТРИТ

Неизвестно, как впервые возникло впечатление, что Проспер Профон — опасный человек: восходило ли оно к его попытке подарить Вэлу мэйфлайскую кобылу; к замечанию ли Флер, что он, «как мидийское воинство, рыщет и рыщет»; к его несуразному вопросу: «Зачем вам жизнеспособность, мистер Кардиган?», или попросту к тому факту, что он был иностранцем, или, как теперь говорят, «чужеродным элементом».

Известно только, что Аннет выглядела особенно красивой и что Сомс продал ему Гогена, а потом разорвал чек, после чего сам мсье Профон заявил: «Я так и не получил этой маленькой картинки, которую купил у мистера Форсайда».

Как ни подозрительно на него смотрели, он все же часто навещал вечнозеленый дом Уинифрид на Грин-стрит, блистая благодушной тупостью, которую никто не принимал за наивность — это слово вряд ли было применимо к мсье Просперу Профону. Правда, Уинифрид все еще находила белыйийца «забавным» и посылала ему записочки, приглашая: «Заходите, поможете нам приятно убить вечер» (не отставать в своем словаре от современности было для нее необходимо как воздух).

Если он был для всех окружен ореолом таинственности, это обусловливалось тем, что он все испытал, все видел, слышал и знал и, однако, ничего ни в чем не находил, что казалось противоестественным. Уинифрид, всегда вращавшаяся в светском обществе, была достаточно знакома с английским типом разочарованности. Люди этого типа отмечены печатью некоторой изысканности и благородства, так что это даже доставляет удовольствие окружающим. Но ничего ни в чем не находить было не по-английски; а все неанглийское невольно кажется опасным, если не представляется определенно дурным тоном. Как будто настроение, порожденное войной, прочно уселось — темное, тяжелое, равнодушно улыбающееся — в ваших креслах ампир, как будто оно заговорило вдруг, выпятив толстые румяные губы над мефистофельской бородкой. Для англичанина это было «немного чересчур», как выражался Джек Кардиган; если нет ничего, ради чего стоило бы волноваться, то все-таки остается спорт, а спорт уж, наверно, стоит волнения. Уинифрид, всегда остававшаяся в душе истой Форсайт, не могла не чувствовать, что от подобной разочарованности ничего не возьмешь, так что она действительно не имеет прав на существование. И впрямь мсье Профон слишком обнажал свой образ мыслей в стране, где такие явления принято вуалировать.

Когда Флер после поспешного возвращения из Робин-Хилла сошла в этот вечер к обеду, «настроение» стояло у окна в маленькой гостиной Уинифрид и глядело на Грин-стрит с таким выражением, точно ничего там не видело. Флер тотчас отвернулась и уставилась на камин, как будто видела в топке огонь, которого там не было.

Профон отошел от окна. Он был в полном параде: белый жилет, белый цветок в петлице.

— А, мисс Форсайд, очень рад вас видеть,— сказал он.— Как поживает мистер Форсайд? Я как раз сегодня говорил, что ему следует развлечься. Он скучает.

— Разве?— коротко ответила Флер.

— Определенно скучает,— повторил мсье Профон, картавя свои «р».

Флер резко обернулась.

— Сказать вам, что бы его развлекло?— начала она; но слова «услышать, что вы смылись» замерли у нее на губах, когда она увидела его лицо. Он обнажил все свои прекрасные белые зубы.

— Я слышал сегодня в клубе про его прежние неприятности.

— Не знаю,— замялся Джон.

Лицо его отца внезапно омрачилось.

— Мы надоели молодым — наши боги, наши идеалы. Руби им головы, кричат они, низвергай кумиры! Вернемся к Ничему! И видит бог, они так и сделали — уперлись в тупик. Джон поэт. Он тоже пойдет этой дорогой и будет топтать под ногами то, что останется от нас. Собственность, красота, чувство — все только дым! В наши дни не должно быть никакой собственности, даже собственных чувств. Они стоят поперек пути... в Ничто!

Джон слушал ошеломленный, почти оскорбленный словами отца, за которыми чуял непостижимый для него скрытый смысл. Он же ничего не хочет топтать!

— Ничто стало богом нынешнего дня,— продолжал Джолион,— мы пришли туда, где стояли русские шестьдесят лет назад, когда зачинали нигилизм.

— Нет, папа,— вдруг воскликнул Джон,— мы только хотим жить и не знаем как, потому что нам мешает прошлое,— вот и все.

— Честное слово,— сказал Джолион,— глубокая мысль, Джон. Это ты сам придумал? Прошлое! Старые формы собственности, старые страсти и их последствия. Закурим?

Уловив, как мать его подняла руку к губам — быстро, словно призывая к молчанию, Джон подал ящичек с папиросами. Он поднес спичку отцу и Флер, потом закурил сам. Стукнуло его по лбу, как говорил Вэл? Когда он не затягивался, дым был голубой, когда затягивался — серый; Джону понравилось ощущение в носу и сообщаемое папиросой чувство равенства. Хорошо, что никто не сказал: «Как? Ты тоже начал курить?» Он стал как будто старше.

Флер посмотрела на часы и поднялась. Мать Джона пошла с нею в дом. Джон, оставшись один с отцом, молча попыхивал папиросой.

— Усади гостью в машину, друг мой,— сказал Джолион,— и когда она уедет, попроси маму вернуться сюда ко мне.

Джон пошел. Он подождал в холле; усадил Флер в машину. Им так и не представилось случая перекинуться словом; едва удалось пожать на прощание руку. Весь вечер он ждал, что ему что-нибудь скажут. Но ничего не было сказано. Как будто ничего не произошло. Он пошел спать и в зеркале над туалетным столиком встретил самого себя. Он не заговорил, не заговорил и двойник; но оба смотрели так, точно что-то затаили в мыслях.

IV

НА ГРИН-СТРИТ

Неизвестно, как впервые возникло впечатление, что Проспер Профон — опасный человек: восходило ли оно к его попытке подарить Вэлу мэйфлайскую кобылу; к замечанию ли Флер, что он, «как мидийское воинство, рыщет и рыщет»; к его несуразному вопросу: «Зачем вам жизнеспособность, мистер Кардиган?», или попросту к тому факту, что он был иностранцем, или, как теперь говорят, «чужеродным элементом».

Известно только, что Аннет выглядела особенно красивой и что Сомс продал ему Гогена, а потом разорвал чек, после чего сам мсье Профон заявил: «Я так и не получил этой маленькой картинки, которую купил у мистера Форсайда».

Как ни подозрительно на него смотрели, он все же часто навещал вечнозеленый дом Уинифрид на Грин-стрит, блистая благодушной тупостью, которую никто не принимал за наивность — это слово вряд ли было применимо к мсье Просперу Профону. Правда, Уинифрид все еще находила бельгийца «забавным» и посылала ему записочки, приглашая: «Заходите, поможете нам приятно убить вечер» (не отставать в своем словаре от современности было для нее необходимо как воздух).

Если он был для всех окружен ореолом таинственности, это обусловливалось тем, что он все испытал, все видел, слышал и знал и, однако, ничего ни в чем не находил, что казалось противоестественным. Уинифрид, всегда вращавшаяся в светском обществе, была достаточно знакома с английским типом разочарованности. Люди этого типа отмечены печатью некоторой изысканности и благородства, так что это даже доставляет удовольствие окружающим. Но ничего ни в чем не находить было не по-английски; а все неанглийское невольно кажется опасным, если не представляется определенно дурным тоном. Как будто настроение, порожденное войной, прочно уселось — темное, тяжелое, равнодушно улыбающееся — в ваших креслах ампир, как будто оно заговорило вдруг, выпятив толстые румяные губы над мефистофельской бородкой. Для англичанина это было «немного чересчур», как выражался Джек Кардиган; если нет ничего, ради чего стоило бы волноваться, то все-таки остается спорт, а спорт уж, наверно, стоит волнения. Уинифрид, всегда остававшаяся в душе истой Форсайт, не могла не чувствовать, что от подобной разочарованности ничего не возьмешь, так что она действительно не имеет прав на существование. И впрямь мсье Профон слишком обнажал свой образ мыслей в стране, где такие явления принято вуалировать.

Когда Флер после поспешного возвращения из Робин-Хилла сошла в этот вечер к обеду, «настроение» стояло у окна в маленькой гостиной Уинифрид и глядело на Грин-стрит с таким выражением, точно ничего там не видело. Флер тотчас отвернулась и уставилась на камин, как будто видела в топке огонь, которого там не было.

Профон отошел от окна. Он был в полном параде: белый жилет, белый цветок в петлице.

— А, мисс Форсайд, очень рад вас видеть,— сказал он.— Как поживает мистер Форсайд? Я как раз сегодня говорил, что ему следует развлечься. Он скучает.

— Разве?— коротко ответила Флер.

— Определенно скучает,— повторил мсье Профон, картавя свои «р».

Флер резко обернулась.

— Сказать вам, что бы его развлекло?— начала она; но слова «услышать, что вы смылись» замерли у нее на губах, когда она увидела его лицо. Он обнажил все свои прекрасные белые зубы.

— Я слышал сегодня в клубе про его прежние неприятности.

Флер широко раскрыла глаза.

— Не понимаю, что вы имеете в виду.

Мсье Профон наклонил зализанную голову, словно желая умалить значение своих слов.

— То маленькое дельце,— сказал он,— еще до вашего рождения.

Сознавая, что он очень умно отвлек ее внимание от той лепты, которую сам вносил в неприятности ее отца, Флер не смогла, однако, воздержаться от вопроса, на который ее толкало острое любопытство.

— Расскажите, что вы слышали.

— Зачем же?— уронил мсье Профон.— Вы все это знаете.

— Разумеется. Но я хотела бы убедиться, что вам не передали в превратном виде.

— Про его первую жену,— начал мсье Профон.

Едва подавив возглас: «У папы никогда не было другой жены!»— Флер сказала:

— Да, так что же вы о ней слышали?

— Мистер Джордж Форсайд рассказал мне, как первая жена вашего отца впоследствии вышла замуж за его кузена Джолиона. Для мистера Форсайда это было, я думаю, немного неприятно. Я видел их сына — славный мальчик.

Флер подняла глаза. Дьявольски усмехающееся лицо мсье Профона поплыло перед нею. Так вот она, вот причина! Героическим усилием, какого еще не доводилось ей делать в жизни, Флер заставила остановиться поплывшее лицо. Она не знала, заметил ли Профон ее волнение. В гостиную вошла Уинифрид.

— О! Вы уже здесь. Мы с Имоджин провели восхитительный день на «Базаре младенца».

— Какого младенца?— машинально спросила Флер.

— Общества «Спасай младенцев». Мне подвернулась чудесная покупка, дорогая моя. Кусок старинного армянского кружева — невероятная древность. Вы мне скажете ваше мнение о нем, Проспер.

— Тетя!— вдруг прошептала Флер.

Испуганная странным тоном девушки, Уинифрид подошла к ней.

— Что с тобой? Тебе нехорошо?

Мсье Профон отошел к окну, откуда как будто и не мог услышать их разговор.

— Тетя, он... он сказал мне, что папа был уже раз женат. Правда, что он развелся с той женой и она вышла замуж за отца Джона Форсайта?

Никогда за всю свою жизнь матери четырех маленьких Дарти не испытывала Уинифрид такого смущения. Лицо ее племянницы было бледно, глаза темны, напряженный голос упал до шепота.

— Твой отец не хотел, чтобы ты об этом узнала,— сказала она как могла внушительней.— Всегда так получается. Я много раз говорила ему, что он должен тебе рассказать.

— О!— воскликнула Флер.

И все. Но и этого было довольно. Уинифрид погладила ее по плечу — по крепкому плечику, приятному и белому! Она всегда невольно

взглядом оценщика смотрела на племянницу, которая, конечно, выйдет когда-нибудь замуж, но не за этого мальчика.

— Мы уже много лет как забыли об этом,— сказала она в утешение.— Идем обедать.

— Нет, тетя. Мне нездоровится. Можно мне уйти наверх?

— Дорогая моя!— огорчилась Уинифрид.— Ты так близко принимаешь это к сердцу? Ведь между вами еще ничего не было. Этот мальчик — ребенок!

— Какой мальчик? У меня просто болит голова. И мне сегодня не хочется больше видеть этого человека.

— Хорошо, дорогая,— сказала Уинифрид.— Иди к себе и ляг. Я тебе пришлю брому, и я поговорю с Проспером. Зачем он вздумал сплетничать? Но должна сказать, по-моему, лучше даже, что ты все узнала.

Флер улыбнулась.

— Да,— сказала она и тихо ушла.

Когда она подымалась по лестнице, у нее кружилась голова, во рту было сухо, в груди щемило. Никогда за всю свою жизнь не знала она хотя бы минутного опасения, что не получит того, чего желала. День выдался полный сильных переживаний, а от завершившего их страшного открытия у нее и впрямь заболела голова. Не удивительно, что отец прячет ту фотографию,— стыдится, что хранит ее до сих пор. Но может ли он ненавидеть мать Джона, если хранит ее фотографию? Флер прижала руки к вискам, пытаясь разобраться в своих мыслях. А те рассказали ли Джону — ее появление в Робин-Хилле не принудило ли их рассказать? Да или нет? Все зависит теперь от этого. Она знает, и все знают, кроме, может быть, Джона.

Закусив губу, она шагала из угла в угол и думала с отчаянным напряжением. Джон любит свою мать. Если ему рассказали, как он поступит? Трудно предугадать. Но если нет, не может ли она... не может ли она завладеть им, выйти за него замуж, пока он не узнал? Она пересмотрела свои впечатления от Робин-Хилла. Лицо его матери, такое пассивное — темные глаза, волосы точно напудрены, в чертах сдержанное спокойствие, улыбка на губах,— это лицо ее смущало; и лицо его отца — доброе, осунувшееся, дышащее иронией. Она инстинктивно чувствовала, что они не могли тут же рассказать все Джону, не могли нанести ему удар, потому что для него узнать это будет, конечно, страшным ударом.

Только бы тетя не рассказала отцу, что ей это стало известно! Надо принять меры. Пока родители думают, что ни она, ни Джон ничего не знают, еще не все потеряно, можно замести следы и добиться желаемого. Но ее угнетала мысль о ее одиночестве в борьбе. Все против нее, все! Совсем как Джон сказал сегодня: он и она хотят жить, но прошлое стоит им поперек дороги, прошлое, в котором они не участвовали, которого они не понимают. Возмутительно! Вдруг она подумала о Джун. Не поможет ли она им? Почему-то Джун произвела на нее такое впечатление, точно она, сама ненавидя препятствия, должна сочувствовать их любви. Потом инстинкт подсказал другую мысль: «Не выдам ничего даже ей.

Нельзя. Джон должен быть моим. Наперекор им всем». Ей принесли чашку бульона и таблетку излюбленного средства Уинифрид от головной боли. Она проглотила и то и другое. Потом явилась и сама Уинифрид. Флер открыла компанию словами:

— Знаете, тетя, я не хочу, чтобы думали, будто я влюблена в этого мальчика. Право, я почти с ним и не знакома.

Уинифрид при всей своей опытности не была fine. Слова Флер почти успокоили ее. Конечно, девушке неприятно было услышать о семейном скандале, и Уинифрид приступила к смягчению тонов — задаче, к которой она была превосходно подготовлена, пройдя школу светского воспитания под опекой всегда спокойной мамаши и отца, нервы которого нужно было постоянно беречь, и школу долголетней супружеской жизни с Монтегью Дарти. Ее рассказ был рекордом упрощения. Первая жена Сомса крайне взбалмошная особа. Был еще молодой человек, который попал под омнибус, и она ушла от Сомса. Потом, через много лет, когда все могло бы опять наладиться, она увлеклась их двоюродным братом Джолионом; Сомс, конечно, был принужден с ней развестись. История эта давно всеми забыта, помнят только в семье. Впрочем, все обернулось к лучшему: у Сомса теперь есть Флер, а Джолион с Ирэн живут, по-видимому, очень счастливо, и сын их очень милый юноша. «А Вэл женился на Холли, и это окончательно все сгладило». С этими утешительными словами Уинифрид погладила племянницу по плечу, подумала: «Аппетитная маленькая женщина — вся как литая»,— и вернулась к Проспер Профону, который, несмотря на допущенную им бестактность, был в этот вечер очень «забавен».

В течение нескольких минут после ухода тетки Флер оставалась под влиянием брома материального и духовного. Но потом вновь вернулось сознание реальности. Тетя обошла молчанием все то, что действительно имело значение: чувство, ненависть, любовь, непримиримость страстных сердец. Так мало зная жизнь, едва затронутая любовью, Флер все же инстинктом поняла, что слова так же далеки от жизни, как монета от хлеба, который на нее покупают. «Бедный папа!— думала она.— Бедная я! Бедный Джон! Но все равно — раз я этого хочу, он будет мой». В окно своей комнаты она увидела, как Проспер Профон вышел в сумерках из подъезда и «порскнул прочь». Если он и ее мать... как отразится это на ее планах? Несомненно, отец в таком случае еще больше привяжется к ней, так что в конце концов согласится на все, чего она пожелает, или тем скорее примирится со всем, что она сделает без его ведома.

Она взяла горсть земли из ящика с цветами за окном и изо всей силы бросила вслед удаляющейся спине. Не добросила, конечно, но самая попытка подействовала на нее успокоительно.

Легкий ветер, врываясь в окно, приносил с Грин-стрит запах бензина — неприятный запах.

V

ЧИСТО ФОРСАЙТСКИЕ ДЕЛА

Когда Сомс направился в Сити, собираясь завернуть к концу дня на Грин-стрит, захватить Флер и самому отвезти ее домой, его одолевало раздумье. Удалившись от дел, он теперь редко бывал в Сити, но все-таки в конторе «Кэткот, Кингсон и Форсайт» у него был личный кабинет и два клерка для ведения чисто форсайтских дел — один на полном, другой на половинном окладе. Дела обстояли сейчас недурно — был благоприятный момент для продажи домов. И Сомс занимался ликвидацией недвижимого имущества своего отца, дяди Роджера и частично дяди Николаса. Благодаря своей проницательности и несомненной честности во всех денежных делах он получил право самовластно распоряжаться этими доверенными ему имуществами. Если Сомс думал то-то или то-то, не стоило труда думать еще и самому. Он гарантировал безответственность многочисленным Форсайтам третьего и четвертого поколений. Прочие опекуны — его двоюродные братья Роджер и Николас, его свойственники Туитимен и Спендер или муж его сестры Сисили,— все доверяли ему; он подписывался первый, а где подписался он, там подписывались за ним и остальные, и никто не становился ни на пенни беднее. Напротив, теперь все они стали на много пенни богаче, и ликвидация некоторых доверенных ему недвижимостей представлялась Сомсу в довольно розовом свете, насколько это мыслимо в нынешние времена; смущало только распределение дохода с ценностей, которые будут приобретены на реализованные суммы.

Итак, пробираясь по лихорадочным улицам Сити к самой тихой заводи в Лондоне, Сомс предавался раздумью. С деньгами становится до крайности туго; а нравы до крайности распустились. Результат войны. Банки не дают ссуд; сплошь и рядом нарушаются контракты. Чувствуется в воздухе какое-то веяние, которое ему не нравится,— и не нравится ему новое выражение лиц. Страна явно переживает полосу спекуляций и банкротств. Не давала удовлетворения мысль, что сам он и его доверители держали только такие ценности, которым ничто не грозило, кроме каких-нибудь сумасшедших мер, вроде аннулирования государственных долгов или налога на капитал. Если Сомс во что-либо верил, так это в «английский здравый смысл», то есть в умение тем или иным путем сохранить собственность. Не раз говаривал он, как до него Джемс: «Не знаю, куда мы идем»,— но в душе не верил, что мы вообще идем куда-нибудь. Если послушаются его совета, все останется на своем месте, а он в конце концов только рядовой англичанин, который держится того, что имеет, и знает, что никогда не расстанется со своим имуществом, не получив взамен чего-либо более или менее равноценного. Ум его был способен на всяческую эквилибристику в вопросах материального блага, а его взгляды на экономическое положение Англии трудно было опровергнуть простому смертному. Взять, к примеру, его самого. Он — человек состоятельный. Но разве это кому-нибудь наносит вред? Он не съедает десяти обедов в день; ест не больше, а может быть, и меньше иного бедняка. Он не тратит денег на распутство; потребляет не больше возду-

ха и едва ли больше воды, чем какой-нибудь слесарь или грузчик. Правда, он окружен красивыми вещами, но их производство дало людям возможность работать, а кто-нибудь должен же ими пользоваться. Он покупает картины, но надо ведь поощрять искусство. Он, в сущности, то случайное русло, по которому текут деньги на оплату рабочей силы. Против чего тут возражать? В его руках деньги оборачиваются быстрее и с большей пользой, чем в руках государства и своры нерасторопных и корыстолюбивых чиновников. А те суммы, которые он каждый год откладывает от своих доходов,— они точно так же поступают в оборот, как и израсходованные суммы, обращаясь в акции Треста водоснабжения, или муниципалитета, или еще какого-нибудь разумного и полезного предприятия. Государство не платит ему жалованья за то, что он управляет своими собственными и чужими финансами,— *он делает все бесплатно.* Это был его главный козырь против национализации: владельцы частной собственности не получают жалованья и все-таки всемерно способствуют оживлению денежного оборота. При национализации же как раз наоборот. В стране, задыхающейся от бюрократизма, Сомс Форсайт чувствовал, что доводы его нелегко опровергнуть.

Входя в свою тихую заводь, он с особенной досадой думал о том, что сотни беззастенчивых трестов и объединений, скупая на рынке всевозможные товары, искусственно взвинчивают цены. Это наглецы, насилующие индивидуалистическую систему. Все беды от них, так что даже утешительно видеть, что они наконец поджали хвост,— боятся, что скоро их махинации лопнут и они сядут в калошу.

Контора «Кэткот, Кингсон и Форсайт» занимала первый и второй этажи дома на правой стороне улицы. Поднимаясь в свой кабинет, Сомс думал: «Пора бы нам освежить краску».

Его старый клерк Грэдмен сидел на своем всегдашнем месте перед огромной конторкой с бесчисленным множеством выдвижных ящичков. Второй клерк, вернее, полклерка, стоял рядом с ним и держал отчет маклера об инвестировании поступлений от продажи дома на Брайанстон-сквер, принадлежавшего Роджеру Форсайту. Сомс взял у него из рук отчет.

— Ванкувер-Сити,— прочитал он.— Гм! Они сегодня упали.

С какой-то кряхтящей угодливостью старый Грэдмен ответил:

— Да-а; но все бумаги упали, мистер Сомс.

Полклерка удалился.

Сомс подложил документ к пачке других бумаг и повесил шляпу.

— Я хочу посмотреть свое завещание и брачный контракт, Грэдмен.

Старый Грэдмен повернулся, насколько позволял его стул-вертушка, вынул два дела из нижнего левого ящика. Снова распрямив спину, он поднял седую голову, весь красный от усилия.

— Копии, сэр.

Сомс взял бумаги. Его поразило вдруг, до чего Грэдмен похож на толстого пегого дворового пса, которого они держали всегда на цепи в Шелтере, пока в один прекрасный день не вмешалась Флер: она настояла, чтобы его спустили с цепи, после чего пес тут же укусил кухарку

и его пристрелили. Если Грэдмена спустить с цепи, он тоже укусит кухарку?

Обуздав свою легкомысленную фантазию, Сомс развернул брачный контракт. Восемнадцать лет он не заглядывал в эту папку — с тех самых пор, как после смерти отца и рождения Флер он изменил свое завещание. Ему захотелось убедиться, значатся ли в нем слова «пока состоит под покровительством мужа». Да, значатся. Странное выражение, если вдуматься: «покровительство», «покрывать», не лежит ли в основе его коневодческая терминология? Проценты с пятнадцати тысяч фунтов, которые он ей выплачивает без вычета подоходного налога, пока она остается его женой, и после, в продолжение вдовства, «*dum casta*» [1] — архаические и острые слова, вставленные, чтобы обеспечить безупречное поведение матери Флер. Кроме того, его завещание закрепляло за его вдовой годовую ренту в тысячу фунтов при том же условии. Прекрасно! Сомс вернул папки Грэдмену, который принял их, не поднимая глаз, повернулся вместе со стулом, водворил их обратно в нижний ящик и вновь углубился в свои подсчеты.

— Грэдмен! Не нравится мне положение дел в стране: развелось много людей, совершенно лишенных здравого смысла. Мне нужно найти способ оградить мисс Флер от всех возможных превратностей.

Грэдмен записал на промокашке цифру «2».

— Да-а,— сказал он,— появились неприятные веяния.

— Обычные страховки против возможных посягательств на капитал не достигают цели.

— Не достигают,— сказал Грэдмен.

— Допустим, лейбористы одержат верх или случится что-нибудь еще того похуже. Фанатики — самые опасные люди. Взять хотя бы Ирландию.

— Да-а,— сказал Грэдмен.

— Допустим, я теперь же составлю дарственную, по которой передам капитал дочери, тогда с меня, кроме процентов, не смогут взять ничего, если только они не изменят закона.

Грэдмен тряхнул головой и улыбнулся.

— О, на это они не пойдут!

— Как знать,— пробормотал Сомс.— Я им не доверяю.

— Потребуется два года, сэр, чтобы капитал, переданный в дар, не рассматривался в этом смысле как наследство.

Сомс фыркнул. Два года! Ему еще только шестьдесят пять.

— Не в этом дело. Набросайте дарственную, по которой все мое имущество переходило бы к детям мисс Флер на равных долях, а проценты шли бы в пожизненное пользование сперва мне, а затем ей без права досрочной выплаты, и прибавьте оговорку, что в случае, если произойдет что-либо, лишающее ее права на пожизненную ренту, эта рента переходит к ее опекунам, назначенным оберегать ее интересы, на полное их усмотрение.

---

[1] Латинская юридическая формула с буквальным значением «пока непорочна», то есть пока сохраняет верность покойному супругу.

Грэдмен прокряхтел:

— Такие крайние меры, сэр, в вашем возрасте... Вы выпускаете из рук контроль.

— Это мое личное дело,— отрезал Сомс.

Грэдмен написал на листе бумаги: «Пожизненное пользование — досрочная выплата — лишающее права на ренту — полное их усмотрение...»— и сказал:

— А кого в опекуны? Я предложил бы молодого Кингсона; симпатичный молодой человек и очень положительный.

— Да, можно взять его — одним из трех. Нужно еще двоих. Из Форсайтов мне что-то ни один не кажется подходящим.

— А молодой мистер Николас? Он юрист. Мы ему передавали дела.

— Он пороха не выдумает,— сказал Сомс.

Улыбка растеклась по лицу Грэдмена, заплывшему жиром бесчисленных бараньих котлет,— улыбка человека, который весь день сидит.

— В его возрасте от него этого ждать не приходится, мистер Сомс.

— Почему? Сколько ему? Сорок?

— Да-а. Совсем еще молодой человек.

— Хорошо. Возьмем его; но мне нужно кого-нибудь, кто проявлял бы личный интерес. Я что-то никого не нахожу.

— А что бы вы сказали о мистере Валериусе? Теперь, когда он вернулся в Англию?

— Вэл Дарти? А его отец?

— Н-да-а,— пробормотал Грэдмен,— отец его умер семь лет назад... Тут возможен отвод.

— Нет,— сказал Сомс,— с ним я не хотел бы связываться.

Он встал. Грэдмен вдруг сказал:

— Если введут налог на капитал, могут добраться и до опекунов, сэр. Выйдет то же самое. Я бы на вашем месте подождал.

— Это верно,— сказал Сомс.— Я подумаю. Вы послали повестку на Вир-стрит о выселении ввиду сноса?

— Пока что не посылал. Съемщица очень стара. Вряд ли она в таком возрасте склонна будет съезжать с квартиры.

— Неизвестно. Сейчас все заражены духом беспокойства.

— Все-таки, сэр, сомнительно. Ей восемьдесят один год.

— Пошлите повестку,— сказал Сомс,— посмотрим, что она скажет. Да! А как с мистером Тимоти? У нас все подготовлено на случай, если...

— У меня уже составлена опись его имущества; сделана оценка мебели и картин, так что мы знаем стоимость того, что мы будем выставлять на аукцион. Однако мне будет жаль, если он умрет. Подумать! Я знаю мистера Тимоти столько лет!

— Никто из нас не вечен,— сказал Сомс, снимая с вешалки шляпу.

— Да,— сказал Грэдмен,— но будет жаль — последний из старой семьи. Заняться мне этой жалобой на шум у жильцов с Олд-Комптон-стрит? Уж эти мне музыканты — вечно с ними неприятности.

— Займитесь. Мне надо еще зайти за мисс Флер, а поезд отходит в четыре. До свидания, Грэдмен.

— До свидания, мистер Сомс. Надеюсь, мисс Флер...

— Здоровье ее в порядке, но слишком она непоседлива.

— Да-а,— прокряхтел Грэдмен,— молодость.

Сомс вышел, раздумывая: «Старый Грэдмен! Будь он моложе, я взял бы его в опекуны. Не вижу никого, на кого я мог бы положиться с уверенностью, что он отнесется к делу вполне добросовестно».

Оставив эту заводь с ее неестественным покоем и желчной математической точностью, он шел и думал: «Пока под покровительством! Почему нельзя ограничить в правах людей вроде Профона вместо множества работящих немцев?»— и остановился, пораженный той бездной неприятностей, которые могла причинить такая непатриотическая мысль. Но ничего не поделаешь! Ни одной минуты не имеет человек полного покоя. Всегда и во всем что-нибудь кроется. И он направил свои шаги к Грин-стрит.

Ровно через два часа Томас Грэдмен, повернувшись вместе со своим стулом, запер последний ящик конторки, положил в жилетный карман связку ключей, такую внушительную, что от нее образовалось вздутие справа, у печени, обтер рукавом свой старый цилиндр, взял зонт и вышел на лестницу. Толстенький, коротенький, затянутый в сюртук, он шел в направлении к рынку Ковент-Гарден. Изо дня в день он неукоснительно делал пешком этот конец от конторы до станции подземки для моциона; и редко когда он не заключал по пути какой-нибудь глубоко продуманной сделки по части овощей и фруктов. Пусть рождаются новые поколения, меняются моды на шляпы, происходят войны, умирают старые Форсайты — Томас Грэдмен, верный и седой, должен ежедневно совершать свою прогулку и покупать свою ежедневную порцию овощей; конечно, не те пошли времена, и сын его лишился ноги, и в магазинах не дают, как бывало, славненьких плетенок донести покупку, и эта подземка — впрочем, очень удобная штука; однако жаловаться не приходится: здоровье у него — по его возрасту — хорошее; проработав в адвокатуре сорок пять лет, он зарабатывает добрых восемьсот фунтов в год; за последнее время стало очень хлопотно — все больше комиссионные за сбор квартирной платы, а вот теперь идет ликвидация недвижимой собственности Форсайтов, значит, и это скоро кончится,— и жизнь опять-таки сильно вздорожала; но, в сущности, не стоило бы тревожиться. «Все мы под богом ходим»,— как гласит его любимая поговорка; однако недвижимость в Лондоне,— что сказали бы мистер Роджер и мистер Джемс, если бы видели, как продаются дома?— тут пахнет безверием; а мистер Сомс — он все хлопочет. Переждать, пока умрут все ныне живущие, да еще двадцать один год,— дальше, кажется, некуда идти; однако здоровье у него превосходное, и мисс Флер хорошенькая девушка; она выйдет замуж; но теперь очень у многих вовсе нет детей — сам он в двадцать два года уже имел первого ребенка; мистер Джолион женился, будучи еще в Кембридже, и обзавелся ребенком в том же году — боже праведный! Это было в шестьдесят девятом году, задолго до того, как старый мистер Джолион (тонкий знаток по части недвижимого имущества!) отобрал свое завещание у мистера Джемса. Да! Вот были времена. В те дни усиленно покупали недвижимость, и не было этого хаки, и люди не сшибали друг друга с ног, чтобы как-нибудь выкрутить-

ся самим; и огурцы стоили два пенса штука; а дыни — чудные были дыни — таяли во рту! Пятьдесят лет прошло с того дня, когда он явился в контору мистера Джемса, и мистер Джемс сказал ему: «Ну, Грэдмен, вы еще юнец, но, увидите, со временем вы будете зарабатывать пятьсот фунтов в год»,— и он зарабатывал, и боялся бога, и служил Форсайтам, и соблюдал овощную диету по вечерам. Купив «Джона Буля» (хотя этот журнал был ему не по вкусу — слишком криклив) и держа в руках скромный пакет в толстой бумаге, он вошел в подземку и ступил на эскалатор, который понес его вниз, к недрам земли.

VI

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СОМСА

По дороге на Грин-стрит Сомс подумал, что ему следовало бы зайти к Думетриусу на Саффолк-стрит — узнать, каковы перспективы с покупкой Крома Старшего у Болдерби. Стоило, пожалуй, пережить войну, если она привела к тому, что Кром Старший поступает в продажу! Старый Болдерби умер, сын его и внук убиты на войне, наследство перешло к племяннику, который решил все распродать, одни говорят — ввиду политико-экономического положения Англии, другие — из-за астмы.

Если картина попадет в руки Думетриусу, цена ее станет недоступной; прежде чем попытаться приобрести ее самому, необходимо разведать, не завладел ли ею Думетриус. Итак, Сомс побеседовал с Думетриусом о Монтичелли — не войдет ли он теперь в цену, когда мода требует, чтобы живопись была чем угодно, только не живописью; поговорил о будущем Джонса, коснулся вскользь также и Бакстона Найта. Только перед самым уходом он добавил:

— Значит, Болдерби так и не продал Крома?

С гордой улыбкой расового превосходства Думетриус (как и рассчитывал Сомс) ответил:

— Я вам его добуду, мистер Форсайт, будьте уверены, сэр.

Трепетание его век укрепило Сомса в решении написать непосредственно новому лорду Болдерби и внушить ему, что с Кромом Старшим возможен только один достойный образ действия — избегать комиссионеров.

— Прекрасно. Всего хорошего,— сказал он и удалился, только зря раскрыв свои карты.

На Грин-стрит он узнал, что Флер ушла и вернется поздно вечером: она еще на день останется в Лондоне. Совсем приуныв, он сел один в такси, торопясь на поезд.

Домой он приехал около шести. Было душно, кусали комары, собиралась гроза. Забрав внизу письма, Сомс направился в свою туалетную, чтобы отряхнуть с себя прах Лондона.

Скучная почта: расписка, счет за покупки Флер. Проспект выставки офортов. Письмо, начинающееся словами:

«Сэр,
Считаю своим долгом...»

Верно, призыв благотворительного общества или что-нибудь неприятное. Сомс сразу посмотрел на подпись. Подписи не оказалось. Неуверенно он посмотрел на обороте, исследовал все уголки. Не будучи общественным деятелем, Сомс никогда еще не получал анонимных писем, и первым его побуждением было разорвать и выбросить послание как нечто опасное; вторым побуждением было прочесть его — ибо не слишком ли оно опасно?

«Сэр,

Считаю своим долгом довести до Вашего сведения, что, хоть я и не имею в этом деле никакой корысти, Ваша супруга состоит в связи с иностранцем...»

Дойдя до этого слова, Сомс машинально остановился и посмотрел на марку. Насколько он мог проникнуть в непроницаемую загадку почтового штемпеля, там стояло нечто кончающееся на «си», с двумя «т» в середине. Челси? Нет! Бэттерси? Возможно! Он стал читать дальше.

«Иностранцы все на один покрой. Всех бы их в мешок да в воду! Этот встречается с Вашей супругой два раза в неделю. Мне это известно по личному наблюдению, а смотреть, как надувают англичанина, противно моей натуре. Последите, и Вы убедитесь, правду ли я говорю. Я бы не вмешивался, если б это не был грязный иностранец.

Ваш покорный слуга».

Сомс бросил письмо с таким чувством, как если бы, войдя в спальню, нашел ее полной черных тараканов. Дрожь отвращения охватила его. Анонимность письма придавала этой минуте сугубую гнусность. Но что было хуже всего — эта тень притаилась в глубине его сознания с того воскресного вечера, когда Флер, указав на прогуливавшегося по лужайке Проспера Профона, сказала: «Рыщет, проныра!» Не в связи ли с этим пересмотрел он сегодня свое завещание и брачный контракт? А теперь анонимный наглец, по-видимому, без всякой корысти — только в удовлетворение своей ненависти к иностранцам — выволок это из темноты, где Сомс предпочел бы это оставить. Ему, в его возрасте, насильно навязывают такие сведения, и о ком?— о матери Флер! Он поднял письмо с ковра, разорвал его пополам и потом, уже сложив, чтобы разорвать на четыре части, остановился и перечел. В эту минуту он принял непреклонное решение. Он не допустит, чтобы его втянули в новый скандал. Нет! Что бы он ни надумал предпринять по этому делу,— а оно требовало самого дальновидного и осторожного подхода,— он не сделает ничего такого, что могло бы повредить Флер. Когда решение созрело, мысли его снова стали послушны рулю. Он совершил свои омовения. Руки его дрожали, когда он вытирал их. Скандала он не допустит, но что-нибудь надо же сделать, чтобы положить этому конец! Он прошел в комнату жены и остановился, озираясь. Мысль отыскать что-нибудь изобличающее, что дало бы ему основание держать ее под угрозой, даже не пришла ему в голову. Он не нашел бы ничего такого — Аннет слиш-

ком практична. Мысль о слежке за женой была оставлена прежде, чем успела сложиться,— слишком памятен был ему подобный опыт в прошлом. Нет! У него не было иных улик, кроме этого разорванного письма от «анонимного наглеца», чье бесстыдное вторжение в его личную жизнь Сомс находил глубоко возмутительным. Противно пользоваться этой единственной уликой, но все же, пожалуй, придется. Какое счастье, что Флер заночевала в городе! Стук в дверь прервал его мучительные размышления.

— Мистер Майкл Монт, сэр, ждет в гостиной. Вы примете его?

— Нет,— сказал Сомс.— То есть да! Я сейчас сойду вниз.

Хоть чем-нибудь, хоть на несколько минут отвлечься от этих мыслей!

Майкл Монт во фланелевом костюме стоял на веранде и курил папиросу. Он бросил ее при появлении Сомса и провел рукой по волосам.

К этому молодому человеку у Сомса было двойственное отношение. По старинным понятиям, он был, несомненно, ветрогон, безответственный юнец, однако было что-то подкупающее в его необычайно веселой манере выпаливать свои суждения.

— Заходите,— сказал Сомс.— Хотите чаю?

Монт зашел.

— Я думал, Флер уже вернулась, сэр. Но я рад, что не застал ее. Дело в том, что я отчаянно в нее влюбился; так отчаянно влюбился, что решил довести это до вашего сведения. Конечно, очень несовременно обращаться сперва к родителям, но я думаю, что вы мне это простите. Со своим собственным отцом я уже поговорил, и он сказал, что, если я перейду к оседлому образу жизни, он меня поддержит. Он даже одобряет эту мысль. Я ему рассказал про вашего Гойю.

— Ах так, он одобряет эту мысль?— невыразимо сухо повторил Сомс.

— Да, сэр. А вы?

Сомс ответил слабой улыбкой.

— Видите ли,— снова начал Монт, вертя в руках свою соломенную шляпу, между тем как волосы его, уши и брови — все, казалось, вздыбилось от волнения,— кто прошел через войну, тот не может действовать не спеша.

— Наспех жениться, а потом уйти от жены,— медленно проговорил Сомс.

— Но не от Флер, сэр! Вообразите себя на моем месте.

Сомс прокашлялся. Довод убедительный, что и говорить.

— Флер слишком молода.

— О нет, сэр. Мы теперь очень стары. Мой отец кажется мне совершеннейшим младенцем; его мыслительный аппарат не поддался никаким влияниям. Но он, видите ли, барт, а потому не двигается вперед.

— Барт?— переспросил Сомс.— Как это прикажете понимать?

— Баронет. Я тоже со временем буду бартом. Но я это как-нибудь переживу.

— Так ступайте с богом и переживите это как-нибудь,— сказал Сомс.

— О нет, сэр,— взмолился Монт,— я просто должен околачиваться поблизости, а то у меня уж никаких шансов не останется. Во всяком случае, вы ведь позволите Флер поступить так, как она захочет? Мадам ко мне благосклонна.

— В самом деле?— ледяным тоном сказал Сомс.

— Но вы не окончательно меня отстраняете?

Молодой человек посмотрел на него так жалостно, что Сомс улыбнулся.

— Вы, возможно, считаете себя очень старым,— сказал он,— но мне вы кажетесь крайне молодым. Всегда и во всем рваться вперед не есть доказательство зрелости.

— Хорошо, сэр, в вопросе нашего возраста я сдаюсь. Но чтоб доказать вам серьезность моих намерений, я занялся делом.

— Рад слышать.

— Я вступил компаньоном в одно издательство: родитель ставит монету.

Сомс прикрыл рот ладонью — у него едва не вырвались слова: «Да поможет бог несчастному издательству!» Серые глаза его пристально глядели на молодого человека.

— Я ничего не имею против вас, мистер Монт, но Флер для меня все. Все, вы понимаете?

— Да, сэр, понимаю: но и для меня она все.

— Может быть. Как бы там ни было, я рад, что вы меня предупредили. И больше, мне кажется, нам нечего пока об этом говорить.

— Значит, как я понимаю, дело за нею, сэр?

— И, надеюсь, долго еще будет за нею.

— Вы, однако, меня не ободряете,— сказал неожиданно Монт.

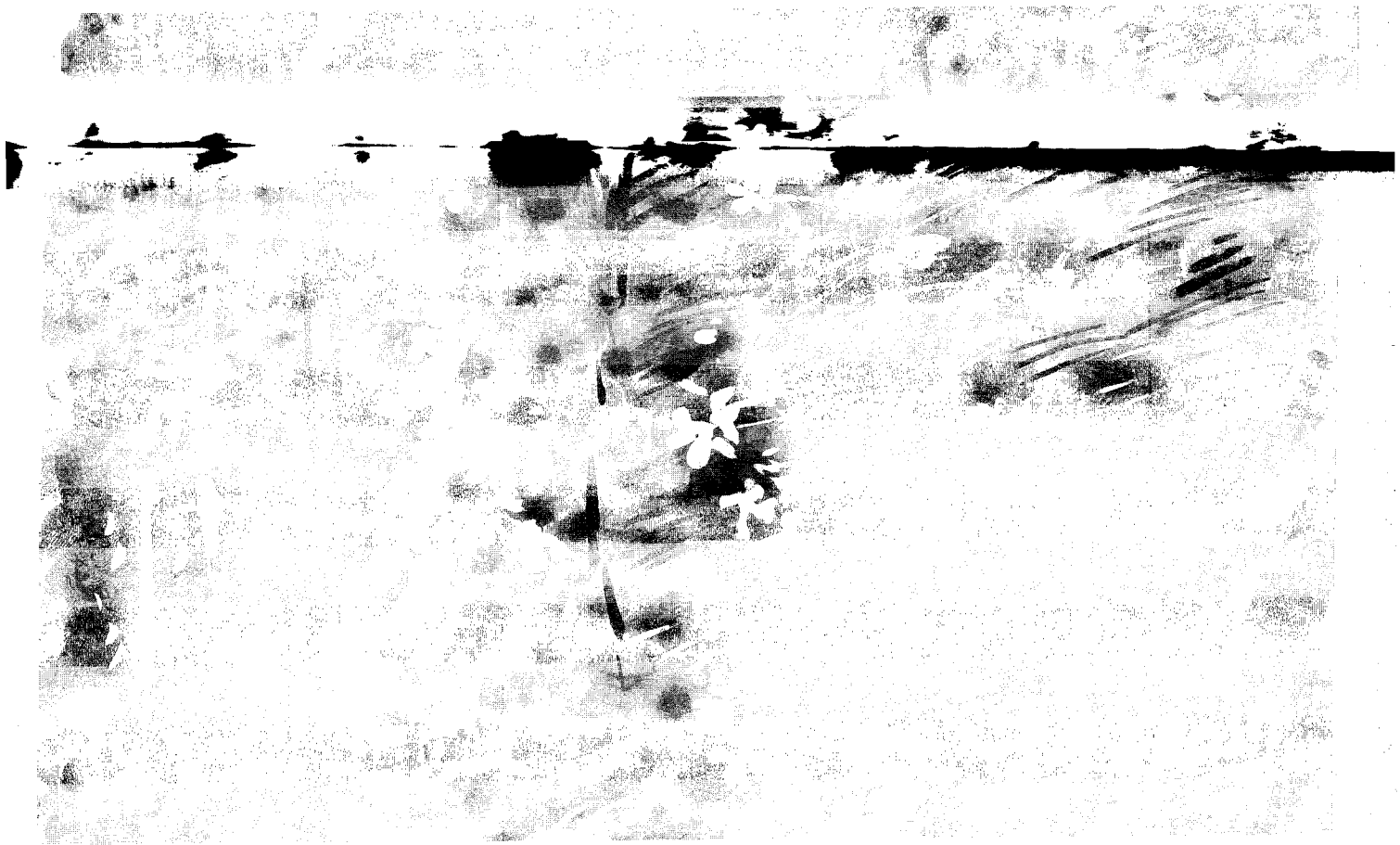
— Да,— ответил Сомс,— весь опыт моей жизни не позволяет мне поощрять поспешные браки. До свидания, мистер Монт. Я не передам Флер того, что вы мне сказали.

— Ох,— протянул Монт,— право, я готов голову себе размозжить из-за нее. Она это великолепно знает.

— Очень возможно.

Сомс протянул ему руку. Рассеянное пожатие, тяжелый вздох — и вскоре затем шум удаляющегося мотоцикла вызвал в уме картину взметенной пыли и переломанных костей.

«Вот оно, младшее поколение!»— угрюмо подумал Сомс и вышел в сад на лужайку. Садовники недавно косили, и в саду еще пахло свежим сеном — предгрозовой воздух удерживал все запахи низко над землей. Небо казалось лиловатым, тополя — черными. Две-три лодки пронеслись по реке, торопясь укрыться от бури. «Три дня прекрасной погоды,— думал Сомс,— и потом гроза». Где Аннет? Может быть, с этим белыйийцем — ведь она молодая женщина. Пораженный странным великодушием этой мысли, он вошел в беседку и сел. Факт был налицо, и Сомс принимал его: так много значила для него Флер, что жена значила мало, очень мало; француженка, она всегда была для него главным образом любовницей, а он становился равнодушен к этой стороне жизни. Удивительное дело, при своей неизменной заботе об уверенности



и верном помещении капитала свои чувства Сомс всегда отдавал целиком кому-нибудь одному. Сперва Ирэн, теперь Флер. Он смутно это сознавал, сидя здесь в беседке, сознавал и опасность такой верности. Она однажды привела его к краху и скандалу, но теперь... теперь она будет ему спасением: Флер так ему дорога, что ради нее он не допустит нового скандала. Попадись ему только автор этого анонимного письма, он бы его отучил соваться в чужие дела и поднимать грязь со дна болота, когда другим желательно, чтобы она оставалась на дне... Далекая вспышка молнии, глухой раскат грома, крупные капли дождя застучали о тростниковую крышу над головой. Сомс продолжал бесстрастно чертить пальцем рисунок на пыльной доске дачного столика. Обеспечить будущее Флер! «Я хочу ей счастливого плавания,— думал он,— все прочее в моем возрасте не имеет значения». Скучная история — жизнь! Что имеешь, того никогда не можешь удержать при себе. Одно отстранишь, впустишь другое. Ничего нельзя за собой обеспечить. Он потянулся и сорвал красную розу с ветки, застилавшей окошко. Цветы распускаются и опадают, странная штука — природа. Гром громыхал и раскалывался, катясь на восток, вниз по реке; белесые молнии били в глаза; острые вершины тополей четко рисовались в небе, тяжелый ливень гремел, и грохотал, и обволакивал беседку, где Сомс сидел в бесстрастном раздумье.

Когда гроза кончилась, он оставил свое убежище и пошел по мокрой дорожке к берегу реки.

В камышах укрылись два лебедя — его старые знакомцы, и он стоял, любуясь благородным достоинством в изгибе этих белых шей и в крупных змеиных головах. «А в том, что я должен сделать, нет достоинства»,— думал он. И все-таки сделать это было необходимо, чтобы не случилось чего похуже. Аннет, где бы она ни была днем, теперь должна быть дома — скоро обед. По мере приближения момента встречи с нею все труднее было решить, что ей сказать и как сказать. Новая и опасная мысль пришла ему на ум: что, если она захочет свободы, чтобы выйти замуж за этого типа? Все равно развода она не получит. Не для того он на ней женился. Образ Проспера Профона лениво профланировал перед глазами и успокоил его. Такие мужчины не женятся. Нет, нет! Мгновенный страх сменился досадой. «Лучше ему не попадаться мне на глаза,— подумал Сомс.— Армяно-бельгийская помесь. Ублюдок, воплощающий...» Но что воплощал собою Проспер Профон? Конечно, ничего существенного. И все-таки нечто слишком реальное: безнравственность, сорвавшуюся с цепи, разочарование, вынюхивающее добычу. Аннет переняла у него выражение: «Je m'en fiche». Подозрительный субъект! Космополит с континента — продукт времени. Если и возможно было более уничтожающее ругательство, Сомс его не знал.

Лебеди повернули головы и глядели мимо в какую-то им одним ведомую даль. Один из них испустил тихий посвист, вильнул хвостом, повернулся, словно слушаясь руля, и поплыл прочь. Второй последовал за ним. Белые их тела и стройные шеи исчезли из виду, и Сомс направился к дому.

Аннет сидела в гостиной, одетая к обеду, и Сомс, поднимаясь по лестнице, думал: «Трудно судить по наружному виду». За обедом, отличавшимся строгостью количества и совершенством качества, разговор иссяк на двух-трех замечаниях по поводу гардин в гостиной и грозы. Сомс ничего не пил. Немного переждав, он последовал за женой в гостиную. Аннет сидела на диване между двумя стеклянными дверьми и курила папиросу. Она откинулась на подушку, прямая, в черном платье с глубоким вырезом, закинула ногу на ногу и полузакрыла свои голубые глаза; серо-голубой дымок выходил из ее красивых полных губ, каштановые волосы сдерживала лента; на ногах у нее были тончайшие шелковые чулки, и открытые туфельки на очень высоких каблуках подчеркивали крутой подъем. Прекрасное украшение для какой угодно комнаты! Сомс, зажав разорванное письмо в руке, которую засунул глубоко в боковой карман визитки, сказал:

— Я закрою окно: поднимается сырость.

Закрыл и остановился перед Дэвидом Коксом, красовавшимся на кремовой обшивке ближайшей стены.

О чем она думает? Сомс никогда в жизни не понимал женщин, за исключением Флер, да и ту не всегда. Сердце его билось учащенно. Но если действовать, то действовать сейчас — самый удобный момент. Отвернувшись от Дэвида Кокса, он вынул разорванное письмо.

— Вот что я получил.

Глаза ее расширились, уставились на него и сделались жесткими.

Сомс протянул ей письмо.

— Оно разорвано, но прочесть можно.

И он опять отвернулся к Дэвиду Коксу: морской пейзаж, хороший по краскам, но мало движения: «Интересно бы знать, что делает сейчас Профон?— думал Сомс.— Однако я его изрядно удивлю». Уголком глаза он видел, что Аннет держит письмо на весу; ее глаза движутся из стороны в сторону под сенью подчерненных ресниц и нахмуренных подчерненных бровей. Она уронила письмо, вздрогнула слегка, улыбнулась и сказала:

— Какая грязь!

— Вполне согласен,— ответил Сомс,— позорно. Это правда?

Белый зуб прикусил красную нижнюю губу.

— А если и правда?

Ну и наглость!

— Это все, что ты можешь сказать?

— Нет.

— Так говори же.

— Что пользы в разговорах?

Сомс произнес ледяным голосом:

— Значит, ты подтверждаешь?

— Я ничего не подтверждаю. Ты дурак, что спрашиваешь. Такой мужчина, как ты, не должен спрашивать. Это опасно.

Сомс прошелся по комнате, стараясь подавить закипавшую ярость.

— Ты помнишь,— сказал он, останавливаясь против нее,— чем ты была, когда я взял тебя в жены? Счетовод в ресторане.

— А ты помнишь, что я была больше чем вдвое моложе тебя?

Сомс, разрывая первый жесткую встречу их глаз, отошел обратно к Дэвиду Коксу.

— Я не намерен с тобой препираться. Я требую, чтобы ты положила конец этой дружбе. Я вхожу в это дело лишь постольку, поскольку оно может отразиться на Флер.

— А! На Флер!

— Да,— упрямо повторил Сомс,— на Флер. Тебе она такая же дочь, как и мне.

— Как вы добры, что этого не отрицаете.

— Ты намерена исполнить мое требование?

— Я отказываюсь сообщать тебе мои намерения.

— Так я тебя заставлю.

Аннет улыбнулась.

— Нет, Сомс. Ничего ты не можешь сделать. Не говори слов, в которых потом раскаешься.

У Сомса жилы налились на лбу. Он раскрыл рот, чтобы дать исход негодованию, и не мог. Аннет продолжала:

— Подобных писем больше не будет, это я тебе обещаю — и довольно.

Сомса передернуло. Эта женщина, которая заслуживает... он сам не знал чего,— эта женщина обращается с ним, точно с ребенком.

— Когда двое поженились и живут так, как мы с тобой, Сомс, нечего им беспокоиться друг о друге. Есть вещи, которые лучше не вытаскивать на свет, людям на посмещище. Ты оставишь меня в покое, не ради меня, ради себя самого. Ты стареешь, а я еще нет. Ты научил меня быть очень практичной.

Сомс, прошедший через все стадии чувств, переживаемых человеком, которого душат, тупо повторил:

— Я требую, чтобы ты прекратила эту дружбу.

— А если не прекращу?

— Тогда... тогда я исключу тебя из моего завещания.

Удар, видно, не попал в цель: Аннет засмеялась.

— Ты будешь долго жить, Сомс.

— Ты развратная женщина,— сказал неожиданно Сомс.

Аннет пожала плечами.

— Не думаю. Совместная жизнь с тобой умертвила во мне многое, не спорю; но я не развратна, нет. Я только благоразумна. Ты тоже образумишься, когда все как следует обдумаешь.

— Я повидаюсь с этим человеком,— угрюмо сказал Сомс,— и предостерегу его.

— Mon cher, ты смешон! Ты меня не хочешь, а поскольку ты меня хочешь, постольку ты меня имеешь; и ты требуешь, чтобы все остальное во мне умерло! Я ничего не подтверждаю, Сомс, но должна сказать, что вовсе не собираюсь в моем возрасте отказываться от жизни, а потому советую тебе: успокойся. Я и сама не хочу скандала. Отнюдь нет. И больше я тебе ничего не скажу, что бы ты ни делал.

Она потянулась, взяла со столика французский роман и открыла его. Сомс глядел на нее и молчал, слишком полный смешанных чувств. Мысль о Профоне почти заставляла его желать эту женщину, и это, раскрывая основу их взаимоотношений, пугало человека, не очень склонного к самоанализу. Не сказав больше ни слова, он вышел вон и поднялся в свою картинную галерею. Вот что значит жениться на француженке! Однако без нее не было бы Флер. Она исполнила свое назначение.

«Она права,— думал он.— Я ничего не могу сделать. Я даже не знаю, было что-нибудь между ними или нет». Инстинкт самосохранения подсказал ему захлопнуть клапан, дать огню погаснуть от недостатка воздуха. Пока человек не поверил, что что-то есть, ничего и нет.

Ночью он зашел в ее спальню. Аннет приняла его, как всегда спокойно, точно между ними ничего не произошло. И он вернулся к себе со странным чувством умиротворенности. Когда не хочешь видеть, можно и не видеть. Он не хочет и впредь не захочет. Когда видишь, на этом ничего не выгадываешь, ничего! Выдвинув ящик в шкафу, он достал из саше носовой платок и рамку с фотографией Флер. Поглядев немного на нее, он сдвинул карточку, и явилась другая — та старинная фотография Ирэн. Ухала сова, пока он стоял у окна и глядел на карточку. Ухала сова, красные ползучие розы, казалось, сгустили свою окраску, доносился запах цветущих лип. Боже! Тогда было совсем другое. Страсть!.. Память!.. Прах!..

VII

ДЖУН ХОЧЕТ ПОМОЧЬ

Скульптор, славянин, прожил некоторое время в Нью-Йорке, эгоист, страдает безденежьем. Такого человека вполне естественно встретить вечером в ателье Джун Форсайт в Чизике, на берегу Темзы. Вечер шестого июля Борис Струмоловский, выставивший здесь некоторые свои работы, пока что чересчур передовые для всякого другого места, начал очень неплохо: рассеянная молчаливость, унося от земли и придавая ему какое-то сходство с Христом, удивительно шла к его юному, круглому, широкоскулому лицу, обрамленному светлыми волосами, подстриженными челкой, как у девушки. Джун была знакома с ним три недели и все еще видела в нем лучшее воплощение гения и надежду будущего: своего рода звезда Востока, забредшая на Запад, где ее не хотят оценить. До этого вечера основной темой его разговоров были впечатления от Соединенных Штатов, прах которых он только что отряхнул со своих ног,— страны, по его мнению, настолько во всех отношениях варварской, что он там почти ничего не продал и был взят на подозрение полицией; у этой страны, говорил он, нет своего расового лица, нет ни свободы, ни равенства, ни братства, нет принципов, традиций, вкуса — словом, нет души. Он оставил ее без сожалений и приехал в единственную страну, где можно жить по-человечески. В минуты одиночества Джун сокрушенно думала о нем, стоя перед его творениями — пугающими, но полными силы и символического смысла, когда их растолкуют. То, что

Борис в ореоле своих золотых волос, напоминающих раннюю итальянскую живопись, поглощенный своей гениальностью до забвения всего на свете (несомненно, единственный признак, по которому можно распознать подлинного гения), то, что он все-таки был «несчастненьким», волновало ее горячее сердце почти до забвения Пола Поста. И она уже приступила было к чистке своей галереи с целью заполнить ее шедеврами Струмоловского. Но с первых же шагов встретились затруднения. Пол Пост артачился; Воспович язвил. Со всем пылом гениальности, которой она пока что не отрицала за ними, они требовали предоставления им галереи еще по меньшей мере на шесть недель. Наплыв американцев на исходе — скоро начнется отлив. Наплыв американцев — это их законное право, их единственная надежда, их спасение, раз в нашей «подлой» стране никто не интересуется искусством. Джун уступила их доводам. В конце концов Борис не должен возражать, если они захватят безраздельно всю выгоду от наплыва американцев, которых он так глубоко презирает.

Вечером шестого июля она изложила все это Борису без посторонних, в присутствии одной только Ханны Хобди, известной своими гравюрами на средневековые темы, и Джимми Португала — редактора журнала «Неоартист». Она изложила это ему с той неожиданной доверчивостью, которую постоянное общение с неоартистическим миром не смогло иссушить в ее горячем, великодушном сердце. Однако, когда Струмоловский выступил с ответной речью, Джун уже на второй минуте этой речи начала поводить своими синими глазами, как поводит кошка хвостом. Это, сказал он, характерно для Англии, самой эгоистической в мире страны, страны, которая сосет кровь других стран, сушит мозги и сердца ирландцев, индусов, египтян, буров и бирманцев, всех прекраснейших народов земли; грубая, лицемерная Англия! Ничего другого он не ждал, когда приехал в страну, где климат — сплошной туман, а народ — сплошные торгаши, совершенно слепые к искусству, погрязшие в барышничестве и грубейшем материализме. Услышав шепот Ханны Хобди: «Внимание!»— и сдавленный смешок Джимми Португала, Джун побагровела, и вдруг ее прорвало:

— Зачем же тогда вы приехали? Мы вас не звали.

Это замечание так странно шло вразрез со всем, чего можно было ожидать от нее, что Струмоловский только протянул руку и взял папиросу.

— Англия никогда не любила идеалистов,— сказал он.

Но что-то исконно английское в сердце Джун было глубоко возмущено; может быть, пробудилось унаследованное от старого Джолиона чувство справедливости.

— Вы у нас нахлебничаете,— сказала она,— а потом поносите нас. По-вашему, это, может быть, честно, но по-моему — нет.

Она вдруг открыла то, что давно до нее открыли другие: необычайно толстую кожу, которой иногда прикрывается самолюбие гения. Юное и простодушное лицо Струмоловского превратилось в презрительную маску.

— Нахлебничаем? Никто у вас не нахлебничает. Мы берем то, что нам причитается, десятую долю того, что причитается. Вы пожалеете о ваших словах, мисс Форсайт.

— Нет,— сказала Джун,— не пожалею.

— О! Мы отлично знаем, мы, художники: вы нас берете, чтоб извлечь из нас, что можно. Мне от вас ничего не надо.— И он выпустил изо рта клуб дыма от купленного ею табака.

Решение поднялось в ней порывом ледяного ветра в буре оскорбленного стыда.

— Очень хорошо. Можете убрать отсюда ваши произведения.

Почти в то же мгновение она подумала: «Бедный мальчик! Он живет на чердаке и, верно, не имеет денег нанять такси. При посторонних! Вышло прямо гнусно».

Юный Струмоловский решительно тряхнул головой; волосы его, густые, ровные, гладкие, точно золотое блюдце, не растрепались при этом.

— Я могу прожить и без денег,— пронзительно зазвучал его голос,— мне часто приходилось так жить ради моего искусства. Это вы, буржуа, принуждаете нас тратить деньги.

Слова ударили Джун, как булыжник в ребра. После всего, что она сделала для искусства, она, которая волновалась его волнениями, нянчилась с его «несчастненькими»! Она подыскивала ответные слова, когда раскрылась дверь и горничная-австрийка зашептала:

— К вам молодая леди, gnädiges Fräulein[1].

— Где она?

— В столовой.

Джун бросила взгляд на Бориса Струмоловского, на Ханну Хобди, на Джимми Португала и, ничего не сказав, вышла, очень далекая от душевного равновесия. Войдя в столовую, она увидела, что молодая леди — не кто иная, как Флер. Девушка выглядела прелестной, хоть и была бледна. В тот час разочарования «несчастненькая» из ее собственного племени была желанной гостьей для Джун, инстинктивно тянувшейся всегда к гомеопатическим средствам.

Флер пришла, конечно, из-за Джона, а если и нет, то чтобы выведать что-нибудь от нее. И Джун почувствовала в это мгновение, что помогать кому-нибудь — единственно сносное занятие.

— Итак, вы вспомнили мое приглашение,— начала она.

— Да, какой славный, уютный домик! Но, пожалуйста, гоните меня прочь, если у вас гости.

— И не подумаю,— ответила Джун.— Пусть поварятся немного в собственном соку. Вы пришли из-за Джона?

— Вы сказали тогда, что, по-вашему, от нас не следует скрывать. Ну вот, я узнала.

— О!— сказала Джун.— Некрасивая история, правда?

Они стояли друг против друга, разделенные маленьким непокрытым столом, за которым Джун обычно обедала. В вазе на столе стоял боль-

[1] Барышня *(нем.)*.

шой букет исландских маков; девушка подняла руку и затянутым в замшу пальцем притронулась к лепестку. Ее новомодное затейливое платье с оборками на боках и узкое в коленях неожиданно понравилось Джун — очаровательный цвет, темно-голубой, как лен.

«Просится на холст»,— подумала Джун. Ее маленькая комната с выбеленными стенами, с полом и камином из старинного розового изразца и с решеткой на окне, в которое солнце бросало свой последний свет, никогда не казалось такой прелестной, как сейчас, когда ее украсила фигура девушки с молочно-белым, слегка нахмуренным лицом. Джун неожиданно остро вспомнила, как была миловидна она сама в те давние дни, когда ее сердце было отдано Филипу Босини, мертвому возлюбленному, который отступился от нее, чтобы разорвать навсегда зависимость Ирэн от отца этой девушки. Флер и об этом узнала?

— Ну,— сказала она,— как же вы намерены поступить?

Прошло несколько секунд, прежде чем Флер ответила.

— Я не хочу, чтобы Джон страдал. Я должна увидеть его еще раз и положить этому конец.

— Вы намерены положить конец?

— Что мне еще остается делать?

Девушка вдруг показалась Джун нестерпимо безжизненной.

— Вы, полагаю, правы,— пробормотала она.— Я знаю, что так же думает и мой отец; но... я никогда не поступила бы так сама. Я не могу сдаваться без борьбы.

Какая она осторожная и уравновешенная, эта девушка, как бесстрастно звучит ее голос!

— Все, понятно, думают, что я влюблена.

— А разве нет?

Флер пожала плечами. «Я должна была знать заранее,— подумала Джун.— Она дочь Сомса — рыба! Хотя он...»

— Чего же вы хотите от *меня*?— спросила она с некоторой брезгливостью.

— Нельзя ли мне увидеться здесь завтра с Джоном, когда он поедет к Холли? Он придет, если вы черкнете ему сегодня несколько слов. А после вы, может быть, успокоили бы их там, в Робин-Хилле, что все кончено, и что им незачем рассказывать Джону о его матери?

— Хорошо!— сказала коротко Джун.— Я сейчас напишу, и вы можете сами опустить письмо. Завтра, в половине третьего. Меня не будет дома.

Она села к маленькому письменному столу в углу комнаты. Когда она обернулась, кончив письмо, Флер все еще стояла, перебирая замшевыми пальцами маки.

Джун запечатала конверт.

— Вот, возьмите. Если вы не влюблены, тогда, конечно, не о чем больше говорить. Такое уж Джону счастье.

Флер взяла письмо.

— Я страшно вам благодарна.

«Хладнокровная особа»,— подумала Джун. Джон, сын ее отца, любит и нелюбим — и кем?— дочерью Сомса. Какое унижение!

— Это все?

Флер кивнула головой; оборки ее колебались и трепетали, когда она шла, покачиваясь, к двери.

— До свидания!

— До свидания... модная куколка,— пробормотала Джун, закрывая дверь. «Ну и семейка!» И она зашагала обратно в ателье.

Борис Струмоловский молчал, похожий на Христа, а Джимми Португал разносил всех и каждого, за исключением группы, которую представлял в печати его «Неоартист». В числе осужденных был Эрик Коббли и еще несколько гениев, которые в то или иное время занимали первое место в репертуаре Джун, пользовались ее помощью и преклонением. С чувством отвращения и пустоты она отошла к окну, чтобы ветер с реки унес звучавшие в ушах скрипучие слова.

Но когда Джимми Португал кончил наконец и ушел с Ханной Хобди, она села и добрых полчаса утешала Бориса Струмоловского, обещая ему по меньшей мере месяц американского счастья, так что он удалился, сохранив в полном порядке свой золотой ореол. «А все-таки,— думала Джун,— Борис — удивительный человек».

VIII

ЗАКУСИВ УДИЛА

Понять, что ты один против всех, значит (для некоторых натур) освободиться от морального гнета. Флер не испытывала угрызений совести, когда вышла из дома Джун. Прочитав осуждение и досаду в синих глазах своей маленькой родственницы, она почувствовала радость, что одурачила ее. Она презирала Джун за что, что старая идеалистка не разгадала ее истинных целей.

Положить конец? Как бы не так! Скоро она им всем покажет, что положила только начало. И она улыбалась самой себе на империале автобуса, который вез ее назад в Мэйфэр. Но улыбка сбежала с ее губ, спугнутая судорогой предчувствий и тревоги. Совладает ли она с Джоном? Она закусила удила — заставит ли она его сделать то же? Она знает правду и всю опасность промедления — он не знает ни того, ни другого; разница очень существенная.

«Не рассказать ли ему?— думала она.— Так будет, пожалуй, вернее». Это дурацкое стечение обстоятельств не вправе портить их любовь. Джон должен понять. Этого нельзя допустить. С совершившимся фактом люди всегда рано или поздно мирятся. От этой философской мысли, довольно глубокой для ее возраста, она перешла к соображению менее философическому. Если уговорить Джона на немедленный тайный брак, а потом он узнает, что ей была известна вся правда,— что тогда? Джон ненавидит окольные дороги. Так не лучше ли рассказать ему? Но вставшее в памяти лицо его матери упорно мешало такому намерению. Флер боялась. Мать Джона имеет над ним власть; может быть, большую, чем она сама. Кто знает? Риск слишком велик. Поглощенная этими подсознательными расчетами, она проехала мимо Грин-стрит до самого отеля «Ритц». Здесь она сошла и пошла пешком обратно вдоль Грин-парка.

Гроза омыла каждое дерево, с них еще капало. Тяжелые капли падали на ее оборки, и, чтобы укрыться, она перешла через улицу под окна «Айсиум-Клуба». Случайно подняв глаза, она увидела в окне мсье Профона с незнакомым ей высоким толстым человеком. Сворачивая на Грин-стрит, она услышала, что ее окликнули по имени, и увидела догонявшего ее «проныру». Он снял шляпу — глянцевитый котелок, какие она особенно ненавидела.

— Добрый вечер, мисс Форсайд. Не могу ли я оказать вам какую-нибудь маленькую услугу?

— Да — перейти на ту сторону.

— Скажите на милость! За что вы меня так не любите?

— Вам кажется?

— Похоже на то.

— Хорошо, я скажу вам: потому что вы заражаете меня чувством, что жить на свете не стоит труда.

Мсье Профон улыбнулся.

— Бросьте, мисс Форсайд, не огорчайтесь. Все уляжется. Ничто на земле не прочно.

— Нет, многое прочно,— вскричала Флер,— по крайней мере, для меня. В особенности приязнь и неприязнь.

— Однако это делает меня немного несчастным.

— А я думала, что вас ничто не может сделать счастливым или несчастным.

— Я не люблю докучать людям, а потому уезжаю на своей яхте.

Флер удивленно вскинула на него глаза.

— Куда?

— В маленькое плавание, к островам Океании или еще куда-нибудь,— сказал мсье Профон.

Флер почувствовала и облегчение и обиду. Он явно давал ей понять, что порывает с ее матерью. Как он смеет иметь с нею какую-то связь и как он смеет эту связь порывать!

— Всего хорошего, мисс Форсайд! Кланяйтесь от меня миссис Дарти. Право, не такой уж я дурной человек. Всего хорошего!

Он остался стоять на углу со шляпой в руке. Оглянувшись украдкой, она увидела, как он — элегантный и грузный — направился обратно в клуб.

«Он даже любить не может с убеждением,— подумала она.— Что станет делать мама?»

Сны ее в эту ночь были отрывочны и тревожны; она встала с тяжелой головой и сразу принялась за изучение Уитекерского альманаха. Каждый Форсайт убежден в глубине души, что в любой ситуации самое важное — факты. Пусть даже ей удастся одолеть предубеждение Джона — без точно разработанного плана для выполнения их отчаянного замысла у них ничего не выйдет. Неоценимый справочник сообщил ей, что каждому из них надо достичь двадцати одного года, а иначе требуется чье-то согласие, которого им, конечно, не получить; потом она совсем заблудилась среди указаний о разрешениях, справках, повестках, районах и, наконец, наткнулась на слова «дача ложных показаний».

Ерунда! Кто, в самом деле, осудит их, если они неправильно укажут свой возраст ради того, чтобы пожениться по любви? Она кое-как позавтракала и вернулась к Уитекеру. Чем больше она знакомилась с ним, тем меньше у нее оставалось уверенности; и вот, лениво перевернув страницу, она напала на раздел «Шотландия». В Шотландии можно пожениться без всякой канители. Ей нужно только прожить там двадцать один день, а потом приезжает Джон, и они пред лицом двух свидетелей могут объявить себя мужем и женой. И что всего важнее — это действительно делает их мужем и женой. Так будет лучше всего; и Флер тут же перебрала в памяти всех своих школьных подруг. Мэри Лэм! Мэри Лэм — молодчина и живет в Эдинбурге. И у нее есть брат. Можно поехать погостить к Мэри Лэм — они с братом и будут свидетелями. Флер прекрасно знала, что многие девушки нашли бы все это излишним; ей с Джоном достаточно было бы поехать куда-нибудь вдвоем на воскресенье, а потом заявить родителям: «Мы фактически муж и жена, теперь надо это узаконить». Но Флер недаром была Форсайт; она чувствовала сомнительность подобного предприятия и заранее боялась выражения лица, с которым ее отец встретит такое заявление. Кроме того, возможно, что Джон на это не пойдет; он так в нее верит, нельзя ронять себя в его глазах. Нет! Мэри Лэм предпочтительней, и сейчас самый сезон для поездки в Шотландию. Значительно успокоенная, Флер уложила свой чемодан, счастливо избежала встречи с теткой и села в автобус на Чизик. Она приехала слишком рано и отправилась в Кьюгарденс, но не нашла покоя среди его цветов, клумб, деревьев с ярлычками, широких зеленых лужаек и, проглотив в павильоне чашку кофе и два бутерброда с паштетом из килек, вернулась в Чизик и позвонила у подъезда Джун. Австрийка провела ее в столовую. Теперь, когда Флер знала, какое препятствие стоит перед ней и Джоном, ее тяготение к нему возросло в десять раз, как если бы он был игрушкой с острыми краями или ядовитой краской, какие у нее, бывало, отбирали в детстве. Если она не добьется своего и не получит Джона навсегда, она, казалось ей, умрет от горя. Правдой или неправдой она должна его получить — и получит! Круглое тусклое зеркало с очень старым стеклом висело над розовым изразцовым камином. Она стояла и глядела на свое отражение — бледное лицо, темные круги под глазами. Легкий трепет прошел по ее нервам. Но вот раздался звонок, и, подкравшись к окну, она увидела, что Джон стоит перед дверью, приглаживая волосы и облизывая губы, словно и он старался совладать с нервным волнением.

Когда он вошел, она сидела спиною к двери, на одном из двух стульев с плетеными сиденьями, и сразу сказала:

— Садись, Джон, я хочу серьезно поговорить с тобой.

Джон сел на стол рядом с ней, и, не глядя на него, она продолжала:

— Если ты не хочешь меня потерять, мы должны пожениться.

Джон обомлел.

— Как? Ты узнала еще что-нибудь?

— Нет, но я почувствовала это в Робин-Хилле и после, дома.

— В Робин-Хилле...— Джон запнулся.— В Робин-Хилле все прошло гладко. Мне ничего не сказали.

— Но нам будут препятствовать. Я это ясно прочла на лице твоей матери. И на лице моего отца.

— Ты видела его с тех пор?

Флер кивнула. Идет ли в счет небольшая добавочная ложь?

— Но, право,— пылко воскликнул Джон,— я не понимаю, как они могут сохранять такие чувства после стольких лет!

Флер подняла на него глаза.

— Может быть, ты недостаточно любишь меня?

— Недостаточно люблю? Я! Когда я...

— Тогда обеспечь меня за собой.

— Не говоря им?

— Заранее — нет.

Джон молчал. Насколько старше выглядел он теперь, чем каких-нибудь два месяца назад, когда она увидела его впервые,— на два года старше!

— Это жестоко оскорбило бы маму,— сказал он.

Флер отняла руку.

— Ты должен сделать выбор.

Джон соскользнул со стола и встал перед ней на колени.

— Но почему не сказать им? Они не могут помешать нам, Флер!

— Могут! Говорю тебе — могут!

— Каким образом?

— Мы от них в полной зависимости. Начнутся денежные стеснения и всякие другие. Я не из терпеливых, Джон.

— Но это значит обмануть их.

Флер встала.

— Ты не любишь меня по-настоящему, иначе ты не колебался бы. «Иль он судьбы своей боится...»

Джон силой заставил ее снова сесть. Она продолжала торопливо:

— Я все обдумала. Мы должны поехать в Шотландию. Когда мы поженимся, они скоро примирятся. С фактами люди всегда примиряются. Неужели ты не понимаешь, Джон?

— Но так жестоко оскорбить их!

Так он скорей готов оскорбить ее, чем своих родителей!

— Хорошо. Пусти меня!

Джон встал и заслонил спиною дверь.

— Должно быть, ты права,— медленно проговорил он,— но я хочу подумать.

Она видела, что чувства в нем кипят, что он мучительно ищет им выражения, но не захотела ему помочь. Она в этот миг ненавидела себя и почти ненавидела его. Почему он предоставляет ей одной защищать их любовь? Это нечестно. А потом она увидела его глаза, полные обожания и отчаяния.

— Не смотри так. Я только не хочу терять тебя, Джон.

— Ты не можешь потерять меня, пока ты меня любишь.

— О нет, могу.

Джон положил руки ей на плечи.

— Флер, ты что-то узнала и не говоришь мне.

Вот он, прямой вопрос, которого она боялась! Она посмотрела ему в глаза и ответила:

— Нет.— Сожгла корабли. Лишь бы получить его. Он простит ей ложь. И, обвив его шею руками, она его поцеловала в губы. Выиграла! Она почувствовала это по биению его сердца на своей груди, по тому, как закрылись его глаза.— Я хочу обеспечить. Обеспечить,— шептала она.— Обещай.

Джон не отвечал. На лице его лежала тишина предельного смятения. Наконец он сказал:

— Это все равно что дать им пощечину. Я должен немного подумать. Правда, Флер, должен.

Флер выскользнула из его объятий.

— Ах так! Хорошо.

И внезапно она разразилась слезами разочарования, стыда и чрезмерного напряжения. Последовало пять остро несчастных минут. Раскаянию и нежности Джона не было границ; но он не дал обещания. Она хотела крикнуть: «Отлично! Раз ты недостаточно любишь меня, прощай!»— но не смела. С детства привыкшая к своеволию, она была ошеломлена отпором со стороны такого юного, нежного и преданного существа. Хотела оттолкнуть его прочь от себя, испытать, как подействует на него гнев и холод,— и не смела. Сознание, что она замышляла толкнуть его вслепую на непоправимое, ослабляло искренность обиды, искренность страсти; и даже в свои поцелуи она не смогла вложить столько обольстительности, сколько хотела. Это бурное маленькое столкновение окончилось, ничего не разрешив.

— Не выпьете ли чаю, gnädiges Fräulein?

Оттолкнув от себя Джона, она крикнула:

— Нет, нет, благодарю вас! Я сейчас ухожу.

И, прежде чем он успел ее остановить, ушла.

Она шла крадучись, отирая горевшие пятнистым румянцем щеки, испуганная, разгневанная, донельзя несчастная. Так сильно разволновала она Джона и все-таки ни о чем не договорилась, не добилась от него обещания. Но чем темней, чем ненадежней казалось будущее, тем упорней «воля к обладанию» впивалась щупальцами в ее сердце, как притаившийся клещ.

На Грин-стрит никого не было дома. Уинифрид пошла с Имоджин смотреть пьесу, которую одни находили аллегорической, другие — «очень, понимаете, возбуждающей». Уинифрид и Имоджин соблазнились отзывом «других». Флер поехала на вокзал. Ветер дышал в окно вагона запахом поздних покосов и кирпичных заводов Вест-Дрэйтона, овевал ее неостывшие щеки. Еще недавно казалось, что так легко сорвать цветы, а теперь они были все в шипах и колючках. Но тем прекрасней и желанней был для ее упрямого сердца золотой цветок, вплетенный в венок из терновника.

IX

ПОЗДНО ЖАЛЕТЬ

Прибыв домой, Флер, как ни была она поглощена своими переживаниями, не могла не почувствовать странность царившей вокруг атмосферы. Мать была мрачна и неприступна; отец удалился в теплицу размышлять о жизни. Оба точно воды в рот набрали. «Это из-за меня?— думала Флер.— Или из-за Профона?» Матери она сказала:

— Что случилось с папой?

Мать в ответ пожала плечами.

У отца спросила:

— Что случилось с мамой?

— Что случилось? А что с ней может случиться?— ответил Сомс и вонзил в нее острый взгляд.

— Кстати,— уронила Флер,— мсье Профон отправляется в «маленькое» плавание на своей яхте, к островам Океании.

Сомс рассматривал лозу, на которой не росло ни единой виноградинки.

— Неудачный виноград,— сказал он.— Ко мне приходил молодой Монт. Он просил меня кое о чем касательно тебя.

— А-а! Как он тебе нравится, папа?

— Он... он продукт времени, как вся нынешняя молодежь.

— А ты чем был в его возрасте, папа?

Сомс хмуро улыбнулся.

— Мы занимались делом, а не всякой ерундой — аэропланами, автомобилями, ухаживаниями.

— А ты никогда не ухаживал?

Она избегала смотреть на него, но видела его достаточно хорошо. Бледное лицо его залила краска, брови, в которых еще мешалась чернота с сединою, стянулись в одну черту.

— Для волокитства у меня не было ни времени, ни наклонности.

— Ты, может быть, знал большую страсть?

Сомс пристально посмотрел на нее.

— Да, если хочешь, и ничего хорошего она мне не дала!

Он отошел, шагая вдоль труб водяного отопления. Флер семенила за ним.

— Расскажи мне об этом, папа!

— Что тебя может интересовать в таких вещах в твоем возрасте?

— Она жива?

Он кивнул головой.

— И замужем?

— Да.

— Мать Джона Форсайта, правда? И она была твоею первой женой?

Флер сказала это по наитию. Несомненно, причиной его сопротивления был страх, как бы дочь не узнала о той давнишней ране, нанесенной его гордости. Но она сама испугалась своих слов. Этот старый и такой спокойный человек передернулся, точно обожженный хлыстом, и острая нота боли прозвучала в его голосе:

— Кто тебе это сказал? Если твоя тетка, то... Для меня невыносимо, когда об этом говорят.

— Но, дорогой мой,— мягко сказала Флер,— ведь это было так давно.

— Давно или недавно, я...

Флер стояла и гладила его руку.

— Я всегда старался забыть,— вдруг заговорил он.— Я не хочу, чтобы мне напоминали.— И затем, как будто давая волю давнему и тайному раздражению, он добавил:— В наши дни люди этого не понимают. Да, большая страсть. Никто не знает, что это такое.

— А вот я знаю,— сказала Флер почти шепотом.

Сомс, стоявший к ней спиной, круто обернулся.

— О чем ты говоришь — ты, ребенок!

— Я, может быть, унаследовала это, папа.

— Как?

— К ее сыну.

Он был бледен, как полотно, и Флер знала, что и сама не лучше. Они стояли, глядя друг другу в глаза, в парно́й жаре, напоенной рыхлым запахом земли, герани в горшках и вызревающего винограда.

— Это безумие,— уронил наконец Сомс с пересохших губ.

Еле слышно Флер прошептала:

— Не сердись, папа. Это сильнее меня.

Но она видела, что он и не сердится; только он был потрясен, глубоко потрясен.

— Я думал, что с этим дурачеством давно покончено.

— О нет. Это стало в десять раз сильнее.

Сомс стукнул каблуком по трубе. Это беспомощное движение растрогало девушку, нисколько не боявшуюся отца, нисколько.

— Дорогой, что должно случиться, от того не уйти.

— «Должно»,— повторил Сомс.— Ты не знаешь, о чем говоришь. Мальчику тоже все известно?

Кровь прилила к ее щекам.

— Нет еще.

Он опять от нее отвернулся и, подняв одно плечо, пристально разглядывал склепку труб.

— Мне это крайне противно...— сказал он вдруг.— Противней быть не может. Сын того человека. Это... это извращение.

Флер почти бессознательно отметила, что он не сказал: «Сын той женщины»,— и снова заработала интуиция.

Значит, призрак той большой страсти еще таится в уголке его сердца?

Она взяла его под руку.

— Отец Джона совсем больной и дряхлый: я его видела.

— Ты?

— Я ездила туда с Джоном, я видела их обоих.

— И что же они тебе сказали?

— Ничего. Они были очень вежливы.

— Еще бы!

Он вернулся к созерцанию склепки и потом вдруг сказал:

— Я должен это обдумать, вечером мы с тобой поговорим еще раз.

Флер знала, что сейчас ничего больше не добьется, и тихо вышла, оставив его разглядывать склепку труб. Она прошла во фруктовый сад и бродила среди малины и смородины, без малейшего желания полакомиться. Два месяца назад у нее было легко на сердце, два дня назад — пока Проспер Профон не раскрыл ей тайну. А теперь она опутана паутиной страстей, законных прав, запретов и бунта, узами любви и ненависти. В этот темный час уныния даже она, такая по природе стойкая, не видела выхода. Как быть? Как подчинить обстоятельства своей воле и добиться того, что желанно сердцу? И вдруг, обогнув высокую самшитовую изгородь, она едва не столкнулась со своей матерью, которая шла быстро, зажав в руке развернутое письмо. Грудь ее вздымалась, глаза расширились, щеки пылали. Флер мгновенно подумала: «Яхта! Бедная мама!»

Аннет кинула на нее испуганный взгляд широко раскрытых глаз и сказала:

— J'ai la migraine[1].

— Мне очень жаль, мама.

— О да, жаль — тебе и твоему отцу.

— Но, мама, мне правда жаль. Я знаю, каково это.

Испуганные глаза Аннет раскрылись еще шире, так что над синевой показался белок.

— Бедное невинное дитя,— сказала она.

Это говорит ее мать, образец самообладания и здравого смысла! Все стало страшным. Ее отец, ее мать, она сама. А только два месяца назад, казалось, у них было все, чего они желали.

Аннет скомкала в руке письмо. Флер поняла, что реагировать на этот жест нельзя.

— Не могу ли я чем-нибудь облегчить твою мигрень, мама?

Аннет мотнула головой и пошла дальше, покачивая бедрами.

«Какая жестокость,— думала Флер.— А я-то радовалась. Противный человек! Чего они тут рыскают и портят людям жизнь! Мама ему, верно, надоела. Какое он имеет право, чтоб моя мама ему надоела? Какое право?» При этой мысли, такой естественной и такой необычной, Флер усмехнулась коротким, сдавленным смешком.

Конечно, ей следовало бы радоваться, но чему тут радоваться? Отцу это безразлично. Ну, а матери? Пожалуй, что и нет. Флер вернулась во фруктовый сад и села под вишней. Ветер вздыхал в верхних ветвях; небо густо синело сквозь их нежную зелень, и очень белыми казались облака, которые почти всегда присутствуют в речном пейзаже. Пчелы, укрываясь от ветра, мягко жужжали, и на сочную траву падали темные тени от плодовых деревьев, посаженных ее отцом двадцать пять лет назад. Птиц почти не было слышно, кукушка смолкла, только лесные голуби продолжали ворковать. Дыхание гудящего, воркующего лета недолго действовало успокоительно на возбужденные нервы. Обхватив руками колени,

---

[1] У меня мигрень *(фр.)*.

Флер принялась строить планы. Нужно заставить отца поддержать ее. Зачем он станет противиться, раз она будет счастлива? Прожив без малого девятнадцать лет, она успела узнать, что его единственной заботой было ее будущее. Значит, нужно только убедить его, что будущее для нее не может быть счастливым без Джона. Ему это кажется сумасбродной прихотью. Как глупы старики, когда воображают, будто могут судить о чувстве молодых! Сам же он сознался, что в молодости любил большою страстью. Он должен понять. «Он копит для меня деньги,— размышляла она,— но что в них пользы, если я не буду счастлива?» Деньги со всем, что можно на них купить, не приносят счастья. Его приносит только любовь. Большеглазые ромашки в этом саду, которые придают ему иногда такой мечтательный вид, растут, дикие и счастливые, и для них наступает их час.

«Не нужно было называть меня Флер,— размышляла она,— если они не желали, чтобы и я дожила до своего часа и была бы счастлива, когда мой час придет. На пути не стоит никаких реальных препятствий, вроде бедности или болезни, только чувства — призрак несчастного прошлого. Джон правильно сказал: они не дают людям жить, эти старики! Они делают ошибки, совершают преступления и хотят, чтобы дети за них расплачивались». Ветер стих, покусывали комары. Флер встала, сорвала ветку жимолости и вошла в дом.

Вечер выдался жаркий. Флер и ее мать обе надели тонкие светлые, открытые платья. Стол был убран бледными цветами. Флер поразило, каким все казалось бледным: лицо отца и плечи матери, и бледная обшивка стен, и бледно-серый бархатистый ковер, и абажур на лампе бледный, и даже суп. Ни одного красочного пятна не было в комнате — ни хотя бы вина в бледных стаканах, потому что никто не пил. А что не бледное, то было черным: костюм отца, костюм лакея, ее собака, устало растянувшаяся в дверях, черные гардины с кремовым узором. Влетела ночная бабочка, тоже бледная. И был молчалив этот траурный обед после знойного, душного дня.

Отец окликнул ее, когда она собралась выйти вслед за матерью. Она села рядом с ним за стол и, отколов от платья веточку бледной жимолости, поднесла ее к носу.

— Я много думал,— начал он.

— Да, дорогой?

— Для меня очень мучительно говорить об этом, но ничего не поделаешь. Не знаю, понимаешь ли ты, как ты много значишь для меня; я никогда об этом не говорил — не считал нужным, но ты... ты для меня все. Твоя мать...

Он запнулся и стал разглядывать вазочку венецианского стекла.

— Да?

— Ты единственная моя забота. Я ничего другого не желаю с тех пор, как ты родилась.

— Знаю,— прошептала Флер.

Сомс провел языком по пересохшим губам.

— Ты, верно, думаешь, что я мог бы уладить для тебя это дело? Ты ошибаешься... Я... я тут бессилен.

Флер молчала.

— Независимо от моих личных чувств,— продолжал Сомс более решительно,— есть еще те двое, и они не пойдут мне навстречу, что бы я им ни говорил. Они... они меня ненавидят, как люди всегда ненавидят тех, кому нанесли обиду.

— Но он? Но Джон?

— Он их плоть и кровь, единственный сын у своей матери. Вероятно, он для нее то же, что ты для меня. Это — мертвый узел.

— Нет,— воскликнула Флер,— нет, папа!

Сомс откинулся на спинку стула, бледный и терпеливый, как будто решил ничем не выдавать своего волнения.

— Слушай,— сказал он.— Ты противопоставляешь чувство, которому всего два месяца — два месяца, Флер!— тридцатипятилетнему чувству. На что ты надеешься? Два месяца — первое увлечение, каких-нибудь пять-шесть встреч, несколько прогулок и бесед, несколько поцелуев против... против такого, чего ты и вообразить себе не можешь, чего никто не может вообразить, кто сам не прошел через это. Образумься, Флер. У тебя просто летнее умопомрачение.

Флер растерзала жимолость в мелкие летучие клочки.

— Умопомрачение у тех, кто позволяет прошлому портить все. Что нам до прошлого? Ведь это наша жизнь, а не ваша.

Сомс поднес руку ко лбу, на котором Флер увидела вдруг блестящие капли пота.

— Чьи вы дети? Чей он сын? Настоящее сцеплено с прошлым, будущее — с тем и другим. От этого не уйти.

Флер никогда до сих пор не слышала, чтобы ее отец философствовал. Как ни сильно было ее волнение, она смутилась; поставила локти на стол и положила подбородок на ладони.

— Но, папа, обсудим практически. Мы с ним любим друг друга. Денег у нас обоих много, нет никаких существенных препятствий — только чувства. Похороним прошлое, папа!

Он ответил глубоким вздохом.

— К тому же,— ласково сказала Флер,— ведь ты не можешь нам помешать.

— Может быть,— сказал Сомс,— если бы все зависело от меня одного, я и не пытался бы вам мешать; я знаю: чтобы сохранить твою привязанность, я многое должен сносить. Но в этом случае не все зависит от меня. Я хочу, чтобы ты поняла это, пока не поздно. Если ты будешь думать и впредь, что все должно делаться по-твоему, если поощрять тебя в этом заблуждении, тем тяжелее будет потом для тебя удар, когда ты поймешь, что это не так.

— Папа!— воскликнула Флер.— Помоги мне! Ты можешь, я знаю.

Сомс испуганно мотнул головой.

— Я?— сказал он горько.— Я? Ведь все препятствие — так ты, кажется, выразилась?— все препятствие во мне. В твоих жилах течет моя кровь.

Он встал.

— Все равно жалеть теперь поздно. Но не настаивай на своей прихоти, будешь потом пенять на себя. Оставь свое безумие, дитя мое, мое единственное дитя.

Флер припала лбом к его плечу.

Все ее чувства были в смятении. Но что пользы показывать это ему! Никакого толку! Она оторвалась от него и убежала в сумерки, без ума от горя и гнева, но не убежденная. Все было в ней неотчетливо и смутно, как тени и контуры в саду, все, кроме воли к обладанию. Тополь врезался в темную синеву неба, задевая белую звезду. Роса смочила туфли и обдавала прохладой обнаженные плечи. Флер спустилась к реке и остановилась, наблюдая лунную дорожку на темной воде. Вдруг запах табака защекотал ей ноздри, и вынырнула белая фигура, как будто сотворенная лучами луны. Это стоял на дне своей лодки Майкл Монт во фланелевом костюме. Флер услышала тонкое шипение его папиросы, погасшей в воде.

— Флер,— раздался его голос,— не будьте жестоки к несчастному. Я так давно вас жду!

— Зачем?

— Сойдите в мою лодку.

— И не подумаю.

— Почему?

— Я не русалка.

— Неужели вы лишены всякой романтики? Не будьте слишком современны, Флер!

Он очутился на тропинке в трех шагах от нее.

— Уходите.

— Флер, я люблю вас, Флер!

Флер коротко рассмеялась.

— Приходите снова,— сказала она,— когда я не получу того, чего желаю.

— Чего же вы желаете?

— Не скажу.

— Флер,— сказал Монт, и странно зазвучал его голос,— не издевайтесь надо мной. Даже вивисецируемая собака заслуживает приличного обращения, пока ее не зарежут окончательно.

Флер тряхнула головой, но губы ее дрожали.

— А зачем вы меня пугаете? Дайте папиросу.

Монт протянул портсигар, поднес ей спичку и закурил сам.

— Я не хочу молоть чепуху,— сказал он,— но, пожалуйста, вообразите себе всю чепуху, наговоренную всеми влюбленными от сотворения мира, да еще приплетите к ней мою собственную чепуху.

— Благодарю вас, вообразила. Спокойной ночи.

Они стояли с минуту в тени акации, глядя друг другу в лицо, и дым от их папирос свивался между ними в воздухе.

— В этом заезде Майкл Монт «без места»— так?— проговорил он.

Флер резко повернула к дому. У веранды она оглянулась. Майкл Монт махал руками над головой. Было видно, как они бьют его по макушке; потом подают сигналы залитым лунным светом ветвям цветущей

акаций. До Флер долетел его голос: «Эх, жизнь наша!» Флер встрепенулась. Однако она не может ему помочь. Хватит с нее и своей заботы. На веранде она опять внезапно остановилась. Мать сидела одна в гостиной у своего письменного стола. В выражении ее лица не приметно было ничего особенного — только крайняя неподвижность. Но в этой неподвижности чувствовалось отчаяние. Флер взбежала по лестнице и снова остановилась у дверей своей спальни. Слышно было, как в картинной галерее отец шагает взад и вперед.

«Да,— подумала она,— невесело! О Джон!»

X

РЕШЕНИЕ

Когда Флер ушла, Джон уставился на австрийку. Она была худая и смуглая. На ее лице застыло сокрушенное выражение женщины, растерявшей одно за другим все маленькие блага, которыми наделила ее когда-то жизнь.

— Так не выпьете чаю?— сказала она.

Уловив в ее голосе ноту разочарования, Джон пробормотал:

— Право, не хочется. Благодарю вас.

— Чашечку — уже готов. Чашечку чаю и папироску.

Флер ушла. Ему предстоят долгие часы раскаяния и колебаний. С тяжелым чувством он улыбнулся и сказал:

— Ну хорошо, благодарю вас.

Она принесла на подносе маленький чайник, две чашечки и серебряный ларчик с папиросами.

— Сахар дать? У мисс Форсайт много сахару: она покупает сахар для меня и для моей подруги. Мисс Форсайт очень добрая леди. Я счастлива, что служу у нее. Вы ее брат?

— Да,— сказал Джон, закуривая вторую в своей жизни папиросу.

— Очень молодой брат,— сказала австрийка с робкой, смущенной улыбкой, которая напомнила Джону виляющий собачий хвостик.

— Разрешите мне вам налить?— сказал он.— И может быть, вы присядете?

Австрийка покачала головой.

— Ваш отец очень милый старый человек — самый милый старый человек, какого я видела. Мисс Форсайт рассказала мне все о нем. Ему лучше?

Ее слова прозвучали для Джона упреком.

— О да. Мне кажется, он вполне здоров.

— Я буду рада видеть его опять,— сказала австрийка, прижав руку к сердцу,— он имеет очень доброе сердце.

— Да,— сказал Джон. И опять услышал в ее словах упрек.

— Он никогда не делает никому беспокойство и так хорошо улыбается.

— Да, не правда ли?

— Он так странно смотрит иногда на мисс Форсайт. Я ему рассказала всю мою историю; он такой зимпатиш. Ваша мать — она тоже милая и добрая?

— Да, очень.

— Он имеет ее фотографию на своем туалет. Очень красивая.

Джон проглотил свой чай. Эта женщина с сокрушенным лицом и укоризненными речами — точно заговорщица в пьесе: первый убийца, второй убийца...

— Благодарю вас,— сказал он,— Мне пора идти. Вы... вы не обидитесь, если я оставлю вам кое-что?

Он неуверенной рукой положил на поднос бумажку в десять шиллингов и кинулся к двери. Он услышал, как австрийка ахнула, и поспешил выйти. Времени до поезда было в обрез. Всю дорогу до вокзала он заглядывал в лицо каждому прохожему, как заглядывают влюбленные, надеясь без надежды. В Уординге он отправил вещи багажом с поездом местного сообщения, а сам пустился горной дорогой в Уонсдон, стараясь заглушить ходьбой ноющую боль нерешимости. Быстро шагая, он упивался прелестью зеленых косогоров, время от времени останавливался, чтобы растянуться на траве, подивиться совершенству шиповника, послушать жаворонка. Но это только оттягивало войну между внутренними побуждениями: влечением к Флер и ненавистью к обману. Подходя к меловой яме над Уонсдоном, он был так же далек от решения, как и в начале пути. В способности отчетливо видеть обе стороны вопроса заключалась одновременно и сила и слабость Джона. Он вошел в дом с первым ударом гонга, звавшего обедать. Вещи его уже прибыли. Он наспех принял ванну и сошел в столовую, где застал Холли в одиночестве — Вэл уехал в город и обещал вернуться последним поездом.

С тех пор как Вэл посоветовал ему расспросить сестру о причине ссоры между обеими семьями, так много случилось нового — сообщение Флер в Грин-парке, поездка в Робин-Хилл, сегодняшнее свидание,— что, казалось, и спрашивать больше не о чем. Джон говорил об Испании, о солнечном ударе, о лошадях Вэла, о здоровье отца. Холли удивила его замечанием, что, по ее мнению, отец очень нездоров. Она два раза ездила к нему в Робин-Хилл на воскресенье. У него был страшно усталый вид, временами даже страдающий, но он постоянно уклонялся от разговора о себе.

— Он такой хороший и совершенно лишен эгоизма, правда, Джон?

Стыдясь, что сам не лишен эгоизма, Джон ответил:

— Конечно.

— Мне кажется, он был всегда безукоризненным отцом, насколько я могу припомнить.

— Да,— отозвался Джон, совсем подавленный.

— Он никогда ни в чем не мешал детям и всегда, казалось, понимал их. Я до гроба не забуду, как он позволил мне ехать в Южную Африку во время бурской войны, когда я полюбила Вэла.

— Это было, кажется, до его женитьбы на маме?— спросил неожиданно Джон.

— Да. А что?

— Так, ничего. Только ведь она была раньше помолвлена с отцом Флер?

Холли опустила ложку и подняла глаза. Она окинула брата внимательным взглядом. Что ему известно? Может, столько, что лучше рассказать ему все? Она не могла решить. Он как будто осунулся и постарел, но это могло быть следствием солнечного удара.

— Что-то в этом роде было,— сказала она.— Мы жили тогда в Африке и не получали известий.

Она не смела взять на себя ответственность за чужую тайну. К тому же она не знала, каковы сейчас его чувства. До Испании она не сомневалась, что он влюблен. Но мальчик остается мальчиком. С того времени прошло семь недель, и в промежутке лежала вся Испания.

Заметив, что он понял ее желание отвлечь его от опасной темы, она добавила:

— Ты имел какие-нибудь вести от Флер?

— Да.

Его лицо сказало ей больше, чем самые подробные разъяснения. Итак, он не забыл.

Она сказала совсем спокойно:

— Флер на редкость обаятельна, но знаешь, Джон, нам с Вэлом она не очень нравится.

— Почему?

— Она из породы стяжателей.

— Стяжателей? Не понимаю, что ты имеешь в виду. Она... она...

Джон отодвинул тарелку с десертом, встал и подошел к окну.

Холли тоже встала и обняла его.

— Джон, не сердись, дорогой. Мы не можем видеть людей в одинаковом свете, не правда ли? Знаешь, мне думается, у каждого из нас бывает лишь по одному или по два близких человека, которые видят, что в нас есть самого лучшего, и помогают этому выявиться. Для тебя, я думаю, такой человек — твоя мать. Я видела раз, как она читала твое письмо; чудесное было у нее лицо. Я не встречала женщины красивей — время как будто и не коснулось ее.

Лицо Джона смягчилось; потом опять стало замкнутым. Все, все, против него и Флер. И все подтверждает ее призыв: «Обеспечь меня за собой, женись на мне, Джон!»

Здесь, где он провел с ней упоительную неделю, здесь влечение к ней и боль в его сердце возрастали с каждой минутой ее отсутствия.Нет ее, чтобы сделать волшебными комнату, и сад, и самый воздух. Как жить здесь, не видя ее? И он окончательно замкнулся в себе и рано ушел спать. У себя в комнате он мог хотя бы остаться с воспоминанием о Флер в ее виноградном наряде. Он слышал, как приехал Вэл, как разгружали форд, и опять воцарилась тишина летней ночи. Только доносилось издалека блеяние овец да крик ночной птицы. Джон высунулся в окно. Холодный полумесяц, теплый воздух, холмы словно в серебре. Мотыльки, журчание ручья, ползучие розы. Боже, как пусто все без нее! В Библии сказано: оставь отца своего и мать свою и прилепись... к Флер.

Собраться с духом, прийти и сказать им! Они не могут помешать ему жениться на Флер, не захотят мешать, когда узнают, как он ее любит. Да! Он скажет им. Смело и открыто — Флер не права.

Птица смолкла, овцы затихли, во мраке слышалось только журчание ручья. И Джон уснул в своей постели, освобожденный от худшего из жизненных зол — нерешимости.

XI

ТИМОТИ ПРОРОЧЕСТВУЕТ

День несостоявшегося свидания в Национальной галерее пришелся на вторую годовщину возрождения красы и гордости Англии, или, попросту сказать, цилиндра. Состязание на стадионе Лорда — это празднество, отмененное войной,— вторично подняло свои голубые и синие флаги, являя почти все черты славного прошлого. Здесь во время перерыва можно было наблюдать все виды дамских и единый вид мужского головных уборов, защищающих многообразные типы лиц, которые соответствуют понятию «общество». Наблюдательный Форсайт мог бы различить на бесплатных или дешевых местах некоторое количество зрителей в мягких шляпах, но они едва ли отважились бы подойти близко к полю; представители старой школы — или старых школ — могли радоваться, что пролетариат еще не в силах платить за вход установленные полкроны. Еще оставалась хоть эта твердыня — последняя, но значительная: стадион собрал, по уверению газет, десять тысяч человек. И десять тысяч человек, горя одной и той же надеждой, задавали друг другу один и тот же вопрос: «Где вы завтракаете?» Было в этом вопросе что-то очень успокоительное и возвышающее — в этом вопросе и в наличии такого множества людей, которые все похожи на вас и все одного с вами образа мыслей. Какие мощные резервы сохранила еще Британская империя — хватит голубей и омаров, телятины и лососины, майонезов, и клубники, и шампанского, чтобы прокормить эту толпу! В перспективе никаких чудес, никаких фокусов с пятью хлебами и несколькими жалкими рыбешками — вера покоится на более прочном фундаменте. Шесть тысяч цилиндров будут сняты, четыре тысячи ярких зонтиков будут закрыты, десять тысяч ртов, одинаково говорящих по-английски,— наполнены. Жив еще старый британский лев! Традиция! И еще раз традиция! Как она сильна и как эластична! Пусть свирепствуют войны и разбойничают налоги, пусть тред-юнионы разоряют поборами честных граждан, а Европа подыхает с голоду,— эти десять тысяч будут сыты; и за этой оградой будут они разгуливать по зеленому газону, носить цилиндры и встречаться друг с другом. Сердце старого мира здорово, пульс бьется ровно. И-тон! И-тон! Хэр-роу!

Среди многочисленных Форсайтов, попавших в этот заповедник по праву или по знакомству, был Сомс с женою и дочерью. Он никогда не учился ни в одной из двух состязающихся школ, он нисколько не интересовался крикетом, но ему хотелось, чтобы Флер могла выставить напоказ свое платье, и хотелось надеть цилиндр — снова явиться на парад среди мира и изобилия вместе с равными себе. Он степенно вел Флер

между собой и Аннет. Ни одна женщина, насколько он видел, не могла сравниться с ними. Они умеют ходить, умеют держаться; их красота вещественна; а у этих современных женщин ни осанки, ни груди — ничего. И вспомнилось ему вдруг, с каким гордым упоением выходил он, бывало, с Ирэн, в первые годы их брака. И как они, бывало, завтракали в карете, которую его мать заставила отца приобрести, потому что это так шикарно: в те времена смотрели на игру из карет и колясок, а не с этих нескладных громадных трибун. И как Монтегью Дарти неизменно выпивал лишнее. Сомс вполне допускал мысль, что и теперь люди пьют лишнее, но нет теперь в этом былого размаха; ему вспомнилось, как Джордж Форсайт, братья которого, Роджер и Юстас, учились один в Итоне, другой в Хэрроу, взобравшись на верх кареты и размахивая синим флажком в правой руке и голубым в левой, громко прокричал: «Хэтон — Ирроу!»— как раз в такую минуту, когда вся публика молчала,— всегда он вел себя, как шут; а Юстас чинно стоял внизу, такой был денди, что считал ниже своего достоинства надеть розетку того или другого цвета или выказывать интерес к чему-либо. Н-да! Былые дни! Ирэн в сером шелку с легким зеленым отливом. Он искоса поглядел на Флер. Лицо какое-то тусклое — ни света в нем, ни жизни. Эта любовь грызет ее — скверная история! Взгляд его скользнул дальше, к лицу жены, подрисованному сильней, чем обычно, немного презрительному, хотя она, насколько ему известно, меньше всех имеет право выказывать презрение. Она принимает измену Профона со странным спокойствием; или его «маленькое плавание» предпринято только для отвода глаз? Если так, он предпочитает не видеть обмана. Они прошлись по площадке мимо павильонов, потом отыскали столик Уинифрид в палатке «Клуба бедуинов». Этот новый клуб, принимавший в члены и мужчин и женщин, был основан для поддержания туризма и некоего джентльмена, унаследовавшего старинное шотландское имя, хотя его отец, как это ни странно, носил фамилию Леви. Уинифрид вступила в клуб не потому, что занималась когда-нибудь туризмом, а потому, что инстинкт подсказал ей, что клубу с таким названием и таким основателем предстоит большое будущее; если не вступить в него сразу, то потом, может быть, доступ будет закрыт. Палатка этого клуба, со стихом из Корана на оранжевом поле и вышитым над входом маленьким зеленым верблюдом, бросалась в глаза среди всех других. У входа стоял Джек Кардиган в синем галстуке (он однажды играл на стороне Хэрроу) и размахивал бамбуковой тростью, показывая, «как тому молодцу следовало ударить по мячу». Он торжественно провел Сомса и его дам к столу Уинифрид, за которым собрались уже Имоджин, Бенедикт с молодой женой, Вэл Дарти без Холли, Мод и ее муж; когда вновь прибывшие уселись, осталось одно свободное место.

— Я жду Проспера,— сказала Уинифрид,— но он так увлечен своей яхтой!

Сомс украдкой посмотрел на жену. Лицо ее не дрогнуло. Придет ли этот тип или нет, ей, по-видимому, все известно. От него не ускользнуло, что Флер тоже покосилась на мать. Если Аннет не считается с его чувствами, она должна бы подумать о Флер. Разговор, крайне бессвязный,

перебивался рассуждениями Джека Кардигана о «мид-оф». Он стал перечислять всех «великих мидофов» от первых дней творения, считая их, как видно, одним из основных элементов, составляющих расовую сущность британцев. Сомс справился со своим омаром и приступил к пирогу с голубями, когда услышал слова: «Я немного опоздал, миссис Дарти»,— и увидел, что пустого места за столом больше нет. Между Имоджин и Аннет сидел мсье Профон. Сомс усердно продолжал есть, изредка лишь перекидываясь словом с Мод и Уинифрид. Разговор жужжал вокруг него. Голос Профона произнес:

— Мне кажется, вы ошибаетесь, миссис Форсайд; я готов держать пари, что мисс Форсайд со мной согласится.

— В чем?— раздался через стол высокий голос Флер.

— Я высказал мнение, что молодые девушки остались такими же, какими были всегда,— разница очень маленькая.

— Вы так хорошо их знаете?

Этот резкий ответ заставил всех насторожиться, и Сомс заерзал в жидком зеленом креслице.

— Я, конечно, не смею утверждать, но, по-моему, они хотят идти своей собственной маленькой дорожкой, а это, думается мне, было и раньше.

— Вот как?

— Но, Проспер,— мягко возразила Уинифрид,— девицы, которых видишь на улице, девицы, поработавшие на военных заводах, молоденькие продавщицы — их манеры просто бьют в глаза.

При слове «бьют» Джек Кардиган прервал свои исторические изыскания; среди полного молчания мсье Профон сказал:

— Раньше это скрывалось внутри, теперь проступило наружу.

— Но их нравственность!— вскричала Имоджин.

— Они нравственны не менее, чем раньше, миссис Кардиган, но только теперь у них больше возможностей.

Это замечание, замаскированно-циническое, было принято легким смешком Имоджин, удивленно раскрывшимся ртом Джека Кардигана и скрипом кресла под Сомсом.

Уинифрид сказала:

— Какой вы злой, Проспер!

— А вы что скажете, миссис Форсайд? Вы не находите, что человеческая природа всегда одна и та же?

Сомс подавил внезапное желание вскочить и дать белыйицу пинка. Он услышал ответ жены:

— В Англии человеческая природа не такая, как в других местах.

Опять ее проклятая ирония!

— Возможно. Я мало знаком с этим маленьким островом. Но я сказал бы, что вода кипит везде, хоть котел и прикрыт крышкой. Мы все стремимся к наслаждению — и всегда стремились.

Черт бы побрал этого человека! Его цинизм просто... просто оскорбителен!

После завтрака общество разбилось на пары для пищеварительной прогулки. Из гордости Сомс не подал и вида, но он превосходно знал,

что Аннет где-то «рыщет» с Профоном, Флер пошла с Вэлом, его она выбрала, конечно, потому, что он знает того мальчишку. Ему самому досталась в пару Уинифрид. Несколько минут они шли по кругу в ярком потоке толпы, раскрасневшиеся и сытые, затем Уинифрид сказала:

— Хотелось бы мне, друг мой, вернуться на сорок лет назад.

Перед ее духовными очами нескончаемым парадом проходили ее собственные туалеты, сшитые к празднику у Лорда и оплачиваемые каждый раз по случаю очередного денежного кризиса ее отцом.

— В конце концов нам жилось тогда очень весело. Иногда мне даже хочется снова увидеть Монти. Что ты скажешь о нынешней публике, Сомс?

— Безвкусица, не на что посмотреть. Все стало разваливаться с появлением велосипедов и автомобилей; а война довершила развал.

— Я часто думаю: к чему мы идем?— Пирог с голубями сообщил Уинифрид нежную мечтательность.— У меня нет никакой уверенности, что мы не вернемся к кринолинам и клетчатым панталонам. Посмотри вон на то платье!

Сомс покачал головой.

— Деньги есть и теперь, но нет веры в устои. Мы не откладываем на будущее. Нынешняя молодежь... жизнь для них — короткое мгновение, и веселое.

— Ах, какая шляпа!— сказала Уинифрид.— Не знаю, право, как подумаешь, сколько людей убито на войне и все такое, так просто диву даешься. Нет другой такой страны, как наша. Проспер говорит, что все остальные страны, кроме Америки, обанкротились; но американцы всегда перенимали стиль одежды у нас.

— Он в самом деле едет в Полинезию?

— О! Никогда нельзя знать, куда едет Проспер.

— Вот кто, если хочешь, знамение времени,— пробормотал Сомс.

Уинифрид крепко стиснула рукой его локоть.

— Головы не поворачивай,— сказала она тихо,— но посмотри направо — в первом ряду на трибуне.

Сомс посмотрел, как мог, в границах поставленного условия. Там сидел человек в сером цилиндре, с седой бородкой, с худыми смуглыми морщинистыми щеками и несомненным изяществом в позе, а рядом с ним — женщина в зеленоватом платье, темные глаза которой пристально глядели на него, Сомса. Он быстро опустил глаза и стал глядеть на свои ноги. Как ноги смешно передвигаются: одна, другая, одна, другая. Голос Уинифрид сказал ему на ухо:

— У Джолиона вид совсем больной, но он сохранил стиль. А она не меняется — разве что волосы.

— Зачем ты рассказала Флер об этой истории?

— Я не рассказывала; она узнала сама. Я всегда говорила, что так и выйдет.

— Очень досадно. Она увлеклась их сыном.

— Ах, плутовка!— прошептала Уинифрид.— Она старалась отвести мне глаза на этот счет. Что ты думаешь делать, Сомс?

— Буду плыть по течению.

Они шли дальше молча, едва подвигаясь вперед в густой толпе.

— Действительно,— сказала вдруг Уинифрид,— можно сказать — судьба. Но это так несовременно. Смотри! Джордж и Юстас.

Высокая и грузная фигура Джорджа Форсайта остановилась перед ними.

— Хэлло, Сомс!— сказал он.— Я только что встретил Профона и твою жену. Ты можешь догнать их, если прибавишь шагу. Заходил ты к Тимоти?

Сомс кивнул, и людской поток разделил их.

— Мне всегда нравился Джордж,— сказала Уинифрид.— Он такой забавный.

— А мне он никогда не нравился.— ответил Сомс.— Где ты сидишь? Я хочу вернуться на наши места. Может быть, Флер уже там.

Проводив Уинифрид до ее места, он вернулся на свое и сидел, едва замечая быстрые белые фигурки, мелькавшие вдалеке, стук клюшек, взрывы аплодисментов то с одной, то с другой стороны. Ни Флер, ни Аннет! Чего ждать от современных женщин? Они получили право голоса. Получили «эмансипацию»— и ничего хорошего из этого не вышло! Так Уинифрид хотела бы вернуться назад и начать все сначала, включая Дарти? Возвратить прошлое — сидеть здесь, как он сидел в восемьдесят третьем и восемьдесят четвертом годах, до того как убедился, что брак его с Ирэн разрушен, до того как ее отвращение к нему стало настолько очевидным, что он при всем желании не мог его не замечать. Он увидел ее с Джолионом, и вот пробудились воспоминания. Даже теперь он не мог понять, почему она была так неподатлива. Она могла любить других мужчин; в ней это было! Но перед ним, перед единственным мужчиной, которого она обязана была любить, перед ним она предпочла закрыть свое сердце. Когда он оглядывался на прошлое, ему представлялось — хоть он и понимал, что это фантазия,— ему представлялось, что современное ослабление брачных уз (пусть формы и законы брака остались прежними), современная распущенность возникла из бунта Ирэн; ему представлялось (пусть это фантазия), что начало положила Ирэн, и разрушение шло, пока не рухнуло всякое благопристойное собственничество во всем и везде или не оказалось на пороге крушения. Все пошло от нее! А теперь — недурное положение вещей! Домашний очаг! Как можно иметь домашний очаг без права собственности друг на друга? Скажут, пожалуй, что у него никогда не было настоящего домашнего очага. Но по его ли вине? Он делал все, что мог. А наградой ему — те двое, сидящие рядом на трибуне, и эта история с Флер!

Охваченный чувством одиночества, он подумал: «Не стану больше ждать! Сами найдут дорогу до гостиницы, если захотят вернуться!» Окликнув у выхода такси, он сказал:

— На Бэйсуотер-род.

Старые тетки никогда ему не изменяли. Для них он был всегда желанным гостем. Их больше нет на свете, но остался Тимоти!

На крыльце в открытых дверях стояла Смизер.

— Мистер Сомс! А я как раз вышла подышать свежим воздухом. Вот-то обрадуется кухарка!

— Как поживает мистер Тимоти?

— Последние несколько дней он что-то не в себе, сэр; уж очень много разговаривает. Вот и сегодня утром он вдруг сказал: «Мой брат Джемс сильно постарел». Он путается в мыслях, мистер Сомс, и все говорит о родных. Тревожится за их вклады. На днях он сказал: «Мой брат Джолион не признает консолей». Он, видно, очень этим удручен. Заходите же, мистер Сомс, заходите. Такая приятная неожиданность.

— Я на несколько минут,— сказал Сомс.

— Да,— жужжала Смизер в передней, где в воздухе странно чувствовалась свежесть летнего дня,— мы им последнюю неделю не совсем довольны. Он, когда кушал, всегда оставлял лакомые кусочки на закуску. А с понедельника он кушает их первыми. Если вы когда наблюдали за собакой, мистер Сомс, так она всегда за своим обедом съедает вперед мясо. Мы всегда считали хорошим признаком, что мистер Тимоти в своем преклонном возрасте оставляет лакомое на закуску, но теперь он стал очень невоздержан: он теперь начинает с лучших кусков. Доктор не придает этому значения, но, право...— Смизер покачала головой.— Мистер Тимоти, кажется, думает, что если он не съест их сразу же, то потом они ему не достанутся. Нас это беспокоит — это и его разговорчивость.

— Он ничего важного не говорил?

— Как это ни печально, мистер Сомс, но я должна сказать, что он потерял интерес к своему завещанию. Просто видеть его не желает, дуется, а ведь столько лет вынимал его каждое утро. Так странно! Он сказал на днях: «Они ждут моих денег». Я так и ахнула, потому что, как я и сказала ему, никто, конечно, не ждет его денег. И так жаль, что он в своем возрасте думает о деньгах. Я собралась с духом и сказала: «Знаете, мистер Тимоти, моя дорогая хозяйка — то есть мисс Форсайт, мистер Сомс, мисс Энн, которая меня обучала,— она никогда не думала о деньгах,— сказала я,— ей всего важнее было доброе имя». Он посмотрел на меня, просто выразить не могу, до чего странно и очень сухо сказал: «Никому не нужно мое доброе имя». Подумайте, такие сказал слова. Но иногда он говорит вполне разумно.

Сомс между тем разглядывал старую гравюру около вешалки и думал: «Ценная вещь!»

— Я подымусь наверх, загляну к нему, Смизер,— сказал он.

— С ним сейчас кухарка,— пропыхтела Смизер из своего корсета,— она будет очень рада вас увидеть.

Сомс медленно взбирался по лестнице, думая: «Не дай бог дожить до такой старости!»

На втором этаже он остановился и постучал. Дверь отворилась, и он увидел круглое приветливое лицо женщины лет шестидесяти.

— Мистер Сомс!— сказала она.— Неужели! Мистер Сомс.

Сомс кивнул.

— Да, это я, Джейн!

И вошел.

Тимоти, обложенный подушками, полусидел в постели, сложив руки на груди и уставив глаза в потолок, на котором застыла вниз головою муха. Сомс стал в ногах кровати, глядя прямо на него.

— Дядя Тимоти,— сказал он, повысив голос,— дядя Тимоти!

Глаза Тимоти оторвались от мухи и остановились на лице гостя. Сомс видел, как бледный старческий язык прошел по темным губам.

— Дядя Тимоти,— повторил он,— не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Не хотите ли вы что-нибудь сказать?

— Ха!— произнес Тимоти.

— Я пришел проведать вас и посмотреть, все ли у вас благополучно.

Тимоти кивнул. Он, видимо, старался освоиться с возникшей перед ним фигурой.

— Есть ли у вас все, что вам нужно?

— Нет,— сказал Тимоти.

— Не могу ли я достать вам что-нибудь?

— Нет,— сказал Тимоти.

— Я Сомс. Понимаете? Ваш племянник, Сомс Форсайт. Сын вашего брата Джемса.

Тимоти кивнул.

— Я был бы рад что-нибудь сделать для вас.

Тимоти поманил. Сомс подошел ближе.

— Ты,— заговорил Тимоти беззвучным от старости голосом,— ты накажи им всем,— и палец его постучал по локтю Сомса,— чтоб они держались, держались — консоли идут в гору,— и он трижды кивнул головой.

— Хорошо,— сказал Сомс,— я им передам.

— Да,— сказал Тимоти и, снова уставив глаза в потолок, добавил:— Муха.

Странно растроганный, Сомс взглянул на приятное полное лицо кухарки, сплошь покрывшееся морщинками от постоянной возни у плиты.

— Ну, теперь-то ему станет лучше, сэр,— сказала она.

Тимоти что-то бормотал, но он явно разговаривал сам с собой, и Сомс вышел вместе с кухаркой.

— Мне так хотелось бы приготовить вам клубничный мусс, мистер Сомс, как в добрые старые дни; вы так его, бывало, любили. До свидания, сэр, всего хорошего; вот обрадовали нас, что зашли!

— Оберегайте его, Джейн,— он в самом деле стар.

И, пожав ее морщинистую руку, Сомс спустился в переднюю. Смизер еще стояла в дверях — дышала свежим воздухом.

— Как вы его находите, мистер Сомс?

— Смизер,— сказал Сомс,— мы все перед вами в долгу.

— О, нисколько, мистер Сомс! Не говорите! Это одно удовольствие, он замечательный человек.

— Ну, до свидания,— сказал Сомс и сел в такси.

«Идут в гору,— думал он.— В гору».

Прибыв в свой отель на Найтсбридж, он вошел в гостиную и заказал чай. Ни жены, ни дочери не было дома. И снова его охватило чувство одиночества. Ох, эти гостиницы! Какие они стали теперь чудовищно

громадные! Он помнит время, когда самыми большими были гостиницы Лонга, Брауна, Морлея, Тевисток-отель, а при упоминании о Лэнгхеме и Гранд-отеле сомнительно покачивали головой. Отели и клубы, клубы и отели; им теперь нет конца. И Сомс, только что дивившийся на стадионе Лорда чуду традиции и прочности, предался раздумью о том, как изменился этот Лондон, где он родился на свет шестьдесят пять лет назад. Идут ли консоли в гору или падают, но Лондон стал чудовищно богат. Нет другого столь богатого города, кроме разве Нью-Йорка. Пусть газеты впадают в истерику; но те, кто подобно ему, помнят, каков был Лондон шестьдесят лет назад, и видят его теперь,— те понимают всю плодотворность и гибкость богатства. Нужно только не терять головы и неуклонно стремиться к нему. В самом деле! Он помнит булыжные мостовые и вонючую солому под ногами в кебе. А старый Тимоти — чего только он не мог бы рассказать, если бы сохранил память! Во всем неустройство, люди спешат, суетятся, но здесь — Лондон на Темзе, вокруг — Британская империя, а дальше — край земли. «Консоли идут в гору!» Нечему тут удивляться. Все дело в породе. И все, что было в Сомсе бульдожьего, с минуту отражалось во взгляде его серых глаз, пока их не привлекла викторианская гравюра на стене. Отель закупил три дюжины таких гравюрок. На старые офорты в старых гостиницах было приятно смотреть — какая-нибудь охота или «Карьера повесы»,— а эта сентиментальная ерунда... да что там! Викторианская эпоха миновала. «Накажи им, чтоб они держались»,— сказал старый Тимоти. Но чего держаться в этом «демократическом» столпотворении, когда даже частная собственность под угрозой? И при мысли, что может быть уничтожена частная собственность, Сомс оттолкнул чашку с недопитым чаем и подошел к окну. Подумать только! Природой можно будет владеть не в большей мере, чем владеет эта толпа цветами, деревьями, прудами Хайд-парка. Нет, нет! Частная собственность лежит в основе всего, что стоит иметь. Просто мир немного свихнулся, как иногда собаки в полнолуние теряют рассудок и отправляются на ночную охоту. Но мир, как собака, знает, где лучше кормят и дают теплую постель, он непременно вернется к единственному очагу, какой стоит иметь,— к частной собственности. Мир временно впал в детство, как старый Тимоти, и начинает с лакомого куска!

Он услышал за спиной шум и увидел, что пришли жена и дочь.

— Вернулись все-таки!— сказал он.

Флер не ответила; она постояла, посмотрела на него и на мать и прошла в свою спальню. Аннет налила себе чашку чая.

— Я еду в Париж, к моей матери, Сомс.

— О! К твоей матери?

— Да.

— Надолго?

— Не знаю.

— А когда выезжаешь?

— В понедельник.

Действительно ли она едет к матери? Странно, как ему это стало безразлично! Странно, как безошибочно предугадала она, что он отне-

сется безразлично к ее отъезду, поскольку все обходится без скандала. И вдруг между собой и женой он отчетливо увидел лицо, которое уже видел сегодня: лицо Ирэн.

— Деньги тебе нужны?

— Спасибо; у меня вполне достаточно.

— Хорошо. Извести нас, когда соберешься назад.

Аннет положила на тарелку печенье, которое вертела в пальцах, и, глядя на мужа сквозь подчерненные ресницы, спросила:

— Передать что-нибудь maman?

— Передай поклон.

Аннет потянулась, держа руку на пояснице, и сказала по-французски:

— Какое счастье, что ты никогда не любил меня, Сомс!— И, встав, тоже вышла из комнаты.

Сомс был рад, что она сказала это по-французски, как бы исключая тем необходимость ответа. Опять то, другое лицо — бледное, темноглазое, все еще красивое! И где-то глубоко-глубоко внутри зашевелилось что-то похожее на тепло, словно от искры, тлеющей под рыхлой кучей пепла. А Флер сходит с ума по *ее* сыну! Дикая случайность! Но существует ли вообще случайность? Человек идет по тротуару, и ему падает на голову кирпич. А, вот это — случайность, несомненно. Но тут!.. «Унаследовала»,— сказала Флер. Она — она будет крепко держаться своего!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

ДУХ СТАРОГО ДЖОЛИОНА

Двойственное пробуждение заставило Джолиона сказать в то утро своей жене: «Поедем на стадион!»

«Срочно требуется»... что-нибудь, чем можно заглушить тревогу, которая не оставляла его и Ирэн в течение шести часов с той минуты, как Джон привез Флер в Робин-Хилл. И требуется что-нибудь, чтобы утолить терзания памяти у человека, знающего, что любой день может положить им конец!

Пятьдесят восемь лет назад Джолион поступил в Итон, потому что старому Джолиону заблагорассудилось «приобщить его к лику образованных людей» с возможно бо́льшими издержками. Из года в год он ездил на стадион Лорда с отцом, чья юность, в двадцатых годах прошлого века, протекала без шлифовки на крикетном поле. Старый Джолион, не смущаясь, говорил о крикете языком профана: «полмяча», «три четверти мяча», «попал в середку», «подшиб», и молодой Джолион в простодушном снобизме молодости трепетал, как бы кто не подслушал его родителя! Только в высоком деле крикета ему и приходилось трепетать — отец всегда казался ему идеалом. Старый Джолион не получил утонченного образования, но врожденная взыскательность и уравновешенность спасали его от срывов в вульгарность. Как приятно было после этих цилиндров, воя, изнурительной жары прокатиться домой с отцом

в кабриолете, принять ванну, переодеться и поехать в клуб «Разлад», где подадут на обед салаку, котлеты и яблочный пирог, а из клуба отправиться вместе в оперу или в театр — два щеголя, молодой и старый, в светло-лиловых лайковых перчатках. А в воскресенье, когда матч закончится и цилиндр получит долгожданную отставку, поехать в нарядном экипаже в ресторан «Корона и скипетр» и к террасе над Темзой — золотые шестидесятые годы, когда мир был прóст, денди блистательны, демократия еще не родилась и романы Уайта Мелвилла выходили один за другим.

Явилось новое поколение, с его сыном Джолли, носившим в петлице василек Хэрроу,— старому Джолиону заблагорассудилось, чтобы внук его «приобщился» с чуть-чуть меньшими издержками,— и снова Джолион в день матча томился от жары и наблюдал игру страстей и возвращался к прохладе и клубничным грядкам Робин-Хилла, а после обеда играл на бильярде, причем его мальчик отчаянно «мазал» и старался казаться скучающим и взрослым. Эти два дня в году они с сыном оставались одни во всем мире, с глазу на глаз,— а демократия только что народилась!

Итак, Джолион откопал серый цилиндр, взял у Ирэн клочок голубой ленты и помаленьку, полегоньку, в автомобиле, на поезде и в такси добрался до стадиона. Там, сидя рядом с Ирэн, одетой в зеленоватое платье с узкими черными кантами, он наблюдал за игрой и чувствовал, как шевелится в нем былое волнение.

Но мимо прошел Сомс, и день был испорчен. Лицо Ирэн исказилось, она сжала губы. Не стоило сидеть здесь и ждать, что вот-вот опять возникнут перед ними Сомс или его дочь, точно цифры периодической дроби. Он сказал:

— Не довольно ли, милая? Поедем, если хочешь, домой!

К вечеру Джолион почувствовал полный упадок сил. Не желая, чтобы Ирэн видела его в таком состоянии, он подождал, когда она села за рояль, и тихо удалился в свой кабинет. Он распахнул высокое окно — чтобы не было душно, распахнул двери — чтобы слышать волны ее музыки, и, усевшись в старом кресле своего отца, прислонив голову к потертому коричневому сафьяну, сомкнул глаза. Как то место из сонаты Цезаря Франка, была его жизнь с Ирэн — божественная третья тема. И вдруг теперь эта история с Джоном — скверная история! В полузабытьи, на грани сознания, он едва отдавал себе отчет, наяву или во сне слышит он запах сигары и видит во мраке, перед закрытыми глазами, своего отца. Образ возникал, уходил и опять возникал: ему казалось, что в этом кресле, где сейчас сидит он сам, видит он отца; видит, как старый Джолион, в черном сюртуке, закинул ногу на ногу и покачивает между большим и указательным пальцами очки; видит длинные белые усы и запавшие глаза, что смотрят из-под купола лба и, кажется, ищут его собственные глаза и говорят: «Ты уклоняешься, Джо? Тебе решать, не ей. Она только женщина!» Ах, как он узнавал своего отца в этой фразе! Как всплывал вместе с нею весь викторианский век! А он отвечает: «Нет, я струсил, не решился нанести удар ей, и Джону, и себе. У меня слабое сердце. Я струсил». Но старые глаза (насколько они старше, насколько

они моложе его собственных глаз!) повторяют настойчиво: «Твоя жена; твой сын; твое прошлое. Смелее, мой мальчик!» Была ли то весть от духа блуждающего? Или только голос отца, продолжающего жить в сыне? Снова послышался запах сигары — от старого продымленного сафьяна. Нет! Он не станет уклоняться! Он напишет Джону, изложит все как есть — черным по белому! И вдруг ему трудно стало дышать, что-то стянуло горло, и сердце как будто взбухло в груди. Он встал и вышел на воздух. Звезды были необычайно ярки. Он прошел по террасе вокруг дома, пока не поравнялся с окном гостиной, откуда мог видеть Ирэн за роялем; свет лампы падал на ее словно напудренные волосы; она ушла в себя; темные глаза глядели в пространство; руки праздно лежали на клавишах. Джолион увидел, как она подняла эти руки и стиснула их на груди. «О Джоне!— подумал он.— Все о Джоне! Я для нее перестаю существовать — это так естественно!»

Стараясь остаться незамеченным, он повернул назад.

На следующий день, дурно проспав ночь, он сел за свою работу. Он писал, писал с трудом, черкал и снова писал.

«Мой дорогой мальчик!

Ты достаточно взрослый, чтобы понять, как трудно родителям открываться перед своими детьми. В особенности если они, как твоя мать и твой отец (впрочем, для меня она всегда останется молодой), все свое сердце отдали тому, перед кем должны исповедаться. Не могу сказать, чтобы мы сознавали себя грешниками — в жизни у людей редко бывает такое сознание,— но большинство людей сказало бы, что мы согрешили; во всяком случае, наше поведение, праведное или неправедное, обратилось против нас. Правда заключается в том, дорогой мой, что у нас обоих есть прошлое, и теперь передо мной стоит задача поведать о нем тебе, потому что оно должно печально и глубоко отразиться на твоем будущем. Много, очень много лет назад — в 1883 году, когда ей было только двадцать лет,— твоя мать имела несчастье, большое, непоправимое несчастье вступить в неудачный брак — не со мною, Джон. Оставшись после смерти отца без денег, но зато с мачехой, близкой родственницей Иезавели,— она была очень несчастна дома. И вышла она замуж за моего двоюродного брата, Сомса Форсайта — отца Флер. Он ее домогался очень упорно и — надо отдать ему справедливость — сильно ее любил. Не прошло и недели, как она поняла свою ошибку. Не на нем лежала вина; виновато было ее неведение — ее злое счастье».

До сих пор Джолион сохранял некоторое подобие иронии, но дальше тема захватила его и увлекла.

«Джон, я хочу объяснить тебе, если смогу (а это очень трудно), почему так легко происходят такого рода несчастные браки. Ты скажешь, конечно: «Если она не любила его по-настоящему, как она могла стать его женой?» Ты был бы прав, если бы не одно очень печальное обстоятельство. От этой первоначальной ошибки произошли все последующие неурядицы, горе, трагедия, и потому я попытаюсь разъяснить ее тебе.

Понимаешь ли, Джон, в те дни, да и по сей день (право, я не вижу, несмотря на все разговоры о просвещении, как это может быть иначе), большинство девушек выходит замуж, ничего не зная о половой стороне жизни. Даже если они знают, в чем она заключается, они этого не испытали. В этом все дело. Все различие и вся трудность — в отсутствии действительного опыта, так как знание с чужих слов ничему не поможет. Очень часто — и так было с твоею матерью — девушка, вступая в брак, не знает и не может знать наверное, любит ли она своего будущего мужа или нет; не знает, пока ей этого не раскроет то физическое сближение, которое составляет реальную сущность брака. Во многих, может быть, в большинстве сомнительных случаев физическое сближение служит как бы цементом, скрепляющим взаимную привязанность. Но бывают и другие случаи — как с твоей матерью,— когда оно разоблачает ошибку и ведет к разрушению всякого влечения, если оно и было. Нет ничего трагичнее в жизни женщины, чем открыть эту истину, которая с каждым днем, с каждой ночью становится все очевиднее. Люди косного ума и сердца способны смеяться над подобной ошибкой и говорить: «Не из чего подымать шум!» Люди узкого ума, самодовольные праведники, умеющие судить о чужой жизни только по своей собственной, выносят суровый приговор женщине, допустившей эту трагическую ошибку, присуждают ее к пожизненной каторге, которую она сама себе уготовила. Ты слыхал выражение: «Где постелила, там и спи!» Грубая и жестокая поговорка, совершенно недостойная джентльмена в лучшем смысле этого слова; более сильного осуждения я не мог бы высказать. Я никогда не был тем, что называется нравственным человеком, однако я ни единым словом не хочу навести тебя, дорогой, на мысль, что можно относиться с легкостью к узам и обязательствам, какие человек берет на себя, вступая в брак. Боже упаси! Но по опыту всей моей прожитой жизни я утверждаю, что те, кто осуждает жертву подобной трагической ошибки, осуждает и не протягивает ей руку помощи,— те бесчеловечны, или вернее, были бы бесчеловечны, если бы понимали, что делают. Но они не понимают! Ну их совсем! Я предаю их анафеме, как, несомненно, и они предают анафеме меня. Мне пришлось сказать тебе все это, потому что я собираюсь отдать на твой суд твою мать, а ты очень молод и лишен жизненного опыта. Итак, продолжаю свой рассказ. После трехлетних усилий преодолеть свою антипатию — свое отвращение, сказал бы я, и это слово не будет слишком сильным, потому что при таких обстоятельствах антипатия быстро переходит в отвращение,— после трехлетней пытки, Джон!— потому что для такого существа, как твоя мать, для женщины, влюбленной в красоту, это было пыткой,— она встретила молодого человека, который ее полюбил. Он был архитектором, строил тот самый дом, где мы живем теперь, строил для нее и для отца Флер, новую тюрьму для нее вместо той, где ее держали в Лондоне. Может быть, это сыграло известную роль в том, что случилось дальше. Но только и она полюбила его. Знаю, мне нет нужды объяснять тебе, что нельзя выбрать заранее, кого полюбишь. Это находит на человека. И вот — нашло! Я представляю себе, хоть она никогда не рассказывала много об этом, ту борьбу, которая в ней тогда происходила, потому что, Джон, твоя мать

была строго воспитана и не отличалась легкостью взглядов — отнюдь нет. Однако то было всепоглощающее чувство, и оно дозрело до того, что они полюбили на деле, как любили в мыслях. И тут произошла страшная трагедия. Я должен рассказать тебе о ней, потому что иначе ты никогда не поймешь той ситуации, в которой тебе предстоит разобраться. Человек, за которого вышла твоя мать,— Сомс Форсайт, отец Флер,— однажды ночью, в самый разгар ее страсти к тому молодому человеку, насильственно осуществил над нею свои супружеские права. На следующий день она встретилась со своим любовником и рассказала ему об этом. Совершил ли он самоубийство или же в подавленном состоянии случайно попал под омнибус, мы так и не узнали; но так или иначе — он погиб. Подумай, что пережила твоя мать, когда услышала в тот вечер о его смерти. Мне случилось увидеть ее тогда. Твой дедушка послал меня помочь ей, если будет можно. Я ее видел лишь мельком — ее муж захлопнул передо мною дверь. Но я никогда не забывал ее лица, я и теперь вижу его перед собою. Тогда я не был в нее влюблен (это пришло двенадцать лет спустя), но я долгое время помнил ее лицо. Мой дорогой мальчик, нелегко мне это писать. Но ты видишь, я должен. Твоя мать предана тебе всецело, полна одним тобою. Я не хочу писать со злобой о Сомсе Форсайте. Я без злобы думаю о нем. Мне давно уже только жаль его. Может быть, мне и тогда было его жаль. По суждению света, она была преступницей, а он был прав. Он любил ее по-своему. *Она была его собственностью.* Таковы его воззрения на жизнь, на человеческие чувства, на сердце — собственность! Не его вина — таким он родился. Для меня подобные воззрения всегда были отвратительны — таким я родился! Насколько я знаю тебя, я чувствую, что и для тебя они должны быть отвратительны. Позволь мне продолжать мой рассказ. Твоя мать в ту же ночь бежала из его дома; двенадцать лет она тихо прожила одна, удалившись от людей, пока в 1899 году ее муж — он еще был, понимаешь, ее мужем, потому что не старался с нею развестись, а она, конечно, не имела права требовать развода,— пока муж ее не сообразил, по-видимому, что ему недостает детей; он начал длительную осаду, чтобы принудить ее вернуться к нему и дать ему ребенка. Я был тогда ее попечителем по завещанию твоего дедушки и наблюдал, как все это происходило. Наблюдая, я полюбил ее искренне и преданно. Он настаивал все упорнее, пока однажды она не пришла ко мне и не попросила меня взять ее под защиту. Чтобы принудить нас к разлуке, ее муж, которого осведомляли о каждом ее шаге, затеял бракоразводный процесс; или, может быть, он в самом деле хотел развода, не знаю. Но, так или иначе, наши имена были соединены публично. И это склонило нас к решению соединиться на деле. Она получила развод, вышла замуж за меня, и родился ты. Мы жили в невозмутимом счастье — я, по крайней мере, был счастлив, и, думаю, мать твоя тоже. Сомс вскоре после развода тоже женился, и родилась Флер. Таково наше прошлое, Джон. Я рассказал его тебе, потому что возникшая у тебя, как мы видим, склонность к дочери этого человека слепо ведет тебя к полному разрушению счастья твоей матери, если не твоего собственного. О себе я не хочу говорить, так как, учитывая мой возраст, трудно предположить, что

я еще долго буду попирать землю, да и страдания мои были бы только страданиями за твою мать и за тебя. Но я стремлюсь, чтобы ты понял одно: что подобное чувство ужаса и отвращения нельзя похоронить или забыть. Это чувство живо в ней по сей день. Не далее как вчера на стадионе Лорда мы встретили случайно Сомса Форсайта. Если бы ты видел в ту минуту лицо твоей матери, оно убедило бы тебя. Мысль, что ты можешь жениться на его дочери, преследует ее кошмаром, Джон. Я ничего не имею против Флер, кроме того, что она его дочь. Но твои дети, если ты женишься на ней, будут не только внуками твоей матери, они будут в той же мере внуками Сомса, человека, который когда-то обладал твоею матерью, как может мужчина обладать рабыней. Подумай, что это значит. Вступая в такой брак, ты переходишь в тот лагерь, где твою мать держали в заключении, где она изнывала. Ты стоишь на пороге жизни, ты только два месяца знаком с этой девушкой, и какой глубокой ни представляется тебе твоя любовь к ней, я прошу тебя пресечь эту любовь немедленно. Не отравляй твоей матери мукой и унижением остаток ее жизни. Мне она всегда будет казаться молодой, но ей пятьдесят семь лет. Кроме нас двоих, у нее нет никого на свете. Скоро у нее останешься ты один. Соберись с духом, Джон, и пресеки: не воздвигай между собой и матерью этой преграды. Не разбивай ее сердца! Благословляю тебя, дорогой мой мальчик, и — еще раз — прости мне боль, которую принесет тебе это письмо; мы пробовали избавить тебя от нее, но Испания, видно, не помогла.

Неизменно любящий тебя отец *Джолион Форсайт*».

Кончив свою исповедь, Джолион сидел, склонив сухую щеку на ладонь, и перечитывал написанное. Тут были вещи, которые причиняли ему такое страдание, когда он представлял себе, как Джон будет читать их, что он едва не разорвал письмо. Рассказывать такие вещи юноше, да еще родному сыну, рассказывать их о своей жене и о матери этого юноши казалось ужасным для его сдержанной форсайтской души. Однако, не рассказав их, как заставить Джона понять действительность, увидеть глубокую расщелину, неизгладимый шрам? Как оправдать перед юношей, что душат его любовь? Тогда уж лучше вовсе ничего не писать!

Он сложил исповедь и сунул ее в карман. Была — слава богу!— суббота; до завтрашнего вечера он мог еще подумать; ведь если даже послать письмо сейчас же, Джон его получит не раньше понедельника. Джолион чувствовал странное облегчение от этой отсрочки и от того, что, посланное или нет, письмо написано.

В розарии, разбитом на месте, где раньше были заросли папоротника, он видел Ирэн с садовыми ножницами и корзиной на руке. Она, казалось ему, никогда не оставалась праздной, и теперь, когда он сам проводил в праздности почти все свое время, он ей завидовал. Он сошел к ней в сад. Она подняла руку в запачканной перчатке и улыбнулась. Кружевная косынка, завязанная под подбородком, прикрывала ее волосы, и продолговатое лицо с темными еще бровями казалось совсем молодым.

— Мошкара в этом году очень назойлива, а между тем прохладно. У тебя усталый вид, Джолион.

Джолион вынул из кармана исповедь.

— Я написал вот это. Тебе, я думаю, следует прочесть.

— Письмо Джону?

Ее лицо изменилось, как-то осунулось и подурнело.

— Да. Тайна раскрыта.

Он дал ей письмо и отошел в чащу розовых кустов. Потом, видя, что она дочитала и стоит неподвижно с исписанными листами в опущенной руке, снова подошел к ней.

— Ну как?

— Чудесно изложено. Мне думается, лучше и нельзя было бы изложить. Благодарю, дорогой.

— Ты ничего не хотела бы вычеркнуть?

Она покачала головой.

— Нет; чтобы понять, он должен знать все.

— Так же думал и я, и все-таки — претит мне это!

У него было такое чувство, точно ему это претит сильнее, чем ей. Ему легче было говорить о вопросах пола с женщиной, чем с мужчиной; к тому же она всегда была естественной, искренней, в ней не было, как в нем, глубокой форсайтской скрытности.

— Не знаю, поймет ли он даже теперь, Джолион? Он так молод; и физическая сторона его отталкивает.

— Это он унаследовал от моего отца; тот относился ко всему такому брезгливо, как девушка. Не лучше ли написать заново и просто сказать ему, что ты ненавидела Сомса?

Ирэн покачала головой.

— Ненависть — только слово.Оно ничего не передает. Нет, лучше так, как написано.

— Хорошо. Завтра письмо уйдет.

Она подняла к нему лицо, и перед множеством увитых цветами окон большого дома он поцеловал ее.

II

ИСПОВЕДЬ

Попозже днем Джолион задремал в старом кресле. На коленях у него вверх переплетом лежала раскрытая «La Rôtisserie de la Reine Pedauque»[1], и перед тем как уснуть, он думал: «Будем ли мы когда-нибудь по-настоящему любить французов как нацию? Будут ли они когда-нибудь по-настоящему любить нас?» Сам он всегда любил французов, освоившись с их остроумием, их вкусами, их кухней. Перед войной, когда Джон учился в частной закрытой школе, они вдвоем с Ирэн часто ездили во Францию. И роман его с Ирэн начался в Париже — его последний и самый длительный роман. Но французы... англичанин не может их

[1] «Харчевня королевы Гусиные Лапки» *(фр.)*.

любить, если не научился глядеть на них как бы со стороны, глазом эстета. На этом печальном заключении он задремал.

Проснувшись, он увидел Джона, стоявшего между ним и дверью на террасу. Мальчик, очевидно, пришел из сада и ждал, пока отец проснется. Джолион улыбнулся спросонок. Как хорош его сын — чуткий, ласковый и прямой! Потом сердце его неприятно дернулось, ощущение дрожи пробежало по телу. Джон! И эта исповедь! Он сделал усилие, чтобы не утратить власти над собою.

— Здравствуй, Джон! Откуда ты свалился?

Джон нагнулся и поцеловал его в лоб.

Только тогда Джолион заметил, какое у него лицо.

— Я приехал, чтобы сказать тебе кое-что, папа.

Всеми силами Джолион старался совладать с беспокойным ощущением в груди — там что-то дергалось и клокотало.

— Хорошо, садись, друг мой! Ты показался маме?

— Нет.

Вспыхнувшая на лице мальчика краска сменилась бледностью; он сел на ручку старого кресла, как в давние дни Джолион сам садился, бывало, рядом со своим отцом, а тот вот так же в нем полулежал. Ручка кресла была его узаконенным местом, пока не настал между ним и отцом час разрыва. Неужели теперь он дожил до такого же часа со своим сыном? Всю жизнь он, как яд, ненавидел сцены, избегал ссор, шел спокойно своей дорогой и не мешал другим. Но теперь, у последнего предела, ему, по-видимому, предстояла сцена мучительней всех тех, которых он избежал. Он опустил забрало над своим волнением и ждал, чтобы сын заговорил.

— Папа!— медленно сказал Джон.— Я женюсь на Флер.

«Так и есть!»— подумал Джолион. У него перехватило дыхание.

— Я знаю, что тебе и маме не нравится эта мысль. Флер говорит, что мама была невестой ее отца перед тем, как вышла за тебя. Конечно, я не знаю, что там произошло, но это было так давно. Я люблю ее, папа, и она говорит, что любит меня.

Странный звук вырвался у Джолиона — не то смех, не то стон.

— Тебе девятнадцать лет, Джон, а мне семьдесят два. Как нам понять друг друга в таких вещах?

— Ты любишь маму, папа; ты должен понимать, что мы чувствуем. Несправедливо, чтобы те старые дела портили наше счастье!

Поставленный лицом к лицу со своею исповедью, Джолион решил обойтись без нее, если будет хоть малейшая возможность. Он положил руку сыну на плечо.

— Видишь ли, Джон, я мог бы затягивать дело разговорами о том, что вы оба слишком молоды и сами еще не знаете себя и все такое, но ты не стал бы слушать меня, и к тому же дело не в этом: молодость, к сожалению, излечивается сама собою. Ты с легкостью говоришь о «тех старых делах», не зная о них, как ты сам откровенно заявил, ровно ничего. Скажи, разве я когда-либо давал тебе повод сомневаться в моей любви к тебе или в моей искренности?

В менее тревожное мгновение он, верно, позабавился бы тем, что его слова вызвали столько противоречивых чувств: горячим рукопожатием мальчик постарался успокоить отца, но на лице его отразился страх перед тем, что последует за успокоением; однако Джолион почувствовал только благодарность за рукопожатие.

— Ты можешь верить тому, что я скажу. Джон, если ты не покончишь с этой любовью, ты сделаешь свою мать несчастной до конца ее дней. Верь мне, дорогой мой, прошлое, каково бы оно ни было, нельзя похоронить, нельзя!

Джон спрыгнул на пол.

«Девушка...— подумал Джолион.— Вот она идет, встает перед ним — сама жизнь — пылкая, прелестная, любящая!»

— Я не могу, папа. Как же, просто так, на слово? Конечно, не могу!

— Если б ты знал, что было, ты покончил бы с этим без колебания. Должен был бы. Поверь мне, Джон!

— Как ты можешь знать, что я стал бы думать? Папа, я люблю ее больше всего на свете.

Лицо Джолиона перекосилось, с мучительной медлительностью он сказал:

— Больше, чем мать, Джон?

По лицу мальчика, по его сжатым кулакам Джолион понимал, какую борьбу он переживает.

— Я не знаю,— вырвалось у него наконец,— не знаю! Но отступиться от Флер из-за ничего, из-за чего-то, что мне непонятно, отступиться от нее, не веря, что причина хоть наполовину стоит того,— это... это значило бы...

— Почувствовать, что мы несправедливы, что мы тебе помеха, да? Но лучше так, чем то, что ты затеял.

— Я не могу. Флер любит меня, и я ее люблю. Ты хочешь, чтоб я верил тебе. Почему же ты мне не веришь, папа? Мы ни о чем не станем допытываться — будет так, точно ничего и не было. И это только заставит нас обоих еще больше любить тебя и маму.

Джолион засунул руку в карман пиджака, но снова вынул ее пустую и сидел, пощелкивая языком о стиснутые зубы.

— Подумай, Джон, чем была для тебя твоя мать! У нее нет никого, кроме тебя: я недолго еще протяну.

— Почему? Не надо так говорить! Почему?

— Хорошо,— холодно сказал Джолион,— потому что так сказали мне врачи; только и всего.

— О папа!— воскликнул Джон и разразился слезами.

Слезы, которых он не видел у сына с тех пор, как тому исполнилось десять лет, глубоко потрясли Джолиона. Он яснее, чем когда-либо, понял, как страшно мягко сердце его мальчика, как много будет он страдать из-за этой истории и вообще в своей жизни. И беспомощно протянул вперед руку, не желая, да и не решаясь встать.

— Друг мой,— сказал он,— не надо, или ты заразишь и меня!

Джон подавил приступ рыданий и стоял очень тихо, отвернув лицо.

«Что теперь?— думал Джолион.— Что мне ему сказать, чтобы тронуть его?»

— Кстати, не рассказывай этого маме,— начал он,— довольно с нее тревоги по поводу тебя. Я понимаю твои чувства. Но, Джон, ты достаточно знаешь ее и меня. Ты можешь не сомневаться, что мы не стали бы с легким сердцем портить твое счастье. Мой дорогой мальчик, у нас одна забота — твое счастье; я, по крайней мере, думаю только о твоем счастье и о счастье твоей матери, а она только о твоем. Все ваше будущее — твое и ее — поставлено на карту.

Джон обернулся. Его лицо было мертвенно-бледно; глубоко запавшие глаза горели.

— Что же это? Что же это такое? Зачем вы оставляете меня в неизвестности?

Джолион, сознавая, что потерпел поражение, засунул руку в карман на груди и сидел так добрую минуту, закрыв глаза и тяжело дыша. В мозгу его пронеслась мысль: «Была у меня долгая полоса счастья, были и горькие минуты; эта — самая горькая». Потом он вынул руку, держа в ней письмо, и сказал устало:

— Хорошо, Джон, если бы ты не приехал сегодня, ты получил бы это по почте. Я хотел избавить тебя от лишней боли, пощадить твою мать и себя, но, вижу, тщетно. Прочти и подумай, а я пойду в сад,— и он сделал движение, намереваясь встать.

Джон, взяв письмо, быстро сказал:

— Нет, ты сиди, я сам уйду,— и убежал.

Джолион опять откинулся на спинку кресла. Большая синяя муха выбрала эту минуту, чтобы закружиться над ним, яростно жужжа; звук был приятен — лучше, чем ничего... Куда ушел мальчик читать письмо? Несчастное письмо, несчастная повесть! Жестоко это, жестоко для Ирэн, для Сомса, для этих двух детей, для него самого!.. Сердце его колотилось, было больно. Жизнь с ее любовью, трудом, красотой, с ее болью — и конец! Доброе время; прекрасное время, несмотря ни на что: прекрасное, пока не пожалеешь, что родился на свет. Жизнь изнашивает тебя, но не научает желать смерти — вот в чем коварство. Сердца лучше бы не иметь! Опять жужжа прилетела муха, внесла с собою всю жару, и звуки, и запах лета — да, запах зрелых плодов, высохшей травы, сочных зарослей и ванильного дыхания коров. И, притаившись где-нибудь среди этих запахов, Джон читает письмо, переворачивая и теребя страницы в горе, в недоумении и горе, и сердце его разрывается. Эта мысль причинила Джолиону острую муку. Джон так нежен сердцем, так глубоко привязчив и так совестлив — несправедливо это, ох, как несправедливо! Вспомнилось, как Ирэн сказала ему однажды: «Никогда не рождалось на свет существо более любящее и более достойное любви, чем Джон». Бедный маленький Джон! В один прекрасный летний день мир для него сразу утратил всякую цену. Юность так остро все воспринимает! В смятении, мучимый этой мыслью о юности, так остро все воспринимающей, Джолион вышел из дому. Если можно чем-нибудь помочь ему, нужно помочь.

Он прошел кустами, заглянул за ограду в сад — Джона нет. Не оказалось его и там, где начинали набухать и румяниться персики и абрикосы. Вдоль стены кипарисов, темных и острых, прошел он на луг. Куда запрятался мальчик? Кинулся в рощу — в старый свой заповедник? Джолион шел по валам скошенной травы. В понедельник ее сложат в копны, а во вторник начнут возить, если обойдется без дождя. Часто проходили они вместе этим лугом рука об руку, когда Джон был еще маленьким мальчиком. Увы! Золотой век кончается, когда человеку минет десять лет. Он подошел к пруду, где комары и мухи плясали над светлой водяной гладью среди камышей; прошел дальше, в рощу. Там стояла прохлада, сочился запах лиственниц. Но Джона не было. Джолион крикнул. Ответа нет. Взвинченный, встревоженный, забывая о своем недомогании, он сел на упавшее дерево. Неправильно он поступил, дав мальчику уйти с этим письмом; нужно было с начала до конца не сводить с него глаз. В сильном волнении он встал и побрел назад. У скотного двора он опять позвал, заглянул в темный коровник. В прохладе, в запахе ванили и аммиака, вдали от мух, три олдернейки мирно жевали жвачку; их только что подоили, и они ждали вечера, когда их снова выгонят на луг. Одна повернула ленивую голову, повела блестящим глазом; Джолион увидел слюну на серой нижней губе. В нервном своем возбуждении он видел все со страстной четкостью — все, что в свое время любил и пытался изобразить, чудеса светотени и красок. Не удивительно, что легенда поместила Христа в ясли — что может быть преданней и нежней глаз и лунно-белых рогов жующей коровы в теплом сумраке хлева? Джолион крикнул снова. Ответа нет! Торопливо пошел он прочь из рощи, мимо пруда, вверх по склону холма. Странная, как подумаешь, была бы игра иронии, если бы Джон пошел переживать свое открытие в эту рощу, где некогда его мать и Босини очертя голову признались друг другу в любви, где сам он, сидя на стволе дерева в то воскресное утро, когда вернулся из Парижа, понял, что Ирэн для него заполнила весь мир. И это место ирония должна была бы выбрать, чтобы разодрать пелену перед глазами сына Ирэн! Но его здесь нет! Куда он ушел? Нужно разыскать беднягу.

Солнечный луч потянулся к нему, обостряя для его повышенного восприятия красоту этого дня, и высоких деревьев, и удлиняющихся теней, и синевы, и белых облаков; пахло сеном; ворковали голуби; цветы высоко подымали свои головки. Он прошел в розарий, и красота роз в этом внезапном свете солнца показалась ему неземной. «Роза, испанская гостья!» Чудесные три слова! Здесь стояла она у куста темно-красных роз, стояла, читая, и решила, что Джон должен все узнать! И вот он узнал! Справедлив ли был ее выбор? Джолион наклонился, понюхал розу; ее лепестки, щекоча, коснулись его ноздрей и дрожащих губ; нет ничего нежнее, чем бархат розового лепестка, кроме, конечно, шеи Ирэн. Ирэн! Он пересек лужайку и пошел вверх по склону, к старому дубу. Только вершина его золотилась, потому что тот внезапный луч солнца ушел за дом; тень внизу была густа и блаженно-прохладна. Джолиона сильно утомила жара. Минуту он стоял, держась за веревку качелей,— Джолли, Холли, Джон! Старые качели! И вдруг почувствовал страшную,

смертельную дурноту. «Я хватил через край,— подумал он,— честное слово! Я хватил через край!» Шатаясь, он поплелся обратно к террасе, с трудом поднялся по ступенькам и припал к стене дома. Так он стоял, задыхаясь, зарывшись лицом в жимолость, над которой он и Ирэн столько потрудились вдвоем, чтобы слаще был воздух, вливаясь в окна. Благоухание жимолости мешалось с острой болью. «Любовь моя!— подумал он.— Мой мальчик!» С большим усилием он добрался до стеклянной двери, переступил порог и опустился в кресло старого Джолиона. Рядом лежала книга, и в ней карандаш; он дотянулся до него, нацарапал одно слово на раскрытой странице... рука его упала... Так вот это как... Неужели так?

Судорога — и темнота...

III

ИРЭН!

Когда с письмом в руке Джон кинулся прочь из комнаты отца, он в страхе и смятении пробежал по террасе, обогнул угол дома. Прислонившись к увитой зеленью стене, он разорвал конверт. Письмо длинное, очень длинное! Страх возрос. Он начал читать. Когда дошел до слов: «И вышла она замуж... за отца Флер», в глазах у него все завертелось. Рядом была стеклянная дверь. Войдя в нее, он пересек гостиную и холл и поднялся в свою спальню. Освежив лицо холодной водой, он сел на кровать и читал дальше, роняя рядом с собой на покрывало дочитанные листки. Почерк отца читался так легко — Джон хорошо его знал, хотя никогда не получал от отца писем и в четверть таких длинных. Он читал, но чувства его словно притупились, воображение работало лишь наполовину. Лучше всего понял он при этом первом чтении, какую боль должен был испытывать отец, когда писал это письмо. Он уронил последний листок и в какой-то умственной, нравственной беспомощности стал перечитывать первый. Все это казалось ему омерзительным — мертвым и омерзительным. Потом горячей волной его обдало внезапное чувство ужаса. Он зарылся лицом в ладони. Его мать! Отец Флер! Собрал листки, машинально стал читать дальше. И опять явилось чувство, что все это мертво и омерзительно; его собственная любовь совсем иная! В письме сказано: его мать — и ее отец! Страшное письмо!

Собственность! Неужели бывают мужчины, которые смотрят на женщину как на свою собственность? Лица, виденные на улице или в деревне, обступили его толпой — красные, мясистые лица; лица жесткие и тупые; сухие и чванные; злобные лица; сотни, тысячи лиц! Как может он знать, что думают и делают люди, у которых такие лица? Джон сжал виски руками и застонал. Его мать! Он сгреб листки и снова стал читать: «...чувство ужаса и отвращения... живо в ней по сей день... Ваши дети... внуками... человека, который обладал твоею матерью, как может мужчина обладать рабыней...» Джон встал с кровати. Это жестокое, темное прошлое, притаившееся, точно тень, чтобы убить его любовь и любовь Флер, это прошлое — правда; иначе отец не мог бы написать такое письмо. «Почему мне не рассказали сразу,— думал Джон,— в тот день,

когда я в первый раз увидел Флер? Они знали, что я увидел ее; они боялись, а теперь... Теперь вот это!» От боли, такой острой, что невозможно было рассуждать и взвешивать, он забился в темный угол комнаты и сел на пол. Он сидел там несчастным зверьком. Сумрак и голый пол были утешительны — они словно возвращали его к тем дням, когда, распластавшись на полу, он играл в солдатики. Скрюченный, взъерошенный, обняв руками колени, просидел он так, сам не зная сколько времени. Сидел, оцепенев от горя, пока его не заставил очнуться скрип двери, открывшейся в его комнату из комнаты матери. Шторы на окнах были спущены, и окна в его отсутствие закрыты, и он из своего угла мог только слышать шелест, ее приближающиеся шаги, потом увидел, что она остановилась за кроватью у туалетного стола. Она держала что-то в руке. Джон едва дышал, надеясь, что она его не заметит и уйдет. Он видел, как она трогала вещи на столе, словно они таили в себе какую-то внутреннюю силу, потом повернулась к окну — серая с головы до ног, точно призрак. Стоит ей еще чуть-чуть повернуть голову, и она его увидит! Губы ее зашевелились: «О Джон!» Она говорила сама с собою; от звука ее голоса у Джона дрогнуло сердце. Он увидел в ее руке маленькую фотографию. Она ее держала к свету и глядела на нее. Крошечная карточка. Джон ее узнал: это он сам маленьким мальчиком — карточка, которую она всегда держит у себя в сумке. Сердце его забилось. И вдруг, словно услышав это, она повернула голову и увидела его. На ее невольный возглас, на движение ее рук, прижавших фотографию к груди, он сказал:

— Да, это я.

Она подошла к кровати и села, совсем близко от него, все еще прижимая руки к груди, наступая на листки письма, соскользнувшие на пол. Она их увидела, и руки ее вцепились в спинку кровати. Она сидела очень прямо, устремив на сына темные глаза. Наконец она заговорила:

— Так, Джон. Ты, я вижу, знаешь.

— Да.

— Ты видел папу?

— Да.

Долго длилось молчание, пока она не сказала:

— О мой дорогой мальчик!

— Ничего. Все в порядке.

Его переживания были так бурны и так сложны, что он не смел пошевелиться — в обиде, в отчаянии и странной жажде почувствовать на лбу утешительное прикосновение ее руки.

— Что ты думаешь делать?

— Не знаю.

Снова долгое молчание; потом Ирэн поднялась. Она стояла с минуту очень тихо, только перебирая пальцами, потом сказала:

— Мой дорогой, дорогой мой мальчик, не думай обо мне, думай о себе.

И, обойдя кровать, пошла обратно в свою комнату.

Джон свернулся клубком, точно ежик, забился в угол.

Так прошло минут двадцать, когда его поднял крик. Крик донесся снизу, с террасы. Джон вскочил в испуге. Крик раздался снова:«Джон!»

Голос матери! Джон выбежал из комнаты, сбежал вниз по лестнице, через пустую столовую в кабинет отца. Мать стояла на коленях перед старым креслом, а отец лежал в кресле совершенно белый, уронив голову на грудь; одна рука покоилась на раскрытой книге, сжимая в пальцах карандаш, но так странно — Джон в жизни не видел ничего более странного. Ирэн, как безумная, посмотрела вокруг и сказала:

— О Джон, он умер... умер!

Джон тоже упал на колени и, перегнувшись через ручку кресла, на которой недавно сидел, прижал губы ко лбу отца. Холоден как лед! Как мог, как мог папа умереть, когда час назад... Мать обнимала руками его колени, прижималась к ним грудью. «Почему, почему меня не было при нем!»— услышал Джон ее шепот. Потом он увидел одно слово «Ирэн», нацарапанное карандашом на открытой странице, и сам разрыдался. То было его первое знакомство со смертью человека, и ее немотная тишина заглушила в нем все другие переживания; все прочее лишь подготовка к этому! Любовь и жизнь, радость, тревога и печаль, и движение, и свет, и красота — лишь вступление в эту страшную белую тишину. Он был глубоко потрясен. Все вдруг показалось маленьким, бесплодным, коротким. Наконец он совладал с собою, встал и поднял Ирэн:

— Мама, мама, не плачь!

Через несколько часов, когда сделано было все, что следует, и мать его легла, он остался наедине с отцом, лежавшим на кровати под белой простыней. Долго стоял он, глядя в это лицо, никогда не выражавшее злобы в чертах своих, всегда чуть капризных и добрых. «Быть всегда добрым и вести свою линию — только и всего»,— сказал он однажды сыну. Как удивительно отец его действовал всегда согласно этой философии! Джон понял теперь: отец задолго до своего конца знал, что смерть придет к нему внезапно, знал и ни словом о том не обмолвился. Джон смотрел на него со страстным благоговением. На какую одинокую тоску обрек он себя, щадя его мать и его самого! И маленьким казалось Джону его собственное горе, когда он глядел в это лицо. Слово, нацарапанное на странице! Прощальное слово! Теперь у мамы не осталось никого, кроме него, Джона! Он подошел ближе к мертвому — лицо нисколько не изменилось, и все-таки совсем другое. Отец сказал однажды, что не верит утверждению, будто сознание переживет смерть тела; если даже оно и переживет, то лишь до той поры, пока не настанет естественный предел жизни тела, пока не истечет естественный срок присущей ему жизнеспособности: так что если тело будет убито несчастным случаем, излишествами, острым заболеванием, тогда сознание может существовать дальше, до того времени, когда по естественному ходу вещей, без вмешательства со стороны, оно само изжило бы себя. Джона поразили тогда слова отца, потому что он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь другой высказывал такую мысль. Если сердце так вот вдруг отказалось работать, это, конечно, не совсем естественно! Может быть, сознание его отца еще присутствует в этой комнате. Над кроватью висит портрет отца его отца. Может быть, и *его* сознание еще живет, и сознание брата — его старшего брата, умершего в Трансваале. Может быть, все они собрались сейчас вокруг этой постели? Джон поцеловал холодный лоб и тихо

пошел в свою комнату. Дверь в спальню матери приоткрыта; очевидно, мать заходила сюда: все для него приготовлено, вплоть до бисквитов и теплого молока, и письма не видно на полу. Джон выпил молоко и съел бисквиты, наблюдая, как угасают последние отсветы дня. Он не пытался всматриваться в будущее — только глядел в темные ветви дуба на уровне окна, и у него было такое чувство, точно жизнь остановилась. Ночью, ворочаясь в тяжелом сне, он увидел раз что-то белое и неподвижное подле своей кровати и вскочил в испуге.

Голос матери произнес:

— Это только я, Джон, дорогой!

Ее рука легла ему на лоб, мягко отклонила назад его голову; затем белая фигура исчезла.

Один! Он снова уснул тяжелым сном, и во сне ему чудилось, что имя матери ползет по его кровати.

IV

СОМС РАЗМЫШЛЯЕТ

Объявление в «Таймсе» о смерти молодого Джолиона Сомс принял очень просто. Итак, его двоюродный братец умер! Между ними никогда не существовало родственной любви. Полнокровное чувство ненависти в сердце Сомса давно умерло, с опасностью рецидивов он всегда боролся, однако эта ранняя смерть представлялась ему неким поэтическим возмездием. Двадцать лет человек наслаждался отнятыми у другого женой и домом — и вот он умер. Появившийся несколько позже некролог, по мнению Сомса, воздал Джолиону слишком много чести. Там говорилось о «тонком мастере и приятном художнике, чьи работы являют нам типический и лучший образец акварельной живописи поздневикторианского периода». Сомс, который всегда бессознательно предпочитал Мола, Морпина, Кэзуэла Бэя и громко фыркал, встречая на выставках работы своего двоюродного брата, перевернул хрустящую страницу «Таймса».

В это утро ему пришлось поехать в Лондон по форсайтским делам, и он определенно заметил, что Грэдмен кидает на него поверх очков косые взгляды. Старый клерк излучал какую-то скорбно-поздравительную эманацию. От него прямо-таки веяло запахом минувших времен. Было почти слышно, как он думает: «Мистер Джолион... м-да, он был как раз моих лет, и вот умер, жаль, жаль! Для нее, надо думать, это большой удар. Красивая была женщина. Все мы под богом ходим! Газеты посвящают ему некролог. Вот какие дела!» Окружавшая Грэдмена атмосфера побудила Сомса с необычайной быстротой провести несколько сделок по передаче собственности и сдаче внаем домов.

— А как насчет того проекта, мистер Сомс, касательно мисс Флер?

— Я передумал,— коротко ответил Сомс.

— А! О! Я очень рад. Мне и то показалось тогда, что вы слишком торопитесь. Времена меняются.

Сомс начал тревожиться о том, как отразится эта смерть на Флер. Он не был уверен, что дочь знает о случившемся: она редко просматри-

проку в земле немного, а в титуле, пожалуй, и того меньше. Старые Форсайты всегда немножко презирали титулы, видя в них нечто чуждое и искусственное, не оправдывающее тех денег, которых они стоят; и потом, иметь дело с двором! Им всем, вспоминал Сомс, в большей или меньшей мере было присуще это чувство. Правда, Суизин в дни своего наивысшего расцвета присутствовал однажды на утреннем приеме у некоей высокой особы. Но, вернувшись домой, заявил, что больше не пойдет. «Ну их всех! Мелкая рыбешка!» Злые языки утверждали по этому поводу, что Суизин выглядел слишком громоздким в штанах до колен. И вспомнилось Сомсу, как его собственная мать мечтала быть представленной оной особе — потому что эта церемония так фешенебельна!— и как его отец с необычайной для него решительностью воспротивился желанию жены: пустая трата времени и денег, ничего это им не даст!

Тот самый инстинкт, благодаря которому палата общин получила и сохраняет верховную власть в британском государстве, чувство, что их собственный мир достаточно хорош и даже лучше всякого другого, потому что это *их* мир позволил старым Форсайтам не льститься на «аристократическую мишуру», как называл все это Николас, когда его донимала подагра. Поколение Сомса, более склонное к самоанализу и к иронии, спасала мысль о Суизине в коротких штанах. А третье и четвертое поколения, по-видимому, просто смеются над всем без разбора.

Однако Сомс не видел большого вреда в том непоправимом обстоятельстве, что молодой человек был наследником баронетского титула и поместья. Он спокойно взошел на веранду в то мгновение, когда Монт только что промахнулся. Сомс заметил, что глаза молодого человека прикованы к Флер, в свою очередь наклонившейся над столом; и обожание, которое можно было в них прочесть, почти растрогало его.

Флер положила кий на выемку своей гибкой кисти, потом подняла голову и тряхнула копной коротких темно-каштановых волос.

— Мне не попасть.

— Кто не рискует, тот...

— Правильно!

Кий ударил, шар покатился.

— Ну вот!

— Промах! Не беда!

Они увидели его, и Сомс сказал:

— Давайте я буду у вас маркером.

Он сидел на высоком диване под счетчиком, подобранный и усталый, вглядываясь украдкой в эти два лица. Когда партия кончилась, Монт подошел к нему.

— Ну вот, сэр, я приступил. Нудная это материя — дела, правда? Вы, верно, в качестве юриста много накопили наблюдений над человеческой природой.

— Накопил.

— А сказать вам, что я заметил? Люди избирают ошибочный путь, предлагая меньше, чем могут дать; надо предлагать больше, а потом идти на попятный.

Сомс поднял брови.

проку в земле немного, а в титуле, пожалуй, и того меньше. Старые Форсайты всегда неимоверно презирали титулы, видя в них нечто чуждое и искусственное, не оправдывающее тех денег, которых они стоят; и потом, иметь дело с двором! Им всем, вспоминал Сомс, в большей или меньшей мере было присуще это чувство. Правда, Суизин в дни своего наивысшего расцвета присутствовал однажды на утреннем приеме у некоей высокой особы. Но, вернувшись домой, заявил, что больше не пойдет. «Ну их всех! Мелкая рыбешка!» Злые языки утверждали по этому поводу, что Суизин выглядел слишком громоздким в штанах до колен. И вспомнилось Сомсу, как его собственная мать мечтала быть представленной оной особе — потому что эта церемония так фешенебельна!— и как его отец с необычайной для него решительностью воспротивился желанию жены: пустая трата времени и денег, ничего это им не даст!

Тот самый инстинкт, благодаря которому палата общин получила и сохраняет верховную власть в британском государстве, чувство, что их собственный мир достаточно хорош и даже лучше всякого другого, потому что это *их* мир позволил старым Форсайтам не льститься на «аристократическую мишуру», как называл все это Николас, когда его донимала подагра. Поколение Сомса, более склонное к самоанализу и к иронии, спасала мысль о Суизине в коротких штанах. А третье и четвертое поколения, по-видимому, просто смеются над всем без разбора.

Однако Сомс не видел большого вреда в том непоправимом обстоятельстве, что молодой человек был наследником баронетского титула и поместья. Он спокойно взошел на веранду в то мгновение, когда Монт только что промахнулся. Сомс заметил, что глаза молодого человека прикованы к Флер, в свою очередь наклонившейся над столом; и обожание, которое можно было в них прочесть, почти растрогало его.

Флер положила кий на выемку своей гибкой кисти, потом подняла голову и тряхнула копной коротких темно-каштановых волос.

— Мне не попасть.

— Кто не рискует, тот...

— Правильно!

Кий ударил, шар покатился.

— Ну вот!

— Промах! Не беда!

Они увидели его, и Сомс сказал:

— *Давайте я буду у вас маркером.*

Он сидел на высоком диване под счетчиком, подобранный и усталый, вглядываясь украдкой в эти два лица. Когда партия кончилась, Монт подошел к нему.

— Ну вот, сэр, я приступил. Нудная это материя — дела, правда? Вы, верно, в качестве юриста много накопили наблюдений над человеческой природой.

— Накопил.

— А сказать вам, что я заметил? Люди избирают ошибочный путь, предлагая меньше, чем могут дать; надо предлагать больше, а потом идти на попятный.

Сомс поднял брови.

— Но если предложение будет принято?

— Ничего не значит,— сказал Монт,— выгодней сбавлять цену, чем повышать. Скажем, мы предложили автору хорошие условия — он, естественно, их принял. Затем мы приступили к делу, находим, что не можем издать вещь с приличной прибылью, и говорим ему это. Он доверяет нам, потому что мы были к нему щедры, покоряется смирно, как ягненок, и не питает к нам ни малейшей злобы. А если мы сразу же предложим ему жесткие условия, он их не примет, нам придется их повышать, чтобы он от нас не ушел, и вот он считает нас гнусными скрягами и торгашами.

— Попробуйте покупать по этой системе картины,— сказал Сомс.— Принятое предложение есть уже контракт — вас этому не учили?

Молодой человек повернул голову туда, где стояла у окна Флер.

— Нет,— сказал он,— к сожалению, не учили. Потом вот еще что: всегда освобождайте человека от контракта, если ему хочется освободиться.

— В порядке рекламы?— сухо сказал Сомс.

— Если хотите; но я это мыслю как принцип.

— Ваше издательство следует этому принципу?

— Пока что нет,— ответил Монт,— но это придет.

— Зато авторы уйдут.

— Нет, сэр, право, не уйдут. Я собираю теперь наблюдения, множество наблюдений, и все они подтверждают мою теорию. В делах постоянно недооценивается природа человека, и люди при этом теряют очень много удовольствия и прибыли. Конечно, вы должны действовать совершенно искренне и открыто, но это нетрудно, если таковы ваши чувства. Чем вы гуманнее и щедрее, тем выше ваши шансы в делах.

Сомс встал.

— Вы уже вступили в компанию?

— Нет еще, вступлю через шесть месяцев.

— Остальным компаньонам следовало бы поторопиться забрать свои паи.

Монт рассмеялся.

— Вы еще увидите,— сказал он,— наступают большие перемены. Собственнический принцип дышит на ладан.

— Что?— сказал Сомс.

— Закрывается лавочка! Помещение сдается внаем! До свидания, сэр. Мне пора уходить.

Сомс видел, как его дочь протянула Монту руку и поморщилась от пожатия, и явственно услышал, как вздохнул молодой человек, уходя. Потом Флер пошла прочь от окна, ведя пальцем по борту бильярдного стола красного дерева. Наблюдая за нею, Сомс понимал, что она собирается спросить его о чем-то. Флер обвела пальцем последнюю лузу и подняла глаза.

— Ты что-нибудь делал, папа, чтобы помешать Джону писать мне?

Сомс покачал головой.

— Ты, значит, не читала в газете?— сказал он.— Умер его отец — ровно неделю назад.

— О!

Ее смущенное и нахмуренное лицо отразило мгновенное усилие сообразить, что́ несет ей эта новость.

— Бедный Джон! Почему ты мне не рассказал, папа?

— Откуда мне знать,— тихо ответил Сомс,— ты мне не доверяешь.

— Я доверяла бы, если бы ты согласился помочь мне, дорогой.

— Может быть, я соглашусь.

Флер сжала руки.

— О, дорогой мой, когда чего-то отчаянно хочешь, то не думаешь о других. Не сердись на меня.

Сомс протянул руку, словно отстраняя клевету.

— Я размышляю,— сказал он. Что заставило его выразиться так торжественно?— Монт опять докучал тебе?

Флер улыбнулась.

— Ох! Майкл! Он всегда докучает; но он такой милый — пусть его.

— Ну,— сказал Сомс,— я устал; пойду сосну немного перед обедом.

Он пошел наверх в свою галерею, лег на диван и закрыл глаза. Его пугала ответственность за свою девочку, чья мать была — гм! чем, собственно, была ее мать? Страшная ответственность! Помочь ей? Как может он ей помочь? Он не может изменить того факта, что он ей отец. Или что Ирэн... Что сказал сегодня этот юнец, Майкл Монт? Какую-то чепуху о собственническом инстинкте — закрыть лавочку, сдать внаем? Вздор!

Знойный воздух, насыщенный запахами таволги, реки и роз, обволакивал его чувства, усыпляя их.

V

НАВЯЗЧИВАЯ ИДЕЯ

«Навязчивая идея»— самый злостный растратчик среди всех душевных недугов — никогда не проявляется так бурно, как если примет алчный образ любви. Заборы ли, канавы, или двери, люди ли, не отягченные навязчивой или какой другой идеей, детские колясочки и их пассажиры, прилежно сосущие свою навязчивую идею, другие ль страдальцы, преследуемые этой упрямой болезнью,— навязчивая идея любви ничего не желает замечать. Она несется, обратив глаза внутрь, к собственному источнику света, забывая обо всех других светилах. Люди, одержимые навязчивой идеей, что счастье человечества зависит от их искусства, от вивисекции собак, от ненависти к иноземцам, от уплаты чрезвычайного налога, от того, удержатся ли они на министерских постах, будут ли вращать колеса или мешать соседям разводиться, от их отказа нести военную службу, от греческих глаголов, от церковных догматов, от парадоксов, от превосходства над всяким другим человеком, страдающим другою мономанией,— все они непостоянны по сравнению с тем или тою, кто одержим идеей овладеть своим избранником или избранницей; и хотя Флер в те прохладные дни вела рассеянную жизнь маленькой мисс Форсайт, чьи платья будут безотказно оплачены и чье главное занятие — получать удовольствия, однако до всего этого ей, как вырази-

лась бы по-модному Уинифрид, «самым честным образом» не было никакого дела. Она хотела только, упорно хотела достать месяц, который плыл по холодному небу над Темзой или Грин-парком, когда она отправлялась в город. Письма Джона она завернула в розовый шелк и хранила у сердца, а в наши дни, когда корсеты так низки, чувства презираются и грудь так не в моде, едва ли можно было бы найти более веское доказательство навязчивости ее идеи.

Узнав о смерти его отца, она написала Джону и через три дня, вернувшись с прогулки по реке, получила от него ответ. Это было первое его письмо после их свидания у Джун; вскрывая его, она мучилась предчувствием, читая — пришла в ужас.

«С тех пор как я виделся с тобой, я узнал все о прошлом. Я не стану рассказывать тебе того, что узнал, ты, я думаю, знала это, когда мы встретились у Джун. Она говорит, что ты знала. Если так, Флер, ты должна была мне рассказать. Но ты, наверно, слышала только версию твоего отца; я же слышал версию моей матери. То, что было,— ужасно. Теперь, когда у мамы такое горе, я не могу причинить ей новую боль. Конечно, я томлюсь по тебе день и ночь, но теперь я не верю, что мы когда-нибудь сможем соединиться,— что-то слишком сильное тянет нас прочь друг от друга».

Так! Ее обман раскрыт. Но Джон — она чувствовала — простил ей обман. Если сердце ее сжималось и подкашивались колени, то причиной тому были слова Джона, касавшиеся его матери.

Первым побуждением было ответить, вторым — не отвечать. Эти два побуждения возникали вновь и вновь в течение последующих дней, по мере того как в ней росло отчаяние. Недаром она была дочерью своего отца. Цепкое упорство, которое некогда выковало и погубило Сомса, составляло и у Флер костяк ее натуры — принаряженное и расшитое французской грацией и живостью. Глагол «иметь» Флер всегда инстинктивно спрягала с местоимением «я». Однако она скрыла все признаки своего отчаяния и с напускной беззаботностью отдавалась тем развлечениям, какие могла доставить река в дождливые и ветреные июльские дни; и никогда ни один молодой баронет так не пренебрегал издательским делом, как ее верная тень — Майкл Монт.

Для Сомса Флер была загадкой. Его почти обманывала ее беспечная веселость. Почти — так как он все-таки замечал, что глаза ее часто глядят неподвижно в пространство и что поздно ночью из окна ее спальни падает на траву отсвет лампы. О чем размышляла она в предрассветные часы, когда ей следовало спать? Он не смел спросить, что у нее на уме; а после того короткого разговора в бильярдной она ничего ему не говорила.

В эту-то пору замалчивания и случилось, что Уинифрид пригласила их к себе на завтрак, предлагая после завтрака пойти на «презабавную маленькую комедию —«Оперу нищих», и попросила их прихватить с собою кого-нибудь четвертого. Сомс, державшийся в отношении театров вполне определенного правила — не смотреть ничего, принял приглаше-

ние, так как Флер держалась обратного правила — смотреть все. Они поехали в город на автомобиле, взяв с собою Майкла Монта, который был на седьмом небе от счастья, так что Уинифрид нашла его «очень забавным». «Опера нищих» привела Сомса в недоумение. Персонажи все очень неприятные, вещь в целом крайне цинична. Уинифрид была «заинтригована»... костюмами. И музыка тоже пришлась ей по вкусу. Накануне она слишком рано пришла в «Оперу» посмотреть балет и застала на сцене певцов, которые битый час бледнели и багровели от страха, как бы по непростительной небрежности не изобразить мелодию. Майкл Монт был в восторге от всей постановки. И все трое гадали, что о ней думала Флер. Но Флер о ней не думала. Ее навязчивая идея стояла у рампы и пела дуэт с Полли Пичем, кривлялась с Филчем, танцевала с Дженни Дайвер, становилась в позы с Люси Локит, целовалась, напевала, обнималась с Мэкхитом. Губы Флер улыбались, руки аплодировали, но старинный комический шедевр затронул ее не больше, чем если бы он был сентиментально-слезлив, как современное «Обозрение». Когда они снова уселись в машину и поехали домой, ей было больно, что рядом с ней не сидит вместо Майкла Монта Джон. Когда на крутом повороте плечо молодого человека, словно случайно, коснулось ее плеча, она подумала только: «Если бы это было плечо Джона!» Когда его веселый голос, приглушенный ее близостью, болтал что-то, пробиваясь сквозь шум мотора, она улыбалась и отвечала, думая про себя: «Если бы это был голос Джона!» И раз, когда он сказал: «Флер, вы прямо ангел небесный в этом платье!»— она ответила: «Правда? Оно вам нравится?»— а сама подумала: «Если бы Джон видел меня в этом платье!»

Во время этой поездки созрело ее решение. Она отправится в Робин-Хилл и повидается с ним наедине; возьмет машину, не предупредив ни словом ни Джона, ни своего отца. Прошло десять дней с его письма, больше она не может ждать. «В понедельник поеду!» Принятое решение сделало ее благосклонней к Майклу Монту. Когда есть, чего ждать впереди, можно терпеливо слушать и давать ответы. Пусть остается обедать; делает очередное предложение; пусть танцует с нею, пожимает ей руку, вздыхает — пусть делает что угодно. Он докучен только, когда отвлекает ее от навязчивой идеи. Ей даже было жаль его, насколько она могла сейчас жалеть кого-нибудь, кроме себя. За обедом он, кажется, еще более дико, чем всегда, говорил о «крушении твердынь». Она не очень-то прислушивалась, зато отец ее как будто слушал внимательно, с улыбкой, означавшей несогласие или даже возмущение.

— Младшее поколение думает не так, как вы, сэр; правда, Флер?

Флер пожала плечами: младшее поколение — это Джон, а ей неизвестно, что он думает.

— Молодые люди будут думать так же, как и я, когда достигнут моего возраста, мистер Монт. Человеческая природа не меняется.

— Допускаю, сэр; но формы мышления меняются вместе с временем. Преследование личного интереса есть отживающая форма мышления.

— В самом деле? Заботиться о своей пользе — это не форма мышления, мистер Монт, это инстинкт.

— Да, если дело идет о Джоне!

— Но что понимать под «своей пользой», сэр? В этом весь вопрос. Общая польза скоро станет личным делом каждого. Не правда ли, Флер?

Флер только улыбнулась.

— Если нет,— добавил юный Монт,— опять будет литься кровь.

— Люди рассуждают так с незапамятных времен.

— Но ведь вы согласитесь, сэр, что инстинкт собственничества отмирает?

— Я сказал бы, что он усиливается у тех, кто не имеет собственности.

— Но вот, например, я! Я наследник майората. И я его не жажду. По мне хоть завтра отменяйте майорат.

— Вы не женаты и сами не понимаете, что говорите!

Флер заметила, что молодой человек жалобно перевел на нее глаза.

— Вы в самом деле думаете, что брак...— начал он.

— Общество строится на браке,— уронил со стиснутых губ ее отец,— на браке и его последствиях. Вы хотели бы с этим покончить?

Молодой Монт растерянно развел руками. Задумчивое молчание нависло над обеденным столом, сверкавшим ложками с гербом Форсайтов (натурального цвета фазан) в электрическом свете, струившемся из алебастрового шара. А за окном, над рекою, сгущался вечер, напоенный тяжелой сыростью и сладкими запахами.

«В понедельник,— думала Флер,— в понедельник».

VI

ОТЧАЯНИЕ

Печальные и пустые недели наступили после смерти отца для ныне единственного Джолиона Форсайта. Неизбежные формальности и церемонии — чтение завещания, оценка имущества, раздел наследства — выполнялись без участия несовершеннолетнего наследника. Тело Джолиона было кремировано. Согласно желанию покойного, никто не присутствовал на его похоронах, никто не носил по нем траура. Его наследство, контролируемое в некоторой степени завещанием старого Джолиона, оставляло за его вдовой владение Робин-Хиллом и пожизненную ренту в две с половиной тысячи фунтов в год. В остальном оба завещания, действуя параллельно, сложными путями обеспечивали каждому из троих детей Джолиона равную долю в имуществе их деда и отца как на будущее, так и в настоящем; но только Джон, по привилегии сильного пола, с достижением совершеннолетия получал право свободного распоряжения своим капиталом, тогда как Джун и Холли получали только тень от своих капиталов в виде процентов, дабы самые эти капиталы могли перейти к их детям. В случае, если детей у них не будет, все переходило к Джону, буде он переживет сестер; так как Джун было уже пятьдесят лет, а Холли под сорок, в юридическом мире полагали, что, если бы не свирепость подоходного налога, юный Джон стал бы ко времени своей смерти так же богат, как был его дед. Все это ничего не значило для Джона и мало значило для его матери. Все, что нужно было тому, кто оставил свои дела в полном порядке, сделала Джун. Когда она

уехала и снова мать и сын остались вдвоем в большом доме, наедине со смертью, сближавшей их, и с любовью, их разъединявшей, дни мучительно потянулись для Джона; он втайне был разочарован в себе, чувствовал к самому себе отвращение. Мать смотрела на него с терпеливой грустью, в которой сквозила, однако, какая-то бессознательная гордость — словно отказ подсудимой от защиты. Когда же мать улыбалась, Джон был зол, что его ответная улыбка получалась скупой и натянутой. Он не осуждал свою мать и не судил ее: то все было так далеко — ему и в голову не приходило ее судить. Нет! Но скупой и натянутой его улыбка была потому, что из-за матери он должен был отказаться от желанного. Большим облегчением для него была забота о посмертной славе отца, забота, которую нельзя было спокойно доверить Джун, хоть она и предлагала взять ее целиком на себя. И Джон и его мать чувствовали, что если Джун заберет с собою папки отца, его невыставленные рисунки и незаконченные работы, их встретит такой ледяной прием со стороны Пола Поста и других завсегдатаев ее ателье, что даже в горячем сердце дочери вымерзнет всякая к ним любовь. В своей старомодной манере и в своем роде работы Джолиона были хороши; его сыну и вдове больно было бы отдать их на посмеяние. Устроить специальную выставку его работ — вот минимальная дань, которую они должны были воздать тому, кого любили, и в приготовлениях к выставке они провели вместе много часов. Джон чувствовал, как странно возрастает его уважение к отцу. Этюды и наброски раскрывали спокойное упорство, с каким художник развил свое скромное дарование в нечто подлинно индивидуальное. Работ было очень много, по ним легко было проследить неуклонный рост художника, сказавшийся в углублении ви́дения, в расширении охвата. Конечно, очень больших глубин или высот Джолион не достиг, но поставленные перед собою задачи он разрешал до конца — продуманно, законченно, добросовестно. И, вспоминая, как его отец был всегда «беспристрастен», не склонен к самоутверждению, вспоминая, с каким ироническим смирением он говорил о своих исканиях, причем неизменно называл себя «дилетантом», Джон невольно приходил к сознанию, что никогда не понимал как следует своего отца. Принимать себя всерьез, но никогда не навязывать этого подхода другим было, по-видимому, его руководящим принципом. И это находило в Джоне отклик, заставляло его всем сердцем соглашаться с замечанием матери: «Он был истинно культурный человек; что бы он ни делал, он не мог не думать о других. А когда принимал решение, которое заставляло его идти против других, он это делал не слишком вызывающе, не в духе современности; правда, два раза в своей жизни он вынужден был пойти один против всех и все-таки не ожесточился». Джон видел, что слезы побежали по ее лицу, которое она тотчас от него отвернула. Она несла свою утрату очень спокойно; ему даже казалось иногда, что она ее не очень глубоко чувствует. Но теперь, глядя на мать, он понимал, насколько уступал он в сдержанности и умении соблюдать свое достоинство им обоим: и отцу и матери. И, тихо к ней подойдя, он обнял ее за талию. Она поцеловала его торопливо, но с какой-то страстностью и вышла из комнаты.

Студия, где они разбирали папки и наклеивали ярлычки, была некогда классной комнатой Холли; здесь она девочкой занималась своими шелковичными червями, гербарием, музыкой и прочими предметами обучения. Теперь, в конце июля, хоть окна выходили на север и на восток, теплый дремотный воздух струился в комнату сквозь выцветшие сиреневые холщовые занавески. Чтобы несколько смягчить холод умершей славы — славы сжатого золотого поля, всегда витающей над комнатой, которую оставил хозяин, Ирэн поставила на замазанный красками стол вазу с розами. Розы да любимая кошка Джолиона, все льнущая к покинутому жилью, были отрадным пятном в разворошенной и печальной рабочей комнате. Стоя у северного окна и вдыхая воздух, таинственно напоенный теплым запахом клубники, Джон услышал шум подъезжающего автомобиля. Опять, верно, поверенные насчет какой-нибудь ерунды! Почему этот запах вызывает такую боль? И откуда он идет — с этой стороны около дома нет клубничных грядок. Машинально достал он из кармана мятый лист бумаги и записал несколько отрывочных слов. В груди его разливалось тепло; он потер ладони. Скоро на листке появились строки:

Когда б я песню мог сложить,
Чтоб сердце песней исцелить!
Ту песню смастерил бы я
Из милых маленьких вещей:
Шуршит крыло, журчит ручей,
Цветок осыпался в траве,
Роса дробится в мураве,
На солнышке мурлычет кот,
В кустах малиновка поет,
И ветер, стебли шевеля,
Доносит тонкий звон шмеля...
И будет песня та легка,
Как луч, как трепет мотылька;
Проснется — я открою дверь:
Лети и пой теперь!

Стоя у окна, он еще бормотал про себя стихи, когда услышал, что его позвали по имени, и, обернувшись, увидел Флер. Перед этим неожиданным видением он онемел и замер в неподвижности, между тем как ее живой и ясный взгляд овладевал его сердцем. Потом он сделал несколько шагов навстречу ей, остановился у стола, сказал:

— Как мило, что ты приехала!— и увидел, что она зажмурилась, как если бы он швырнул в нее камнем.

— Я спросила, дома ли ты,— сказала она,— и мне предложили пройти сюда наверх. Но я могу и уйти.

Джон схватился за край измазанного красками стола. Ее лицо и фигура в платье с оборками запечатлевались в его зрачках с такой фотографической четкостью, что, провались он сквозь пол, он продолжал бы видеть ее.

— Я знаю, я тебе солгала, Джон; но я сделала это из любви.

— Да, да! Это ничего!

— Я не ответила на твое письмо. К чему? Ответить было нечего. Я решила вместо того повидаться с тобой.

Она протянула ему обе руки, и Джон схватил их через стол. Он пробовал что-нибудь сказать, но все его внимание ушло на то, чтобы не сделать больно ее рукам. Такими жесткими казались собственные руки, а ее — такими мягкими. Она сказала почти вызывающе:

— Эта старая история — она действительно так ужасна?

— Да.

В его голосе тоже прозвучал вызов.

Флер отняла у него руки.

— Не думала я, что в наши дни молодые люди цепляются за мамашины юбки.

Джон вздернул подбородок, словно его ударили хлыстом.

— О! Я нечаянно! Я этого не думаю! Я сказала что-то ужасное!— Она быстро подбежала к нему.— Джон, дорогой, я этого совсем не думаю.

— Не важно.

Она положила обе руки на его плечо и лбом припала к ним, поля ее шляпы касались его шеи, и он чувствовал, как они подрагивают. Но какое-то оцепенение сковало его. Она оторвалась от его плеча и отодвинулась.

— Хорошо, если я тебе не нужна, я уйду. Но я никогда не думала, что ты от меня отступишься.

— Нет, я не отступился от тебя!— воскликнул Джон, внезапно возвращенный к жизни.— Я не могу. Я попробую еще раз.

Глаза у нее засверкали, она рванулась к нему.

— Джон, я люблю тебя! Не отвергай меня! Если ты меня отвергнешь, я не знаю, что я сделаю! Я в таком отчаянии. Что все это значит — все прошлое — перед этим?

Она прильнула к нему. Он целовал ее глаза, щеки, губы. Но, целуя, видел исписанные листы, рассыпавшиеся по полу его спальни, белое, мертвое лицо отца, мать на коленях перед креслом. Шепот Флер: «Заставь ее! Обещай мне! О Джон, попробуй!»— детским лепетом звучал в его ушах. Он чувствовал себя до странности старым.

— Обещаю!— проговорил он.— Только ты... ты не понимаешь.

— Она хочет испортить нам жизнь, а все потому, что...

— Да, почему?

Опять в его голосе прозвучал вызов, и Флер не ответила. Ее руки крепче обвились вокруг него, и он отвечал на ее поцелуи. Но даже в тот миг, когда он сдавался, в нем работал яд — яд отцовского письма. Флер не знает, не понимает, она неверно судит о его матери; она явилась из враждебного лагеря! Такая прелестная, и он ее так любит, но даже в ее объятиях вспоминались ему слова Холли: «Она из породы стяжателей»,— и слова матери: «Дорогой мой мальчик, не думай обо мне, думай о себе!»

Когда она исчезла, как страстный сон, оставив свой образ в его глазах, свои поцелуи на его губах и острую боль в его сердце, Джон скло-

нился в открытое окно, прислушиваясь к шуму уносившего ее автомобиля. Все еще чувствовался теплый запах клубники, доносились легкие звуки лета, из которых должна была сложиться его песня; все еще дышало обещание юности и счастья в широких трепетных крыльях июля — и сердце его разрывалось. Желание в нем не умерло, и надежда не сдалась, но стоит пристыженная, потупив глаза. Горькая предстоит ему задача! Флер в отчаянии, а он? В отчаянии глядит он, как качаются тополя, как плывут мимо облака, как солнечный свет играет на траве.

Он ждал. Наступил вечер, отобедали почти что молча, мать играла ему на рояле, а он все ждал, чувствуя, что она знает, каких он ждет от нее слов. Она его поцеловала и пошла наверх, а он все медлил, наблюдая лунный свет, и ночных бабочек, и эту нереальность тонов, что подкравшись, по-своему расцвечивают летнюю ночь. Он отдал бы все, чтобы вернуться назад в прошлое — всего лишь на три месяца назад; или перенестись в будущее, на много лет вперед. Настоящее с темной жестокостью выбора казалось немыслимым. Насколько острее, чем раньше, понял он теперь, что чувствовала его мать; как будто рассказанная в письме отца повесть была ядовитым зародышем, развившимся в лихорадку вражды, так что он действительно чувствовал, что есть два лагеря: лагерь его и его матери, лагерь Флер и ее отца. Пусть мертва та старая трагедия собственничества и распри, но мертвые вещи хранят в себе яд, пока время их не разрушит. Даже любви его как будто коснулась порча: в ней стало меньше иллюзий, больше земного и затаилось предательское подозрение, что и Флер, как ее отец, хочет, может быть, *владеть*; то не была четкая мысль, нет, только трусливый призрак, отвратительный и недостойный; он подползал к пламени его воспоминаний, и от его дыхания тускнела живая прелесть этого зачарованного лица и стана; только подозрение, недостаточно реальное, чтобы подорвать абсолютную веру, а для Джона, которому еще не исполнилось двадцати лет, абсолютная вера была важна. Он еще горел присущей молодости жаждой давать обеими руками и не брать ничего взамен, давать с любовью подруге, полной, как и он, непосредственной щедрости. Она, конечно, благородна и щедра! Джон встал с подоконника и зашагал по большой и серой, призрачной комнате, стены которой обиты были серебристой тканью.

Этот дом, сказал отец в своем предсмертном письме, построен был для его матери, чтобы она жила в нем с отцом Флер! Он протянул руку в полумрак, как будто хотел схватить призрачную руку умершего. Стискивал пальцы, стараясь ощутить в них тонкие исчезнувшие пальцы своего отца; пожать их и заверить его, что сын... что сын на его стороне. Слезы, не получая выхода, жгли и сушили глаза. Он вернулся к окну. За окном было теплее, не так жутко, не так неприютно, и висел золотой месяц, три дня как на ущербе; ночь в своей свободе давала чувство покоя. Если бы только они с Флер встретились на необитаемом острове, без прошлого, и домом стала бы для них природа! Джон еще питал глубокое уважение к необитаемым островам, где растет хлебное дерево и вода синеет над кораллами. Ночь была глубока, свободна, она манила; в ней были чары, и обещание, и прибежище от всякой путаницы, и любовь! Молокосос, цепляющийся за юбку матери! Щеки его горели. Он

притворил окно, задвинул шторы, выключил свет в канделябре и пошел наверх.

Дверь его комнаты была раскрыта, свет включен; мать его, все еще в вечернем платье, стояла у окна. Она обернулась и сказала:

— Садись, Джон, поговорим.

Она села на стул у окна, Джон — на кровать. Ее профиль был обращен к нему, и красота и грация ее фигуры, изящная линия лба, носа, шеи, странная и как бы далекая утонченность ее тронули Джона. Никогда его мать не принадлежала к окружающей ее среде. Она входила в эту среду откуда-то извне. Что скажет она ему, у которого так много на сердце невысказанного?

— Я знаю, что сегодня приезжала Флер. Я не удивлена.

Это прозвучало так, как если бы она добавила: «Она дочь своего отца!» — и сердце Джона ожесточилось. Ирэн продолжала спокойно:

— Папино письмо у меня. Я его тогда собрала и спрятала. Вернуть его тебе, милый?

Джон покачал головой.

— Я, конечно, прочла его перед тем, как он дал его тебе. Он сильно преуменьшил мою вину.

— Мама!— сорвалось с губ Джона.

— Он излагает это очень мягко, но я знаю, что, выходя за отца Флер без любви, я совершила страшный поступок. Несчастный брак может исковеркать и чужие жизни, не только нашу. Ты очень молод, мой мальчик, и ты слишком привязчив. Как ты думаешь, мог бы ты быть счастлив с этой девушкой?

Глядя в темные глаза, теперь еще больше потемневшие от боли, Джон ответил:

— Да, о да! Если бы ты могла.

Ирэн улыбнулась.

— Восхищение красотой и жажда обладания не есть еще любовь. Что, если с тобой повторится то же, что было со мною, Джон: когда задушено все самое сокровенное; телом вместе, а душою врозь!

— Но почему же, мама? Ты думаешь, что она такая же, как ее отец, но она на него непохожа. Я его видел.

Опять появилась улыбка на губах Ирэн, и у Джона дрогнуло что-то в груди: столько чувствовалось иронии и опыта за этой улыбкой.

— Ты даешь, Джон; она берет.

Опять это недостойное подозрение, эта неуверенность, крадущаяся за тобой по пятам! Он горячо сказал:

— Нет, она не такая. Не такая. Я... я только не могу причинить тебе горе, мама, теперь, когда отец...

Он прижал кулаки к вискам.

Ирэн встала.

— Я сказала тебе в ту ночь, дорогой: не думай обо мне. Я сказала это искренне. Думай о себе и о своем счастье! Дотерплю, что осталось дотерпеть, я сама навлекла это на себя.

— Мама!— опять сорвалось с губ Джона.

Она подошла к нему, положила руки на его ладони.

— Голова не болит, дорогой?

Джон покачал головой: нет. То, что он чувствовал, происходило в груди, точно там две любви раздирали надвое живую ткань.

— Я буду всегда любить тебя по-прежнему, Джон, как бы ты ни поступил. Ты ничего не утратишь.

Она мягко провела рукой по его волосам и вышла.

Он слышал, как хлопнула дверь; упав ничком на кровать, он лежал, затаив дыхание, переполненный страшным, напряженным до предела чувством.

VII

МИССИЯ

Спросив за чаем о Флер, Сомс узнал, что ее с двух часов нет дома — уехала куда-то на машине. Целых три часа! Куда она поехала? В Лондон, не сказав ни слова отцу? Никогда не мог он до конца примириться с автомобилями. Он принимал их в принципе, как прирожденный эмпирик или как Форсайт, встречая каждый новый признак прогресса неизменным: «Что же! Без этого теперь не обойтись»,— но на деле он считал их слишком быстрыми, большими и вонючими. Вынужденный, по настоянию Аннет, завести машину, комфортабельный рол-хард с жемчужно-серой обивкой, с электрическими лампочками, с небольшими зеркалами, пепельницами, вазами для цветов (все это отдавало бензином и духами), он, однако, смотрел на нее так, как смотрел, бывало, на своего зятя Монтегью Дарти. Машина воплощала для него все, что было в современной жизни быстрого, ненадежного и скрыто-маслянистого. В то время как современная жизнь делалась быстрей, распущенней и моложе, Сомс делался старше, медлительней и собраннее, туже думал, меньше говорил, как раньше его отец Джемс. Он почти сознавал это сам. Темпы и прогресс все меньше и меньше нравились ему. И потом, ездить в автомобиле — значит выставлять напоказ свое богатство, а это Сомс считал небезопасным при нынешнем настроении рабочих. Был у него однажды случай, когда его шофер Симз переехал единственное достояние какого-то рабочего. Сомс не забыл, как вел себя хозяин,— хоть очень немногие на его месте стали бы задерживаться по таким пустякам. Ему было жаль собаку, и он был готов принять ее сторону против автомобиля, если бы грубиян хозяин не держался так нагло. Пятый час быстро истекал, а Флер не возвращалась, и все чувства в отношении автомобиля, которые Сомс когда-либо пережил прямо или косвенно, смешались у него в груди, под ложечкой сосало. В семь он позвонил через междугородную сестре. Нет! На Грин-стрит Флер не заезжала. Так где же она? Сомса начали преследовать видения страшных катастроф: его любимая дочь лежит под колесами, ее красивое платье с оборками все в крови и дорожной пыли. Он прошел в ее комнату, тайком осмотрел ее вещи. Она ничего не взяла — ни чемодана, ни драгоценностей. Это успокоило некоторые его подозрения, но усилило страх перед несчастным случаем. Как ужасно вот такое беспомощное ожидание, когда пропадает

у тебя любимая дочь, в особенности если ты при этом не выносишь суеты и огласки! Что делать, если она не вернется к ночи?

В четверть восьмого он услышал шум автомобиля. Точно большая тяжесть свалилась с сердца, он поспешил вниз, Флер вышла из машины — бледная, усталая на вид, но целая и невредимая. Он ее встретил в холле.

— Ты заставила меня тревожиться. Где ты была?

— В Робин-Хилле. Извини, дорогой. Пришлось поехать. Я расскажу потом.

И, наградив его мимолетным поцелуем, она убежала к себе.

Сомс ждал в гостиной. Ездила в Робин-Хилл! Что это предвещает?

За обедом нельзя было поднять эту тему — приходилось считаться с щепетильностью лакея. Нервное волнение, пережитое Сомсом, и радость, что дочь жива и здорова, отнимали у него силы осудить ее за то, что она сделала, или воспротивиться тому, что она собиралась делать дальше; в расслабленном онемении ждал он ее признаний. Страшная штука жизнь! Вот он дожил до шестидесяти пяти лет, сорок лет провел в том, что строил здание своей обеспеченности, а все так же не властен управлять ходом вещей — всегда вынырнет что-нибудь, с чем нельзя мириться! В кармане его смокинга лежит письмо от Аннет. Собирается через две недели домой. Он совершенно не знает, что она там делала. И рад, что не знает. Ее отсутствие было для него облегчением. С глаз долой — из мыслей вон! А теперь она возвращается. Не было хлопот! И Кром Старший упущен — попал в лапы к Думетриусу, а ведь только потому, что он из-за анонимного письма забыл о Болдерби и о картине. Украдкой подметил он напряженное выражение на лице дочери, точно она глядела на картину, которую не может купить. Сомс почти жалел, что кончилась война. Во время войны волнения как-то не так волновали. По ласковому голосу, по выражению ее лица Сомс знал, что дочь чего-то хочет от него, но не знал наверное, умно ли будет дать. Он отодвинул от себя нетронутую тарелку с сыром и даже закурил за компанию с Флер папироску.

После обеда Флер завела электрическую пианолу. Самые мрачные предчувствия обступили Сомса, когда дочь села на мягкую скамеечку у его ног и взяла его за руку.

— Дорогой, не сердись на меня. Я должна была повидаться с Джоном — он мне писал. Он попытается воздействовать на свою мать. Но я все обдумала. Это, в сущности, в твоих руках, папа. Если бы ты мог убедить ее, что наш брак ни в каком смысле не означал бы возобновления прошлого! Что я останусь твоею дочкой, а Джон ее сыном; что ты не стремишься встречаться ни с ним, ни с нею, и ей не нужно будет встречаться ни с тобой, ни со мной! Ты один можешь ее убедить, дорогой, потому что обещать это можешь только ты. Нельзя же обещать за другого. Ведь тебе не будет слишком уж неловко увидеться с нею один только раз — теперь, когда отец Джона умер?

— Слишком неловко?— повторил Сомс.— Это просто немыслимо!

— Знаешь,— сказала Флер, не подымая глаз,— на самом деле ты не прочь увидеться с нею!

Сомс молчал. Ее слова выразили чересчур глубокую правду, которую он не допускал до своего сознания. Флер переплела его пальцы своими; горячие, тонкие, страстные, вцепились они в его руку. Она его дочь, она процарапает себе дорогу сквозь кирпичную стену.

— Что же мне делать, если ты не согласишься, папа?— сказала она очень мягко.

— Для твоего счастья я сделал бы все,— сказал Сомс,— но это не даст тебе счастья.

— О, ты не знаешь! Даст!

— Только все разбередит!— сказал он угрюмо.

— Все и так разбередили. Теперь надо все уладить. Заставить ее понять, что дело идет только о наших жизнях, что не коснется ни ее жизни, ни твоей. Ты можешь, папа, я знаю, что можешь.

— Ты в таком случае знаешь очень много,— последовал угрюмый ответ.

— Если ты нам поможешь, мы с Джоном подождем год, два года, если хочешь.

— Мне кажется,— тихо сказал Сомс,— с *моими* чувствами ты не считаешься нисколько.

Флер прижала его руку к своей щеке.

— Считаюсь, дорогой. Но ведь ты не захочешь, чтобы я была до крайности несчастна.

Как она ластится, чтобы достичь своей цели! Сомс всеми силами старался поверить до конца, что она в самом деле думает о нем, и не мог, не мог. Все ее помыслы лишь о том мальчике! Зачем же должен он помогать ей добиться этого мальчика, который убивает ее любовь к отцу? Зачем? По законам Форсайтов это нелепость! На этом ничего не выиграешь, ничего! Уступить ее этому мальчику! Передать во враждебный лагерь, под влияние женщины, которая так глубоко оскорбила его! Постепенно и неизбежно он лишится цветка своей жизни! И вдруг он почувствовал влагу на руке. Сердце его болезненно дрогнуло. Флер плачет — этого он не может перенести. Он быстро положил вторую руку на руку дочери, но и по второй руке потекла слеза. Так дальше нельзя!

— Хорошо, хорошо,— сказал он.— Я подумаю и сделаю, что смогу. Успокойся.

Если это нужно для ее счастья, значит, нужно. Он не может отказать ей в помощи. И чтобы она не начала благодарить, он встал с кресла и направился к пианоле — слишком шумно играет! Пока он подходил, пластинка кончилась и остановилась с тихим шипением. Вспомнился музыкальный ящик дней его детства: «Мелодия кузницы», «Заздравный кубок»,— Сомс всегда чувствовал себя несчастным, когда мать по воскресеньям заводила среди дня музыку. И вот опять то же самое, та же штука, только больше, дороже, и теперь она играет: «Дикие, дикие женщины!» и «Праздник полисмена», а на Сомсе уже нет черного бархатного костюмчика с небесно-голубым воротником. «Профон прав,— промелькнула мысль,— ничего во всем этом нет. Мы идем к могиле!» Изрекши мысленно это поразительное замечание, он вышел.

В этот вечер он больше не видел Флер. Но наутро за завтраком ее глаза неотступно следили за ним с призывом, от которого он не мог укрыться, да и не старался. Да! Он решился на эту пытку для нервов. Он поедет в Робин-Хилл — дом, с которым связано столько воспоминаний. Приятное воспоминание — последнее! Когда он приехал, чтобы угрозой развода разлучить Ирэн с отцом этого мальчика! Часто потом приходило ему на ум, что своим вмешательством он только скрепил их союз. А теперь он собирается скрепить союз своей дочери с их сыном. «Не знаю,— думал он,— за какие прегрешения навалилась на меня такая беда!» В Лондон и из Лондона он ехал поездом, а от станции пошел в гору пешком по длинной проселочной дороге, почти не изменившейся, насколько он помнил, за эти тридцать лет. Странно — в такой близости от города! По-видимому, не все торопятся сбыть свою землю с рук! Это рассуждение успокаивало Сомса, когда он шел между высокими изгородями, медленно, чтобы не вспотеть, хотя день был прохладный. Что ни говори, а все-таки в земле есть что-то реальное, ее не сдвинешь с места. Земля и хорошие картины! Цены могут немного колебаться, но в общем всегда идут вверх — такой собственности стоит держаться в мире, где так много нереального, дешевой стройки, изменчивых мод, где все заражено настроением: «Сегодня живы, завтра нас не станет». Французы, пожалуй, правы с их крестьянским землевладением, хоть он и невысоко ставит все французское. Свой кусок земли! В этом есть что-то здоровое. Часто приходится слышать, как собственников-крестьян называют «тупой и косной массой»; а молодой Монт назвал как-то своего отца «косным читателем «Морнинг пост»— непочтительный юнец! Не так уж это плохо — быть косным и читать «Морнинг пост»; бывает и похуже. Взять хотя бы Профона и всю его породу; или этих новоявленных лейбористов, этих политиканствующих горлодеров и «Диких, диких женщин!». Много есть очень скверного! И вдруг Сомс почувствовал слабость, озноб и дрожь в коленях. Просто нервное волнение перед встречей! Как сказала бы тетя Джули, цитируя «Гордого Доссета», нервы куролесят. В просветы между деревьями был уже виден дом; за его постройкой он сам когда-то наблюдал, располагая жить в нем вдвоем с этой женщиной, которая странной прихотью судьбы в конце концов стала жить в нем с другим. Сомс начал думать о Думетриусе, о внутреннем займе и о других возможностях помещения капитала. Не может же он встретиться с Ирэн, когда его нервы совсем расстроены, он, который представляет для нее день Страшного суда на земле, как и на небесах; он, олицетворение законной собственности, и она, воплощение преступной красоты! Его достоинство требует от него бесстрастия в исполнении своей миссии — соединить нерушимыми узами их детей, которые, если б эта женщина вела себя как подобает, были бы братом и сестрой. Ах, опять эта злосчастная мелодия «Дикие, дикие женщины!» вертится в голове точно назло, потому что мелодии, как правило, в голове у него не вертятся. Пройдя мимо тополей перед фасадом дома, он подумал: «Как они выросли; ведь это я посадил их!»

Горничная открыла дверь на звонок.

— Доложите — мистер Форсайт, по очень важному делу.

Если Ирэн поймет, кто пришел, весьма возможно, что она откажется его принять. «Черт возьми,— подумал он, ожесточаясь по мере приближения часа борьбы.— Нелепая затея! Все шиворот-навыворот!»

Горничная вернулась.

— Не изложит ли джентльмен свое дело?

— Скажите, что оно касается мистера Джона,— ответил Сомс.

Снова остался он один в холле перед бассейном бело-серого мрамора, задуманным ее первым любовником. Ох! Она дурная: она любила двух мужчин, а его не любила! Он не должен этого забывать, когда встретится с ней еще раз лицом к лицу. И вдруг он увидел ее в просвет между тяжелыми лиловыми портьерами, застывшую, словно в раздумье: та же величественная осанка, то же совершенство линий, та же удивленная серьезность в темных глазах, та же спокойная самозащита в голосе:

— Войдите, пожалуйста!

Он вошел. Как тогда на выставке, как в той кондитерской, она показалась ему все еще красивой. И в первый раз, самый первый со дня их свадьбы, состоявшейся тридцать шесть лет назад, он заговорил с Ирэн, не имея законного права назвать ее своею. Она не была в трауре,— все, верно, радикальные выдумки его двоюродного братца.

— Извините, что осмелился к вам прийти,— сказал он угрюмо,— но это дело надо так или иначе решить.

— Вы, может быть, присядете?

— Нет, благодарю вас.

Досада на свое ложное положение, на невыносимую церемонность между ними овладела Сомсом, и слова посыпались сбивчиво:

— Какая-то адская, злая судьба! Я не поощрял, я всеми силами старался пресечь. Моя дочь, я считаю, сошла с ума, но я привык ей потакать, вот почему я здесь. Вы, я уверен, любите вашего сына.

— Безгранично.

— И что же?

— Решение зависит от Джона.

У Сомса было чувство, точно его осадили и поставили перед ним барьер. Всегда, всегда она умела поставить барьер перед ним — даже тогда, в первые дни после свадьбы.

— Прямо какое-то сумасбродство,— сказал он.

— Да.

— Если бы вы... Ну, словом... Они могли бы быть...

Он не договорил своей фразы: «братом и сестрою, и мы были бы избавлены от этого несчастья», но увидел, что она содрогнулась, как если бы он договорил, и, уязвленный, отошел через всю комнату к окну. С этой стороны деревья ничуть не выросли — не могли, были слишком стары!

— В отношении меня,— продолжал он,— вы можете быть спокойны. Я не стремлюсь видеться ни с вами, ни с вашим сыном в случае, если этот брак осуществится. В наши дни молодые люди... их не поймешь. Но я не могу видеть мою дочь несчастной. Что мне сказать ей, когда я вернусь домой?

— Передайте ей, пожалуйста, то, что я сказала вам: все зависит от Джона.

— Вы не противитесь?

— Всем сердцем, но молча.

Сомс стоял, кусая палец.

— Я помню один вечер...— сказал он вдруг. И замолчал. Что было... что было в этой женщине такого, что не могло уложится в четырех стенах его ненависти и осуждения?— Где он, ваш сын?

— Вероятно, наверху, в студии отца.

— Вы, может быть, вызовете его сюда?

Он следил, как она нажала кнопку звонка, как вошла горничная.

— Скажите, пожалуйста, мистеру Джону, что я его зову.

— Если решение зависит от него,— заторопился Сомс, когда горничная удалилась,— можно, вероятно, считать, что этот противоестественный брак состоится; в таком случае будут неизбежны кое-какие формальности. С кем прикажете мне вести переговоры — с конторой Хэринга?

Ирэн кивнула.

— Вы не собираетесь жить с ними вместе?

Ирэн покачала головой.

— Что будет с этим домом?

— Как решит Джон.

— Этот дом...— сказал неожиданно Сомс.— Я связывал с ним надежды, когда задумал построить его. Если в нем будут жить *они*, их дети! Говорят, есть такое божество — Немезида. Вы верите в него?

— Да.

— О! Верите?

Он отошел от окна и встал близ нее, у большого рояля, в изгибе которого она стояла, как в бухте.

— Я навряд ли увижу вас еще раз,— медленно заговорил он.— Пожмем друг другу руки...— Губы его дрожали, слова вырывались толчками.— И пусть прошлое умрет.

Он протянул руку. Бледное лицо Ирэн стало еще бледнее, темные глаза недвижно остановились на его глазах, руки, сложенные на груди, не шевельнулись. Сомс услышал шаги и обернулся. У полураздвинутой портьеры стоял Джон. Странен был его вид. В нем едва можно было узнать того мальчика, которого Сомс видел на выставке в галерее на Корк-стрит; он очень повзрослел, ничего юного в нем не осталось; изнуренное, застывшее лицо, взъерошенные волосы, глубоко ввалившиеся глаза. Сомс сделал над собою усилие и сказал, скривив губы не то в улыбку, не то в гримасу:

— Ну, молодой человек! Я здесь ради моей дочери; дело, как видно, зависит от вас. Ваша мать передает все в ваши руки.

Джон пристально глядел матери в лицо и не давал ответа.

— Ради моей дочери я заставил себя прийти сюда,— сказал Сомс.— Что мне сказать ей, когда я к ней вернусь?

По-прежнему глядя на мать, Джон сказал спокойно:

— Скажите, пожалуйста, Флер, что ничего не выйдет; я должен исполнить предсмертную волю моего отца.

— Джон!

— Ничего, мама!

В недоумении Сомс переводил взгляд с одного на другую; потом взял с кресла шляпу и зонтик, направился к выходу. Мальчик посторонился, давая ему дорогу. Сомс вышел. Было слышно, как скрипели кольца задвигаемой за ним портьеры. Этот звук расковал что-то в его груди.

«Ну, так!» — подумал он и захлопнул парадную дверь.

VIII

НЕЛЕПАЯ МЕЛОДИЯ

Когда Сомс вышел из дома в Робин-Хилле, сквозь пасмурную пелену холодного дня пробилось дымным сиянием предвечернее солнце. Уделяя так много внимания пейзажной живописи, Сомс был не наблюдателен к эффектам живой природы. Тем сильнее поразило его это хмурое сияние: оно будто откликнулось печалью и торжеством на его собственные чувства. Победа в поражении! Его миссия ни к чему не привела. Но он избавился от тех людей, он вернул свою дочь ценой ее счастья. Что скажет Флер? Поверит ли она, что он сделал все, что мог? И вот под этим заревом, охватившим вязы, орешник, и придорожный остролист, и невозделанные поля, Сомсу стало страшно. Флер будет совершенно подавлена. Надо бить на ее гордость. Мальчишка отверг ее, взял сторону женщины, которая некогда отвергла ее отца! Сомс сжал кулаки. Отвергла его, а почему? Чем он нехорош? И снова он почувствовал то смущение, которое гнетет человека, пытающегося взглянуть на себя глазами другого; так иногда собака, наткнувшись случайно на свое отражение в зеркале, останавливается с любопытством и опаской перед неосязаемым существом.

Не торопясь попасть домой, Сомс пообедал в городе, в «Клубе знатоков». Старательно разрезая грушу, он вдруг подумал, что если бы он не ездил в Робин-Хилл, то мальчик, может быть, решил бы иначе. Вспомнилось ему лицо Джона в ту минуту, когда Ирэн не приняла его протянутой руки. Странная, дикая мысль! Неужели Флер сама себе напортила, поспешив закрепить за собой Джона?

Он подъезжал к своему дому около половины десятого. Когда его машина мягко покатилась по аллее сада, он услышал трескучее брюзжание мотоцикла, удалявшегося по другой аллее. Монт, конечно. Значит, Флер не скучала. Но все же с нелегким сердцем вошел он в дом. Она сидела в кремовой гостиной, поставив локти на колени и подбородок на кисти стиснутых рук, перед кустом белой камелии, заслонявшей камин. Одного взгляда на дочь, еще не заметившую его, было довольно, чтобы страх с новой силой охватил Сомса. Что видела она в этих белых цветах?

— Ну как, папа?

Сомс покачал головой. Язык не повиновался ему. Как приступить к этой работе палача? Глаза девушки расширились, губы задрожали.

— Что, что? Папа, скорей!

— Дорогая,— сказал Сомс,— я... сделал все, что мог, но...— Он опять покачал головой.

Флер подбежала к нему и положила руки ему на плечи.

— Она?

— Нет,— проговорил Сомс.— Он! Мне поручено передать тебе, что ничего не выйдет; он должен исполнить предсмертную волю своего отца.

Он обнял дочь за талию.

— Брось, дитя мое! Не принимай от них обиды. Они не стоят твоего мизинца!

Флер вырвалась из его рук.

— Ты не старался... конечно, не старался. Ты... Папа, ты предал меня.

Тяжко оскорбленный, Сомс глядел на дочь. Каждый изгиб ее тела дышал страстью.

— Ты не старался — нет! Я поступила как дура. Нет. Не верю... он не мог бы... он никогда не мог бы... Ведь он еще вчера... О! Зачем я тебя попросила!

— В самом деле,— сказал спокойно Сомс,— зачем! Я подавил свои чувства; я сделал для тебя все, что мог, поступившись своим мнением. И вот моя награда! Спокойной ночи!

Каждый нерв в его теле был до крайности натянут, он направился к дверям.

Флер кинулась за ним.

— Он отверг меня? Это ты хочешь сказать? Папа!

Сомс повернулся к дочери и заставил себя ответить:

— Да.

— О!— воскликнула Флер.— Что же ты сделал, что мог ты сделать в те старые дни?

Глубокое возмущение этой поистине чудовищной несправедливостью сжало Сомсу горло. Что он сделал? Что *они* сделали ему! И, совершенно не сознавая, сколько достоинства вложил в свой жест, он прижал руку к груди и смотрел дочери в лицо.

— Какой стыд!— воскликнула Флер.

Сомс вышел. В ледяном спокойствии он медленно поднялся в картинную галерею и там прохаживался среди своих сокровищ. Возмутительно! Просто возмутительно! Девчонка слишком избалована! Да, а кто ее избаловал? Он остановился перед копией Гойи. Своевольница, привыкла, чтобы ей во всем потакали. Цветок его жизни! А теперь она не может получить желанного! Он подошел к окну освежиться. Закат угасал, месяц золотым диском поднимался за тополями. Что это за звук? Как? Пианола! Какая-то нелепая мелодия, с вывертами, с перебоями! Зачем Флер ее завела? Неужели ей может доставить утешение такая музыка? Его глаза уловили какое-то движение в саду перед верандой, где на молодые акации и трельяж из ползучих роз падал лунный свет. Она шагает там взад и вперед, взад и вперед. Сердце его болезненно сжалось. Что сделает она после такого удара? Как может он сказать? Что он знает о ней? Он так любил ее всю жизнь, берег ее как зеницу ока! Он не знает, ровно ничего о ней не знает! Вот она ходит там в саду — под эту нелепую мелодию, а за деревьями в лунном свете мерцает река!

«Надо выйти»,— подумал Сомс.

Он поспешно спустился в гостиную, освещенную, как и полчаса назад, когда он уходил. Пианола упрямо выводила свой глупый вальс, или фокстрот, или как его там теперь называют? Сомс прошел на веранду.

Откуда ему последить за дочерью так, чтобы она не могла его видеть? Он пробрался фруктовым садом к пристани. Теперь он был между Флер и рекою, и у него отлегло от сердца. Флер — его дочь и дочь Аннет, ничего безрассудного она не сделает; но все-таки — как знать! Из окна плавучего домика ему видна была последняя акация и край платья, взвивавшегося, когда Флер поворачивала назад в неустанной ходьбе. Мелодия наконец замолкла — слава богу! Сомс подошел к другому оконцу и стал глядеть на воду, тихо протекавшую мимо кувшинок. У стеблей она шла пузырьками, которые сверкали, попадая в полосу света. Вспомнилось вдруг то раннее утро, когда он проснулся в этом домике, где провел ночь после смерти своего отца, и только что родилась Флер — почти девятнадцать лет назад! Даже сейчас он ясно помнил странное чувство, охватившее его тогда при пробуждении,— точно он вступает в новый, непривычный мир. В тот день началась вторая страсть его жизни — к этой девочке, которая бродит сейчас там, под акациями. Каким утешением стала она для него! Чувство горечи и обиды прошло без следа. Что угодно, лишь бы снова сделать ее счастливой! Пролетела мимо сова, угрюмо ухая; шарахнулась летучая мышь; свет месяца ярче и смелее ширился над рекой. Сколько времени она еще будет ходить так взад и вперед? Он вернулся к первому оконцу и вдруг увидел, что дочь спускается к берегу. Она остановилась совсем близко, на мостках пристани. Сомс наблюдал, крепко стиснув руки. Заговорить с нею? Нервы его были натянуты до крайности. Эта застывшая девичья фигура, молодость, ушедшая в отчаяние, в тоску, в самое себя. Он всегда будет помнить ее такою, как она стоит сейчас в свете месяца; будет помнить легкий, приторный запах реки и трепет ракитовых листьев. У нее есть все на свете, что только может доставить ей отец, кроме одного, чего она не может получить из-за отца! Злое упрямство фактов причиняло Сомсу в этот час обидную боль, точно застрявшая в горле рыбья кость.

Потом с бесконечным облегчением он увидел, что Флер повернула обратно к дому. Что он даст ей в возмещение утраты? Жемчуга, путешествия, лошадей, других мужчин — все, чего она ни пожелает, лишь бы он мог забыть эту девичью фигуру, застывшую над рекой! Что такое? Опять она завела этот мотив? Но это же мания! Сбивчивая, тренькающая музыка слабо доносилась из дома. Как будто Флер говорит: «Если не будет ничего, что заставило бы меня ходить, я застыну и умру!» Сомс что-то понял. Хорошо, если ей это помогает, пусть пианола тренькает хоть до утра! И, тихо прокравшись назад фруктовым садом, он поднялся на веранду. Хотя он это сделал с намерением войти в гостиную и поговорить на этот раз с дочерью, однако он все еще колебался, не зная, что сказать, и тщетно старался вспомнить, что чувствуешь, встречая препятствие в любви! Он должен был бы знать, должен был бы вспомнить — и не мог! Подлинное воспоминание умерло; он только помнил,

что было мучительно больно. И он стоял без мыслей и отирал носовым платком ладони и губы, до странности сухие. Если вытянуть шею, он мог видеть Флер; она стояла спиной к пианоле, все ещё игравшей свой назойливый мотив; крепко скрестила руки на груди и зажала в зубах зажженную папиросу, дым от которой заволакивал ее лицо. Лицо это показалось ему чужим: глаза сверкали, устремленные вдаль, и каждая черта дышала какой-то горькой насмешкой и гневом. Раза два Сомс подмечал подобное выражение у Аннет. Лицо слишком живое, слишком откровенное; сейчас это не было лицо его дочери. И он не посмел войти, сознавая, что всякая попытка утешения будет бесполезна. Вместо этого он сел на веранде в тени трельяжа.

Чудовищную шутку сыграла с ним судьба! Немезида! Тот давнишний несчастный брак! А за что в конце концов, за что? Когда он так отчаянно желал Ирэн и она согласилась стать его женой, разве мог он знать, что она никогда не полюбит его? Мелодия затихла, возобновилась и снова затихла, а Сомс все еще сидел в своем углу, ожидая, сам не зная чего. Окурок папиросы Флер, пролетев из окна, упал в траву у веранды. Сомс наблюдал, как дотлевал в траве огонек. Месяц выплыл на волю из-за тополей и захватил сад в свою призрачную власть. Безотрадный свет, загадочный, далекий, подобный красоте той женщины, которая никогда его не любила, одел немезии и левкои в неземные уборы. Цветы! А Флер, его цветок, так несчастна! Ах, почему нельзя положить счастье в сейф, запереть его золотым ключом, застраховать от понижения!

Свет уже не падал больше из окна гостиной. Кругом было тихо и темно. Флер ушла наверх? Сомс поднялся и, встав на цыпочки, заглянул в комнату. Да, по-видимому, так! Он вошел. Веранда мешала лунным лучам проникать в комнату. Сперва он ничего не мог различить, кроме силуэтов мебели, казавшихся чернее самой черноты. Ощупью направился он к дальнему окну, чтобы закрыть его; зацепил ногой за стул; кто-то вскрикнул. Вот она, свернулась клубочком, забилась в угол дивана! Сомс поднял дрожащую руку. Нужны ли ей его утешения? Он стоял, глядя на этот клубок из помятых сборок и волос, на эту прелестную юность, старающуюся процарапать себе путь сквозь стену печали. Как оставить ее здесь? Наконец он провел рукой по ее волосам и сказал:

— Ступай, дорогая, ложись ты лучше спать. Я как-нибудь это тебе улажу.

Бессмысленные слова, но что он мог сказать ей?

IX

ПОД СТАРЫМ ДУБОМ

Когда посетитель удалился, Джон и его мать стояли безмолвно, пока сын не сказал наконец:

— Надо было бы его проводить.

Но Сомс уже уходил по подъездной аллее, и Джон, не решаясь вернуться в гостиную, прошел наверх в студию отца.

Выражение лица его матери, когда она стояла лицом к лицу с человеком, которому была когда-то женой, укрепило решение, назревавшее с того самого часа, как она ушла от него накануне,— укрепило заключи-

тельным прикосновением реальности. Жениться на Флер означало бы дать матери пощечину, предать умершего отца! Ничего не выйдет! Джон был крайне незлобив. В этот час отчаяния он не роптал на своих родителей. Он обладал редкой для его возраста способностью видеть вещи в их соразмерности. И Флер, и даже его матери хуже, чем ему. Отвергнутому тяжелее, чем отвергающему, и вдвойне тяжело сознавать, что ради тебя любимому существу приходится идти на жертвы. Нет, он не должен, не станет роптать! Он стоял и смотрел на поздно проглянувшее солнце, и вновь вставало перед ним видение, смутившее его минувшей ночью: море на море, страна на страну, миллионы против миллионов людей, и у каждого собственная жизнь, стремления, радости, горести и страдания, и каждый должен приносить жертвы, и каждый борется в одиночку за свое существование. И хотя он охотно отдал бы все на свете ради одного, чего он не мог получить, глупо было бы не понимать, как мало значат его чувства в этом огромном мире, и показать себя плаксой или негодяем. Он рисовал себе людей, лишенных всего,— миллионы пожертвовавших жизнью на войне, миллионы разоренных, которым война оставила только жизнь и больше ничего; голодных детей, о которых читал, миллионы калек и миллионы несчастных на все лады. Но мысль о них не очень ему помогала. Если нечего есть, разве утешит сознание, что и другие остались без еды? Более привлекательна мысль об отъезде в этот широкий мир, о котором он еще ничего не знает. Он не может сидеть здесь, в тихом убежище, где все так спокойно и гладко, и ничего не делать — только думать и мечтать о том, что могло бы быть. И не может он вернуться в Уонсдон, к воспоминаниям о Флер. Если он опять ее увидит, он не отвечает за себя; а если он останется здесь или вернется в Уонсдон, он непременно будет встречаться с нею. Это неизбежно, пока они так близко друг от друга. Единственное, что ему остается,— это уехать прочь как можно скорее. Но, как ни любил он свою мать, он не хотел бы ехать с нею. Потом, обругав себя скотиной, он собрался с духом предложить матери поездку в Италию. Два часа в этой унылой комнате силился он овладеть собою, потом торжественно оделся к обеду.

Мать тоже сошла в столовую. Они почти не ели и беседовали о каталоге картин отца. Выставка предполагалась в октябре, и, кроме некоторых формальностей, все было готово.

После обеда Ирэн накинула пальто, и они вышли в сад. Немного походили, немного поговорили, потом остановились молча под дубом. Следуя соображению: «Если я выдам хоть что-нибудь, я выдам все»,— Джон взял ее под руку и сказал, словно невзначай:

— Мама, поедем в Италию.

Ирэн прижала локтем его руку и ответила в тон:

— Да, было бы очень приятно; я уже думала об этом; но, мне кажется, ты больше увидишь и большего достигнешь, если поедешь без меня.

— Но тогда тебе придется остаться одной.

— Я прожила как-то одна более двенадцати лет. К тому же мне хочется быть здесь, когда откроется выставка.

Джон крепче сжал ее руку; он не был обманут.

— Ты не можешь оставаться здесь совсем одна — дом такой большой.

— Не здесь, в Лондоне. А после открытия выставки я поеду, может быть, в Париж. Тебе нужен по меньшей мере год, Джон, ты должен увидеть свет.

— Да, хорошо было бы послоняться по свету. Но я не хочу оставлять тебя одну.

— Дорогой мой, я и так перед тобой в долгу. Если для тебя это хорошо, то хорошо и для меня. Почему бы тебе не поехать завтра же? Паспорт у тебя есть.

— Да; если ехать, то лучше сразу. Только, мама, если... если я захочу поселиться где-нибудь в Америке или где-нибудь еще, ты не откажешься приехать ко мне со временем?

— Куда и когда бы ты ни вызвал меня, дорогой. Только не зови, пока ты в самом деле не захочешь видеть меня.

Джон глубоко вздохнул.

— Душно мне в Англии.

Еще несколько минут постояли они под дубом, глядя вдаль, туда, где виднелись одетые вечерней мглою трибуны Эпсомского ипподрома. Ветви не пропускали света месяца, так что он падал только всюду вокруг — на поля и дали и на окна увитого зеленью дома, который скоро сдадут внаем.

X

СВАДЬБА ФЛЕР

Октябрьские газеты, описывая венчание Флер Форсайт и Майкла Монта, едва ли сумели передать символический смысл этого события. Брачный союз правнучки «Гордого Доссета» с наследником девятого баронета был явным и очевидным знамением того смешения классов, которым поддерживается политическая устойчивость всякого государства. Наступило время, когда Форсайты могли отказаться от своей естественной антипатии к «мишуре», не подобавшей им по рождению, и принять ее как вдвойне естественную дань их собственническим инстинктам. К тому же им следовало подняться по общественной лестнице, чтобы освободить место всем тем, кто пришел к богатству несравненно позже. В этой спокойной и столь изящной церемонии, происходившей на Ганновер-сквер, а затем среди «забавной» обстановки на Грин-стрит, невозможно было непосвященному отличить армию Форсайтов от боевого отряда Монтов — так далеко позади остался «Гордый Доссет». Разве складкой на брюках, усами, произношением, блеском цилиндра Сомс хоть сколько-нибудь отличался от самого девятого баронета? Разве не была Флер столь же сдержанна, быстра, красива и непокорна, как самая породистая кобылица из стана Маскхемов, Монтов или Чаруэлов? Одеждой, внешностью и манерами Форсайты, пожалуй, могли даже дать противнику очко вперед. Они принадлежали уже к «высшему классу», и отныне, когда деньги их соединились с зем-

лей, их имя будет по всей форме внесено в родословные призовых скакунов. Произошло ли это с опозданием и сия награда собственническому инстинкту вместе с деньгами и землей не должна ли была вскоре попасть в переплавку, оставалось пока что вопросом настолько спорным, что его еще не ставили на обсуждение. В конце концов Тимоти сказал, что консоли идут в гору. Тимоти, последнее, недостающее звено; Тимоти, лежащий при смерти в доме на Бэйсуотер-род, как сообщила Фрэнси. Передавали также шепотом, будто молодой Монт вроде как социалист, что́ с его стороны совсем не глупо: своего рода страховка по нынешним временам. Смущаться тут нечем. Класс землевладельцев время от времени позволяет себе эдакие милые дурачества, направленные в безопасное русло и не идущие дальше теории. Как заметил Джордж своей сестре Фрэнси: «Заведут щенят — и он утихомирится!»

Церковь с белыми цветами и чем-то синим в середине восточного окна производила впечатление чрезвычайного целомудрия; она как будто всем своим видом старалась смягчить несколько рискованную терминологию службы, словно бы стремящуюся задержать помыслы присутствующих на щенятах. Форсайты, Хэймены, Туитимены расположились на левом крыле; Монты, Чаруэлы, Маскхемы — на правом, в то время как подруги Флер по школе и товарищи Монта по окопам позевывали и тут и там, на обоих флангах, а три почтенные старые девы, заглянувшие в церковь по пути из магазина Скайуорда, вкупе с двумя домочадцами Монта и старой няней Флер, защищали тыл. В общем церковь была настолько полна, насколько можно требовать при современном неупорядоченном положении дел в стране.

Миссис Вэл Дарти, сидя в третьем ряду, не раз в продолжение спектакля пожимала руку своему мужу. Для нее, знавшей всю подоплеку этой трагикомедии, самый драматический ее момент был почти мучителен. «Хотела бы я знать,— думала она,— чувствует ли Джон там, в Британской Колумбии, что происходит здесь сейчас?» В то утро она получила от брата письмо, которое заставило ее улыбнуться и сказать:

— Джон поехал в Британскую Колумбию, Вэл, потому что его тянуло в Калифорнию. Он боится, что в Калифорнии слишком хорошо.

— Ага!— сказал Вэл.— Значит, к нему вернулось чувство юмора.

— Он купил землю и вызвал к себе мать.

— Что ей там делать?

— Ей ничего не надо, кроме Джона. Ты все еще считаешь это счастливой развязкой?

Лукавые глаза Вэла сузились в две серые щелочки между черными ресницами.

— Флер ему не пара. Она не так воспитана.

— Бедная маленькая Флер!— вздохнула Холли.

И в самом деле, разве не странная это свадьба? К этому молодому человеку, Майклу Монту, Флер прибилась, конечно, рикошетом, когда была в отчаянии от того, что затонул ее корабль. Такой прыжок в холодную воду, несомненно, «крайняя мера», как выразился бы Вэл. Но трудно было о чем-нибудь судить по фате и спине невесты, и глаза Холли перешли к обозрению общей картины этого христианского венчания.

Сама она вышла замуж по любви и удачно, а потому мысль о несчастных браках приводила ее в содрогание. Замужество Флер могло и не стать несчастным, но это чистая лотерея. Освящать же вот так лотерею искусственно-елейным обрядом перед толпою фешенебельных вольнодумцев — ведь «расфрантившись», как сейчас, если кто и думает, то только фривольно,— представлялось Холли самым близким подобием греха, какое мыслимо в наш век, отменивший это понятие. С преподобного Чаруэла (Форсайты еще не подарили миру ни одного священнослужителя) взгляд Холли перешел на Вэла, который сидел рядом с нею и думал (она не сомневалась) о мэйфлайской кобыле в связи с очередными скачками. Взгляд скользнул дальше и уловил профиль девятого баронета, согнувшегося в каком-то суррогате коленопреклонения; Холли заметила складочку над коленями, где он подтянул брюки, и подумала: «А Вэл свои забыл подтянуть!» Перевела глаза на скамью второго ряда, где взволнованно колыхались пышные формы Уинифрид, и дальше — на Сомса и Аннет, стоявших рядом на коленях. Легкая улыбка пробежала по ее губам: Проспер Профон, вернувшийся из плавания к Полинезийским островам Ла-Манша, тоже, наверно, стоит на коленях где-нибудь позади них. Да, странное «маленькое дельце», как бы ни обернулось оно в дальнейшем; однако оно происходит в подобающей церкви и завтра будет описано в подобающих газетах.

Запели псалом. Холли слышала, как девятый баронет на другом крыле пел о мидийском воинстве. Ее мизинец прикоснулся к большому пальцу Вэла — у них был один молитвенник на двоих,— и легкая дрожь пробежала по ее телу, как бывало двадцать лет назад. Вэл наклонился и шепнул:

— А помнишь крысу?

Крысу на их свадьбе в Капштадте, чистившую усики за столом регистратора! Холли до боли зажала большой палец Вэла между своим мизинцем и безымянным.

Пение кончилось, началась проповедь. Священник говорил о том, в какое опасное время мы живем и какие превратные суждения высказывает палата лордов по вопросу о разводе. «Мы все солдаты,— сказал он,— сидящие в окопах под ядовитыми газами «князя тьмы», и мы должны держаться мужественно. Цель брака — дети, а не просто греховное счастье».

Бесенок заплясал в глазах Холли: ресницы Вэла смежились; ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он захрапел. Большим и указательным пальцами она все больнее щипала его за ляжку, пока он не заерзал на скамье.

Проповедь кончилась, опасность миновала. Уже расписывались в ризнице; все облегченно вздохнули.

Голос позади произнес:

— Выдержит она дистанцию?

— Кто это?— спросила шепотом Холли.

— Старый Джордж Форсайт!

Соблюдая чинность, Холли скосила глаза на человека, о котором столько слышала. Недавно возвратившись из Южной Африки, она почти

не знала своих родичей и всегда глядела на них с детским любопытством. Джордж Форсайт был очень грузный и очень элегантный; под его взглядом ее охватывало странное чувство, точно на ней нет платья.

— Пошли лошадки!— опять услышала она его голос.

Новобрачные медленно сходили со ступеней алтаря. Холли глянула сперва в лицо молодому Монту. Губы его и уши подергивались; глаза, скользившие от кончика его ботинок к бледным пальчикам на черном его рукаве, вдруг уставились вперед, в пространство, словно он видел перед собой неприятеля. У Холли создалось впечатление, что он духовно пьян. А Флер? Тут совсем иное. Девушка в совершенстве владела собой и была красивей, чем когда-либо, в белом платье, в белой фате на темно-каштановых волосах, падавших челкой на лоб; веки ее скромно нависли над темно-карими глазами. Телом она присутствовала здесь. Но где блуждала ее душа? Проходя, Флер подняла веки — и беспокойный блеск белков запечатлелся в глазах Холли, как трепет крыльев посаженной в клетку птицы.

На Грин-стрит Уинифрид, несколько менее спокойная, чем обычно, принимала гостей. Просьба Сомса о предоставлении ее дома для празднества застигла ее в трудный психологический момент. Под влиянием одного замечания, оброненного Профоном, она начала заменять свой ампир экспрессионистской обстановкой. У Миларда продавались очень забавные вещи с лиловыми, зелеными и оранжевыми квадратами и клиньями. Еще месяц — и замена была бы завершена. А теперь завербованные ею чрезвычайно «занимательные» новобранцы не слишком подходили к старой гвардии — как если б одна половина ее полка была одета в хаки, а другая — в красные мундиры и медвежьи шапки. Но она успешно проявляла свое миротворческое дарование в этом салоне, не подозревая, как совершенно он отображал революционизированный империализм ее страны. В конце концов в этот день смешения двух начал чем больше мешанины, тем лучше! Уинифрид снисходительно обводила взглядом толпу гостей. Сомс вцепился руками в спинку старинного стула; молодой Монт зашел за этот «страшно забавный» экран, которого ей никто еще не сумел объяснить. Девятый баронет, в ужасе отпрянув от круглого пунцового стола, выложенного под стеклом крылышками синих австралийских бабочек, держится поближе к шкафчику в стиле Людовика XV; Фрэнси Форсайт схватилась руками за новую эбеновую полку камина, по черному фону которой тонко вырезаны лиловые химеры; Джордж, облокотившись на старые клавикорды, держит в руке голубую книжицу, словно собираясь предложить кому-нибудь пари; Проспер Профон вертит ручку открытой двери, черной, с ярко-синей филенкой; а рядом Аннет обхватила руками свою собственную талию; двое Маскхемов засели на балконе среди пальм, точно им дурно; леди Монт, худая и решительная, наставив лорнет, воззрилась на красно-бело-оранжевый абажур центральной лампы с таким видом, точно перед ней разверзлась небесная твердь. В самом деле, каждый, по-видимому, за что-нибудь держится. Только Флер, все еще в венчальном уборе, стоит, ни на что не опираясь, и бросает налево и направо слова и взгляды.

В комнате гудит светский разговор. Никто никого не может расслышать; но это как будто и не важно, так как никто все равно не стал бы дожидаться ответа. Разговор, решила Уинифрид, ведется теперь совсем по-иному, чем в дни ее весны, когда в моде была протяжно-певучая манера. Но все-таки он «забавен», а это, конечно, главное. Даже Форсайты разговаривают чрезвычайно быстро — Флер и Кристофер, Имоджин и младший отпрыск молодого Николаса, Патрик; Сомс, конечно, молчит; зато Джордж у клавикордов то и дело отпускает замечания, и Фрэнси тоже — у камина. Уинифрид подплыла к девятому баронету. Около него, казалось, можно будет отдохнуть; нос у него тонкий и немного нависает над губой, кончики седых усов тоже опущены книзу; она певуче протянула сквозь улыбку:

— Очень мило получилось, не правда ли?

Его улыбка выстрелила ответом, точно хлебным шариком:

— Вы помните, у Фрезера какое-то племя зарывает новобрачных по пояс в землю?

Так же быстро говорит, как все остальные! У него живые темные глаза с сетью морщинок вокруг, как у католического священника. Уинифрид почувствовала вдруг, что может услышать от него неприятные вещи.

— Свадьбы всегда так забавны,— пробормотала она и двинулась дальше, к Сомсу.

Он застыл на месте, и Уинифрид сразу поняла причину его неподвижности. Направо от него Джордж Форсайт, налево — Аннет с Проспером Профоном. Если Сомс пошевелится, он увидит либо эту пару, либо ее отражение в насмешливых глазах Джорджа Форсайта. Он совершенно прав, предпочитая ничего не замечать.

— Говорят, Тимоти умирает,— сказал он мрачно.

— Где ты его похоронишь, Сомс?

— В Хайгете.— Он сосчитал по пальцам.— Их там будет двенадцать, включая жен. Как ты находишь Флер?

— Удивительно хороша!

Сомс кивнул головой. Никогда еще дочь не казалась ему красивей, и, однако, он не мог отделаться от впечатления, что во всем этом было что-то неестественное, не мог изгнать из памяти девочку, забившуюся в угол дивана. С той ночи и по сей день он ничего нового от нее не услышал. Он знал от шофера, что она пыталась произвести еще одну атаку на Робин-Хилл и вернулась ни с чем: дом был пуст, она никого не застала. И было ему известно, что она получила письмо, но о содержании его он знал лишь то, что оно заставило ее прятаться и плакать. Он замечал, что она поглядывала на него украдкой, словно все еще хотела узнать, что́ в самом деле мог он сделать такого ужасного, что те так ненавидят его. Так и шло! Аннет вернулась домой, и уныло проходило лето, когда однажды Флер вдруг заявила, что выходит замуж за Монта. После этого заявления она стала несколько ласковей с отцом. И он уступил — что пользы было противиться? Бог свидетель, он никогда ни в чем не хотел ей препятствовать! А молодой человек явно сходил по ней с ума. Конечно, ею двигало отчаяние, и она была молода, до нелепости молода. Но

если б он стал возражать, кто знает, что бы она учинила? Вздумала бы, чего доброго, выбрать себе профессию, стала бы врачом или адвокатом — мало ли какая нашла бы на нее дурь! У Флер не было способностей ни к рисованию, ни к поэзии, ни к музыке — единственные, по его мнению, законные занятия для незамужней женщины, если ей непременно нужно в наши дни что-нибудь делать. В общем, спокойнее было выдать ее замуж, потому что Сомс слишком хорошо замечал, какая лихорадка и беспокойство владеют ею дома. Аннет тоже относилась к проекту сочувственно, как видел Сомс сквозь завесу своего нежелания знать, каковы ее собственные проекты, если они у нее есть. Аннет сказала: «Пусть ее выходит замуж за этого молодого человека. Он славный мальчик, совсем не такой пустозвон, каким кажется». Откуда взялись у нее подобные выражения, Сомс не знал, но ее согласие успокоило его сомнения. Жена его, как бы она себя ни вела, обладала трезвым взглядом на вещи и угнетающим избытком здравого смысла. Сомс перевел на имя Флер пятьдесят тысяч фунтов, приняв меры, чтобы они не перешли в чужие руки, если дело обернется как-нибудь неладно. А может ли оно обернуться хорошо? Она не забыла того, другого,— Сомс это знал. На медовый месяц они собирались в Испанию. Флер уедет и оставит отца в еще худшем одиночестве. Но после она, может быть, забудет и вернется к нему!

Голос Уинифрид вывел его из задумчивости.

— Как! Чудо из чудес — Джун!

В своем неизменном балахоне — и нелепо же она одевается!— с выбивающимися из-под ленты волосами, появилась двоюродная племянница Сомса, и Флер, увидел он, подошла к ней поздороваться. Обе скрылись из виду в направлении лестницы.

— Право,— сказала Уинифрид,— она способна на самые невозможные поступки. Кто бы вообразил, что она придет!

— Почему ты ее пригласила?— буркнул Сомс.

— Потому что я была уверена, что она ни в коем случае не примет приглашения.

Уинифрид забыла, что за поведением человека лежит общий склад его характера; или, другими словами, она упустила из виду, что Флер попала теперь в разряд «несчастненьких».

Получив приглашение, Джун сперва подумала: «И близко к ним не подойду, ни за что на свете!» Но потом в одно прекрасное утро она проснулась от сна, в котором видела Флер, в отчаянии махнувшую ей рукой из лодки. И передумала.

Когда Флер подошла и сказала: «Пойдемте наверх, посидите со мной, пока я переоденусь»,— Джун вышла вслед за нею на лестницу. Девушка пошла вперед, в бывшую комнату Имоджин, предоставленную ей для совершения туалета.

Джун присела на кровать, тонкая и прямая, похожая на маленький стареющий призрак. Флер повернула ключ.

Девушка стояла перед нею, сняв венчальное платье. Какая она хорошенькая!

— Вы, верно, считаете меня дурой,— сказала она, и губы у нее задрожали.— Ведь это должен был бы быть Джон. Но что же делать? Майкл любит меня, а мне все равно. Это хоть вырвет меня из нашего дома.

Засунув руку в кружева на груди, она извлекла письмо.

— Вот что написал мне Джон.

Джун прочла: «Озеро Оканаген, Британская Колумбия. Я не вернусь в Англию. Никогда тебя не забуду. *Джон*».

— Вы видите, она его надежно упрятала,— сказала Флер.

Джун вернула письмо.

— Вы несправедливы к Ирэн; она все время говорила Джону, что он может поступить, как захочет.

Флер горько улыбнулась.

— Скажите, не испортила ли она также и вашу жизнь?

Джун подняла глаза.

— Никто не властен испортить другому жизнь, дорогая. Вздор! Что бы ни случилось, мы не должны сгибаться.

С ужасом увидела она, что девушка упала на колени и зарылась лицом в ее юбку. Приглушенные рыдания достигли слуха Джун.

— Не надо, детка, не надо,— бормотала она растерянно.— Все будет хорошо.

Но острый подбородок девушки крепче и больней прижимался к ее коленям, и страшен был звук ее рыданий.

Ничего, ничего! Она должна через это пройти. Со временем ей станет легче. Джун гладила короткие волосы на этой изящной головке; и все ее распыленное материнское чувство сосредоточилось в руке и через кончики пальцев изливалось на девушку.

— Не сгибайтесь под удáром, дорогая,— сказала она наконец.— Мы не можем управлять жизнью, но можем бороться. Не падайте духом. Мне выпало то же. И я, как вы, не хотела забыть. Я тоже плакала. А посмотрите на меня!

Флер подняла голову; рыдание вдруг перешло в тихий сдавленный смех. Правда, призрак сидел перед ней блеклый, худенький, но глаза у него были храбрые.

— Да!— сказала Флер.— Извините меня. Я, вероятно, смогу его забыть, если помчусь быстро и далеко.

И, с усилием встав на ноги, она подошла к умывальнику.

Джун следила, как она смывает холодной водой следы волнения. Кроме легкого, вполне приличного румянца, ничего не осталось, когда она подошла к зеркалу. Джун встала с кровати и взяла в руку подушечку для булавок. Всадила две булавки не на место — вот все, чем сумела она выразить свое сочувствие.

— Поцелуйте меня,— сказала она, когда Флер была готова, и ткнулась подбородком в теплую щеку девушки.

— Я покурю,— сказала Флер.— Не ждите меня.

Она осталась сидеть на кровати с папиросой в зубах, с полузакрытыми глазами, а Джун сошла вниз. В дверях гостиной стоял Сомс, словно тревожась, что дочь запаздывает. Джун тряхнула головой и, не оста-

навливаясь, спустилась еще на марш. Там стояла на площадке ее двоюродная сестра Фрэнси.

— Смотри!— сказала Джун, подбородком указывая на Сомса.— Роковой человек!

— Что ты хочешь сказать?— спросила Фрэнси.— Почему роковой?

Джун не ответила.

— Не стану ждать, проводят и без меня,— сказала она.— До свидания!

— До свидания!— отозвалась Фрэнси, и в ее серых кельтских глазах заиграла усмешка. Старая кровная вражда! Право, это не лишено романтики!

Склонившись в пролет лестницы, Сомс увидел, что Джун уходит, и вздохнул с облегчением. Почему не идет Флер? Они опоздают на поезд. Поезд унесет ее прочь от него, но Сомс не мог думать без тревоги, что они на него не поспеют. Вот она явилась наконец, сбегает по лестнице в коричневом платье и черной бархатной шапочке, проходит мимо отца в гостиную. Он видит, как она целует мать, тетку, жену Вэла, Имоджин и опять выходит, быстрая и прелестная, как всегда. Как обойдется она с ним в эти последние минуты своего девичества? На многое он не надеялся!

Губы ее прижались к середине его щеки.

— Папочка!— сказала она и умчалась.

«Папочка!» Много лет не называла она его так. Сомс вздохнул полной грудью и медленно начал спускаться. Придется пройти через всю эту суматоху с конфетти и прочей ерундой. Но ему хочется уловить улыбку дочери, если она выглянет на прощание из машины,— впрочем, не надо, еще угодят ей нечаянно туфлей в глаза. Голос молодого Монта пламенно зазвенел над его ухом:

— До свидания, сэр. Я вам бесконечно благодарен! И я так счастлив!

— До свидания,— ответил Сомс.— Не опоздайте на поезд.

Он стоял на третьей снизу ступеньке, откуда мог смотреть поверх голов — глупых шляп и голов. Вот уже сели в автомобиль; и началась кутерьма с конфетти, обсыпают рисом, бросают вслед туфлю. Какая-то волна поднялась в груди Сомса, и что-то — не поймешь что — заволокло глаза.

XI

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СТАРЫХ ФОРСАЙТОВ

Когда пришли обряжать этот страшный символ, Тимоти Форсайта,— последнего из чистых индивидуалистов, единственного человека на земле, который не слышал про мировую войну,— все нашли, что он выглядит изумительно: даже смерть не подействовала на его здоровую натуру.

Для Смизер и кухарки обмывание покойника явилось окончательным доказательством того, что им всегда представлялось невозможным,— конца земного существования старой семьи Форсайтов. Бедный

мистер Тимоти должен теперь взять арфу и петь в одном хоре с мисс Форсайт, миссис Джулией, мисс Эстер; в компании с мистером Джолионом, мистером Суизином, мистером Джемсом, мистером Роджером и мистером Николасом. Окажется ли там же миссис Хэймен, было сомнительно, если принять во внимание, что ее тело было предано сожжению. Втайне кухарка думала, что мистеру Тимоти будет не по себе — он всегда восставал против шарманок: «Опять завыли под окном! Не было печали! Смизер, вы бы вышли и посмотрели, нельзя ли как-нибудь прекратить». В душе она готова была бы радоваться музыке, если бы не знала, что сию минуту мистер Тимоти позвонит и скажет: «Вот, дайте ему полпенни и скажите, чтоб он ушел». Часто им приходилось докладывать три пенса из своего кармана, чтоб шарманщик согласился удалиться. Тимоти всегда недооценивал стоимость эмоций. К счастью, в последние годы он принимал шарманку за муху, что было очень удобно, так как давало кухарке и Смизер возможность наслаждаться музыкой. Но арфа! Кухарку брало раздумье. Да, новые настают времена! А мистер Тимоти никогда не любил перемен. Однако она не делилась своими сомнениями со Смизер, у которой были настолько своеобразные понятия о царствии небесном, что иногда она просто ставила вас в тупик.

Когда Тимоти обряжали, кухарка плакала, а потом они все вместе распили бутылку хереса, который с прошлого года приберегали к рождеству,— но больше он уже не мог понадобиться. Ох, горе горькое! Она прожила здесь сорок пять лет, а Смизер сорок три! И теперь они должны переселиться в крохотный домик в Тутинге, чтобы там доживать век на сбережения и на те деньги, которые мисс Эстер оставила им по своей доброте. Поступить на новую службу после столь славного прошлого — нет, это немыслимо! Но, право, они будут очень рады увидеть еще разок мистера Сомса, и миссис Дарти, и мисс Фрэнси, и мисс Юфимию. И даже если им придется самим нанять кеб, они все же почтут своим непременным долгом присутствовать на похоронах. Шесть лет мистер Тимоти был их младенцем, изо дня в день становясь все моложе и моложе, пока не сделался слишком молод для жизни.

Установленные часы ожидания они посвятили чистке медной посуды и обметанию пыли, ловле последней оставшейся мыши и казни последнего таракана (чтобы все оставить в приличном виде!) и совместному обсуждению вопроса, что́ купить на аукционе: рабочую шкатулку мисс Энн; альбом водорослей мисс Джули (то есть миссис Джулии); экран для камина, который мисс Эстер расшила гарусом; и волосы мистера Тимоти — золотые завитки, наклеенные на картонку и вставленные в черную рамку. Ох! Непременно нужно это все приобрести — но только вещи нынче так вздорожали!

На Сомса легла обязанность разослать приглашения на похороны. Он составил их в своей конторе при содействии Грэдмена — приглашались только кровные родственники, без особого парада. Заказано шесть карет. Завещание будет прочтено после, на дому.

Он явился к одиннадцати посмотреть, все ли приготовлено. Четверть часа спустя приехал старый Грэдмен в черных перчатках и с крепом на шляпе. Он и Сомс стояли, ожидая, в гостиной. В половине двенадцатого

у подъезда выстроились вереницей кареты. Но больше никто не явился. Грэдмен сказал:

— Меня это удивляет, мистер Сомс. Я сам снес на почту приглашения.

— Не знаю, право,— сказал Сомс,— он потерял связь с семьей.

Сомс часто замечал в прежние времена, насколько больше родственных чувств проявлялось в его семье к умершим, нежели к живущим. А ныне то, как все они нахлынули на свадьбу Флер и как держались в стороне от похорон Тимоти, указывало, по-видимому, некую коренную перемену. Впрочем, тут могла сказаться и другая причина, ибо Сомс сознавал, что, не будь он знаком заранее с завещанием Тимоти, он и сам из деликатности не явился бы сюда. Тимоти оставил большое состояние, не имея прямого наследника. Никто не хочет дать повод к подозрениям, что он чего-то ждал от покойного.

В двенадцать часов вынесли гроб, и процессия двинулась. В первой карете везли под стеклянной крышкой Тимоти. Затем Сомс — один в карете. Далее Грэдмен — также один; наконец, Смизер и кухарка — вдвоем. Тронулись сперва шагом, но вскоре перешли по хорошей погоде на рысь. У входа на Хайгетское кладбище их задержала служба в часовне. Сомс предпочел бы подождать на свежем воздухе; он не верил ни в единое слово службы; но с другой стороны, это было своего рода формой страхования, которой не следовало пренебрегать на случай, если все-таки за гробом что-то есть.

Вошли попарно — он с Грэдменом, Смизер с кухаркой — в могильный склеп. Не такие подобали бы проводы последнему из старых Форсайтов!

На обратном пути к Бэйсуотер-род Сомс не без некоторой сердечной теплоты пригласил Грэдмена в свою карету. Он приберегал сюрприз для старика, прослужившего Форсайтам пятьдесят четыре года,— сюрприз, которым тот был целиком обязан ему, Сомсу. Он ли не помнил, как на другой день после похорон тети Эстер сказал старому Тимоти: «Как насчет Грэдмена, дядя Тимоти? Он столько нес хлопот для нашей семьи. Не отпишете ли вы ему пять тысяч?»— и как он удивился, когда Тимоти, который с таким трудом что-либо оставлял,— когда Тимоти утвердительно кивнул головой. Старик будет теперь на седьмом небе от счастья, потому что у миссис Грэдмен, как известно Сомсу, слабое сердце, а сын их лишился ноги на войне. Сомсу было чрезвычайно приятно преподнести ему пять тысяч фунтов из денег Тимоти. Они уселись в маленькой гостиной, где стены были, как видение рая, небесно-голубые с золотом, и рамы неестественно блестели, и на мебели не оставлено было ни единой пылинки,— чтобы вместе прочесть этот маленький шедевр, завещание Тимоти. Сидя спиною к свету в кресле тети Эстер, Сомс поглядел на Грэдмена, сидевшего к свету лицом на диванчике тети Энн, и, закинув ногу на ногу, начал:

«Сие есть моя, Тимоти Форсайта, проживающего на Бэйсуотер-род в Лондоне, последняя воля и завещание. Я назначаю племянника моего Сомса Форсайта, проживающего в Мейплдерхеме, и Томаса Грэдмена, проживающего в доме номер 159 по Фолли-род в Хайгете (далее имену-

емых моими душеприказчиками), быть исполнителями сего моего завещания и душеприказчиками по оному. Вышеназванному Сомсу Форсайту я оставляю сумму в тысячу фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство, и вышеназванному Томасу Грэдмену я оставляю сумму в пять тысяч фунтов стерлингов, свободную от налога на наследство».

Сомс остановился. Старый Грэдмен наклонился вперед, судорожно вцепившись пухлыми руками в свои черные толстые колени; рот его так широко разверзся, что засверкали три золотые пломбы в зубах; глаза мигали, и две слезы медленно катились по щекам. Сомс поспешно стал читать дальше:

«Все остальное мое имущество по прилагаемой к сему описи я поручаю моим душеприказчикам по доверию реализовать и вырученные суммы держать на хранении согласно следующим доверениям, а именно: уплатить из них все мои долги, погребальные расходы и все издержки, связанные с настоящим моим завещанием, а все оставшееся после этого сохранять под опекой для того мужского пола прямого потомка моего отца Джолиона Форсайта от его брака с Энн Пирс, который — по кончине всех без различия пола прямых потомков вышеназванного моего отца и от его вышеназванного брака, какие будут в живых ко времени моей смерти,— последним достигнет возраста двадцати одного года, причем я выражаю желание, чтобы мое имущество охранялось до крайних пределов, допускаемых законами Англии, в пользу такого мужского пола потомка, как указано выше».

Сомс прочитал засим подписи и заверения и, кончив, поглядел на Грэдмена: Старик утирал лоб большим носовым платком, яркий цвет которого внезапно придал всей процедуре праздничный оттенок.

— Подумать только, мистер Сомс!— воскликнул он, и было ясно, что адвокат в нем совершенно заслонил человека.— Подумать! Сейчас у нас налицо двое грудных младенцев и несколько малолетних детей; если один из них доживет до восьмидесяти лет — не такая уж глубокая старость — да прибавить к этому двадцать один год, получается сто лет; а состояние мистера Тимоти надо оценить не менее как в сто пятьдесят тысяч фунтов чистоганом. Сложные проценты при пяти годовых удваивают первоначальную сумму в четырнадцать лет. Через четырнадцать лет у нас получится триста тысяч; шестьсот тысяч через двадцать восемь лет; миллион двести тысяч через сорок два года; два миллиона четыреста через пятьдесят шесть лет; четыре миллиона восемьсот через семьдесят лет; девять миллионов шестьсот тысяч через восемьдесят четыре года. Ого, через сто лет получится двадцать миллионов! И мы до этого не доживем! Это, я понимаю, завещание!

Сомс сухо сказал:

— Мало ли что может случиться. Значительную часть может забрать государство; в наши дни всего можно ждать.

— ...И пять в уме,— сказал про себя Грэдмен.— Я забыл, мистер Тимоти поместил все в консоли; учитывая подоходный налог, мы долж-

ны считать не более двух процентов. Скажем для верности — восемь миллионов. Тоже неплохие денежки!

Сомс встал и вручил ему завещание.

— Вы едете в Сити. Позаботьтесь об этом и сделайте все, что нужно. Поместите объявление и тому подобное; впрочем, долгов никаких нет. Когда аукцион?

— На той неделе во вторник,— сказал Грэдмен.— Переждать, пока умрут те, кто жив сейчас, да прибавить еще двадцать один год — это выйдет очень нескоро. Но я рад, что он оставил свои деньги в семье...

Аукцион, устроенный, ввиду викторианского стиля мебели, не у Джобсона, собрал гораздо больше публики, чем похороны, хотя кухарка и Смизер не пришли, так как Сомс вызвался сам доставить им желанное. Присутствовали Уинифрид, Юфимия и Фрэнси, прикатил Юстас в собственном автомобиле. Миниатюры барбизонцев и рисунки Дж. Р. заранее купил Сомс; реликвии, не имеющие рыночной ценности, были вынесены в боковую комнату для членов семьи на случай, если кто пожелает взять что-нибудь на память. Остальное пошло с молотка; торги отличались почти трагической вялостью. Ни один предмет обстановки, ни одна картина, ни одна фарфоровая статуэтка не отвечали современному вкусу. Колибри осыпались, как осенние листья, как только их вынули из шкафа, где они красовались шестьдесят лет. Сомсу больно было видеть, как стулья, на которых сидели его тетки, рояль, на котором они почти никогда не играли, книги, корешки которых они разглядывали, фарфор, с которого они стирали пыль, портьеры, которые они раздвигали, коврик, который грел им ноги, а главное, кровати, в которых они спали и умерли,— переходили в руки мелких торговцев и хозяек из Фулхема... Однако что можно было сделать? Скупить самому все вещи и свалить в чулан? Нет; они должны пережить судьбу всякой плоти и всякой мебели — служить, пока не придут в разрушение. Но когда выставили кушетку тети Энн и уже готовились пустить ее с молотка за тридцать шиллингов, Сомс вдруг выкрикнул: «Пять фунтов!» Произошла большая сенсация, и кушетка досталась ему.

Когда закончилась распродажа в душном аукционном зале и рассеялся по Лондону этот викторианский прах, Сомс вышел в туманный свет октябрьского дня с таким чувством, словно умер последний уют старого мира и в самом деле вывешена дощечка: «Сдается внаем». На горизонте — революция; Флер в Испании; от Аннет никакой радости; и нет больше дома Тимоти на Бэйсуотер-род. В унынии, в досаде отправился Сомс в Гаупенорскую галерею. Там были выставлены акварели Джолиона Форсайта. Сомс пошел поглядеть на них и пофыркать — это доставит ему некоторое удовольствие. От Джун к миссис Вэл Дарти, от нее к Вэлу, от Вэла к Уинифрид, а от Уинифрид к Сомсу — так просочилась молва, что дом, роковой дом в Робин-Хилле, продается, а Ирэн едет к сыну в Британскую Колумбию или куда-то еще. На одно сумасшедшее мгновение у Сомса мелькнула мысль: «А почему бы мне его не купить? Я предназначал его для своей...» Но мысль тотчас была отброшена. Слишком мрачное было бы торжество; слишком много связано с этим местом воспоминаний, унизительных и для него и для Флер. После все-

го, что случилось, Флер никогда не стала бы там жить. Нет, пусть дом достанется спокойно какому-нибудь пэру или спекулянту. С самого начала сделался он яблоком раздора, раковиной, таящей в себе моллюска вражды, а с отъездом этой женщины он превратился в пустую раковину. «Продается или сдается внаем». Духовным взором Сомс видел уже доску с такою надписью, водворенную высоко над увитой плющом стеною, которую он сам построил.

Сомс прошел по первым комнатам галереи. Что и говорить, работ немало! Теперь, когда художник умер, они не кажутся такими скучными. Рисунок приятен, краски передают воздух, и чувствуется в письме что-то индивидуальное. «Его отец и мой отец; он и я; его ребенок и мой,— думал Сомс.— Так оно и пошло! А все из-за этой женщины!» Умиленный событиями последней недели, поддавшись грустной прелести осеннего дня, Сомс ближе чем когда-либо подошел к раскрытию истины, недоступной пониманию чистокровного Форсайта: что тело красоты проникнуто некой духовной сущностью, которую может полонить только преданная любовь, не думающая о себе. В конце концов к этой истине приближала его любовь к дочери; может, эта любовь и позволила ему понять хоть отчасти, почему он упустил награду. И теперь, среди акварелей своего двоюродного брата, получившего то, что для него самого осталось недоступным, он думал о нем и о ней с удивившей его самого терпимостью. Но не купил ни одной акварели.

Собравшись выйти снова на свежий воздух и проходя мимо кассы, он — не совсем неожиданно, ибо мысль о такой возможности все время присутствовала в его сознании,— встретил входившую в галерею Ирэн. Итак, она еще не уехала и делает прощальные визиты останкам Джолиона! Сомс подавил невольную вспышку инстинктивных побуждений, механическую реакцию всех своих пяти чувств на чары этой женщины, некогда ему принадлежавшей, и, глядя в сторону, прошел мимо нее. Но, сделав несколько шагов, не выдержал и оглянулся. В последний раз и конец: огонь и мука его жизни, безумие и тоска, его единственное поражение кончатся, когда на этот раз образ Ирэн угаснет перед его глазами: даже в таких воспоминаниях есть своя мучительная сладость. Ирэн тоже оглянулась. И вдруг она подняла затянутую в перчатку руку, губы ее чуть-чуть улыбнулись, темные глаза как будто говорили. Настала очередь Сомса не ответить на улыбку и на легкое прощальное движение руки; дрожа с головы до ног, вышел он на фешенебельную улицу. Он понял, что говорила ее улыбка: «Теперь, когда я ухожу навсегда, когда я недосягаема ни для тебя, ни для твоих близких, прости меня; я тебе не желаю зла». Вот что это значило: последнее доказательство страшной правды, непонятной с точки зрения нравственности, долга, здравого смысла; отвращения этой женщины к нему, который владел ее телом, но никогда не мог причаститься ее душе или сердцу. Это было больно; да, больнее, чем если бы она не сдвинула маски с лица, не шевельнула бы рукой.

Три дня спустя, в быстро желтеющем октябре, Сомс взял такси на Хайгетское кладбище и белым лесом крестов и памятников поднялся

к семейному склепу Форсайтов. У старого кедра над катакомбами и колумбариями, высокий, безобразный, индивидуальный, этот склеп, казалось, возглавлял систему конкуренции. Сомс припомнил спор, в котором Суизин отстаивал предложение посадить на фасад герб с фазаном. Предложение было отклонено в пользу скромного каменного венка над словами: «Фамильный склеп Джолиона Форсайта, 1850 год». Склеп был в полном порядке. Все следы недавнего погребения были устранены, и трезвый серый камень покойно хмурился на солнце. Вся семья теперь лежала здесь, исключая жену старого Джолиона, которая, согласно договору, вернулась почивать в склеп своей собственной семьи в Суффолке; самого старого Джолиона, лежащего в Робин-Хилле, и Сьюзен Хэймен, которую кремировали, так что никто не скажет, где она теперь. Сомс глядел на склеп с удовольствием: массивен, не требует больших забот; и это немаловажно, ибо он знал, что, когда сам он умрет, никто не станет больше заботиться о склепе Форсайтов, а ведь и ему уже скоро пора подумать о новом жилище. Может быть, у него еще двадцать лет впереди, но никогда нельзя знать. Двадцать лет без теток и дядей, с женой, о которой лучше не знать ничего, с дочкой, покинувшей дом! Сомса клонило к меланхолии и к размышлению о прошлом.

Кладбище полно, говорят, именитых людей, похороненных с отменным вкусом. Отсюда, с высоты, открывается прекрасный вид на Лондон. Аннет однажды дала ему прочесть рассказ этого француза, Мопассана,— мрачная кладбищенская история, где ночью поднимаются из могил мертвецы и все благочестивые надписи на их плитах превращаются в описания их грехов. История весьма неправдоподобная. Как насчет французов, он не знает, но англичане довольно безобидный народ — только зубы у них и вкусы действительно в плачевном состоянии.

«Фамильный склеп Джолиона Форсайта, 1850 год». Множество людей похоронили здесь с тех пор, множество английских жизней распалось в прах и тлен! Гудение аэроплана, проплывшего под золотыми облаками, заставило Сомса поднять глаза. Какая чудовищная экспансия за эти годы! Но в конце концов все возвращается на кладбище — к имени и дате на могильной плите. И Сомс не без гордости подумал, что ни он, ни его семья ничем не содействовали этой лихорадочной экспансии. Солидные, добропорядочные посредники, они с достоинством делали свое дело: управляли и владели имуществами. Правда, «Гордый Доссет» в бездарный период занимался строительством, и Джолион в сомнительный период занимался живописью, но больше никто в их семье, насколько помнил Сомс, не пачкал рук созиданием чего бы то ни было, если не считать Вэла Дарти с его конным заводом. Были среди них сборщики налогов, стряпчие, юристы, купцы, издатели, бухгалтеры, директоры, агенты по продаже земель, даже военные — это да! Страна расширяла свои границы независимо от них. Они же сдерживали, контролировали, защищали, забирали доходы от этого процесса,— и как подумаешь, что «Гордый Доссет» вступил в жизнь, почти ничего не имея, а его прямые потомки, по оценке Грэдмена, уже имеют что-то около полутора миллионов, то жаловаться, право, не приходится! Тем не менее Сомсу казалось иногда, что его семья расстреляла все свои патроны, что ее

собственнический инстинкт выдыхается. Форсайты четвертого поколения как будто уже неспособны зарабатывать деньги: они уходят в искусство, в литературу, в сельское хозяйство или в армию; а то и просто проживают наследство — нет у них ни хватки, ни напора. Если не принять мер, им грозит вымирание.

Он отвернулся от склепа и подставил лицо ветру. Воздух здесь на холме был бы восхитителен, если бы только нервам не чудился в нем запах тления. Сомс раздраженно глядел на кресты и урны, на ангелов, на иммортели, на цветы, безвкусные или увядшие, и вдруг заметил место, настолько отличное от всего прочего здесь, что решил пройти необходимые для этого несколько шагов и посмотреть поближе. Спокойный уголок: массивный, необычной формы крест из серого нетесаного гранита и четыре темных тиса на страже. Вокруг не было тесно от других могил, так как позади лежал небольшой, обнесенный решеткой садик, а впереди стояла тронутая позолотой береза. Этот оазис в пустыне трафаретных могил затронул эстетическую струну в душе Сомса, и он сел там на солнце. Сквозь трепетные листья золотой березы он смотрел на Лондон и отдавался волнам воспоминаний. Он видел Ирэн на Монпелье-сквер, когда волосы ее были ржаво-золотыми, когда ее белые плечи принадлежали ему,— Ирэн, награда его любовной страсти, не дающаяся в руки собственника. Видел тело Босини в белой мертвецкой, Ирэн на диване, глядевшую в пространство глазами умирающей птицы. Видел ее снова перед маленькой зеленой Ниобеей в Булонском лесу — опять она его отвергла! Воображение перенесло его на полноводную реку в ноябрьский день, когда родилась Флер, к мертвым листьям, плывущим по зеленоватой воде, змееголовым водорослям, что вечно покачиваются и шипят на привязи, извивающиеся, слепые. Повело дальше, к окну, открытому в холодную звездную ночь над Хайд-парком, в комнату, где лежал мертвым его отец. Переметнулось к той картине «Города будущего», к первой встрече того мальчика и Флер; к синеватому дымку сигары Проспера Профона и к Флер, указывающей вниз, в окно —«рыщет»! К стадиону Лорда, где Ирэн сидела на трибуне рядом с тем, умершим. К ней и ее сыну в Робин-Хилле. К дивану, в уголок которого забилась Флер; к ее губам, поцеловавшим его щеку, к ее прощальному «папочка!». И вдруг он опять увидел облитую лайкой руку Ирэн: машет ему напоследок в знак отпущения.

Долго сидел он там, вспоминая свой жизненный путь, неизменно направляемый собственническим инстинктом, и даже память о неудачах согревала его.

«Сдается внаем» форсайтский век, форсайтский образ жизни, когда человек был неоспоримым и бесконтрольным владельцем своей души, своих доходов и своей жены. А теперь государство посягает на его доходы, его жена сама над собой хозяйка, а кто владеет его душой — одному богу известно. Сдается в архив здоровая и простая вера!

Врываются клокочущие волны новой смены, возвещая новые формы, но их время наступит лишь тогда, когда разрушительный разлив пойдет на убыль после половодья. Сомс, сидя здесь, подсознательно ощущал их, но мысли его были упрямо обращены к прошлому — так мог бы всадник

Стр. 10. *Мэрис.*— Имеется в виду голландский художник Якоб Мэрис (1837—1899), старший из братьев Мэрис, для творчества которого характерны пейзажи и жанровые сцены.

Израэльс (Исраэлс) Йосеф (1824—1911) — голландский живописец, известный своими пейзажами и жанровыми сценами.

Мауве Антон (1838—1888) — голландский художник-пейзажист.

Стр. 12. *Чемберлен* Джозеф (1836—1914) — английский политический деятель, сыгравший видную роль в ходе англо-бурской войны; в 1895—1903 гг. занимал пост министра колоний.

Крюгер Стефан Иоганн Пауль (1825—1904) — бурский государственный деятель, президент Трансвааля с 1883 по 1898 г.

Стр. 15. *Ньюмаркет* — центр английского коневодства и скакового спорта, где каждую осень разыгрывается большой приз по гандикапу.

Стр. 19. *Фисба* — красавица в Древнем Вавилоне с трагической судьбой («Метаморфозы» Овидия, четвертая книга).

Катон Публий Валерий (род. ок. 100 г.) — римский поэт.

Стр. 23. *Бюро-буль* — бюро с инкрустацией в стиле «буль», по имени французского резчика по дереву Андре Буля (1642—1732).

Стр. 27. *Белгрэвия* — один из наиболее дорогих, фешенебельных жилых районов Лондона, южнее Хайд-парка.

Стр. 28. *Веджвудский фарфор* — назван по имени основателя фабрики фарфоровых изделий Веджвуда (1730—1795).

Стр. 29. *Дело Дрейфуса* (1894—1899) — судебное дело по обвинению в шпионаже офицера французского генерального штаба, еврея по национальности, инспирированное реакционной военщиной, превратившееся в предмет ожесточенной политической борьбы во Франции и получившее широкий отклик во всем мире.

Стр. 35. *...теперь еще этот Чемберлен!*— В начале своей государственной деятельности Джозеф Чемберлен (см. прим. к с. 12) был признанным лидером левого крыла либеральной партии и казался даже сторонником идей республиканизма; он выступал против репрессий в Ирландии и агрессивной политики в Африке. В 1886 г. при ослаблении позиций либералов в Англии в момент раскола либеральной партии Чемберлен стал во главе оппозиционного меньшинства либе-

ралов («либералов-унионистов»), возражавших против предоставления автономии Ирландии; в дальнейшем Чемберлен становился все в большей мере консерватором, а в 1895 г. вошел в состав консервативного правительства.

Гладстон Уильям (1809—1898) — английский государственный деятель, лидер либеральной партии, с 1880 по 1886 г. был главою правительства Великобритании, которому уже тогда в области внешней политики в ряде обстоятельств пришлось идти на известные уступки; так, например, в результате успешного восстания буров в начале 1881 г. англичане были вынуждены отказаться от осуществленной консервативным правительством Дизраэли в 1877 г. аннексии Трансвааля, вывести оттуда свои войска и довольствоваться частичным контролем над внешней политикой бурского государства.

Маджуба — высота в Трансваале, где буры полностью уничтожили отряд британских войск в феврале 1881 г. Поражение англичан при Маджубе решило спор относительно Трансвааля в пользу буров.

Стр. 44. *«Дерби» Фриса.*— Имеется в виду известная в Англии огромная картина «Скачки в Эпсоме» художника Уильяма Фриса (1819—1909).

Гравюры Лендсира.— Имеется в виду художник-анималист Эдвин Лендсир (1802—1873).

Стр. 59. *Заколите-ка жирного тельца...*— Намек на евангельскую притчу о возвращении блудного сына.

Стр. 64. *Мейссонье* Жан (1815—1891) — французский художник, работавший главным образом в области исторического жанра, значительно преуспевавший в период царствования Наполеона III. По характеру письма может быть отнесен к натуралистам; к концу века — в расцвет импрессионизма — тщательно выписанные на полотнах Мейссонье детали вызывали иронические улыбки, картины Мейссонье неизменно падали в цене.

Стр. 66. *Олд-Чэрч* — старый храм в Челси, один из интереснейших памятников старины в Лондоне; основная часть храма была построена в XVII в., но алтарь и некоторые из часовен при храме относятся к XVI и даже XIII — XIV вв., отдельные детали в храме выполнены выдающимися мастерами своего времени.

Стр. 70. *...читальня этого клуба была декорирована в адамовском стиле.*— Стиль построек, внутренней отделки жилых помещений, мебели, отличавшийся сочетанием известной простоты и удобства с изысканностью в отделке деталей, назван именем архитекторов братьев Адам, получил распространение в Англии в XVIII в.

Стр. 72. *Ультиматум Кру-угера!*— 9 октября 1899 г. Трансвааль направил Великобритании ультиматум с требованием третейского суда по вопросу об уитлендерах (см. прим. к с. 12) и отозвания английских войск с границ республики. Ультиматум был отвергнут, и 11 октября 1899 г. началась англо-бурская война.

Восстание в Индии.— Имеется в виду восстание сипаев в Индии против английского господства в 1857—1859 гг.

...мелкие войны, которые... вела Британская империя...— Имеется в виду целый ряд колониальных войн, особенно характерных для экспансии британского империализма в 60—80-х гг. XIX в.; эти войны велись так называемыми профессиональными войсками, без объявления мобилизации.

Стр. 73. *Роберте* Фредерик Слей (1832—1914) — английский фельдмаршал, выдвинувшийся в колониальных войнах британского империализма, главнокомандующий английскими войсками в англо-бурскую войну с декабря 1899 г.

Стр. 74. *Уитлендеры* — колонисты в Южной Африке, большей частью англичане, нахлынувшие туда после открытия золотых россыпей в Трансваале в 1884 г. и добивавшиеся уравнения в правах с трансваальскими гражданами.

...после этой ужасной истории с Фашодой...— Речь идет об англо-французском конфликте на почве столкновения колониальных интересов этих стран у местечка Фашода (Англо-Египетский Судан) в 1898 г.

Д-р Джемсон.— Имеется в виду так называемый «набег Джемсона», служащего Британской Южно-Африканской компании, пытавшегося со своим отрядом соединиться с уитлендерами (см. прим. к с. 12), готовившими проанглийское восстание в Трансваале; отряд был разбит, а сам Джемсон взят в плен бурами (1896 г.).

Альфред Мильнер (1854—1925) — британский верховный комиссар в Южной Африке и губернатор Капской колонии, английский делегат на неудавшихся переговорах с бурами в 1899 г.

Стр. 88. *Бартолоцци* (1728—1813) — прославленный итальянский гравер, значительную часть своей жизни провел в Англии.

Стр. 94. *Буллер* Редверс Генри — английский генерал, командующий английскими войсками во время войны с бурами в 1899—1902 гг.

Колли.— Имеется в виду генерал Джордж Колли, командовавший отрядом английских войск, был убит в бою у высоты Маджуба в Трансваале в феврале 1881 г. (см. прим. к с. 35).

Ледисмит — город в Южной Африке, осажденный бурами в начале войны; англичанам потребовалось четыре месяца больших усилий, чтобы принудить буров снять осаду.

...в день Гая Фокса...— Согласно установившейся в Англии традиции, 5 ноября устраивается торжественное сожжение на костре чучела Гая Фокса, главы направленного против короля и членов парламента так называемого «Порохового заговора» 1605 г.

Стр. 99. *Миссис Грэнди* — имя героини комедии Мортона (1764—1838), употребляемое нарицательно, обозначает мнение света.

Стр. 107. *Темпл* — название архитектурного комплекса на набережной Темзы, в центральной части Лондона, где размещаются две из четырех известных юридических корпораций.

Стр. 110. *Вулзли* Гарнет Джозеф (1833—1913) — английский генерал, весьма популярный среди английской буржуазии как «специалист» по колониальным войнам.

«Черная неделя»— 10—15 декабря 1899 г.; за этот короткий период англичане потерпели ряд сокрушительных поражений от буров.

Стр. 111. *Стормберг, Магерсфонтейн, Колензо* — города в Южной Африке; места, где англичане потерпели поражение от буров последовательно 10, 11 и 15 декабря 1899 г.

Метьюен — английский генерал, разбитый бурами при Магерсфонтейне 11 декабря 1899 г.

Стр. 115. *«Римская империя» Гиббона*— многотомный труд английского историка Гиббона (1737—1794) «История упадка и разрушения Римской империи».

«Космос» Гумбольдта.— Имеется в виду капитальный труд по физической географии выдающегося немецкого естествоиспытателя и путешественника

Александра Гумбольдта (1769—1859), который по замыслу автора должен был содержать все имевшиеся в то время знания о Вселенной.

Стр. 119. *«Мадонна в гроте» («Мадонна в скалах»)* — картина Леонардо да Винчи.

Стр. 142. *Спион-Коп* — город в Южной Африке, где 24 января 1900 г. наголову были разгромлены бурами английские войска под командованием генерала Буллера (см. прим. к с. 94).

Стр. 144. *Железный Герцог.*— Имеется в виду герцог Веллингтонский (1769—1852).

Стр. 150. *...жестокие расправы в Ирландии...*— Имеется в виду расправа над восставшими (так называемое восстание фениев) в Ирландии в феврале — марте 1867 г.

Стр. 156. *Каналетто* (1697—1768) — известный венецианский пейзажист.

Стр. 159. *Мейфкинг* — город в Южной Африке, осажденный бурами во время англо-бурской войны.

Стр. 160. *Он вспомнил бунт в восьмидесятых годах...*— Восьмидесятые годы XIX в. характерны для Англии значительным подъемом рабочего движения; большое значение имела, в частности, месячная стачка многих тысяч лондонских докеров в 1889 г.

Стр. 163. *Bel Ami* — молодой человек, напоминающий героя романа Мопассана «Милый друг».

Ниобея — в греческой мифологии жена фиванского царя и мать четырнадцати детей, которая за насмешку над богиней Лето, имевшей только одного сына, Аполлона, и одну дочь, Артемиду, лишилась всех своих детей и была превращена Зевсом в скалу, источающую слезы.

Стр. 173. *«Гензель и Гретель»* (1893) — детская опера немецкого композитора Гумпердинка.

Стр. 182. *Хаммам* — известные в Лондоне турецкие бани недалеко от Пикадилли.

Стр. 183. *Джорджоне* (1477—1510) — выдающийся итальянский художник эпохи Возрождения.

Стр. 195. *Шестьдесят четыре года покровительства собственности...*— Имеются в виду шестьдесят четыре года царствования королевы Виктории (1837—1901).

Стр. 196. *...когда на престол сядет этот Эдуард.*— Имеется в виду английский король Эдуард VII (1901—1910), сын Виктории.

Стр. 198. *...как ее венчали с этим немцем...*— Имеется в виду супруг английской королевы Виктории принц Альберт (1819—1861), который происходил из немецкой княжеской династии.

Креморн — лондонский сад с увеселительными заведениями, закрытый в 1877 г.

Юбилейный год.— Имеется в виду 1897 г., когда праздновалось шестидесятилетие царствования королевы Виктории (1837—1901).

...сняли сообща балкон на Пикадилли.— Для желающих наблюдать за церемониями на соответствующих улицах Лондона за плату сдавались окна, балконы и места на специально построенных подмостках.

...германский император приехал на похороны...— Имеется в виду германский император Вильгельм II, внук королевы Виктории.

...телеграмма... старику Крюгеру...— Имеется в виду поздравительная телеграмма германского императора Вильгельма II президенту Трансвааля Крюгеру по поводу успешного отражения набега Джемсона в 1896 г. (см. прим. к с. 74).

Стр. 199. *...тонкий, как линия у Евклида...*— то есть как линия в Евклидовой геометрии. *Евклид* — прославленный греческий математик, живший в Александрии в IV — III вв. до н. э.

Стр. 202. *Дёвет* Христиан (1854—1922) — бурский генерал и политический деятель, руководитель партизанской войны буров против англичан.

Стр. 204. *Канут* (995—1035) — король Дании и Англии, которому, по преданию, повиновались даже морские волны.

Стр. 205. *«В доме отца моего обителей много»*— евангельское изречение (Евангелие от Иоанна, XIV, 2).

Стр. 222. *...родился с серебряной ложкой во рту...*—«Родиться с серебряной ложкой во рту»— приблизительно то же, что по-русски «родиться в сорочке»: родиться счастливчиком.

Стр. 224.*«Бевис»*.— Имеется в виду «Бевис Гемптонский»— английский рыцарский роман XIV в.

«Школьные годы Тома Брауна»— известная книга для детей Томаса Хьюза (1828—1896), изображающая жизнь в английских закрытых колледжах.

Прочтя книгу о короле Артуре...— Король Артур, как гласит предание, возглавлял войска кельтских племен в борьбе против саксов (VI в.), герой многочисленных рыцарских романов, так называемого «Артурова цикла».

Стр. 226. *Густав-Адольф* (1594—1632) — король Швеции, полководец, принимавший участие в Тридцатилетней войне.

Принц Евгений Савойский (1663—1736) — известный австрийский полководец.

Эрцгерцог Карл (1771—1847) — австрийский фельдмаршал и военный писатель.

Валленштейн Альбрехт (1583—1634) — выдающийся полководец, командовавший германской императорской армией в Тридцатилетнюю войну.

Тилли Иоганн (1559—1632) — руководил войсками Католической лиги в Тридцатилетней войне.

Мак Карл (1752—1828) — австрийский фельдмаршал, в 1805 г. сдавшийся со своей армией Наполеону I.

Тюренн Анри (1611—1675) — выдающийся французский полководец.

Стр. 228. *Сэр Ламорак, сэр Тристан, сэр Ланселот, сэр Палимед, сэр Борс, сэр Гавэн* — рыцари Круглого стола, персонажи романов «Артурова цикла» (см. прим. к с. 224).

Стр. 233. *Амам!*— Имеется в виду «Аминь!». Маленький Джон перепутал слова христианской молитвы «Отче наш», при этом несколько раз разные слова в молитве он заменил словом «Мама».

Гуиневир — супруга короля Артура в цикле легенд об Артуре (см. прим. к с. 224).

Стр. 234. *«Вот был бы у меня голубь, как у Ноя»*.— Библейский персонаж Ной, спасаясь в ковчеге во время всемирного потопа, несколько раз выпускал го-

лубя, который наконец возвратился с оливковой ветвью, означавшей окончание бедствия.

Стр. 239. *Чрезвычайный налог.*— Во время войны 1914—1918 гг. в Англии было введено дополнительное обложение налогом больших доходов.

Налог на капитал.— Одним из пунктов программы английских лейбористов после войны 1914—1918 гг., который не был осуществлен, было введение налога на капитал для погашения государственного долга.

Стр. 241. *Гойя* Франсиско Хосе (1746—1828) — прославленный испанский живописец и офортист.

Стр. 244. *...обеспечь себе четыреста фунтов в год...*— Имеется в виду жалованье члена парламента.

Стр. 246. *Моне* Клод (1840—1926) — французский художник-импрессионист.

Пуантилизм — связанное с импрессионизмом течение во французской живописи конца XIX — начала XX в., представители которого писали мелкими или точечными мазками (пуантилисты, от французского слова «point» — точка).

Гоген Поль (1848—1903) — известный художник, представитель направления, известного под названием постимпрессионизма.

Постимпрессионизм — течение, возникшее прежде всего во французской живописи в конце XIX в., для которого были характерны, вместе с отходом от основных принципов импрессионизма, определенные формалистические тенденции.

Стр. 254. *«Красная книга»*— справочник, содержащий основные сведения о наиболее известных представителях семей, относящихся к высшим слоям общества.

Стр. 265. *...три снайдеровских натюрморта...*— Имеются в виду натюрморты Снайдерса (1579—1657), знаменитого художника фламандской школы.

Джошуа Рейнольдс (1723—1792) — выдающийся представитель английской школы портретистов XVIII в.

...да сомнительный Морленд...— Речь идет о картине, относительно которой существует сомнение, принадлежит ли она кисти художника Морленда. Джордж Морленд (1763—1804) — английский художник, часто изображал на своих картинах домашних животных.

Стр. 266. *...номер «Таймса» от шестого июля 1914 года — день, когда Тимоти впервые не сошел вниз, как бы в предчувствии войны.*— Речь идет о номере газеты «Таймс», вышедшей почти за месяц до вступления Англии в первую мировую войну (5 августа 1914 г.).

Стр. 267. *...заболела вскоре чахоткой... совсем как Китс...*— Речь идет об английском поэте Джоне Китсе, который умер от туберкулеза в 1821 г. в возрасте двадцати пяти лет.

...сохранить этот дом, как сохраняется дом Карлейля...— Имеется в виду дом в районе Челси, в Лондоне, где жил, начиная с 1834 г., и умер в 1881 г. английский историк и философ Томас Карлейль. Дом был превращен в мемориальный музей.

Каупер (Купер) Уильям (1731—1800) — английский поэт, один из наиболее известных представителей сентиментализма в английской поэзии XVIII в.

Стр. 280. *Петр Пахарь* — герой английской аллегорической поэмы «Видение Петра Пахаря» Уильяма Лэнгленда (начало второй половины XIV в.).

Стр. 284. *Еврипид* — древнегреческий драматург (480—406 гг. до н. э.).

Стр. 285. *...росту в нем пять футов десять дюймов...*— то есть приблизительно 178 см.

Стр. 288. *...он купил вместе с двумя ранними Матиссами...*— Имеются в виду картины, относящиеся к раннему периоду творчества французского художника Анри Матисса (1869—1954).

Стр. 289. *...палата лордов в 1909 году подверглась жестоким нападкам...*— Имеется в виду конституционный конфликт 1909—1910 гг. между палатой общин, где большинство принадлежало либералам, и палатой лордов — цитаделью консерваторов. Конфликт возник вследствие беспрецедентной попытки лордов отклонить бюджет, внесенный правительством либералов; спор закончился лишением палаты лордов права налагать «вето» на законы, касающиеся денежных средств.

Стр. 290. *...прочитав речь некоего государственного мужа...*— Вероятно, имеется в виду Ллойд Джордж (1863—1945), который во время конституционного кризиса произносил «ультралевые» речи.

Хогарт Уильям (1697—1764) — английский художник-сатирик.

Мане Эдуар (1832—1883) — французский художник, один из основоположников импрессионизма в живописи.

Стр. 292. *Пэнгборн* — небольшой город на реке Темзе, графство Беркшир, в западном направлении от Лондона.

Стр. 293. *Маттейс Мэрис* (1839—1917) — голландский художник-пейзажист, брат Якоба Мэриса (см. прим. к с. 10).

Уистлер Джемс (1834—1903) — американский художник, поборник импрессионизма в Англии.

...зловреднейшая старуха в роскошнейших кружевах.— Речь идет о портрете испанской королевы Марии-Луизы, супруги испанского короля Карла IV.

Веласкес (1599—1660) — испанский художник, один из величайших представителей реализма в живописи.

Стр. 305. *«Вакх и Ариадна»*— картина Тициана, хранящаяся в лондонской Национальной галерее.

Стр. 306. *...десять стонов, одиннадцать фунтов...*— около 70 кг.

...пусть прочтет книгу Иова...— Имеется в виду библейская книга Иова.

Стр. 308. *Альфред Стивенс* (1828—1906) — бельгийский художник.

Стр. 314. *Альгамбра* — расположенная на высоком холме над Гренадой резиденция мавританских властителей, выдающийся архитектурный памятник XIII в.

Quitasol (и с п.) — зонтик.— Речь идет о картине Гойи «Дама с зонтиком».

Финикияне — народ, населявший в древности страну у восточного берега Средиземного моря. Финикияне были хорошими моряками и торговцами, захватили колонии в западной части Средиземного бассейна; в Испанию их привлекли залежи серебряной руды.

Стр. 334. *...он, «как мидийское воинство, рыщет и рыщет»...*— Мидяне — одно из воинственных племен, совершавших опустошительные набеги на Ханаанскую землю, упоминаемую в Библии. Здесь дана строка из стихотворения Джемса Мэйсона Мила (1818—1866).

Стр. 341. *Взять хотя бы Ирландию.*— Имеется в виду освободительная борьба в Ирландии в 1920 г.

Стр. 343. *Почему нельзя ограничить в правах... Профона вместо множества работящих немцев?* — Имеются в виду ограничения, которые Версальский договор предусматривал для немецких подданных в странах-победительницах.

Стр. 344. *Монтичелли* Адольф (1831—1885) — французский художник, итальянец по происхождению, создатель «призрачного» жанра.

Джонс Огастас (1879—1961) — английский художник, известен своими замечательными портретами, а также пейзажами и жанровыми полотнами.

Бакстон Найт (1843—1908) — английский пейзажист.

Стр. 351. *Дэвид Кокс* (1783—1859) — английский художник-пейзажист.

Стр. 360. *«Иль он судьбы своей боится...»* — Строка из стихотворения шотландца Монтроза (1612—1650).

Стр. 369. *...первый убийца, второй убийца...* — персонажи из пьесы Шекспира «Ричард III».

Стр. 371. *...никаких фокусов с пятью хлебами и несколькими жалкими рыбешками...* — Намек на евангельский рассказ о том, как Христос накормил огромную толпу людей пятью хлебами и двумя рыбами (Евангелие от Матфея, XIV, 17).

Стр. 373. *«Мид-оф»* — название одного из игроков крикетной команды.

Стр. 375. *...Они получили право голоса.* — Женщины в Англии получили право голосовать в 1918 г. в результате «Акта о народном представительстве».

Стр 378. *«Карьера повесы»* — серия гравюр английского художника Хогарта (см. прим. к с. 290).

Стр. 380. *Уайт Мелвилл* (1821—1878) — английский писатель, отразивший в своих романах быт и нравы светского общества.

Цезарь Франк (1822—1890) — выдающийся композитор, бельгиец по происхождению, прожил всю жизнь во Франции. Франк создал немало произведений камерной и духовной музыки, несколько ораторий и три оперы. Критики называли Франка неоклассиком, поскольку он в пору импрессионизма следовал классическим канонам и пропагандировал старых и прежде всего старофранцузских мастеров. Вместе с тем музыке Франка были свойственны некоторые черты романтиков,— страстная порывистость и нежная мелодичность. В числе произведений камерной музыки, приобретших особую известность,— соната для скрипки с фортепиано, которую, очевидно, имеет в виду Голсуорси. В третьей, певучей, части сонаты критики отмечали влияние русской музыки,— к ней Франк в последний период своего творчества питал живой интерес.

Стр. 381. *Иезавель* — жена иудейского царя Ахава, образ жестокой и бесстыдной женщины.

Стр. 385. *«Харчевня королевы Гусиные Лапки»* — роман А. Франса (1844—1924).

Стр. 389. *«Роза, испанская гостья!»* — Строка из стихотворения Р. Браунинга (1812—1889) «Название цветка».

Стр. 393. *Мол* (1814—1886) — английский акварелист-пейзажист, самоучка, впоследствии был признан мастером живописи, стал вице-президентом общества акварелистов; работы Мола были выставлены в музеях Лондона.

Стр. 395. *...железнодорожная забастовка...* — Послевоенные годы в Англии отмечены значительным ростом рабочего движения, в котором ведущая роль принадлежала шахтерам и железнодорожникам. В данном случае, очевидно, имеется в виду начавшаяся в сентябре 1919 г. мощная стачка рабочих железнодо-

рожного транспорта, грозившая перейти во всеобщую забастовку. Железнодорожники требовали сохранения заработной платы на уровне военных лет, ликвидации путей сообщения и прекращения антисоветской интервенции.

Стр. 399. *«Опера нищих»* — комическая опера английского поэта и драматурга Джона Гея (1685—1732).

Стр. 400. *Полли Пичем, Филч, Дженни Дайвер, Люси Локит, Мэкхит* — персонажи «Оперы нищих».

Стр. 423. *Фрезер* Джемс (1854—1941) — известный шотландский антрополог и знаток первобытной культуры и фольклора.

Стр. 432. *...рассказ этого француза, Мопассана...* — По всей вероятности, речь идет о рассказе Мопассана «Покойница», впервые опубликованном в 1889 г.

Н. Матвеев

СОДЕРЖАНИЕ

В ПЕТЛЕ
Перевод М. Богословской-Бобровой

Часть первая

I. У Тимоти 7
II. Светский человек уходит со сцены 14
III. Сомс собирается что-то предпринять 23
IV. Сохо 27
V. Видения Джемса 34
VI. Уже не молодой Джолион у себя дома 38
VII. Стригунок находит подружку 46
VIII. Джолион исполняет свои обязанности попечителя 50
IX. Вэл узнает новости 55
X. Сомс принимает у себя будущее 62
XI. ...И навещает прошлое 65
XII. На Форсайтской Бирже 69
XIII. Джолион начинает понимать, что с ним происходит 78
XIV. Сомсу становится ясно, чего он хочет 82

Часть вторая

I. Третье поколение 85
II. Сомс решил удостовериться 92
III. Визит к Ирэн 99
IV. Куда Форсайты страшатся заглядывать 104
V. Джолли в роли судьи 110
VI. Джолион в нерешительности 116
VII. Дарти против Дарти 120
VIII. Вызов 128
IX. Обед у Джемса 132
X. Смерть пса Балтазара 138
XI. Тимоти предостерегает 141
XII. Охота продолжается 147
XIII. «А вот и мы!» 151
XIV. Диковинная ночь 159

Часть третья

I. Сомс в Париже 161
II. В паутине 166
III. Ричмонд-парк 169
IV. По ту сторону реки 174
V. Сомс действует 175
VI. Летний день 177
VII. Летняя ночь 182
VIII. Джемс в ожидании 184
IX. Выпутался из паутины 187
X. Век уходит 194
XI. Затишье 202
XII. Рождение Форсайта 207
XIII. Джемсу сказали 212
XIV. Его собственное 215

ИНТЕРЛЮДИЯ. ПРОБУЖДЕНИЕ

Перевод М. Лорие 219

СДАЕТСЯ ВНАЕМ

Перевод Н. Вольпин

Часть первая

I. Встреча 239
II. Хитрая Флер Форсайт 253
III. В Робин-Хилле 258
IV. Мавзолей 264
V. Родная земля 271
VI. Джон 277
VII. Флер 281
VIII. Идиллия на лоне природы 285
IX. Гойя 288
X. Трио 296
XI. Дуэт 301
XII. Каприз 305

Часть вторая

I. Мать и сын 312
II. Отцы и дочери 316
III. Встречи 327
IV. На Грин-стрит 334
V. Чисто форсайтские дела 339
VI. Личная жизнь Сомса 344

VII. Джун хочет помочь 353
VIII. Закусив удила 357
IX. Поздно жалеть 362
X. Решение 368
XI. Тимоти пророчествует 371

Часть третья

I. Дух старого Джолиона 379
II. Исповедь 385
III. Ирэн! 390
IV. Сомс размышляет 393
V. Навязчивая идея 398
VI. Отчаяние 401
VII. Миссия 407
VIII. Нелепая мелодия 414
IX. Под старым дубом 417
X. Свадьба Флер 419
XI. Последний из старых Форсайтов 426
Примечания *Н. Матвеева* 435

Джон Голсуорси

САГА О ФОРСАЙТАХ

Книга 2

В ПЕТЛЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ

СДАЕТСЯ ВНАЕМ

Ташкент «Укитувчи» 1988

Редактор О. Клюева
Художественный редактор В. Слабунов
Технический редактор Т. Скиба
Корректор Л. Талибджанова

ИБ № 4948

Сдано в набор 18.02.88. Подписано в печать 14.04.88. Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Кегль 9 н/шп. Печать офсетная. Усл. п. л. 28,0. Усл. кр.-отт. 56,75. Изд. л. 32,81. Тираж 150000 (2 завод). Заказ № 2055. Цена 3 р. 10 к.

Набор и верстка подготовлены с применением автоматизированной системы переработки текста АККОРД, разработанной в УНИИПП, г. Львов.

Издательство «Укитувчи». 700129, Ташкент, ул. Навои, 30. Договор № 14—28—87.

Головное предприятие ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 700129, Ташкент, ул. Навои, 30. 1988 г.